3

Константин Симонов

3

Константин Симонов

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

Пьесы
1946—1961

Дым Отечества
Повесть

Товарищи по оружию
Роман

Случай с Полыниным
Повесть

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Оформление художника
ВЛ. МЕДВЕДЕВА

С $\frac{70302\text{-}227}{028(01)\text{-}80}$ подписное 4702010200

ПЬЕСЫ

1946—1961

Русский вопрос

Пьеса в трех действиях, семи картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Макферсон — владелец и редактор крупной нью-йоркской газеты и совладелец ряда других газет, 60 лет, на вид гораздо моложе.

Гульд — редактор и совладелец большой газеты в Сан-Франциско и одновременно один из редакторов газеты Макферсона, под 40 лет. Чуть прихрамывает. Грубоват, играет в человека из народа.

Смит — корреспондент газеты Макферсона, ровесник и школьный товарищ Гульда.

Престон — редактор иностранного отдела газеты Макферсона, 45 лет.

Харди — репортер газеты Макферсона, за 40 лет.

Морфи — корреспондент одной из газет Херста, 46 лет. Небрежно одет. Никогда не пьян, но всегда уже выпил.

Кесслер — издатель, толстый старик, страдает одышкой.

Вильямс — редактор левой газеты, лет 50.

Джесси — красивая женщина 33 лет, на вид моложе.

Мег Стенли — стенографистка, женщина в возрасте где-то между 30 и 40.

Бармен, шофер, секретарша, упаковщики мебели.

Место действия — Нью-Йорк.
Время действия — зима — лето 1946 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Кабинет Макферсона в редакции. Большая комната, довольно пустая: письменный стол, несколько кресел. Единственное украшение — фотографии, в ряд развешанные над деревянной панелью вдоль всей комнаты. Над столом громадная фотография старого двухэтажного домика. Джесси, войдя в кабинет, подходит к столу и, вынув из папки бумаги и газетные полосы, раскладывает их на столе. Звонок телефона.

Джесси *(в телефон)*. Нет. Мистер Макферсон вернется через четверть часа.

Стук в дверь.

Войдите.

Гульд *(входя)*. Как? Ты здесь? Какая неприятная неожиданность.

Джесси. Почему неприятная?

Гульд. Вернулась из армии, и все по-прежнему, как в сорок первом году?

Джесси. Нет, я просто заменяю мисс Бридж. Она в двухнедельном отпуску.

Гульд. С шефом чисто деловые отношения?

Джесси. Чисто деловые.

Гульд. Да, он действительно постарел.

Джесси. Я — тоже.

Гульд. Не сказал бы. Мы разъехались с Филиппин в феврале прошлого года. Значит, всего год.

Джесси. Значит, так.

Гульд. А все-таки штатское тебе больше к лицу, чем форма женского вспомогательного корпуса.

Джесси. Возможно.

Гульд. Может, ты меня поцелуешь по старой памяти?

Джесси. Нет.

Гульд. Хорошо. Когда ты кончаешь работу?

Джесси. В десять.

Гульд. В одиннадцать в Бромлей-клубе. Идет?

Джесси. Нет. Я буду занята.

Гульд. Можно спросить, с кем?

Джесси. Можно. Я думаю, что Гарри...

Г у л ь д. Смит?

Д ж е с с и. Да. Я думаю, что Гарри пригласит меня сегодня ужинать.

Г у л ь д. Но он прилетел из Японии только сегодня ночью.

Д ж е с с и. Да. Знаю. Я его встречала на аэродроме.

Г у л ь д. По поручению редакции?

Д ж е с с и. Нет.

Пауза.

Говорят, что твоя жена некрасива?

Г у л ь д. Да.

Д ж е с с и. И богата настолько, что частный сыск информирует ее о твоей жизни?

Г у л ь д. Возможно.

Д ж е с с и. Ты уже окончательно купил газету в Сан-Франциско?

Г у л ь д. Не совсем. Пока процентов на сорок. Можешь мне поверить, что, женясь, я искренне жалел, что богата она, а не ты.

Д ж е с с и. Верю. Она очень некрасивая?

Г у л ь д. Очень.

Д ж е с с и. Сочувствую тебе.

Г у л ь д. Верю. Где шеф?

Д ж е с с и. Он на завтраке для русских журналистов. Будет через десять минут.

Г у л ь д. Итак, Гарри... Можно закурить сигару?

Д ж е с с и. Как всегда.

Г у л ь д *(закурив)*. Только ночью прилетел... Быстро.

Д ж е с с и. Нет. Мы встречались в Токио.

Г у л ь д. А... Верно. Я становлюсь несообразительным. Он не знает обо мне?

Д ж е с с и. Нет. Я о тебе не вспоминала. При нем. Да и вообще.

Г у л ь д. Ему могли сказать другие.

Д ж е с с и. Маловероятно. Он этого не любит.

Г у л ь д. А тебя он любит?

Д ж е с с и. Думаю, что да.

Г у л ь д. А ты? Только не лги. Тогда, в сорок первом, он нравился тебе еще меньше, чем я.

Д ж е с с и. Верно. Но теперь он мне нравится значительно больше, чем ты. И потом, я постарела, я поумнела. И я хочу выйти замуж.

Г у л ь д. Шеф собрался отправить его в Россию.

Д ж е с с и. Да, я знаю. Я вчера печатала шефу проект издательского договора на будущую книгу Гарри. Кажется, тут не обошлось без твоего участия.

Гульд. Да, это была моя идея. И мой проект.

Джесси. Ну что ж, это, наверное, займет у Гарри три месяца.

Гульд. Примерно. Если только он поедет.

Джесси. Он поедет.

Гульд. Это верно. Последний год он начал выходить в тираж. Если он не возобновит сейчас свою репутацию самым шумным образом, я не поручусь для него в дальнейшем и за пятьсот долларов в месяц. Боюсь, что ваш брак не будет тогда счастливым.

Джесси. Он поедет.

Гульд. Не уверен. У него раньше были свои идеи о русских.

Джесси. Мне нет никакого дела ни до его идей, ни до русских, ни до того, что он напишет о русских. Я хочу иметь свой дом, своих детей и немного своего счастья. Мне надоело быть кукушкой. Он поедет.

Гульд. Когда ты решила выйти за него замуж? В Японии?

Джесси. Почти.

Гульд. А совсем?

Джесси. Вчера.

Гульд. Печатая мой проект издания его книги? Кажется, я оказываюсь в смешной роли устроителя твоего счастья?

Джесси. Кажется, так. Только почему в смешной?

Гульд. Ну, все-таки. Почти три года мы... Ты должна быть мне благодарна.

Джесси. Я тебе благодарна.

Гульд. Сигарету?

Джесси. Я бросила курить. Гарри это не нравилось, и я понемногу отвыкла.

Гульд. О, тогда это серьезно.

Джесси. Да, это очень серьезно.

Входит Макферсон.

Макферсон. Здравствуйте, Джек.

Гульд. Рад вас видеть, мистер Макферсон.

Макферсон. Опять вы за старое.

Гульд. Хорошо, Чарли, только сейчас же сознайтесь, что вы заставляете называть себя по имени не из природного демократизма.

Макферсон. Вот как?

Гульд. Да. Вы просто молодитесь. «Чарли» звучит моложе, чем «мистер Макферсон». А?

Макферсон. Пожалуй. Но вы могли бы не говорить этого при женщинах.

Джесси. Я могу идти?

Макферсон. Можете, можете. Теперь вы все можете. Бросает меня, Джек, не хочет со мной работать.

Джесси *(в дверях).* Мистер Макферсон, я же вам объяснила...

Макферсон *(перебивая).* Да. И не надо объяснять мне этого второй раз. Идите, Джесси.

Джесси выходит.

Старею, Джек. Вчера предложил ей, когда вернется из отпуска мисс Бридж, поменяться с ней местами и остаться у меня. Как раньше... Нет. По рабочим часам ее больше устраивает работа в отделе информации. Старею... Смит будет через четверть часа.

Гульд. Ну, как русские?

Макферсон. Журналисты? Совсем забыл. *(В телефон.)* Майкл! Вызовите ко мне Харди и через пять минут Престона. *(Гульду.)* Ну что ж, ничего, у них есть головы на плечах. *(Смеется.)* Сегодня за завтраком в ответ на сотню наших невежливых вопросов они нам сказали сотню очень вежливых неприятностей. А встав из-за стола, попросили у Вилли Кросби, который давал им завтрак, разрешения, в свою очередь, задать ему всего один вопрос: какая разница, по его мнению, между завтраком и пресс-конференцией? И Кросби сел в лужу.

Входит Харди.

Харди, когда вы пойдете завтра утром на прощальную пресс-конференцию к русским, между прочим задайте им следующий вопрос: правильны ли слухи, что они привезли с собой денег для финансирования нашей угольной забастовки?

Харди. Но...

Макферсон. Что?

Харди. В ответ на такой вопрос они только пожмут плечами.

Макферсон. Конечно. И вы напишете, что в ответ на этот прямой вопрос русские только смущенно пожали плечами, или что-нибудь в этом духе, это уже ваше дело. Желаю успеха.

Харди. До свидания. *(Выходит.)*

Гульд. Не слишком ли наивно для солидной газеты?

Макферсон. Ничего. Харди известен как репортер скандальной хроники. В его устах это будет естественно.

Гульд. Да, вы, пожалуй, правы...

Макферсон. Вы хотите сказать, что я еще не совсем выжил из ума?

Гульд. Не совсем.

Макферсон. Что — не совсем?

Гульд. Я хотел сказать не совсем это. Я хотел сказать, что вы с каждым днем становитесь тверже. Мне это нравится.

Макферсон. Мне — тоже. И, я думаю, даже больше, чем вам. *(Хлопает рукой по письменному столу.)* Хороший старомодный стол. Даже деятелю новой формации приятно посидеть за таким старомодным столом? А?

Гульд. Пожалуй.

Макферсон. Вот именно. Но, к сожалению, придется потерпеть. Увы, именно я, а не вы, начал это дело тридцать лет назад в этой старой развалине. *(Показывает на фотографию домика над столом.)* Ничего не поделаешь. Священное право частной собственности.

Гульд *(обходя кабинет)*. Ага, один из старых знакомых появился снова на свет божий.

Макферсон *(подходя и рассматривая фотографию Муссолини)*. Да. Ну что ж? С тех пор как беднягу повесили вверх ногами в Милане, он, безусловно, мертв. А мертвым я не помню зла. Он подписал мне ее, когда я был у него в тридцать третьем году в его дворце в Риме. Посмотрите, какой автограф. Один из лучших в моей коллекции.

Гульд. А берлинский джентльмен пока еще в сейфе?

Макферсон. Пока — да. Ходят слухи, что он жив. Его еще рано вешать.

Гульд. По-моему, уже можно.

Макферсон. Нет, рано.

Гульд. Вы слишком робко смотрите в будущее. Это ваш единственный недостаток.

Входит Престон.

Престон. Я пришел. Здравствуйте. Здравствуй, Джек.

Гульд. Здравствуй.

Макферсон. Что у вас сегодня о России, Билль?

Престон. «Юнайтед Пресс» дало нам пятьдесят строк Харнера «Русские в Вене». Харнер хвалит русских. Не знаю, давать ли.

Макферсон. Непременно дайте. В противоположность Херсту, мы сохраняем объективный стиль информации. Дайте на шестнадцатой странице, не раньше. А что еще?

Престон. Статья Виппмана о планах русской экспансии и еще пять-шесть информаций в том же духе.

Макферсон. Давайте все. Мы объективны. Виппмана на первую страницу, остальное — не дальше шестой. Что еще?

Престон. Еще? Бредовое сообщение итальянцев о появлении русских летчиков в Эритрее. Но это абсолютно несолидный бред.

Макферсон. Давайте его на первую страницу с шумным заголовком.

Престон. Русские завтра же дадут опровержение.

Макферсон. Ну что ж, мы поместим его на двадцатой странице. Пять строк. Они пишут короткие опровержения. Заметку прочтут миллионы людей, а опровержение — десять тысяч.

Престон. Это мне не нравится.

Макферсон. Что?

Престон. Вы вмешиваетесь в работу моего отдела. Я привык его вести сам.

Макферсон. Простите. Вы правы, Билль, и я очень жалею. Но вы перестали меня понимать.

Престон. Мне казалось, что месяц назад я вас понимал. Вы переменились за этот месяц.

Макферсон. Конечно, переменился. Это вам и предстоит понять. Ну, желаю успеха.

Престон. До свиданья. *(Выходит.)*

Гульд. Через три минуты придет Смит.

Макферсон. Да. Ну что ж, я думаю, ему придется согласиться. Тридцать тысяч за серию статей и книгу с гарантированным тиражом. Честное слово, если бы она не нужна была мне до зарезу перед выборами в конгресс, я бы не дал ему больше пятнадцати. Согласится. Его дела слишком плохи. Он полгода не писал и не получал ни доллара.

Гульд. А почему он не писал?

Макферсон. Я получил от него два письма: с Окинавы и из Японии. Послевоенное помешательство. Он думал, что со дня подписания мира всюду начнут порхать голуби и цвести розы. А мир остался таким же, каким был. Это вывело его из равновесия. Он заявил мне, что не может писать, пока не поймет, что происходит в мире. Ничего, поедет.

Гульд. Он собирается жениться на Джесси.

Макферсон. Вот как! Теперь понимаю. Ну что же, печально, но хорошо. Поедет. Джесси не такая женщина, чтобы выйти за нищего.

Входит Смит.

Смит. Здравствуйте, шеф. Здравствуй, Джек.

Рукопожатие.

Макферсон. Садитесь, Гарри.

Смит. Сел. Нескромный вопрос: зачем вы меня так срочно вытащили? Меня прошлой ночью так трясло над Тихим океаном, до сих пор болят все кишки.

Макферсон. Боюсь, что теперь вам придется трястись над Атлантическим.

Смит. Что вы мне предлагаете?

Макферсон. Россию.

Смит. Россию? Последний месяц меня мучила бессонница, и я вдруг, впервые в жизни, стал читать на ночь нашу уважаемую газету. Судя по вашему новому политическому курсу, вам, пожалуй, нет смысла посылать в Россию именно меня.

Макферсон. Во-первых, благодарю вас за то, что вы наконец стали читать мою газету. А во-вторых, я думаю, что при моем новом курсе именно вам и надо поехать в Россию.

Смит. Шеф, вы спутали меня с Джеком.

Гульд. Не валяй дурака. После той книги, что я уже написал о России, русские были бы идиотами, если бы снова пустили меня туда. К сожалению, они не идиоты.

Смит. Но после той книги, что я уже написал о России, надо быть идиотом, чтобы при вашем новом курсе советовать шефу послать в Россию меня.

Гульд. Благодарю, но ты, как всегда, все спутал. И я тебе сейчас объясню, почему не я, а именно ты идиот.

Смит *(удобно усаживаясь в кресле)*. Интересно. Факт для меня безусловен, но причины его не вполне ясны. Меня всю жизнь волновал этот вопрос — почему?

Гульд. Ты идиот потому, что не знаешь, что такое диалектика. Диалектика — это наука о том, что все бесконечно движется и изменяется.

Смит *(прерывая)*. Очень приятно. Никогда в жизни я так быстро не умнел.

Гульд *(продолжая)*. И твоя хвалебная книга, написанная в сорок втором году, только поможет тебе сейчас написать совсем другую книгу о России. Полезную нам.

Смит. Кому — вам?

Макферсон. Людям, считающим, что в Америке не должно быть коммунизма.

Смит. Я тоже принадлежу к числу таких людей. Каждому свое: русским — их строй, а нам — наш. Дальше?

Гульд. Дальше, ты должен снова поехать в Россию и написать о ней всю правду.

Смит. Я и тогда написал всю правду.

Гульд. Нет.

Смит. Эй, полегче на поворотах.

Гульд. Что ты написал? Что русские — храбрые солдаты, что Сталинград героически оборонялся, что их летчики шли на таран, что их женщины были снайперами. И ты воображаешь, что это — вся правда о России?

Смит. Все, что я написал,— правда.

Гульд. А ты не думаешь, что сейчас, когда эти храбрые сол-

даты дошли до сердца Европы и влезли в Корею, когда эти летчики летают над Веной и Порт-Артуром,— ты не думаешь, что эта правда оборачивается уже не против немцев, а против нас?

Смит. Это я уже читал в нашей уважаемой газете.

Гульд. И тебе кажется, что русские не полезут дальше?

Смит. Напротив, они завоюют сначала Европу, потом Америку, потом Австралию, потом Антарктику... Какая чепуха.

Гульд. Чепуха? А ты читал Коммунистический манифест Маркса? А Ленина «Империализм, как высшая...— то есть последняя —...стадия капитализма»? Заметь — последняя! Ты читал или нет?

Смит. Нет, не читал. Но при чем тут это?

Гульд. А при том...

Макферсон. Подождите, Джек. Вы продолжите вашу дискуссию без меня. Мне пора уходить. Советую вам, Гарри, внимательно выслушать все, что вам скажет Джек. Он скажет вам наше общее мнение. А сейчас несколько слов... Лететь через неделю. Срок — три месяца. Книга — через месяц после приезда. Часть пойдет статьями в газете. Гарантирую издание. Гарантирую успех. Гарантирую тридцать тысяч долларов. Ответ завтра, здесь, в двенадцать ночи. Ваше да — и мой первый чек на семь тысяч пятьсот. Подумайте. До свиданья. *(Выходит.)*

Смит. Семь с половиной тысяч. Недурно для начала. Такие большие деньги наводят меня на мысль, что я должен написать для вас порядочную гадость.

Гульд. Нет. Ты просто должен учесть требования времени. И наши сегодняшние взгляды на Россию, изложенные вкратце вот хотя бы здесь *(вынув из кармана газету, передает ее Смиту)*, в моей статье. Она не блещет красотами стиля. Ты знаешь, я не стилист. Но некоторые ее мысли и даже, пожалуй, название могли бы пригодиться.

Смит. «Десять причин, по которым русские хотят войны». Это неправда. Русские не хотят войны. Этого не может быть.

Гульд. Когда ты уехал из России?

Смит. В декабре сорок второго.

Гульд. А сейчас февраль сорок шестого.

Смит. И все-таки не может быть, чтобы они сейчас хотели войны.

Гульд. Ну, не сейчас, пусть они даже не хотят ее сейчас, но я сам не боюсь ставить точки над i. Я сам стою за немедленную предупредительную войну против мирового коммунизма. Коммунисты — фанатики, а русские — вдвойне фанатики: как русские и как коммунисты. Поверь, ничто их не остановит, если они смогут подчинить мир своим идеям.

Смит *(взявшись руками за голову)*. Довольно. Замолчи.

Гульд. Я прав.

Смит. Может быть. Все может быть. Я уже перестал что-нибудь понимать в этом взбесившемся послевоенном мире. Бомбы, шпионаж, Иран, Корея, Триест. Блоки, союзы. Разве об этом я думал, когда шел по Сахаре, когда валялся в грязи на Окинаве, когда из меня выковыривали осколки на Новой Гвинее? Ради чего все это было? Я не могу дышать, я не могу писать, я не хочу думать. Я приехал с десятью долларами в кармане, я пропил все, чтобы не думать. *(Закурив, вдруг спокойно.)* Не знаю, хотят или не хотят воевать русские, но мне не хочется писать эту книгу. Я вместе с ними мерз на фронте под Гжатском, я пил с ними водку в окопах, я видел повешенных русских детей, и пусть даже все, что ты говоришь, правда, не мне писать эту книгу. Ищите другого.

Гульд. Подумай до завтра.

Смит *(встав)*. Подумай, подумай! А что тут думать? Конечно, в моем нынешнем положении ехать надо. Глупо не ехать. Но я не могу.

Пауза.

Слушай, одолжи мне сотню долларов — мне нужно сегодня. Так или иначе, я их отработаю и отдам.

Гульд. Может быть, больше?

Смит. Нет, сто.

Гульд. Держи. *(Нажимает кнопку звонка.)*

Входит Джесси.

Джесси. Да.

Гульд. Джесси, во-первых, мы уходим. *(Кивает на телефон.)*

Джесси *(садясь)*. Хорошо, я буду здесь.

Гульд. Во-вторых, передайте патрону, что я ему позвоню, а Смит придет с ответом завтра в двенадцать. Ну, и в-третьих, до свиданья.

Джесси. До свиданья.

Смит. До свиданья, Джесси.

Джесси. До свиданья.

Гульд выходит первым. Смит задерживается в дверях.

Смит. Джесси.

Джесси. Да, милый.

Смит. В десять тридцать в Пресс-баре. Да?

Джесси. Да, милый.

Смит выходит.

(Встает, проходит по комнате.) Да, милый. Конечно, милый, очень милый... На три месяца... Ну что ж, еще три месяца ждать счастья. Это не так много для женщины, которой *(смотрится в зеркало, вделанное в сумку)*, между нами говоря, только между нами говоря, все-таки тридцать три года.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Вечер следующего дня. Бар ресторанчика, где журналисты — завсегдатаи. Это длинная тесная комната, через которую надо пройти, чтобы попасть в ресторан. Слева — наружная дверь, справа — дверь в ресторан. На переднем плане два-три низких столика с глубокими креслами. В глубине — цинковая стойка бара, несколько полок с бутылками, за стойкой бармен.
На стенных часах 10.30.

За одним из столиков Смит. Во время действия то один, то другой человек пересекает сцену, выходя из ресторана или входя в него; некоторые подходят к стойке, несколько минут, переговариваясь, стоят у нее, пьют и уходят.
Из ресторана выходит Престон.

Престон. Добрый вечер, Гарри. Опять тут, и опять в то же время.

Смит. Я жду здесь Джесси, так же как и вчера.

Престон. Неудачное место для свиданий. Сто журналистов в час туда и назад.

Смит. До войны здесь мало кто бывал. А впрочем, наплевать. Я женюсь.

Престон. На Джесси?

Смит. Да. Садись.

Престон. Некогда. Надо идти читать ночные телеграммы. *(Присаживается на ручку соседнего кресла.)* Утром был на прощальной пресс-конференции у русских.

Смит. Ну как?

Престон. Ничего. Кое-кто из наших пробовал их напоследок поддеть. Но они дали сдачи — сказали, что значительная часть нашей прессы не является, по их мнению, голосом американского народа и что, наоборот, они считают, что оскорбят наш народ, если признают такую прессу его голосом.

Смит. Неплохо.

Престон. Мне тоже понравилось. Сегодня буду на все корки разделывать их за это. Стало трудно работать, Гарри, особенно в нашем иностранном отделе.

Смит. Почему?

Престон. Торопимся, пишем много глупостей. Противно. И шеф безумствует, особенно когда Гульд сидит здесь.

Смит. Я тоже это заметил.

Престон. Ничего не поделаешь — во время войны шеф пожадничал, переборщил влево. Не послушал Гульда. А теперь дает задний ход, но никак не хочет понять, что для этого даже автомобиль надо сначала хоть на секунду остановить. Нет, ему подай сразу полный ход назад.

Смит. Не пробовал возражать?

Престон. Возражать? Какой смысл? В конце концов я для него не больше чем рабочий на конвейере. Вчера я привертывал левое колесо, а сегодня он приказал мне привертывать правое. Он искренне удивится, если я начну возражать, и найдет другого. И этот другой все равно будет делать то, что захочет он. А он хочет крайностей, потому что этого хотят его большие хозяева с Уоллстрита. И если он начет им возражать, они точно так же найдут другого вместо него, как он — другого вместо меня. Не так ли?

Смит. Верно, но противно.

Престон. Противно, но привычно, и потом, в конце концов я только редактирую свой отдел, а все эти пакости пишут и подписывают другие, независимо от того, я здесь сижу или не я. Кстати, посмотри сегодня двадцать строк Харди. Все-таки он страшная скотина.

Пауза.

Значит, в Россию?

Смит. Еще не знаю. Сегодня должен дать ответ шефу.

Престон. Разве? А я уже сегодня отправил просьбу о визе для тебя.

Смит. Вот как? Значит, он уже решил, что я решил?

Престон. Нет, проще. Он решил, что он решил, и, стало быть, это решено. Доброй ночи, Гарри. *(Выходит.)*

Смит (*берет из кипы газет одну, листает, находит нужное место. Читая, подходит к стойке*). Еще виски.

Бармен наливает Смиту виски.

(Продолжая читать, возвращается на свое место.) Вот свинья. *(Отшвыривает газету.)*

Из наружных дверей по направлению к дверям ресторана проходит Харди.

Эй, Харди, на минуту.

Харди *(подходя)*. Добрый вечер. Я вас не видел почти пять лет. Вы здорово изменились.

Смит. А вы, к сожалению, нет. Сядьте, выпьем.

Харди. Мне некогда. Надо поужинать и еще кое-что написать.

Смит. Довольно с вас на сегодня, уже написали. Выпьем.

Я плачу. *(Бармену.)* Два виски. *(Харди.)* Зачем вы написали это свинство о русских журналистах? Это же вранье.

Харди. Есть люди, которые это видели.

Смит. Врете.

Харди. Рассказывали, что видели.

Смит. Опять врете. Видели, что русские журналисты вручали деньги нашим профсоюзным деятелям? Ну, нас никто не слышит, будьте человеком, сознайтесь, что это вранье. Только мне одному под честное слово?

Харди. Вам одному под честное слово?

Смит. Да.

Харди. Вранье.

Смит *(поднявшись и взяв со стойки два приготовленных барменом стакана виски, возвращается.)* Пейте.

Харди пьет.

Ну почему вы такая свинья?

Харди. Ну вас к черту. Мне надоело это вечно слушать.

Пауза.

Заказывайте еще виски, и я раз в жизни скажу вам начистоту все, что я думаю о себе и о вас.

Смит *(бармену)*. Еще виски.

Харди. В свои хорошие времена вы зарабатывали в шесть раз больше, чем я.

Смит. Почему в шесть?

Харди. Не спорьте. Я всегда точно знал, кто сколько зарабатывал, если он зарабатывал больше меня. Я беден и поэтому завистлив, *(Поднимается, берет со стойки виски и, возвратившись, пьет.)* За здоровье вашей будущей жены.

Смит. Что?

Харди. Я знаю все немножко раньше остальных. Это моя профессия. Я — репортер скандальной хроники. Я — свинья, свинья только потому, что я всегда зарабатывал в шесть раз меньше вас или Престона.

Смит. Займитесь другим.

Харди. Не умею. Я бездарен. Двадцать строк скандала, написанных очень скверным языком. Но людям все равно, как написан скандал, лишь бы он непременно был в каждом номере. Еще виски, и я расхрабрюсь и скажу вам кое-что еще.

Смит *(бармену)*. Еще виски.

Харди. У меня жена и трое — это было, когда вы уезжали на войну. А теперь — жена и пятеро. И домик в Джамэйке в рассрочку, которой нет конца, и мебель в рассрочку, и жизнь в рассрочку. И десять долларов за скандал, из которых шесть — на пе-

ленки и лекарства. Я, между прочим, очень люблю детей. *(Идет к стойке, возвращается с виски.)* Выпьем за детей. Я знаю, вы все надо мной смеетесь, что я напиваюсь только за чужой счет. Выпьем за моих детей за ваш счет. *(Пьет.)* Когда-нибудь они меня поймут. А может быть, и нет. Красивые поступки начинаются со ста долларов в неделю. А за пятьдесят приходится делать только некрасивые. Впрочем, еще одно виски, и я договорю до конца.

Смит *(бармену)*. Еще виски.

Харди. Вручили деньги профсоюзным деятелям. Вранье? Конечно. Вранье за десять долларов. А вы? Поездка в Россию. И план книги, который предложил вам Гульд. Да, да, я все знаю, это моя профессия. Это тоже скандал, но только за тридцать тысяч. Сколько у вас детей?

Смит. У меня нет детей.

Харди *(снова идет к стойке и возвращается с виски)*. Выпьем за ваших детей. То есть нет, я уже пьян. Я хотел сказать: выпьем за то, чтобы у вас никогда не было детей. Опять не то. Нет, нет, я именно это и хотел сказать. Тогда легче делать красивые поступки. И за вашу книгу о России. *(Пьет.)* Непременно напишите. Тридцать тысяч. Я вам советую. Лучше гадость за тридцать тысяч, чем за десять долларов. А делать гадости придется все равно. Никуда не уйдешь. Тридцать тысяч. Я искренен: вы мне всегда нравились. Вы хороший парень. Еще виски и... Нет, не могу. Я уже пьян. Меня не любят и редко угощают. Последний раз — в прошлом году. Я здорово пьян. Доброй ночи. Я, кажется, уже не пойду обедать. *(С трудом встает.)*

Из наружных дверей входит Морфи.

Морфи. Гарри!

Смит. Боб!

Морфи. А, Харди. А ну-ка, выйдем отсюда, Харди. Всего на пару слов. *(Смиту.)* Прости, Гарри, это займет у меня ровно три минуты.

Харди *(заплетающимся языком)*. Слушайте, Морфи, я никуда не пойду с вами.

Морфи. Э, да он пьян.

Харди. Да, я пьян, и оставьте меня в покое.

Смит. Оставь его в покое.

Морфи. Ладно. Его счастье, что он пьян.

Харди. Счастливого пути, Смит. *(Идет к дверям, останавливается.)* А вы, Морфи, бросьте ваши штуки. А то я напишу вашему патрону мистеру Херсту. Вы ведь служите у мистера Херста... Я напишу ему про ваши штуки, и, честное слово, вам тогда не поздоровится.

Морфи *(садясь и отворачиваясь)*. А ну его к черту. Как твои дела, Гарри?

Харди *(держась за дверь, с пьяным упорством)*. Вы ведь служите у мистера Херста? А?

Морфи. Убирайтесь, пока живы.

Харди *(так же)*. Хорошо. Но вы ведь служите у мистера Херста? А?

Морфи. Да, я служу у мистера Херста. Что еще?

Харди. Ничего. Мне просто приятно услышать это из ваших уст. Доброй ночи. *(Исчезает в дверях.)*

Смит. Я второй день живу здесь как бессловесный. Молчу и слушаю, слушаю и молчу. Что-то случилось или со мной, или с Америкой!

Морфи. И с тобой и с ней. Ты видел, что такое война, а она не видела. И поэтому у тебя с ней разные взгляды на будущее — вот и все.

Смит. Это правда, но не вся.

Морфи. Конечно. Вся правда собрана только в одном месте.

Смит. Где?

Морфи. В царстве небесном.

Смит. Вот Гульд тоже отбарабанил три года на войне, и как с гуся вода.

Морфи. Три года в штабе воздушной контрразведки. Два раза летал. Шесть раз получал ордена. Он все еще ходит в полковничьей форме?

Смит. Нет.

Морфи. Снял. Еще месяц назад ходил. Полковник Гульд. При всем его уме ему до судорог нравилось, когда его называли полковником. Итак, значит, они с Макферсоном отправляют тебя в Россию?

Смит. Подожди. Потом. Все только и делают, что говорят со мной об этом. Я тебя не видел тысячу лет, с Новой Гвинеи. Ты совсем опух. Здорово пьешь?

Морфи. Немножко больше, чем обычно.

Смит. Почему?

Морфи. Скорблю о несовершенстве мира.

Смит. И пишешь Херсту статьи о том, что во всем виноваты большевики?

Морфи. Да. Надо же найти виноватых. Я бы с бо́льшим удовольствием написал, что во всем виноват мистер Херст, но боюсь, что он этого не напечатает. А впрочем, наплевать: что бы я ни написал, мир не станет от этого ни лучше, ни хуже.

Смит. А за что же тогда ты собирался бить беднягу Харди?

Морфи. Это совсем другое дело. Двух русских ребят, о которых он написал, я встречал на фронте, на Эльбе, и пил с ними водку. Они же, черт возьми, журналисты, как и я. Есть поговорка: собака ест собаку, но это скверная поговорка. Я одинок, но я против нее. Зачем он их тронул? Что, ему мир тесен, в нем мало скандалов без того, чтобы трогать старых друзей, военных корреспондентов? Свинья. Когда он пишет черт знает что об этих русских журналистах, я же не могу ему ответить в своей газете, что это клевета. При моем патроне я могу написать о русских только еще худшую клевету. Но пару раз, без объяснения причин, молча дать в зубы Харди... в этом я нахожу маленькое утешение. Ты знаешь мою философию: в мире все равно и не пахнет моралью, и черт с ней, но давайте без свинства хоть в своем кругу.

Смит. Пока шла война, мне сто раз казалось, что после нее все должно перемениться.

Морфи. Должно? Во время войны у нас взяли взаймы душу. А теперь не хотят платить долгов. Банк добрых надежд прогорел, мой дорогой. Если бы мне сейчас было двадцать, я бы, может, возмутился, послал все к черту и пошел к коммунистам. В конце концов они мне, пожалуй, нравятся больше всех остальных. Но мне сорок шесть, и у меня скверная привычка высасывать виски ровно на семьдесят пять долларов в неделю, и ни долларом меньше.

Смит. До войны ты пил на пятьдесят.

Морфи. Это было до войны... А пятнадцать лет назад, когда я еще не начинал выходить в тираж, я вообще мало пил, но зато позволял себе в статьях много вольностей, и мистер Херст ничего — терпел. А теперь я исписался, со скрипом двести долларов в неделю — и точка, и, исключая пакостей про журналистов, я пишу все, что будет угодно моему дорогому хозяину, будь он проклят заодно с твоим.

Смит. Ну, все-таки это не совсем одно и то же.

Морфи. Не совсем? Это верно. Мой — правый край, а твой — правый хавбек. Но, в общем, они из одной футбольной команды... Впрочем, я иногда даже не сержусь на своего. В конце концов, если бы все было наоборот и не Боб Морфи служил у Вильяма Рандольфа Херста, а Вильям Рандольф Херст — у Боба Морфи, я бы тоже не позволял ему писать то, что захочет писать он, а заставлял бы его писать то, что хочу я.

Смит. А чего ты хочешь?

Морфи. Сейчас уже ничего. Я бы хотел ничего не писать и все равно получать свои двести долларов. Но, к сожалению, это невозможно.

Смит. А теперь о том, о чем ты хотел говорить с самого начала: ехать ли мне в Россию? Ты мой единственный друг. Твое «да» — это почти мое «да».

Морфи. Тридцать тысяч?

Смит. Да.

Морфи. Да. Домик в пятидесяти милях от Нью-Йорка — пятнадцать, обстановка — пять. И десять тысяч на черный день, или можешь год сидеть и писать, что захочешь. Что захочешь. Да. Правда, с другой стороны... Но кто я такой сам, чтобы говорить тебе о другой стороне? Да. Соглашайся. Сейчас все сошлось. Несмотря на все свои удачи, наши шефы в тревоге. Они не хуже нас с тобой знают, что половина Америки думает совсем не то, что мы пишем от ее лица. Мы — как привязная борода. Сорвать — и еще неизвестно, как будет выглядеть это лицо. Ты нужен Макферсону из-за твоей первой военной книги о России, которую хвалили даже русские. Это дает тебе объективность в глазах читателей. Именно тебе, и именно сейчас. Да. И выпьем за твою книгу. Хотя почему же за книгу? Какой же дурак пьет за болезнь, когда нужно пить за выздоровление? За твое выздоровление. За твои тридцать тысяч.

Пьют.

Смит. Кстати, Боб, у тебя нет до завтрашнего дня полсотни долларов?

Морфи. Кто же просит у меня денег к вечеру? К вечеру у меня их никогда не бывает. *(Выворачивает карманы.)* Вот и все, что есть: восемнадцать долларов.

Смит *(беря)*. Ладно. Я вчера кутил с Джесси в ночном клубе и совсем забыл, что мне с утра непременно надо купить эту маленькую штучку. *(Вытаскивает из жилетного кармана обручальное кольцо.)*

Морфи. Женишься на Джесси?

Смит. Да.

Морфи. Жаль. Она не будет любить меня.

Смит. Почему?

Морфи. Все жены моих друзей не любят меня. Я прохожу перед глазами их мужей как вечное воспоминание об ином, лучшем, холостом мире, а жены не любят этого. Ты ждешь ее?

Смит. Да.

Морфи. Я пойду.

Входит Джесси.

Джесси. Здравствуйте.

Морфи. Вы все не меняетесь, Джесси. Ведь я вас знаю уже... *(после паузы)* пять лет.

Д ж е с с и. Слава богу.

М о р ф и. Ну, я пошел. Гарри, совсем забыл. Дай мне мелочи на такси.

С м и т. Держи.

Рукопожатие.

М о р ф и. Доброй ночи. *(Выходит.)*

Д ж е с с и. Он по-прежнему вечно без денег. Ужасная жизнь. Что, посидим здесь?

С м и т. Нет, поедем в клуб.

Д ж е с с и *(смотрит на часы. На них без четверти двенадцать)*. Но ведь тебе в двенадцать к Макферсону. Ты не успеешь.

С м и т. Да, да, верно. Посидим несколько минут здесь. Вот. *(Достает кольцо.)* Смотри...

Д ж е с с и. Вижу. Я очень счастлива.

С м и т. Если бы ты знала, как я ночью нигде не мог найти себе места, оставшись один у дверей твоего дома. Почему ты не оставила меня у себя?

Д ж е с с и. Гарри, милый, ты же сделал мне вчера предложение.

С м и т. Да, и ты приняла его.

Д ж е с с и. Да, и я приняла его. Я больше не твоя любовница, я твоя невеста. Я знаю, что ты скажешь: мы с тобой уже не мальчик и девочка. Верно. Но пусть будет хоть сейчас так, как я мечтала в юности. Эти кольца, и хлопоты, и поездки по магазинам, и только что купленный дом, в котором никто не жил до нас и порог которого я переступлю впервые, только приехав с тобой из церкви,— ты понимаешь меня?

С м и т *(взяв ее за руку)*. Понимаю.

Д ж е с с и. Нет, не до конца. Только такая старая грешница, как я, может с такой безумной силой захотеть вдруг совсем другой жизни. Наш дом. Наш... Пока ты будешь в России, я там все сделаю сама, своими руками. И когда ты вернешься, наш дом станет лучшим местом в мире для тебя, мой бродяга, мой молчаливый, мой седой, мой красивый. *(Ерошит руками его волосы, целует его в голову. Смотрит на часы.)* Тебе пора к Макферсону.

С м и т. Нет, говори, говори еще, я успею.

Д ж е с с и. Быть вместе. Надеюсь, что бог меня не наказал и я еще не потеряла возможности иметь детей. И хоть несколько лет прожить, не кочуя по миру и не думая о деньгах.

Входит Г у л ь д.

Г у л ь д. Добрый вечер, Джесси. Гарри, почему ты здесь? Макферсон через минуту ждет тебя у себя.

С м и т. Да. Сейчас я ему позвоню. *(Встает.)*

Г у л ь д. Ты что ему скажешь?

С м и т *(встречается глазами с Джесси. Долгое молчание)*. Сейчас я позвоню ему. *(Выходит в вестибюль.)*

Г у л ь д. Он согласится?

Д ж е с с и. Думаю, да.

Г у л ь д. В этом случае он пробудет в России три месяца. И две недели на перелет туда и обратно.

Д ж е с с и. Ну и что же?

Г у л ь д. Я купил домик в Стамфорде. Сорок минут на машине отсюда. Тихо. Никого кругом.

Д ж е с с и. Очень рада. Но при чем тут я?

Г у л ь д. В конце концов ваше семейное счастье устраивает не кто иной, как я, и, перед тем как погрузиться в него до конца, ты могла бы в ожидании мужа тряхнуть стариной именно со мной, а не с кем-нибудь другим. Это было бы только естественно.

Д ж е с с и. Со вчерашнего дня — нет.

Г у л ь д. Джесси!

Д ж е с с и. Ни с тобой и ни с кем другим. Мы с ним заключили союз. Я знаю, как не хочется ему ехать. Но он идет на жертву ради меня. А я пойду ради него. Хотя, впрочем, если говорить честно, отказаться от тебя — это не такая уж жертва.

Г у л ь д. Да, конечно. *(Делает несколько шагов, прихрамывает более, чем обычно.)*

Д ж е с с и. Не надо, Джек. Я знаю о версии с японским снайпером. Но ведь именно я была с тобой в машине, когда мы налетели на этот столб в Маниле. Ты уже забыл?

Г у л ь д. Вот такой злой ты мне нравишься больше всего.

Д ж е с с и. Брось. Все равно больше никогда ничего не будет.

Пауза.

Как ты думаешь, Джек? Почему он так долго говорит с Макферсоном? Вдруг он... Нет, не может быть...

Г у л ь д. Почему не может быть? С этим сумасшедшим все может быть.

Входит С м и т.

С м и т. Задержался? Бармен, три виски.

Г у л ь д. Что ты сказал старику?

С м и т *(встречается глазами с Джесси, долго смотрит на нее)*. Что я сказал старику? Я сказал ему: да.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Прошло четыре месяца. Лето. Новый загородный дом Смита. Большой кабинет. Письменный стол, несколько застекленных книжных шкафов, еще почти пустых. Несколько кресел, два низких столика, диван; на диване, среди подушек, кустарная русская баба — покрышка для чайника. Часть стены стеклянная, за ней — веранда.

За столом Мег Стенли. Смит, расхаживая по кабинету, диктует ей.

Смит *(диктуя).* «Я бы не сказал, что русские вообще лишены способности улыбаться, но при слове «фашизм» они сразу теряют всякое чувство юмора. Они слишком хорошо помнят, что это такое, гораздо лучше, чем мы.

С каким обидным удивлением они сто раз спрашивали меня, как могло случиться, что мы в Америке уже забыли об этом.

Глупцы те, кто думает, что русские не хотят сейчас войны только из-за своих потерь или из-за своих разрушений. Я был в Средней Азии, в цветущем маленьком городке, недалеко от Ташкента. Война не коснулась его. И среди людей, с которыми я говорил, я нарочно выбрал нескольких, которые ни по ком не носили траура. И именно из разговоров с ними я окончательно понял, что дело не в усталости или слабости — дело в психологии людей, которые, как и вся сегодняшняя Россия, не хотели и не хотят войны с нами вне зависимости от своей слабости или силы.

— Что вы думаете о возможности войны с нами? — спросил я у одного из них.

— Я думаю об этом только тогда, когда читаю то, что вы пишете в ваших газетах,— ответил он. И мне нечего было ему возразить». *(Прервав диктовку.)* Ну вот, Мег, записали?

Мег. Конечно.

Смит. На этом и кончим шестую главу. *(Смотрит на часы.)* Я, кажется, впервые в жизни точен, на горе себе. *(Задумчиво.)* Тридцатого все будет кончено...

Мег. Что вы, Гарри?

Смит. Ничего. Я просто говорю, что тридцатого июня все будет кончено. Все. *(Обводит взглядом комнату.)* И это — тоже.

И вообще вся моя жизнь, такая, какая она есть сегодня. Впрочем, я вру, не тридцатого, а первого. Сутки уйдут у мистера Макферсона на чтение. А утром первого... *(Вдруг смеется.)* Нет, вы представляете себе его лицо утром первого?

Мег *(смеясь)*. Его хватит от злости удар.

Смит. Удар? Нет, он не таков. Злость только укрепляет его организм. Говорят, когда в тридцатом году он обанкротился, у него от злости вдруг прошла подагра, и прошла навсегда, и он уехал ловить рыбу во Флориду. А через два месяца вернулся и все начал сначала. Вот. А тут маленькая неприятность с маленьким служащим.

Мег. Положим, неприятность большая.

Смит. Но служащий маленький. Тем хуже для него. То есть для меня...

Пауза.

А помните, Мег, как пятнадцать лет назад я впервые пришел в вашу маленькую редакцию на Астор-Плейс? Только что из колледжа, молодой, счастливый и честный.

Мег. Вы и сейчас честный.

Смит. Сейчас? Да. Почти. Но тогда я был молод, и мне казалось, что можно быть счастливым и честным одновременно.

Мег. А сейчас вы несчастны?

Смит. Очень. Я уже не в том возрасте, когда еще можно высмеивать заурядное счастье иметь жену, дом, чековую книжку. Мне трудно думать, что через десять дней я собственными руками разрушу все это, как карточный домик.

Мег. Может быть, еще как-нибудь обойдется?

Смит. Может быть... Кстати, тот «паккард», на котором вы приезжаете сюда, он тоже в рассрочку, как и все остальное, впрочем.

Мег. Но жена не в рассрочку.

Смит. Да, жена не в рассрочку. А впрочем, не знаю. Ничего не знаю.

Мег. Гарри, вы негодяй. У вас хорошая жена, она вас любит.

Смит. Да, меня она любит, но я еще не знаю *(хлопает рукой по стенограмме)*, как она отнесется к автору этой книги. Я сейчас сам лишаю ее того счастья *(обводит глазами комнату)*, которого она так долго ждала и за возможность которого наконец она полюбила меня, может быть, больше, чем за все остальное. Я не смогу даже упрекнуть ее, если она уйдет от меня. Я обманул ее.

Мег. Она не уйдет от вас, Гарри. От вас, такого, каким вы были в молодости и каким опять стали сейчас, нельзя уйти.

Смит. Не знаю. Если бы я мог это знать.

Мег. Скажите ей всю правду о книге. Сегодня же.

Смит. Ни за что. А вдруг — нет? А так еще десять дней тихого счастья. Нет, пока этого никто не должен знать, кроме вас, мой старый, мой маленький, мой смешной лохматый друг.

Пауза.

Мег. Я поеду.

Смит. Нет. Останьтесь на час. Пообедайте с нами. Пока в этом еще нет нужды, но Джесси все равно готовит сама, и чудно это делает. Оставайтесь. Я сегодня вдруг проснулся ночью и вспомнил Фрэда Вильямса таким, каким он был когда-то, и нашу с вами газетку, которую враги называли красной, хотя она была всего-навсего честной. Между прочим, вы не замечали, Мег, что все чаще слово «красный» становится синонимом честного?

Мег. Вот кончите книгу, и вас тоже снова назовут красным. Это не так плохо, Гарри. Много миллионов людей в Америке будут за вас. У них нет права голоса в наших газетах, но они молча будут за вас. Да.

Смит. Да. Боюсь только, что это прилагательное «красный» сильно сократит мои доходы. Черт меня дернул послушаться Джесси и купить в рассрочку этот большой дом вместо маленького, и сразу, как хотел я. Был бы хоть дом.

Входит Джесси. Она в фартуке.

Джесси. Ну, кончили? *(Подходит к Смиту, целует его.)* Устал?

Смит. А ты?

Джесси. Я — очень. С этим яблочным пирогом, как говорит Морфи, дьявольская возня.

Смит. А как Боб, проснулся наконец?

Джесси. Кажется, да. Во всяком случае, полчаса назад кто-то фыркал и чертыхался в ванной.

Смит. Я просил Мег пообедать с нами.

Джесси. Очень рада. Я просила ее вчера, но она не осталась.

Мег. Вчера надо было за вечер расшифровать двадцать страниц.

Джесси. Хоть бы вы уговорили его почитать мне.

Смит. Я нарочно сказал Мег, чтобы она оставляла все расшифрованное в Нью-Йорке. Сейчас — только вперед. Когда кончу, прочту все сразу.

Джесси. Но скажите, Мег, это интересно? Я вам так завидую.

Мег. Да, это очень интересно.

Пауза.

Джесси, когда у вас обед?

Джесси. Через полчаса.

Мег. Я пока приму у вас ванну. Хорошо?

Джесси. Конечно. Возьмите мой халатик, он висит там.

Мег. Спасибо. *(Выходит.)*

Джесси *(заглядывая в лежащую на столе стенограмму)*. Хорошо идет?

Смит. Ничего.

Джесси. Ну почему ты не хочешь диктовать мне? Честное слово, я не хуже стенографирую, чем твоя Мег, а для меня это было бы такое счастье.

Смит. А для меня такое счастье, что ты можешь наконец не стенографировать, не писать на машинке, что ты можешь привыкать быть просто хозяйкой этого дома. Хозяйкой — и все. И даже этот яблочный пирог — только твоя прихоть, не больше.

Джесси. Ты ничего не понимаешь. *(Указывая на стенограмму.)* Это тоже была бы только моя прихоть, раз диктуешь ты. Ты. *(Целует его.)* Нет, ты прав, я бы тебе мешала. *(Снова целует его.)* Я бы не могла удержаться. *(Заглядывает в стенограмму.)* Но мне так интересно. Я несколько раз втихомолку заглядывала сюда. Но у Мег другая система знаков, я с трудом понимаю у нее одно слово из десяти. Пока ты спишь, я сама по утрам убираю твой кабинет и ползаю по полу и подбираю твои бесчисленные окурки. Вчера их было сорок два.

Смит *(целуя ей руку.)* Ну зачем ты?

Джесси. Как зачем? Мне приятно. А потом я отворяю окно и сижу здесь, в твоем кресле, и что-нибудь пою, бормочу себе под нос и думаю о тебе и о том, что бы еще повесить здесь, над диваном, когда ты кончишь книгу и мы опять получим деньги. Здесь надо повесить маленькую хорошую акварель, думаю я. И опять что-нибудь пою и бормочу, а потом иду будить тебя...

Смит. У тебя усталый вид.

Джесси. Я устала от счастья. Я десять раз за день подхожу к этой двери и слушаю, как ты ходишь по комнате, и когда твои шаги приближаются к двери, мне каждый раз хочется высунуться и поцеловать тебя. Но я этого не делаю и тихо стою за дверью. А потом ухожу к себе и опять думаю о тебе. И так до вечера.

Пауза.

Ну разве не хорошо, что я все-таки упрямая и заставила тебя купить большой дом? Ну где бы ты расхаживал и топотал своими ножищами?

Пауза.

(Вынимает из кармана фартука письмо.) Я совсем забыла. Письмо от твоей мамы.

Смит *(разорвав конверт и вынув оттуда маленький листок)*. Да, моя старуха по-прежнему неразговорчива. *(Читает.)*

Джесси *(садясь рядом с ним)*. Мне можно?

Смит. Конечно.

Оба молча читают.

Джесси. Какой ужас. Зачем она так пишет?

Смит *(складывая письмо)*. Ничего не поделаешь. У нее свой взгляд на эти вещи.

Джесси. Ты даже побледнел.

Смит. Да? Ну что ж, это неприятно, когда собственная мать называет тебя подлецом. До нее, очевидно, дошли слухи, что я пишу книгу о России, книгу, плохо согласующуюся с моими прежними убеждениями. Вот и все.

Джесси. Не понимаю. Какое ей дело до русских и до этой книги? В конце концов, это только твое дело, и больше ничье.

Смит *(с иронией)*. Она — человек старомодных либеральных взглядов. Она верит в идеалы. И когда, по ее мнению, ее сын начинает зарабатывать деньги бесчестным путем, она не хочет больше получать от него своей пенсии. На ее стороне старомодная, но логика.

Джесси. Ты огорчен? Ты думаешь, что в самом деле неправильно пишешь свою книгу?

Смит. Нет. Наоборот. Ее письмо только лишний раз говорит мне, что я правильно пишу свою книгу.

Пауза.

Что, кроме яблочного пирога, сегодня?

Джесси. Баранья нога. *(Вскочив и поспешно поцеловав Смита.)* Но боюсь, что ее уже не будет. *(Выбегает.)*

Смит *(снова вынимает письмо, усмехается)*. Она думает, что у меня будут деньги, но она не сможет их брать. А я думаю, что она сможет их брать, но у меня не будет денег.

С веранды входит Гульд, за ним — Макферсон.

Гульд. Здравствуй, Гарри. *(Бросает шляпу на кресло.)* Привез к тебе шефа посмотреть твою берлогу.

Смит. Здравствуй. Здравствуйте, шеф.

Макферсон. Надеюсь, вы нас извините, Гарри.

Смит. Я рад. Садитесь. Виски?

Макферсон. Нет, спасибо. Сегодня мне еще придется много пить.

Смит. По-моему, это не в ваших правилах.

Макферсон. Да. Но не каждый день человеку исполняется шестьдесят лет.

Смит. Вам шестьдесят?

Макферсон. Да. И вспомнил я об этом только сегодня утром.

Гульд. Утром шеф, кряхтя, поднялся с постели, почувствовал, что поясница у него вдруг не разгибается, и понял, что ему стукнуло шестьдесят.

Макферсон *(неожиданно шутливо, но довольно сильно ударяет Гульда в грудь. Тот, смеясь, валится на диван).* Гульд лжет. Сегодня утром я проснулся... проснулся, одним словом, не у себя дома, и моя поясница сгибалась и разгибалась не хуже, чем всегда. Но, приехав в редакцию, я застал у себя на столе чек на четырнадцать тысяч двести тридцать два доллара. Когда мне было тридцать и мне впервые в жизни показалось, что я завтра обанкрочусь, я имел силу характера проявить чувство юмора и из семи оставшихся у меня тысяч пять положить в банк срочным вкладом, с обратным получением в день своего шестидесятилетия. На всякий случай. Увидев чек, я вспомнил, что мне шестьдесят. Основной капитал пять тысяч я положил снова срочным вкладом до девяноста лет, а проценты сегодня на моей вилле мне помогут уничтожить друзья, в том числе и вы с Джесси. Идет?

Смит. Я тронут. И поздравляю вас. Но...

Макферсон. Я не пригласил вас заранее. Это свинство. Но я действительно вспомнил только сегодня. Утешьтесь тем, что вы будете в одинаковом положении со всеми, и даже Уинстон Черчилль, который, может быть, тоже будет у меня сегодня по старой дружбе, узнал об этом только на час раньше вас. Ну, я должен ехать. Через час обед. А к вам я сделал все-таки восемь миль крюку. Четыре и четыре. У вас теперь есть машина?

Смит. Да. Только несколько минут, шеф. Я пойду спрошу Джесси.

Макферсон. Ждем.

Смит выходит.

Гульд. Чарли, а все-таки вы не лишены мелкого тщеславия. Ну зачем было о Черчилле?

Макферсон. Во-первых, Черчилль для меня не мелкое, а крупное тщеславие, тем более что сегодня его политика — моя политика, во-вторых, я знал его тогда, когда он был первым лордом адмиралтейства, а в-третьих, да, я тщеславен. Ну и что же?

Гульд. Ничего. Просто я думаю, что едва ли он будет у вас на обеде.

Макферсон. Как знать? По-моему, его как раз сейчас очень интересует американская пресса.

Пауза.

Гульд *(подходя к столу и заглядывая в стенограмму)*. Видимо, он пишет, как проклятый.

Макферсон. И хорошо делает. К тридцатому сентября готовая книга должна продаваться всюду.

Гульд. Три месяца — от получения рукописи до выхода книги. Успеет ли Кесслер со своим издательством?

Макферсон. Ему придется успеть. К сожалению, я пока еще не в состоянии откладывать дня выборов в конгресс. А книга мне нужна до этого, а не после этого, и вы это знаете не хуже меня.

Гульд. Слушайте, Чарли, а что, если начать предварительную рекламу сейчас?

Макферсон. Опять ваша сумасшедшая спешка! Через десять дней он кончит книгу.

Гульд. А если с завтрашнего дня? Лишние десять дней — это кое-что! Я вам еще никогда не давал плохих советов.

Макферсон. Но сейчас даете сумасшедший. Рекламировать книгу, ни разу не сунув в нее носа. Это был бы первый случай в моей жизни.

Гульд. Вы уже убеждались не раз, что у меня легкая рука?

Макферсон. Да.

Гульд. С завтрашнего же дня. Рекламу всюду. Я игрок на свой страх и риск. Идет?

Макферсон. На ваш страх и риск?

Гульд. На мой! Хотя, честно говоря, этот риск равен нулю. Я уже вижу эту книгу лучше, чем если бы я ее прочел. Ну, идет?

Макферсон. Вы самонадеянны.

Гульд. Да. Идет?

Макферсон. Идет. Только имейте в виду, что это, кажется, тринадцатый ваш совет, который я принимаю.

Гульд. Ничего. Я не суеверен. Вторая книга того же автора. Несколько выдержек из русских газет сорок второго года, где они пишут о первой книге, что Смит правильно подошел, верно понял

и так далее и тому подобное. Автор, о котором сами русские писали, что он правдив. Несколько теплых слов о Смите — лежал в окопах под Гжатском, был под Сталинградом. Человек, для которого тяжело сказать плохое о России, но который все-таки не может сейчас молчать, и так далее...

Макферсон. И так далее и так далее. Ясно. Как будет называться книга?

Гульд. Все так же: «Почему русские хотят войны?»

Макферсон. Нет, слишком прямо. Еще посоветуемся. А как вы думаете, Джек, русские в самом деле сейчас хотят войны?

Гульд. Сейчас? Конечно, нет.

Макферсон. А потом?

Гульд. Не знаю. Я знаю только одно: они уничтожают капитализм, а я хочу уничтожить коммунизм. Любыми средствами. Вот и все. На равных.

Макферсон. С той только разницей, что они это делают у себя дома, а вы лезете своей лапой в чужую страну, к ним.

Гульд. Вы не собираетесь записаться в коммунистическую партию?

Макферсон. Нет. Я просто подумал, что вы особенно беспощадны,— впрочем, как все ренегаты.

Гульд. Что вы сказали?

Макферсон. Я сказал, что вы особенно беспощадны,— впрочем, как все ренегаты. Профсоюзное прошлое дней вашей молодости не дает вам покоя.

Гульд. Чарли, не советую вам продолжать. Я иногда кусаюсь.

Макферсон. Знаю. Но вы не правы. Никогда не надо стыдиться своей биографии, а тем более такого эффектного начала ее, как у вас. Когда молодой руководитель забастовки вдруг сам дает мне шесть фельетонов с разоблачением красных, ей-богу, это эффектно. Я еще тогда, пятнадцать лет назад, сразу понял, что вы далеко пойдете вообще, а если станете работать в газете — особенно.

Гульд. Заметьте: в вашей газете.

Макферсон. Конечно, не в «Дейли уоркер». Когда вы думаете о коммунизме, вам все время кажется, что если бы он наступил в Америке, то вас непременно бы повесили.

Гульд. За компанию с вами.

Макферсон. Не уверен. А знаете, что бы вы сделали, если представить себе такой невероятный случай: вдруг завтра у нас коммунистическая диктатура?

Гульд. Интересно.

Макферсон. Очень. Вы бы быстро перекрасились и поспе-

шили выдать с головой всех ваших нынешних друзей, так же как пятнадцать лет назад всех ваших тогдашних.

Гульд. Очевидно, сегодня вы решили поссориться со мной.

Макферсон. Ничуть. Это вам просто за Черчилля и за мое тщеславие. Я действительно тщеславен, но очень не люблю, когда мне об этом напоминают другие. И потом, вы сегодня утром опять с излишней нежностью смотрели на мой редакторский стол, а я очень не люблю торопливости, особенно в молодых людях.

Гульд. Вы стареете, Чарли. Вы просто начинаете брюзжать.

Макферсон. Возможно.

Гульд. Можно подумать, что вам меньше, чем мне, хочется уничтожить коммунистов.

Макферсон. Нет. Но у меня для русских есть программа-минимум.

Гульд. Можете опубликовать?

Макферсон. Могу. Пять-шесть лет держать их под угрозой войны, не давая им оправиться, а потом потребовать от них всего трех вещей.

Гульд. Каких?

Макферсон. Исключительной свободы их рынка для нас — раз, отмены их монополии внешней торговли — два и сдачи нам крупных концессий — три. А в остальном пусть пока остаются коммунистами,— это их личное дело.

Пауза.

Гульд. Однако Смит заставляет себя ждать.

Входит Смит.

Смит. Прошу прощения, но у меня просто еще мало опыта разговаривать с женами. Джесси благодарит вас. Она уже одевается. Мы выедем вслед за вами через полчаса.

Макферсон. Хорошо. *(Гульду.)* Джек, вы третий раз за день забываете свою шляпу. Рассеянность к лицу только уже знаменитым людям. Да, кстати, Гарри, Гульд предлагает назвать вашу книгу «Почему русские хотят войны?». Как вам?

Смит. Не очень.

Макферсон. Мне — тоже.

Смит. Может быть, отрезать первое слово. Просто — «Русские хотят войны?». И большой вопросительный знак.

Макферсон. «Русские хотят войны». И маленький вопросительный знак, втрое меньше букв, почти незаметный. Незаметный, но объективный, так, чтобы, если вглядеться, его все-таки

можно было заметить. Ну что ж, это неплохая идея. Идет. Я жду вас. *(Выходит с Гульдом.)*

Несколько секунд на сцене один Смит. Потом из внутренней двери выходит Морфи, опухший более чем обычно, с крестиком пластыря над глазом, в толстой старой фуфайке.

Смит. Ну что, выспался наконец?

Морфи. Четырнадцать часов — с трех ночи. Я был здорово пьян, когда ввалился к тебе вчера?

Смит. Нет, ничего. Ты только почему-то держал под мышкой чью-то дамскую шляпу и со слезами на глазах говорил о том, какой, в сущности, хороший человек твой хозяин — Вильям Рандольф Херст.

Морфи. Ну, тогда я действительно был пьян, как свинья. Надо бросать пить. Зачем к тебе приходил Гульд?

Смит. А ты откуда знаешь?

Морфи. Его голос так похож на бормашину, что спутать невозможно.

Смит. Он приехал с Макферсоном. Шефу сегодня шестьдесят, и он заехал пригласить нас с Джесси на обед.

Морфи. Да... Ему, видимо, здорово нужна твоя книга. А что же яблочный пирог? Джесси обещала мне его.

Смит. Она не знала. Но пирог остается в силе. Ты пообедаешь с Мег, а к вечеру мы вернемся.

Морфи. Я с Мег? Эта твоя прогрессивная девица и при тебе шарахается от меня, как от змеи, а наедине со мной она просто выльет мне на голову горячий крем и, пока я буду зализывать ожоги, выскажет мне все, что она думает о мистере Херсте и обо мне. Она ведь искренне считает, что он и я — это почти одно и то же.

Смит. Мег? Ты сошел с ума.

Морфи. Я знаю, что я говорю. Она определенно обольет меня кремом. Я еще удивляюсь, почему она стенографирует тебе твою книгу. Наверное, у нее больная мама и ей до зарезу нужны деньги.

Смит. Нет.

Морфи. Так почему же тогда?

Смит. Почему?

Пауза.

Сигары вот в этом ящике.

Морфи. Третий раз я приезжаю к тебе и третий раз опять и опять, как свинья, завидую твоему счастью.

Смит. Ты боялся Джесси. Разве ты можешь на нее пожаловаться?

Морфи. Нет. Она так любит тебя, что терпит даже меня.

Пауза.

Да. Хорошо. *(Подходя к столу и взвешивая на руках стенограмму.)* И если бы еще вся эта жизнь *(обводит глазами комнату)* без необходимости этого свинства. Тридцать тысяч. А мне стали платить совсем паршиво. Впрочем... я вчера напился потому, что получил порядочный аванс под одно дело. У меня даже еще осталось. *(Вынимает из кармана скомканную пачку денег.)* Вот сколько еще!

Смит. А что за дело?

Морфи. В общем, дрянное. Попытка поставить новый рекорд высоты с пассажиром на борту. Я — пассажир.

Смит. Серьезный самолет?

Морфи. Нет. По-моему, дрянь, авантюра. Обыкновенный легкий спортивный самолет без всяких специальных приспособлений. Но в этом и соль. Они хотят поставить рекорд для этого типа. Реклама прочности. Новая и еще несолидная фирма. Но именно поэтому им нужен шум, и они хорошо заплатят мне за радиопередачу с борта самолета.

Смит. Сколько?

Морфи. Полторы тысячи.

Смит. Не лети. Ну их к черту. Если б на каком-нибудь «локхиде» или «консолидейтеде» — тогда другое дело.

Морфи. «Локхид» или «консолидейтед» — они и так хороши, им не нужна реклама, а этим нужна. Не могу. У меня, как, наверное, и у твоей стенографистки, здорово больна мать, и я должен сколотить долларов шестьсот и срочно послать ей в Рочестер на лечение. А сколотить их просто за счет отказа от выпивки — это свыше моих сил.

Пауза.

Слушай, скажи откровенно: ты в эту поездку не разочаровался в русских?

Смит. Нет.

Морфи. И они все такие же хорошие ребята, какими были во время войны?

Смит. Все такие же.

Морфи. Ей-богу, это свинство с их стороны.

Смит. Почему?

Морфи. Потому что, если бы они стали хуже, нам с тобой не было бы так совестно писать о них всю ту дрянь, которую мы о них пишем.

Входит Джесси.

Джесси. Я готова. Поехали.

Смит. До вечера, Боб. *(Берет Джесси под руку.)* Так сигары в столе.

Морфи. Это я уже запомнил. А вот где виски? Если не ошибаюсь, в этом шкафу?

Смит. Ты не ошибаешься.

Входит Мег.

Мег, я должен перед вами очень извиниться.

Мег. Ничего. Мне Джесси уже сказала.

Смит. Через час машина вернется и отвезет вас в город. Хорошо?

Мег. Очень хорошо.

Смит. А пока побудьте за столом хозяйкой и поухаживайте за моим старым Бобом.

Мег. Хорошо, я поухаживаю за вашим старым Бобом.

Джесси. До свиданья, Мег. А вы, Боб, попробуйте продержаться на ногах до нашего прихода.

Морфи. Попробую.

Смит. До свиданья. *(Выходит под руку с Джесси.)*

Мег садится в кресло против Морфи. Тишина. Шум отъезжающей машины. Снова тишина.

Морфи *(идет к шкафу, вынимает бутылки, два стакана)*. Виски или бренди?

Мег. Все равно.

Морфи *(ставит на столик, садится)*. Я пью без соды. А вы?

Мег. Все равно.

Морфи *(наливает)*. В долгий путь.

Оба пьют.

Вам, наверное, здорово противно стенографировать эту книгу?

Мег. Почему?

Морфи. Вы же левая. Впрочем, деньги есть деньги. Но со мной вам противно сидеть? Да? Ведь это бесплатно.

Мег. Нет, как ни странно, мне не противно с вами сидеть. Только...

Морфи. Что только?

Мег. Не философствуйте. Ладно?

Морфи. Ладно. *(Наливает.)* А вы знаете, почему я так много пью?

Мег. Почему?

Морфи. Я каждый день диктую и говорю по радио столько дряни, что мне надо постоянно дезинфицировать свою глотку. Я пью для дезинфекции.

Мег. Но иногда вы печатаете и на машинке. Вам нужно виски и для рук.

Морфи. Вы правы. Но это мне не по средствам. Пойдемте обедать.

Мег. Пойдемте. Послушайте, как тихо. Мы с вами — как два матроса на брошенном корабле.

Морфи. После кораблекрушения.

Мег. Или перед...

Долгая пауза. Оба молча выходят из комнаты.

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Та же обстановка, что и в третьей картине. Вечер. Прошло десять дней. Смит один, задумавшись, неподвижно сидит в углу в глубоком кресле. Долгое молчание. Входит Джесси, как и в предыдущей картине, в домашнем платье и фартуке.

Джесси. Что с тобой, Гарри?

Смит *(очнувшись)*. Да. Что?

Джесси. Что с тобой, милый? Половина десятого. Ты уже четыре часа сидишь вот так.

Смит. Неужели половина десятого?

Джесси. Я уже два раза заходила, думала, что ты задремал.

Смит. Нет, я не спал.

Джесси. Ты счастлив, что кончил книгу?

Смит. Да.

Джесси. Ты устал? Да? И все мои сегодняшние гости напрасно затеяны?

Смит. Нет, нет, почему же? Очень хорошо. Только откуда ты взяла денег? По-моему, на моей чековой книжке их уже нет.

Джесси. Денег? Конечно. Уже неделя, как их там нет. Но я...

Смит. Ты заняла денег?

Джесси. Нет, просто была моя тысяча долларов, которую я сберегла еще после армии.

Смит. Зачем ты...

Джесси *(перебив его)*. Замолчи. Сейчас же замолчи. Я была так рада тому, что у тебя кончились деньги и мы можем хотя пе-

делю жить на мои. Я была горда этим. И не порти мне моей радости. Завтра Макферсон прочтет твою книгу — и ты будешь опять богат. А сегодня ты еще совершенно бедный, совершенно мой, и даже будешь ужинать за мой счет. Боже, как это приятно. Это может понять только женщина.

Смит. Я все больше люблю тебя. Сегодня мне кажется, что уже нельзя любить тебя сильнее.

Джесси. Сегодня? А завтра? Завтра ты должен любить меня еще сильнее.

Смит. Завтра? Да, может быть, завтра я буду любить тебя еще сильнее, если только...

Джесси. Что — если?

Смит. Если только ты вдруг не бросишь меня завтра.

Джесси. Что ты говоришь, сумасшедший! Что с тобой? У тебя слезы на глазах. Ты устал. Ты просто ужасно устал. *(Не позволяя ему встать, становится перед ним на колени, прижимается к нему.)* Что ты придумал? Куда я уйду от тебя? *(Вскакивает.)* Скорей, пойдем посмотрим, как я все приготовила. *(Вытащив его из кресла, ведет за руку к двери столовой, открывает ее.)*

В глубине столовой виден празднично накрытый стол.

Тебе нравится?

Смит. Очень.

Джесси *(закрыв дверь и прохаживаясь по комнате под руку со Смитом)*. Ты — раз, я — два, Мег — три, Престон — четыре. Потом Фанни Бридж и еще одна моя старая приятельница — Салли Хопкинс, по-моему, ты ее не знаешь.

Смит. Не знаю.

Джесси. Я ее даже не очень люблю. Но она была всегда такая рассудительная и так осуждала меня, а теперь я ее зову, чтобы похвастаться перед нею тобой. Это — шесть. Гульд — семь. Я знаю, ты его недолюбливаешь.

Смит. Нет, ничего.

Джесси. Но я позвала его тоже нарочно. Он всегда относился к тебе немножко свысока, особенно за глаза. Пусть приедет и посмотрит, как хорошо у нас с тобой. Во сто раз лучше, чем у него с его богатой выдрой там, в Сан-Франциско.

Смит. А Боб будет?

Джесси. Конечно. Он восьмой, и последний. Когда Мег днем поехала в Нью-Йорк отвозить твою книгу, я ей сказала, чтобы она где угодно откопала его и приехала вместе с ним.

Пауза.

Гарри!

С м и т. Что, дорогая?

Д ж е с с и. Что с тобой? Что случилось? Тебя что-то мучает. Что тебя мучает? Ну, скажи мне.

С м и т. Нет, ничего. Ровно ничего. Наверное, я просто отчаянно устал.

Оба подходят к стеклянной стене веранды, смотрят в сад.

Д ж е с с и. Да, совсем забыла. Видишь вот этот кусочек земли от грушевого дерева и дальше, с холмиком и тремя соснами?

С м и т. Вижу!

Д ж е с с и. Красиво? Да?

С м и т. Да.

Д ж е с с и. Это почти четверть акра. Я говорила сегодня с мисс Ходсон. Это ее земля. Она говорит, что может продать ее нам, и не особенно дорого. Когда ты получишь деньги за книгу, мы непременно купим эту землю. Тогда у всего этого сада будет совсем другой вид. Хорошо?

С м и т. Хорошо.

Звонок.

Д ж е с с и. Слава богу. Это, наверное, Мег и Боб. *(Поцеловав Смита, выбегает.)*

Смит продолжает неподвижно смотреть в окно.

(Вбегает. В руках у нее большая картонка.) Приехали. Держи, и сейчас же иди переодеваться.

С м и т. Что это?

Д ж е с с и. Это мой сюрприз тебе. Я послала с Мег деньги портному, чтобы выкупить твой новый костюм. Вот. Иди переодевайся. Только скорей. Я хочу поскорей увидеть тебя в нем. Ну, иди, иди. *(Почти выталкивает его.)*

Входят М е г и М о р ф и.

М е г. Я выполнила ваше поручение и даже сидела в мужской парикмахерской, пока мистер Морфи стригся и мыл голову.

Д ж е с с и. Спасибо, Мег. А вы, Боб, честное слово, могли бы приехать сюда и с немытой головой, но поскорей.

М о р ф и. Не мог. Я мыл голову, чтобы прийти в себя.

М е г. И заметьте, два раза.

М о р ф и. Да, два раза. Парикмахер мне вымыл голову, вытер и причесал меня. Но я почувствовал, что этого мне недостаточно, и попросил его вымыть мне голову еще раз. Он пробовал возражать, но я ему сказал, что это не его дело и что, если я хочу, я могу мыть собственную голову хоть пять раз подряд.

Джесси. Вы веселый сегодня. Может быть, хоть вы развеселите Гарри?

Морфи. Ладно. Вы же знаете, что я ни в чем не в состоянии отказать ни вам, ни мисс Стенли.

Мег. Только не впутывайте меня.

Морфи. Почему? С тех пор как мы с вами договорились не касаться политики, у нас чудные отношения. Вы сегодня даже пили виски из моей фляжки.

Джесси. Мег, что я слышу?

Мег. Шел дождь, я вела машину и замерзла, а у него вечно оттопыриваются карманы от этих фляжек. А вам уже стало жаль, что я обездолила вас на один глоток виски?

Входит Смит, переодетый в темно-синий костюм.

Джесси *(вертит его)*. Так. Очень хорошо. Мег, вы не находите, что здесь в спине морщит и немножко широко?

Морфи. Теперь так шьют.

Джесси. А вы молчите. На вас вообще все сидит как на вешалке. Как, Мег?

Мег. Нет, по-моему, хорошо.

Смит. Довольно меня вертеть, я не глобус.

Джесси *(ворчливо)*. Ну, конечно, галстук, как всегда, под мышкой. *(Поправляет галстук, потом тянется к нему и целует его в губы.)* Неправда, ты очень хорошо завязал сегодня галстук. Это я нарочно, чтобы незаметно тебя поцеловать. *(Мег и Морфи.)* Вы ведь ничего не заметили?

Морфи, Мег *(хором)*. Нет, мы ничего не заметили.

Джесси. Мег, идемте со мной, у нас еще тысяча дел...

Морфи. Подождите. Посмотрите на сюрприз, который я привез для Гарри. *(Роется в кармане, вытаскивает газету, развертывает ее. Видно, что во весь газетный лист что-то крупно напечатано.)*

Джесси. Что это?

Морфи. А это Макферсон дал сегодня воскресное приложение, и в нем целую страницу занимает *(кивает на Смита)* наш достопочтенный друг. Здесь написано, какой гениальной будет его книга, какой он сам талантливый, объективный, честный, какой красивый будет переплет и, главное, как недорого будет стоить все это, вместе взятое. Ну, как?

Джесси. Очень внушительно.

Морфи. И заметьте! Все это, еще не читая его книги. Честное слово, так бывает раз в сто лет!

Смит. Да...

Морфи. Его имя — по два дюйма каждая буква.

Джесси. Просто чудно. Я даже не думала, что так будет. А ты, Гарри?

Смит. Я тоже не думал. То есть не вполне представлял себе.

Джесси. Вот видишь, а ты сегодня весь день грустишь. Растормошите его, Боб, а то я буду сердиться на вас обоих. Идемте, Мег.

Джесси и Мег выходят.

Морфи. Я вижу, тебя что-то не очень порадовал мой сюрприз.

Смит. По правде говоря, не очень.

Морфи. Почему?

Смит. Это долго рассказывать.

Пауза.

А впрочем, можно и коротко. Видишь ли, Боб, дело в том, что я написал совсем не ту книгу, которой от меня ждут.

Морфи. Что?

Смит. Именно то, что я сказал. Не ту книгу. *(Берет в руки принесенную Морфи газету.)* «Русские хотят войны?» Так вот, я отвечаю на этот вопрос отрицательно. Русские не хотят войны.

Морфи *(с восторгом)*. Вот это отмочил. Будь ты проклят. Это здорово. И книга уже у Макферсона?

Смит. Да, уже четыре часа, как она у Макферсона.

Морфи *(хохочет)*. Воображаю себе!

Смит. Что?

Морфи. Воображаю себе физиономию Макферсона. *(Заглядывает в газету.)* «Гарри Смит, известный своей объективностью и честностью». *(Смеется.)* Интересно, как они теперь будут давать задний ход?

Смит. Не знаю. Я не думал, что дело зайдет так далеко, особенно эта проклятая и неожиданная реклама.

Морфи *(задумчиво)*. А знаешь, ведь, пожалуй, твое дело плохо.

Смит. Неважно.

Морфи. Ты... ты в самом деле написал книгу, которая категорически не подойдет Макферсону, или...

Смит *(перебивая его)*. В этом русском вопросе не может быть «или». Только «да» и «нет». Макферсону нужно было «да», а я сказал «нет». Вот и все.

Морфи. Нет, еще не все. Есть еще договор.

Смит. Ну что же, я не получу по нему больше ни цента.

Морфи. Но и это еще не все. Они могут попробовать заставить тебя вернуть то, что ты уже взял.

Смит. Наплевать. Все равно я уже нищий — возвращать или не возвращать эти деньги. Когда подойдут сразу все платежи по рассрочкам, все это станет уже не моим. Начиная с этого дома и кончая машиной, на которой ты приехал.

Морфи. Подожди. А если другое издательство?

Смит. Уже думал. Не выйдет. Макферсон, то есть, вернее, его издатель Кесслер, заключил со мной договор, по которому они имеют гарантийный срок для издания — два года.

Морфи. Ну?

Смит. Ну и все.

Морфи. Но если они отвергнут и вернут тебе книгу?

Смит. И не подумают. Зачем? Наоборот. Они формально ее не отвергнут и не вернут, а просто будут два года держать ее у себя и не издавать. А я тоже не смогу нигде ее издать, потому что на эти два года она — их собственность. А через два года ее уже поздно будет издавать — это не роман и не книжка стихов, это репортаж, он умрет через полгода.

Морфи. Подожди, ты понимал это, когда садился писать книгу?

Смит. В общем, да, понимал.

Морфи. Так какого же дьявола ты ввязался в это безнадежное дело, из которого нет выхода? Как ты мог?

Смит. Не знаю. Мог. Мог так и не мог иначе. Это было сильней меня. В России мне вдруг стало стыдно за себя, за тебя, за всех нас, за то, что мы заставляем всю Америку жевать каждый день вместе с завтраком *(хватает газету)* эту отраву. Этот «русский вопрос» давно перестал быть только русским вопросом. Это пробный камень, на котором во всем мире сейчас проверяют честь и честность людей. Я вспомнил, что я человек. Да, да, человек, а не служащий Макферсона. Что я когда-то был молод и честен, что, наконец, у меня есть старуха мать, которая с детства учила меня разным хорошим вещам, старая, ворчливая, честная американка, которая и до сих пор уважает Линкольна больше, чем Херста. И я написал эту книгу, будь она проклята. Пусть ее прочтут только пять моих друзей — я все равно не раскаиваюсь в этом. Довольно предоставлять монополию на честность коммунистам. Пусть они, сколько хотят, называют меня недостаточно левым, черт с ними, но они теперь не посмеют назвать меня нечестным.

Морфи. Ну что ж, дело сделано.

Смит. Ты не согласен со мной?

Морфи. Не знаю. Но у меня сейчас так паршиво на душе. И я так противен сам себе, что, честное слово, если десятого эта

воздушная мотоциклетка рассыплется в воздухе, в этом не будет большой беды для меня. Скорей наоборот.

Смит. Брось говорить глупости.

Морфи *(после паузы)*. А что же Джесси? Она еще ничего не знает?

Смит. Ничего.

Морфи. Она так счастлива тобой и этим домом.

Смит. Ради бога, замолчи. Дай мне хоть до завтра не думать об этом.

Пауза.

Сигару?

Морфи. Спасибо.

Оба закуривают. Долгое молчание. Прислушиваются к звону посуды в столовой.

(Вдруг вскакивает.) Подожди.

Смит. Что?

Морфи. Подожди. Идиоты. Мы идиоты. Есть выход. Ей-богу.

Смит. Не валяй дурака. Какой здесь может быть выход?

Морфи. Не «может быть», а уже есть. *(Хватает газету.)* Эта реклама! О твоей книге сегодня уже знает весь Нью-Йорк. Это же скандал!

Смит. Что же тут хорошего?

Морфи. Как что? Чудовищный скандал. Этот вечно торопящийся осел, Гульд, посоветовал Макферсону намекнуть уже в рекламе на антирусское содержание книги. Я чувствую тут его руку. И молодец. На этом они и погибнут.

Смит. Как?

Морфи. Очень просто. Грандиозный скандал даст книге небывалый тираж. Кесслер — обыкновенный делец, его интересуют только доллары. Из-за лишней сотни тысяч он в два счета продаст Макферсона и издаст твою книгу один. Он напечатает контррекламы и даст на суперобложке всю скандальную историю с заказом этой книги, с отказом ее печатать, со всеми подробностями. Весь Нью-Йорк будет говорить об этом, по крайней мере, целую неделю. Ты меня понимаешь?

Смит. Начинаю.

Морфи. Ей-богу, это гениальная идея. С кем у тебя договор юридически? С одним Кесслером?

Смит. С одним Кесслером.

Морфи. Значит, Макферсон такой же осел, как Гульд. Он ничего не сможет сделать. А Кесслер пойдет на все. Он пешком пройдет пустыню Сахару, если только услышит на другом конце

ее запах долларов. Он еще будет давать обеды в твою честь. Гарри, немедленно виски, или я беру все свои слова обратно.

Смит *(наливает виски в два стакана)*. Неужели правда?

Морфи. Я брошу пить, если это неправда.

Смит. Ну зачем же такие страшные клятвы?

Морфи. Не боюсь. Я ничем не рискую. Выпьем.

Пьют.

Смит *(задумчиво)*. А ведь правда? А?

Морфи. Выпьем еще. *(Наливает.)*

Входит Джесси.

Джесси. Ну, это уже свинство, Боб. Зачем вы сейчас пьете?

Морфи. Зачем мы пьем? А затем, что все будет хорошо. Дьявольски хорошо. А, Гарри?

Смит. Да.

Морфи. Джесси, руку, скорей. *(Хватает за руки ее и Смита.)* В круг. В круг. Гарри, хватай ее за ту руку.

Джесси *(смеясь)*. Что с вами? Я ничего не понимаю.

Морфи. Ничего, поймете. *(Притопывая и танцуя, тащит всех в круг за собой и поет: «А я волка не боюсь, не боюсь, не боюсь».)* Верно, Гарри?

Смит *(задорно)*. «А я волка не боюсь, не боюсь, не боюсь».

Все трое, приплясывая, поют на разные голоса: «А я волка не боюсь, не боюсь». Распахиваются двери с веранды. В дверях стоит Гульд в плаще и шляпе. Он очень бледен. Общее долгое молчание.

Гульд *(взволнованно)*. Гарри! Я ничего не понимаю, но мне в ярости позвонил Макферсон и сказал, чтобы я сейчас же, ночью, приехал к нему с тобой, с живым или мертвым.

Общее молчание.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Обстановка первой картины — кабинет Макферсона. Ночь. Со времени действия предыдущей картины прошло полтора-два часа.

Гульд *(в дверях, пропуская вперед Смита).* Проходи. *(Продолжает стоять в дверях и говорить с кем-то в соседней комнате, очевидно, с секретаршей.)* А когда вернется?

Женский голос. Не сказал. Только сказал, чтобы вы ждали в кабинете.

Гульд. Хорошо, мы будем ждать. *(Закрывает дверь, садится.)* Будем ждать.

Пауза.

Судя по голосу, он был просто в бешенстве. И потом, в обычном состоянии у него нет привычки бросать трубку на полуслове.

Смит *(насмешливо).* А все-таки, господин редактор «Сан-Франциско геральд», вы, по старой памяти, все еще побаиваетесь шефа.

Гульд. Процентов на шестьдесят.

Смит. Почему именно на шестьдесят?

Гульд. Потому что он еще держит шестьдесят процентов акций моей газеты. Держит и не продает, старая собака, хотя я уже три раза пытался купить их через подставных лиц. *(После паузы.)* В чем дело? Почему он безумствует? Может быть, что-нибудь перевернулось, и ему теперь вдруг нужна книга, прямо противоположная твоей?

Смит. По-моему, ты неожиданно близок к истине.

Гульд. Ты думаешь? Что же произошло в мире? Пока мы ехали в машине, я перебрал в памяти все международные телеграммы. Ничего. Ровно ничего. Ну, что ты молчишь? Что ты думаешь? Это же и к тебе относится, черт возьми.

Смит. Да, пожалуй, ты прав. Это относится и ко мне. И даже гораздо больше, чем к тебе. Не волнуйся. В мировой политике не произошло никаких перемен. Дело в гораздо более мелком обстоятельстве. Просто я написал честную книгу о России и ответил в ней отрицательно на вопрос: хотят ли русские войны.

Гульд. Так... Очень хорошо...

Смит. Уж не знаю. Тебе виднее.

Гульд *(неожиданно)*. Нет, он не мог успеть ее прочесть.

Смит. Достаточно одной главы.

Гульд. Подожди. Ты валяешь дурака. Ты сейчас разыгрываешь меня. Да?

Смит. Сейчас — нет. Весь этот месяц — да. А сейчас — нет.

Гульд. Ты серьезно?

Смит. Уж пять минут, как я говорю наконец абсолютно серьезно. Пойдем спустимся на минуту в бар. Перед большими неприятностями всегда хорошо немножко выпить.

Гульд. Выпить? Ты понимаешь, что ты сделал? Чем это грозит тебе, да и мне?

Смит. Конечно. Поэтому я и предлагаю тебе выпить вдвоем. И на мой счет. *(Вынимает из кармана деньги.)* У меня осталось еще целых семь долларов. Пойдем!

Гульд. Убирайся к черту.

Смит. Ты отчасти прав. Я тебя немножко подвел, но и ты поторопился с этой преждевременной рекламой. Это была одна из твоих самых фантастических и самых неудачных идей. В общем, я приношу извинения за причиненные неприятности. И пойдем выпьем, пока у меня еще есть деньги.

Гульд. Неприятности? Мои неприятности — это капля по сравнению с морем твоих. Подумай о своих неприятностях. Пока не поздно.

Смит. Поздно.

Гульд. Нет. Я не знаю, что ты написал... Но я знаю, что достаточно десяти дней для того, чтобы, как перчатку, вывернуть наизнанку любую книгу. Я уговорю шефа. Он пойдет на это.

Смит. Он — да, я — нет.

Гульд. Не будь идиотом. Я тебе говорю, как друг.

Смит. Нет. Ты говоришь как человек, всю жизнь удачно торговавший своими советами. Ты не хочешь портить себе репутацию. Ты посоветовал шефу сделать из меня подлеца. И раз так, я — пусть с опозданием на десять дней, но все равно должен стать подлецом. А я не стану. Вы с Макферсоном выдаете себя за врагов России. Но в этом только четверть правды.

Гульд. А три четверти?

Смит. А три четверти в том, что вы — враги Америки. Вы хотите заставить десять миллионов американцев снова надеть военную форму. А тем, кто возражает вам, вы хотите надеть намордники. Но этого не будет!

Гульд *(холодно.)* Во-первых, с завтрашнего дня ты будешь нищим.

Смит. Возможно.

Гульд. Во-вторых, рано или поздно, от тебя уйдет Джесси.

Смит. Возможно. Но не стоит говорить об этом сейчас.

Гульд. Нет, стоит.

Смит. Нет, не стоит.

Гульд. Я тебе говорю, как друг твой и ее.

Смит. Замолчи. И больше ни слова о дружбе. Я знаю все о том, что у вас было в Австралии. И довольно об этом.

Гульд. Она тебе сказала?

Смит. Нет, я просто знаю сам...

Гульд. А она — она знает, что ты...

Смит. Конечно, нет. Когда у женщины бывает черное пятно в жизни *(кивнув на Гульда с откровенной насмешкой)*, а особенно такое,— порядочный человек никогда не напоминает ей об этом.

Пауза.

Не подходи ко мне. Дело не ограничится мелкой дракой. Я просто убью тебя. Лучше сядь. Вот так. И я сяду.

Оба садятся.

Сказать по правде, я очень давно не люблю тебя, Джек Гульд. Еще со школы, где мы учились вместе. Я не люблю тебя за то, что таким, как ты, удобнее, чем мне, жить в моей стране, которую я все-таки люблю, люблю, несмотря на ваше присутствие в ней. Я не люблю тебя за то, что ты смеешься над честностью, за то, что я в десять раз талантливей и в сто раз беднее тебя. Я не люблю тебя за то, что моя жена была когда-то твоей любовницей, не потому, что она любила тебя, а потому, что ты всегда поспеваешь вовремя дешево купить дом, когда умер хозяин, и дешево приласкать женщину, когда она одинока. Я не люблю тебя за то, что ты считаешь, что быть подлецом — это естественное состояние человека. И еще больше за то, что ты чуть не заставил и меня поверить в это. Не будем больше лгать и говорить о дружбе, Джек Гульд. Мы с тобой два разных человека и, если хочешь, две разные Америки. *(Встав.)* Я пойду выпить виски. Один. По правде

сказать, мне даже не хочется угощать тебя на свои последние деньги. *(Выходит.)*

Гульд в состоянии еще не прошедшего остолбенения сидит в кресле, потом, задумчиво посвистывая, делает несколько шагов по комнате. Быстро входит Макферсон.

Макферсон. Здравствуйте. Где Смит?

Гульд. Пошел вниз выпить перед разговором с вами.

Макферсон нажимает кнопку. В дверях появляется секретарша.

Макферсон. Смит внизу, в баре. Позовите его ко мне.

Секретарша выходит.

Гульд. Ну?

Макферсон. Вы уже знаете?

Гульд. Да, он мне сказал.

Макферсон. Ждете, что я вас буду упрекать?

Гульд. Жду.

Макферсон. Напрасно. Когда человек слушается советов идиота, он сам дважды идиот, и ему некого в этом упрекать, кроме самого себя.

Гульд. Спасибо.

Макферсон. Пожалуйста. Завтра утром вы переведете тридцать тысяч, истраченных мною на рекламу за ваш страх и риск, с общего счета на мой. И я больше не буду возвращаться к этому вопросу. Я вызывал вас не для упреков. Я уже принял все меры к тому, чтобы у Смита не осталось никакого выхода, кроме одного — сесть и переделывать книгу. Но если — это маловероятно,— но если он откажется, у нас к выборам в конгресс должна быть другая книга.

Гульд. Вы хотите, чтобы я...

Макферсон. Нет. Вы для этого слишком плохо пишете. Во Флориде отдыхает после Европы Денис Митчелл. Он дважды был в России и почти ничего не писал. Он мог бы сесть и написать задним числом за полмесяца то же самое, чего мы хотели от Смита.

Гульд. Но Денис Митчелл — я его хорошо знаю — это тоже тип вроде Смита.

Макферсон. Вот именно. Поэтому он мне и нужен.

Гульд. Но...

Макферсон. Он может заартачиться? Поэтому мне и нужны вы. Поезжайте домой и готовьтесь к вылету во Флориду. Билет я уже заказал. После разговора со Смитом я вам позвоню, лететь или нет. Мне нужна эта книга о России, Джек. Мы ударим ею по всем нашим левым, от «Дейли уоркер» и до «Чикаго сан».

По всем. Не обманывайте себя — они гораздо сильней, чем кажутся. Их надо бить, бить сейчас, пока не поздно. Во Франции тоже когда-то не было ни одного коммуниста в парламенте... *(Нажимает кнопку.)*

Входит секретарша.

Где Смит?

Секретарша. Он сказал, что допьет свое виски и придет.

Макферсон. Хорошо, я подожду.

Секретарша выходит.

Ну, как ваши дела в Сан-Франциско? Вы, кажется, летали туда?

Гульд. Да. Ничего, неплохо.

Пауза.

Когда я ехал, я думал увидеть вас в большой ярости. Вы почти добродушны.

Макферсон. Я уже отошел. Итак, значит, в Сан-Франциско у вас все неплохо. Кстати, вчера Гриффит просил меня продать ему часть моих акций вашей газеты. Как вы советуете? Устраивает вас этот новый акционер?

Гульд. Как вам сказать?

Пауза.

(Внимательно смотрит на Макферсона.) Гриффит? Да нет, пожалуй, не советую. Оставляйте акции у себя.

Макферсон *(рассмеявшись)*. Молодец. Ничего, Джек, не теряйте надежды. Вы еще когда-нибудь сядете за этот стол. *(Кивает на свой редакторский стол.)* После моей смерти, конечно. Если я умру раньше вас, конечно. Что маловероятно, конечно. Вы все-таки умнее, чем кажетесь с первого взгляда. Я с трудом, напрягая все свои старческие умственные способности, в конце концов все-таки сообразил, что Гриффит покупает эти акции для вас, но и вы тоже сообразили, что я это сообразил. Молодец. Квиты. Ну, поезжайте, уже поздно. Если лететь, так самолет в шесть утра. Возьмите билет у мисс Бридж. Я вам позвоню...

Гульд. До свиданья. *(Выходит, сталкиваясь в дверях со Смитом.)*

Макферсон *(взглянув на часы)*. Здравствуйте, Гарри, садитесь.

Смит. Спасибо. *(Садится в кресло у стола.)*

Макферсон. Я прочел четыре главы вашей книги. Четыре из...

Смит. Десяти.

Макферсон. Прочел с большим интересом. Я очень люб-

лю неожиданности... в литературе. Но, к сожалению, не в политике.

Смит. Почему? Мне последнее время казалось, что как раз вы любите неожиданности в политике.

Макферсон. Да, тогда, когда они исходят от меня, но не тогда, когда их преподносят мне. Вы, очевидно, не заметили этой маленькой, но существенной разницы, и в этом и была ваша ошибка.

Смит. То, что я написал,— не ошибка. Это то, что я сейчас думаю.

Макферсон. Очевидно. Но меня никогда не интересует, что думают мои корреспонденты. Пусть думают что угодно. Меня интересует только то, что они пишут. Итак, я не хочу вмешиваться в ваши личные дела и узнавать, что вы думаете. Я не хочу и внушать вам свои мысли. Я уже не молод, и у меня слишком мало времени, чтобы внушать свои мысли людям поодиночке. Я это делаю каждое утро через свои газеты нескольким миллионам людей сразу. Начните их внимательно читать. Это единственное, что я могу вам посоветовать. А сейчас я просто и спокойно хотел вам сказать несколько слов о деле, только о деле. Вы написали книгу, которая меня не устраивает и которую я не могу издать. Не так ли?

Смит. Так.

Макферсон. Вы получили аванс в семь с половиной тысяч долларов, но так как содержание книги юридически не было оговорено, то мне будет затруднительно преследовать вас по суду. Правда, вы обманули меня, но это моральная категория, и мы не будем ее касаться. Итак, если я не выпускаю вашу книгу, я теряю семь с половиной тысяч аванса, тридцать тысяч, затраченных мною... да, в общем затраченных мною на предварительную рекламу, и сто тысяч, которые я рассчитывал — не скрою от вас — заработать на вашей книге. Итого сто тридцать семь с половиной тысяч долларов. Но это еще не все. Ваша книга должна была иметь определенный политический эффект, а политический эффект в конечном итоге тоже приносит деньги — иначе бы я занимался не газетой, а, скажем, подтяжками. Итак, еще, ну, сто тысяч. Но и это еще не все. Скандал с разрекламированной и невыпущенной книгой тоже означает некоторое количество долларов: падение престижа, борьба с кампанией левых газет и так далее и так далее. Назовем, в общем, круглую цифру в триста тысяч долларов, и мы будем недалеки от истины при оценке тех убытков, которые я мог бы понести, если бы ваша книга неожиданно не вышла. Как видите, я говорю с вами начистоту. Не правда ли?

Смит. Я слушаю вас.

Макферсон. Когда вы, взяв у меня семь с половиной тысяч долларов, написали не то, что я хотел, быть может, вы думали, что я буду преследовать вас как человек, потерявший на вас семь с половиной тысяч долларов? Напрасно. Вы не поняли. Я буду преследовать вас как человек, потерявший на вас триста тысяч долларов. То есть гораздо более жестоко. Или, говоря точнее, я попросту сотру вас с лица земли. Вы понимаете мою мысль?

Смит. Понимаю.

Макферсон. Теперь подумаем, как этого избежать. И мне и вам. Я только догадываюсь о том, что у вас в книге дальше, но я внимательно прочел первые четыре главы и думаю, что на полную переделку их нужно не больше четырех дней. Значит, на всю книгу — десять дней.

Смит. Я не могу переделывать свою книгу.

Макферсон. Я подумал об этом. Это, пожалуй, верно. Трудно, только что закончив книгу, сейчас же переделывать ее самому. Я уже подыскал вам человека, который сделает это за вас. Вам останется только кое в чем проконсультировать его — транскрипция имен, городов, даты, числа и так далее. Конечно, оплата его работы пойдет за ваш счет — это вам обойдется примерно в две тысячи.

Смит. Подождите...

Макферсон. Это еще не все. У вас будут и другие денежные потери. Типография начнет делать книгу на десять дней позже — вам придется заплатить за эти дни неустойку около трех тысяч. Итак, две и три и еще семь с половиной полученного вами аванса — от ваших тридцати по договору вам останется еще порядочная сумма в семнадцать с половиной тысяч долларов. Не так плохо. *(Протягивает Смиту лист бумаги.)* Держите.

Смит. Что это?

Макферсон. Это ваше разрешение внести в книгу любые поправки, какие я сочту нужными. Текст уже напечатан. Вам остается только подписаться.

Смит. Я не подпишу этого

Макферсон. Подумайте еще раз.

Смит. Я уже подумал.

Макферсон. Ничего, еще раз подумайте.

Смит *(вставая)*. Нет.

Макферсон. Хорошо. Я вас честно предупредил обо всем, что за этим последует. Вам будет плохо, очень плохо, и еще хуже. Но имейте в виду, когда вам будет совсем плохо, когда вас выгонят отовсюду и вам нечего будет есть, вы можете прийти обратно сюда, в газету. Вы придете, и, даю вам слово, я снова возьму вас на работу. Редактором отдела я вас, конечно, не возьму, коррес-

пондентом — тоже. Репортером? Нет? Просто репортером я вас тоже не возьму. Я возьму вас полицейским репортером. Десять часов в день в полицейском участке за двадцать пять долларов в неделю. Две строчки в месяц о пожаре и шесть о кражах. И вся жизнь впереди. Не так плохо. Я сам с этого когда-то начал. Правда, мне было тогда шестнадцать, а вам сейчас тридцать девять. Но это ничего. Никогда не поздно начинать жизнь сначала. До свиданья, Гарри, счастливого пути.

Смит. До свиданья. *(Идет к дверям.)*

Макферсон *(вдогонку)*. Так не забудьте, я вам помогу в ваш черный день. Вы будете у меня работать полицейским репортером.

Смит поворачивается.

(Встретившись со Смитом взглядом, вдруг срывается и, ударив кулаком по столу, кричит.) Вы у меня будете работать полицейским репортером!

Смит выходит, сильно хлопнув дверью.

(Спокойно сняв телефонную трубку, набирает номер.) Алло, Гульд? Это я. Будьте готовы. Вам все-таки придется лететь во Флориду.

Занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Обстановка второй картины — бар. Двенадцать часов следующего дня. Смит в темном костюме сидит один в кресле на первом плане — точно так же, как это было во второй картине. Тот же бармен, так же на заднем плане быстро проходят люди — ничего не переменилось. Смит молча курит, смотрит на часы. Из дверей вестибюля к дверям ресторана идет Престон. Он замечает Смита. Секундное движение в сторону Смита, остановка, и Престон быстро идет к дверям ресторана. Когда он уже почти у дверей, Смит поворачивается и замечает его.

Смит. Престон!

Престон. Здравствуй, Гарри!

Смит. Одно виски со мной, а?

Престон *(нерешительно)*. Я рад бы, но...

Смит. Но ты торопишься? Я уже заметил, сегодня все что-то торопятся.

Престон *(подходя)*. Ну что же, я составлю исключение. А почему тебе кажется, что сегодня все торопятся?

Смит. Не знаю. Кажется. Может быть, я просто сделался мнительным. *(Бармену.)* Два виски.

Престон. Ты, очевидно, думаешь...

Смит. Мы, очевидно, думаем с тобой об одном и том же. Ну, как, придется мне привыкать к тому, что все будут торопиться?

Престон. Как тебе сказать...

Смит. Как сказать? Честно сказать.

Престон. Да, пожалуй, придется привыкать. Насколько я знаю Макферсона, твои дела из рук вон плохи.

Смит. Поживем — увидим. *(Приносит стаканы.)*

Престон *(беря стакан)*. Ну что же, желаю удачи. *(Пьет.)* И я иду. Что до меня, то мне в самом деле надо торопиться. Надеюсь, мне ты веришь?

Смит. Почти. Очередные срочные телеграммы о России? Русская радиостанция в кратере Везувия? Да?

Престон. Да. Но твоя ирония не по адресу, Гарри. Мне за это не доплачивают ни цента. И, ей-богу, Россия не будет счастливей от того, что некий Престон станет безработным. До свиданья, Гарри, я правда тороплюсь.

Смит. До свиданья.

Несколько секунд Смит сидит один. Быстро входит Морфи.

Морфи. Наконец-то я тебя нашел.

Смит. Здравствуй, Боб.

Морфи. Идиот. Ты же семейный человек. Зачем ты сводишь с ума свою жену?

Смит. Я не мог вернуться домой этой ночью.

Морфи. Почему?

Смит. Потому что я *(смотрит на часы)* сейчас должен увидеть Кесслера. После разговора, который у меня был с Макферсоном, я должен раньше увидеть издателя. Я должен знать, что я скажу дома.

Морфи. Ты ничего не должен знать. Я уже все сказал ей. За тебя.

Смит. Ты сказал?

Морфи. Да, я сказал. Я и Мег. Мы сказали ей все.

Молчание.

Смит. А что сказала она?

Морфи. Она? Она сказала: «А...» И потом сказала: «Боб, скорей выведите машину из гаража, и поедем искать этого идиота».

Смит. Как она это сказала?

Морфи. Идиота? Довольно ласково. Примерно так *(подражая)*: «идиота».

Смит. Где она?

Морфи. Сейчас? Не знаю. Она, Мег и я поехали искать тебя сразу по трем разным маршрутам. Но через полчаса она будет здесь. Здесь место нашей встречи.

Смит. Если б она поняла, как мне ровно ничего не страшно, если она будет со мной. Она может это понять, Боб, а?

Морфи. Не знаю. Как многие неудачники, я всегда стараюсь верить в лучшее.

Смит. Сейчас придет Кесслер. Я не спал ночь — так я боюсь разговора с ним. Он что-то опаздывает.

Морфи *(вставая)*. Ничего. Все будет в порядке. Для него главное — деньги, а здесь деньги верные.

Смит. Нет. Не уходи. Я хочу поговорить с ним при тебе, и если все лопнет, мы, по крайней мере, сразу выпьем. У тебя есть деньги? Я пуст.

Морфи. Есть. Пять минут назад я получил вторую четверть за свой полет.

Смит. Когда он будет?

Морфи. В тот понедельник. Но сегодня вечером я уже вылетаю в Миссури на тренировку.

Пауза.

А вот и Кесслер.

В дверях появляется Кесслер.

Смит. Здравствуйте, мистер Кесслер. Я вас жду.

Кесслер. Здравствуйте. Простите за опоздание. По дороге к вам пришлось зайти по одному срочному делу.

Смит. Знакомьтесь.

Кесслер. Мы знакомы. *(Морфи.)* Лет десять назад я выпускал вашу книгу. Кажется, последнюю, да?

Морфи. Да. Вы правы. Кажется, последнюю.

Смит. Я думаю, мистер Морфи не помешает нашему разговору.

Кесслер *(равнодушно)*. Конечно, нет. Я слушаю вас.

Смит. У нас с вами договор на книгу.

Кесслер. Да. *(Вынимает договор, надевает очки.)* У вас со мной через посредство Макферсона. Он гарантирует возмещение возможных убытков, оплачивает рекламу и получает пятьдесят процентов доходов.

Смит. Но юридические права на издание целиком у вас?

Кесслер. Да, целиком у меня.

Смит. Так вот, я вам хочу рассказать...

Кесслер. Не надо, я уже все знаю.

Смит. Все?

Кесслер. Все. Я знаю, что вы написали книгу, прямо противоположную той, которую от вас ждал Макферсон. Это и есть то, что вы мне хотели сказать? Не так ли?

Смит. Да. Но если я вам дам эту книгу, вы можете ее издать, независимо от ее содержания. О содержании ведь ничего не сказано в договоре?

Кесслер. Могу.

Смит. И Макферсон не в состоянии помешать вам?

Кесслер. Юридически — нет.

Морфи. После той рекламы, которую дал Макферсон, это будет всемирный скандал. Вы заработаете лишних сто тысяч. Попробуйте сказать, что это не так.

Кесслер. Сто тысяч? Да, пожалуй, не меньше.

Морфи *(горячо)*. Ну вот. Ваше да, его да *(кивнув на Смита)* — и Макферсон летит к черту. Ну — да?

Кесслер. К сожалению, нет.

Морфи. Почему, черт возьми?

Смит. Подожди, Боб.

Кесслер. К сожалению, я должен отказаться от вашего предложения.

Смит. Слушайте, мистер Кесслер, неужели вам, вот вам лично, так важно, чтобы о России была напечатана еще одна клевета? Вы же четыре года назад сами печатали мою книгу о России. Уверяю вас, что эта ничем не хуже той.

Кесслер. Охотно верю вам. Но, к сожалению, должен отказаться от вашего предложения.

Морфи. Ну, это уже свинство.

Кесслер. Я знал, о чем будет разговор, знал, что он для меня бесполезен, и, однако, все-таки пришел только из уважения к мистеру Смиту и его таланту.

Морфи. Ну ладно, извините.

Кесслер. Пожалуйста... За свою жизнь я издал не одну, а три ваши книги, мистер Смит, и, если бы я мог, я бы с удовольствием издал вашу четвертую книгу.

Морфи. Так в чем же дело? Вы — деловой человек. Какое значение имеет для вас ее содержание?

Кесслер *(продолжая)*. И я бы даже с бо́льшим удовольствием издал вашу книгу такой, какой вы ее написали, чем такой, какой ее рекламировал Макферсон. Мои родители из Могилева, мистер Смит. Может быть, вы этого не знали. И у меня есть некоторые личные симпатии к России, потому что там родились мой отец и моя мать. Я уже сам — старый человек, но это для меня играет некоторую роль. Во время войны я дал две тысячи долларов на посылки для России. Да. И я бы, повторяю, сейчас с

удовольствием издал вашу книгу, если бы это не грозило мне слишком большими убытками.

Морфи. Вы же сами только что согласились, что она принесет вам лишних сто тысяч.

Кесслер. Совершенно верно. Но убытки будут гораздо больше. Я — старый человек. У меня грудная жаба. Я каждый день могу умереть, и я не хочу, чтобы меня провожали на тот свет лишние дурные мысли обо мне. Сейчас я вам все объясню, мистер Смит, чтобы вы не думали обо мне слишком плохо. Только пусть ваш друг не перебивает меня.

Морфи. Хорошо, я буду молчать.

Кесслер. Вчера вечером, в десять, мне позвонил Макферсон и сказал: «Кесслер, сейчас я к вам приеду».

Морфи *(Смиту)*. В десять. Послал Гульда к тебе, а сам...

Кесслер *(укоризненно посмотрев на Морфи)*. Он приехал ко мне и, не объясняя ничего, предложил продать ему все права на вашу книгу сейчас же и на довольно выгодных условиях. Но я старый издатель, и я подумал: зачем? Если он рассчитывает потерять на книге, он не будет покупать на нее все права. Значит, он рассчитывает заработать на ней. Так лучше на ней заработаю я сам. И я наотрез отказался продать ему права.

Морфи. Молодец!

Кесслер *(снова укоризненно посмотрев на него)*. Сегодня утром, уже после того, как вы позвонили и я обещал встретиться с вами, мне опять позвонил Макферсон и сказал: «Кесслер, я уже у вас был — теперь вы сами приезжайте ко мне». Я приехал к нему. Он сидел за своим столом, весь обложенный рекламами и проспектами моего издательства. «Вот что,— сказал он,— сегодня или завтра к вам обратится Смит». И он в двух словах объяснил мне все, что произошло между вами. «Вы снова хотите купить у меня права на книгу Смита?» — спросил я его. «Нет,— сказал он,— теперь не хочу. Вчера я погорячился. Я не буду покупать у вас никаких прав, но я честно предупреждаю: не дай вам бог издать эту книгу».— «Почему?» — спросил я. «Потому,— сказал он,— что я поклялся, что эта книга не увидит света».— «А если я все-таки издам?» — спросил я. «В таком случае вам будет плохо»,— сказал он. Потом он взял в руки все мои каталоги и проспекты, лежавшие у него на столе, и сказал: «Вы можете заработать на книге Смита лишних сто тысяч. Так?» — «Так»,— сказал я. «Но, кроме нее, судя по вашим каталогам, вы хотите издать в этом году тридцать семь книг. Так?» — «Так».— «Так вот, вы заработаете на книге Смита лишних сто тысяч, но предупреждаю вас, что все тридцать восемь моих газет дадут на каждую из ваших тридцати семи книг по тридцать восемь самых паршивых ре-

ценций, на какие они только способны. И на этих тридцати семи книгах, вместе взятых, вы потеряете ровно в пять раз больше, чем приобретете на одном Смите. Я разорю вас, даже если бы для этого мне пришлось разориться самому».

Смит. Ну?

Кесслер. Что — ну? Подождите, дайте отдышаться.

Пауза.

Проклятая астма. Ну, и на прощанье он улыбнулся мне самой приятной из своих двенадцати улыбок и пожелал мне здоровья и хорошего настроения.

Пауза.

Вот и все, что я вам хотел сказать. *(Оглядывается.)* Если вас не затруднит, поднимите мою шляпу, мне трудно нагибаться.

Смит поднимает упавшую с кресла шляпу Кесслера и подает ему.

Спасибо. Мне очень жаль. *(Встает.)* Я бы посоветовал вам помириться с Макферсоном. Но я знаю его сорок два года, и, судя по выражению его лица сегодня, — это уже поздно делать. До свиданья.

Смит. До свиданья. *(Идет за стариком, машинально открывает ему дверь, возвращается, садится.)*

Долгое молчание.

Ну, что будем делать?

Морфи *(вынув пачку денег).* Гарри.

Смит *(увидев деньги).* Что? Пить? Нет, у меня слишком плохо на душе. Я не хочу пить.

Морфи. Нет, просто возьми.

Смит. Что это? Откуда у тебя деньги?

Морфи. Я же сказал тебе, что получил вторую четверть за полет.

Смит. Не возьму. Убери.

Морфи. Не будь свиньей. Здесь триста. Это хватит вам на две недели. Возьми их хотя бы ради Джесси. Чтобы она не так сразу все почувствовала. *(Сует ему деньги в карман.)* Ей надо понемножку привыкнуть...

Смит. К чему? К бедности? Ей не надо было отвыкать от нее. А я дал ей отвыкнуть. Трус. На что я надеялся? Почему я не сказал ей всю правду сразу же, как приехал? Хотел оттянуть эту минуту. Я такая свинья перед ней, Боб, такая свинья. *(Сует руку в карман. Усмехнувшись.)* Триста, да?

Морфи. Триста.

Смит. Я уже неделю живу на ее деньги. Сколько, ты думаешь, может стоить мой костюм?

Морфи. На заказ?

Смит. Да.

Морфи. Двести долларов.

Смит. И опять из той тысячи долларов, которую она скопила за всю войну. Честное слово, это хуже смерти.

Морфи. Брось, не смей говорить об этом. Мы еще что-нибудь придумаем.

Смит. Что?

Морфи. Не знаю. Что-нибудь.

Пауза.

(Лезет в карман и достает деньги.) Вот нá еще двадцать долларов, чтобы не путать с теми. Когда я улечу, ты купи на них какой-нибудь там букет и подари Мег от меня. Только не забудь. Я положу тебе в этот карман. *(Кладет ему деньги в верхний боковой карман пиджака.)*

Смит. Почему я? Купи ей сам, сегодня.

Морфи. Я сам? Я боюсь ее. Она же сделает вот такие глаза *(показывает)* и скажет, что лучше бы я истратил эти деньги на поддержку левых профсоюзов. Ты купишь ей букет? Ладно?

Смит. Ладно.

В дверях появляется Джесси. Она оглядывает бар, видит Смита и Морфи и почти бегом бросается к ним.

Джесси! *(Берет ее руки и держит их в своих, не поднимая головы.)*

Джесси. Ну, подними голову.

Смит. Не могу.

Джесси. Ну, подними же голову.

Смит поднимает голову.

(Целует Смита в глаза.) Почему такие печальные глаза? Все плохо? Да?

Морфи. С Кесслером все вылетело в трубу.

Смит. Джесси...

Джесси *(почти строго)*. Не надо. Я тебя люблю, и я попробую найти в себе силы, чтобы... чтобы все было хорошо. Боб, закажите выпить. Только мне с содой.

Морфи *(бармену)*. Три виски с содой.

Входит Мег.

Мег. Четыре. *(Подходит к остальным, садится.)* Ну, как?

Морфи. Мисс Стенли, моя идея с Кесслером обанкротилась, теперь вся надежда на ваши идеи.

Мег *(храбро)*. Ну что же!

Морфи, взяв со стойки, приносит виски.

(Решительно берет стакан.) В долгий путь!

Пьют.

Кажется, это ваша поговорка?

Морфи. Кажется, моя.

Мег. За вашу книгу, Гарри. Теперь, когда я уже не связана словом, я могу наконец сказать: вы здорово ее написали!

Смит. Не надо об этом, Мег!

Джесси. Почему? Надеюсь, теперь-то мы ее прочтем? Это уже не тайна?

Смит. Ты сердишься на меня?

Джесси. Очень. Но тем не менее мне приятно знать, что она, по крайней мере, хоть здорово написана. *(К Мег, истерически.)* Здорово?

Мег. Здорово.

Смит. Джесси!

Джесси. Что? Идиллия кончилась, Гарри. Начинается жизнь. И у меня будут иногда вспышки дурных чувств. Но это ничего. Я думаю, что в конце концов я справлюсь с собой.

Мег. Слушайте!

Смит. Что?

Мег. Я придумала. Через неделю из Европы вернется наш Вильямс.

Смит. Ну и что ж?

Мег. Вы же начинали у него. Вы сделаете из книги десять больших фельетонов, и он напечатает их. Правда, в левой газете не бог весть какие деньги, но это лучше, чем ничего. А?

Морфи *(горячо)*. Конечно.

Мег. Что? И вы туда же, старый бандит пера. Я не вас спрашиваю, а Гарри.

Смит. Если он рискнет...

Мег. Вильямс?

Смит. Да. Я уже начинаю сомневаться во всем или почти во всем. Нет, Вильямс — он все-таки, пожалуй, рискнет. Да, конечно.

Пауза.

Джесси!

Джесси *(не выходя из задумчивости)*. Что, милый?

Смит. Он рискнет, честное слово.

Д ж е с с и. Очень хорошо.

С м и т. Что хорошо? Ты меня не слушаешь?

Д ж е с с и. Да.

С м и т. Что — да?

Д ж е с с и. Да, не слушаю.

С м и т. Что с тобой, Джесси? *(Почти трясет ее за плечи.)* Джесси!

Д ж е с с и. Ничего, милый, я просто вдруг вспомнила, какой счастливой я была вчера в десять часов вечера.

З а н а в е с

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Обстановка четвертой картины — дом Смита. Прошло десять дней. У кабинета Смита теперь странный вид: письменный стол разобран на части, и эти части сложены в углу. Диван тоже разобран: спинка и сиденье его, перевязанные веревками, стоят у стены. На стенах все по-прежнему: две или три картины, мексиканская дорожка, висящая над уже отсутствующим диваном. Настольная лампа, соединенная шнуром со стенным штепселем, стоит прямо на полу. Радиоприемник тоже на полу; вынутая из-под него высокая подставка, уже увязанная веревками, стоит рядом. На прежнем месте остались только два кресла и маленький столик на первом плане да еще два-три стула у стены сзади. Двери в столовую открыты. Там абсолютно пусто, и только время от времени видно, как через столовую проходят д в а м о л ч а л и в ы х у п а к о в щ и к а из мебельной фирмы, вынося на улицу разные вещи, очевидно со второго этажа.

С м и т все в том же темном костюме сидит в одном из кресел. На столике два стакана и начатая бутылка виски.

Молчание. С веранды входит Д ж е с с и с корзиночкой в руках.

С м и т. Куда ты уходила?

Д ж е с с и. Вот, нашла двадцать ягод земляники. Смотри, какие хорошие.

С м и т. Зачем?

Д ж е с с и. Не знаю. *(Равнодушно вытряхивает содержимое корзиночки в окно.)*

С м и т. Джесси, ты не видела программы радиопередач?

Д ж е с с и. Сейчас поищу. *(Роясь в пачке журналов, книг и газет, сваленных прямо у стены.)* Зачем тебе?

С м и т. Сегодня компания «Меркурий» передает разговор с Бобом с борта самолета.

Д ж е с с и *(дает ему журнал)*. Вот.

С м и т *(перелистывая журнал)*. Станция Даблью-Эйч-Ай-Эф. *(Включает радио и настраивает его на волну.)*

Музыка.

Нет, пока еще рано.

Долгая пауза.

Сейчас должен приехать Вильямс. Мне звонила Мег, что они выезжают.

Джесси *(равнодушно)*. Очень хорошо.

Смит. Как ты думаешь, что-нибудь выйдет?

Джесси. Не знаю, милый. Я теперь ничего не знаю. *(Обнимает его сзади и целует в голову.)*

В дверях столовой появляется упаковщик.

Упаковщик. Прошу прощения. Но нам надо брать шкаф из спальни, а там кое-что висит.

Джесси. Сейчас. *(Еще раз целует Смита в голову и выходит.)*

Радио: «Внимание! Говорит компания «Меркурий». Час назад начался полет на установление рекорда высоты на спортивном самолете с пассажиром. Самолет заводов Хечисон, мотор «Мэкстром». На борту самолета наш корреспондент Боб Морфи. Мы будем говорить с ним каждые пятнадцать минут.

— Здравствуйте, Боб.

Далекий голос Морфи:

— Здравствуйте.

— Как высоко вы сейчас?

— Ничего не разберу на этом чертовом циферблате. Кажется, семь тысяч шестьсот. Нет, восемь шестьсот.

— Вы уже в кислородном приборе?

— Да. Дьявольски хочется выпить, но в кислородном приборе это абсолютно невозможно.

— Что вы видите под собой?

— К счастью, одни облака.

— Почему к счастью?

— Потому что вчера исполнилось сорок шесть лет, как я каждый день вижу землю, и она мне здорово надоела.

— До свиданья, Боб. Мы возобновим разговор через пятнадцать минут.

— До свиданья. Чертовски холодно».

Музыка.

Смит, поеживаясь, наливает в стакан виски. В дверях появляется Мег, за ней Вильямс.

Мег. Здравствуйте, Гарри. Вот я и привезла к вам Вильямса.

Смит *(вставая)*. Здравствуйте, Мег, здравствуйте, Фрэд. Садитесь. *(Машинально делает жест в сторону несуществующего дивана, видит пустоту и, спохватившись, пододвигает кресло.)* Вот сюда, а вы, Мег, сюда. *(Пододвигает второе кресло.)* А себе я возьму стул. *(Говорит, идя со стулом.)* Я думал, Фрэд, что вы приедете третьего дня, когда все еще было в порядке. Мебель начали вывозить только сегодня. Прошу прощения.

Вильямс. Рассрочка?

Смит. Рассрочка. Они предложили мне отложить платеж на месяц. Но я им сказал, что у меня не будет денег и через год.

Вильямс. А дом?

Смит. Дом завтра. Поэтому они так срочно и вывозят мебель. Завтра здесь будет другой хозяин.

Пауза.

Очень жаль, Мег, что вы не вошли минутой раньше. Только что Боб говорил с борта самолета по радио.

Мег. Я знаю. Я пробовала поймать в машине, но забыла, какая станция.

Смит. Даблью-Эйч-Ай-Эф.

Мег. Что он говорил?

Смит. То же, что всегда: что чертовски холодно и что дьявольски хочется выпить.

Пауза.

Ну, что, Фрэд, сначала выпьем и вспомним старые времена или сразу будем говорить о деле?

Вильямс. К сожалению, сразу о деле. Я вырвался на десять минут между двумя пресс-конференциями.

Смит. Ну что же. *(Мег, которая вдруг поднялась.)* Куда вы, Мег?

Мег. Я к Джесси, посмотреть на нее, а то Вильямс торопится, а он еще должен меня подвезти обратно в Нью-Йорк.

Смит. Да, верно. Мне теперь не на чем вас отвезти.

Мег выходит.

Вильямс. Ну, виски все-таки выпьем, а?

Смит. Ну что же, все-таки выпьем. *(Наливает виски, но оба не поднимают стаканов и не пьют.)* Вы сильно постарели, Фрэд, за эти шесть лет.

Вильямс. Да и вы не помолодели.

Смит. Это верно. Мы познакомились с вами в двадцать восьмом.

Вильямс. Да, когда редакция была еще на Астор-Плейс.

Смит. Да... Так вот о деле. Вы, наверное, знаете историю с моей книгой?

Вильямс. Знаю.

Смит. На два года вперед все права на нее у Кесслера, то есть, в сущности, у Макферсона, а через два года, конечно, она умрет — это же репортаж. Вы понимаете?

Вильямс. Понимаю. Что вы предлагаете мне?

Смит. Я выберу из книги десять кусков и перепишу их в ви-

де газетных фельетонов. Все то же, но текст формально будет другой, и Макферсон юридически не сможет притянуть меня к суду.

Вильямс. Так...

Смит. Вот и все. Вы напечатаете их в своей газете, и у вашего читателя они будут иметь успех. За это я ручаюсь.

Вильямс. Я — тоже. Но...

Смит. Что?

Вильямс. Ладно. Будем говорить начистоту. Скажите, вы в последние месяцы читали мою газету?

Смит. Редко. Последние месяцы я вообще ничего не читал.

Вильямс. А вы слышали о той травле, которую против меня подняли два месяца назад?

Смит. Краем уха. Что-то с деньгами Москвы и прочей чепухой.

Вильямс. Эта чепуха стоила мне сокращения тиража на двадцать тысяч. Все это началось, как по команде, в один день в десяти разных газетах. Тут приложили руку и Херст, и Маккормик, и ваш Макферсон — все. В течение трех дней я оказался коммунистом, плохим американцем и платным агентом Москвы, издающим газету на русские деньги. Причиной была серия моих собственных статей из Европы — о странах народной демократии, просто честных и объективных статей, только и всего. Но этого оказалось вполне достаточно для всего последующего.

Смит. Они просто взбесились.

Вильямс. Я был на грани гибели. Я не изменил своих симпатий, но последний месяц, как только дело касается России или Балкан, я принужден быть сдержанным. Но даже и это вызывает бешенство у всех, начиная с Макферсона.

Смит. Попросту говоря, вы слегка пошли на попятный. Неужели это лучший выход из положения?

Вильямс. Не лучший, но пока единственно возможный.

Смит. Неужели единственно возможный?

Вильямс. Вы, кажется, попробовали найти другой. Ну и что?

Смит. У меня нет своей газеты.

Вильямс. Ну, так если бы она у вас была, вы бы сейчас ее в два счета лишились. *(Вдруг резко.)* Идите к черту, Гарри, это — борьба. И жестокая. В ней иногда приходится отступать, и терпеть, и ждать.

Смит. А может быть, вы все-таки вспомните нашу с вами молодость, Фрэд, вспомните и рискнете?

Упаковщик подходит сзади к Смиту. Ему нужно взять стул, на котором сидит Смит, и он мнется. Смит поворачивается и быстро встает, освобождая стул. Вильямс молча наблюдает за этой сценой.

Вильямс *(после паузы)*. Нет, не рискну. В другое время — да. А сейчас — нет.

Смит *(не садясь)*. Как хотите. Значит, не о чем больше говорить. Выпьем за нашу старость. Незаметная штука — только оглянешься, а она уж тут. Выпьем.

Вильямс *(вставая)*. Я не хочу за это пить. Мы еще тряхнем стариной.

Смит. Едва ли, Фрэд.

Вильямс. Ну хорошо. Тогда я скажу вам все. Три дня назад меня встретил в клубе Гульд, отвел в угол и от имени Макферсона в своем обычном циническом стиле сказал следующее: «Мы имеем сведения, что Смит хочет печататься у вас в газете. Дело ваше, но имейте в виду, что в этом случае то, что мы писали о ваших связях с Москвой, будет только первой ласточкой. Мы вас подведем под судебный процесс и найдем десять свидетелей, которые за настоящие американские доллары докажут, что они видели своими глазами, как вы получали мифические русские деньги».

Смит. И вы не дали ему в зубы?

Вильямс. Нет. Сейчас я, к сожалению, просто принужден был принять это к сведению.

Смит. Ничего, не жалейте. Я при первой возможности сам дам ему в зубы. И пусть на этот раз он примет это к сведению.

Вильямс. Ну что ж, вам нечего терять.

Смит. А вам?

Вильямс. Я могу потерять газету.

Смит. Вы уже потеряли ее.

Вильямс. Неправда. Я сохранил ее. И эти ублюдки до сих пор не заставили меня напечатать ни одного слова клеветы о России и ни одного слова лжи о будущей войне. Не заставили и не заставят. Как бы им ни хотелось. Но это все, что я могу. Пока. Сейчас трудные времена, Гарри. Запаситесь терпением.

Смит. Ну что ж, раз ничего другого не остается... Не обижайтесь на меня, Фрэд, я понимаю вас, но только мне от этого не легче.

В дверях столовой появляется Мег, за ней Джесси.

Мег. Ну как, договорились?

Смит. Договорились.

Мег. Ну как? Расскажите.

Смит. Фрэд расскажет вам по дороге. Он торопится: у него пресс-конференция. *(Вспомнив.)* Прошу прощения, Джесси. Это Фрэд Вильямс. Это моя жена.

Джесси *(кланяясь)*. Простите. *(Усмехнувшись.)* У нас не все убрано в доме.

Вильямс. До свиданья.

Смит. До свиданья, Фрэд.

Вильямс и Джесси кланяются.

Мег, не забудьте в машине послушать, что будет говорить Боб.

Мег. Я помню. Я очень рада, что вы договорились с Вильямсом.

Смит. Я тоже. Подождите, Мег, я вам что-то должен был передать от Боба, только забыл что...

Мег. Что?

Смит. Нет, забыл. Ну ладно. Потом. Завтра. Я вспомню.

Мег *(целуя Джесси, тихо)*. Я же вам говорила, что все будет отлично. До завтра, Гарри.

Мег и Вильямс выходят.
Долгое молчание.

Джесси *(внимательно смотрит на Смита)*. Опять ничего не вышло? Да?

Смит. Да.

Джесси. Я почему-то так и думала.

И снова, заставив вздрогнуть их обоих, говорит радио:

«— Внимание, внимание. Мы снова говорим с нашим корреспондентом Бобом Морфи.

— На какой вы сейчас высоте, Боб?

— Десять триста. Здорово трясет.

— Как работает мотор фирмы «Мэкстром»?

— Поскольку мы все еще не падаем, очевидно, хорошо.

— Вы, кажется, в хорошем настроении?

— Да, я по-прежнему не вижу земли, и, если бы мне еще не мешал ваш голос, мне бы казалось, что я наконец наедине с богом.

— Через пятнадцать минут еще раз помешаем вам, Боб.

— Валяйте».

Смит *(после молчания)*. Неужели бедняжке Мег улыбнется счастье?

Джесси. А Боб?

Смит. По-моему, старый бандит пера тоже вдруг немножко оттаял.

Джесси. Ну что же, дай им бог счастья.

Долгое молчание. Упаковщики постепенно в продолжение всей дальнейшей сцены выносят из кабинета мебель. Гудок машины. В дверях появляется шофер такси.

Шофер *(Смиту)*. Здравствуйте. Вы вызывали из Нью-Йорка такси?

Смит. Такси? Я не вызывал такси.

Джесси. Я вызывала. *(Шоферу.)* Подождите, я сейчас приду. И пожалуйста, в передней у дверей стоит чемодан, захватите его с собой в машину.

Шофер выходит. Молчание.

Смит. Ты уезжаешь?

Джесси. Да.

Смит. Совсем?

Джесси. Да.

Смит *(доставая сигареты и протягивая их Джесси)*. Закурим?

Джесси *(беря сигарету.)* Спасибо.

Смит. Посидим?

Джесси. Хорошо.

Садятся в кресла друг против друга.

Смит. Хорошо, что сегодня.

Джесси. Почему?

Смит. Все сразу. *(После паузы.)* Я ждал. Я знал, что так будет.

Джесси. Я не обманывала тебя тогда, девять дней назад. Я правда думала, что найду в себе силы остаться с тобой.

Смит. И не нашла?

Джесси. Не нашла.

Смит. Ты права. Я обманул тебя.

Джесси. Да. Но не говори со мной так, как будто я тебя не люблю. Я тебя люблю. И это такси, так сразу — это тоже потому, что я люблю тебя. Сразу, только сразу, вдруг. Я иначе была бы не в силах. Я решила от тебя уйти третьего дня, знаешь когда?

Смит. Утром, когда мы сидели за столом? Да?

Джесси. Да. Я закричала что-то о деньгах и вдруг остановилась и поняла, что мне надо уйти от тебя. Пока не поздно. И ради бога, прости меня за то, что я тогда, третьего дня, закричала.

Смит. Это было всего один раз...

Джесси. Не хочу. Ни разу. А если я останусь — это будет, будет каждый день. Что ты молчишь?

Смит. А что же мне сказать тебе?

Джесси. Да, верно. Хотя почему? Ты бы мог мне сказать, что я не смею бросать тебя в бедности и несчастье, но в бедности и несчастье я буду только еще одним твоим лишним несчастьем. И чем дальше, тем хуже. Я знаю себя. Надо уходить. *(Встает, долго молча смотрит на Смита, потом вдруг опускается на колени у его кресла, нагибает к себе его голову, прижимается губами к его волосам.)* Мой седой, мой красивый... *(Отпустив его голову,*

берет его руки в свои, долго рассматривает их, потом прижимается к ним губами.)

Смит. Джесси.

Джесси *(не отрываясь, глухо)*. Не мешай мне. Я очень люблю твои руки. Сильные, большие, добрые. *(Обращаясь к рукам.)* Прощайте. *(Поднимается с колен и снова садится в кресло.)* Вот так, Гарри. Ну, что же ты мне скажешь?

Смит. Ничего.

Сзади к креслам подходят упаковщики. Смит и Джесси инстинктивно оглядываются и одновременно встают. Упаковщики берут кресла.

Джесси. До свиданья, Гарри. *(Протягивает ему руку.)*

Смит *(пожимая ей руку, очень спокойно)*. До свиданья.

Джесси делает порывистое движение к нему, но встречается с его взглядом. Он смотрит на нее холодными, остановившимися глазами. И, увидев эти глаза, Джесси резко повертывается и выходит. Смит стоит неподвижно, не меняя позы. Он слушает. Шелест гравия. Машина поворачивает. Гудок. Это она выезжает за ворота. Тишина. Уехала. Он все еще стоит в прежней неподвижности. Подходит упаковщик.

Упаковщик. Столик.

Смит. Что?

Упаковщик. Столик.

Смит, взглянув на столик, где стоит бутылка виски и два налитых на четверть стакана, берет все это в руки и оглядывает комнату, куда бы поставить. Комната абсолютно пуста, только на полу, в углу, стоит радиоприемник. Смит подходит к нему и ставит на него бутылку и стаканы. И в ту же секунду слышен голос диктора:

«— Внимание. Возобновляется разговор с нашим корреспондентом Бобом Морфи.

— Боб! Боб! Как вы нас слышите?

— Скверно. В самолете что-то дьявольски трещит.

— На какой вы высоте?

— Тринадцать тысяч сто.

— Поздравляем. До полного успеха вам остались пустяки.

— Что? Плохо слышу.

— Как вы расцениваете качества самолета фирмы «Хечисон»?

— Качества самолета? Наверное, хорошие, раз мы забрались так высоко. Только сейчас он отчаянно трещит, и я вас очень плохо слышу.

— Боб! Боб! Боб Морфи!

— Подождите, сейчас. Летчик мне что-то показывает.

— Боб! Вы нас слышите? Боб! Вы нас слышите?

— Я вас слышу, будьте вы прокляты. Кажется... Кажется, все идет к черту. Мы разваливаемся... Мы... К чер...»

В комнате наступает абсолютная тишина. Смит стоит, закрыв лицо руками, потом медленно опускает их, молча лезет в верхний боковой карман пиджака и, вынув двадцатидолларовую бумажку, говорит тихо, без всякого выражения.

Смит. Вспомнил. На цветы.

В комнату тихо входит Харди в пальто и шляпе. Увидев Смита, снимает шляпу. Молча стоит, потом кашляет.

Смит *(оборачивается, без всякого удивления)*. Здравствуйте, Харди.

Харди. Здравствуйте.

Смит. Как здоровье вашей жены и детей?

Харди. Спасибо. Хорошо.

Смит *(равнодушно)*. Очень рад. Вы пришли заработать на мне свои сегодняшние десять долларов?

Харди. Может быть, даже двадцать. Все-таки с вами вышел не совсем заурядный скандал.

Смит. Не совсем заурядный? Да, пожалуй, вы правы.

Харди. Слушайте, только не злитесь на меня. Не я, так другой, все равно это будет в газетах. И я подумал — почему не я? Мы все-таки с вами старые товарищи. Вы можете это сделать для меня?

Смит. Конечно.

Харди. Ответьте мне на несколько вопросов.

Смит. Хорошо. Только вы скверно пишете. У вас дурной стиль. Я хочу, чтобы ваша заметка была хоть раз в жизни написана в хорошем стиле. Вынимайте блокнот, я вам сам ее продиктую.

Харди. Но...

Смит. Она будет хорошо написана, и, может быть, вам за это заплатят даже больше на пять долларов.

Харди *(вынув блокнот и держа в руке вечное перо)*. Я готов.

Смит. Пишите. *(Диктует, расхаживая по комнате.)* «Сегодня я побывал у пресловутого Гарри Смита, бывшего сотрудника Макферсона. Он пытался бороться с Макферсоном и был выгнан из газеты. Он хотел издать свою книгу в издательстве Кесслера, но Кесслер отказал ему. Он хотел напечатать свои фельетоны в газете Вильямса, но Вильямс не захотел их печатать. Он лишился покоя, уюта, дома, машины, денег. У него погиб друг, и от него ушла жена. Когда я пришел к нему, я был вынужден писать стоя — он не мог даже предложить мне стул, потому что у него уже вывезли всю мебель. Ходят слухи, что на днях он снова нанимается на работу в газету Макферсона на должность полицейского репортера. Но эти слухи... Эти слухи не соответствуют действительности. Вышеупомянутый Смит не пойдет на попятный, он дьявольски зол, как сказал бы один его покойный друг. Вышеупомянутый Смит не пойдет работать полицейским репорте-

ром к мистеру Макферсону, а также не повесится, не перережет себе горла и не выбросится с двенадцатого этажа. Вышеупомянутый Смит, наоборот, попробует начать свою жизнь сначала». Что вы остановились, Харди, пишите дальше, я еще не кончил. «Вышеупомянутый Смит попробует все-таки выяснить в конце концов, может ли человек, рожденный честной американкой, честно прожить жизнь в той стране, где он родился». Да, да. Пишите, Харди, пишите! А впрочем, черт с вами, если этого не напишете вы, это напишу я сам и в конце концов найду в Америке место, где мне это напечатают. Вышеупомянутый Смит долго и наивно думал, что есть одна Америка. Сейчас он знает: Америки две. И если вышеупомянутому Смиту, к его счастью, да, да,— к счастью, нет места в Америке Херста, то он, черт возьми, найдет себе место в другой Америке — в Америке Линкольна, в Америке Рузвельта.

Занавес

1946

Четвертый

Драма

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Он.
Женщина, которую он любил.
Человек, которого он давно не видел.

Люди, возникающие в его памяти

Дик.
Второй пилот.
Штурман.
Он — сам, такой, каким он бывал в разные годы своей жизни.
Женщина, которую он любил.
Женщина, на которой он женился.
Джек Уиллер.
Бен Кроу.
Чарльз Говард.
Вандеккер.
Бонар.
Гвиччарди.
Тедди Франк.
Человек с автоматом.

В зале темнеет[1]. Перед занавесом появляется белое пятно прожектора. Пока что в этом пятне никого нет.

Голос Автора. Это случилось с ним вечером, в большом городе, на том, другом континенте. До этого все в его жизни шло более или менее нормально. По крайней мере, так он приучил себя считать. В юности он работал в левой газете. Не в самой левой, но в левой. И даже писал в нее из республиканской Испании. Во время войны он летал радистом на бомбардировщике. Его сбили над Германией. Он попал в плен и бежал из лагеря. Некоторые при этом погибли, но он уцелел. После войны он переменил несколько газет, слева — направо. Говорили, что его несколько раз вызывали в разные комиссии по расследованию. Говорили, что на войне он вел себя храбрей, чем там. Он не любил говорить о том, что творилось у него на душе, и, кажется, даже не любил думать об этом. Вчера ему исполнилось сорок два. Сегодня с утра у него болела голова, а ночью ему надо было лететь в Европу. В шесть часов вечера он возвращался из редакции. Его остановил человек, которого он давно не видел.

Пройдя через сцену, Он входит в пятно прожектора. И в эту секунду его окликает из темноты Другой человек.

Он. Вот уж кого не ожидал! Столько не видеться, и вдруг...

Другой *(с нетерпеливым жестом)*. Я тебя караулил. У меня мало времени, и лучше, чтоб нас не видели вместе. Ты летишь сегодня ночью в Париж?

Он *(настороженно)*. Да.

Другой. Я через час уезжаю сам далеко и надолго, и то, что я скажу, мне некому сказать, кроме тебя. Я принял решение: люди должны об этом узнать! Я ловлю тебя с утра, с тех пор,

[1] Автор считает совершенно необязательными те из своих ремарок, которые касаются декораций, света и т. д. Если постановщикам пьесы покажется неудобным играть ее всю подряд, они вольны сделать в ней один или два антракта, там, где это им заблагорассудится.

как узнал, что ты ночью летишь в Европу. Ты должен там это сделать!

Он. Что?

Другой. Послезавтра, в пять утра по европейскому времени, из Регенсбурга в Германии вылетит наш новый высотный самолет. Он пройдет над Россией на высоте тридцати тысяч и сядет в Пакистане. Наши считают, что на этот раз благодаря новым противорадарным установкам он не будет зафиксирован русскими.

Он. Прекрати. Я не желаю этого знать!

Другой. А я не желаю, чтобы он летел. Если он будет зафиксирован — может начаться война. Если он не будет зафиксирован — полеты продолжатся, пока их не зафиксируют. И в конце концов от всех нас останутся только кишки на проводах. И проводов тоже не будет. Я не хочу, чтоб русские его сбили, но я не желаю, чтоб он летел.

Он. А ты совершенно уверен...

Другой *(перебивая)*. Я знал и о первых полетах, но тогда я еще не пришел к решению. К сожалению, я сам ничего не могу сделать. Я не пойду в русское посольство, потому что я не шпион. И вообще, если я через час не уеду туда, куда мне приказали,— за мной начнут следить. Но ты должен там, за границей, прямо с аэродрома пойти в редакцию газеты, которая это наверняка напечатает, и сделать заявление, ссылаясь на абсолютно надежный источник. Если они это напечатают — полета не будет. Во всяком случае,— этого. И войны не будет. По крайней мере, на этот раз. Ты обязан это сделать, ты ничем особенным не рискуешь там, в Европе.

Он *(оглушенно)*. Не рискую?

Другой. Испорченная карьера — вот и весь твой риск! Я рискую куда большим. Я бы никогда не пошел на это, если бы не знал совершенно точно, гораздо точней, чем все вы, *чем* будет эта война, если она будет. Я не до конца уверен в тебе, но у меня нет выбора. Ты когда-то был радистом. Ты помнишь этот сигнал? *(Пальцем в тишине выстукивает несколько точек и тире азбуки Морзе.)*

Он. Спасите наши души?

Другой. Да, спасите наши души! Помни, я подал его тебе! И будь ты проклят, если ты не передашь его дальше! Что ты молчишь? Ты что, хочешь войны?

В темноте кто-то проходит, слышны шаги. Другой отступает еще глубже в темноту. Теперь его совсем не видно. Слышен короткий стук закрываемой дверцы и звук отъезжающей машины.

Он. Боже мой! Конечно, я не хочу ее. Нет, нет и нет! Но почему я? Почему из всех людей именно я? *(Прислушиваясь.)* Кто это прошел?

Сопровождаемый лучом прожектора, Он медленно идет вдоль сцены. Прожектор гаснет. Раздвигается занавес. В глубине сцены задняя стена обыкновенной комнаты. У стены и перед нею стоят несколько предметов, обычных для такой обыкновенной комнаты. Впереди, слева и справа от всего этого,— пустое пространство сцены.

В комнате Женщина. Ей тридцать пять, а на вид еще меньше, и она красива. На столе — ужин, который она, кажется, привыкла есть одна. Она ужинает, рассеянно выполняя эту неинтересную обязанность перед самой собой, и читает газету.

Пауза.

Он *(распахивая дверь и поспешно входя)*. А я так боялся тебя не застать.

Она *(вскакивая)*. Ты!

Он. Как я боялся не застать тебя! *(Ставит чемодан на пол.)*

Она *(вдруг бросившись к Нему, обняв Его и после долгого объятия резко оторвавшись от Него)*. Уходи.

Он *(как глухой)*. Со мной случилось огромное несчастье. Я попал в мышеловку.

Она. Все равно — уходи.

Он *(как глухой)*. Зачем я это узнал? Зачем мне это нужно? Зачем он сказал мне, а не кому-то другому?

Она. Зачем ты пришел ко мне?

Он *(словно впервые услыхав ее)*. А к кому же? И потом, ты сказала: если будет очень нужно...

Она. Я сказала это пять лет назад.

Он *(очень искренне)*. Мне не было нужно, а сейчас мне нужно.

Она *(спокойно)*. Садись. *(Взглянув на чемодан.)* Что это значит? Тебя бросила жена?

Он. Чепуха. Со мной правда случилось огромное несчастье. Час назад меня поймал человек, которого я давно не видел. Он связан с таким делом, что лучше подальше от таких, как он. Правда, мы когда-то вместе сидели в немецком лагере и вместе бежали, но это было бог знает когда! Почему ему понадобился именно я? И откуда он узнал, что я лечу в Париж?

Она. Это напечатано в газетах. Что ты и другие корреспонденты летят на сессию НАТО.

Он. Я и другие. Но почему он явился именно ко мне? В конце концов, он даже не имеет оснований доверять мне.

Она. Я тоже не имею оснований доверять тебе. Но, может, это нужно, чтобы человек доверял человеку? Хотя бы иногда. *(Внимательно взглянув на Него.)* Ты, кажется, выпил?

Он. Да, чтобы успокоиться. Он сказал мне... *(Останавливается, словно вдруг не решаясь сказать ей то, что собирался.)*

Она *(заметив это)*. Может, ты все-таки уйдешь?

Он. Он сказал мне, что послезавтра над Россией пройдет еще один наш самолет, и если русские... В общем, страшно даже подумать. Он сказал, чтобы я, прилетев в Париж, сообщил об этом в газеты, ссылаясь на достоверный источник. Хорошо, я сошлюсь... я сошлюсь прямо на него, будь он проклят! Пусть пропадает вместе со мной!

Она. Я знаю его?

Он. Нет. Когда мы жили с тобой, он вообще исчезал в каких-то секретных местах. Ты только слышала о нем от меня. Это Тедди Франк.

Она *(поражена)*. Но ведь он много лет только и делал...

Он. Да! А теперь он говорит мне, что не хочет новой войны и ради этого готов на все! *(Неожиданно.)* А вдруг они провоцируют меня?

Она. Зачем? Разве ты не заслужил их доверия? Разве ты не сделал для этого все, что мог? Даже бросил одну и женился на другой? Прости, что мне пришлось вспомнить о ней. *(После паузы.)* Значит, тебе надо лететь в Европу, и там...

Он. Не знаю! В конце концов, я не обязан. Пусть разбираются сами...

Она. А война?

Он. Перед той войной тоже многие не хотели, чтобы она была, и все-таки она была.

Она. Ты решил промолчать и ищешь себе оправданий?

Он *(после молчания)*. Я не знаю, полетит он или не полетит, увидят его или не увидят, собьют или не собьют. Я не знаю, что будет после этого. Но я твердо знаю одно: если я заикнусь об этом — для меня все будет кончено.

Она. Что — все? Жизнь, к которой ты привык.

Он. И которая мне не так-то просто далась. Ты знаешь это лучше всех.

Она. Я предпочла бы этого не знать.

Он. Мало ли что бы мы предпочли! Рисковать абсолютно всем! Какого черта он пришел именно ко мне?

Она. А разве он не рискует?

Он. Наверно.

Она. Так почему же он все-таки сказал тебе это?

Он. Не знаю.

Она. Может быть, в твоем и в его прошлом было что-то такое, о чем ты не говорил мне, даже когда говорил все?

Он. Я и сейчас говорю тебе все.

Она. Вспомни!

Он. Нет. Просто вместе сидели, а потом вместе бежали, ты знаешь как...

Она. Это я знаю.

Он. Почему ты так сказала об этом?

Она. Как?

Он. У тебя такие глаза, словно ты упрекаешь меня, что Дик погиб, а я бежал и остался жив. Почему?

Она. Я не упрекаю. Я просто помню, что Дик и те двое других умерли, а вы спаслись.

Он. Дик и те двое сами выбрали это.

Она. Да, конечно, это не делается по приказу.

Он. Я тоже был готов тогда пойти с ними четвертым.

Она. Ты говорил мне об этом.

Он. И ты верила мне. Я знаю, верила!

Она. Когда-то верила. А сейчас нет.

Он. Почему?

Она. Когда человек так долго живет для себя, перестаешь верить, что он был готов умереть за других.

Он. И все-таки это было именно так!

Она. Не верю. Ты по-другому бы жил. И не спрашивал бы меня сейчас, как тебе поступить. Ты бы сам знал это.

Он. А я вот не знаю! Почему ты — как с ножом к горлу, чтобы я сказал: да, да, да... Почему я, в конце концов, не могу просто посидеть и помолчать здесь, хотя бы до самого отлета, раз уж ты пустила меня к себе!

Она. Я ничего от тебя не требую. Сиди и молчи. Ты даже не спросил — удобно ли мне, что ты будешь сидеть у меня до ночи?

Он. А что, у тебя кто-то появился?

Она. Я пробовала, но у меня это плохо выходит.

Он. Что?

Она. Не любить человека и все-таки жить с ним.

Он. А сейчас?

Она. Нет. Хотя я была бы рада сказать тебе: да!

Он. Я не позвонил, потому что ты не разрешила бы мне прийти.

Она. Наверное. Ты только пил и ничего не ел, да?

Он. Да.

Она. Я пойду что-нибудь приготовлю тебе. Сиди, отдыхай. *(Идет, останавливается, смотрит на него.)* В сущности, это даже храбро, что ты пришел ко мне без звонка... *(Выходит.)*

Он. Храбрость! Что такое храбрость! Бежать из плена — это тоже что-нибудь да значит! Конечно, Дик и те двое настояли тогда на своем. Они взяли на себя больше, чем я, и поэтому погибли.

Но что бы они сказали сейчас, на моем месте? Она, конечно, считает, что Дик сделал бы это не раздумывая. Если бы он остался таким, каким был! А я, прожив ту жизнь, что я прожил, уже ни за кого не ручаюсь. Может быть, и Дик, и те двое плюнули бы на все это и сказали: с нас хватит! Пусть все идет, как идет, без нас! Пусть катится в тартарары! Может быть, они как раз так и поглядели бы на это дело? *(Закрывает глаза, задумывается.)*

Из-за кулис на пустое пространство сцены, очень обыденно, выходят трое людей. Они еще молоды — им лет по двадцать пять, по тридцать. Все трое одеты в потрепанную, обносившуюся военную форму. Они проходят через пустое пространство сцены и останавливаются на границе комнаты. Оглядывают комнату.

Штурман. Разве это он?

Второй пилот. Если это он, то он здорово постарел. Даже странно себе представить, что мы тоже могли бы так постареть!

Дик. Ничего, нам это уже не грозит, так что не расстраивайся. *(Громче, чем все, что говорилось до этого.)* Слушай, по-моему, ты звал нас?

Он *(открывая глаза и глядя на вошедших)*. Да, Дик, я звал вас.

Дик. Если мы не ослышались, ты позвал нас рассудить тебя с твоей совестью.

Он. Да. Не совсем так, но...

Второй пилот. А мы так и поняли, что у тебя есть и «да» и «но».

Дик. Нам странно, что ты постарел, а тебе, наверно, странно, что мы остались такими, как были? Когда мы снялись в Лондоне перед последним полетом, штурман на карточке выглядел старше нас всех, а мы трое сияли, как три новеньких шиллинга. Никогда б не подумал... Да будь ты тогда таким, как сейчас, тебя просто не взяли бы летать по возрасту!

Второй пилот. И у нас, к нашему счастью, был бы другой радист, не кончавший университетов, но зато знающий свое дело.

Штурман *(Ему)*. Не обращай внимания! У вторых пилотов всегда дрянные характеры.

Второй пилот. Почему?

Штурман. Потому что они вторые, а не первые.

Дик *(к Нему)*. Я вижу, ты разучился улыбаться. Сколько тебе сейчас?

Он. Сорок два. Но не в этом дело.

Дик. А в чем? Иди поближе, поговорим здесь. А то мне как-то неловко заходить в эту комнату без разрешения хозяйки. Ты ведь давно разошелся с ней, чего ж ты пришел к ней сегодня?

Он. Мне больше не к кому было пойти. Меня поймал Тедди Франк и сказал, что наши опять затевают эту проклятую воздушную разведку над Россией. Он знал, что я должен был сегодня ночью лететь в Париж...

Второй пилот. Должен был?

Он. Да.

Второй пилот. А теперь не полетишь?

Он. Не знаю. Он потребовал, чтобы я там, в Париже, сообщил в печать об этом полете.

Дик. Вот как? Значит, Тедди все-таки сделал то, что собирался.

Он. Собирался? Когда собирался?

Дик. Сразу после того, последнего полета. Он говорил нам, что решил помешать этому, если это будет еще раз.

Он. Для меня это было полной неожиданностью. Я никак не мог подумать, что именно он...

Второй пилот. И именно тебе...

Он. Да.

Штурман. А почему он не мог сказать этого именно тебе? Почему ты так плохо думаешь о себе?

Он. Потому что... *(Неуверенно.)* Потому что...

Второй пилот. А может быть, ему и в самом деле не стоило говорить это именно тебе? Может быть, он не все знает о тебе?

Он. Может быть. Хотя нет. Я думаю, что он знает обо мне все. *(Вдруг, с тревогой.)* А вы?

Дик. Как тебе сказать? Но мы предпочли бы услышать это от тебя самого, раз уж ты позвал нас. Иначе, согласись, наше свидание не имеет смысла. Так как же, ты сделаешь или не сделаешь это там, в Париже?

Он. Не знаю.

Штурман. Слушай, я знал одного парня, который добровольно пошел в авиацию и летал на одной машине с нами. Это был ты или не ты?

Второй пилот. Это был не он!

Он. Судить другого всегда легко, а вам особенно...

Второй пилот. Почему?

Он. Потому что вы уже... *(ищет слова)* вам уже...

Второй пилот. Мы уже умерли, и нам ничего не грозит. Да? А ты еще жив и не хочешь портить себе жизнь?

Он. Да.

Дик. А что тебе грозит, по-твоему?

Он. Мне могут не поверить, и это не будет напечатано. А наши потом все равно узнают, что я говорил об этом.

Второй пилот. А почему ты думаешь, что тебе не поверят? У тебя такая дурная слава?

Он. В глазах тех, к кому мне надо будет пойти...

Дик. Все равно напечатают. Люди так не хотят войны, что не побоятся ошибиться в эту сторону. Ты теперь известный человек, и ответственность за твои слова будет лежать на тебе.

Второй пилот. По-моему, он как раз и боится ответственности.

Он. Да, боюсь.

Дик. А чего еще ты боишься? Ну говори же, что ты мнешься? Ты же пришел не в комиссию по расследованию. Наше мнение к чему-то обяжет тебя только в одном случае — если у тебя осталось достаточно совести для этого.

Второй пилот. Интересно, делают ли теперь на земле удачные операции, когда у человека рак совести?

Он. Брось издеваться надо мной!

Дик. Он не издевается над тобой, он просто говорит то, что думает. А ты отвык от этого, и тебе кажется это странным. Но ты тоже попробуй, а?

Он. Если говорить по совести...

Второй пилот. А ты что, собирался обманывать даже мертвых?

Он. Если бы я был твердо убежден, что этот самолет непременно обнаружат, и если бы я знал заранее, что из-за этого непременно будет война...

Второй пилот. Ты бы не колебался?

Он. Да. Я бы сделал это.

Второй пилот. То есть ты предпочел бы расстаться с благополучием, чем с жизнью? Ты просто не дурак, но это не имеет отношения к твоей совести.

Он. Но полет могут отменить, или он может пройти незамеченным. А я...

Дик. Ладно. Рассказывай, с чем ты боишься расстаться? С местом?

Он. Да.

Дик. С твоей нынешней женой?

Он. А что ты знаешь о ней?

Дик. Больше, чем ты думаешь.

Штурман. У меня такое впечатление, что он не очень-то боится расстаться с ней.

Второй пилот. Не скажи. Богатую женщину больно терять.

Дик. Чего ты боишься еще?

Он. Я боюсь, что меня вызовут из Европы обратно и назначат расследование.

Второй пилот. Ты можешь отказаться вернуться.

Штурман. Согласимся с ним, что это не так-то просто — не вернуться на родину!

Он. А вам там это по-прежнему понятно?

Дик. И, может быть, даже больше, чем тебе. Значит, ты боишься, что тебя вызовут и ты все-таки вернешься и предстанешь перед комиссией?

Он. Да.

Штурман. Насколько я понимаю, это не очень приятная штука.

Он. Вы не имеете об этом ровно никакого представления. Ваше счастье, что вы умерли в сорок пятом!

Второй пилот. Ты мог это сделать вместе с нами.

Он. Если вы помните...

Штурман. Мы все помним. Ты зря упрекнул его в этом.

Дик. Итак, ты боишься, что тебя вызовут.

Он. Да. Вы не знаете, что это такое.

Дик. Кое-что слышали. Люди нам говорили об этом.

Он *(встревоженно)*. Какие люди?

Дик. Разные люди. Да, да! И те тоже!

Он. Это ложь!

Штурман. Что — ложь?

Он. То, что про меня говорили тогда.

Дик. По-моему, ты кривишь душой. А мы ведь можем позвать их. Или ты не рассчитывал на это?

Он. Откровенно говоря — нет.

Дик. А ведь мы должны рассудить тебя с твоей совестью.

Второй пилот. А для этого порой полезны свидетели.

Он. Я отказываюсь от этого.

Штурман. Ну что ж, пойдем, раз он отказывается.

Он. Нет, не уходите.

Дик. А тогда мы будем судить тебя так, как мы считаем нужным. *(Негромко окликает.)* Джек Уиллер, вы здесь?

Уиллер *(входя)*. Да.

Дик. Вы не могли бы дать нам несколько показаний в качестве свидетеля? *(Кивнув на Него.)* Ему это очень нужно.

Уиллер. Не очень-то хочется вспоминать, но если так уж нужно...

Он. Не надо. Я скажу сам.

Дик. А ты уверен, что помнишь все это совершенно точно?

Он. Не знаю, может быть...

Дик *(Уиллеру)*. А вы?

Уиллер. О да!

Дик. Лучше спросить Уиллера, это обошлось ему дороже, чем тебе. Как это было, Уиллер?

Уиллер. Это было весной пятьдесят второго. Меня уже не первый раз вызывали, и я узнал, что должны вызвать его. Я встретился с ним в баре. Это было вечером. Мы сели за столик. Я сидел вот так... *(садится)* а он сел вот так, наискосок от меня. *(Показывает рукой, и Он при этих словах садится на указанное Уиллером место.)* В баре было пусто, и мы говорили не особенно громко. Я сказал ему: слушай, боюсь, что тебя завтра вызовут туда же, куда меня.

Он. Ты уверен в этом?

Уиллер. Лучше всего будет, если ты вообще откажешься отвечать.

Он. А ты?

Уиллер. Я отказался.

Он. Во что это тебе обойдется?

Уиллер. В три года тюрьмы.

Он. Меня это не устроит.

Уиллер. Это никого не устраивает. Но я не вижу другого выхода.

Он. А я вижу.

Уиллер. Когда не отвечает никто — это проще, чем когда один молчит, а другой отвечает. Ты подведешь других.

Он. Пусть каждый думает за себя. Человек не должен делать подлостей, а отвечать или не отвечать на вопросы — его личное дело.

Уиллер. Они будут спрашивать тебя о сборе средств для испанских республиканцев. Они знают, что ты был нашим казначеем, и думают, что у тебя могли остаться списки.

Он. Откуда ты знаешь?

Уиллер. Мне сказал один человек; он имеет отношение к ним по службе, но его тошнит после этого по ночам. Во всяком случае, если решишь отвечать, будь осторожен. Они берут тебя в пятерню и жмут, как лимон.

Он. Ничего, я не боюсь за себя.

Дик *(Уиллеру)*. Он сказал вам тогда что-нибудь еще?

Уиллер *(вставая)*. Мы выпили и поговорили на другие темы, но это уже не имело отношения...

Дик *(прервав его)*. А почему вы так хорошо запомнили ваш разговор с ним?

Уиллер. Я часто вспоминал его потом, когда того человека, который предупреждал меня, вышвырнули со службы. Я не знаю,

как он *(кивнув на Него)* вел себя в комиссии, но, очевидно, он проболтался.

Дик. Спасибо, Уиллер.

Уиллер уходит.

Второй пилот. Что было потом с Уиллером?

Он. Он отсидел три года.

Второй пилот. А потом?

Он. Не мог найти работы.

Штурман. Ты помог ему?

Он. Я хотел, но он отказался.

Штурман. Но ты все-таки пробовал?

Он. Да.

Второй пилот. А как ты думаешь, почему он отказался?

Он. Не знаю.

Второй пилот. Ты говоришь правду?

Он. Я думаю, он был недоволен, что я согласился отвечать на вопросы комиссии.

Второй пилот. Только и всего?

Он. Я так думал.

Второй пилот. А ты сам не потерял работы?

Он. Нет.

Второй пилот. Ты, кажется, вскоре перешел на другую работу?

Он. Да. Меня взяли в газету побольше, чем та, в которой я был.

Второй пилот. И ты стал вдвое больше зарабатывать?

Он. Да.

Штурман. А ты не задумывался над тем, почему так получилось?

Он. Я не сказал в комиссии ничего особенного.

Дик. А что все-таки ты говорил в комиссии?

Он. Я говорил им, что у них нет оснований возвращаться ко временам Испании.

Дик. И все?

Он. Ну, это были длинные разговоры, несколько дней. Не отрицаю, я немного испугался, но я...

Дик. Слушай, а как же с тем человеком, который предупредил Уиллера? Ты не подвел его?

Он. Во всяком случае, я не хотел его подводить. Может быть, я немного погорячился...

Второй пилот. Что значит — погорячился?

Он. У меня в самом деле валялись эти списки. Но я их сжег. И был очень рад этому и взволнован и, кажется, сказал им тогда,

что они напрасно воображают, будто бы у меня есть какие-то списки.

Штурман. Как же ты не подумал, что они могут обратить внимание на твои слова?

Он. Я подумал это потом, когда его выбросили со службы, а тогда я этого не подумал.

Второй пилот. Еще бы! Тогда ты думал только о себе!

Он. Да. И все-таки я не сказал им ничего особенного.

Дик. У тебя плохая память. Ты не возражаешь, если мы поможем тебе вспомнить все, что ты говорил тогда?

Он. По-моему, я не сказал тогда ничего особенного.

Дик. Тем лучше, если так. Но все-таки давай вместе послушаем, что ты говорил тогда. Сядь. Вспомни, как ты сидел перед ними.

Он садится на стул, лицом в зал, и, найдя в пустоте какую-то точку, напряженно смотрит в нее. После короткой паузы из глубины зала начинает звучать металлический микрофонный голос.

Голос. Мы еще раз спрашиваем вас, кто вносил вам эти деньги?

Дик. Это он, тот, кто тебя допрашивал?

Он *(повернувшись к Дику)*. Да. *(Снова поворачивается и смотрит в пустоту.)*

Голос. Мы ждем ответа.

Он *(взволнованно)*. Просто смешно, что вы придаете этому такое значение сейчас. Да, я был в Испании. Да, я потом, так же как и другие, участвовал в сборе этих средств. Да, может быть, мы тогда сыграли на руку коммунистам. И я сейчас сожалею об этом. Кстати, мне было тогда — девятнадцать.

Голос. Двадцать.

Он. Пусть — двадцать. Но все, что я делаю на ваших глазах уже много лет, не дает вам права ставить мне в вину это ребячество с Испанией. Я не помню, кто вносил тогда эти деньги. Но я вполне лоялен, и у вас нет оснований сомневаться в этом.

Голос. Мы хотели бы, чтоб вы подтвердили свои слова делом.

Он. Что это значит?

Голос. Вы знаете Бена Кроу?

Он. Знаю ли я брата моей жены? Уж не думаете ли вы, что я буду отрицать это?

Голос. Он был с вами в Испании?

Он. Мы были с ним в одно время, но почти не знали друг друга. Мы уже тогда были людьми разных взглядов.

Голос. Он был тогда коммунистом?

Он. Спросите об этом его самого.

Голос. Он отказался давать показания. Мы спрашиваем вас. Он коммунист?

Он. Не знаю.

Голос. Он был коммунистом?

Он. Не знаю. Может быть.

Голос. А сейчас?

Он. Я уже сказал — не знаю. Не думаю. Во всяком случае, я уверен в его лояльности.

Голос. Вполне уверены?

Он. Да. Я не говорил с ним на эти темы, но уверен, что это так.

Голос. Надеюсь, вы были бы рады дать нам возможность убедиться в его лояльности?

Он. Да, конечно! *(Растерянно.)* Что это значит?

Голос. Раз вы уверены в его лояльности, мы хотели бы, чтобы вы, для его же пользы, поговорили в ближайшие дни с ним, ну, скажем, у себя дома, на эти темы. О том, чтобы этот разговор стал нам известен, мы позаботимся сами. Раз вы уверены в его лояльности, ему будет только полезно, если и мы убедимся в этом. А вашу собственную лояльность нам докажет одно ваше «да». В этом случае у нас не будет к вам больше никаких вопросов. Так как же?

Он. Я... подумаю.

Дик. Да... Надо отдать тебе должное — ты говорил о нашем прошлом с большим достоинством: «ребячество», «я сожалею»... Неужели, когда мы с тобой были там, в Испании, ты уже заранее готовился сожалеть об этом?

Он *(вставая со стула)*. Как хотите! Можете не верить, но мне действительно казалось, что я совсем не так говорил тогда там, в комиссии... Честное слово!

Штурман. Что ж, вполне возможно. Когда у человека сохранились остатки совести, он так старается, бедняга, чтобы в его памяти одно осталось, а другое исчезло...

Дик. Ты сказал им, что подумаешь. Ты подумал?

Он. Да, они потом еще три раза брали меня за горло.

Дик. И разговор состоялся?

Он. Да.

Дик. И они записали его?

Он. Думаю, что да.

Дик. И ты не предупредил Бена?

Он. Я считал, что они за мной следят, и боялся встретиться с ним заранее.

Второй пилот. А по телефону?

Он. Я боялся, что они подслушивают мой телефон.

Второй пилот. А из автомата?

Он. Я боялся, что они подслушивают его телефон.

Дик. Значит, ты так и не предупредил Бена?

Он. Я предупредил его в самую последнюю минуту, когда он уже сидел у меня. Я после первой же фразы написал ему записку.

Дик. И он не сказал ничего лишнего?

Он. Он сказал много лишнего.

Дик. Почему?

Он. Не знаю. Он получил за это два года тюрьмы.

Дик. И умер там?

Он. Да. У него был сердечный приступ, и он умер в тюремной больнице.

Второй пилот. А ты теперь лжешь, что написал ему записку! Раз он умер, можно говорить что угодно!

Он *(упрямо)*. Я написал ему записку. Я не знаю, почему он не обратил на нее внимания.

Дик *(в пространство)*. Слушай, Бен, ты не можешь зайти к нам?

Бен Кроу *(входит, он в арестантской куртке и брюках)*. Здравствуйте. Здравствуй, Дик. *(Посмотрев на Него, после паузы.)* Здравствуй.

Второй пилот. Послушайте *(кивнув на Него)*, этот человек морочит нам голову. Сам просил нас прийти и рассудить его с его совестью, и сам же бессовестно лжет нам. Он говорит, что написал вам записку в тот день, когда вас подслушивали.

Бен. Он говорит правду. Он написал мне записку, что нас подслушивают.

Он. Вот видите, я говорю правду, я написал ему записку! *(Бену.)* Почему ты не обратил на нее внимания?

Бен. А ты до сих пор так и не понял? Я не хотел обращать на нее внимание. Раз муж моей сестры сам дал им согласие, чтобы они нас подслушивали, пусть слушают то, что я действительно думаю! Хотя я все же был тебе благодарен за эту записку; если помнишь, я тогда не назвал ни одного имени, кроме собственного. А своей судьбой я распорядился так, как считал нужным. И не жалею об этом. Я отказался отвечать на вопросы комиссии, но я решил: черт с ними, пусть знают, что я коммунист и не раскаиваюсь, что помогал испанцам! Пусть знают, что среди тех, кто был в Испании, не все такие трусы, как муж моей сестры!

Штурман. Ради справедливости хочу сказать вам, что он вовсе не всегда был трусом.

Дик. Это верно.

Он. Что за манера говорить обо мне как о мертвом! Словно я мертвый, а вы — живые!

Второй пилот *(пропустив его слова мимо ушей).* Да, когда-то он не был трусом, надо отдать ему должное.

Бен. Не знаю. В тот день он показался мне самым настоящим трусом. Я даже удивился, как у него хватило храбрости написать хотя бы эту записку. И все же я был благодарен ему. Я даже потом, на последнем свидании с сестрой, не вдаваясь в подробности, сказал ей, что ее муж не такая уж дрянь, как многие стали думать, когда он после этих допросов так быстро пошел в гору.

Второй пилот. А ты после этого быстро пошел в гору?

Он. Да. И некоторые связывали тогда одно с другим.

Штурман. А ты сам?

Он. Я старался не связывать.

Штурман. Старался или не связывал?

Он. По правде говоря, и то и другое. Я как раз стал работать в довольно большой газете, и у меня были одна за другой несколько удачных поездок. Когда работаешь в маленькой газете, тебя не замечают. А когда в большой...

Бен *(перебивая Его).* О своих дальнейших успехах расскажешь без меня. Я не за этим пришел. Извини меня, Дик, я пойду. До свидания. *(Уходит.)*

Дик. А что тебе советовала тогда Кэтрин?

Он. Она сама не знала, что делать. Она и не хотела, чтобы я отвечал комиссии, и боялась, что я сяду в тюрьму, если откажусь отвечать. Она тогда и недели не могла прожить без меня. Но когда Бен оказался в тюрьме и пошли слухи, что я имею к этому отношение, она сама порвала со мной и мы не жили с ней год. А потом она вдруг позвонила, чтоб я пришел. Сразу после смерти Бена. Но ничего не сказала об их разговоре. Я думал, что она просто не выдержала без меня.

Дик. Мы попросим ее зайти. Как ты смотришь на это?

Он. Боюсь, ей будет тяжело видеть тебя.

Дик. Ничего. Она последние годы часто вспоминала обо мне.

Он. Часто?

Дик. Да. Часто. Не думаю, что ей будет сейчас особенно тяжело.

Пауза.

Она *(входя).* Здравствуй, Дик.

Дик. Здравствуй, Кэт. Извини, что мы тебя оторвали, но *(кивнув на Него)* он сам просил нас прийти, и мы решили кое о чем спросить у тебя. *(Кивнув на Второго пилота и Штурмана.)* А это мои товарищи, те самые.

Она. Здравствуйте.

Штурман и Второй пилот кланяются ей.

У меня есть ваша фотография. *(Дику.)* Вы трое *(взглянув на Него, после паузы)* и он тоже...

Дик. Скажи нам, почему ты ушла от него и почему вернулась к нему?

Она. Ушла потому, что не хотела жить с ним. А вернулась потому, что не могла жить без него. Бен знал это. Когда Бен сказал мне на свидании в тюрьме: «Твой муж не так уж плох, как о нем думают некоторые»,— я подумала, что он просто жалеет меня. Но Бен прочел это в моих глазах и сказал: «Нет, я говорю серьезно». А потом, через неделю, когда Бен вдруг умер и я осталась совсем одна, я вспомнила его слова, не выдержала и позвонила. И у нас началось все сначала... Это было уже не так, как было, но мы еще долго жили вместе. Пока я не поняла, что ему нужен развод.

Дик. А что, он еще любил тебя, когда ему стал нужен развод?

Он. Я люблю ее и сейчас.

Дик *(не обращая внимания)*. Я спрашиваю: он тебя еще любил, когда ему понадобился развод?

Она. Думаю, что да. Он и потом еще, когда женился, несколько раз приходил ко мне.

Дик. И ты разрешала?

Она. Да. Я презирала себя за это, но разрешала.

Дик *(дрогнувшим голосом)*. И что же? У вас с ним и после этого все бывало по-прежнему?

Она. Извини. Я не хочу говорить об этом.

Дик. Почему же он ушел, раз он любил тебя?

Он. Не надо, я объясню сам!

Она *(спокойно)*. Ну что ж, пусть объяснит сам.

Он *(после долгой паузы)*. Нет, я не могу при ней.

Дик *(Ей)*. А ты при нем?

Она. Я могу, хотя мне тоже, наверное, будет трудно. Он познакомился с ней где-то в Европе, она ездила туда со своим братом, ее брат... Вы, наверное, слышали о нем: Говард. Чарльз Говард. Газеты, иллюстрированные журналы... В общем, тот самый... его все знают.

Он. Тогда это не имело для меня такого уж значения...

Она. Зачем ты говоришь неправду? Она, пожалуй, довольно красивая, но уж очень какая-то... Я встречалась с ней в одном доме еще давно, еще до того, как... Может быть, у них и было что-то хорошее там, в Европе, не знаю. Хотя мне всегда казалось, что, даже когда он подолгу ездит, он скучает обо мне и не ищет других женщин.

Он. Это правда. Я очень редко...

Она. Он уже давно жил с ней, а я еще ничего не знала.

Наверное, я не почувствовала этого потому, что он продолжал любить меня, а не ее. А потом он попросил развода и сказал, что любит ее. Он как раз должен был стать одним из редакторов вот этого.... *(Взяв со стола и снова бросив на стол какой-то пестрый журнал.)* Ему страшно хотелось. И только потом я поняла, что ее брат обещал взять его туда, когда у них уже было все решено насчет меня. Она сама довольно богатая женщина, но ее брат имел для него больше значения. Ее брат много сделал для него. В особенности потом, когда я уже дала развод. *(Нерешительно.)* И еще одно...

Дик. Сегодня надо говорить все. Он сам просил об этом.

Она. Хорошо. Я скажу. После этих расследований он, по-моему, стыдился, что не совсем хорошо вел себя. Хотя даже Бен мне сказал, что о нем говорили лишнее. Но некоторые друзья Бена все равно перестали с ним здороваться. А я... Бен всегда бранил меня за то, что я недостаточно вникаю в политику. Но когда мне делалось особенно противно, я все-таки говорила. *(Кивнув на Него.)* И он злился и бывал груб со мной. А когда его дела пошли в гору и нам пришлось встречаться совсем с другими людьми, я вечно говорила при них что-нибудь не то. И они за это косо смотрели на него. И, наверно, вспоминали, что я сестра Бена Кроу. И он страдал от этого и говорил мне, но я не могла удержаться, даже когда хотела. Он еще любил меня, и ему еще иногда хотелось слышать о себе правду. Но только от меня одной, и чтобы при этом никого не было! *(Вдруг.)* Я просто не представляю себе, что он может быть счастлив с ней!

Дик. Это я во всем виноват! Я сам толкнул его к тебе. Я велел ему разыскать тебя.

Она. Не проклинай себя, Дик! Я любила тебя, но это было так коротко! А с ним, с ним это было дольше и сильнее. Извини меня, я, наверно, делаю тебе больно, но в первые годы мне было так хорошо с ним! Я сама говорила ему тогда, что, если бы вы, мертвые, могли видеть нас, оставшихся на земле, ты был бы счастлив за меня.

Он *(не выдержав)*. Ради бога, замолчи! Я сам скажу им, как все это было. Да. Именно так все и обстояло. Даже хуже. Я ушел от нее и, как последний идиот, продался этой глупой и пошлой бабе!

Она. Ты знаешь, что я не люблю, когда ты так говоришь. Или не ругай ее, или не спи с ней в одной постели. *(Дику.)* Я лучше уйду. *(Уходит.)*

Второй пилот. Мы остановились на том, что ты идиот. Но, по-моему, ты не такой уж идиот — она богата и, говорят, красива.

Он *(злобно)*. Да, богата, богата, богата... что дальше? Не так уж богата... И я тоже не так уж беден сейчас. И не только благодаря ей и ее брату, который выжимает из меня больше, чем дает, и при этом еще ходит с мордой благодетеля! Но из этого уже нельзя выскочить, понимаете вы или нет?

Второй пилот. Почему нельзя? Полетишь в Париж, сделаешь так, как сказал тебе Тедди, и сразу, как пробка, выскочишь из всего этого!

Дик. А он не хочет выскочить из всего этого. Он хочет выскочить только из того, что ему не нравится, и оставить при себе то, что ему нравится. Но жизнь не так-то просто делится на половинки! Ты всегда так плохо думал о своей нынешней жене?

Он. Всегда.

Дик. И все-таки женился на ней?

Он. Да.

Дик. И ты всегда так плохо говорил о ней при Кэтрин?

Второй пилот. За исключением того времени, когда просил развода.

Он. Да.

Дик. А что ты говорил ей о Кэтрин?

Он. Не помню.

Штурман. Ты же был когда-то храбрым человеком! Не бойся вспоминать.

Он. Я так далеко зашел, что мне уже поздно бояться.

Штурман. Тем более!

Он. В то время я часто говорил с ней о Кэтрин. Она сама любила заводить такие разговоры.

Женщина, на которой он женился, входит, не обращая внимания ни на кого, кроме Него. Видимо, у нее вообще привычка не особенно замечать окружающих. Она молода, очень привлекательна и очень самоуверенна, почти до глупости.

Женщина. Я звонила тебе домой, но она отрезала, что ты в редакции. Чарли просил, чтобы ты завтра зашел к нему. Надеюсь, что я в последний раз прихожу к тебе сюда. Он поклялся, что возьмет тебя к себе, если ты сам не будешь валять дурака... Извини, это он так сказал.

Он. Что он имел в виду?

Женщина. Не знаю. Ты говорил с ней?

Он. Нельзя ли не так громко?

Женщина *(мельком взглянув на присутствующих)*. Никому, кроме нас, это не интересно. Хорошо. Отойдем в сторону. Что ты ей сказал?

Он. Что больше не люблю ее.

Женщина. А она?

Он. Что последнее время она сама стала замечать это.

Женщина *(самоуверенно)*. Будь она чуть больше женщиной, ей уже давно пора бы заметить это! Хотя, может быть, я не права? Ты не дал ей заметить этого?

Он. Нет, я уже давно дал ей это заметить... Я...

Дик *(прерывая его на полуслове)*. Подожди!

Он останавливается.

Кэт!

Она *(входя)*. Да?

Дик. Я все-таки хочу, чтобы ты раз в жизни узнала, что он говорил ей о тебе, когда ты не могла этого слышать. Сядь, послушай.

Она послушно присаживается в стороне. Он делает протестующий жест.

(Строго.) Ты начал говорить. Продолжай!

Он *(продолжая)*. Я уже давно стараюсь, чтобы она это поняла.

Женщина. Мне просто обидно за нее, что она такая тупица! Только не воображай, что я когда-нибудь ревновала тебя к ней. Я не понимала, как ты мог на ней жениться,— вот и все. Я встречалась с ней в одном доме, когда еще не знала тебя, но ваш брак удивлял меня даже издали. Она вечно влезала в чужие разговоры и нудным тоном, свойственным всем этим школьным учительницам, спешила сообщить, что она думает по тому или по этому поводу, как будто кому-то очень важно знать, что она думает! А потом, когда я узнала тебя, я вдруг поняла — ты женился на ней просто из жалости! Так не подходить друг к другу, как вы! *(Уверенно.)* Да, конечно, всему виной та история, которую ты мне рассказывал: умерший жених, завещание с того света... На меня бы это, наверно, тоже подействовало. В таких случаях женщины сразу бросаются на шею, а потом их уже не отцепишь. Интересно, сколько времени у нее ушло на воспоминания и сколько понадобилось, чтобы броситься тебе на шею?

Он. Оставим этот разговор!

Женщина. Я нисколько не осуждаю ее за это. Мне просто интересно.

Он *(с насилием над собой)*. Все это тянулось не очень долго. Мы быстро поженились.

Женщина. Так как же, даст она тебе развод или нет? Ты сказал ей о том вкладе на ее имя, который я предложила?

Он. Да.

Женщина. Этого хватит на десять лет, если она не собирается жить без тебя шире, чем жила при тебе. Но я ничуть не

жалею — что сделано, то сделано! Мне хочется, чтобы она, по крайней мере, была довольна! Она довольна?

Он. Да.

Она при этих словах резко встает и выходит.

Женщина. Ну, не глупым ли тебе кажется все, что ты говорил вначале,— не возьмет! Конечно, взяла, и я бы взяла на ее месте!

Он. Я прошу тебя...

Женщина. А разве я сказала о ней что-нибудь плохое? Ей просто не повезло, что ты встретил меня. Вот и все. Это может быть с каждой. Раз она тебе дает развод, я теперь буду только хвалить ее. Я буду говорить всем и всюду, что ты был до меня женат на прекрасном, милом, добром синем чулке, у которого был только один недостаток: воображать, что она может устроить тебя. Ты что, должен еще остаться?

Он. Да.

Женщина. Хорошо. Тогда я поеду и буду ждать тебя вечером. *(Подходя к Нему ближе.)* Ну... *(Видя, что Он оглядывается.)* А, наплевать!

Он обнимает ее. Поцелуй. Женщина, на которой он женился, уходит.

Второй пилот. Тебе повезло. Ко всему прочему, она могла быть еще и уродливой.

Штурман. Твоя бывшая жена согласилась взять у тебя эти деньги?

Он. Нет.

Штурман. Отказалась?

Он. Да.

Второй пилот. Он просто-напросто не сказал ей об этом!

Он. Да.

Штурман. Почему?

Второй пилот. Он не посмел сказать ей об этом. *(Ему.)* Что ты сделал с этими деньгами?

Штурман. Ты их не взял?

Он. Я их взял. Чтобы положить на ее имя. Я думал, что она когда-нибудь согласится, чтобы я помогал ей.

Штурман. Она согласилась?

Он. Нет. Она сказала, что не переставала быть учительницей, пока я жил с ней, и тем более не перестанет теперь, когда я ушел от нее.

Второй пилот. Где эти деньги?

Он. Они лежат на мое имя, с завещанием — на ее имя. Я не взял из них ни гроша. Даже процентов. Только один раз, когда мне вдруг, до зарезу...

Второй пилот. Что значит — до зарезу? Ведь у твоей жены...

Он. Я не хотел, чтобы она знала об этой трате.

Второй пилот. На женщин?

Он. Нет, нет! На это я не взял бы из тех денег.

Второй пилот. А на что же ты их взял?

Он. Был один небольшой сбор, чтобы послать посылки заключенным в Испанию.

Второй пилот. И ты решился на это? Вот уж не подумал бы после всего, что узнал о тебе сегодня!

Он. Я встретил на улице Карлоса... *(Дику.)* Ты помнишь его? Тот, что спас меня тогда, на Эбро...

Дик. Разумеется, помню. И не только потому, что он спас тебя.

Он. А у меня все три раза перевернулось в душе, когда я вдруг увидел его, идущего по улице. Мы пошли с ним в испанский ресторан, прямо с утра. И он объяснил мне, что собирает деньги, и гордо сказал, что может взять и у меня. Если я этого хочу. Я оставил его в ресторане, пошел в банк и принес ему деньги. Он обещал, что это останется в тайне. Я был рад, что мог сделать это для него.

Дик. А если бы тебя поймал не Карлос, который спас тебя, а кто-то другой? Как тогда?

Он. Не знаю. По правде говоря, наверное, нет.

Дик. Да... Если бы только эти люди знали, какие деньги им посланы — отступные от одной женщины, так и не отданные другой...

Молчание.

Он. Я потом вложил их обратно. Так что, в сущности, это были мои деньги.

Штурман. Пусть так. Если тебе так легче думать. Я вижу, ты все еще стараешься думать как-нибудь так, чтобы тебе было хоть немножко легче.

Второй пилот. Твоя жена сказала тебе о встрече с ее братом. Эта встреча состоялась?

Он. Да.

Второй пилот. И как раз после нее ты и перешел редактором в еженедельник?

Он. Да. Вскоре.

Второй пилот. Удачная встреча!

Он. Не особенно. Я в тот раз чуть не ударил его.

Второй пилот. Вот как? Молодец! Ты в то время еще был способен на это?

Он. Я и сейчас способен на это.

Дик. Мы хотели бы знать это во всех подробностях.

Он, повернувшись, идет в другой конец сцены. Навстречу ему входит Чарльз Говард, еще совсем молодой человек, значительно моложе Его, с невыразительным, бесцветным лицом и властными повадками.

Говард. Прости, что заставил тебя ждать. Но ты сам виноват. Я получил о тебе сведения, с которыми пришлось срочно познакомиться. Другой на моем месте после таких сведений вообще бы... Но ты как-никак мой будущий родственник. Кстати, ты вступаешь на опасный путь. Бэтси, с ее глупым темпераментом, чего доброго, потребует после свадьбы, чтобы ты вел себя с ней со всем пылом новобрачного. А это не так-то просто, когда уже второй год во все тяжкие живешь с такой женщиной, как она. *(Смеется.)*

Он тоже натянуто смеется.

(Обрывая смех раньше Его.) Ладно. Вернемся к твоим глупостям. Что это за свидание с каким-то голландским попом было у тебя третьего дня? Только не пробуй врать.

Он. Полегче на поворотах! Я этого не люблю.

Говард *(вытащив из кармана какую-то бумагу)*. А я не люблю, когда мне приносят вот такие сообщения о моих будущих служащих.

Он *(сжав кулаки)*. Я уже сказал — полегче на поворотах!

Говард *(отступая)*. Это мне нравится! Сейчас. Потому что я в хорошем настроении. Но я могу вспомнить об этом, когда буду в дурном, и тогда, задним числом, заставлю тебя поползать на брюхе.

Он. Может быть. Но для начала ты сам понюхаешь этот пол!

Говард *(отступая еще на шаг.)* Ты что, раздумал жениться на Бэтси? Я не преувеличиваю свои силы — я не в состоянии вытащить тебя из ее постели, она слишком любит этим заниматься, и почему-то последнее время именно с тобой, но сделать так, что ты не станешь ее мужем...

Он *(с трудом сдержавшись)*. Ладно, я встречался третьего дня с пастором Вандеккером. Что дальше?

Говард. Это я жду — что дальше?

Он. Мы с ним когда-то сидели в одном лагере и вместе бежали.

Говард. Это мне тоже известно.

Он. Я не мог отказаться от встречи с ним.

Говард. Почему?

Он *(поворачиваясь и глядя на Дика, Второго пилота и Штурмана)*. Есть люди, которых не так-то просто выкинуть из памяти.

Говард. Если ты собираешься работать у меня, тебе придется выкинуть их из памяти.

Он. Но...

Говард *(останавливает Его рукой)*. Я не собираюсь лезть с ногами в твою душу. Но твое прошлое должно быть отрезано раз и навсегда.

Он. Но в этом прошлом...

Говард *(прерывает Его)*. Не будем красть друг у друга время: будет оно отрезано? Да — продолжаем разговор. Нет — прекращаем. Да или нет?

Он *(после молчания)*. Да.

Говард. Эта церковная крыса благодаря своему пасторскому сюртуку надула наших растяп, получила визу и целый месяц занималась тут сбором подписей под всякими протестами и петициями: «мир во всем мире», «разоружение до нитки» и тому подобными русскими трюками.

Он. Пастор Вандеккер не имеет никакого отношения к России.

Говард. Они все твердят, что не имеют никакого отношения к России. Зачем он встречался с тобой, кроме желания вспомнить о прошлом? Чего он хотел от тебя?

Он. Чтобы я подписал протест против суда над немецким пастором Шрейбером.

Говард. А почему ты должен подписывать протесты?

Он. В числе многих других. Я когда-то знал его с хорошей стороны.

Говард. Ты подписал?

Он. Нет.

Говард. Это совершенно точно?

Он. Протест будет опубликован, и под ним не будет моего имени. Что еще?

Говард. Больше ничего. Я просто не хотел быть в дураках: завтра делать тебя редактором, а через неделю искать нового. Я удовлетворен. Хотя нет... Еще один вопрос. Говорят, этот Вандеккер перед отлетом ждал тебя на аэродроме. Ты не приезжал к нему туда?

Он. Нет.

Говард. Это совершенно точно?

Он. Мне надоело повторять одно и то же.

Говард. Будем считать, что я тебе поверил.

Дик. Достаточно. Остальная часть вашего разговора нас не интересует. Иди сюда.

Он идет навстречу Дику. Говард остается один и через несколько секунд исчезает со сцены.

Дик. Я устал смотреть на физиономию этого типа.

Он. А мне приходится смотреть на него уже седьмой год!

Второй пилот *(иронически)*. Бедняга! Дал бы ему тогда в морду, и все бы кончилось само собой!

Он. Тебе легко рассуждать...

Дик. Ты опять за свое?

Второй пилот. У меня просто кулаки сжимались! Никогда не был в особенном восторге от тебя, но все-таки не ожидал, что ты станешь такой овцой!

Дик. По правде говоря, нам вообще во время войны не приходило в голову, что кто-то станет хуже, чем он есть. Насмотреться на все, на что мы насмотрелись, остаться живым и забыть, ради чего все это было?!

Штурман. Но ведь тогда он был не хуже нас. Вдруг сейчас мы оказались бы не лучше его?

Второй пилот. Нет уж, если так — предпочел бы еще раз умереть! Чем дольше я смотрю на твою жизнь, тем мне меньше жаль, что я умер!

Он. А я чем дольше живу, тем реже благодарю вас за то, что вы умерли, оставив нас жить на этой земле.

Дик. А никто и не требует от тебя благодарности.

Второй пилот. А почему? Мы как-никак приложили руку к тому, чтобы он остался жить.

Штурман. Судя по нему — жить не такое уж счастье.

Второй пилот. Умирать — тоже не такое уж счастье.

Штурман. Я хотел сказать, что ему не так-то просто жить на свете.

Второй пилот. Почему ты все время даешь ему поблажки? Ответь, ты бы сам на его месте ударил этого типа?

Штурман *(подумав)*. Да, наверное.

Второй пилот. Так почему же ты требуешь от него меньше, чем от себя?

Дик. Штурман — сильный человек. Требовать от других меньше, чем от себя,— слабость сильных людей.

Второй пилот *(Дику)*. А ты? Не надо было тогда тянуть его к нам в экипаж! Ты видел, что мне это было не по душе? Видел! Но настоял на своем. Как же, вы были с ним вместе в Испании! А я предчувствовал, что у него окажется кишка тонка. Понимаешь, предчувствовал! А наше дело такое: когда подводит один — разбиваются все!

Дик. Но он не подвел нас тогда.

Второй пилот. А сейчас подводит! Можете вы меня понять или нет, я больше не хочу быть с ним в одном экипаже!

Штурман. Ты говоришь так, словно мы еще летаем.

Второй пилот. Я говорю то, что чувствую. Мне стыдно, что наш радист не посмел дать в морду этому типу!

Дик *(после молчания, Ему)*. Извини, мы совсем забыли о твоем присутствии. То, что ты рассказал этому своему будущему родственнику о вашей встрече с Вандеккером,— правда?

Он. Не совсем.

Дик. А Вандеккер действительно ждал тебя на аэродроме?

Он. Да.

Дик. Почему?

Он. Потому что...

Он отходит от них, идет в другой угол сцены. Там сидит Вандеккер.

Вандеккер. Нет, нет, это не однофамилец! Это именно наш Шрейбер, тот самый, который тогда предупредил, что комендант решил расстрелять всех нас в последнюю ночь. Помните?

Он. Еще бы! Но когда я прочел о процессе в газетах, я даже не подумал, что это тот самый Шрейбер. Унтер-офицер, ставший пастором! Мне не пришло в голову.

Вандеккер. Когда бог помогает человеку совершить доброе дело в такую минуту, как та,— человек навсегда обращается к богу. Что же странного в этом? Да, Шрейбер стал пастором. И сделал с тех пор еще немало добрых дел. И за призыв уничтожить орудия смерти его теперь судят в той самой Германии, где мы не перешли в иной мир лишь потому, что Шрейбер обратил свои мысли к богу. Протест, который я привез, уже подписало гораздо больше людей, чем я надеялся...

Он. А вы знаете, как у нас смотрят на это? Мне до сих пор еще не простили, что я когда-то подписал Стокгольмское воззвание.

Вандеккер. Да. Я знаю — вы многим рискуете. И все-таки.

Вандеккер лезет в карман сюртука, очевидно, готовый вытащить бумагу, которую надо подписать.

Он *(вдруг)*. Подождите! В конце концов, еще одна подпись ничего не прибавит. Я сделаю другое. И, поверьте, это будет важней для него...

Вандеккер. Что вы сделаете?

Он. Я напишу для ваших голландских газет статью о Шрейбере. А вы, если удастся, напечатаете ее и в Германии. Я просто расскажу в ней, как он спас нас в ту ночь. И именно этого человека привлекают теперь к суду! Такая статья может произвести даже больше впечатления, чем мы с вами думаем!

Вандеккер. Да, разумеется, она произведет впечатление. Конечно. Еще бы. Это будет превосходно! Но когда вы это сделаете? Я улетаю завтра утром.

Он. Каким самолетом?

Вандеккер. В девять двадцать пять.

Он. Я приду на аэродром. За полчаса, даже за час. Я сейчас же сяду за эту работу...

Дик. Остановись.

Он останавливается.

Мы слышали, что ты сказал ему. Но что ты думал в те минуты? Мы хотим знать: что ты думал?

Он остается в той позе, в которой был, когда Дик остановил Его. Тишина, и в ней начинает звучать Его голос.

Его голос. Почему я не уехал в прошлую пятницу, как предлагала Бэтси! Он бы не нашел меня! Да, боюсь. Потому что знаю, чем это кончится. Что они там понимают, в Европе?.. Ни черта они не понимают. Конечно, если б не Шрейбер, мы все пропали бы тогда... Надо что-то сделать! А что? Все равно, ставь хоть тысячу подписей,— там, в Германии, не отступят! Шрейбер будет сидеть, а я не соберу костей. Но как объяснить ему это?.. Вот он уже полез в сюртук... И я не посмею сказать ему, что не подпишу! Сейчас он вынет свою бумагу, и я подпишу ее! Подпишу. А? Сейчас... Статью!.. Да, статью! Про Шрейбера! Он же не будет сидеть и ждать. А завтра он уже улетит. Привезу на аэродром. Скажу, что напишу и привезу! А потом дам телеграмму, что опоздал. Вышлю почтой... Бывает же, что письма не доходят... Пусть только не смотрит на меня сейчас. Пусть уйдет. Уйдет и думает, что я напишу. Какая мерзость! Жить не хочется! А что делать?

Его голос замолкает.

Штурман. А вы, Вандеккер, ходили по аэродрому и до последней минуты ждали, когда он привезет вам свою статью! Ах, Вандеккер, Вандеккер! Когда мы с вами сидели в лагере, вы были старше всех нас, и мне тогда казалось, что вы мудрее всех нас!

Вандеккер. Я просто не отвык верить в людей.

Второй пилот. Но вы слышали, о чем он думал, когда вы уходили от него обнадеженным?

Вандеккер. Да.

Второй пилот. И все-таки верите в людей?

Вандеккер. Да.

Второй пилот. Но если бы не сейчас, а тогда вы вдруг услышали не то, что он говорил, а то, что он думал, что бы вы сделали?

Вандеккер. Я ударил бы его по лицу и попросил за это прощения у господа бога.

Второй пилот. Эй, держись от него подальше, а то он ударит тебя сейчас, через шесть лет!

Вандеккер. Нет, сейчас уже не ударю. Я умер два года назад. И он знает об этом. Я даже думаю, что он испытал облегчение, узнав об этом.

Вандеккер поворачивается к Нему спиной и молча уходит.

Дик. Сколько получил Шрейбер?

Он. Восемь лет.

Второй пилот. Значит, сидит до сих пор. Сидит еще и сегодня?

Он. Да.

Второй пилот. Он спасал нас, рискуя буквально всем, а ты...

Дик. Не ударил пальцем о палец, хотя, в сущности, не рисковал ничем, кроме так называемой хорошей жизни.

Он. Это не так уж мало...

Дик. Разве? А ты когда-нибудь пробовал подсчитать, что ты приобрел в этой жизни и чего лишился?

Он. Я плохой математик.

Дик. Ничего. Мы тебе поможем. Женщина, которую ты любил,— не твоя. А женщина, которую ты не любишь,— твоя. И еще долго будет твоей, столько, сколько ей этого захочется. Люди, которые могли быть твоими друзьями,— не с тобой. А люди, которые с тобой... Мы уже видели одного из тех, которые с тобой... Да так ли уж она хороша, эта жизнь, с которой ты пожалел расстаться?

Он. Иногда, когда я выпью, мне самому хочется послать ее к чертовой матери!

Второй пилот. А ты много пьешь?

Он. Да. И знаете почему?

Второй пилот. Знаем. Нечистая совесть обычно тянет к бутылке. Правда, среди вас попадаются и непьющие. Но это уж безнадежные подлецы.

Он. Когда вот такие, как вы, приходят и начинают судить чужие поступки, все выглядит просто и ясно: поступил не так, как вам бы хотелось,— значит, подлец!

Дик. Да! Как бы там ни было, но именно вы остались живы и именно вам придется отвечать за свои поступки!

Он. А ты не пугай меня! Если б вы знали все о нашей жизни здесь за эти пятнадцать лет, вы заговорили бы по-другому!

Дик. Только не вздумай нам рассказывать все от Адама.

Штурман. Не ты первый из наших старых товарищей просишь рассудить себя со своей совестью. К нам обращались многие.

Второй пилот. И последний — Жак Моно — неделю назад. Его отправляли в Алжир, хотели, чтобы он закатал рукава и взял за глотку этих алжирцев. Его даже не спрашивали: да или нет, считали, что, если майор Моно двадцать лет в армии, его не о чем спрашивать... Но он все же решил посоветоваться со своей совестью.

Он. И что вы ему посоветовали?

Второй пилот. А ты что, не читаешь газет, ты только пишешь в них?

Он. Я читал, что он отказался ехать и находится под следствием.

Штурман. И ты не можешь догадаться, что мы ему посоветовали?

Второй пилот. А ему это было потрудней, чем тебе поставить свою подпись. Расстаться с мундиром, который таскаешь на плечах двадцать лет!

Он. Не все такие, как он.

Штурман. Это верно.

Он. Я знаю и других.

Дик. О ком ты?

Он. О том, кто не меньше меня обязан вам жизнью. И однако...

Второй пилот. Ты говоришь о Бонаре?

Он. Да.

Второй пилот. И тебе легче от того, что Бонар оказался в Иностранном легионе, что он докатился до конца? Тебя это утешает?

Он. Да.

Второй пилот. Послушайте, как он гордо это сказал! Ты что же, гордишься, что ты — ни рыба ни мясо?

Штурман. Не ругай его за это. Он не гордится, он просто ищет хоть какую-нибудь щель, чтобы залезть и спастись от самого себя.

Он. Да, мне легче оттого, что есть такие, как Бонар! Что дальше?

Второй пилот. Есть... Ты говоришь о Бонаре, словно он жив. А Бонар умер пять лет назад у Дьенбьенфу. Ты знаешь об этом?

Он. Я писал об этом.

Второй пилот. А ты знаешь, как он умер?

Он. Ходили разные слухи. Но...

Дик. Но эти слухи были в левой прессе, а ты последние годы предпочитаешь не верить ей!

Второй пилот. Бывшие левые вообще подозрительный народ...

Дик. Бонар!

Входит **Бонар**, человек в форме Иностранного легиона, с забинтованной головой.

Бонар, он не верит слухам о твоей смерти. *(Кивнув на Него.)* Он в своем иллюстрированном журнале писал, что тебя убили вьетнамцы, а слух, что тебя убили свои,— вранье.

Бонар. Вот как, ты писал это?

Он. Да.

Бонар. Ты что-нибудь знал, или тебе велели так написать?

Дик. Он не ответит, они не любят признаваться в таких вещах. Расскажи ему, как ты умер.

Бонар. Мне не повезло. Там многим не повезло, но мне особенно. В последний месяц моим взводным оказался этот пес — Курт Кауфман...

Он. Какой Кауфман?

Бонар. Какой Кауфман? Старший надзиратель второго блока, нашего с вами! *(Штурману.)* Тебе в ту ночь не удалось застрелить его, зато он прикончил меня десять лет спустя...

Он. Как он оказался в Иностранном легионе?

Бонар. Так же просто, как и другие. А что ты так удивился? Ты ведь встречал в газетах его фамилию. Только закрыл на нее глаза. Бывшие эсэсовцы в Иностранном легионе — выдумка коммунистов! Так ты писал. Но как ты считал на самом деле?

Он. Я не был в этом уверен.

Дик. Ему было удобнее оставаться неуверенным...

Бонар. Когда я продал душу в легион, мне надо было ожидать всего, но на встречу именно с Куртом Кауфманом я все же не рассчитывал...

Он. А почему ты пошел в легион?

Второй пилот. А почему ты женился на этой своей, нынешней?..

Бонар. Я спился, и мне до зарезу нужны были деньги. А ты?

Дик. Оставь его в покое. Рассказывай...

Бонар. Были большие потери, и нас свели из нескольких взводов в один. Тут-то я и встретился с Куртом Кауфманом. О, мы сразу узнали друг друга! Мне к тому времени уже опротивела

война, и я чувствовал себя подонком, убивавшим за деньги людей, которые всего-навсего хотят быть самими собой. У меня как-то ночью был об этом довольно откровенный разговор с одним из наших. Его потом убили, за два дня до меня... Курт Кауфман ввязался в наш разговор и пригрозил донести, а я послал его подальше... И тут мы взглянули друг другу в глаза и оба поняли, что кто-то из нас влепит пулю в другого. *(К Нему.)* Я очень хотел влепить в него пулю. Не знаю, как ты, а я не забыл ни лагеря, ни его зуботычин.

Второй пилот. А он забыл.

Он. Я не забыл.

Второй пилот. Забыл.

Он. Ну, забыл. Помнил, а потом забыл. Сколько можно все это помнить?

Штурман. Самое хорошее и самое плохое надо помнить всю жизнь.

Второй пилот. Его это утомляет!

Дик. Ладно, говори, Бонар.

Бонар. А что говорить? Нас несколько раз бросали в контратаки, я был ранен *(показывает на повязку)* и отказался идти еще в одну, но он заставил, и мне пришлось идти... Иначе он расстрелял бы меня перед строем. Офицер был убит, и он остался за командира взвода. Ладно, черт с тобой, решил я, я пойду, залезу в чащу и сдамся. Но прежде чем я успел это сделать, он влепил мне в спину пулю из своего парабеллума. Он хвастался, что у него парабеллум еще с той войны. А потом я лежал лицом в мокрой гнилой жиже и подыхал. Шел ливень, и я все старался приподнять голову, чтобы не захлебнуться.

Дик. Скажи ему, что ты думал в последние минуты.

Бонар. Что я думал? Я думал, что мне все-таки было бы легче, если б меня застрелили вьетнамцы, а не этот Курт Кауфман... Я думал, что я жалкая сволочь, но что вы *(с ненавистью смотрит на Него)*, вы, которые писали в своих газетах и журналах разные прекрасные вещи насчет нашего легиона, что вы еще большие сволочи, чем я. Я знаю, ты был тогда редактором: ты послал к нам своего корреспондента, он рассказывал нам о тебе... А потом ты напечатал целых шесть страниц снимков в своем журнале, но ты не снял на них Курта Кауфмана... Это тебе не подошло?!

Он. Я не знал, что он там.

Бонар. Ну, конечно, ты не знал. А я лежал там под ливнем и все приподнимал, приподнимал голову, пока были силы, а потом упал и захлебнулся в болотной жиже, потому что я не мог сесть, потому что у меня в позвоночнике была эта пуля. И ее влепил мне Курт Кауфман, о котором ты, конечно, ничего не знал... *(Дику.)*

Что еще? По-моему, я все сказал. Я думал еще об одной женщине, но это не имеет для вас значения.

Дик. Спасибо, Бонар.

Бонар отходит, останавливается, поворачивается к Нему.

Бонар. Между прочим, когда я подох, у меня в плаще был тот твой журнал со снимками. Мы как раз получили его с последней почтой. «Тигры джунглей»,— кажется, так ты нас назвал? Тебя бы туда, рылом в эту жижу! *(Уходит.)*

Он. Честное слово, если б я знал, что это тот самый Курт Кауфман...

Штурман. Если бы ты знал, что это тот самый Курт Кауфман, ты бы что-то сделал? А что там было полно других эсэсовцев, лично тебе неизвестных,— это тебя не касалось? Неужели ты действительно все забыл?

Он *(после молчания)*. В конце концов, Бонар сам виноват. Ему не надо было идти в этот Иностранный легион.

Дик. Конечно, сам виноват, а кто же еще? Принципы у него были не тверже твоих, а обстоятельства безвыходней. Ты женился, а он пошел в Иностранный легион... Ты взял в придачу за женой журнал с картинками, с «тиграми джунглей», а он подох в этих джунглях. Каждому свое...

Он. Ты очень упрощаешь все.

Дик. Еще бы! Усложнять — это твоя профессия. Сейчас ты взволнован, но дай тебе время опомниться, и ты все так усложнишь, что до твоей совести снова не доберешься. В конце концов, кого ты обманываешь — нас или себя?

Он. Я никого не обманываю. Раз вы мне не верите — уходите!

Дик. Это серьезно?

Он. Да.

Второй пилот. Хорошо, мы уйдем!

Уходят. Штурман уходит последним.

Он *(отчаянно)*. Подожди, не уходи! Останься. Ты один.

Штурман *(останавливаясь)*. Почему я, один?

Он. Мне кажется, ты лучше поймешь меня, чем они.

Штурман. Не думаю.

Он. Но мне будет легче говорить с тобой одним, без них. Что ты молчишь?

Штурман. А я не хочу говорить с тобой один, без них. *(Уходит.)*

Он, оставшись один, подходит к креслу, садится.

Он. А разве люди не обманывают сами себя? Некоторые всю жизнь только этим и занимаются. И ничего. А я устал. И не хочу больше думать. Ни о ком. И о них тоже. Я не хочу больше думать о них. *(Вскакивая.)* Не хочу! *(Повышая голос.)* Не желаю!

Дик *(входя)*. Оказывается, у тебя семь пятниц на неделе.

Вслед за Диком входят Второй пилот и Штурман.

Он. Я пробовал перестать думать о вас, но у меня ничего не вышло.

Второй пилот *(Дику)*. А мне, откровенно говоря, так надоело, что он обо мне думает и я должен из-за этого торчать здесь. *(К Нему.)* Тем более что с тебя все равно как с гуся вода!

Он. Дик, не слушай его, это неправда. Если б вы только знали, чего мне все это стоит!

Второй пилот. Не похоже!

Он. Да разве бы я думал о вас, если б не мучился? Разве вы были бы здесь, со мной?..

Штурман. Это, положим, верно.

Он. Я больше не хочу оправдываться перед вами! Я расскажу всё, что лежит у меня на совести. Только не уходите! Я расскажу даже то, о чем я запретил себе вспоминать...

Дик. Это было в Италии?

Он. Да, это было в Италии, в тот год, когда я познакомился со своей теперешней женой. Мы жили с ней в Неаполе, в одной гостинице... И вдруг мне позвонил Гвиччарди.

Штурман *(с нежностью)*. Наш маленький веселый Гвиччарди, самый молодой в нашем бараке. Он у меня так и стоит перед глазами.

Он. Ты бы не узнал его.

Штурман. Узнал бы! Он вдруг подскочил к нам уже в дверях барака и сунул мне сигарету... Это было за пять минут до того, как я умер.

Он. В общем, мне позвонил Гвиччарди, и я сказал, чтобы он пришел в тот же вечер. И если бы не ввязалась эта...

Идет через сцену, навстречу ему выходит Женщина, на которой он женился.

Женщина. Мне только что позвонили Боутсы. Они через час выходят на своей яхте. Переночуем в море и вернемся завтра к обеду. Я переоденусь, и поедем.

Он. Я же тебя спрашивал, и ты сама сказала, что мы никуда не поедем.

Женщина. Сама сказала так, а теперь сама говорю иначе.

Он. Ко мне придет мой старый знакомый.

Женщина. Позвони ему, что ты не можешь.

Он. Мне некуда звонить ему.

Женщина. Поговори с ним четверть часа и извинись...

Он. Мне неудобно поговорить с ним четверть часа и извиниться.

Женщина. Почему?

Он. Потому что я не видел его с войны. Потому что мы вместе сидели в плену и вместе бежали.

Женщина. А теперь ты убежишь от него вместе со мной... *(Ей показалось это очень остроумным, и она громко засмеялась.)*

Он *(прислушиваясь)*. По-моему, он идет.

Женщина. Я приду через четверть часа. Если ты сам не сумеешь объяснить ему, что нам нужно ехать,— это объясню я! *(Уходит.)*

Входит Гвиччарди. Маленький, седой, плохо одетый человек на костылях, с ногой в гипсе.

Гвиччарди. Здравствуй. Из твоего номера выскочила какая-то красавица и ошпарила меня таким взглядом, словно я собирался выклянчить у нее сто лир. Это что, твоя...

Он. Это моя знакомая.

Гвиччарди. Рад тебя видеть. Ты мало изменился. Ни одного седого волоса.

Услышав эти слова, сказанные Гвиччарди, Он невольно дотрагивается до своей полуседой головы.

А я, видишь, совсем поседел. Да теперь еще — ковыляю. Это, правда, временно. Ты сказал, что не будешь спешить, так что, пожалуй, я начну издалека...

Он *(нерешительно)*. Дело в том, что мне придется уйти раньше, чем я думал. Так что, может быть, лучше...

Гвиччарди. Я бы зашел к тебе в другой раз, но тут такая история... Завтра будет демонстрация, после которой меня могут посадить в тюрьму.

Он. За что?

Гвиччарди. За то же, за что они уже сломали мне ногу в прошлый раз. Пришел еще один ваш военный транспорт со всякими штуковинами. И мы не даем разгружать его! Скажи мне откровенно, по старой дружбе,— неужели вам действительно так уж до зарезу нужны эти военные базы у нас, в Италии?

Он. Они нужны не нам, а вам!

Гвиччарди. Ей-богу, нет! Я не коммунист и не социалист, но, клянусь святой девой Марией, нет, нет и нет! Я не читаю ваших газет, но товарищи сказали, что ты работаешь в такой,

которая раза три в год все-таки пишет правду. И что ты, когда захочешь, можешь здорово написать! Давай пойдем завтра со мной. Я, собственно говоря, за этим и пришел к тебе. Можешь ничего не кричать вместе с нами, но послушай, что кричим мы! Можешь потом ругать нас, что мы дураки и просто не проживем без этих ваших штуковин, но не ври, что на демонстрации ходят одни коммунисты! И вообще не ври, напиши разок по-честному, что эти чудаки-итальянцы не хотят, чтобы в один идиотский день или идиотскую ночь вся земля взлетела на воздух! Ну как, пойдем по старой дружбе? Когда у вас пишут про такие вещи всякую ерунду, я всегда говорю: они просто-напросто не видели этого своими глазами!

Он. Послушай-ка...

Гвиччарди. Слушаю, слушаю... Я, как всегда, не даю сказать ни слова.

Он. Расскажи, как ты живешь?

Гвиччарди. На одной ноге. Живу неважно, но это не имеет особого значения. Так как же насчет завтра?

Он. Завтра я, к сожалению, не могу. Если бы это было послезавтра...

Женщина, на которой он женился *(входя)*. Ты готов?

Он. Мы еще...

Женщина *(обращаясь к Гвиччарди)*. Здравствуйте.

Гвиччарди. Здравствуйте.

Женщина. Наверное, он не сказал вам, что мы должны ехать на рыбную ловлю. Мы бы отложили, но это не наша яхта. Но завтра после обеда мы вернемся, так что вы...

Он. Слушай, может быть, мы в самом деле увидимся с тобой завтра вечером? Ты мне расскажешь, как все это было. Мне очень неудобно перед тобой...

Гвиччарди. Море тихое, рыбная ловля будет удачной...

Он. Мне очень неудобно перед тобой, что я не могу согласиться...

Гвиччарди. А я тебе ничего не предлагал. Поезжай. Море тихое. *(Порывается уйти.)*

Он. Я бы все-таки хотел повидать тебя. Оставь адрес.

Гвиччарди. Он есть в адресной книге.

Он. Я разыщу тебя.

Гвиччарди. Лучше разыщи себя. Тот, которого я знал когда-то, живет по другому адресу.

Женщина. Не обижайтесь на него. Мы заедем к вам вместе. Послезавтра. И вы нам покажете настоящий Неаполь. Мне уже давно этого хочется.

Он. Не вмешивайся, пожалуйста, в наши дела.

Женщина. Подожди! Я прекрасно знаю, что я хочу сказать. Мы непременно заедем к вам на днях. У вас, наверно, много детей. У всех итальянцев много детей.

Гвиччарди. Да, я не исключение.

Женщина. Я очень люблю детей.

Он *(предвидя дальнейшее)*. Я прошу тебя — замолчи!

Женщина *(не обращая на него внимания, вынимает из сумочки деньги)*. Может быть, вы пока что-нибудь купите им от нас обоих. А когда мы приедем к вам...

Он *(вырвав у нее сумку и деньги, яростно запихивает их обратно и сует ей сумку в руки)*. Уходи отсюда!

Женщина. Что?

Он. Я говорю: уходи отсюда!

Женщина. Если ты так думаешь, что я после этого...

Он *(бешено)*. Я ничего не думаю! *(Насильно повернув ее за плечи.)* Уходи отсюда!

Женщина. Только не вздумай потом просить у меня прощения! *(Уходит.)*

Гвиччарди. Ты чуть не прибил ее. Оказывается, вы тоже иногда не обходитесь без этого?

Он. Черт с ней! Не хочу о ней думать. Я пойду с тобой завтра.

Гвиччарди. Правда?

Он *(улыбнувшись)*. Клянусь святой девой Марией! Давай свой адрес.

Второй пилот. Не понимаю, почему ты запретил себе об этом вспоминать!

Он. Потому что я никуда не пошел с ним.

Штурман. Не пошел?

Он. Я взял катер, догнал ее в море и попросил прощения.

Дик. И она простила?

Он. Да. Ей нравилось, когда я бывал бешеный, а потом просил за это прощения.

Штурман *(к Гвиччарди)*. И ты больше не видел его?

Гвиччарди. Нет.

И, словно перестав замечать Его, Гвиччарди медленно, на костылях, проходит мимо Него и исчезает.

Штурман. Почему ты не пошел к нему? Хотя бы потом.

Он. Потому что его убили. В порт вызвали полицию, и она стала стрелять. Об этом много писали...

Дик. А ты?

Он. Я тоже.

Дик. Все-таки!

Он. Гордиться нечем, я написал очень сдержанно. Мне тогда впервые за много лет дали паспорт и разрешили выехать. Я наконец поехал от крупной газеты, куда меня раньше и на порог не пускали! Если бы я написал хоть немного резче...

Второй пилот. А, подумаешь, резче или нежнее! Главное для таких, как ты, остаться в живых! А пойди ты вместе с Гвиччарди, тебя, не дай бог, могли бы тоже убить!

Он. Ты напрасно смеешься над этим. Мне как раз тогда показалось, что умереть — не самое страшное. Я пошел по его адресу к его вдове. Я хотел помочь ей.

Штурман. Деньгами?

Он. Да.

Штурман. И она взяла?

Он. Нет. Она сказала мне: «Раз ты не пошел вчера с ним туда, зачем ты пришел сегодня без него сюда?» И мне вдруг стало так тошно, что я напился с тоски, вернулся в гостиницу и сунул себе пистолет в зубы... Но в последнюю минуту вломилась Бэтси. Она до сих пор любит вспоминать, как она спасла меня тогда...

Штурман. Странно, что ты именно тогда подумал о самоубийстве. Я бы на твоем месте...

Он. Что?

Штурман. Если уж стреляться, я бы на твоем месте застрелился гораздо раньше, еще когда они записали твой разговор с Беном, а потом посадили его.

Он *(с вызовом)*. А я вот захотел застрелиться именно тогда, в Италии!

Штурман. Никак не могу решить, что ты за человек.

Дик. Ты рассказал об этом Кэтрин?

Он. Нет.

Второй пилот. Женщины не ценят неудачных самоубийц.

Он. И мужчины тоже. Но я ей рассказал все, что творилось у меня на душе после истории с Гвиччарди. И это было хуже самоубийства.

Дик. Да, уж тут ты, наверное, не пощадил ее! *(Зовет.)* Кэт!..

Она входит.

Скажи откровенно, когда он вернулся из Италии, он тебя сильно мучил разными разговорами?

Она. Когда он вылез из самолета, я вдруг увидела, что у него наполовину седая голова. Я сама бросилась к нему и стала спрашивать — что случилось?

Штурман. Он пробовал застрелиться там, в Италии.

Она. Он не сказал мне этого.

Второй пилот. А он объяснил вам, почему он не пошел с Гвиччарди?

Она. Он сказал, что был болен.

Второй пилот. А о поездке на рыбную ловлю он вам ничего не говорил?

Дик. Ты все еще пробовал выглядеть в ее глазах лучше, чем был?

Он. Да. Тем более что ей самой хотелось этого.

Дик *(с недоверием)*. Это правда?

Она. Да, это правда. Он все чаще лгал мне, но и я лгала себе самой. Я каждый раз хотела убедить себя, что он не может поступить иначе. Я уже перестала замечать все расстояние, которое он прошел. Это было так незаметно, шаг за шагом. Я видела только один последний шаг, и этот шаг не казался мне ужасным, потому что перед тем был еще один шаг, а перед тем — еще один.

Дик. А тебе не приходило в голову самой уйти от него?

Она. Приходило. Мне казалось, что он умирает рядом со мной, словно из него понемногу выпускают воздух и он сжимается, сжимается, сжимается... но только этого никто не видит, кроме меня. Да, мне приходило в голову уйти от него, но я не могла.

Дик *(с гневом)*. Ты и сейчас любишь его?

Она. Не знаю.

Дик. А он любит тебя?

Она. Да. Но старается забыть об этом.

Дик. Как же он мог бросить тебя?

Она. Разве вы его не спрашивали?

Дик. Даже сейчас, когда ты стала старше меня... Не могу понять, как он мог бросить тебя!

Она. Мне сейчас очень стыдно перед тобой, Дик, за то, что я любила его больше, чем тебя. Но это так.

Штурман. Почему ты сегодня пришел к этой женщине?

Он. А к кому мне было идти?

Штурман. А еще почему?

Он. Потому что я любил ее и она понимала меня.

Штурман. Так почему же ты женился на той, которую ты не любил и которая тебя не понимала?

Он. Я не для этого позвал вас. Вы отвлеклись в сторону.

Штурман. Мы люди, а людям это свойственно... Тем более что Дик...

Дик. Хорошо. Не будем больше спрашивать его об этом. *(Поворачивается к Ней.)* Но тебя я хочу спросить: почему сегодня, после того как он пять лет не был у тебя, ты не выгнала его?

Она. Когда он рассказал, почему он пришел, мне показалось, что если он пробудет этот вечер рядом со мной, это поможет ему вспомнить прошлое...

Дик *(Ему)*. Ты слышал, что она сказала?

Он. Да. И она права. *(После молчания.)* Я знаю, чего вы все ждете от меня,— чтобы я сказал «да»! Но я боюсь, понимаете, боюсь!

Она. «Боюсь»! Опять: «боюсь»! Я ненавижу тебя, когда ты говоришь это слово! *(Уходит.)*

Он. Да, боюсь. Когда мы кончали тот разговор с Тедди, кто-то два раза прошел мимо. Никак не могу выбросить из головы — а вдруг нас подслушали?

Второй пилот. Ну и что?

Он. Мне могут не дать улететь.

Второй пилот. Это будет хуже всего, тогда никто не узнает заранее об этом проклятом полете!

Он. Если они не дадут мне улететь, значит, они узнали, что я слышал и не рассказал им!

Дик. Ах, вот что тебя волнует... Ну что ж, беги туда, не знаю уж куда, я плохо знаком с этими делами, беги, скажи, что Тедди Франк выдал тебе их тайну. И как это он, имея дело с тобой, не подумал об этом! *(В пространство.)* Тедди, мы просим тебя зайти к нам на минуту.

Входит Тедди Франк. Он в дорожном пальто, в шляпе, руки в карманах.

Франк. Я очень занят, ребята. Что вам нужно от меня? Я уже все сказал ему.

Дик. Мы тебя не задержим. Всего два вопроса: почему ты решил это сказать? И почему ты решил сказать это ему?

Франк. Я решил это после того последнего полета, когда русские нас застукали.

Дик. А почему ты решил именно тогда? Ты ведь занимался этими делами уже давно.

Франк. Когда-то раньше, еще в начале этих работ, я считал, что в случае чего им там, в России, будет гораздо хуже, чем нам здесь, а мы отделаемся сравнительно легко. Но потом я пришел к убеждению, что будет плохо всем, и еще неизвестно, кому хуже. А если так — этого не должно быть. Я никогда не имел дела с русскими. Я не знаю, какие они. Может быть, они хорошие парни — как о них пишут одни. Может быть, они никуда не годятся — как о них пишут другие. Допускаю и то и другое. Но, как бы там ни было, мы не должны позволить ввязать себя в эту грязную историю.

Второй пилот *(кивнув на Него)*. Он говорит, что, когда ты разговаривал с ним, кто-то прошел мимо. Он боится, что вас подслушали.

Франк. Ерунда! Случайный прохожий... Я заметил его не хуже тебя. А ты испугался?

Второй пилот. Так испугался, что уже стал думать — не сообщить ли кому-нибудь о вашем разговоре.

Он. Неправда, я так не думал. Я просто испугался...

Дик. Ну, ладно, ладно: ты просто испугался. *(Франку.)* Он просто испугался. Ответь нам на второй вопрос: почему ты решился сказать это именно ему?

Второй пилот. Ты, кажется, сделал неважный выбор!

Франк. Во-первых, никого не было под руками. А во-вторых... у нас с ним уже довольно давно была еще одна встреча... Он не говорил вам о ней?

Дик. Нет.

Франк. Мы с ним тогда выпили немного лишнего, и я ему довольно живо изобразил, как будем выглядеть и мы и Россия после того, как вывалим друг на друга все приготовленные и у нас и у них штуки. Он и такие как он, не прочь тиснуть у себя в газете кровожадную статейку какого-нибудь отставного болвана, но когда я ему изобразил, как все это будет выглядеть на деле,— такое уж у меня было в тот вечер настроение, это было как раз после того полета,— с него сразу соскочил весь хмель! Примерно тысяча Хиросим за одни сутки — вот что такое это будет, сказал я ему. Он понял, что я говорю со знанием дела,— я увидел это по его лицу! И сегодня я вспомнил об этом.

Второй пилот. А тебе не приходило в голову, что он может выдать тебя?

Франк. Приходило. Но бывают обстоятельства, когда с этим нельзя считаться. Да, я кое-чем рискую, но я отвечу вам на это просто: у меня четверо детей — три парня и девочка. Я плохо плаваю, но, если бы кто-нибудь из них тонул, я бы, не задумываясь, прыгнул в воду. За каждым из четырех. А сейчас они могут потонуть все четверо, если мы будем продолжать эти идиотские полеты. И я решил прыгнуть... Наверное, можно рассказать об этом красивее, насчет всего человечества... Но, по-моему, я объяснил вам то, что вы хотели.

Дик. Спасибо, Тедди. Спасибо за откровенность.

Франк. В таких случаях ничего не поделаешь, приходится говорить начистоту. *(Проходя мимо Него.)* Когда уходит твой рейс?

Он. В ноль пять.

Франк. Когда мы с тобой говорили, меня беспокоила погода, но я специально проверил: циклон прошел мимо, погода будет хорошая до самого Парижа. Вы придете туда точно по расписанию. Между прочим, я ведь не забыл, как тогда в лагере в последнюю ночь ты вдруг подошел *(кивнув на остальных троих)* к ним. И сказал... Помнишь, что ты тогда сказал?

Долго смотрят друг на друга.

Ладно. Я пошел. *(Уходит.)*

Дик *(задумчиво)*. В прежние времена он был далеко не самым лучшим парнем на свете...

Второй пилот. Так как же ты намерен поступить?

Он. Не знаю.

Второй пилот. До сих пор?

Он. Да, до сих пор! Не берите меня за глотку! А то я в конце концов пущу себе пулю в лоб! Сейчас, тут, при вас!

Второй пилот. И это будет величайшая подлость с твоей стороны! Знать то, что ты знаешь, и, никому ничего не сказав, пустить себе пулю в лоб?

Дик. Да ты понимаешь или нет, что речь идет о войне?

Он. Это зависит не от одного меня!

Дик. Разумеется! Но сегодня мы говорим с тобой!

Второй пилот. Брось уговаривать его! Пойдем!

Дик. Подожди. Мы не имеем права бросать его сейчас! Ответственность не обязательно падает на плечи самого честного, самого умного, самого сильного... Бывает, что она падает на слабые плечи. Но рано или поздно решать приходится каждому. *(К Нему.)* Что ты молчишь? Мы не задумываясь сделали бы это вместо тебя. Но мы не можем, мы умерли, а ты?

Он. А я, к сожалению, остался жив, чтобы существовать в этом мире, который сошел с ума и в котором жить в сто раз трудней, чем в том, в котором жили вы. И я не знаю, как бы сейчас поступали вы, вы... которые были тогда на высоте.

Второй пилот. Значит, всем вам только и остается сидеть и ждать, когда вам на головы посыплются бомбы? Нет, если бы я хоть на секунду поверил, что все станут такими, как ты, я бы не пошел умирать за вас!

Штурман. Подожди. Не надо унижать его. *(Подходя к Нему.)* Послушай, ты помнишь тот вечер?

Второй пилот. Ничего он не помнит!

Штурман *(Второму пилоту)*. А ты помолчи! Я мало вмешивался до сих пор, но сейчас с ним буду говорить я. Неужели ты забыл тот вечер? Нас было двадцать разных людей, сидевших в одном бараке, потому что каждый из нас до этого уже один раз

неудачно бежал. Нас свело вместе то, что мы все не хотели смириться. И мы начали рыть подкоп — мы хотели бежать еще раз. Война подходила к самому лагерю, но мы думали — мы имели на это основания,— что в последнюю минуту нас захотят уничтожить... Мы рыли подкоп и, по нашим расчетам, возможно, уже вывели его за проволоку. Нам оставалось всего несколько метров, чтобы знать это наверняка. Ты помнишь это?

Он. Помню.

Штурман. И мы все выбивались из сил, чтобы поскорее кончить с этой работой, но Шрейбер, тот самый Шрейбер, который сидит сейчас в тюрьме и который был дежурным надзирателем, задержал меня после поверки и шепнул, что коменданту приказано сматывать лагерь и он решил перед этим, на рассвете, расстрелять наш барак. Шрейбер стиснул мне руку и сунул вот этот револьвер, чтобы мы не умерли, как бараны. Ты помнишь, как мы сидели и говорили об этом и как после всех споров решили, что Дик, он *(показав на Второго пилота)* и я пошлем записку через надзирателя и попросим вызвать нас троих в комендатуру для важного сообщения. И что мы там сделаем все, что можно сделать с одним револьвером и тремя парами рук, а вы, когда начнутся выстрелы и суматоха, попробуете бежать через подкоп. Полезете там, где он выйдет наружу. Уж как повезет! Ты помнишь, как некоторые спорили, ты в том числе, но мы взяли это на себя. Дик был наш старшина, он *(кивнув на Второго пилота)* был самым сильным из всех нас, а я — именно мне Шрейбер сунул этот револьвер, не отдавать же его кому-то другому! Но когда все уже было решено и половина вас работала в подкопе, прорывая ход вверх и каждую минуту боясь, чтобы не услышали часовые, а мы трое написали записку и ждали — неужели нас не вызовут?.. Ты помнишь, как ты подошел к нам...

И пока Штурман говорит все это, пространство позади него постепенно заполняется людьми. Среди них те, кого мы уже видели в разное время: Бонар, Вандеккер, Гвиччарди, Тедди Франк.

Мы ждали, а ты подошел к нам и сказал...

Штурман отступает и садится на скамейку рядом со Вторым пилотом и Диком.

Он *(подходя к ним)*. Возьмите меня четвертым.

Дик. Нам не нужно четвертого.

Он. Дик, я прошу тебя!

Дик. Четверо — слишком много. Хорошо, если они вызовут сразу хотя бы троих.

Он. По правде говоря, Дик, мне будет совестно жить.

Дик. А ты живи так, чтобы тебе не было совестно.

Второй пилот *(кивнув в сторону воображаемой двери барака)*. Интересно, клюнут они или нет?

Штурман. Клюнут.

Дик *(к Нему)*. Слушай. *(Обнимает Его за плечи.)* По правде говоря, меня тронуло то, что ты предложил... Хотя это и глупо. Если ты когда-нибудь доберешься домой, разыщи мою девушку. Она сестра Бена Кроу, и ты легко найдешь ее, даже если она куда-нибудь переехала. Когда я зимой был в отпуску и мы познакомились с ней, она собиралась переезжать. Найди ее и расскажи обо мне.

Второй пилот. По-моему, идут...

Дик *(прислушивается)*. Нет, мимо. Она самая лучшая женщина на свете. Я говорю — женщина, потому что, хотя мы и не успели пожениться, но раз она меня любила, она не рассуждала насчет того, что можно до и что после свадьбы... Расскажи ей обо мне. Ей это будет важно... А если вдруг полюбишь ее, это не так-то трудно...

Он. Не говори об этом, Дик, прошу тебя.

Дик. Почему не говорить об этом? Мне будет легче думать на том свете, что она там, на земле, как за каменной стеной, за таким парнем, как ты. Если она будет расспрашивать, скажи ей...

Входит Человек с автоматом.

Человек с автоматом. Эй, вы, трое, вы просили, чтобы вас вызвали в комендатуру. Идите за мной.

Штурман. Прощайте, ребята. Если у кого-нибудь из вас есть закурить...

Гвиччарди, сорвавшись с места, бросается к Штурману и сует ему недокуренную сигарету.

Дик. Вандеккер, ты все-таки пастор, когда у тебя будет свободная минута, помолись за нас богу, если он есть...

Второй пилот. Эй, радист, если выйдешь на волю, отстучи там по нашим адресам — как все было!

Уходят.

Вандеккер *(вставая)*. Быстро спускайтесь по одному в подкоп. У вас всего несколько минут.

Постепенно все, один за другим, исчезают.

(К Нему.) Я тоже иду. Ты останешься последним. Когда услышишь первые выстрелы — спускайся. Стой и слушай! *(Уходит.)*

Он остается один, идет к креслу, в котором сидел вначале. Садится. Несколько секунд тишины. За сценой громкий выстрел — один, другой, третий. Он вздрагивает, открывает глаза, вскакивает.
Она входит с подносом, на котором какая-то еда. Он бросается к ней.

Он. Ты ничего не слышала?

Она *(спокойно ставя поднос на стол)*. Нет, ничего. Что с тобой?

Он *(после долгого молчания)*. Ничего, я просто задумался. *(Вдруг.)* Ты не заходила сюда?

Она. Нет.

Он. Ни разу?

Она. Нет. Что с тобой?

Он. Сколько времени тебя не было?

Она. Не знаю. Наверное, полчаса.

Он. Почему ты не выгнала меня, когда я пришел?

Она. Садись, я обещала покормить тебя.

Он. Подожди. Ответь мне: если мне будет плохо, так плохо, когда хуже не бывает,— ты найдешь меня? Ты поможешь мне?

Она. Какое это имеет значение рядом с тем, о чем ты думаешь сейчас!

Он. Никакого. Для всех других — никакого... *(После молчания.)* Ты проводишь меня до самого самолета?

Она *(с силой)*. О чем ты спрашиваешь? Я готова умереть, только бы ты сделал это! И я не хочу жить, если ты этого не сделаешь.

Он. Пусть будет так. На этот раз я пойду с ними четвертым...

Она. Ты не боишься?

Он. Я боюсь, но пусть будет так. *(Сначала задумчиво, а потом, во второй раз,— с силой выстукивает пальцами по столу точки и тире сигнала «Спасите наши души», и, многократно усиленные репродукторами, эти точки и тире, повторяясь снова и снова, звучат в зале; звучат и после того, как занавес уже закрылся.)*

1961

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Холодным мартовским утром тысяча девятьсот сорок седьмого года Петр Семенович Басаргин, отвоевав три года на войне и прослужив еще три года за границей, возвращался наконец домой, в отпуск.

Было одиннадцать утра. До Пухова — районного городка, примерно на полпути между Москвой и Смоленском, оставался еще час пути. Басаргин уже собрал вещи, закрыл на все замки чемодан, почистил щеткой костюм, пальто и шляпу и сейчас, стоя перед зеркалом в раскачивавшемся вагоне, еще раз причесывал мокрые волосы и внимательно рассматривал себя. В тусклом вагонном зеркале отражался человек лет тридцати пяти, хорошо одетый и чисто выбритый. Худощавое, замкнутое лицо выглядело особенно загорелым из-за пшеничных волос и светло-голубых, казалось, слегка выгоревших глаз; привычка щурить их порой придавала лицу насмешливое и даже дерзкое выражение. Была и еще одна подробность, нарушавшая первое впечатление от аккуратной внешности Басаргина,— это наперекор всему торчавший откуда-то сбоку жесткий вихор волос, с детства не поддававшийся ни прическам, ни стрижкам. Катя, жена Басаргина, не раз говорила, что этот занимательный вихор и есть настоящая его душа, которую он неведомо зачем прячет от людей под своей привычной сдержанностью. Пожалуй, в этом была доля правды.

Вспомнив о Кате, он сильно и с огорчением потер пальцами тонкие темные полоски, шедшие у него от глаз к ушам,— след очков. Он уже второй год носил очки. Правда, он надевал их только когда читал, но у него была привычка ежедневно и много читать, и полоски от очков становились все заметней.

Ему хотелось заново понравиться Кате, и это чувство все усиливалось у него по мере приближения к дому.

Закрыв глаза, он подумал о том, как он ее поцелует. И сейчас же вспомнил ее лицо таким, каким оно было в минуту их проща-

ния, почти три года назад. Он помнил много разных ее лиц: недовольное, улыбающееся, печальное, озабоченное, умиленное; но это лицо в минуту прощанья осталось для него навсегда самым любимым.

Они расстались в мае сорок четвертого года в Бессарабии, на аэродроме в Бельцах. Он привез ее с фронта на «виллисе». Оставалось два месяца до родов, но ее беременность все еще была почти незаметна, и она сердилась, что он отправляет ее в тыл слишком рано.

Всю дорогу, сидя на переднем сиденье, между ним и шофером, она молчала. Только на крутом повороте, когда их тряхнуло и он, примостившийся, чтобы не стеснить ее, на самом краешке сиденья, чуть не вылетел из машины, она, вскрикнув, крепко обхватила его шею обеими руками, но тотчас же отпустила и опять безучастно молчала до самого аэродрома.

На аэродроме целый час, оставшийся до отлета, она коротко и однообразно отвечала на его вопросы, ни разу не подняв упрямо опущенных глаз.

Уже пробовали моторы. Он отнес ее чемодан в самолет и вернулся, а она все с тем же безучастным выражением стояла у лесенки, опустив голову.

— Пора,— сказал бортмеханик.

Тогда она подняла голову и, закинув руки за плечи Басаргина, но не прижимаясь к нему, долго смотрела на него, с расстояния вытянутых рук, словно издалека, запоминая его лицо.

А он тоже, покоренный ее взглядом, не пытаясь приблизить ее к себе, читал на ее лице такую печаль и боязнь разлуки, что ему хотелось опуститься на землю и, обняв колени жены, целовать их сквозь пыльную шинель.

На потемневшем от пыли Катином лице глаза казались особенно большими и неподвижными, похудевшую шею с маленьким шрамом от осколочного ранения обнимал ставший широким воротник гимнастерки...

Один из моторов дал полные обороты. У Кати выскочили шпильки, и ее темные волосы полетели вверх и так и остались в струе воздуха, летящие и в то же время остановившиеся на месте. Но она не обращала на них внимания и продолжала смотреть на Басаргина.

Таким он и запомнил ее лицо: печально сжатые губы с обветренными трещинками, неподвижные глаза и летящие волосы.

Пройдясь два раза по коридору вздрагивавшего на стыках вагона, Басаргин вернулся в купе и присел у окна.

Было холодно. Старый вагон насквозь продувало зимним ветром, и муж и жена, занимавшие две нижние полки, ворчали, что

лучше бы они ехали жестким: там больше народу и поэтому теплее.

Басаргин смотрел через окно па однообразно летевшее навстречу белое поле и думал о своей жизни.

Жизнь эта началась здесь, на Смоленщине, тридцать четыре года назад, и сейчас, после всех скитаний, круговорот ее приводил его сюда же, на прежнее место.

Мать он не видел гораздо дольше, чем жену,— почти шесть лет.

Из писем было известно немного: что дом, в котором они жили в Смоленске, сгорел; что мать была у партизан, а теперь живет у Елены — старшей дочери — в Пухове и там же учительствует; что муж Елены, Григорий Фаддеич Кондрашов, воевал, но в сорок третьем демобилизовался и сейчас, как и до войны, работает по строительству; что Шурка — младший брат — вернулся с фронта инвалидом без руки и учится в Смоленске, в том самом институте, где до войны преподавал Басаргин. Как почти в каждой семье, были невозвратимые потери. Погиб в московском ополчении младший брат матери, дядя Вася, и уже в самом конце войны был убит Анатолий — сын Григория Фаддеича от первого брака. Он служил в авиации, и ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Это было все, что знал Басаргин о судьбе своих родственников.

О Кате он знал немногим больше из десятка писем, в разное время полученных им в разных местах земного шара. Он знал, что она родила ему сына, живет теперь вместе с его матерью и работает хирургической сестрой в железнодорожной поликлинике. Письма Катя писала короткие и странные; они были похожи на лицо человека, силящегося не расплакаться.

Иногда Басаргину казалось, что они такие потому, что она слишком сильно любит и не может жить без него. Тогда он вспоминал ее лицо в минуту прощания и успокоенно думал, что ее письма похожи на это молчаливое лицо. Иногда же неизменные заключительные строчки каждого письма: «Будь здоров. Гриша и я крепко целуем тебя» — приводили его в бешенство и представлялись ему безнадежно высокой и длинной каменной стеной, которую он не может ни перелезть, ни обойти, чтобы узнать, что происходит за ней.

Уже скоро два года, как кончилась война, а он еще только возвращался домой. Неожиданные обстоятельства вторглись в судьбу Басаргина, изменив ее самым непредвиденным образом почти сразу же после отъезда Кати с фронта.

За полночь, когда он, маясь от духоты, лежал в траве, кото-

рая с буйной силой покрывала все — и старые воронки, и свежие вмятины от колес орудий,— раздался рев снижающегося самолета и вслед за этим оглушительный скрежет, такой, словно по гигантскому камню провели громадным железным скребком.

Американский бомбардировщик, совершавший челночный перелет из Италии в Полтаву, сделал вынужденную посадку на кукурузном поле, в полуверсте от позиций противотанкового артиллерийского дивизиона, которым командовал Басаргин.

С этого все и началось. Внезапно выяснилось, что Басаргин, первым приютивший летчиков, знает английский язык лучше всех в корпусе, и ему приказали отвезти американцев в штаб фронта. На первый случай дело тем и ограничилось, и сам Басаргин быстро забыл об этом маленьком происшествии. Но тем временем уже кто-то вспоминал об артиллерийском майоре, хорошо знавшем английский язык. Где-то за двести верст от него, в отделе кадров фронта, извлекалась из сейфа анкета: высшее законченное, Ленинградский политехнический, знание языков: английский — хорошо, французский — слабо. И взятая на заметку анкета откладывалась в сторону, и лист, на котором фамилия Басаргина была напечатана на машинке рядом с другими, уже заключался в коленкоровую папку с надписью: «На доклад». Резолюция синим карандашом: «Утверждаю», резолюция красным карандашом: «Согласен». Союзники высаживались в Марселе; мелкий и твердый канцелярский почерк бесповоротно бежал по бланку с маленькой красной звездой, выводя: «Откомандировывается в распоряжение комиссии по делам репатриации».

В сентябре 1944 года, за трое суток пролетев через Иран, Египет, Алжир и Средиземное море, майор Басаргин вечером четвертого дня вылез из самолета на большом травянистом аэродроме недалеко от Марселя.

У него слегка кружилась голова, больше от избытка впечатлений, чем от усталости. Было тепло и необыкновенно тихо — он услышал, как что-то, не то жук, не то пчела, прожужжало над головой и упало в траву. Синее небо стояло неподвижно и томительно, как на картинках, поднимаясь прямо вверх от самой земли. Басаргин снял фуражку и, перевернув, устало вытер клеенку носовым платком.

Его дивизион дрался сейчас где-то под Плоешти. Очевидно, так. Если вечером не было боя, то начальник штаба обычно в это время, в двадцать часов, садился за донесение. Впрочем, все это теперь не имело к Басаргину никакого касательства. Он еще раз вытер платком свою новенькую фуражку, пренебрежительно щелкнул по ее щеголевато блестевшему козырьку и надел на голову. Старая, фронтовая жизнь кончилась. Начиналась новая, не-

ожиданная и еще не совсем понятная, и кто знает, что ожидало его в этой жизни.

По аэродрому, ныряя, как бегущая в траве собака, ехала маленькая открытая машина. За рулем сидел офицер в советской форме, в такой же новенькой фуражке и с такими же золотыми погонами, как у Басаргина. Он правил одной рукой, а другой размахивал и что-то кричал Басаргину.

Таким и запомнилось начало новой жизни: ослепительно синее небо, зелено-желтое выжженное поле аэродрома и прыгающая в траве маленькая черная машина...

В этих первых минутах на французском аэродроме не было ничего примечательного; они остались в памяти просто потому, что были первыми, и еще потому, что из всего клубка воспоминаний последних лет они торчали, как кончик нитки, с которого, чтобы не запутаться, следовало начинать разматывать все. Тысячи и тысячи километров были намотаны в этом клубке вкривь и вкось с грубой поспешностью военного времени. Белые дороги Франции, свинцовые шоссе Германии, черные каналы Голландии, зеленые, в белой пене, валы Атлантики и, наконец, разлинованные автострады Америки. Басаргину иногда начинало казаться, что его память стала шумным перекрестком, через который по всем этим дорогам, сталкиваясь и налетая друг на друга, неслись воспоминания.

Вскоре после окончания войны он был демобилизован, но поехал не домой, а в Вашингтон, в закупочную комиссию. Причин на это было несколько сразу: и действительное, а не только по анкете хорошее знание языка, и уже приобретенный опыт заграничной работы, и, главное, старая довоенная специальность. До войны он читал курс технологии металлов, и его послали в Америку сменить уезжавшего оттуда работника, занимавшегося закупкой и приемкой проката и метизов.

Басаргин не принадлежал к числу тех очутившихся за границей людей, у которых инстинктивное неприятие всего окружающего превращалось в шоры, мешавшие им видеть и узнавать незнакомый мир.

Шорами прикрывают глаза лошади, чтобы она не пугалась незнакомого и чужого. Людей, добровольно надевавших шоры, Басаргин считал отчасти трусами, отчасти душевными лентяями. Безоговорочная похвальба всем своим и такое же безоговорочное осуждение всего чужого не были в глазах Басаргина свидетельством душевной силы, а, наоборот, казались ему признаком слабости этих людей. Им недоставало сознания своего духовного превосходства над чужим миром, обладая которым можно было, не роняя собственного достоинства, признавать, что американские авто-

страды или кинематографы с охлажденным воздухом — отличные вещи, и жаль, что мы еще не имели возможности завести такие же у себя. Вспоминая родину, они хвалили все без исключения, поэтому им не верили. Впрочем, большею частью они предпочитали отмалчиваться и не ввязываться в споры.

Когда же они все-таки спорили, то спор слишком часто переходил в полушутливое бахвальство русской баней, икрой, блинами и водкой.

Басаргина это неизменно приводило в ярость; и хотя сами эти люди вовсе не за это любили свою страну и знали о ней в сто раз больше того, что о ней говорили, но он, может быть, именно поэтому считал особенно унизительным их бессмысленное потакание чужим и бессмысленным представлениям о России.

Однажды после большого ноябрьского приема в посольстве Басаргин поссорился из-за этого с Николаевым, таким же, как он, демобилизованным майором, своим сослуживцем по закупочной комиссии.

Вернувшись к себе в общежитие, они полураздетые сидели друг против друга на кроватях и, механически продолжая раздеваться, яростно спорили.

— Нашел чем похвастаться, говоря о социалистическом государстве,— баней и блинами,— говорил Басаргин, со злостью расшнуровывая ботинки.

— А что же мне этому стальному королю, который не стесняется вспоминать, как он до войны к Гитлеру в гости ездил,— историю партии, что ли, ему рассказывать?

— Не знаю. Знаю только одно: всегда надо оставаться самим собой!

— Слушай,— стянув через голову рубашку, сказал Николаев,— а у него даже рожа добродушней стала, когда я ему насчет блинов ввернул. Ей-богу!

— Ясно, добродушней! — Басаргин швырнул под кровать ботинки так далеко, что утром ему неминуемо предстояло ползать за ними на животе.— Ясно, добродушней! — повторил он.— Советский Союз с одними банями и блинами его не тревожит!

— Отстань! — сказал Николаев, залезая под одеяло.

— Не отстану!

— А какой смысл лишний раз красным платком махать перед таким быком, как этот Стенли? — лениво из-под одеяла отозвался Николаев.

— Знамя — не носовой платок, его по карманам не прячут!

— С тобой не сговоришься,— сказал Николаев после паузы и, подумав, добавил: — Трудно тебе тут с людьми разговаривать — тут дипломатия нужна, а ты не умеешь.

— Почему не умею? Умею,— сказал Басаргин, задетый за живое.— Но только я не считаю, что верх дипломатии — это пить водку в обнимку с кем придется.

— Ну что же, они это уважают.

— А я не хочу, чтобы меня уважали только за то, что я могу стаканами пить водку, а главное, чтобы меня считали дураком.

— Ну что же, иногда и это полезно.

— Нет, это всегда вредно. Извини меня, не мог на тебя сегодня вечером равнодушно смотреть. Ты весь вечер прикидывался дурачком и купчиком.

— А ты что же советуешь — откровенничать с кем попало?

— Я тебе ничего не советую. Я просто хочу, чтобы каждый, кто разговаривает с тобой или со мной, чувствовал, что я — человек из Советского Союза и что я горжусь у себя в России не баней и икрой, а кое-чем другим. Уж во всяком случае — в первую очередь!

Николаев ничего не ответил. Он молча лежал, глядя в потолок, и ожесточенно крутил двумя пальцами уголок воротника своей полосатой американской пижамы.

Басаргин подумал, что он обиделся, и, помолчав с минуту, окликнул его:

— Ваня!

Николаев молча потянулся, схватился сильными волосатыми руками за спинку кровати так, что она затрещала, и сел, опустив босые ноги на пол.

— К черту! — тихо сказал он.— Не могу больше. Домой хочу!

И такое мучительное нетерпение было в его словах, что Басаргин тоже невольно вскочил и сел на кровати.

— Два ходатайства подавал,— продолжал Николаев.— Не к жене, не на печку,— куда угодно: на Кушку, на Курильские острова, к черту в ступу! Только чтоб среди своих жить. И не нужно мне всех этих здешних грейпфрутов и яблочных пирогов, проживу и без них, пока не разбогатеем, и работать буду хоть по двенадцати часов — только давай! И Америку эту даже не вспомню — бог с ней! Хочешь — верь, хочешь — нет.

— Почему ж не верить? Верю,— сказал Басаргин.— Но работа... неужели тебя совершенно не интересует заграничная работа?

— Вот ни настолько, вот на четверть пальца не интересует! И черт меня дернул когда-то английский язык учить! Не было бы этого чертова пункта в анкете — до конца войны бы воевал и дома уже был!

Николаев заснул или, может быть, сделал вид, что спит. А Басаргин долго еще лежал с открытыми глазами и смотрел в

окно, из которого в эту лунную ночь был хорошо виден белый купол Капитолия.

Николаев был по-своему прав, посылая ходатайства. Ему и в самом деле лучше ехать домой.

Но вот он, Басаргин, жалеет ли он, что этот пункт, с английским языком, оказался в его анкете? Первое время ему порой до отчаяния ясным казалось: да, жалеет, очень жалеет, и никогда не перестанет жалеть! Он тосковал по всему сразу: по жене, по русским лицам, по русской природе, по русской печи. Его удручала неопределенность срока работы, то, что нельзя было даже отсчитывать оставшиеся до возвращения или хотя бы до отпуска дни.

Он с трудом привыкал к чуждой ему системе отношений между людьми, к разрозненности людских интересов, к слову «выгодно» вместо слова «нужно», к тому, что некому было сказать: «Давайте возьмемся, товарищи», и, наконец, к тому, что логика справедливости пасовала здесь перед логикой денег почти всякий раз, когда дело переходило от мелочей к чему-нибудь крупному.

Но еще трудней привыкал он к той двойной бухгалтерии в оценке потерь и страданий народов, в существование которой он не хотел верить, командуя своим противотанковым дивизионом.

В июне сорок пятого года, еще в Нюрнберге, сидя рядом с Басаргиным в баре и почти не стесняясь его присутствия, двое журналистов и офицер из английской разведки спорили о достоверности официально сообщенной русскими цифры потерь — семь миллионов убитых. Смысл их спора не оставлял сомнений: им хотелось, чтобы официальные сведения оказались преуменьшенными.

— Но если даже их данные точны,— в заключение сказал один из журналистов,— то семь миллионов тоже порядочно.— Он выговорил это с нескрываемым удовлетворением.

Басаргину хотелось ударить этого человека. Но это было бы как раз то, чего он не имел права делать. Однако и промолчать было свыше его сил. «Да и почему, собственно, надо молчать?» — подумал он и, повернувшись вместе с табуретом к своим соседям, побледнев, сказал, тщательно выговаривая английские слова:

— Вы сначала на два года позже, чем могли, открыли второй фронт, дождавшись того, чтобы мы успели потерять эти семь миллионов, а теперь пытаетесь свысока разговаривать с нами на мирных конференциях только потому, что мы потеряли в семь раз больше, чем вы. Ваша программа не удастся, можете быть уверены.

Наступило молчание. Потом английский офицер, почувствовав неловкость, примирительно сказал:

— Давайте лучше выпьем, майор! Заниматься всеми этими счетами — не наше с вами солдатское дело.

Басаргин отхлебнул глоток разбавленного водой виски, вихор на его голове запальчиво взъерошился.

— По-солдатски я бы поговорил с вашими солдатами, которые дрались и умирали в Дюнкерке. А с вами у нас, после того, что я слышал, какие уж тут солдатские разговоры! За здоровье ваших оставшихся в живых соотечественников! В противоположность вам, я бы не хотел, чтобы солдатских могил оказалось больше, чем пишут в газетах. Нигде, в том числе и у вас! — Он большим глотком опорожнил свой стакан, встал и, поклонившись, пошел к выходу.

Это была только одна из многих встреч и один из многих разговоров. Они утомительно повторялись.

— Это правда, что у вас разрушено более тысячи городов?

— Да, это правда.

— Абсолютная правда? Без преувеличений?

— Да.

— Вам будет очень трудно самим все это восстановить.

— Да, нам будет очень трудно.

Собеседник — представитель фирмы, изготовляющей стальные цельнотянутые трубы. Фирма уже поставила первую партию труб для газопровода Саратов — Москва. Из-за спешности заказа за трубы было заплачено дороже, чем обычно. Представителю фирмы хочется спросить Басаргина: что этот заказ — случайность или система? Но деловой такт не позволяет ему задать такого вопроса, и он только, присвистнув, повторяет:

— Тысяча городов, это здорово много!

Басаргин видит его довольное лицо и вспоминает зимние развалины только что освобожденного Ростова, сквозные обледенелые коробки домов, пустую мертвую улицу и одинокого мужчину, бредущего с санками по мостовой. Мужчина налегает грудью на веревку, санки скользят и едут боком; на них стоит маленький детский гроб, сколоченный из двух фанерных ящиков. На фанере надпись: «Папиросы «Дукат». Ростов-на-Дону».

— Что вы замолчали? — спрашивает Басаргина его собеседник.

Басаргин смотрит ему в лицо и молчит.

И уже перед самым отъездом из Америки — на этот раз собеседником Басаргина оказывается видный журналист. Разговор заходит о хлебе.

— Говорят, что у вас в этом году небывалый неурожай. Что такого не было пятьдесят лет. Да?

Басаргин подтверждает.

— Я слышал, что у вас уже сократили нормы выдачи хлеба. Вам будет очень трудно с хлебом в этом году.

Басаргин следит за лицом собеседника. Тот с торжествующей бесцеремонностью продолжает развивать мысль о возможности голода в России и даже не дает себе труда выразить на лице сочувствие.

Басаргин встречается с этим журналистом уже не в первый раз и знает, что он не садист и не убийца, что он не ест детей и не убивает женщин; напротив, он, как говорится, вполне порядочный человек, участвовал в войне, был ранен и потерял на Филиппинах сына. Но ему доставляет удовольствие мысль о возможности голода в России. Ему кажется, что недостаток хлеба в России даст лишние аргументы для жестких разговоров с русскими.

— Вы согласны со мной, что ваше положение с хлебным балансом будет очень трудным? — заключает журналист.

— Да, но я не люблю, когда о страданиях моего народа говорят улыбаясь.

— Честное слово, вам это показалось.

— Нет, это вам показалось, что мы продадим социализм за чечевичную похлебку. А мы не продадим, мы им не торгуем,— в свою очередь через силу улыбаясь говорит Басаргин.

Да, поистине, если вспомнить эти годы — они были жестоким воспитанием воли.

Некоторые не выдерживали. Одни, как Николаев, не стыдясь, просились домой; другие, стараясь не замечать никого и ничего, кроме своих, при всякой возможности запирались в четырех стенах и молча считали дни, оставшиеся до возвращения на родину.

В первое время Басаргин переболел и той и другой болезнью. Потом это прошло; в душе оставались и досада и горечь, но одновременно с ними рождалось веселое и злое сознание своей все возрастающей силы перед лицом этих трудных, а подчас и открыто враждебных обстоятельств. Он вошел во вкус повседневной работы, встреч, споров и — если его вызывали на это — прямой борьбы с людьми, искавшими выгодную для себя сторону в потерях и несчастьях его родины.

Он бывал счастлив всякий раз, когда при закупках ему удавалось выгадать лишнюю тысячу долларов. Он торговался, как маклак, свирепо и настойчиво до неприличия.

Случалось, что ему укоризненно говорили:

— У вас богатая страна.

— Да,— отвечал он,— но я скуп от природы, я люблю торговаться.

Он безбожно врал: он никогда в жизни не любил и не умел торговаться. Его личные покупки в Америке неизменно вызывали смех у товарищей. Шло ли дело о шляпе, сорочке или чемодане, он все покупал не так, не там и втридорога.

Но это было одно, а его работа — совсем другое. Закупая оборудование для советских заводов, он участвовал в борьбе за то, чтобы поскорей восстановить все разрушенное на его глазах войной и скорбно и ревниво сохраненное им в памяти артиллерийского офицера, прошедшего со своими пушками от границы до Терека и обратно. Каждая сэкономленная им тысяча долларов была его маленьким личным вкладом в эту борьбу. Он не думал ни о благодарности, ни о поощрении. Он не мог действовать иначе — он просто удовлетворял свою потребность бороться, воевал, как мог, и это придавало его служебным успехам оттенок личного счастья.

Последние воспоминания Басаргина были связаны с пароходом, на котором он пересек Атлантический океан.

Вдали еще мерцали последние огни Нью-Йорка. На широкой, грязной после погрузки палубе пассажиры переворачивали и опрокидывали чужие чемоданы и, наконец, найдя свои, молча расходились по каютам.

В ожидании, когда кончится эта суета, Басаргин стоял у борта и курил папиросу.

— Рашен? — спросил его низенький, коренастый американский моряк, подойдя вплотную к нему и неопределенно указывая пальцем не то на самого Басаргина, не то на русскую папиросу, которую тот курил.

— Рашен,— ответил Басаргин, соображая, что вопрос относится, очевидно, к нему самому, а папироса была только признаком, по которому в нем узнали русского.

— Гуд! — сказал моряк и, расстегнув две верхние пуговицы своей рабочей куртки, запустил руку во внутренний карман.

Басаргин ждал, что будет дальше. Моряк, нагнув набок голову, все еще шарил в кармане. Голова у него была лысая, вся в мелких капельках пота, шея грубая, морщинистая и тоже потная. Наверное, это был кочегар или механик, только что выскочивший на воздух из своего машинного отделения.

Моряк между тем вытащил наконец из кармана старую черную записную книжку, открыл ее и, вынув оттуда маленькую засаленную карточку, молча сунул ее в руки Басаргину.

Басаргин надел очки и при мутном свете палубного фонаря с трудом разобрал русские буквы. Это была карточка мурманского донорского пункта. В ней было засвидетельствовано, что гражданин Пейдж Р.-Б. двадцатого сентября 1942 года сдал на пункте 400 граммов крови второй группы.

Моряк терпеливо ждал, пока Басаргин разберет полустершиеся буквы. Потом взял из его рук карточку и, глядя в глаза, деловито спросил:

— Ол райт?

— Ол райт,— ответил Басаргин.

Моряк вложил карточку в книжку, снова полез глубоко в карман, пристроил книжку на прежнее место, застегнул куртку и, протянув Басаргину руку, сказал:

— Бай.

— Бай.

Моряк быстро повернулся и исчез в узком корабельном коридоре.

Глядя на удалявшиеся огни Америки, Басаргин думал о том, что, встреться ему этот моряк с донорской карточкой два года назад, он, наверное бы, очень растрогался и непременно, не один раз, восторженно рассказывал бы о нем. Он даже отчетливо представлял себе сейчас, что именно говорил бы он тогда:

— Америка? Американцы — прекрасные люди. Я, например, встретил одного американца...

Но сейчас, несмотря на трогательный поступок мистера Пейджа, Басаргин чувствовал в душе странный холодок. В последнее время он бесповоротно потерял способность умиляться. И, вспоминая моряка с карточкой донора, он теперь не сказал бы, что американцы — прекрасные люди; он скорей сказал бы, что они очень разные люди и, к сожалению, с такими, как этот Р.-Б. Пейдж, ему по характеру своей работы приходилось встречаться куда реже, чем он бы хотел.

По дороге в каюту, спускаясь по лестнице, Басаргин прошел мимо содрогавшейся железной стены машинного отделения. Там, где-то за этой стеной, стоял у своей форсунки Р.-Б. Пейдж, один из ста сорока миллионов американцев, и, должно быть, хороший парень.

Это было в первый день плавания. Следующие семь дней прошли почти незаметно. В баре довольно много и сравнительно тихо пили каждый день с шести вечера до двух ночи. По вечерам на носу, на верхней палубе, нестройным хором пели ехавшие в Европу американские студенты; на корме тоже по вечерам и тоже нестройно пели возвращавшиеся домой французы. Два раза были танцы под рояль. Упала за борт одна из бесчисленных собачек, которых везли с собой в Европу пожилые дамы всех национальностей. Дама требовала, чтобы спустили шлюпку. Но шлюпку не спустили. Кто-то бросил собачке круг, но она не сумела им воспользоваться и утонула.

В субботу служили мессу. Мимо Басаргина, сидевшего в шезлонге на средней палубе, медленно прошли двадцать католических монахинь в больших накрахмаленных белых чепцах; чепцы были похожи на галок, которых делают из бумаги мальчишки.

Басаргин вспомнил давно, еще до войны, читанные стихи Маяковского. Там тоже был океан, и пароход, и монахини — черные и одинаковые.

Когда же это было написано? Наверное, лет двадцать назад...

— Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова,— вслух сказал он.— Откуда это? Кажется, тоже из Маяковского.

Через Азорские острова он в сорок пятом летел в Америку; посадка на полтора часа, брекфест: яичница с беконом и кофе.

На горизонте почти рядом шли два парохода, по контурам похожие на тральщики. Может быть, тралят мины. Война кончилась, а суда все еще рвутся на минах.

В воскресенье, когда вдали уже виднелись берега Франции, к Басаргину подошел незнакомый человек и заговорил с ним по-русски:

— Моя фамилия Липатов, Иван Афанасьевич. Позвольте вас спросить — вы русский? Из России?

— Да, из России.

Басаргин облокотился на борт и выжидающе, но без особого интереса смотрел на собеседника. Обычно такие случайные встречи кончались расспросами о родственниках, оставшихся в России,— не знаете ли вы такого-то, он доктор и в 1915 году жил в Москве на Большой Бронной?

Но этот, Липатов, не задавал вопросов, а только с каким-то странно удивленным выражением лица сказал, обращаясь скорей к самому себе, чем к Басаргину:

— Вот как. Значит, вы русский...

И, ничего не прибавив, тоже облокотился на борт, продолжая глядеть на Басаргина.

Это был рослый человек лет пятидесяти, в очень старой, потертой замшевой куртке, в мятых вельветовых брюках и стоптанных ботинках. У него были коротко остриженные, начинающие седеть волосы и загорелое лицо. Бронзовому здоровому загару странно не соответствовали усталые, красные, словно от бессонницы, глаза и все время чуть-чуть подергивавшиеся губы, придававшие лицу несчастное выражение.

Примерно с минуту они оба стояли молча. Потом, отвернувшись от Басаргина и глядя в воду, его собеседник сказал глуховатым, надтреснутым голосом:

— Вы не думайте, что я беден: я фермер. Этот костюм — просто фермерская привычка. Перед отъездом я ассигновал себе

деньги и купил несколько хороших костюмов и вообще все, что мне будет нужно. Я вечером переоденусь.

Басаргин молчал. Что он мог сказать в ответ на эти слова? Липатов тоже молчал. Через минуту он снова заговорил, по-прежнему продолжая глядеть в воду:

— Я фермер. Я сейчас имею довольно много денег. Тридцать тысяч. Мы хорошо зарабатывали во время войны.

Он снова замолчал и через минуту добавил тем же тоном:

— У меня умерла жена.

— Когда?

Липатов повернулся к нему:

— Два месяца назад.

Его подергивавшиеся губы, казалось, хотели произнести еще что-то, но вместо этого он вынул из кармана скомканный платок и, не развертывая, торопливо вытер лицо, мокрое от брызг.

Басаргин взглянул на его руки — это были большие, темные, потрескавшиеся руки крестьянина.

— У вас в России какие сейчас породы коров? — вдруг спросил Липатов.

— Не знаю. Я — городской человек.

Басаргин в самом деле не знал этого.

— У меня восемнадцать коров,— сказал Липатов.— Я вожу молоко в Детройт на своем каре, сам. У меня грузовой кар. Последнее время мы с Надей все делали сами, почти не спали. Очень дорого было нанимать людей. Так и не знаю, отчего она умерла. В шесть дней. Я два раза привозил профессора из Детройта. Говорят, у вас в России сейчас хорошие врачи?

— Да.

— Я знаю. Я читал.

Он оторвался от перил и подтянул свои мятые штаны таким жестом, как будто собрался уходить.

— Вы, может быть, хотите в бар?

— Нет, не хочу,— сказал Басаргин.

— Я тоже не хочу. Я спросил для вас, может быть, вы хотите. Я вчера услышал, как вы говорили по-русски. С тех пор как Надя умерла, я ни разу не говорил по-русски. Мне просто хотелось с вами поговорить.

— Ну, что ж, поговорим,— суховато сказал Басаргин и сейчас же пожалел об этом.

У Липатова дернулись губы.

— Только вы не подумайте,— торопливо сказал он.— Мне ничего не нужно, ровно ничего, я просто — поговорить.

— Я понимаю,— сказал Басаргин. Он ждал, что Липатов опять заговорит о своем костюме и о том, что у него есть тридцать

тысяч. Ему пришло в голову, что это упоминание о тридцати тысячах раньше рассердило или рассмешило бы его, но сейчас, когда он не из книг, а из жизни знал, что независимость в этой стране приходит и уходит вместе с деньгами, вечные упоминания о деньгах уже не удивляли и не раздражали его.

— Я женился в Константинополе,— сказал Липатов.— В Константинополе,— вздохнув, повторил он.— На женщине такой же простой, как и я, и так же случайно попавшей в эмиграцию. Я хочу вам рассказать свою жизнь. Ничего особенного и, может быть, даже глупо, хотя у меня сейчас и есть тридцать тысяч долларов.

«Все-таки еще раз напомнил об этих тридцати тысячах»,— беззлобно отметил Басаргин.

— Я плавал механиком на Черном море. Пароход реквизировали в Одессе французы, а потом угнали в Константинополь...

Так начался этот длинный и сбивчивый рассказ. Потом Басаргин вспоминал о нем со смешанным чувством не то обиды за этого человека, рассказавшего ему свою жизнь, не то обиды на жизнь, в которую попал этот человек, жизнь, где кругом было так много хороших автомобилей, лифтов, холодильников, квартир и в то же время внутри которой, несмотря на окружающее изобилие, неизменно присутствовало что-то неуловимо безнадежное для человечества.

В 1920 году Липатов с женой приехал в штат Мичиган и нанялся работать на ферму в ста милях от Детройта. В 1923 году он накопил денег и приобрел маленькую ферму; Детройт еще разрастался, и земля в штате Мичиган была сравнительно дешева. Через три года, в 1926 году, к Липатову на ферму в первый раз пришли гости — соседи.

Липатов рассказал об этом Басаргину с оттенком обиды на черствость и холодность американцев. Но Басаргин, перебирая в памяти все свои встречи с американцами, в душе не согласился с Липатовым. По его наблюдениям, американцы не были ни черствы, ни холодны, верней всего, подумал он, людям, жившим вокруг Липатова, не было ровно никакого дела до поселившегося рядом русского, который жил, как и они, сам по себе и сам по себе и для себя делал доллары.

— Да и через три-то года в гости зашли, наверное, случайно? — спросил Басаргин.

— Вот именно, случайно,— поддакнул Липатов. В вопросе Басаргина ему почудилось сочувствие к нему и осуждение американцев.

Но в словах Басаргина не было ни того, ни другого. Он просто подумал, что первые гости могли прийти к Липатову на двадцать четвертый год с таким же успехом, как и на четвертый, и

могли вовсе не прийти, потому что в тех условиях, в которых жил Липатов, его связывали с человечеством, в сущности, только бидоны с молоком, которые он отправлял в Детройт и за которые получал свои доллары.

Если бы Басаргин высказал вслух пришедшие ему в голову мысли, наверно, Липатов обиделся бы и прервал разговор, но Басаргин промолчал, и Липатов продолжал рассказывать.

До 1929 года он хорошо зарабатывал, с 1929 по 1934 год был кризис, и стало хуже. Потом дела снова улучшились. А в 1941 году цены так поднялись, что за пять лет Липатову удалось положить в банк тридцать тысяч долларов. Он как раз вернулся с телеграфа, где перевел на свой банковский счет тридцатую тысячу, когда жена впервые пожаловалась, что ей нездоровится.

О болезни жены Липатов рассказал очень коротко и сухо. И хотя его ужасно дергавшиеся губы свидетельствовали, что каждое воспоминание о ее смерти составляет для него невыносимую муку, но если бы закрыть глаза, не видеть его лица и не вдумываться в смысл его слов, то можно было бы предположить, что он говорит о чем-то самом обыденном: о коровах, бидонах, ценах на молоко.

Странная вещь — русская речь Липатова состояла из необычайного сочетания слов, произносимых легко и привычно, и слов, произносимых с трудом и не всегда правильно. Первые слова были: хлеб, молоко, пришел, ушел, деньги, обед, соседи, дом. Вторые слова... вторых слов было немного, и когда Липатов, вспоминая о похоронах жены, сказал: «У меня было такое одиночество, что хотелось вынуть из себя душу»,— то эту фразу он собирал мучительно долго, по одному слову, как будто нырял за каждым в глубокую воду смутных юношеских воспоминаний.

Басаргину почудилось, что, может быть, эти два человека — Липатов и его жена, работая и богатея, были настолько поглощены этим, что не имели времени говорить друг другу тех слов, которые они произносили в молодости, а говорили только слова: хлеб, молоко, пришел, ушел, деньги, обед, соседи, дом. И Липатов забыл все остальные русские слова; и только сейчас его потрясенная душа где-то на самом дне мучительно находила их, почти неживые, отмершие.

Липатов ехал во Францию; там жила старшая сестра его жены. Он не получал от нее писем восемь лет, а не видел ее двадцать. Может быть, она даже умерла — он не знал, но, в сущности, ехал только затем, чтобы увидеть эту немолодую и, в общем, чужую ему женщину и привезти ее к себе на ферму. Это родство, давно успевшее стать условным, сейчас, после смерти жены, оказалось единственной ниточкой, связывавшей его с человечеством.

— Как вы думаете,— спрашивал он у Басаргина,— как, по-вашему, она жива?

И Басаргин чувствовал, что этот вопрос был для Липатова сейчас самым важным в жизни.

— А вдруг она не захочет ехать? — спросил Басаргин.

— Я уговорю ее! — почти с отчаянием воскликнул Липатов. Тут было все — и ферма, окруженная стомильной зоной одиночества, и смерть жены, и ужасная бессмыслица бездетности,— только все это, вместе взятое, могло так неотвратимо швырнуть человека через океан на поиски другого человека, песчинку — на поиски песчинки.

— Вот ее последнее письмо,— сказал Липатов.— Я получил его в тридцать девятом году, она жила тогда в Дижоне. А сейчас ее там нет.

Он вытащил из кармана квадратный целлулоидный пакет. Там лежал листок, сквозь целлулоид казавшийся желтым и древним. И по тому, как Липатов держал этот пакет, Басаргин понял, что это не просто последнее письмо от старшей сестры его жены, а последний услышанный им человеческий голос, последнее, что связывало Липатова с людьми. Раньше на всем свете для него существовала только его жена, теперь, когда она умерла, он вспомнил, что на свете существует еще ее сестра. И это было для него всем человечеством.

О существовании же другого человечества среди той жизни, которую он вел, он давно и навсегда забыл.

— Так вы думаете, она жива? — повторил Липатов.

— Почему же, конечно,— с некоторым колебанием сказал Басаргин.

— Вот за это спасибо вам, спасибо, спасибо! — стиснул ему руку Липатов. Губы его задергались так сильно, что Басаргину показалось, что он сейчас заплачет.

Но Липатов не заплакал, а только, отпустив руку Басаргина, опять, как в первую минуту встречи, обвел его долгим взглядом своих усталых красных глаз и, больше не прибавив ни слова, повернулся и пошел вдоль качавшейся палубы.

Пароход подходил к гавани. Впереди на длинном молу виднелись низкие серые форты Шербура. Был тот томительный час перед концом путешествия, когда еще рано складывать вещи и уже поздно заниматься чем-нибудь другим.

Глядя на приближавшийся берег Франции, Басаргин думал о том, пришел ли уже в Шербур пароход «Донбасс», на котором он должен был плыть дальше, в Ленинград. Но мысли его невольно возвращались к только что оборвавшемуся разговору. Было в этом

разговоре что-то, подействовавшее на его душу сильнее, чем все заграничные впечатления последних лет.

Так бывает в отношениях с людьми: человек тебе, в общем, давно не нравится, раздражает то тем, то другим, временами кажется то лучше, то хуже, но он тебе все еще не до конца ясен. И вдруг однажды с его уст срывается неожиданное и безобразное слово — и ты понимаешь, кто он, сразу и навсегда.

Липатов и был как раз этим последним и неожиданным безобразным словом, посланным уже вдогонку, на пароход, из того мира, откуда Басаргин возвращался на родину.

Липатов был вовсе не так плох сам по себе; скорее, наоборот: рассуждая с житейской точки зрения, он был безобидным и, может быть, добрым человеком, но безобразие мира, в котором он жил, обрело в нем такую законченную форму, какой Басаргин еще до сих пор не видел.

Одиночество иностранца в чужой стране, и бездетность, и смерть жены, и отсутствие вокруг людей, говорящих на родном языке,— каждое из этих обстоятельств само по себе было случайностью, но все это, взятое вместе и соединенное в жизнь Джона Липатова на ферме в штате Мичиган, в ста милях от Детройта,— уже не было случайным одиночеством среди общности других людей. Нет, это было только гиперболой одного человеческого одиночества среди миллионов других человеческих одиночеств.

Если бы сейчас Басаргина попросили ответить двумя словами на вопрос, что такое жизнь там, за границей, он бы, не задумываясь, сказал: «Миллион одиночеств».

— Да, именно миллион одиночеств,— повторил он вслух, глядя на приближавшийся берег, и вдруг вспомнил один случай из своей юности.

Это было в тридцатом году на Сталинградском тракторном заводе. Басаргин сломал американский станок, и на общем цеховом собрании бригадир, фамилию которого Басаргин давно забыл, свирепо швырнув на пол кепку, крикнул: «Мы обязаны работать как звери, потому что кругом капиталистический мир, и мы в одиночестве».

Сейчас, вспомнив эту запальчивую юношескую фразу, Басаргин усмехнулся несоответствию двух стоявших в ней рядом слов: «одиночество» и «мы».

Мы! Как слабо, не до конца он чувствовал, что это такое, находясь внутри этого советского «мы». Неужели для того, чтобы до конца понять это, непременно нужно было чужое море, чужое небо, чужой пароход и разговор с чужим и несчастным человеком, давно забывшим, а верней всего, никогда и не знавшим истинного смысла этого слова?

Пароход швартовался. Окинув взглядом бухту, Басаргин заметил стоявший в полумиле на якоре невзрачный танкер, на корме которого было выведено потемневшими золотыми буквами: «Донбасс».

Через два часа, с чемоданом в руке поднимаясь из шлюпки по трапу на «Донбасс», Басаргин увидел веселую обветренную физиономию вахтенного и, невольно улыбнувшись, спросил:

— Ну, как живете?

— Мы? Лучше всех! — ответил вахтенный и тоже улыбнулся.

И вот уже двадцать дней, как Басаргин был опять внутри этого, вновь обретенного «мы».

«Мы» — был и тот поезд, бежавший через холодные просторы Смоленщины, и сами эти зимние просторы, и пятнистые избушки, выстроенные пополам из нового и горелого леса, и пассажиры в купе, и старичок-кондуктор, и едущий «зайцем» тринадцатилетний мальчишка, которому утром Басаргин, не выдержав зрелища его лохмотьев, отдал свою фуфайку.

Да, вот именно в этом «мы» не было исключений. И мальчишка в лохмотьях был тоже «мы» — наше несчастье, наша послевоенная вопиющая и сразу не насытимая бедность.

Мальчишка не был просто случайно встреченным, плохо одетым и сегодня впервые за несколько дней как следует накормленным ребенком; он был общей бедой, над которой так или иначе бились все пассажиры вагона: и инженер с женой, сидевшие на нижних полках, и их сосед по купе — грузный человек в кожаном пальто — директор совхоза, и стоявший в коридоре с папиросой в зубах полковник-связист, и сам Басаргин.

Отданная фуфайка, конечно, была пустяком, случайностью, этой случайности могло и не быть. Но последняя тысяча долларов, выторгованная месяц назад у фирмы «Армстронг энд Бразер» в Нью-Йорке, уже не была случайностью. Эта тысяча долларов имела хоть и далекое, но прямое отношение к судьбе мальчишки.

Басаргин сейчас вбирал в себя все окружающее с той особенной силой новизны, которая порождается отвычкой. Незаметное и неважное перестало существовать. Все было заметным и важным,— и пейзаж за окном, и продолжительность стоянок, и немцы с лопатами, работавшие на ремонте путей, и разговоры соседей, то вспыхивавшие, то погасавшие всю дорогу.

Сейчас инженер и его жена спорили о каком-то Сергее Петровиче, бывшем начальнике строительства, где работал инженер. Жена заступалась за Сергея Петровича, муж нападал на него.

— И очень правильно, что сняли! — говорил он.

— А вот и неправильно. Его все знают, он целым партизанским соединением командовал.

— Ну и что ж, что командовал? А строительство завалил — вот и сняли.

— И все-таки неправильно,— упорствовала жена.— Он герой и к тому же очень хороший человек.

— Дамские разговоры. Я тоже могу завтра все свои пять орденов нацепить и прийти на стройплощадку с ними вместо цемента, который от меня ждут. Интересно, что мне на это скажут? Хороший я или нехороший?

— Ну, ты-то уж во всяком случае хороший,— попробовала отшутиться жена, но муж не захотел даже заметить этого.

— И еще мне интересно,— сердито продолжал он,— что бы ты сама сказала, если бы твой директор больницы вдруг заявил тебе, что нет у него медикаментов, нет и не будет, не достал. Наверное, простила бы его, как бывшего фронтовика, а?

Жена молчала.

— Вот то-то и оно,— с иронией заключил муж.—Как вообще судачить, так мы все очень добрые, а как до своих беспорядков дойдет, такая добрая, как ты, как раз первая душу и вынет. Так, что ль, аграрник? — подмигнул он сидевшему на верхней полке толстому директору совхоза.

— Совершенно верно,— серьезно ответил тот и обиженно добавил: — А особенно женщины теперь, после войны. Даже если что просто по пьяному делу упустил, все равно не считаются. Раньше смягчались, а теперь нет. Крови требуют.

— Ну, уж и крови! — улыбнулась жена инженера.

— Именно,— подтвердил директор совхоза.— Вот взять хоть меня...

Но Басаргину так и не удалось дослушать эту историю. В открытую дверь купе заглянул старичок-проводник и сказал, что если кому слезать в Пухове, то Пухово через пять минут.

Разговор прервался. Басаргин снял с верхней полки чемодан, огляделся — не забыл ли чего, и, заметив под подушкой пестрый номер «Кольерса», купленный в день отплытия на нью-йоркской пристани, хотел сунуть его в карман, но журнал выскользнул и упал на пол.

Инженер поднял его, чтобы передать Басаргину, но фотография на раскрытой странице задержала его внимание. Он постоял несколько секунд, внимательно разглядывая ее, и, протягивая Басаргину журнал, спросил — не может ли тот объяснить, что здесь изображено.

В «Кольерсе» была сфотографирована последняя забавная сенсация Нью-Йорка — молодая парочка венчалась на выступе крыши, стоя на цыпочках на ободке флагштока и вцепившись во

флагшток руками. Священник посылал им благословение снизу, с мостовой.

Басаргин добросовестно перевел инженеру и его жене подпись под фотографией. В ней были названы фамилии новобрачных и сообщалось, что это первый в истории Соединенных Штатов случай венчания на флагштоке.

В купе все молчали. Поезд уже начал замедлять ход перед станцией. Басаргин надел пальто и шляпу.

— Зачем они это? — сказала жена инженера.

— Что — так венчались?

— Да. Стыдно просто. Что же редактор смотрел? Есть же там у них редакторы?

— Есть,— сказал Басаргин и вдруг понял, что этот вопрос, в первое мгновение показавшийся ему наивным, был совсем не наивен. Это был естественный вопрос одного мира, обращенный к другому.

Было что-то невыразимо постыдное для послевоенного человечества в этой напечатанной на сверкающей дорогой бумаге крикливой и вздорной фотографии. Она выглядела особенно позорно здесь, среди ледяных полей, усеянных бесчисленными могилами, среди выжженных деревень и курящихся из-под снега землянок.

— До свидания, товарищи!

Басаргин с непонятным для них волнением пожал руки соседям и, взяв чемодан, пошел к выходу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На платформе было пустынно. Несколько человек сошло с поезда, несколько человек вошло в вагоны. Басаргин подождал минуту-другую. Его никто не встречал,— должно быть, телеграмма шла из Москвы медленнее, чем поезд.

С досадой вспомнив математическую точность американского телеграфа, он взвалил чемодан на плечо и пошел в обход поезда к вокзалу. Он дошел уже почти до конца платформы, когда паровоз свистнул и вагоны медленно, враскачку поехали мимо.

Басаргин терпеливо ждал; в просветах между вагонами все быстрей и быстрей мелькало что-то тревожно незнакомое, и, наконец, за последним подпрыгнувшим на стыке вагоном открылся разом весь горизонт.

К единственной уцелевшей кирпичной стене старого вокзала был пристроен дощатый барак с вывеской: «Пухово, от Москвы 252 километра».

Окна в бараке были, впрочем, большие, с двойными рамами, за одним виднелись даже горшки с цветами. Над дверьми барака можно было прочесть все надписи, которым положено иметься на вокзале: «Телеграф», «Дежурный по станции», «Буфет», «Кипяток», «Медпункт».

До войны двухэтажное здание вокзала заслоняло вид на город. Но сейчас, поверх низкой крыши барака, город, расположенный на двух пологих горушках, был виден как на ладони.

Это был совсем другой город, чем тот, к виду которого с детства привык Басаргин.

На пологих склонах обеих горушек стояло несколько сот, а может, и до тысячи новых рубленых изб и засыпных домиков. Построено все это было вразброс, с промежутками, словно каких-то главных строений еще не хватало и для них оставили место.

Дом сестры, как знал из писем Басаргин, стоял на Покровской улице за номером восемнадцать, но сейчас, когда он попробовал прикинуть глазом, где бы это могло быть, то сначала ничего не разобрал: отсутствовали привычные приметы — каланча, клуб, четырехэтажный дом универмага. Только заметив торчавшую из-за горушки трубу знаменитой Пуховской мануфактуры, а за ней — каменное здание железнодорожной школы, где он когда-то учился, Басаргин сообразил, в какую сторону надо идти.

Он соскочил на рельсы, взобрался на другую платформу и уже подошел к двери барака с надписью: «Дежурный по станции», намереваясь пристроить здесь чемодан, как вдруг из-за угла вывернулась полуторка и из кабины выскочил ничуть не изменившийся здоровенный, краснолицый Григорий Фаддеич Кондрашов — муж старшей сестры Басаргина, Елены.

Он обнял Басаргина, расцеловал его холодными губами, отодвинул, рассмотрел и сказал то самое, что и прежде, до войны, всегда говорил при встречах:

— В баньку хочешь?

— Хочу,— сказал Басаргин, даже зажмурясь от удовольствия.

— Нету баньки, только еще строим,— весело хохотнул Григорий Фаддеич,— в кухне будешь в тазу мыться. Елена тебе уже воду кипятит.

— Когда телеграмму получили?

— А полчаса назад. Все в разгоне. Катерина твоя в Смоленске на медицинской конференции, завтра утром пятичасовым будет. Мать на экскурсию с пятиклассниками ушла, я уже за ней свою Лидку послал. Гришка дома, сидит на диване, тебя ждет.

Басаргин был так огорошен тем, что встреча с Катей откладывается до завтра, что даже не сразу сообразил, что этот сидящий

на диване Гришка — его собственный сын, которого он сейчас увидит впервые в жизни.

— Поехали. — Григорий Фаддеич, одной рукой подняв большой чемодан, легко перекинул его в кузов полуторки.

— Еще силушка по жилушкам погуливает,— сказал он самодовольно.

Он и в самом деле удивительно не переменился за эти шесть лет. Даже черный полушубок нараспашку был на нем тот же самый, что он носил до войны, и все та же вытертая ушанка сидела набекрень на его багровой бритой голове.

— То-то и оно-то,— сказал он, перехватив взгляд Басаргина. — Старое донашиваем, а не тужим! А у тебя шляпа хорошая. Сколько отдал?

— Пятнадцать долларов.

— В Нью-Йорке купил?

— Да.

— Ничего шляпа. Поехали.

И он полез в кабину на шоферское место.

— Сам водишь? — спросил Басаргин.

— А что же, мы плоше твоих американцев, что ли? — хохотнул Григорий Фаддеич. — На пятьдесят втором году жизни взял да выучился. Получил твою телеграмму — бегом в гараж — шофера по воскресному делу нет. Крутанул за ручку разов двадцать, и готово — поехал. Как в Нью-Йорке-то, такие морозы бывают?

— Нет.

— Весь март с двадцати не слезает. Много у нас осложнений с этим морозом. Им, чертям, ясно, легче строить при ихнем климате. Садись!

— Подожди,— сказал Басаргин.

Взявшись рукой за борт грузовика, он задумчиво оглядел город. Странное оцепенение охватило его. Только сейчас он почувствовал до конца всю необыкновенность случившегося с ним: он вернулся на родину. Он страстно любил ее оттуда, издалека. Любил ее как коммунист, стоявший у власти в этой стране и бывший в ответе за ее судьбы, и как русский, гордый тем, что именно его Россия стала колыбелью революции. Это была сильная и зрелая любовь взрослого, много испытавшего и много думавшего человека. Но сейчас он с особой остротой испытывал и другое чувство — оно было неясным, но тоже удивительно сильным, как первые воспоминания детства, как один и тот же повторяющийся сон, как желание уткнуть голову в материнские колени.

Басаргин смотрел на снежные поля, на белые холмы, там и сям застроенные домишками, на поредевшую, изрубленную снарядами рощу у станции, на медленную санную дорогу, уходившую за

горизонт, смотрел как завороженный, силился и не мог оторвать взгляда.

— Чего ты? — спросил Григорий Фаддеич.

— Ничего,— сказал Басаргин. И, сев в кабину, захлопнул дверцу.— Поехали.

Вымытый и раскрасневшийся Басаргин сидел за обеденным столом в жарко натопленной комнате. Замешкавшаяся Елена все еще собирала на стол, а Григорий Фаддеич, сдерживаясь, чтобы не сделать ей замечания, недовольно крутил на пальцах маленькие янтарные четки. Четки эти, никак не шедшие к его толстым красным рукам, Басаргин помнил у него лет двенадцать, с тех пор как Григорий Фаддеич бросил курить.

На диване, отвалясь к спинке и растопырив короткие ножки с исцарапанными голыми коленками, спал сын Басаргина — Гришка. Лицо его и во сне сохраняло то недовольно-удивленное выражение, с которым он час назад принимал поцелуи отца. Его слишком затормошили, он устал и теперь спал сердитый, большой и толстый — неизвестно в кого.

— Хорош! — сказал Григорий Фаддеич. Племянник ему нравился. Он вообще любил все большое, приметное: крупных пышных женщин, здоровых, шумных детей, дюжих и горластых, как он сам, мужиков. Он называл это породой и выговаривал это слово могуче, с грохотом: — Пор-р-рода!

Басаргин улыбнулся, вспомнив Катю, и заодно невольно глянул на себя в висевшее напротив зеркало. Он был жилист, но невысок и худощав.

— Чего улыбаешься? — склонив набок голову, спросил Григорий Фаддеич.— Не о вас одних речь. Русская у него порода!

Елена внесла графин и тарелки с закусками. Графин она поставила не посреди стола, а возле мужа, так, чтобы ему было с руки разливать, и, порозовевшая, задохнувшаяся от беготни, со вздохом опустилась на табурет между мужем и братом.

Наступило молчание. Брат и сестра, не стесняясь, разглядывали друг друга.

Пшеничные волосы Басаргина, еще мокрые после мытья, кучерявились, как в юности, а из-под расстегнутой на груди белой сорочки виднелась детская татуировка — стрела и сердце, и от этого он казался сестре совсем молоденьким, прежним и возбуждал материнскую нежность.

Елена постарела, но все еще была красива ленивой отцветающей доброй красотой. Высокая, полная и статная, с тихим румянцем на лице, она была из тех русских женщин, которых долго не портят ни полнота, ни годы и красота которых порой заметней в сорок, чем в двадцать.

— А ты, Леночка, стала еще красивее,— сказал Басаргин, и она покраснела от удовольствия, почувствовав по его голосу, что он сказал от души.

— Ну как, родительскую водку будешь пить, американец? Или отвык? — спросил Григорий Фаддеич, берясь за графин.

— Нам иногда присылали для приемов.

— Очистка хромает,— огорченно сказал Григорий Фаддеич,— сивухой отдает, мандариновыми корками отбиваю.

Он налил три большие стопки, приложив к горлышку графина вилку, чтобы не проскочили корки.

— Первую — за Гришкино здоровье! — предложил он, во второй раз посмотрев на спящего Гришку.

Это тронуло Басаргина.

— Спасибо тебе за поддержку,— кивнув на сына, сказал он и чокнулся.

— Не стоит благодарности. Живем ничего.

Григорий Фаддеич подмигнул на заставленный закусками стол и выпил всю стопку. Елена тоже выпила свою и уголком салфетки вытерла губы. Басаргин улыбнулся. Елена переняла эту повадку от матери: в первый раз выпить, сколько нальют, по-мужски, до дна, а потом уже ничего не пить, не поддаваясь ни на какие уговоры. Сам он выпил половину и с хрустом закусил соленым, сводившим челюсти огурцом.

— Не по-нашему пьешь, американец! — сказал Григорий Фаддеич, напирая на слово «американец».

И Басаргин, вспомнив его давнюю привычку окрещивать людей прозвищами, улыбнувшись, подумал, что теперь это, наверное, на весь день.

— Или, может, ты ихний виски предпочитаешь?

— Нет, почему же.

— А по правде сказать, наверное, большая дрянь — этот ихний виски? — наклоняясь к Басаргину, доверительно, как о государственной тайне, спросил Григорий Фаддеич.

— Как тебе сказать? К закуске не идет, а если, как американцы пьют, натощак — ничего; пожалуй, даже лучше, чем водка.

— Э, брат! Да ты совсем обамериканился! Где же твой патриотизм?

Басаргин, разом вспомнив все заграничные, раздражавшие его разговоры на эту тему, промолчав, отвел глаза, и Елена вдруг заметила на его лице новое, непривычное жесткое выражение.

— Ладно, бог с тобой, не буду критиковать,— сказал Григорий Фаддеич, наливая себе вторую,— закуси-ка вот холодцом, сразу на другую потянет... А где ж поросенок? — вскинулся он на Елену.

— Какой поросенок?

— А тот, что Ковригин прислал.

— Одна голова осталась. Я решила, неудобно подавать.

— Тащи, тащи! Что ж, что голова? Поросячьи уши — самое дорогое.

Елена вышла, и он, подмигнув ей вслед, добавил:

— Брат, брат, а поросенка зажала! Строитель! — улыбнувшись, ткнул он себя толстым пальцем в грудь. — То тот, то другой меня вспомнит. Всем нужен. Ехали — видел, какое кругом пепелище?

— А ты цветешь среди него? — сказал Басаргин, задетый случайно, но выразительно подчеркнутой связью между поросенком и пепелищем.

— Цвету? — переспросил Григорий Фаддеич, уловив в его голосе иронию. — Я не герань. Я на этом пепелище тысячу домов отгрохал.

Но, передумав и решив не сердиться, расхохотался.

— А цвету я по совместительству, в свободное время.

С минуту они оба молча управлялись с холодцом.

Нарушила молчание возвратившаяся к столу Елена.

— А правда, пишут, что там, в Америке, негров вешают?

— Как же, на каждом перекрестке висят! Начиталась! — усмехнулся Григорий Фаддеич.

— На каждом перекрестке не висят,— сказал Басаргин,— но в Южных штатах, случается, вешают.

— Аню Климашину немцы повесили. Ты за ней ухаживал. Помнишь? — сказала Елена.

— Помню.

Мать два года назад написала об этом Басаргину, но вспомнить и особенно представить себе это сейчас заново было страшно и тягостно.

— Буде вспоминать-то! — недовольный оборотом разговора, вставил Григорий Фаддеич. — Было и быльем поросло.

— Нет, надо вспоминать,— сказал Басаргин.

И сестру во второй раз поразило непривычно жесткое выражение его лица.

— Надо вспоминать,— повторил он. — Американцы за нас не вспомнят, а немцы рады забыть.

— Что же, их теперь резать за это, немцев-то? — спросил Григорий Фаддеич. — Была война, не жалели. А теперь мир. Старая злость душу портит. Человеколюбие надо иметь.

— Конечно. Но человеколюбие — это как раз все помнить. Чтобы не повторять. А те, которые спешат все забыть,— не гуманисты, а страусы.

— Спасибо, что в страусы записал.

— Пожалуйста.

— Конечно, сидим в своем углу, не путешествуем,— сердито крутанув на пальцах четки, сказал Григорий Фаддеич.— Газеты, правда, читаем, за конференциями следим, но, видимо, чего-то недопонимаем.

— Видимо, недопонимаете.— Басаргин на секунду закрыл глаза, с отчетливостью незабываемой обиды снова вспомнил разговор в нюрнбергском баре о семи миллионах убитых.

— Вот, например, два года назад,— сказал он и описал сцену в баре так, как она ожила в его памяти.

Григорий Фаддеич и Елена сидели молчаливые, присмиревшие. Перестав крутить четки, Григорий Фаддеич склонил голову набок, и Басаргину казалось, что он не столько слушает, сколько старается проникнуть в то значительное и опасное, ради чего вспомнил об этом случае Басаргин. Это было и в самом деле так, потому что, когда Басаргин кончил и замолчал, Григорий Фаддеич откинулся на спинку стула и спросил тревожно и глухо:

— Неужто снова будет война?

— Будет, если...

— Что если?

— Если они попробуют сделать так, чтобы в мире снова были не две системы, а только одна — капитализм. Если они ради этого начнут воевать против нас. А мы не уступим и не сдадимся, мы тоже будем воевать. Вот и все. Очень просто.

— Пятьдесят три года мне,— сказал Григорий Фаддеич.— Многовато.

— Что?

— Три войны на одну судьбу. Многовато. Жирно. Я не жадный, с меня и двух бы хватило.

— Тебя не спросят.

— А жаль. Меня б спросили, я бы сказал: одна система, две системы, войны больше быть не должно — вот что! Не имеет права быть. Любой ценой! Потому что скажу: хороша система, да мертвому мне она ни к чему... Ну, что смотришь? — вызывающе крикнул он Басаргину.—Думаешь, только тебе смею это сказать? Хоть все Политбюро против меня здесь посади — и им бы сказал, прямо в глаза глядя!

— Не сказал бы.

— Сказал бы!

— Нет! Мне говоришь, и то глаза отводишь... Говоришь: любой ценой! Это что же, значит — руки поднять? Или на колени стать? Или все разом? Или как?

— Не знаю,— обмякнув и опустив голову на руки, сказал Григорий Фаддеич.— Не знаю. Я ведь не сволочь какая-нибудь. Год на передовой был. Толька у меня погиб.

Он поднял голову, и слеза медленно прокатилась по его щеке.

— Бросим этот разговор. Возьми котлету, а то стынут, видишь, Елена косится. Ну что, налить, что ли, еще по одной?

— Налей.

Григорий Фаддеич налил, и они стали есть котлеты.

— Рассказал бы, как тут все у вас,— сказал Басаргин.

— Что же рассказывать? Елена небось тебе все изобразила.

В самом деле, пока Басаргин мылся в кухне, стоя в одном тазу и черпая горячую воду из другого, Елена, стоя по другую сторону притворенной двери, рассказывала ему разные семейные новости. Мать с сентября работала заведующей учебной частью в той самой железнодорожной школе-семилетке, где когда-то учились и Басаргин и сама Елена; младший брат Елены и Басаргина — Шурка — должен был днем приехать из Смоленска. «Ну, он о себе и сам доложит»,— с кольнувшей Басаргина ноткой неприязни в голосе сказала Елена. Иван, старший сын Елены, с этой осени, так же как и Шурка, жил в Смоленске. Младший, Егор, перешел в седьмой класс — сегодня был на лыжной вылазке. Самая младшая, Лида, пошла за бабушкой.

— Без нее не воротится. Упрямая, не в отца, не в мать,— в дядю, наверное,— сказала Елена и стала разливать из кастрюли по стаканам компот. Завтрак, по ходу дела превратившийся в обед, заканчивался.

Басаргин откинулся на спинку стула и, пока Елена разливала компот и раскладывала по блюдцам чайные ложечки, на минуту закрыл глаза.

Услыхав еще на вокзале, что увидит жену только завтра в пять утра, он, пораженный этим известием, пока запретил себе не только разговаривать, но и думать о Кате. Но сейчас оказалось достаточно всего минуты молчания для того, чтобы мысль о предстоящей встрече целиком овладела им.

На стенных часах пробило два. Он увидит ее только через пятнадцать часов. Вся его многообразная тоска по родине, а вернее, любовь, превращенная в тоску расстоянием, сейчас сосредоточилась на одной Кате. Он думал о ней, и ему хотелось, не стыдясь своей любви, забросать людей, сидевших с ним рядом, тысячью вопросов. Как она? Что она? Как она выглядит? Где она спит? Где ее место за этим столом?

Будь здесь перед ним одна сестра, Басаргин спросил бы ее обо всем этом, но, открыв глаза, он увидел прямо перед собой Григория Фаддеича, с его все понимающей улыбкой, и сдержался.

— Значит, Катя приезжает в пять?

— В пять,— сказал Григорий Фаддеич.— Если поезд не опоздает. У нас тут поезда опаздывают — это тебе не Америка.

Елена сказала, что Гришка скучает без матери, особенно когда та дежурит по вечерам и не может сама укладывать его спать,— и разговор перешел на семейные темы.

Заговорили о детях. Григорий Фаддеич снова вспомнил о погибшем Анатолии, а кончив говорить о нем, перевел разговор на младшего — Егора, которого хвалил тоже долго и обстоятельно — и за успехи в школе, и за послушание, и в особенности за хороший характер.

— Парень положительный — в меня!

О среднем сыне — Иване — не было сказано ни слова.

— А как Ваня? — спросил Басаргин.

— А ну его к лешему, и говорить о нем не хочу. От рук отбился. В Смоленск уехал, с глаз долой. В ремесленное пошел. Кто его знает, чем он там занимается. А все Шурка! Он его туда и сманил, в ремесленное. Это он мне нарочно насолил, Шурка твой!

Григорий Фаддеич не удержался и даже пристукнул по столу кулаком.

Басаргин почувствовал, что глухое раздражение против Шурки было общим в семье, и в этом пункте сходились и кроткая Елена и Григорий Фаддеич, который прежде не только хорошо относился к Шурке, но даже баловал его. Видимо, что-то переменилось. Басаргин хотел спросить об этом, но удержался. Прежде чем спрашивать, надо увидеть самого Шурку. «Какой он теперь?» — подумал Басаргин и попробовал мысленно представить себе его, но вспомнил, что теперь Шурка — уволенный вчистую старший лейтенант и что у него нет одной руки. И, вспомнив все это, уже окончательно не мог представить себе нынешнего Шурку.

— Значит, оба в Смоленске,— сказал он.— А тут, в Пухове, стало двумя жителями меньше.

— Вольному воля, спасенному рай,— отрезал Григорий Фаддеич.

— А сколько всего народу теперь живет в городе? — спросил Басаргин.

— Тринадцать тысяч.

— Вот не думал. Всего на четыре тысячи меньше, чем до войны. Где же они размещаются?

— Да уж как-никак размещаются,— сказал Григорий Фаддеич.— В сорок третьем году на весь район полста домов осталось целых; это считая и город и шестнадцать сел. Строим потихоньку. Кубатура, конечно, не та, что до войны, но труб вывели порядоч-

но. А где труба, там и печка — основа жизни. Я, конечно, домосед, в тропиках не бывал, может, там холодильники — основа жизни. Ну, а у нас — печка.

Он рассмеялся.

— И что у нас за народ! Уж некоторые ведь шут их знает куда уехали, аж за Волгу. И от домов их одни травяные бугры остались, хоть раскопки, как в Помпее, производи — где эта деревня была? Так нет, на голое место придет, шагами размерит и на том же месте, где его изба стояла, новую поставить норовит. Да еще чтобы в ту же сторону фасадом! Не моги ее в другую сторону фасадом повернуть! И что им далась эта Смоленщина? Ну, скажи, пожалуйста, что в ней такого особенного? А? Нет, серьезно! Вполне тебя серьезно спрашиваю, что в ней такого особенного?

Басаргин задумался. В самом деле, что в ней такого особенного, в этой смоленской земле? Не взяла она ни красотой против других мест, ни богатством, ни щедростью. И однако, и летом сорок первого года, когда он пешком отступал через нее к Москве, и сейчас, зимой, когда он ехал сюда из Москвы в поезде, для него, родившегося здесь, было в этой земле что-то особенное, поддерживавшее равновесие его души. То есть нет, не так. Было в этой земле что-то такое, что бесконечно волновало его душу, и в то же время именно здесь душа его была на своем месте. Что же это все-таки? Детская ли привычка или упрямое ощущение своей обязанности именно перед этой землей после войны снова поставить на ней все, как было раньше?

А люди, что возвращались сюда из-за Волги и рубили избы именно на старых местах? Разве это только привычка или упрямство? Нет, скорее — это сознание своей силы и способности к возрождению, способности снова заполнить опустошенную землю, всю без остатка, своими домами, семьями, детьми, внуками, своим трудом и заботами, горем и счастьем, всею многолюдною и неистребимою жизнью большого и сильного народа.

— Слушай, Григорий Фаддеич! — Басаргин облокотился на стол и заглянул в глаза зятю.— Любишь ли ты эти места?

— Лен тут хорошо родится, ох, хорошо родится! — мечтательно сказал Григорий Фаддеич, должно быть, с другого, своего конца подойдя к той же мысли, что и Басаргин.— А в Америке лен сеют?

— Не знаю. Кажется, мало: льняные изделия там, во всяком случае, очень дороги.

— Там дорого, это, наверно, еще не дорого. Вот у нас теперь это действительно все дорого,— сказал Григорий Фаддеич.— Куска хлеба без карточек и то не укусишь, если в кармане полсотни не лежит. До смешного доходит — спичка цену имеет! Не коробок, а спичка!

— Чего уж тут смешного.

— Вот именно. Ты только не прими за обиду, говорю лишь к примеру, для ясности.— Григорий Фаддеич по-родственному похлопал багровой рукой по руке Басаргина.— Вот Катя твоя и свое жалованье несет в общий котел, и то, что за тебя из Москвы ей переводят, а на поверку, если по базарным ценам, на все это, вместе взятое, и недели семьей не прохарчишься. Ты только не обижайся,— повторил он.

— На прямоту обижаться не привык,— ответил Басаргин, про себя подумав, что Григорий Фаддеич мог бы отложить этот разговор и до завтра.

— Ты не привык, а другие обижаются.

Басаргин вопросительно поднял на него глаза.

— С мамой тут недавно вышло...— поспешила вступить в разговор Елена.

— Ничего,— успокаивающе сказал Григорий Фаддеич.— Раз ты приехал, теперь все обойдется. Мужики — не бабы, разберемся! Как ты — в отпуск или насовсем?

— Пока в отпуск. Два месяца поживу, потом обратно на год. А там обещали и насовсем. Если, конечно, не обманут.

— Это у нас могут,— подтвердил Григорий Фаддеич.— Меня самого второй год с отпуском за нос водят, да и с выходными не приходится считаться.— И, встав из-за стола, обратился к жене: — Положи там два пол-литра в полушубок.

— Куда это ты собрался? — спросила Елена.

— К Богданову, домой, думаю сегодня с ним насчет кирпича наконец договориться. Да ты не бойся,— улыбнулся он.— К вечеру пельмени хорошие слепи и жди — съем тарелку и буду, как не пил!

Он крепко даванул руку Басаргину, сказал: «Бывай!» — и вышел в сени вслед за Еленой.

Басаргин остался за столом один. Слова Григория Фаддеича насчет дороговизны не так задели его, как вскользь брошенное Еленой замечание о том, что у Григория Фаддеича что-то вышло с матерью. Он знал, что мать никогда не любила попусту ссориться,— значит, вышло что-то серьезное, с чем ему еще придется разбираться. Подумав об этом, он почти с обидой вспомнил то блаженное настроение, с каким ехал домой.

А впрочем, на что, собственно, обижаться? Жизнь здесь трудная, характеры разные: Григорий Фаддеич — кремень, мать — тоже. А когда трудная жизнь, то крутые характеры становятся еще круче. Да и смешно было ожидать, что тут все идет непременно гладко, без сучка, без задоринки. Просто ему уж очень хотелось попасть домой — поэтому, наверно, и рассчитывал на одни улыбки.

Он подумал о том, как хорошо, что впереди все-таки целых два месяца, прежде чем снова уезжать еще на год. Он знал, что нужен там, в Вашингтоне, именно поэтому и дал согласие, не жалел об этом и не собирался, вернувшись домой, клянчить, чтоб его оставили. Тягостно было только одно, что перед отъездом ему твердо намекнули, что не стоит на один оставшийся год тянуть с собою за границу семью — это значило, что через два месяца предстояла новая разлука, о которой, еще не встретясь с Катей, он против своей воли думал уже сейчас.

— А Гришке смешно,— сказал Басаргин, оторвавшись от своих мыслей и посмотрев на сына, который чему-то улыбался во сне.— Тебе смешно? Да? — повторил он, подойдя к дивану.— Думаешь, все это тебя не касается?

Он стоял перед сыном, широко расставив ноги и засунув руки в карманы, словно вызывая его на спор. От взгляда отца или просто оттого, что уже пора было проснуться, беззаботно спавший Гришка открыл глаза и, не соображая спросонок, где он и кто перед ним, молча вытаращился на Басаргина.

— Ты думаешь, это тебя не касается? — улыбаясь, повторил Басаргин.— Касается! Да еще как касается!

Только сейчас он заметил, как Гришка похож на Катю.

— Нет, ты сам! Чего руки тянешь! Сам вставай!

Гришка встал, но ножки его скользнули, и он плюхнулся на диван. Пружины опустились и опять подпрыгнули, Гришка подскочил. Это ему понравилось. Он опять поднялся и плюхнулся во второй раз уже нарочно.

— Ничего ты не понимаешь,— стараясь победить свою растроганность, сказал Басаргин.— Иди ко мне.

Он протянул Гришке руки. Гришка не спеша осмотрел его руки, как будто решая — есть ли смысл иметь дело с этим человеком, и, приняв положительное решение, беззаветно ринулся с дивана, Басаргин едва успел подхватить его.

— Вот, Гришка, вот как, брат ты мой,— говорил Басаргин, расхаживая по комнате с притихшим сыном на руках.— Все равно, брат ты мой, все будет по-нашему с тобой!

Так и застала его мать. Она открыла дверь в комнату и увидела сына, шагавшего с Гришкой на руках мимо опасных углов комода, буфета и книжного шкафа.

— Осторожней, Петенька, не ударь Гришу.

Это были первые слова, которые мать сказала Басаргину после шести лет разлуки.

Басаргин резко повернулся и пошел ей навстречу.

— Мама! — сказал он, и слезы покатились из его глаз.

Прозвонило семь часов. Будильник был старый, памятный с детства: четырехугольный, стеклянный, на четырех медных столбиках. Звон был приятный, особенный, как в музыкальной шкатулке, и тоже памятный с детства: за толстыми стеклами наглядно и занимательно цеплялись друг за друга медные колесики.

Вид будильника вызвал у Басаргина путаные, неясные детские воспоминания и давнюю нежность к матери, которая сейчас сидела за столом и проверяла тетради. Она переворачивала страницы тихо, стараясь не зашуршать, взявшись за краешек двумя пальцами и аккуратно натягивая каждый лист. Она думала, что сын спит, и боялась разбудить его.

После первого возбуждения встречи она тотчас же вспомнила, что он утомлен дорогой, и стала его укладывать. Все попытки отговориться не привели ни к чему, и он лежал сейчас в углу маленькой комнатки на материнской кровати. Кровать была коротка, и ноги его в только что подаренных ему толстых шерстяных носках-самовязах высовывались наружу между прутьями. Он сначала и вправду пытался заснуть, но не смог и, притворившись, что спит, лежал и смотрел на мать, закрывая глаза каждый раз, как она оборачивалась.

В комнате было жарко и тихо; будильник тикал, не нарушая, а лишь подчеркивая тишину. За окном тоже было тихо. Один раз, где-то очень далеко, прошли с гармоникой. Падал снег.

Басаргин смотрел на мать и незаметно для самого себя улыбался. Его душой владела тихая радость, которая всегда, даже в далеких и долгих разлуках, неизменно сочеталась у него с мыслями о матери.

Это был исходивший от нее странный и сильный гипноз, дар души, которым обладают лишь немногие. Мать любила людей с такой большой, доброй и справедливой силой, что вызывала у них ответную любовь, похожую на отражение ее собственной. И люди любили ее этой ответной любовью, порой удивляясь и не узнавая самих себя в этой любви.

Мать Басаргина была сильным человеком. И эту ее душевную силу испытывал не только он, но и все люди, знавшие ее коротко. Тех же, кто не знал ее коротко или знал недавно, сбивали с толку ее привычки и ее внешность, никак не соответствовавшие ее душевному облику.

Это была маленькая и всегда,— сколько ее помнил Басаргин,— несмотря ни на какие невзгоды, кругленькая женщина с круглым детским лицом и голубыми и тоже детскими, с годами начавшими выцветать, глазами. На щеках у нее были две смеш-

ные ямочки, а темно-русые, не хотевшие седеть волосы постоянно выбивались в разные стороны из-под всего, что бы она ни носила на голове — из-под старой шляпки, косынки или пухового платка.

При неизменном душевном спокойствии она всегда находилась в состоянии непрерывного движения, вечно куда-то спешила и не ходила, а бегала — по улицам, по коридорам школы, по проходу между партами,— словом, всюду, где была хоть малейшая возможность сделать несколько шагов. Когда же такой возможности не было и ей приходилось сидеть на одном месте, то все равно казалось, что она порывается куда-то побежать. Еще давно, до войны, Басаргин сказал ей в шутку: «А знаешь, мама, мне иногда кажется, что ты бежишь, даже когда ты сидишь».

У матери была удивительная способность создавать себе неудобства. Кровать, на которой лежал Басаргин, была детской кроваткой, слишком короткой даже для матери, но она почему-то говорила, что так для нее удобнее. Почему удобнее, она не могла объяснить, и приходилось ей верить на слово. Хотя у стены стоял высокий стул со спинкой, но сейчас она сидела за столом на низенькой табуретке, подложив под себя две толстые книги. Она проверяла тетради, придерживая пальцами дужку очков. Дужка была сломана час назад: она уронила очки и, торопясь их поднять раньше сына, наступила на них ногой. Впрочем, за то время, что Басаргин следил за ней, она уже три раза забывала, что дужка сломана, опускала руку, и очки падали на стол.

— Мама!

Придерживая дужку очков, мать быстро обернулась и посмотрела на Басаргина.

— Так ты не спишь?

— Нет, не сплю.

— А я-то старалась не шуметь.

— Я слышал.

— Что ты слышал?

— Как ты старалась не шуметь.

Они оба рассмеялись.

— Слушай, мама, как у тебя на душе?

— Сейчас?

— Нет. Сейчас — хорошо, я знаю. Как у тебя на душе вообще, все это время?

— Последнее время?

— Да, последнее время.

Мать задумалась и с минуту молчала. Басаргин не удивился этому: она всегда серьезно отвечала на такие вопросы. И когда ее походя спрашивали: «Ну, как живете?» — она никогда не отвеча-

ла «ничего», а, подумав, говорила так, как было на самом деле — хорошо или плохо.

— У меня на душе хорошо,— сказала она.— А почему ты спрашиваешь?

— Потому что меня последнее время за границей очень часто мучил этот вопрос. Слишком много писали во всех газетах о том, как у нас необыкновенно трудно.

— Да, год ужасно трудный,— согласилась мать.— Ужасно, просто ужасно трудный,— повторила она.— У меня в классе сейчас четверо детей не ходят оттого, что нет обуви и теплой одежды. В ноябре не ходили девять. Пятерым мы достали и сшили.

— Кто это «мы»?

— Как тебе ответить? — улыбнулась мать.— Отчасти я, отчасти другие: наша школьная общественность. Нет, нет, не я одна, ты напрасно так подумал,— снова улыбнулась она.— Я сшила всего два пальто: из папиной кожанки и из Шуркиной второй шинели; у него было две шинели.— Она сняла очки, подошла и села в ногах у сына.— А как у тебя настроение? Хорошее?

— Не знаю, как тебе сказать. Во всяком случае, боевое.

— Но я об этом и говорю,— спокойно согласилась мать.— Нет желания опускать руки. Совсем нет. Напротив, очень хочется много работать и все исправить, и от этого хорошо на душе, хотя, конечно, вокруг видишь много тяжкого. Дети приходят на уроки не всегда сытые, иногда просто голодные. Мне кто-то — я уже не помню — рассказывал, что мы осенью после неурожая хотели купить в Америке хлеб, а нам не продали. Это правда?

— Во всяком случае, были разговоры об этом.

— Наверное, там просто не знают об этих вот моих детях, потому и не продали.

— Напротив, очень хорошо знают, поэтому и не продали. А верней, поставили такие условия, на которых мы не смогли купить этот хлеб.

— Не может быть. Люди не могут так поступать.

— Люди, в руках у которых этот хлеб, могут,— сказал Басаргин.

— Таких людей надо судить,— сказала мать спокойно.

Басаргин даже не нашел в себе силы улыбнуться этим наивным словам. Конечно, мать и отдаленно не представляла себе, что такое торговая политика, ни, тем более, что такое политическая торговля, но в ее словах была беспощадно простая логика справедливого человека, знающего, что такое добро и что такое зло, и не желающего принимать в расчет никаких привходящих обстоятельств.

— Может, я тебе кажусь глупой,— сказала мать,— но я не

только не могу, я не хочу понимать таких вещей и никогда не захочу. Я недавно говорила об этом с Григорием Фаддеичем и опять поссорилась с ним. Он сказал мне, что тут нечего возмущаться: то, что у нас неурожай — это наше личное дело, а их хлеб — это их личное дело. А я была не согласна. Я ему сказала, что если так рассуждать, то можно в конце концов примириться в душе с любой гадостью.

— Там капитализм, мамочка, вот и все,— сказал Басаргин.

— Вот это-то и плохо,— ответила она.— Это-то и плохо. Ведь если бы там спросить народ, просто спросить народ, как бы он решил? Ведь все было бы иначе с этим хлебом. Ну, что ты молчишь? Разве я не права?

— Нет, пожалуй, ты права.

— Я знаю, тебе кажется, что я говорю смешные вещи,— улыбнулась мать.

— Иногда кажется,— в свою очередь улыбнулся Басаргин,— но когда я поглубже задумываюсь над тем, что ты говоришь, мне почти всегда кажется, что в конце концов ты права.

Мать внимательно смотрела на сына и, слушая его, ловила в родном голосе новые нотки, которых не было раньше. До войны она часто с огорчением отмечала про себя, что сын слишком насмешлив, слишком много ворчит и многое ругает, что в нем не хватает того, что она называла *идеализмом*.

Она никогда не понимала слово «идеализм» как характеристику другого мировоззрения. Оно просто обозначало для нее совокупность всех лучших человеческих свойств. Ей казалось, что все коммунисты в идеале как раз и должны быть идеалистами. Когда ей очень нравился человек, она говорила о нем: «настоящий идеалист» и добавляла: «бессребреник». Слово же «материалист» в ее устах приобретало оттенок пренебрежительный и даже осуждающий. Зятя, Григория Фаддеича, давно уже поставив на нем крест, она так и называла «безнадежным материалистом». Иногда, в минуты гнева, называла «материалисткой» и Елену. С этим словом у нее тоже не связывалось никаких представлений о мировоззрении, это была только оценка дурных свойств человека.

Она сознавала и сама, что тут есть некоторая путаница, лет пятнадцать назад ее даже «прорабатывали» в школе на педагогическом совете за эту путаницу, но в то же время она знала, что хорошие, настоящие люди, в том числе ее покойный муж и партийцы, его товарищи, всегда очень хорошо и правильно понимали то, что она хотела выразить словами «материализм» и «идеализм», и она упорно повторяла их в своем собственном и очень ясном для нее значении.

Басаргин же, глядя на мать, думал совсем по-другому, но, в сущности, почти о том же самом, о чем и она.

Мать не переменилась. Больше морщинок у глаз, а так — все та же: та же ясность в глазах и, самое главное,— в чувствах. Ему казалось, что он стал ближе к матери за эти годы разлуки. Она оставалась такой, какой была, а он стал ближе к ней, и его это радовало. Должно быть, что-то за эти годы изменилось в нем к лучшему, иначе он не мог бы так приблизиться к ней душой.

— Может быть, ты все-таки расскажешь мне, как ты воевала в партизанах? — спросил Басаргин. Он спрашивал уже в третий раз, но мать все отмалчивалась, и это удивляло его. Ему казалось, наоборот, она должна была бы особенно охотно рассказывать об этом необыкновенном времени в ее не богатой событиями жизни.

— Я ведь тебе уже обо всем писала,— сказала мать.

— Ну что ты мне писала? Несколько слов.

— Не хочется вспоминать, Петенька.

— Почему так? — удивился Басаргин.

— Как тебе сказать... Сначала, в сорок втором году, когда у нас был целый партизанский район, я учила детей в школе в Гребенщикове, это было ничего. А потом меня оставили в Сафонове связной. Там были кругом фашисты,— с брезгливым выражением сказала она.— Это ведь очень неприятно вспоминать.

— Но ты же ведь...

— Да, да, конечно,— перебила она его,— я кое-что делала, меня даже потом наградили медалью, но все-таки очень уж было унизительно там жить при фашистах. И дети были какие-то испуганные. Я никак не могла к этому привыкнуть. Мне даже все еще кажется, что этого просто не было.

Она снова брезгливо поморщилась и, взяв Басаргина за руку, очень тихо сказала:

— А потом, ты, наверное, забываешь, что я старый человек. И я могла умереть не от чего-нибудь, а просто от гриппа, пока там были фашисты. Умереть и уже не увидеть, как их снова не будет. И эта мысль два года каждый день отравляла мне жизнь. Я все время боялась простудиться и даже во сне видела, что умираю в этих условиях. Что ж тут вспоминать!..

Она закончила почти сердито, словно удивившись, как ее сын не может понять, что не нужно больше расспрашивать ее об этом.

Отпустив руку сына и встав с кровати, она подошла к столу, стопочкой сложила тетрадки, потом сняла с подоконника электрическую плитку, поставила на стол, включила свет и стала возиться с кастрюлечками и баночками, стоявшими на подоконнике и до этого прикрытыми полотенцем.

— Никак, ты хочешь меня кормить? — сказал Басаргин.— Я совершенно сыт.

— Я знаю. Это для Шурика,— сказала мать.— Сейчас придет последний поезд, с которым он может сегодня приехать.

— А почему ты стряпаешь здесь?

— Здесь лучше,— уклончиво сказала мать.

И Басаргин понял, что Шурка не хочет питаться в семье у Григория Фаддеича и мать подкармливает его отдельно, в своей комнате.

— А Григорий Фаддеич, кажется, неплохо живет,— сказал Басаргин, желая выяснить отношение матери к нынешнему образу жизни зятя. Мать помолчала и потом с некоторым усилием сказала:

— Да. Он хорошо живет.

Она сказала это, еле заметно подчеркнув слово «он». И только Басаргин, знавший все оттенки голоса матери, мог понять, что это крошечное подчеркивание означало: она не причисляет себя к людям, пользующимся щедротами Григория Фаддеича, и хочет, чтобы сын знал об этом.

«Пожалуй, кастрюлечки, баночки и плитка не только для Шурки, а и для нее самой»,— подумал Басаргин.

— И давно это? — спросил он вслух.

— Что?

— Давно ли ты готовишь себе отдельно?

— Последний месяц.

— Почему?

— Есть причины, потом скажу. Сегодня не хочу.

— А Катя?

— Катя тоже хотела, но я уговорила ее из-за Гриши пока ничего не менять, подождать до твоего приезда. Мне не нравится, как живет Григорий Фаддеич. Он говорит, что он все это делает для своих детей. И они, правда, живут здесь лучше всех других детей. Он думает, что так для них лучше. А по-моему, это лучше только для его душевного спокойствия, а для них самих — для детей, для их души — хуже. И даже просто плохо.

Она помолчала и потом тихо, но властно заключила:

— Григорий Фаддеич живет очень неправильно.

Басаргин с детства помнил эти слова. Эти слова были ее самым жестоким осуждением людей и людских поступков. В детстве и в юности он очень боялся их. И сейчас понял, что это чувство не прошло у него и теперь, после шести лет разлуки.

«Надо забрать ее отсюда,— закрыв глаза, подумал Басаргин.— Надо ее непременно забрать отсюда. Но куда и когда?»

Что он может ей обещать сейчас? А через год, когда он вернется совсем, поедет ли он, как до войны, преподавать обратно в Смоленск, или его оставят во Внешторге в Москве, с квартирой все равно всюду будет очень трудно.

Очевидно, он сказал это вслух, потому что мать спросила:

— Что трудно? Оказывается, ты не спишь. Я думала, что ты задремал.

— Все трудно,— сказал Басаргин.— Все трудно, и в то же время ничего не трудно. Верно?

— Не знаю, о чем ты, но, должно быть, верно.

— Я пойду пройдусь навстречу Шурке,— сказал Басаргин, спустив на пол ноги в носках.— Он скоро должен быть?

— С минуты на минуту.

Басаргин вытащил из-под кровати ботинки, но они плохо налезали на толстые шерстяные носки.

— Ах, черт! — воскликнул он. Он не любил, когда вещи не слушались его.

Мать молча подала ему столовую ложку. Он, рассмеявшись, вспомнил детство. В доме почему-то никогда не было рожка, и отец и он всегда таким образом надевали ботинки. При помощи ложки быстро справившись с обоими ботинками, он встал, надел пиджак и пальто и обмотал шею шарфом.

— А все-таки в тебе появилось что-то иностранное,— сказала мать.

— Шарф,— сказал Басаргин.

— А пальто-то легонькое.

Мать пощупала материю.

— Да, надо будет подбить ватой,— согласился Басаргин. И потянулся к шляпе.

— Ну, уж это вовсе ни к чему,— сказала мать.— На дворе метель. Возьми-ка вот лучше.— И она достала с вешалки кожаную, с вытертым черным мехом ушанку отца.

Басаргин напялил на голову ушанку, которая была ему чуть-чуть мала, и вышел из дому.

На первом перекрестке, где ему надо было сворачивать к станции, из темноты выехал грузовик с одной подслеповатой, залепленной снегом фарой и резко затормозил. Из кузова, легко перемахнув через борт и показав рукой, чтобы грузовик ехал дальше, выскочил человек и пошел навстречу Басаргину. Через три шага они встретились. Это был Шурка, покрупневший и вытянувшийся (он теперь был выше Басаргина), в шинели с поднятым воротником, в сапогах и вязаном лыжном шлеме, закрывавшем половину лица.

Басаргин направил луч электрического фонаря в лицо Шурки.

— Бросьте глупости! — поморщившись от света, крикнул Шурка и, поймав руку с фонарем, резко отвел ее в сторону.

— Здравствуй, Шурик!

Все еще не отпуская руки, Шурка приблизил лицо к лицу Басаргина.

— Здорово переменился,— сказал он и крепко поцеловал брата в щеку, проехавшись по его губам колючим, небритым подбородком. Басаргин обнял его за плечи, сперва почувствовав и только вслед за этим вспомнив, что у Шурки теперь нет одной руки.

— Хорошо, что я тебя встретил,— сказал Шурка.— Куда ты шел?

— Тебе навстречу.

— Понимаешь, не мог сесть на одиннадцатичасовой. Битком! На этом и то пришлось две остановки висеть на подножке.

На обледенелом крыльце Басаргин поскользнулся и чуть не упал. Шурка ловко подхватил его под мышку и удержал.

— Не падай, американец,— пошутил он, и Басаргин улыбнулся: у Шурки это вышло как-то совсем по-другому, чем у Григория Фаддеича.

В сенях Шурка снял свою старенькую, но хорошо сшитую, даже щеголеватую офицерскую шинель с блестящими пуговицами и оказался в военных бриджах, в синем бумажном, до горла свитере и в немножко коротком для роста, тоже синем, шевиотовом пиджаке. Правый, пустой рукав был подогнут и большой английской булавкой приколот к поле пиджака.

Мать сразу же, как вошел Шурка, наскоро поцеловав его, захлопотала около электрической плитки, а братья сели за стол и с бесцеремонным вниманием стали разглядывать друг друга.

Шурка хотя и не имел разительного сходства с Басаргиным, но в общем был под стать брату. У него были такие же светлые волосы, только коротко, по-военному подстрижены, и такие же светло-голубые глаза, но на его бледном, без загара лице они казались темней, чем у Басаргина. Все лицо его было угловатей, жестче, чем у старшего брата. Сильные широкие скулы и худые, запавшие щеки с мелкими рябинами — остатками детской оспы, крепко сжатые губы и резкая поперечная черта на подбородке придавали его лицу суровый вид. Это было одно из тех лиц, которые трудно представить себе улыбающимися. А на самом деле улыбка, появляясь именно на таких лицах, бывает особенно доброй, словно неожиданный подарок.

Так было и сейчас. Шурка очень сурово и внимательно смотрел на Басаргина, но, собственно говоря, он не столько сам рассматривал брата, сколько наблюдал, как тот его рассматривает. По-

том ему стало смешно, и он улыбнулся во весь рот, сверкнув двумя рядами зубов, которыми он до войны — на спор с товарищами — перегрызал медную проволоку.

И сразу все его лицо сделалось совершенно прежним, знакомым.

— Любимый город может спать спокойно,— лихо двумя пальцами пробарабанил по зубам Шурка. И это у него получилось виртуозно, тоже совсем как до войны.— Все зубы целы, товарищ дипломат,— сказал Шурка.— Дай твое американское вечное перо — перегрызу.

— На, только не грызи.

Басаргин вынул из кармана вечную ручку и протянул Шурке.

— Сколько привез?

— Две.

— Тогда отдай Григорию Фаддеичу, а то увидит у меня — тосковать будет.

— Бери. У меня для него другой подарок.

— Мало. Дай еще и ручку. Я уступаю. Все-таки морально обязан: раз в неделю ночую в построенном его трудами доме. Опять же мать — не нач, не пом, не зав, не зам,— просто учительница, а он ей жилую площадь отвел. Кругом в долгу.

— Шурик, брось. Брось хоть на сегодня,— укоризненно сказала мать, не поворачиваясь и продолжая мешать подгоревшую кашу.

— Бросаю,— сказал Шурка и, подойдя к матери, обнял ее сзади и прижался к ее лицу щекой.— Мама у нас с тобой старенькая и добренькая-добренькая.

— Не добренькая, а добрая,— сказал Басаргин.

— Ну, добрая. Я думал, что война ее переменит. Нет.

— Война во мне ничего не переменила,— с какой-то даже гордостью сказала мать.— Ровно ничего!

— А ты что, считаешь, что война непременно должна менять всех людей? — поддразнивая брата, спросил Басаргин.

— Безусловно. Они должны становиться злей.

— А может быть, добрей?

— И добрей.

— Не совсем понимаю.

— Очень просто. Смотря по обстоятельствам. То есть, вернее, смотря по отношению к кому. Не держать все в одном кармане, а разложить по разным: для кого доброе, а для кого злое. Но уж зато и то и другое — в полный голос.

— А ты разделил? — спросил Басаргин.

— Я разделил.

Шурке, в свою очередь, хотелось спросить Басаргина: «А ты? Ты тоже разделил?» — но прищуренные глаза брата попеременно то были серьезными, то смеющимися, и Шурка под этим взглядом застенчиво подумал, что вопрос его может показаться наивным, и промолчал.

— А я думал, спросишь,— сказал Басаргин.

— О чем?

— Меня, о том же самом. Тоже разделил, Шура, да еще как.

Шурка улыбнулся.

— Прав я?

— Прав.

— А то кто вас знает? — Шурка улыбнулся еще шире и добрее. — Наездились по заграницам. Может быть, от избытка дипломатии стали такие закоренело-вежливые, что не в состоянии выговорить ни «да», ни «нет»?

Басаргин рассмеялся:

— У тебя устарелые представления о дипломатии.

— А что, теперь вежливость разве не в моде?

— Нет. Но просто, когда наши партнеры начинают разговаривать с нами как империалисты, мы отвечаем им с большевистской прямотой.

— А как же в этих случаях насчет «примите уверения в совершенном почтении»?

— Как буква «л» в слове «солнце»: пишется, но не произносится.

Шурка сидел, облокотившись на стол, и, задумчиво подперев щеку ладонью, с нежностью смотрел на брата. Перед встречей он боялся, что три года, которые Басаргин провел за границей, могут внести отчуждение в их прежнюю дружбу, что от этой заграничной работы брат станет суше, сдержанней и черствее душой, словом — *аккуратней*. Это было слово, которым Шурка определял для себя особенно неприятное ему свойство людей, умевших быть откровенными, добрыми и правдивыми только понемножку, отрывая другим людям лишь клочки этих чувств, как кондуктор в трамвае билетики. Опасения не оправдывались, и Шурка испытывал вместе и неловкость за свои подозрения, и благодарность к брату.

— У нас тут один дурак был,— сказал он. — Вернулся с заграничной работы и определился преподавать в пединститут. На прежнее место. Ну, наши, конечно, обрадовались, на городском студенческом собрании поставили его доклад о международном положении. А всего только и узнали к концу двух часов, что вечные ручки Паркера гораздо надежней вечных ручек Шиф-

ферса. Так старался, бедняга, что можно было подумать: Паркер ему комиссионные платит.

— Ну и что же вы?

— Послали ему записочку, чтоб закруглился и через пять минут исчез с кафедры.

— Исчез?

— Записка была в энергичных выражениях составлена. Я писал.

— Вот вы, оказывается, какие.

— А ты думал какие?

Братья рассмеялись. Мать поставила перед Шуркой тарелку щей и сковородку окончательно подгоревшей пшенной каши.

— Сам виноват,— сказала мать, когда Шурка искоса глянул на сковородку,— раньше мне не рассказывал об этом, а мне интересно.

Шурка быстро съел несколько ложек щей и отправил вслед за ними в рот полную ложку каши.

— Сколько же тебе теперь лет, Шурик?

— Когда-то был на десять лет моложе тебя.

— До кого дотянул?

— Не богато: до старшего лейтенанта.

— А докуда дошел?

Шурка жестковато усмехнулся:

— В каком смысле? Сначала или потом?

— И сначала и потом.

— Сначала до поселка Котлубань.

— Где это?

— Километров двадцать севернее Сталинграда.

— А потом?

— Потом до Франкфурта. Восемьдесят километров тогда не доходя, а теперь значит, не доезжая Берлина. Батальон под командованием старшего лейтенанта Басаргина ночным обходным маневром проник на западную окраину и так далее... Руку оттяпали в ту же ночь, выписался только через два месяца...

— Значит, в Берлине не был?

— Почему не был? Был. На экскурсии. Снимался в группе на Вильгельмплаце, на фоне дырявых железных лошадей и колесницы — все как положено.

— Расписался на рейхстаге?

— Нет.

— Почему?

— Не брал.

— Сколько же ты всего провоевал?

— Без трех месяцев четыре года... Допрос окончен?

— Окончен.

Басаргину больше не хотелось расспрашивать Шурку и о войне, и обо всем, связанном с нею. По нескольким коротким фразам, которые выдавил из себя Шурка, Басаргин уже понял, что его брат не только не принадлежит к числу доброхотных рассказчиков войны, но и не любит говорить о ней, как человек, который убил много людей, воевал долго и жестоко, выполнил свой долг и больше не хочет без особенной необходимости думать или вспоминать об этом.

Басаргин потянулся за папиросой, закурил и подумал о себе. У него все было немножко не так. Хотя он тоже провоевал три года в противотанковой артиллерии и не хуже пехотинцев знал, что такое грязь, холод и немыслимый физический труд передовой, но из-за неожиданного, в самый разгар войны, отъезда за границу у него было чувство оборванности своей военной судьбы. За границей в его воспоминаниях о войне как-то оттеснилось в сторону все самое темное, трудное и страшное, а на память чаще всего приходило полковое товарищество, восторг последнего наступления, дорога на Каменец-Подольск, заваленная разбитыми немецкими танками, и ночь в Фенешти после переправы через Прут, уже в Румынии, жареные голуби, молодое вино в глиняном кувшине, боевые друзья, милые в ту ночь до слез.

Конечно, он помнил все, но, вспоминая, вспоминал именно это. Вспоминал потому, что, хотя в его заграничной работе, как и на войне, было тоже много тяжелого и трудного, но того торжественного и возвышенного, что неизменно существовало на войне рядом с тяжелым и трудным, там, за границей, было меньше, много меньше...

Он думал об этом и курил, глубоко затягиваясь и перестав обращать внимание на Шурку. А Шурка в это время, положив ложку в тарелку, чуть склонив набок голову, искоса смотрел на него и думал, что, кажется, сейчас глупо говорил с братом о войне — так, словно тот только и делал, что ездил по заграницам.

«Кажется, я его обидел»,— подумал Шурка.

— Как бы это поделикатнее поправить,— широко улыбнувшись, сказал он.— Знаешь, Петя, я говорил сейчас с тобой, смотрел на твой дипломатический галстук и совсем забыл, что ты тоже провоевал почти всю войну. Говорил с тобой, как пижон.

— Галстуки всегда были моей слабостью,— сказал Басаргин.— Этот не отдам, потому что он любимый, а вообще привез дюжину — один другого лучше. Могу дать. Один, но любой.

— Любой, но один,— поддразнил Шурка.

— Совершенно верно, ударение на один,— усмехнувшись, согласился Басаргин и вспомнил, что Шурке надо сделать подарок.

Сундук, в котором лежали купленные по его просьбе машинисткой торгпредства носильные вещи для Кати, матери и сестры, шел багажом. Там был и костюм для Шурки. Здесь, при себе, в чемодане среди подарков на первый день приезда были только уже давно купленные, тоже для Шурки, кожаные на меху перчатки. Не то чтобы он забыл, что Шурка инвалид, напротив, он даже, когда покупал, подумал, что и для одной руки в конце концов нужна перчатка. Но он не подумал, как будет дарить эти перчатки. А сейчас оказалось, что подарить их почему-то нельзя. Хотя все правильно, и для одной руки тоже нужна перчатка, но тем не менее подарить их было невозможно.

Тогда он посмотрел на Шуркину нитяную холодную фуфайку и, подойдя к чемодану, вытянул оттуда за рукав предназначенный до этого в подарок самому себе толстый канадский свитер-самовяз, неуклюжий, но добротный и теплый.

— Держи,— сказал он Шурке.

— Спасибо. Как, мама, хорош свитер? — повернулся Шурка к матери.

— По-моему, хорош. Ручная работа.

— А для Григория Фаддеича не забыл побольше презентов привезти? — спросил Шурка у Басаргина.— Он ведь на тебя сильно рассчитывал. Не то чтобы из корысти — у него, в общем, все, что нужно, у самого есть,— а для интереса. Только и разговору последний месяц было: «Что Петя привезет?» Основная тема.

— Не люблю, Шурик, когда ты так говоришь о Григории Фаддеиче,— сказала мать. Но в голосе ее Басаргин почувствовал не строгую, а неуверенно-просящую интонацию.— Мне самой в нем многое не нравится. Но все-таки он добрый человек.

— А разве я спорю? Конечно, добрый,— с кротостью, показавшейся Басаргину подозрительной, согласился Шурка.— Он не только добрый, он еще и честный...

— Ну...

Мать хотела возразить.

— Что «ну»? И честный. Такой же, как добрый. Он даже, если хочешь знать, человек строгих понятий. Но эти понятия у него только на свое и на чужое. Свое — это значит его. А чужое — это значит твое или мое. Его дом, его шуба, моя шинель, твой платок. И он никогда своего не отдаст и чужого не возьмет. Только беда, что у него все государственное ни в одну из этих двух граф не входит. Государственное — это и не его и не твое. Оно общее.

Ну, а там, где начинается общее, там у него понятие о честности кончается.

Шурка хмыкнул, довольный найденным определением, быстро сделал несколько шагов по комнате и снова сел.

— Понятие о честности кончается, а понятие о доброте начинается. Человек он широкий. Откуда можно взять себе, оттуда не жалко дать и другому. Добрый человек! Пять кубометров бревен кому-то дал. А пойди попроси у него полушубок — не даст! Потому что полушубок лично его, а бревна — общие.

— Он нам в школу четыре раза вне плана дрова завозил,— сказала мать.

— Да что он, свои, что ли, дрова-то завозил? — разозлившись, закричал Шурка.— Лидка и Егор учатся в вашей школе — вот и завозил. А не учились бы — черта с два он бы вам завез! Хотя, впрочем, может быть, все равно завез, чтобы ты не замерзла. Все-таки хоть, по его мнению, и с дурацкими понятиями, но родственница.

— Шура,— укоризненно сказала мать.

— Прости, пожалуйста. Не мое — его выражение. Дрова сверх плана! — снова сердито воскликнул он.— А к первому сентября он вам по плану пристройку на четыре класса должен был сделать, а?

— Он мне объяснил, что это не удалось.

— Не удалось? А летний план он на сто десять процентов выполнил, а? Заготовителям четыре дома вместо двух отбухал. А вы для него без интереса. Вот и не удалось! Сама же с ним из-за этого поссорилась, а теперь, при Петре, молчишь, не хочешь его в первый день расстраивать. А по мне, пусть все сразу знает — как живем и чем дышим! — вскочив из-за стола, сердито сказал Шурка. И неожиданно стал похожим на отца, такого, каким помнил его Басаргин.

Мать переглянулась со старшим сыном, и они оба поняли, что одновременно подумали о том же самом. Расхаживавший по комнате Шурка был сейчас в самом деле необыкновенно похож на отца.

Отец умер рано, в тысяча девятьсот тридцатом году. Он был из тех людей, говоря о которых «он сгорел на работе» произносят не красивую фразу, а просто и точно определяют то, что произошло на самом деле.

Сын ткача Пуховской мануфактуры, он вступил в РСДРП в тысяча девятьсот пятом году молодым двадцатилетним выпускником Смоленского ремесленного училища. Пользуясь его бродячей специальностью строительного десятника, партия перебрасывала его как связного с места на место. Исполнительный, точный

и вежливый, он нигде не обживался, нигде надолго не устраивался и каждый раз удивлял начальство своими неожиданными и настойчивыми просьбами уволить его. Хотя он любил строительное дело, но оно все еще было только внешней оболочкой его жизни, а судьбою его в эти годы молодости была партийная работа, дисциплиной жизни — партийная дисциплина и личной надеждой на будущее — надежда на революцию. Эта благородная юность наложила неизгладимый отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Матери, во всяком случае, казалось, что в нем уж никогда не менялось то, за что она сразу приметила и полюбила его. Ей, правда, казалось, что он и не старел, но это уж, наверное, было просто от слишком большой любви к нему.

Мать встретила его в тысяча девятьсот восьмом году на Урале, в Екатеринбургской губернии. Он работал на новой железнодорожной ветке, на постройке станционных зданий, ходил в высоких сапогах, в форменной тужурке и путейской, с молоточками на околыше, фуражке. Фуражка была старая, с потертым бархатом. Из-под нее выбивались светлые жесткие волосы, а лицо было худощавое, суровое, с пшеничными, немножко закрученными кверху, как тогда носили, усами и с добрыми, но насмешливыми глазами.

— Ты удивительно похож на отца,— как показалось матери, очень громко сказал Басаргин, подтвердив и в то же время тем, что он так громко это сказал, нарушив ход ее мыслей.

— Разве? — спросил Шурка, остановившись посреди комнаты.

— Да, очень.

— Я плохо его помню,— сказал Шурка.

Подойдя к кровати, он снял висевшую у изголовья фотографию в тоненькой вишневой рамке. На фотографии были изображены два человека, облокотившиеся на стоявшую между ними высокую подставку для цветов.

Один был маленького роста, с крохотными черными усиками «кляксой», в папахе и во френче с непомерно большими карманами; у него было молодое, веселое лицо, которому усики «кляксой» придавали нахальное выражение. Одна рука его небрежно покоилась на эфесе шашки, а другой он придерживал огромный полевой бинокль. Второй человек был гораздо выше ростом и одет в наглухо застегнутую короткую кожаную тужурку, из-под которой виднелся воротник косоворотки. На голове у него была кожаная фуражка, а через плечо, на тонком ремешке, висела большая деревянная кобура. Кончики светлых усов немножко закручивались вверх, а большие добрые глаза глядели устало и насмешливо.

Это был отец. Шурка помнил фотографию с детства, но сейчас, после войны, смотрел на нее с новым волнением. Два человека, одетые в военные костюмы, матери еще казавшиеся обычными, а Шурке уже странными, были застывшей на фотографии той, другой, гражданской войной, началом всех начал, о котором он помнил по рассказам, по книгам, а еще больше по песням с их далеким волнующим ароматом истории, похожим на тонкий запах засушенной в книге веточки полыни. «Каховка, Каховка — родная винтовка... горячая пуля, лети!» — вспомнилось ему.

— А это Николай Иванович,— и мать показала пальцем на маленького военного, снятого рядом с отцом.— Командир полка.

Шурка еще раз пристально взглянул на фотографию, закрыл глаза и на короткую секунду, в темноте, сквозь закрытые веки, увидел отца, живого, стоящего в углу комнаты. На отце была черная кожаная фуражка, кожаная комиссарская куртка и маузер в деревянной кобуре через плечо. У него было обросшее короткой рыжей щетиной, усталое и грозное лицо, но, как в ту же секунду сообразил Шурка, это было не лицо отца, а лицо члена Военного совета армии, который выводил их из окружения в сорок втором под Дорогобужем и погиб за час до того, как они прорвались.

Шурка открыл глаза.

— Что с тобой? — спросила мать, заметившая, как он побледнел.

— Ничего. А скажи, что с ним стало, с командиром полка. Погиб?

— Почему? — Мать искренне удивилась, как будто этот человек ни при каких обстоятельствах не мог погибнуть.— Да ты же его знаешь!

И она назвала фамилию.

— Скажи пожалуйста! — удивился Басаргин, слышавший эту фамилию раньше, еще от отца, но никогда не сопоставлявший ее со всем известной теперь фамилией командующего одной из армий.— А я думал, что однофамилец.

Шурка сел на стул и сидел молча, все еще держа перед собой фотографию. Он был ошеломлен вдруг обнаружившимся совпадением, о котором не подозревал раньше: перед его глазами сейчас стояла не эта, с детства знакомая фотография, а совсем другая, с необычайной ясностью запечатлевшаяся в памяти картина.

Мокрый октябрьский рассвет. Сзади — холодный, вздувшийся от дождей Днепр. Впереди — близкие и частые выстрелы немецких танков. Над головой — ветер гонит по небу густые и черные, как орудийный дым, облака. В песчаный, наскоро вырытый окоп-

чик наблюдательного пункта быстро входит только что переправившийся на лодке командующий армией.

Шурка стоит на откосе, в пяти шагах от окопа, спрятав автомат под плащ-палатку и накинув на пилотку капюшон. Немецкие танки в полукилометре отсюда, и Шуркин взвод автоматчиков — сейчас все, что есть на этом берегу в резерве у командира дивизии.

Шурка хорошо слышит и видит, как, отрапортовав, командир дивизии, продолжая держать руку у козырька, говорит, нагибаясь к маленькому командующему:

— Товарищ командующий, к моему наблюдательному пункту подходят танки. По долгу службы, прошу вас покинуть берег.

Он выговаривает эти слова не спеша и немножко заикаясь.

Адъютант командующего останавливается рядом с Шуркой; он в плаще с капюшоном и после переправы весь грязный и мокрый.

Командующий стоит в окопе. На нем тонкая, черная от дождя шинель с золотыми погонами, на руках — желтые, тоже почерневшие от дождя перчатки, на голове фуражка с красным околышем. Весь он очень аккуратный и чистый. Только низ хромовых сапог со шпорами забрызган мокрым песком.

«Наверно, когда шел сюда, выбирал, где чище»,— думает Шурка.

Командующий стягивает с левой руки перчатку, берет ее в правую, отогнув левой рукой полу шинели, лезет в карман, вынимает очень белый носовой платок, снимает фуражку, стряхивает с нее воду, вытирает платком лицо и изнутри фуражку, надевает ее, кладет платок в карман и снова натягивает перчатку.

— А где ваши противотанковые орудия? — спрашивает он у командира дивизии.

— У меня только один паром,— говорит командир дивизии.— Переправляем первые две пушки.

Он показывает на Днепр, на самой середине которого, почти не двигаясь, качается на волнах маленький паром с двумя пушками.

Командующий оборачивается и долго смотрит на паром. Теперь он стоит спиной к Шурке, сцепив руки за спиной, и Шурка видит, как он медленно поворачивает одну руку в другой, крутя ее в запястье так, словно незаметно хочет отвинтить ее.

Потом командующий оглядывается на Шурку и снизу вверх в упор смотрит на него.

Теперь Шурка хорошо видит лицо командующего, блестящий козырек фуражки, чисто выбритые щеки, колючие быстрые глаза, две тоненькие седые щетинки усов над узким, крепко сжатым

ртом, высокий воротник кителя, узенькую белую полоску подворотничка, блестящие золотые пуговицы шинели — на нижней висит кавалерийский стек.

— На чем переправлялись? — почти не раздвигая губ, спрашивает командующий. Склонив голову набок, он смотрит на Шурку так, словно только что выстрелил в него и сейчас присматривается, попал ли.

— На доске,— громко и даже с неожиданным вызовом выкрикивает в ответ Шурка, вспомнив в эту минуту, что он переплыл сюда первым в дивизии.

— Правильно,— говорит командующий и, звякнув шпорами, оборачивается к командиру дивизии.— А у вас на той стороне бесцельно стоят шесть домов. А из каждого дома — плот на одну пушку! Распорядитесь! Я подожду здесь.

Хотя он теперь стоит к Шурке спиной, но Шурка чувствует, как командующий стреляет этими словами в командира дивизии: каждым словом отдельно, с короткими точками.

— Вызовите «Сызрань»,— вздохнув, говорит командир дивизии телефонисту.

Шурка и адъютант командующего переглядываются. Адъютант подмигивает Шурке и, пригнувшись, теряет равновесие и падает. Низко просвистевший снаряд разрывается в двухстах метрах в воде.

Командующий оборачивается, и Шурка во второй раз видит его лицо. Удивленно подняв брови, командующий смотрит на своего поскользнувшегося адъютанта, а тот под этим взглядом, как кажется Шурке, нестерпимо медленно поднимается с песка, вытирая о плащ-палатку мокрые ладони.

Над головами со свистом пролетает еще один снаряд.

— Басаргин,— говорит командир дивизии,— возьмите своих автоматчиков и займите оборону вон у тех дальних кустов.

Командир дивизии указывает рукой направление.

Шурка подает команду автоматчикам и, подоткнув полы шинели за пояс, перепрыгивает через окоп. В эту секунду он в последний раз видит командующего. Командующий стоит к нему спиной и смотрит на Днепр, пощелкивая по сапогу крепко зажатым в руке стеком. Чувствуя сильный толчок, Шурка падает, раненный пулей в грудь, и командующий вместе с окопом, берегом, деревьями и небом, качнувшись, перевертывается в его глазах.

Прошла минута, может быть, две. Шурка все еще держал в руке фотографию, приблизив ее к настольной лампочке.

— Что, насмотрелся? — спросил Басаргин, облокачиваясь сзади него на спинку стула и заглядывая через плечо.

— Да.

Шурка еще раз взглянул на фотографию и подумал: «Совсем молодой. Усики «кляксой», и улыбается. Года двадцать три, не больше. Как мне. А там, на Днепре, ему уже было под пятьдесят. А сколько же было бы сейчас отцу? Шестьдесят два...»

Он повесил фотографию, достал папиросу и, зажав между колен спичечную коробку, закурил.

Да, сорок третий год. Днепр. Перед своим третьим ранением он полгода служил в армии, которой командовал этот маленький человек со старой фотографии. А отец, останься он жив, вполне мог бы там быть членом Военного совета.

«Интересно, что бы сказал командующий, если бы знал, чей я сын... А наверное, ничего. Так же бы спросил: «На чем переправлялись?» И я бы сказал: «На доске».

И Шурка с привычной обидой подумал: «Жаль, что не получил Героя за Днепр. Ранило — и забыли. Вечная история... А в гражданскую, кажется, почти не давали орденов. Даже у отца не было».

— У отца Красного Знамени ведь не было? — вслух спросил Шурка.

— Нет,— сказала мать.— У Николая Ивановича был.

— «Слушай, рабочий, война началася, бросай свое дело, в поход собирайся!» — тихим тенором затянул Басаргин.— Знаешь эту песню? — повернулся он к Шурке.

— Нет. Я люблю «Каховку».

— «Каховка» — воспоминание,— сказал Басаргин.— А с этой тогда в бой шли. Я еще помню. Слышал мальчишкой:

Рвутся снаряды,
Трещат пулеметы,
Но их не боятся
Красные роты.

— «Смело мы в бой пойдем за власть Советов»,— неожиданно сильно и громко подхватила мать и, смутившись своего порыва, замолчала.

— «И, как один, умрем в борьбе за это»,— сказал Басаргин.

Перед его глазами еще раз пронеслось все то, о чем он вспоминал в вагоне: ночь за Днестром, аэродром в Марселе, германские автострады и перекрестки Нью-Йорка, конторы, банкеты, «ваше здоровье», вежливые улыбки, испытующие глаза.

— «В борьбе за это»,— повторил он еще раз одними губами и повернулся к Шурке.— Ты никогда не чувствовал себя не только просто самим собой, но еще и продолжением великой кровавой и трудной истории, начатой другими людьми? А?

— В каком смысле продолжением?

— А в очень простом. Кто-то умирал под Екатеринославом или под Кичкасом во время боев с Деникиным, падал в пыль с коня... А потом совсем другие люди,— я, например,— строили там Днепрогэс. А потом отец — как сейчас помню — вот здесь, в Пухове, на окружной партийной конференции в тысяча девятьсот двадцать девятом году, дрался с правыми уклонистами и голосовал за исключение их из партии. А потом умер. А потом мой дивизион всю войну посылал в немцев снаряды, добытые на той самой Магнитке, которую эти правые уклонисты не желали строить. Наша жизнь как цепь: кольцо в кольцо. Не разнимешь. В этом и сила. А в то же время рядом живут люди с одной мечтой: стать отдельным колечком, да еще на чужом мизинце. То есть они-то, может, и надеются жить сами по себе, а их — раз — и на мизинец.

— Это о ком? О нем, что ли? — кивнув на стенку, за которой была комната зятя, спросил Шурка.

— Не знаю, еще до конца не разобрался,— сказал Басаргин.

— Ничего, разберешься.— Шурка неласково усмехнулся и, раздавив в пальцах окурок, положил его в пепельницу.

Мать сидела в уголке и, притаившись, слушала разговор сыновей. Чем меньше они ее замечали, тем лучше видела она их обоих такими, какие они были на самом деле, без ласкового «мамочка», без улыбки в ее сторону, без оглядки, угловатых и резких, похожих на отца. Ей казалось, что они оба похожи на него, и даже трудно сказать, кто больше — Шурик или Петя? То есть вообще-то больше был похож Шурик: и ростом, и походкой, и привычкой отрубать рукой фразу от фразы. Но Петя тоже был похож — глазами и еще больше голосом. И в тоне и в словах его было что-то отцовское: простое и правдивое.

Отец мог долго сидеть и молчать, потом откинуться на спинку стула, посмотреть прямо перед собой и тихо сказать: «А знаешь, Аннушка, коммунизм — это будет большое счастье...» И он так говорил эти простые слова, как будто вот сейчас встанет, выйдет за дверь и принесет это счастье и положит на стол, и всем будет видно, какое оно большое и хорошее...

У Пети есть тоже что-то такое в голосе. Люди ему, наверное, верят. Он, должно быть, редко говорит неправду. А может, даже и никогда не говорит.

Она смотрела на них, и ей вспоминался тот день зимой тридцатого года, когда они оба стояли в клубе Пуховской мануфактуры у гроба отца. Петр стоял тихо, наклонив голову, и плакал, не вытирая слез, а Шурик держался за ее руку, все время враждебно озирался на всех подходивших к гробу и каждый раз вздра-

гивал, когда кто-нибудь из прощавшихся наклонялся над гробом и целовал отца.

Сейчас ей хотелось плакать не то от горя, не то от счастья, а вернее всего, просто потому, что оба сына были снова вместе; но она не хотела плакать здесь и, встав, начала быстро засовывать в портфель тетради и учебники.

— Куда ты? — спросил Басаргин.

— У нас молодая учительница. Мне нужно ей помочь приготовиться к завтрашнему уроку.

— Рано, рано,— ворчал Шурка.— Ты всегда ходишь в десять, а сейчас только половина.

— Нет, нет, мне пора,— невнятно упорствовала мать, безуспешно пытаясь застегнуть слишком набитый портфель.

— Подожди, подержи вот так,— строго сказал Шурка и, сильным движением руки натянув кожу портфеля, защелкнул замок.

— А может, не пойдешь? — сказал Басаргин, подавая ей пальто. Он хотел добавить: может, не пойдешь ради такого случая, как мой приезд, но промолчал, поняв, что его приезд как раз и есть причина преждевременного ухода матери — она переволновалась и не хочет этого показать.

— Ушанку-то возьми, забыла,— сказал он, уже в дверях подавая ей ушанку.

— Да, да, совсем забыла,— кротко созналась она.

— Может, проводить тебя?

— Нет, нет, это совсем недалеко. Я очень быстро. Только помогу Лидии Николаевне проверить тетради и вернусь.

Лидией Николаевной звали девятнадцатилетнюю учительницу, которую естественней было бы называть просто Лидочкой, если бы не правило матери — всех педагогов в школе, даже самых молодых, непременно звать по имени и отчеству.

— Я скоро, скоро,— помахала она перчаткой уже на крыльце, смущенная тем, что сын вышел провожать ее на улицу. Помахала и уронила перчатку.

Басаргин нагнулся и поднял перчатку.

— Иди, иди,— снова замахала она и снова чуть не уронила перчатку.— Иди, а то простудишься.

Но он остался стоять на крыльце. Она несколько раз оглядывалась на него, а он все еще стоял, глядя ей вслед, пока она не скрылась за поворотом.

«Как тихо»,— подумал Басаргин.

Действительно, кругом было очень тихо. Метель прекратилась, и только с крыш при порывах ветра иногда осыпался снег. Басаргин стряхнул с волос снежинки, вошел в сени, запер дверь на щеколду и, потирая холодные руки, вернулся в комнату.

Когда Басаргин вошел, Шурка, задумавшись, стоял в углу комнаты, крепко зажав в углу рта папироску и засунув руку в карман галифе.

Все в Шурке было до слез свое, родное: и короткий, потертый, но ладно сидевший на нем пиджак, и офицерские бриджи, и армейские, аккуратно подлатанные хромовые сапоги; заколотый булавкой пустой рукав не нарушал впечатления подобранной и уверенной в себе силы, которой веяло от всей его фигуры.

Басаргин, молча обняв брата за плечи, зашагал рядом с ним взад-вперед по тесной материнской комнатке. Брат был ему бесконечно дорог. Но это не было то чувство жалости и нежности, которое по временам переполняет душу человека, чаще всего по отношению к близким и более слабым, чем он сам.

Это было совсем другое, тоже по-своему нежное, но в то же время воинственное чувство умиления перед чужим подвигом, перед товарищем по оружию, перед потным, забрызганным грязью солдатом, который с хриплым криком «ура!» последним снарядом останавливает танк в двадцати метрах от своей раскаленной стрельбой и готовой разорваться пушчонки; перед генералом, умирающим на наблюдательном пункте от осколка в живот и, захватив в кулак обе полы шинели, чтобы не видеть своей раны, сквозь закушенную губу цедящим в трубку последние приказания; перед врачом, методично повторяющим: «ланцет», «марлю», «еще марлю», «укол» — под бомбежкой, в раздираемой воздушными ударами палатке полевого госпиталя...

Именно это, с особенною остротой рождаемое братством на поле боя, чувство неслезливого гордого умиления испытывал сейчас Басаргин, обнимая Шурку и шагая с ним рядом по комнате.

Перед его глазами проносились холодные подмосковные поля, степные вьюги, тонкий свист летящих один за другим снарядов, с грохотом разрывающихся за спиной, переправы, переправы: Дон, Донец, Днепр, Днестр.

Вот так, в сущности, они и прошли оба, рядом, через все это, хотя ни разу за войну не видели друг друга и даже не послали друг другу ни одного письма...

Он, стиснув зубы, вспомнил безучастное сытое лицо: «Говорят, у вас больше чем семь миллионов убитых?» И другое сытое лицо: «Говорят, у вас...» И третье сытое лицо...

— Нет, не будет по-вашему! Неправда!

— Это ты кому? — спросил Шурка.

— Им,— сказал Басаргин.— Закурим еще по одной?

— Ну что ж, закурим.

Шурка вытащил из кармана коробку папирос. Оба сели к столу, Шурка на прежнее место, а Басаргин — в уголок, туда, где раньше сидела мать.

— Ну, какая она там, Америка? — спросил Шурка.

— Всякая,— рассмеялся Басаргин.— Очень разная.

— Мне бы понравилась?

— Некоторые вещи — да.

— А я не о вещах. Знаю, что там на сегодня лучшие в мире дороги, лучшие автомобили, лучшие самопишущие ручки. Это и без того известно. Я не о вещах. Я о людях.

— И я не о вещах, я тоже о людях. Некоторые люди, а еще вернее сказать, некоторые черты в людях тебе бы понравились.

— Например?

— Например, точность в делах, в обещаниях. Я говорю не о дипломатии, а о том, что американцы называют «бизнесом» — дела, которые делают между собой два заинтересованных в этом человека. Здесь можешь быть уверен, что все будет точно, в срок и без мелкого жульничества. Потом, уважение к чужому времени. Не только потому, что время — деньги, а еще и потому, что это просто вошло в плоть и кровь. Что еще? Нелюбовь к бумажкам; стараются обходиться без них. «Да», сказанное просто по телефону, значит «да» — и заказ сдан. От этого не принято отрекаться. Тем более,— усмехнулся Басаргин,— что в крупной фирме к телефону иногда присоединен звукозаписывающий аппарат. Если я, заказчик, скажу «да», закажу, а потом вздумаю отречься от этого, то мне предъявят пленку с записью моего «да». Но это — деталь, так сказать, на всякий случай, а простое «да» все-таки чаще всего заменяет бумажки. И это неплохо... Ну, что еще? Внешний демократизм...

— То есть?

— То есть даже у самых маленьких людей нет привычки гнуть спину или заискивать перед самыми большими. Внешне все держатся между собой очень независимо, несмотря, может быть, на самую железную зависимость маленького человека от махинаций настоящих хозяев жизни. То есть, скажем, репортер напишет все, что бы ни приказал ему владелец газеты. Но, войдя к нему в кабинет, он будет держаться вполне независимо, сядет на стул без приглашения и, если они давно знакомы, скажет: «Хелло, Боб!» Или инженер, который может в два счета вылететь с завода по одному движению мизинца хозяина, идет рядом с этим хозяином по цеху так непринужденно, что не разберешь — кто главный. То есть сущность не слишком веселая, но форма — приятная, в ней есть что-то хорошее. Для больших, конечно, все это часто лишь ханжество, но для маленьких это важная сторона жизни, и они

держатся за нее. И некоторые из них даже готовы вылететь в неизвестность с завода или из редакции, если эта форма вдруг не будет соблюдена. А с другой стороны, в том, как крепко люди держатся за эту иллюзию независимости, есть, пожалуй, тоска по независимости настоящей. И это неплохо. Вообще, пожалуй, сколько я ни изъездил стран, я нигде не видел такого дикого переплетения очень хорошего и очень дурного, как в Америке.

— Ну, а как народ?

— Как народ? О народе уже давно и хорошо сказано, что народ никогда не бывает плохим. И это до того верно, что ничего не добавишь.

Он замолчал. Шурка ждал продолжения, но так и не дождался. Басаргин сидел, неподвижно уставившись в одну воображаемую точку на стене, и сам у себя в душе взвешивал все «за» и «против».

За последний месяц перед его отъездом из Америки газеты стали просто нестерпимы. Они были до такой степени забиты статьями, заметками, письмами «собственных корреспондентов», дичайшими телеграфными сообщениями, где во всех падежах склонялось слово «война», что временами хотелось свернуть в трубку всю эту тяжелую пятифунтовую пачку сырой, пахнущей типографской краской бумаги и наотмашь бить ею по морде кого-то грубого, крикливого, неуловимо прятавшегося за безликими словами «свободная пресса».

И в то же время он помнил все встреченные им приветливые лица, добрые глаза, сочувственные улыбки и рукопожатия. Он вспомнил демобилизованных солдат, с веселым ревом — «По домам!» — грузившихся на пароход в Гавре; клуб моряков в Сан-Франциско с фотографией Сталинграда и старательно нарисованным плакатом «Vel Kame! Привьет русским друзьям!», дружескую домашнюю вечеринку, на которую его затащили к себе питтсбургские металлисты...

Он вспоминал все это и с болью думал: «Неужели кому-то удастся, навалившись на чудовищный рычаг денег и принуждения, скрутить эти миллионы людей, раздавить их волю, смять их воспоминания, скомкать их души и одним, нераздумывающим, бессловесным, безликим, страшным камнем швырнуть через океан на страну социализма?»

Он поглядел на Шурку. Шурка терпеливо ожидал продолжения разговора. Но Басаргину не хотелось сейчас говорить о том, о чем он только что думал.

— Может, теперь расскажешь о себе, а, Александр Семенович? — улыбнувшись, сказал он.

Шурка не улыбнулся в ответ на «Александра Семеновича».

— Что рассказывать? — спросил он.— Вернее, как? С начала или с конца?

— С конца. Так интересней.

— Учусь на третьем курсе. Вчера моя гвардейская бригада сдавала технологию металлов. Сдали ничего, то есть отлично.

— Ничего, то есть отлично? — переспросил Басаргин.— А что же тогда будет отлично?

— А отлично будет, если мы за второе полугодие и за лето сдадим вперед за четвертый курс и перейдем на пятый. Как-ни-как— перестарки, потеряли по четыре года. Надо брать свое.

— А почему гвардейская?

Шурка ткнул пальцем в привинченный к лацкану пиджака гвардейский значок.

— Восемь бывших гвардейцев. На бригаду не хватает одного глаза и двух рук, не считая моей. Но я ее и сам не считаю. А в остальном — ничего. Молодежи не поддаемся. Приказом по бригаде к экзаменам была надета парадная форма, то есть, попросту говоря, все колодки, сколько у кого было.— Шурка полез в нагрудный карман и выложил на стол две колодки с ленточками.— А нашивки за ранения не ношу, стесняюсь,— доверчиво добавил он.

— Чего стесняешься?

— Стесняюсь — и все. Зачем ходить с удостоверением, что и грудь тебе просверлили, и в ногу вмазали, и голову покорябали... Руку, конечно, не приклеишь. Но к этому я уже привык, научился все делать левой. И знаешь, какая она у меня здоровая стала? Ты мне до войны пережимал руку. А сейчас не пережмешь.

— Ну, это еще неизвестно.

— Не пережмешь! Согну! — сказал Шурка.— Давай попробуем?

— Давай.

Они поставили локти на стол на одной линии и начали перегибать друг другу руки.

До войны Басаргин, несмотря на все Шуркины ухищрения, легко и быстро гнул ему обе руки — и левую и правую. Но сейчас у Шурки рука стала действительно крепче. Басаргин с трудом выдержал первый натиск. Сначала ему казалось, что вот-вот придется сдаться, но потом он собрался с силами и восстановил положение.

Теперь они оба, покраснев от напряжения, держали руки на одном уровне, не в состоянии пересилить друг друга.

— Однако здоров же ты! — наконец огорченно сказал Шурка, сгибая и разгибая занемевшие пальцы.— А я думал — обленился там, за границей.

— Каждый день полчаса гимнастики с гантелями.

— Как до войны?

— Как до войны.

— Сейчас у меня харч не тот,— сказал Шурка.— Характер военного времени выручает, а то бы иногда скрипел на шарнирах: смазки мало, и скоромной и растительной.

— Что, неважно с питанием?

— Точнее сказать, паршиво, особенно с осени. Так не повезло нам с этим чертовым неурожаем, что до слез обидно. Не за себя, конечно, а вообще.

— А в Америке чуть ли не девяносто лет не было такого урожайного года, как этот,— сказал Басаргин.

— Все-таки нет бога,— сказал Шурка.— Одна метеорология. Я в июле ездил на практику на Тамбовщину. Все перегорело. Поп служил молебен в поле — о дожде. Сам служит, и сам плачет. Старый, лет семидесяти. Даже страшно было смотреть.

Наступило молчание.

— Так как все-таки живешь, как питаешься? Расскажи,— сказал Басаргин.

— Живу в общежитии,— неохотно сказал Шурка.— При освобождении было зарегистрировано в Смоленске меньше ста целых домов. А сейчас в городе живет семьдесят тысяч. Так что какое у нас общежитие — можешь представить. Койка есть у каждого, но стол на комнату один. Когда все сразу сядем заниматься, с локтями не разложишься. Устроились в две смены: одни спят, другие занимаются, а потом наоборот. В общем, привыкли. В весеннюю сессию будет легче: можно на воздухе, да и обещали подвести под крышу кое-что из развалин. Ну-с, а насчет питания — по-моему, тема не столь интересная. Терпим, как и все. Стараемся придавать этой теме поменьше значения. А так, конечно, желудок нет-нет да и свою речь произнесет... Иногда на вокзал на разгрузку сходим — сколотим сверх нормы на коллективный ужин. Некоторым родные от себя отрывают. Я вот, например, сюда по воскресеньям езжу. Стыжусь, но езжу.

— Что же стыдиться? — сказал Басаргин.— Мать есть мать.

— Что ж, что мать? Во-первых, стыжусь своих мыслей, когда еду. Еду и думаю: «Интересно, что там мама приготовила поесть?» Я их гоню, а они опять в голову лезут. Довольно глупо... А во-вторых, мать тоже сейчас не сладко живет: с тех пор, как завела отдельное от Григория Фаддеича хозяйство... Бросим эту тему, ладно?

— Хорошо. Расскажи, как живешь в остальном, то есть в главном.

— Главное для студента всегда — надежды на будущее,— сказал Шурка.— У меня их много. Как ни странно, но уже много и воспоминаний. И то и другое помогает жить.

— А что же все-таки помогает жить? Фронтовая закалка?

— И она тоже. Это в смысле физическом?

— Ну, хотя бы.

— Помогает. Но не это главное, а главное...— Шурка замялся, подбирая слово поточней.

— Что главное?

— Закалка души, что ли, или как это лучше сказать?

В самом деле, как лучше сказать? Как назвать все это, соединяющее в себе воспоминания о первом страхе смерти и первых поражениях; и память о победах, сначала маленьких, потом все больших и больших; и рядом память о госпиталях, в которых лежал, о мертвых товарищах, похороненных и непохороненных, о горьком железном и деревянном запахе дыма сожженных человеческих жилищ.

Как назвать это прочно поселившееся в душе чувство, в котором живут вместе память о самом светлом и самом черном; и еще вопят о себе неотомщенные обиды и смерти?

И рядом — небывалая дотоле, невероятная любовь к родине — разоренной, отданной на тысячи верст, возвращенной, пройденной пешком. Пешком, пешком... Кто, кроме солдата, поймет это слово?

И рядом — безрассудный, усталый сон человека, завернувшегося в мокрую шинель, в залитом водой окопе. Сон о мире, в котором вдруг тихо, и голуби летят со стадиона после забитого в ворота мяча. И на стадионе сидят все живые, все, как до войны. Никто не убит, никто не умер...

И рядом — торжественные воспоминания о немецких дорогах, по которым идут сотни тысяч людей, освобожденных из плена,— бельгийцев, голландцев, французов, англичан. Кто они сейчас, эти люди,— друзья? Враги? Тогда они были просто человечеством, спасенным тобой от смерти и плакавшим от счастья.

Как, в самом деле, назвать это чувство, которое не дает сейчас считать себя инвалидом, жаловаться на голод или холод и позволять кому бы то ни было поносить то, что ты защищал? Чувство, которое на всю жизнь оставляет тебя солдатом — даже если у тебя нет руки.

Наверное, после революции, после той, гражданской, войны что-то похожее испытывал еще молодой тогда отец. Наверное, с похожим чувством в душе переживали разруху, задумывали план ГОЭЛРО, строили Волховстрой...

Если бы Шурка думал вслух, может быть, старший брат сказал бы ему, что это называется чувством ответственности, с кото-

рым не просто живут, а живут, отвечая за то, как идет жизнь в мире, какая она есть и какой будет.

Но Шурка думал про себя и не мог сам себе ответить до конца — что такое это чувство.

— Знаешь, Петя,— сказал он вслух,— я не могу объяснить тебе своего чувства, которое мне помогает жить, но мне кажется, что все было пока верно в моей жизни, и я очень счастлив этим. Это мне помогает жить так, как я живу. Ты понимаешь меня?

— Понимаю.

Басаргин стоял, прислонившись спиной к горячей печке, с наслаждением ощущая давно забытое, уютное домашнее тепло.

— А не пора ли закрывать печку? — обратился он к Шурке и, присев на корточки, открыл чугунную дверку и помешал угли. Синих огоньков не было.

Шурка пододвинул к печке табуретку, влез на нее и закрыл вьюшку. Басаргин — так, как его учили еще в детстве,— подгреб кочергой все угли к той стороне печки, которая зеркалом выходила в комнату. От приятного жара, шедшего из печи, его разморило. Он встал и с наслаждением потянулся.

— Может, спать хочешь? — заботливо спросил Шурка.

— Да я уже вроде как спал,— сказал Басаргин.— Разве что полежать,— добавил он нерешительно и, сняв ботинки, лег на материнскую кровать, как давеча, просунув ноги в шерстяных носках между прутьями.

— Вот даже цигарки одной рукой вертеть научился,— присаживаясь у него в ногах, сказал Шурка и быстро и ловко на донышке папиросной коробки свернул цигарку.— Перебиваю папиросы махорочкой. Крепче, да и больше по карману.

Он запалил «козью ножку», и в комнате приятно запахло махоркой.

— Дай-ка и я сверну,— сказал Басаргин.

Он тоже свернул, закурил, крепко затянулся и закашлялся.

— Что, дерет? — дружелюбно посмеиваясь, спросил Шурка.

— Немножко.

Басаргин затянулся еще два раза и, ткнув самокрутку в пепельницу, вытянулся и заложил руки за голову.

— Ну, рассказывай еще, я тебя прервал.

— Через полтора, максимум два года кончу,— сказал Шурка.— Конечно, будет трудно кончить в четыре года, но сейчас все трудно, пятилетку тоже трудно будет выполнить. В войну казалось — за сто лет всего не восстановить! Земля дыбом. Нефтебаки — в гармошку. Рельсы в бантики завязаны. Страшно вспомнить! Если через полтора года кончу, то еще два года этой пяти-

летки захвачу уже инженером. Мать возьму к себе. Довольно она тут пожила.

— А я на что? — сказал Басаргин.

— Что ты?

— Авось я к тому времени окончательно вернусь, заберу ее к себе.

— Вот именно что — авось! А я, наверное, уеду куда-нибудь на строительство, на Урал, заберу мать, освобожу тут Григорию Фаддеичу помещение. Но до этого еще Егора у него попробую со двора свести.

— Выражаешься, как конокрад,— усмехнулся Басаргин.

— А Григорий Фаддеич меня, между прочим, так и называет,— рассмеялся Шурка,— с тех пор как я его Ивана увез и устроил в ремесленное в Смоленске. Да... вот у меня еще забота,— добавил он,— со двора свел, теперь приходится опекать. Им там, в ремесленном, тоже не очень-то сладко. Оказываю моральную и прочую поддержку.

— Сколько ему сейчас?

— Ивану? Шестнадцатый.

— А Егору?

— Четырнадцать. Он тоже ничего. Себе на уме. Григорий Фаддеич с ним последние семейные планы связывает. Но, по-моему, напрасно. Не выйдет из него наследника, такого, о каком отец мечтает.

— Уверен?

— Почти. Возьми Анатолия. Как он его любил! И первый, и старший, и карьеру тебе устрою, только меня слушайся, и, когда началась война, куда-то в Сибирь в химическое училище его ткнул, чтобы, пока учится, война мимо прошла. Анатолий взял да в летную школу перевелся — и погиб. А Анатолий, если ты хочешь знать, был замечательный парень. Я от него получил во время войны пять писем. А отец — ни одного. Чужие люди. Это Григорий Фаддеич так думал, что непременно от сосны — сосна, от елки — елка, от осины — осина. А люди — не деревья!

— Ладно, предположим, мать согласилась с тобой ехать,— улыбнувшись после молчания, сказал Басаргин,— а что твоя жена скажет?

— А я неженатый.

— Я знаю, что неженатый,— так женишься.

— Все возможно. Но только я на такой, чтобы к матери плохо относилась,— не женюсь,— с юношеской горячностью сказал Шурка.

— Так-таки и не женишься?

— Не женюсь. Как бы ты сделал, если бы у твоей Кати были плохие отношения с мамой?

— Не знаю,— сказал Басаргин.— Это сложный вопрос.

— А по-моему, очень простой,— запальчиво сказал Шурка.— Если моя жена с таким замечательным человеком, как мама, не смогла бы ужиться, я бы в два счета с ней разошелся, и все! Чего смеешься?

— Все очень уж просто у тебя,— сказал Басаргин.— А бывает желание просто пожить вдвоем, без третьего, даже самого замечательного человека. Бывает, что все хорошие и все правы, а жизнь не получается.

Это был вопрос, не выходивший у него из головы в годы разлуки. Мать, так умевшая не мешать другим и ухитрявшаяся занимать такое незаметное место в доме, в то же время помимо своей воли властно занимала в его сердце гораздо большее место, чем это обычно бывает на четвертом десятке у человека взрослого и живущего своей, отдельной жизнью. Это его беспокоило, когда он думал о будущем. У Кати, которая отдала ему все и притязала тоже на все, могло возникнуть ревнивое чувство.

— Значит, пока не женился? — вслух сказал Басаргин.

— Пока нет,— коротко ответил Шурка.

— Ну, а все-таки, что у тебя в этом смысле в жизни?

— Было или сейчас? — спросил Шурка.

— И то и другое.

— Была одна встреча,— сказал Шурка,— в сорок третьем году, когда я отдыхал после госпиталя. Ничего хорошего.

— Почему ничего хорошего? Плохой человек?

— Нет, человек как раз хороший, только все это было ни к чему для нее. Она меня выходила в госпитале. Ленинградка. Доктор. У нее умер муж в Ленинграде, в блокаду. В общем, она меня выходила, и потом мы месяц были вместе, пока я не уехал на фронт. По-моему, она меня даже и не любила. Ей просто было грустно и казалось, что так будет легче.

— Старше тебя?

— Да, на двенадцать лет. Это было летом, в июле. Мы ходили по вечерам гулять на Каму. Сидим на берегу, и она говорит: «Смотрите, Шура (она была со мной на «вы»), смотрите, Шура, как замечательно кругом: какая река, как красиво плывут облака. Смотрите, какой лес, как все распустилось. Надо дышать, надо жить... все пройдет, все еще будет хорошо. Верно, Шура? Я еще молода, верно? Надо жить, надо любить, нельзя себя хоронить. Верно, Шура?» Говорила так, как будто оправдывалась. Или как будто хотела сама себя убедить... А я говорил ей, что люблю ее, и предлагал ей пойти расписаться, и говорил, что буду вместо отца

ее детям (у нее было двое детей). Но она ни за что не соглашалась. Так и не согласилась. И я тогда даже сердился на нее.

— Она была просто хорошая женщина,— сказал Басаргин.

— Да, сейчас я тоже так думаю. Но тогда мне хотелось на ней жениться и казалось, что иначе будет неблагородно. Я ей потом писал с фронта, но она уехала тоже куда-то на фронт. Вот и вся история. Ничего хорошего.

— Но и ничего плохого,— сказал Басаргин, с благодарностью подумав об этой, должно быть, и правда хорошей женщине, которая могла и не захотела сломать жизнь его брату.

«Ему же тогда было всего двадцать один, даже двадцать»,— подумал он и спросил:

— Это была твоя первая любовь, да?

— Первая,— тихо сказал Шурка.

«Хорошая женщина»,— еще раз подумал Басаргин.

— Ну, а сейчас? — спросил он.

— Сейчас?

Шурка вскочил с постели и зашагал по комнате.

— Сейчас есть,— сказал он застенчиво и в то же время решительно.— Но я не могу об этом рассказывать. Не имею права.

— Что значит не имею права?

— Есть одна девушка.

Он сказал это с уверенной силой большого чувства.

— Я ее люблю, и мы поженимся, как только кончим институт. Никто ничего не знает. Я бы не мог перенести... чтобы... Иногда прямо с ума сходишь от этих общежитий! Всегда на людях. И у нее тоже такое же общежитие, как и у нас, даже хуже. Зимой просто негде посидеть вдвоем... Делают, конечно, и так — приходят в общежитие; подруги уходят на час погулять... Вполне откровенно... А мы с ней не хотим так. Других не осуждаем, а сами не хотим! Она, между прочим, замечательно красивая! — прервав свой рассказ, почти вызывающе воскликнул Шурка.

— Сядь,— сказал Басаргин.

— Ну, сел.

Басаргин приподнялся на подушке, одной рукой обнял Шурку за плечи, а другой, подчиняясь чувству нежности к брату, стал ерошить его волосы.

— Не порть прическу! — сердито сказал Шурка.— Прекрати!

— Ладно, прекратил,— сказал Басаргин и, оставив в покое его волосы, взял одну из подушек и кинул ее в ноги.— Давай уляжемся «валетом». Помнишь, как ты ко мне пристраивался в детстве?

Шурка передвинул подушку поудобнее и так же, как и Басаргин, лег, закинув руку за голову.

Басаргин закрыл глаза.

«Катя, Катя... Как же давно я ее не видел,— подумал он.— И всего еще только десять часов. Надо попробовать непременно заснуть. Просто-напросто приказать себе заснуть. Чтобы хоть на час сократить оставшееся время».

— Петя, ты здесь? Иди, пельмени готовы,— раздался из-за двери голос Елены.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Вижу, отвык ты по заграницам от наших харчей,— недовольно говорил Григорий Фаддеич, лениво подцепляя вилкой еще один уже холодный пельмень из большой миски, не опустошенной и наполовину. Он сидел напротив Басаргина, усталый за день и чуть-чуть, самую малость, подвыпивший.— Жаль, Шурка сдуру не пошел — он бы взялся — и все враз усидел!

— Тебе видней, почему не пошел — сдуру или не сдуру,— ответил Басаргин. До этого за пельменями, к удовольствию Елены, беседа шла обоюдно мирная, без острых углов, но замечание Григория Фаддеича о Шурке его задело.

— А мне вообще все видней — я вторую полсотню разменял,— не принимая вызова, хохотнул Григорий Фаддеич.— И не то, что тебе,— только месяц назад очки прописаны. Кстати, ты оправы какой-нибудь хорошей из Америки не привез?

Это было уже прямое напоминание об ожидаемых подарках, и Басаргин в душе обругал себя за то, что не только днем промешкал с ними до ухода Григория Фаддеича, но даже и полчаса назад, позванный сюда Еленой, снова забыл о них и пришел с пустыми руками.

— Оправы нет,— сказал он,— а привезти кое-что привез вам обоим. Сейчас принесу.

— Не тяжелое? А то подсоблю,— уже вдогонку ему рассмеялся Григорий Фаддеич.

Басаргин вошел в комнату матери. Там было темно. Слышалось только ровное дыхание спящего Шурки. Побоявшись разбудить его, Басаргин на ощупь нашел в темноте чемодан со своими вещами и вернулся в комнату зятя с чемоданом в руках.

Это был большой черный фибровый выносливый чемодан, старый, но еще хороший. Полуоборванные наклейки нескольких отелей придавали ему экзотический вид.

— Хороший чемодан,— пощелкав по чемодану пальцем, сказал Григорий Фаддеич, когда Басаргин положил его на диван.

— Да,— согласился Басаргин.

— Умеют делать.

— Да. Коли захотят — умеют.

Чемодан был отечественный, ленинградский, еще довоенный, и если бы не заграничные наклейки, памятливый Григорий Фаддеич мог бы даже признать его, не раз видев у Басаргина раньше.

— Вот это тебе, Леночка,— сказал Басаргин, без колебаний вынимая привезенный для Кати яркий полосатый шерстяной жакет. Машинистка из торгпредства особенно хвалила ему этот жакет, но сейчас жакет своим видом здесь, в этой комнате, почему-то неожиданно смутил его.

— Спасибо,— сказала сестра и потрогала шерсть пальцем.— Тонкая.

— Померь, померь,— сказал Григорий Фаддеич.— А то все жалуешься — я плохо за тобой ухаживаю, не одеваю. Теперь в заграничном будешь ходить.

Елена чуть приметно усмехнулась и, сбросив с плеч серый пуховый платок, надела поверх блузки заграничный жакет и два или три раза оглядела себя в зеркале. Жакет был ей почти впору, но не шел ей: было в этой красивой и яркой вещи что-то никак не вязавшееся со спокойной русской красотой Елены.

— Красивый...— протянула она своим ласковым ленивым голосом. Но Басаргин понял, что это сказано, только чтобы не обидеть его; подарок ей не понравился.

Зато Григорий Фаддеич был доволен. Помня слова Шурки о том, как ждал Григорий Фаддеич подарков, Басаргин сначала вынул предназначенные для Шурки перчатки, потом самопишущую ручку, потом полдюжины купленных для себя ненадеванных сорочек и, наконец, американскую электрическую бритву последнего образца, сиявшую белым лаком и никелем.

Григорий Фаддеич, со вниманием разглядев и отложив в сторону другие подарки, взялся за бритву, воткнул штепсель в розетку, и бритва воинственно загудела. Он несколько раз бережно провел ею по лицу, жалея, что пробу придется отложить до завтра: он был с утра чисто выбрит.

— Культура! — с уважением сказал он.— Сделано чисто, комар носу не подточит... Не согласен? — вскинул он глаза на молчавшего Басаргина.

— Почему не согласен?

— А потому, что думаешь обо мне: вот дикарь! Дали ему в руки электрическую бритву, а он уже готово: обрадовался, кричит — культура! А между прочим, так оно и есть — культура! Она прежде всего в мелочах обнаруживается. Мелочи — это зеркало культуры, если ты хочешь знать! Не согласен?

— Значит, по-твоему, это зеркало? — спросил Басаргин, беря из рук Григория Фаддеича бритву.

— А по-твоему?

— А по-моему, был один американец, который придумал телефон, и был другой, который придумал суд Линча. Есть американцы, которые изобрели пенициллин, и есть американцы, которые запретили продавать его русским, потому что русские — коммунисты. И, заметь, все они,— Басаргин подбросил бритву на ладони,— одинаково бреются или могли бы бриться одной и той же, вот этой бритвой, которую ты считаешь зеркалом их культуры. Что ты увидел в этом зеркале? Страну, отделенную от всех опасностей океаном и дважды богатевшую во время двух войн, которые залили нас кровью? Страну, которая поэтому может заниматься производством усовершенствованных бритв, в то время как нам еще пять лет будет не хватать кирпича для домов? Может быть, ты думаешь, что они культурнее тебя, потому что делают эти красивые штучки, в то время как ты, грубый дикарь, строишь свои грубые избы, чтобы переселить в них вдов и сирот, очевидно по грубости своей пятый год живущих в землянках? Так, что ли?

Григорий Фаддеич молчал. Он был смущен горячей отповедью Басаргина, но магия вещей оказалась сильнее его. Взяв бритву, он ласково потрогал ее, встал, положил ее на этажерку, снова сел к столу и, все-таки не удержавшись, еще раз обернулся и поглядел на бритву. Что бы там ни говорил Басаргин, а бритва ему очень нравилась — все-таки культура.

— Теперь хорошо бы чайку! Варенье-то осталось? — обратился он к Елене.

— Осталось.

— Вздула бы самовар — брат небось давно самоваром-то не пользовался! — благодушно кивнул Григорий Фаддеич на Басаргина и еще раз искоса взглянул на свою бритву.

— Ничего, сегодня из чайника попьет,— сказала Елена.— Я тоже с вами посидеть, послушать хочу — а чайник уже готов.

Она вышла и через минуту вернулась с кипящим чайником.

— Расскажи, как область живет,— спросил у Григория Фаддеича Басаргин, на сегодня искренне хотевший уйти подальше от щекотливых семейных тем и по старой памяти знавший, что зять в хорошем расположении духа любит со знанием дела порассуждать в областном масштабе.

— Про область не скажу,— неожиданно сухо ответил Григорий Фаддеич.— Знал, да запамятовал.

— Что так?

— Сердится он на область,— сказала Елена.— Сняли его позапрошлый год оттуда.

— Не сняли, а не утвердили,— отозвался Григорий Фаддеич.— Исполнял обязанности начальника строительного отдела, а потом не утвердили... А ты что? — повернулся он к Елене.— Здесь не инспекция, здесь твоих подробностей не требуется.

— Вот видишь, сердится,— ничуть не смутясь, сказала Елена.— А чего ему сердиться? Ему и здесь неплохо. И спокойней, и к делу ближе.

— Чего ж ты, в самом деле, сердишься? — спросил Басаргин.

— Вспоминаю, как мне там мораль читали,— ворчливо ответил Григорий Фаддеич.— А что же, если я строитель, я себе первому дома хорошего не срублю? Сюда перевели — и здесь срубил. Понижай меня хоть до плотников, все равно себе первый дом срублю и прощенья просить не буду. Замучили меня моралями. А я без моралей работать привык. Делаю свое дело, ну и цени меня, какой я есть!

— Однако гордый ты человек,— сказал Басаргин.— Кабы у нас все были такие, как ты, большие бы надежды на Западе имелись, что опять на всей земле в конце концов установится одна система.

— Я тебе утром про систему от души, а ты в насмешку.

— Почему? Я тоже от души.

— Бросьте вы,— сказала Елена. Она впервые за весь разговор встревожилась, хотя по лицу ее нельзя было понять, кому она сочувствует в споре — мужу или брату.

— Вот, видал? — сказал Григорий Фаддеич, не обращая на нее внимания и перед самым носом Басаргина растопыривая свои огромные, обветренные, в ссадинах руки.— Когда работаю, не считаюсь: крана нет — сам бревна подымаю. А какой я есть: что даю, где беру,— пусть носа не суют — прищемлю. Район — второй по области. Работать умею. Все!

— В Америке тоже есть хорошие строители. Тоже работать умеют.

— Это ты к чему?

— К слову.

— А то, может, пояснишь?

— А что же тебе пояснять? По-моему, ты и сам умный — понимаешь.

— Пережиток капитализма я, да? Или, как это,— родимое пятно?

— Да как тебе сказать? Есть в тебе что-то такое.

— Бросьте вы,— во второй раз, теперь уже просительно, сказала Елена.

И Басаргин, поняв за ее сдержанностью, что их разговор неприятен ей до слез, замолчал. Он вспомнил, как Григорий Фад-

деич весело встретил его на вокзале, как Елена после мытья притащила ему чистое белье, как радушно его усаживали за стол, как мать полгода назад писала ему, что они заботятся о Гришке наравне со своими детьми. Он вспомнил все это и испытал неловкость. Получись такой оборот разговора до войны и поездки за границу, он, быть может, даже извинился бы. Но сейчас что-то новое и непреодолимое делало для него в этом разговоре чувство своей правоты более сильным, чем чувство неловкости, и он не мог заставить себя отречься от этого ни ценой маленьких ухищрений дружбы и родственной любви, ни даже ценой молчания.

Он замолчал, но знал, что это ненадолго, только до новой вспышки.

— Размахалась у тебя там рука, в заграницах,— сказал Григорий Фаддеич.— Размахалась, и остановить не можешь. Опасно с тобой стало разговаривать.

Басаргин рассмеялся.

Григорий Фаддеич зачерпнул в вазочке ложку варенья, потом раздумал, ткнул ложку обратно в вазочку и откинулся на спинку стула.

— Вот ты осуждаешь, дескать, людям трудно жить, а он выворачивается. А ведь поэтому и выворачиваться приходится, что трудно жить. Сам, Елена, трое своих. Потом мать. Она тут со мной повздорила, отдельный стол завела,— но это блажь, это ненадолго. Ну, и извини, из песни слова не выкинешь,— твоя Катя с Гришкой. Конечно, и мать и она считают, что живут на свое, но не разные же мы харчи в доме будем держать! Да в Костроме тетку поддерживаю — одна из всей моей родни осталась. Как памятник. Вот и приходится вертеться, делать неположенное: ты — мне, я — тебе; ты мне мяса по казенной цене полтушки, я тебе — сарай для хранения того же мяса. Плотников сперва к тебе на сарай наряжу, а потом суд достраивать будем. Судья человек для меня бесполезный.

— А вдруг судить тебя будет? — усмехнулся Басаргин.

— Все возможно,— нисколько не рассердившись, согласился Григорий Фаддеич.— А за что, в сущности? Возьмем хоть этот случай. Суд нужен. Но и сарай этот тоже нужен: он казенный, для госторговли, для казенного хранения казенного мяса. Ну, получаю за это мясо по казенной цене. Но я же его не перепродаю? Я просто люблю, чтобы люди кругом меня хорошо жили; всем, кто ко мне прилепился, чтобы им хорошо было.

Он сказал это искренне и в то же время желая, чтобы Басаргин еще раз почувствовал себя обязанным ему за Катю и Гришку. Сказав это, он сделал паузу. Басаргин тоже молчал и с досадой думал, что так оно и есть и что и в самом деле Григорий Фаддеич,

при всех своих недостатках, всегда был для родственников широким, не копеечным человеком.

«Надо будет сразу же поговорить с Катей, чтобы они столовались вместе с матерью. Конечно, и Кате и матери по-житейски это будет гораздо трудней, и все-таки надо это сделать. И для Кати и для матери главное не это».

А Григорий Фаддеич, колесом завертев на пальцах четки, что было у него признаком волнения, сказал, повышая голос:

— А судить меня, голубчик, не будут, потому что не я такой, а время сейчас такое, когда всего недостает, от подметок до кирпичей. А больше всего людей недостает, рук. Дай мне условия нормальные, когда все всюду будет, когда человеку ничего доставать не нужно будет, когда всего вдоволь, и подводи после этого под меня все морали — выйду из них чистый, как голубь. Я сам моралист буду. Святой! А когда в таких условиях работаешь, как я, когда ничего кругом нет и когда, чтобы работать и чтобы жить, каждый день ловчить надо,— тогда ты с меня спроси работу, а про морали не спрашивай: я их в ломбард на хранение сдал, до лучших времен.

«До лучших времен!» Басаргин вспомнил Григория Фаддеича таким, каким тот был до войны. Что же, и тогда бывали трудные времена, и Григорий Фаддеич делал примерно то же, что и сейчас, и говорил об этом так же, пожалуй, только с меньшим остервенением. Но тоже где-то доставал гвозди, менял на лес, был незаменим, строил себе под Смоленском дачу. Все то же самое.

«Ну вот, придут когда-нибудь лучшие времена,— подумал Басаргин, глядя на Григория Фаддеича,— не нужно будет ничего доставать, хитрить, строить быстрее других за счет своей изворотливости и связей. Это будут, безусловно, лучшие времена. Но окажутся ли они лучшими для человека, сидящего сейчас напротив меня? Не потускнеет ли он в этих нормальных условиях, когда талант оборотистого дельца уже почти ничего не прибавит к его качествам строителя? А ведь сам по себе, просто как строитель, он — средний, ничего особенного. И окажется, что это лучшее для всех время — для него вовсе не лучшее, а лучшим для него временем как раз и было это, самое трудное для всех, нынешнее. Да, именно так»,— спокойно подумал Басаргин, мысленно придя к этому беспощадному выводу.

Упорство, почти ярость Григория Фаддеича в споре с ним были, конечно, следствием того, что тот и сам в глубине души чувствовал нечто подобное, но не желал и не мог в этом сознаться.

— О чем думаешь? — спросил Григорий Фаддеич, остановив четки и пристально глядя на Басаргина.

Басаргин глубоко вздохнул, словно собираясь нырнуть, и, смягчая выражения, сказал то, о чем сейчас думал.

Григорий Фаддеич сидел, странно успокоившийся, почти безучастный, со скучающим выражением лица. Смысл того, что говорили ему, был слишком опасен: он вел в такие недра его души, где во все времена, лучшие и худшие, сохранялось чувство ущемленности тем строем жизни, который окружал его. Туда, в эту глубину своей души, он не только никогда не пускал других, но и сам, не желая бесполезно расстраиваться, почти никогда не заглядывал.

«Передо мной сидит просто-напросто недалекий человек,— стараясь успокоить себя, думал он, глядя на Басаргина. И ему тем легче было так думать, что он давно приучил себя считать всех людей, не умевших устраиваться в жизни, недалекими людьми.— Даже и за границей не набравшийся разума, недалекий, неумелый человек,— думал Григорий Фаддеич.— И может быть, где-то втайне завидующий моему уменью — вот и все».

«Вот и все, вот и все»,— повторял он мысленно, твердо решив убедить себя в этом.

— А уж если ссылаться на трудные времена, то тут ближе к истине не твоя, а как раз обратная точка зрения,— сказал Басаргин.

— Ишь ты, даже — обратная! Какая же это, интересно? — спросил Григорий Фаддеич.

— А такая, что как раз в самые трудные времена и должен человек проявить свои самые высокие моральные качества. Помнишь картину «Ленин в 1918 году»? Там Василий привозит не то пять, не то десять тысяч пудов хлеба из Поволжья в голодающую Москву. Привозит эшелон и падает в кабинете у Ленина в обморок оттого, что сам он, везя этот хлеб, имел только свою законную пайковую четвертушку. Вот это — революционная высота морали.

— Ну и глупо,— сказал Григорий Фаддеич.

— Нет, не глупо,— сказал Басаргин.— Не глупо, а, наоборот, необходимо для победы. А в наше время некоторые люди все силы и душу вложат, чтобы такой эшелон привезти, и привезут, но про то, что им-то лично, какой бы груз они ни везли, все равно положено только то, что положено,— вот про это, к сожалению, забудут!

Он хотел продолжать, но, встретив взгляд Григория Фаддеича, прочел в нем такое скучное отвращение ко всем этим высоким словам, что осекся и замолчал.

— Не знаю, эшелонов не возил,— вставая, сказал Григорий Фаддеич, и в голосе его впервые за весь разговор дрогнула обида.— А вот когда война подошла к этому дому, взял я, русский

человек, трехлинейку и пошел в пехоту. Да не в сорок пятом, когда берлины брали, а в сорок первом. Вот как. А там думай обо мне как знаешь, шут с тобой! Если хочешь, посиди с Еленой. А я пойду погуляю перед сном. От твоих разговоров голова болит.

Он застегнул пиджак, к засаленному лацкану которого был привинчен орден Красной Звезды с потертой эмалью, и вышел, на секунду заняв своим большим телом всю дверь в высоту и в ширину.

Елена, проводив Григория Фаддеича, вернулась и снова села, облокотившись на стол и зябко придерживая пальцами края пухового платка, словно был сильный ветер и платок вот-вот мог слететь с плеч. Только этим жестом выдавая свое волнение, она молча слушала весь предыдущий разговор брата с мужем. С таким видом сидела она и сейчас, не выражая желания ни двинуться, ни заговорить.

Басаргин испытывал неловкость перед сестрой за тот неприятный оборот, который принял их разговор с Григорием Фаддеичем. И эта неловкость только возрастала оттого, что сейчас, когда муж ушел, Елена сидела молча, не сердясь и не упрекая брата.

— Что ты молчишь, Леночка? — наконец, не выдержав, спросил Басаргин.

— Зачем ты так с ним? — сказала Елена и посмотрела на Басаргина такими печальными глазами, что ему стало не по себе.— Он ведь добрый. Он всем помогал — и матери, и всем...

Елена запнулась. Она хотела сказать про Катю и Гришку, но не сказала.

— Всем,— повторила она только.

— Я ведь не об этом говорил,— сказал Басаргин.

— Да, конечно,— согласилась Елена,— но он ведь такой разный и сам на себя непохожий бывает: то такой, то вовсе другой. В сорок первом году, когда он меня вывозил в Кострому, я ведь плакала, цепляясь за полы... Просила не уезжать. А он ушел на фронт. И ведь добровольно, а не потому, что все равно мобилизовали бы. Он бы мог не пойти.

— Мог? — спросил Басаргин.

— Конечно, мог.

И Басаргин подумал, что в самом деле он задал ненужный вопрос. Григорий Фаддеич, всю жизнь умевший так великолепно устраиваться, конечно, мог и на этот раз «устроиться» и в свои тогда без малого пятьдесят лет не попасть на войну. Елена была права. В ее муже было такое резкое и неожиданное смешение злого с добрым, такое опасное соседство широты, даже удали, и цинизма, что с ним нелегко было бороться.

«Вот и Елену он скрутил,— подумал Басаргин,— скрутил по рукам и по ногам. А ведь она не слабая, в ней есть и душевная сила, и отцовское упрямство».

Вспомнив об отце, он попробовал представить себе, что отец жив и живет с Григорием Фаддеичем в одном доме. Нет, этого нельзя было себе представить. Трудно было придумать что-нибудь более несовместимое, чем соседство этих двух людей — Григория Фаддеича и отца, с его щепетильной честностью и доходившей до жестокости непримиримостью даже в мелочах.

— Нет, не выдал бы тебя за него отец, будь он жив! — вырвалось у Басаргина.

Он сказал и испугался, подумав, что обидел Елену. Но Елена не рассердилась, а задумалась и, задумчиво улыбнувшись, сказала:

— Да разве можно было меня выдать или не выдать тогда? Шестнадцать лет назад? Ты вспомни, какая я тогда была.

— А я уж, по совести говоря, и забыл, какая ты тогда была.

— А ты вспомни,— все с той же задумчивой улыбкой сказала Елена.— Помнишь, как вторую очередь Пуховской мануфактуры пускали? Хотя ты же мальчишкой был, что ты помнишь!

— Почему мальчишкой? Я уже кончал тогда техникум.

— Все равно мальчишка,— сказала Елена.— А я уже из ткачих в каменщики переквалифицировалась, в бригадиры. Клала тысячу кирпичей в смену. Двадцать девушек под началом было. И самой красивой слыла во всем Пухове,— неожиданно добавила она.— Так или не так?

— Так,— сказал Басаргин.

— А ты помнишь или не помнишь, как мы, комсомольский комитет, директора снимали?

Вспоминая, она оживилась, даже раскраснелась.

— Нет, ты вспомни, Петя, ты только вспомни, какая я была! Разве меня можно было тогда выдать или не выдать замуж? Разве мог мне помешать даже отец, будь он жив? Это сейчас на меня люди смотрят, кто меня раньше не знал, и думают: «Курица ты, курица! Так, наверное, всю жизнь курицей и была: школу кончила, три года на луну повздыхала, да и закатилась замуж». А тебе-то уж грех...

Она задумалась и спросила, взглянув прямо в глаза брату:

— А что, может, и правда — я стала теперь такая, что и представить нельзя, что была другой?

— Скрутил он тебя,— не отвечая прямо на вопрос, сказал Басаргин.

— Скрутил,— согласилась Елена.— Это правда. Вот сорок второй год в Вологде весь прожила без него. И трудно было, и с

детьми маялась... А в то же время как-то очнулась, что-то вспомнила, прикоснулась к своей прежней жизни: работала в госпитале, для ленинградцев приемный пункт на вокзале организовала. Бегала, суетилась, сна и отдыха не знала, дело делала, и сейчас, когда вспоминаю, понимаю — счастлива была. Грешно сказать — даже повеселела, хотя и горе кругом. А потом он приехал — все устроил, все сделал, все предусмотрел,— все сам. Стала опять жить, как говорится, хорошо... Но скучно мне иногда, Петенька. Так скучно, что порой кажется: вот, как последняя подлая баба, сбежала бы с каким-нибудь мальчишкой, который полюбил бы... И мыкалась бы с ним, пусть хоть впроголодь. Работала бы, ссорилась, беспокоилась. И не потому, что старею, что молоденького мужа захотелось,— совсем не то. Нет. Просто душой иногда так хочется снова молодой побыть, хоть годик. Молодая душа — с молодой душой. А Григорию Фаддеичу, ему наоборот: ему тело молодое нужно, а душа — старая. Ему нравится, чтобы у меня душа старая была — спокойная, без тревог.

А знаешь, как я влюблена была в него тогда, шестнадцать лет назад! Меня подруги упрекали, думали — я хорошей жизни искала. А я ведь просто необыкновенно в него была влюблена. Казалось мне, он беззаветный, лихой. Самый лихой! А он не лихой, он — скучный. Людям нравится: веселый, шумный, а где-то там, внутри,— такой скучный! Как... знаешь, эти, от фейерверка — ракеты. Когда не горит, расковырять — внутри просто порошок какой-то серый...

Елена не плакала. И Басаргин чувствовал, что ее горе старое и глубокое.

— Ну вот и нажаловалась,— горько сказала Елена.— Ничего, это раз в десять лет. Я ведь верная. Так вдруг — заговорила, потому что ты приехал. А то мать под боком каждый день — ей и то не жалуюсь. Муж. Трое детей от него. Это ведь как предательство — жаловаться. Жить с ним и жаловаться на него. Я и с тобой-то разговор начала оттого, что защитить его хотела, а потом сама на него напала. Глупо и ни к чему.

— Почему же? — спросил Басаргин.

— Потому что ни к чему,— сказала Елена.— Менять жизнь у меня сил нет. А так что ж попусту жаловаться?

— А дети совсем разные растут,— сказала она, помолчав.— Лида — как солнышко: добрая, ласковая. И не разберешь, какая будет. Егор, по-моему, в него. Они с отцом друг другу нравятся. А Ваня как наш Шурка, совершенно похож. И уехал с ним вместе в Смоленск наперекор отцу. Не побоялся. А я, знаешь, хоть и боюсь сказать это вслух, но в душе за него рада. Пусть будет подальше от дома. Ничего ему хорошего наш дом не даст...

Только скучаю. И от этого сержусь иногда на Шурку, что увез его.

Разговаривая, она перемыла в полоскательнице чашки, перетерла их и поставила на буфет.

Басаргин смотрел на нее со смешанным чувством горечи и в то же время гордости за нее. Во всем, что она говорила, чувствовался ее добрый и светлый ум, несмотря ни на что не погасший и не покоренный до конца. Он смотрел на нее и вспоминал ее такой, какой она была шестнадцать лет назад: красивой, веселой, сияющей.

Какой странной там, откуда он вернулся, показалась бы мысль, что можно искалечить человеческую жизнь благоденствием, уютом, заботой, устранением всех житейских тревог и что, напротив, ее можно украсить неустроенностью, тревогами, трудной работой. А ведь это было именно так. И то, что жизнь Елены, показавшаяся бы там счастьем, здесь ей самой казалось несчастьем,— в этом было что-то бесконечно отличное от того, другого мира.

— Что ты молчишь? — спросила Елена.

— Думаю.

— О чем?

— О том, что тебе плохо.

— Почему плохо? Мне хорошо.

Она усмехнулась.

— Но только я никак не могу привыкнуть, что это хорошо — действительно хорошо.

— А хочешь привыкнуть?

— Нет, не хочу. И, ты знаешь, самое главное, что я ведь не верю себе сегодняшней. Я вот так, возьму закрою глаза и верю себе тогдашней — молодой, двадцатилетней... А тогда мне казалось хорошим совсем другое, совсем другое... Ты шел бы спать, а то мой вернется, опять сцепитесь, зуб за зуб. Если проспишь Катю встречать, я в четыре часа сама встану, тебе стукну.

Она взяла чайник и, явно не желая продолжать разговор, вышла из комнаты.

Басаргин защелкнул теперь легко закрывавшуюся крышку чемодана, хотел взять его, но потом раздумал и, пройдя через кухню, где у стола возилась не повернувшаяся на его шаги Елена, прошел в комнату матери.

Мать все еще не вернулась, а Шурка по-прежнему спал. Басаргин осторожно, чтобы не разбудить его, прилег рядом на краешек койки. Через стену послышалось громкое хлопанье двери и грузные шаги Григория Фаддеича.

Услышав сейчас эти тяжелые хозяйские шаги, Басаргин отчетливо вспомнил один старый разговор, который у него был с Григорием Фаддеичем еще в тридцать шестом году, когда его вместо аспирантуры послали на два года в Бурят-Монголию.

— Не умеешь быть хозяином своей жизни,— с раздражением, смешанным с сочувствием, говорил тогда Григорий Фаддеич.— Что хотят, то с тобой и делают, как с пешкой. Не хозяин.

Басаргину действительно тогда не хотелось ехать, но он подчинился долгу, поехал и два года провел в Бурят-Монголии. И всю дорогу туда, трясясь на верхней полке, думал, что, пожалуй, Григорий Фаддеич прав. А потом забыл об этом. А сейчас, когда вспомнил, уже твердо знал, что прав он, а не Григорий Фаддеич, что именно он, Басаргин, был хозяином своей жизни. Был хозяином потому, что его жизнь в чем-то самом для него важном всегда шла так, как, по его взглядам, должна была идти. А главное — шла так, как ему *хотелось*, чтобы она шла, когда он думал о своих идеалах.

А Григорий Фаддеич, о котором, поверхностно судя, легче всего было сказать, что он-то и есть хозяин своей жизни, ибо он все делает так, как ему хочется и как ему удобно в данную минуту,— не был хозяином своей жизни, потому что жил, не имея идеала, который повелевал бы ему делать то или другое или примирял его с той или другой трудной необходимостью. В сущности, он был не больше чем раб своих ежедневных страстей, привычек и желаний.

Вспоминая сейчас свою жизнь, Басаргин знал, что он чаще нуждался, чем жил хорошо, и чаще бывал неудобно устроен, чем удобно. Его жизнь, как жизнь большинства его товарищей, да и вообще окружавших его людей, улучшалась и ухудшалась только в зависимости от положения дел в стране: она была трудней в более трудные времена для страны и легче в более легкие. Но то, что она улучшалась и ухудшалась вместе со временем, являлось следствием общих усилий, побед или неудач. И это было трудно, но чаще всего не обидно.

А улучшалась вопреки превратностям времени жизнь, пожалуй, только у тех, что строили свое счастье на несчастье, неуменье или неловкости других, у негодяев.

Негодяи — слишком резко. А почему же нет? Почему не называть вещи своими именами? Но если так, то, договаривая до конца, муж его сестры, Григорий Фаддеич, широкий и добродушный человек, тоже в конце концов негодяй? В чем-то в конце концов да. Разве не так? Так.

«Но ведь таких, как Григорий Фаддеич, множество»,— подумал Басаргин. И сам удивился слову «множество». Таких

было, конечно, немало. Но слово «множество» никак не вязалось с представлением о людях, подобных Григорию Фадденчу.

Почему? Наверно, потому, что хотя их было множество, но каждый из них сам по себе был только осколком того самого миллиона одиночеств, мысль о котором столько раз приходила Басаргину на ум там, за границей. И Григорий Фадденч, при всем своем шумном нраве и внешней общительности, в сущности, ухитрялся жить почти в полном одиночестве. Общительность была только его вторичным признаком, как приятный горчичный запах, кажется, у иприта... Басаргин сам усмехнулся своей неожиданной мысли об иприте. «Однако хватил! Надо спать, а то еще и не до такого додумаешься».

Он зажмурил глаза и начал считать про себя до тысячи, как в детстве.

Ему казалось, что он никогда не заснет, но на самом деле, утомленный и дорогой, и всеми волнениями этого дня, он начал дремать, не досчитав и до двухсот.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В это время Катя была на полпути к Пухову. Она сидела у окна в опаздывавшем уже на целый час почтовом поезде; немножко вздремнув сразу после посадки, теперь она никак не могла заснуть. Опоздание на целый час тяготило ее. Она рассчитывала утром, до службы, непременно увидеть Гришку, а теперь это не выходило.

Железнодорожная поликлиника, где она работала хирургической сестрой, была в десяти минутах ходьбы по одну сторону вокзала, а дом — в тридцати минутах по другую. Если бы она приехала в пять, она успела бы сбегать домой. Сейчас, когда поезд опаздывал на час, это уже не имело смысла.

То, что она заранее обещала домашним вернуться из Смоленска сразу после совещания, не задерживаясь ни на один день, объяснялось трехнедельной давности телеграммой из Нью-Йорка: «Днями отплываю домой».

Правда, разлука казалась ей такой долгой, расстояние таким огромным, а сообщение о том, что Басаргин отплывает, таким ненадежным после трех писем, полученных за последние полгода, где в каждом было написано: «Вот-вот выезжаю»,— что она старалась не думать об этом, потому что, когда начинала думать, сердце у нее останавливалось, а пальцы холодели так, словно в них была зажата ватка с эфиром.

Поезд был битком набит, но Кате повезло: на нижней полке вместе с ней оказались тоже возвращавшийся с конференции знакомый врач из Вязьмы и какой-то незнакомый, но любезный старичок. Как только поезд тронулся, они оба отодвинулись и дали ей возможность прилечь, вытянув ноги за их спинами. Они же, пока она дремала, терпеливо сидели на краешке скамейки, облокотившись на колени, и, изредка переговариваясь, бесконечно курили.

Сейчас, проснувшись, Катя глядела в окно, за которым не было видно ничего, кроме ровной темноты, хорошей тем, что она не мешает думать.

Темнота была похожа па большую грифельную доску, на которой можно было что угодно написать, стереть, снова написать и стереть, а она будет оставаться все такой же, сколько на нее ни смотри.

В вагоне было дымно и холодно, и Катя радовалась, что она тепло одета в свой старый армейский полушубок, ушанку и валенки с союзками.

Сначала Катя, чтобы скоротать время, закрыв глаза, пыталась представлять себе, как они встретятся с мужем, с каким поездом он приедет, будет ли это утром или вечером, будет ли она дома, или он ее не застанет и придет за ней на службу в поликлинику. Или он приедет с утренним поездом и придет домой, когда она будет одеваться, чтобы идти на службу, и она скажет, что ей нужно на службу, а он скажет: «Глупости». У него есть такое выражение: «глупости», когда он прищуривает один глаз и смотрит на нее, как на девочку, которая должна его слушаться. Или он приедет с вечерним поездом, и все так сойдется, что она как раз будет дома, мама еще не вернется из школы, а Гришка уже будет спать, и они будут совсем одни.

Она попробовала представить себе его лицо, голубые смеющиеся глаза, колючие пшеничные усики над верхней губой и то особенное выражение, которое принимало это лицо, когда он говорил ей слова любви — нечастые, немногие и всегда очень простые.

Какой он теперь? Наверное, за эти три года что-нибудь незаметно для него самого постарело в его лице. А она сразу заметит — какая-нибудь новая морщинка, одна и другая, и, наверное, больше всего у глаз, от привычки щуриться.

А вдруг она приедет и в четвертый раз застанет дома письмо, что он снова задерживается?

Она даже вздрогнула от этой мысли, очнулась, почувствовала, что мерзнут ноги, и несколько минут старательно шевелила пальцами. Потом ей это надоело, она быстро скинула валенки и села на скамейке, поджав под себя ноги и плотно подоткнув вокруг себя полушубок.

Она не хотела сейчас больше думать о будущей встрече, вернее, устала думать о ней, и мысли ее послушно побежали назад, к тем первым дням их сближения, когда она полюбила его по-девичьи, почти с первого взгляда, с первого движения души, хотя за ее спиной к тому времени уже была семилетняя женская, нелегкая и несчастливая жизнь.

Первого мужа Кати звали Михаилом Александровичем, хотя все друзья и знакомые, несмотря на его приближавшийся к сорокалетнему возраст, звали его просто Мишей. Впрочем, друзей у него не было, были только знакомые. Много знакомых. Во всяком случае, Катя видела и слышала, как всюду, где они с мужем появлялись вместе, он здоровался и разговаривал с каждым третьим человеком. Первый год после ее замужества они часто бывали вместе, по преимуществу там, где представлялся случай потанцевать и, как говорил Михаил Александрович, повидать интересных людей. Интересными для себя людьми он считал главным образом людей, причастных к искусству.

Он говорил, что любит людей искусства, и Кате сначала казалось странным, что эта любовь сочеталась у него с тем, что он мало читал, не любил музыки и никогда не ходил в театр, за исключением премьер, на которых бывали «интересные» люди. Впоследствии она поняла, что он не любил ни самого искусства, ни людей искусства, а просто ему нравилось быть с ними знакомым. В его глазах это повышало его собственный вес и делало его жизнь интересней.

Это происходило потому, что настоящая жизнь, по его представлениям, начиналась только после того, как он приходил домой с работы. Работа никогда не составляла главного для него дела жизни, она была лишь средством к существованию, необходимостью. Он даже не называл работу работой, он называл ее «местом» и, вспоминая свою жизнь, говорил, что в таком-то году у него было плохое место, потом он нашел хорошее место, а потом это место оказалось не таким уж хорошим, как он предполагал вначале.

Ко времени женитьбы на Кате у него уже два года как было хорошее место: он был управляющим делами крупного московского учреждения. Размах учреждения определял его собственный житейский размах: у него была квартира, машина и законные права (только законные — он был в этом смысле щепетилен) на разные блага жизни, вроде путевок в хорошие санатории или бесплатных билетов на премьеры.

Он был неглуп, сдержан и хотя и ленив, но достаточно аккуратен, чтобы при полном равнодушии к делу не совершать в нем упущений, способных повредить его службе.

В кругу знакомых у него была репутация так называемого доброго малого, готового услужить и помочь. А так как главным в жизни было для него вращение в кругу приятных и льстивших его самолюбию знакомств, то помогавшая завязывать и поддерживать эти знакомства слава человека, который в пределах житейских мелочей все знает и все может, ему льстила, и он, стремясь сохранить ее, ради этого подчас готов был доставлять неудобства самому себе.

Катя встретила его в тридцать шестом году, когда он после многолетних обещаний наконец приехал на две недели в отпуск к своим старикам родителям. Его отец, старый путеец, инженер участка, был сослуживцем и карточным партнером отца Кати, тоже путейца — диспетчера этого же участка.

Приехав к родителям и скучая, Михаил Александрович навязался в компанию к своему отцу и пришел вместе с ним на преферанс к отцу Кати. Партнеров было и без него четверо, но ему, как столичному гостю, скрепя сердце уступили. Он небрежно играл около часа, в перерывах приглядываясь к Кате, сидевшей в тот вечер дома. Потом ему надоело играть, и он, к удовольствию стариков, передал свою игру их постоянному партнеру, а сам сел у окна и стал болтать с Катей.

Так она познакомилась с ним.

Через две недели он женился на ней и увез ее в Москву. В том, как все это случилось, она, сколько ни пробовала, так никогда и не смогла дать себе до конца отчета.

Он был красив, умел казаться значительным, а сделать вид, что он немножко больше влюблен в нее, чем это было на самом деле, не казалось ему ни дурным, ни затруднительным. С Катей же это стряслось в ту пору ее жизни, когда чувства сильнее ума, а душа так напряжена от желания любви и так открыта для нее, что она оказалась беззащитной, как ребенок, перед тем чувством, о котором начал говорить ей Михаил Александрович и в которое она поверила, несмотря на природный ум, ворчание отца и свои собственные неясные, но тревожные предчувствия.

Если бы в ту пору на ее пути встретился хороший и действительно любивший ее человек, наверное, ее жизнь сложилась бы иначе...

Но случилось по-другому, и через две недели она сидела утром одна (Михаил Александрович уехал на службу) в его маленькой, недавно еще холостяцкой квартирке в Москве на улице Горького, смотрела на незнакомые вещи: радиолу, большую тахту с книжными полками, низкий столик, глубокие кресла — и беспричинно и одиноко плакала от непонятной тоски, сжимавшей ее сердце.

В том, почему и как женился на Кате Михаил Александрович, проявились сразу все три его главных качества — себялюбие, пустота и жестокость.

Чутьем опытного мужчины он угадал в душе этой, только что кончившей школу девочки благородное желание украсить чью-то жизнь, угадал и себялюбиво захотел испытать на себе приятные стороны такой самоотверженной любви, хотя, в сущности, вовсе не нуждался в ней. Ухаживая, он бывал печален, иронизировал над собой, давал понять, что в жизни много любил, но что все это было неудачно,— словом, говорил те безошибочно отравляющие чистую душу слова, которые вселяют в нее надежду, быстро превращающуюся в уверенность — что именно она-то и призвана отогреть и осчастливить этого, в сущности, такого хорошего и такого несчастного до ее появления человека.

Так он женился на Кате, «дочери станционного смотрителя», как он шутя называл ее. Ему было уже тридцать девять лет, молодость подходила к концу. В холостой жизни начало ощущаться присутствие неудобств, которых он раньше не замечал. Сыграло роль и пустое соображение — что раз все люди кругом женятся, надо когда-нибудь и ему жениться. Сыграла роль и жестокая мысль, что эта девочка из провинции, которая ему очень нравилась по-мужски — хотя он и знал, что это ненадолго,— будет, что называется, удобной женой и через некоторое время не посмеет помешать возобновлению некоторых холостяцких привычек.

Все вышло не так. Сначала у Кати очень быстро появился ребенок, которого он не особенно хотел, но, впервые натолкнувшись на жестокое сопротивление, не посмел спорить.

Потом она пошла учиться в медицинский институт и перестала быть одинокой и всецело зависимой от него так, как ему этого хотелось, и он тоже не сумел этому воспрепятствовать. А потом жизнь пошла и вовсе вразброд, не так, как он предполагал. И он в разговорах с приятелями постепенно привык говорить о себе как о жертве, скрывая под иронией все возраставшее раздражение тем, что, сломав жизнь другому человеку, он и сам не остался вполне безнаказанным.

Что до Кати, то она в течение двух лет вполне поняла своего мужа, и поняла куда глубже, чем он предполагал.

Она знала оборотную сторону всего, что на людях доставляло ему репутацию милого, услужливого и широкого человека.

Она знала, что он никогда не оказывает услуги людям, знакомство с которыми или признательность которых не составляет предмета его тщеславия.

Она знала, что винное пятно на его хорошо сшитом костюме, о котором он на людях небрежно скажет «пустяки», она будет

оттирать утром, а он будет придирчиво рассматривать материю на свет и со сдерживаемой злобой говорить, что она ничего толком не умеет сделать.

Она знала цену щедрым чаевым, которые он напоказ давал официантам или гардеробщикам, потому что он в то же время был мелочно скуп и не ленился, надев очки (он надевал их только дома), аккуратным почерком выводить список домашних расходов.

На четвертый год она догадалась, что приступы особой скупости дома связаны у него с очередным увлечением на стороне, потому что он любил широко ухаживать и для этого ему нужны были деньги.

Она не потеряла себя среди той трудной для нее жизни. Родив дочь, она уделяла ей гораздо больше времени, чем это нравилось мужу. Она поступила учиться тогда, когда захотела, и туда, куда задумала.

Он понял, что она догадывается о его изменах, но она вела себя с таким достоинством и невысказанной угрозой, что он не решался изменять ей слишком откровенно и, по крайней мере на людях, не смел ставить ее в двусмысленное положение.

Может быть, если бы это была не первая ее любовь, если бы она испытала в своей жизни другое чувство и другие отношения, то неизбежное сравнение сделало бы их совместную жизнь невыносимой.

Может быть, если бы у них так скоро не родилась дочь, к которой он, в общем, относился хорошо и внимательно, ей было бы проще расстаться с ним.

Появись, наконец, в ее жизни другой человек, которого бы она полюбила, все это в конце концов, наверно, завершилось бы бесповоротным и быстрым разрывом.

А так она просто ушла в себя, поставила крест на этой несчастливой стороне своей жизни, много занималась, все свободное время отдавала заботам о дочери и, думая об окончании института и о своем будущем, как-то вовсе не включала в это будущее свою семейную жизнь. Вся нежность и вера в счастье, накопившиеся в ее юной душе в первый год замужества, пролились на бесплодную и неблагодарную почву и застыли на ней, как мертвая лава, и по временам ей представлялось, что это замужество — ее крест на всю жизнь и что сердце ее иссякло и уже не способно и никогда не будет способно полюбить.

И хотя, в общем, все шло к тому, что они должны были разойтись, но они почему-то все не расходились и не расходились, и если бы не война, всколыхнувшая так много человеческих судеб, может быть, это замужество продлилось бы еще долгие годы.

В первые месяцы войны в институте, где училась Катя, развернулся один из тыловых госпиталей, и она осталась работать там хирургической сестрой.

В начале июля Михаил Александрович несколько дней подряд говорил, что уйдет в ополчение, но потом однажды пришел домой и сказал, что ополчение их района уже сформировано, но он не пошел со всеми потому, что, когда будет нужно, ему найдут в армии работу, более соответствующую его возможностям.

Тогда Катя еще не подумала, что он трус. Ей показалось, он говорит искренне, тем более что она слишком хорошо знала, какого он высокого мнения о себе и своих возможностях.

Что он просто трус — она поняла в середине октября, когда немцы прорвались под Вязьмой и люди лихорадочно уезжали из Москвы, запрудив все вокзальные площади и ведущие на восток шоссе.

Среди этих людей было много таких, что уезжали, не имея на то ни права, ни приказания. К числу их, как она потом узнала, принадлежал и Михаил Александрович.

Он позвонил ей вечером в восемь часов, когда она только что вернулась из госпиталя, позвонил откуда-то из автомата, голос его был едва слышен, и отрывисто сказал, что они сегодня ночью должны уезжать, что его учреждение эвакуируют, и она должна взять девочку и один чемодан и быть к часу ночи на вокзале: он встретит ее у подъезда, где написано: «Поезда дальнего следования». Он очень спешил, пропускал слова, громко дышал в трубку, и прежде чем она успела спросить его, с какого вокзала уходит поезд, разговор прервался.

Уложив чемодан и оставив в квартире плакавшую, ничего не понимавшую, но испуганную нервным состоянием взрослых дочь, Катя пешком пошла через весь город в госпиталь, рассказала там о звонке мужа и спросила, может ли она уехать.

— А где ваша дочь? — спросил главный врач.

— Здесь, в Москве,— сказала Катя.

— Тогда берите ее и поезжайте,— сказал главный врач.— Обязательно поезжайте,— заторопившись, подтвердил он.

— Вы так думаете? — спросила она.

— Да, я так думаю,— отрезал он и вышел из кабинета.

Она вернулась домой, одела девочку, взяла чемодан и к двенадцати часам ночи пешком добралась до Казанского вокзала, откуда, как она знала, уже неделю подряд эвакуировались в Среднюю Азию работники того наркомата, где служил Михаил Александрович. То, что муж не сказал ей, на каком вокзале он будет ждать, лишь укрепляло ее в убеждении, что он ждет именно на Казанском; за последние дни он несколько раз при-

нимался рассказывать ей, как и кто из знакомых уезжал с этого вокзала.

У вокзала была давка. Сначала Катя никак не могла пробиться к подъезду с надписью «Поезда дальнего следования», потом в конце концов ей кто-то помог, взял на руки девочку, и они протолкались к самому подъезду.

Катя глядела во все стороны — Михаила Александровича не было. Не было его и через полчаса, и через час, и через два. В четыре часа ночи она, держа на руках заснувшую девочку, вернулась домой.

На следующий день Катя как ни в чем не бывало пошла в свой госпиталь и в ответ на все расспросы говорила только, что раздумала и не поехала. А вечером ей позвонил заместитель Михаила Александровича и спросил, где он.

— Разве вы не эвакуировались? — в свою очередь, спросила она.

Тот удивился.

— Нет. Наше управление оставлено. А где Михаил Александрович?

— Не знаю,— сказала она.

— Как не знаете?

— Так, не знаю.

И повесила трубку.

Как выяснилось впоследствии, он, достав места на поезд, уходивший в Горький, и забыв, что не назвал ей вокзала, ждал ее не на Казанском, а на Курском и, не дождавшись, в конце концов уехал один, в самом хорошем из своих костюмов, который он не снимая носил все последние дни, в пальто и с портфелем в руках.

Ни ему, ни его учреждению никто не приказывал эвакуироваться. Но привычный для него быт растаял, привычные ценности исчезли, все или почти все люди, с которыми он был знаком, уехали, и он, подгоняемый страхом, ринулся вслед за ними, как ему казалось, героически простояв в ожидании Кати почти два часа, до самого отхода поезда, у подъезда Курского вокзала...

Катя осталась одна со смертельным презрением к нему в душе и в то же время с чувством душевной свободы от всего того, что целых пять лет называлось их браком.

Через два месяца от него пришло письмо из Новосибирска. Катя прочла его с полным равнодушием. Она и ждала именно такого письма: он всегда очень любил объясняться и ставить, как он говорил, точки над «и».

Это было письмо от совершенно чужого и далеко уехавшего человека, не имевшего теперь отношения ни к ней, ни к ее дочери, а только разве что к этой квартире, которую она все-таки в

глубине души считала принадлежащей ему, а не ей, не потому, что имела на нее меньше прав, чем он, а потому, что и эту квартиру, и вещи, которые в ней стояли и лежали, он любил гораздо больше, чем она.

В январе кто-то, встретившись с ней на улице, сказал, что Михаила Александровича будут судить за дезертирство.

Она не выразила ни сочувствия, ни удивления — ей было все равно. В феврале кто-то другой позвонил и сказал, что его не стали судить, а просто разбронировали и взяли рядовым в армию.

В марте он приехал сам. Его отпустили на четыре часа из эшелона, который двигался через Москву дальше, на запад.

Когда он вошел, она в первую минуту не узнала его. В сущности, он никогда не обладал чувством собственного достоинства. Чувство собственного достоинства ему придавал хорошо сшитый костюм, деньги в кармане брюк, машина, в которую он мог сесть или мог послать ее за кем-нибудь другим, знакомые, близость к которым поднимала его в собственных глазах. Сейчас, лишенный всего этого, в широких, не по мерке кирзовых сапогах, в солдатской шинели, а потом, когда он снял ее, в нескладно сидевшей на нем гимнастерке, он имел какой-то голый, стесняющийся вид.

Он неловко поцеловал Кате руку, сказал, что заехал всего на два часа, и сразу же спросил о белье,— целы ли две пары шерстяного белья, лежавшие в платяном шкафу.

Она сказала, что целы, и предложила ему выпить чаю. Она включила плитку, поставила на нее чайник и вынула из шкафа кусок хлеба.

— Распоряжайся сам,— сказала она,— я пойду к Тане, она больна.

Он промолчал, и только потом, когда она уже ушла в другую комнату и села возле дочери, он, словно вдруг поняв то, что она сказала ему, сначала остановился в дверях, а затем подошел к кроватке.

— Больна? — спросил он, наклоняясь над девочкой, только что забывшейся тяжелым и жарким сном.— Что с ней?

— Воспаление легких.

— А... воспаление легких,— тупо повторил он.

И, постояв еще с минуту, пошел пить чай.

Когда Катя снова вышла к нему, он молча сидел и курил. Она села напротив него и тоже долго молчала.

Он был слишком подавлен всем случившимся с ним самим, чтобы близко принимать к сердцу что-нибудь другое, даже болезнь дочери. Кате, сидевшей напротив него, казалось, что он думает сейчас только об одном — о смерти, навстречу которой ему через несколько часов или дней придется идти в этих насильно

надетых на него кирзовых сапогах и красноармейской гимнастерке. Он сидел и упорно смотрел в какую-то одну далекую и страшную точку, смотрел даже тогда, когда голос его задавал Кате механические вопросы о том, как она живет и работает. Потом он встал и, продолжая смотреть все туда же, некрепко обнял Катю и несколько раз поцеловал. Она не оттолкнула его и от глубокого безразличия, и оттого, что он все-таки уходил на фронт.

Всю ночь, не сомкнув глаз, она просидела над метавшейся в жару девочкой, думая только о том, где достать нужные лекарства, когда приедет врач и неужели и завтра будет все такая же страшная температура.

Через три дня Таня умерла.

Кате прислали из госпиталя огромный санитарный автобус, и она совсем одна, трясясь в пустом автобусе с маленьким гробом на руках, поехала на кладбище.

А еще неделю спустя эшелон увез ее на Юго-Западный фронт, стоявший тогда между Валуйками и Харьковом.

Через полгода, уже под Сталинградом, она получила письмо из Москвы. Письмо было написано хорошо знакомым довоенным, круглым, сытым, самоуверенным почерком. Михаил Александрович писал, что он отозван в Москву в распоряжение Главного управления тыла и аттестован интендантом второго ранга, что работа его по масштабу напоминает довоенную и что генерал-майор Свищев, который теперь его начальник, передает ей привет. В этой последней фразе заключалось объяснение всего остального. Свищев, которого Катя хорошо знала, до войны тоже был начальником Михаила Александровича. У этого прямодушно-дубоватого и застенчивого человека была страсть к знакомствам с людьми из мира искусства, и Михаил Александрович, за глаза посмеиваясь над ним, от времени до времени изящно оказывал ему необременительные услуги, звал его к себе, когда были интересные гости, или, как он иронически выражался, «вывозил начальство в свет». Теперь Свищев стал генералом, а незаменимый Михаил Александрович сделался где-то поблизости от него интендантом второго ранга. Все стало на свое место. Именно это торжествующее чувство, что все опасности остались позади и война лично для него уже кончилась, с такой откровенностью переполняло письмо Михаила Александровича, что Катя с трудом дочитала его до конца, до той фразы, где он просил ее поторопиться с ответом, чтобы он мог принять меры к ее возвращению в Москву, домой. Он так и написал «домой» — самоуверенно, просто и бесстыдно, как будто между ними ничего не случилось.

Может быть, если бы Катя получила это письмо где-нибудь в тылу, в другой обстановке, оно бы просто оставило ее равнодуш-

ной. Но она прочла его на фронте, в медсанбате, в те дни, когда все они, падая от усталости и от непереносимого вида человеческих мук, по шестнадцати часов не выходили из операционной палатки.

Когда она дочитала это письмо, вдруг исчезло то последнее, что еще вчера как-то связывало ее с Михаилом Александровичем, — мысль, что какой бы он ни был раньше, все-таки он сейчас где-то на фронте и делает то же, что она. Остались только круглые, чужие, сытые буквы письма и живущий в Москве чужой, сытый и снова, как всегда, хорошо устроенный человек, о котором она сейчас подумала совершенно отторженно от себя, как о чем-то давно не имеющем к ней никакого отношения. Она вышла из палатки, задумчиво разорвала письмо пополам и еще пополам. Один из клочков, падая, прилип к ее мокрому сапогу. Она наклонилась и отлепила его.

Так, под Сталинградом, в окровавленной госпитальной палатке, этим письмом закончилось ее первое замужество — результат столкновения богатой, переполненной чувствами и доверчивой души с душой пустой, жестокой и бедной в своей маленькой житейской опытности.

А год спустя Катя встретила Басаргина...

Снежные поля Смоленщины летели мимо окна вагона. В углу, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, несколько женщин вполголоса пели «Рябину». Сосед, врач, спал, вежливо сидя на кончике скамейки и клюя носом в положенные на колени руки.

А Катя для чего-то все протирала и протирала ладонью замерзшее окно и снова и снова смотрела в него.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Басаргин проснулся от шума передвигаемых стульев. Спросонок он попробовал сообразить, почему в комнате двигают мебель, но так и не догадался, пока не открыл глаза.

Верхний свет был погашен, горела лишь настольная лампочка, прикрытая газетой. Мать и Шурка, тихо переговариваясь, составляли рядом кресло, два стула и табуретку.

— Если просто рядом с печкой, они разойдутся. Лучше повернуть так, чтобы кресло уперлось в стол,— говорила мать.— Я же знаю, как ты беспокойно спишь...

— Во-первых, я теперь сплю спокойно.

— Нет.

— Ну, почти спокойно. А во-вторых, я люблю тепло. Пусть

лучше разойдутся, но будет тепло. Разойдутся — я проснусь и сдвину.

— Ну, как хочешь.

Мать больше не спорила. Кресло, стулья и табуретку придвинули к печке.

— А куда ты сама ляжешь?

— На Катино место.

Басаргин уже знал, что Катиным местом была маленькая комнатка рядом, в которой спали дети Григория Фаддеича — Егор и Лида, и за занавеской — Катя с Гришкой.

— Я думаю совсем туда перейти,— сказала мать. — Пусть они здесь поживут, наконец, вдвоем.

— Слушай,— сказал Шурка,— может, лучше и я сегодня улягусь там на полу.

— Где там?

— В той комнате.

— Нет, нет, ты простудишься на полу: там из-под двери несет.

— Пожила бы ты у нас в общежитии,— усмехнулся Шурка.

— Что-нибудь исправить там не в моих возможностях,— сказала мать,— а раз в неделю ты у меня, так позволь уж...

— Позволю, позволю, только не пили,— ворчливо сказал Шурка и, в полном противоречии с тоном своих слов, ласково поцеловал мать. — А хотя ничего, что я буду спать здесь; я же уеду с шестичасовым. Я на вокзал, а они с вокзала.

— Как бы Петя не проспал... — забеспокоилась мать.

— Ничего,— сказал Шурка. — Я ему будильник завел на четыре.

Мать застелила стулья и табуретку ватным одеялом и своим пальто, прилегла для пробы, осталась недовольна и начала в разных местах подтыкать под одеяло шаль, ушанку, снятую с комода плюшевую скатерку.

— Слушай, Шурик,— сказала она, отрываясь от этого занятия,— как ты находишь Петю?

— В общем, ничего,— как показалось Басаргину, несколько снисходительно сказал Шурка. — Он, наверное, толково поработал. Только здорово устал.

— Да, у него очень усталый вид,— согласилась мать.

— Тебе кажется, что у всех усталый вид,— махнул рукой Шурка.— У него усталый вид, у меня усталый вид, у Кати усталый вид, даже у Гришки. Только у тебя у самой, по-твоему, никогда не бывает усталого вида.

— Я беспокоюсь за его здоровье,— не обратив внимания на Шуркины слова, упрямо сказала мать.

— Здоровье тут ни при чем,— сказал Шурка. — Ему сейчас не кисловодски нужны, а отдохнуть просто — в смысле побыть среди своих.

«А ведь прав,— подумал Басаргин,— вот именно просто побыть среди своих, это мне и надо». Он тихо повернулся на бок, но мать все-таки услышала, что он шевелится, на цыпочках подошла к нему, и он на минуту почувствовал над своим лицом ее бесшумное дыхание.

Наступила тишина.

— Слушай, мама! — сказал Шурка.

— Что, милый?

— Трудно все-таки иногда. Особенно в эту зиму. Верно?

— Верно, но что ж поделать. Спокойной ночи, Шурик,— сказала мать, и Басаргин почувствовал сквозь закрытые веки, как она, уходя, погасила свет.

Шурка снова скрипнул стульями, примащиваясь на них поудобнее, и через несколько минут ровно задышал во сне.

Басаргин открыл глаза и стряхнул с себя последние остатки дремоты.

Он думал о Кате. Вдали от дома его часто волновала мысль — понравится ли Катя матери? Приживется ли она? Он не боялся ссор или домашних неприятностей, заранее уверенный, что этого не случится. Мелочные черты характера, одинаково уродующие жизнь и в достатке и в бедности, не были свойственны ни Кате, ни матери, с ее простым и ясным чувством долга, в понятие которого, как главная составная часть, входил долг быть доброй к ближним и дальним.

Нет, он думал не об этом. Его волновало другое. Будет ли мать хороша с Катей, помимо своего чувства долга? Ибо мать была человеком не только с добрым характером, но и со строгой душой. И насколько легко было примениться к ее характеру, настолько трудно было завоевать себе место в ее разборчивой и требовательной душе. Он хотел верить, что это уже случилось, и, ища подтверждения своим мыслям, вспоминал свое знакомство с Катей, начиная с первого дня встречи, о котором он сейчас с запоздалой тревогой подумал, что даже и в тот день все еще могло повернуться совсем иначе...

Он встретил Катю в последних числах июня сорок третьего года в маленькой деревушке, недалеко от станции Поныри Курской железной дороги. До войны станция славилась яблоками; из деревни, где расположился стоявший во втором эшелоне дивизион, была видна пробитая снарядами водокачка, разрушенные станционные здания и темные клубки разрывов, от времени до времени маячившие над железнодорожными путями.

Басаргин, до этого командовавший штабной батареей, был неожиданно назначен на дивизион вместо прежнего командира, капитана Леонова. Леонов не выдержал трехмесячного затишья, напился и, как говорили в штабе полка, «запсиховал»: стрелял в воздух из пистолета, кричал: «Сколько мы еще будем сидеть на месте?» — и в пьяном виде отправился брать «языка». Его задержали в последнюю минуту в расположении чужой части, уже на самой передовой, и сняли с дивизиона с понижением в должности. Он был храбрый офицер, хороший артиллерист, несколько раз раненный и контуженный, и его жалели; принимая дивизион, Басаргин сразу почувствовал это по оттенку легкой неприязни, с какой встретили там нового начальника.

Оттенок неприязни, которую он испытал на себе несколько раз в первый же день, ему почудился и в том, как ему по долгу службы представлялась медсестра штаба дивизиона Коненкова.

Был тихий, теплый вечер; нигде не стреляли — ни далеко, ни близко. Разнеженный теплом и тишиной, он сидел на лавочке возле штабной избы, расстегнув воротник и ремень, и думал о вещах, очень далеких от жизни, которой он сейчас жил.

— Разрешите представиться: медсестра Коненкова.

Она выросла как из-под земли и отрапортовала все это вытянувшись, с официальной четкостью.

— Очень хорошо,— по-штатски сказал он, поднимаясь и застегивая воротник.

Когда он встал, расстегнутый ремень с тяжелой кобурой упал на землю. Смущенный этим, он нагнулся, поднял ремень и, не сразу попав концом в пряжку, застегнул.

Она продолжала стоять, держа руку у пилотки, и этим, как ему показалось, подчеркивая неловкость происшествия с поясом.

— Вольно,— с неудовольствием сказал он.

Только теперь она опустила руку. Он внимательно посмотрел на нее. Она была не особенно красива, но необыкновенно, удивительно хорошо сложена, что он сразу заметил, несмотря на военную форму и стоптанные солдатские сапоги. Впрочем, к тому, что все женщины теперь одеты в военное, он уже привык, и это давно перестало обращать на себя его внимание.

Когда она, недовольная его осмотром, вдруг вскинула на него большие серые сердитые глаза, он почти физически ощутил легкий удар, чувство, которое потом всегда вспоминалось ему, когда она глядела на него.

— Ну что же, будем служить вместе,— неопределенно сказал он, сердясь на себя за то, что не может отвести от нее взгляда. — Можете идти.

Она ушла.

Поздно вечером, когда Басаргин ложился спать, его новый ординарец Котиков, немолодой пензенский колхозник, человек мрачный и ворчливый, раскладывая на лавке сенник, недовольно сказал:

— Лавка узковата.

Басаргин молчал, ожидая, что за этим последует.

— Узковата, — повторил Котиков.— На той половине избы кровать есть, никелированная.

— Стелите там, если там лучше,— сказал Басаргин.

— Капитан Леонов ту половину медсестре отдал,— сказал Котиков и, помолчав, добавил: — Может, переселите ее?

— Раз живет, пусть живет,— сказал Басаргин.

В словах Котикова заключался намек на интимные отношения между медсестрой и бывшим командиром дивизиона; и хотя Басаргин постарался отнестись к этому намеку безразлично, но на самом деле слова ординарца кольнули его.

— А то, может, переселите? — после паузы повторил Котиков.

— Я уже сказал,— сухо ответил Басаргин и, сев на лавку, стал снимать сапоги.

Котиков недовольно хмыкнул, и Басаргин понял, что только резкий тон его последних слов заставил ординарца воздержаться от дальнейших настояний.

Котиков взял сапоги, вынес их за дверь, потом вернулся, придвинул к изголовью Басаргина телефон и поставил рядом жестяную кружку с водой. Все это он делал сердито и молча. Недовольство было старое. Он был вообще недоволен тем, что ему, немолодому человеку, пришлось воевать. Но поскольку это уже пришлось делать, то воевал он добросовестно и старательно, рассматривая войну как тяжелую, но необходимую обязанность, и, отложив для себя лично все радости жизни «на после войны», не терпел и у других неположенного на войне баловства.

Балагур и весельчак Леонов, к которому его определили всего два месяца назад и которого он видел лишь на отдыхе, ему не нравился. Не нравилось ему и то, что Леонов на другой половине избы поселил бабу — медсестру. И хотя баловства не вышло и все кончилось тем, что капитан три раз по ночам стучался в запертую дверь, а потом, по горячности своего характера, обиделся и плюнул, Котиков с намерением представил это дело новому капитану так, как будто там что-то было, чтобы новый капитан турнул бабу. Но капитан не турнул, баловство осталось, и Котиков был недоволен...

Последующие три-четыре дня Басаргин по делам службы, да и просто так, то тут, то там встречался с медсестрой и, сердясь на

себя, каждый раз провожал ее глазами. Называя это по-другому, но, в сущности, так же, как Котиков, он не любил на войне «баловства», и его первым душевным движением было — поскорее убрать ее отсюда: перевести наверх — в санчасть полка, в медсанбат, все равно куда. В то же время его мучительно подмывало спросить у Котикова, было ли у медсестры что-нибудь с прежним командиром дивизиона, но всякий раз в последнюю секунду что-то мешало ему задать этот вопрос.

Если бы затишье затянулось, наверное, он и отчислил бы ее, воспользовавшись первым же предлогом.

Но в ночь с четвертого на пятое июля началось летнее наступление немцев на Курской дуге, и сразу стало не до того. Он так и не спросил ни о чем Котикова, да через два дня уже и не мог спросить его, потому что ворчливый Котиков во время бомбежки командного пункта толкнул Басаргина в щель, а сам спрыгнул на секунду позже и был убит наповал.

Что же до медсестры, то она в первые дни боев пять или шесть раз промелькнула перед глазами Басаргина, то кого-нибудь перевязывая, то вдруг появляясь в окопе и во время обстрела, крича Басаргину в ухо, чтобы он позвонил наверх, потому что не дают медикаментов. Она была усталая, запыленная, озабоченная, и он ни в одну из этих встреч ни разу не подумал о ней как о женщине.

На седьмой день, когда битва на Курской дуге переломилась, немцы начали отступать, а дивизион перешел на четыре километра вперед, на самую станцию Поныри, Басаргина ранило сразу несколькими мелкими булавочными осколками мины в руку, плечо и грудь. Раны были пустяковые, но болезненные.

Он сел, прислонившись к стене водокачки, с помощью нового ординарца стащил с себя гимнастерку и нательную рубашку и сам пальцами выдавил маленький, сидевший в мышце руки осколочек.

Медсестра, которую позвали к нему, пришла через несколько минут и, достав из сумки бинты, хотела его перевязать.

— Подождите, подождите,— сердито сказал он,— вы мне их сначала вытащите. А потом перевязывайте. Видите, я один уже сам вытащил.

— На полковом пункте вам все сделают.

— Нет, давайте тут,— сказал он.— Сколько их еще там?

— Два, — сказала она.

— Я тоже чувствую по боли, что два. Можете вытащить?

— Могу, но...

— Ну вот и попробуйте.

Она сделала маленькие надрезы и, вытащив осколки, стала его перевязывать.

Несмотря на ранение, он сейчас впервые за все эти дни отдыхал. Он мог ничего не делать, никуда не бежать, никому не приказывать, просто сидеть и ждать, пока его перевяжут, и ему хотелось, чтобы перевязка продолжалась подольше.

— Жалеете, что Леонова перевели? — неожиданно для себя спросил он, пока она его перевязывала.

Она остановилась.

— Перевязывайте, перевязывайте,— сказал он. — Жалеете?

— Нет.

— Неужели не жалеете? — с жестоким, но уже неудержимым любопытством повторил он. — А мне казалось, жалеете.

Она еще раз перехватила бинтом плечо и, приблизив к Басаргину лицо, завязала бинт узлом у горла. Потом отодвинулась, посмотрела Басаргину прямо в глаза и, подразумевая — он сразу это понял — именно то, о чем он думал, спрашивая ее, сказала:

— Это ведь неправда.

И он почувствовал, что это и в самом деле была неправда.

— Спасибо,— сказал он, благодаря ее не за перевязку, а за эти слова.

— Пожалуйста,— сказала она по-штатски и по-женски. И улыбнулась впервые за их знакомство. Потом стала серьезной и спросила: — Все? — так, словно он был у нее на приеме в амбулатории.

— Все,— смущенный своими мыслями, сказал он.

Она подняла с земли санитарную сумку, надела ее через плечо и ушла.

В следующие дни она трижды перевязывала его. Это всегда бывало наспех. Он во время перевязок разговаривал с начальником штаба или по телефону с командирами батарей; потом он не перевязывался четверо суток подряд, и она пришла среди ночи и разбудила его. Он спал в окопе, только что лег, а через час надо было вставать, до света менять позиции батарей.

— Слушайте,— сказал он, присев в окопе,— я совершенно здоров, и я очень хочу спать.

— Вам нужно перевязаться, вы четыре дня не перевязывались.

— Оставьте меня в покое,— сонно сказал он,— очень хочу спать.

И, прислонившись к стенке окопа, снова заснул. Когда он проснулся, то обнаружил на себе чистые бинты.

— Перевязала все-таки меня,— сказал он новому ординарцу.

— Перевязала,— улыбнулся тот.

— А ты что же не запретил?

— Строгая.

На двадцать второй день наступления в дивизионе осталось три исправных орудия. Почти так же обстояло дело и в остальных дивизионах. Полк оставили во втором эшелоне у железнодорожной станции. Составы еще не ходили, путь был разрушен, но к завтрашнему дню его предполагали восстановить и выгрузить новую материальную часть.

Вблизи не было ни речки, ни пруда, и в дивизион привезли душевую установку. Начальник штаба доложил, что установка готова,— люди могут мыться.

— Слушайте, Михеев,— сказал Басаргин,— сколько у нас после боев осталось женщин в дивизионе?

— Раз-два, и обчелся,— сказал начальник штаба,— два санинструктора и медсестра.

— Скажите, пусть они там вымоются в первую очередь, а то вечная история с этими душевыми установками. Начнешь мыться, а потом воды нет. Пусть первыми, а то иногда забываем все-таки, что женщины...

Воды, впрочем, хватило на всех. Моясь с начальником штаба последним, Басаргин снял черные от пыли бинты и, окатываясь водой, поглядел на маленькие зарубцевавшиеся шрамики.

Вечером, впервые за месяц, нечего было делать. Он зашел довольно далеко от расположения дивизиона, перебрался через железнодорожное полотно и, сев под насыпью, вынул из нагрудного кармана трофейную губную гармошку и стал тихонько наигрывать старинный вальс «На сопках Маньчжурии». Выходило плохо. Он несколько раз пробовал на разные лады, но выходило все так же плохо. Это ему надоело, и он спрятал гармошку в карман.

Громко трещали кузнечики. От высокой, некошеной, полусожженой солнцем травы пахло сеном. Над травой, на красном фоне заката, низко перелетали птицы. Если не оглядываться назад, где в двадцати шагах стоял сожженный «тигр» с длинной пушкой, воткнутой в небо, словно указательный палец,— можно было подумать, что нет никакой войны. Глядя на перелетавших и падавших в густую траву птиц, Басаргин стал подражать птичьим голосам. В детстве он умел подманивать птиц без манка.

Сейчас как будто тоже получалось хорошо. Он закрыл глаза и, ощущая на лице тепло закатных лучей, самозабвенно и долго подражал птицам.

Когда он открыл глаза, то увидел, что по лугу идет девушка с венком на голове. Она то и дело нагибалась и рвала цветы, собирая букет.

Все это было так непохоже на войну, что в первую минуту ему показалось, что это какая-то незнакомая ему девушка. Он не

заметил на ней ни гимнастерки, ни погон, а только венок на голове, и поэтому даже не сразу понял, что это дивизионная медсестра Конешкова.

— Катя!

Он давно знал, что ее зовут Катей, но никогда не называл ее так. А сейчас здесь, в поле, было бы странно назвать ее как-нибудь иначе.

— Ах, это вы,— сказала она просто. Подошла и, сев с ним рядом под насыпью, положила на колени букет.

— Мне сначала просто показалось, что птицы поют слишком громко,— сказала она.— А потом я подумала, что это кто-нибудь подражает птичьему пенью. Это вы?

— Да, я в детстве это хорошо умел,— сказал он, улыбнувшись.

Она тоже улыбнулась и сказала:

— Смешно!

— Почему смешно?

— По танку! Бронебойным! Прицел шесть! — громко крикнула она, подражая его голосу.— И вдруг — птичье пение. Конечно, смешно. Сколько вам лет?

— Тридцать.

— А мне двадцать пять. Но я старше вас.

— Почему же старше?

Она помолчала, словно собираясь ответить, но не ответила и сказала:

— Я когда-то хорошо пела. А сейчас не хочется. Совсем.

— Почему?

— Могла бы вам сказать: потому что война. Но нет, не только.

Несколько минут они сидели и молчали.

— Пойдемте по лугу,— сказала она,— я хочу еще собрать цветов. Вот видите, львиного зева много, а колокольчиков еще не хватает. Вы умеете собирать букеты? Или вы умеете только купить в магазине корзинку, какая побольше, с соломенными бантами? — В ее голосе прозвучало что-то горькое и насмешливое, но Басаргин не обиделся, он понял, что это горькое и насмешливое относится не к нему, а к кому-то другому из ее прошлой, неизвестной ему жизни.

— Не знаю,— ответил Басаргин.— Я люблю цветы.

— Тогда пойдемте.

Они пошли по лугу и стали собирать колокольчики. Казалось, она не пропускала ни одного цветка; она видела их даже издалека.

— Вон, вон там,— говорила ему она,— пойдите сорвите.

И он послушно шел, срывал колокольчик и возвращался к ней.

— Ну, вот и хорошо. Теперь довольно,— наконец сказала она и, сорвав несколько длинных стеблей травы, закрутила их в жгут и ловко обвязала букет.

— Теперь хорошо? Да?

— Да.

Она взяла его под руку, и они медленно пошли обратно.

Вдруг она запела тихим, но сильным голосом «Мисяцу ясный», но оборвала после первого куплета и замолчала.

— Вот я и запела,— сказала она.

— Пойте еще.

— Не могу.

— Вы украинка?

— Нет. Но я родилась в Харьковской области, возле Купянска. Знаете Купянск?

— Знаю,— сказал он.— Я там отступал в прошлом году.

— И я тоже,— сказала она.

— Совпадение.

— Почему совпадение? — сказала она.— Мы с вами уже год как в одном полку. Только не знали друг друга.

— Катя!

— Ну что?

Она сказала это устало и грустно.

Ему хотелось сказать ей: «Катя, милая Катя, как вы мне нравитесь». Но то, как она ему сказала: «ну что?», помешало ему.

— Ничего,— сказал он.

— А я думала, вы мне скажете что-нибудь еще, что вы меня любите или вообще еще что-нибудь такое...

И оттого, что она почти угадала его мысли, ему стало неловко.

— Нет, я не хотел этого говорить вам.

Она, как показалось Басаргину, нарочно улыбнулась и посмотрела ему в лицо. Он не улыбнулся. Лицо его было печальным.

— Простите,— сказала она искренне,— я не хотела вас обидеть. Мне просто вспомнилось прошлое. Пять минут назад мне казалось, что его нет, а оно есть. Пойдемте.

Теперь она шла немножко впереди него. Ничего не произошло, но в его сердце было ощущение чего-то разрушенного. И хотя она не сказала ничего обидного, но он чувствовал себя сейчас обиженным и насильно отдаленным от нее. А она шла порывисто и угрюмо, как человек, который боится расплакаться от неожиданно проявленной к нему нежности.

Эта неожиданная нежность с каждым шагом все усиливалась в душе Басаргина и наконец стала такой большой, что он уже

твердо знал: он не может ей сказать то, что мог сказать всего пять минут назад: «Катя, милая Катя, как вы мне нравитесь». Это было бы уже слабее того, что он сейчас чувствовал.

— Что вы молчите? — наконец спросила она, когда они на обратном пути взобрались на железнодорожную насыпь.

— Просто так, молчу, и все,— грубовато ответил он.

Она встала на колени и, вытянув шею, приложила ухо к рельсу.

А ему почудилось, что она положила голову на плаху, и, подумав так, он испугался, что ее могли убить вчера и третьего дня и могут убить завтра.

— Встаньте! — крикнул он.

Она поднялась и удивленно посмотрела на него.

— Почему?

— Так просто.

— Я слушала,— сказала она.— Рельсы молчат. А завтра перед тем, как придет поезд и привезут нам орудия, рельсы уже задолго начнут гудеть. Я люблю слушать, как они гудят. Как провода, но тише. Я железнодорожница. Я родилась и выросла на маленькой станции. Прямо у линии. Вы никогда не жили на такой вот маленькой станции?

— Нет.

— А я жила до восемнадцати лет. У меня была очень глупая юность. Вы даже не можете себе представить, какая глупая.

— Расскажите.

— Сейчас не хочется.

Повернувшись к Басаргину спиной, она стояла на путях, заложив руки за спину и глядя вдаль, как будто ждала идущего издалека поезда. Она сама в эту минуту казалась Басаргину прекрасной, а ее прежняя жизнь, в которой не было, наверное, ничего особенного,— загадочной.

— И провода не гудят,— сказала она, оборачиваясь к нему.

— Оборваны,— сказал он.

— Совершенно правильно,— рассмеявшись, ответила она и сбежала с насыпи.— Ну, идемте. Или, вернее, вы идите, а я пять минут посижу здесь одна.

— Почему?

— Очень просто: потому что я не хочу возвращаться отсюда в штаб дивизиона вместе с вами. Или прикажете идти с вами?

— Нет.

— Тогда идите.

Она села, охватив руками колени, а он пошел не оглядываясь.

Потом было два месяца боев все замедлявшегося наступления, осенней распутицы и усталости, по временам переходившей всякие границы возможного. За эти месяцы он видел Катю, наверно, не больше десятка раз.

— Товарищ капитан, командир второй батареи отказывается эвакуироваться, а ранение тяжелое.

— Как тяжелое? Только что говорил с ним по телефону.

— А он лежит у телефона. Прикажите ему эвакуироваться.

— Сейчас прикажу.

— Товарищ капитан, дайте «виллис» отправить белье в банно-прачечный отряд.

— Нет у меня «виллиса», сломался.

— А вы — орудийный.

— Не могу дать от орудия.

— А вы — от поврежденного, из первой батареи.

— Поврежденного? Все вы знаете.

— Товарищ майор (в конце сентября ему присвоили звание майора), смеряйте температуру.

— Это еще зачем?

— Я ручаюсь, что у вас сейчас не меньше тридцати девяти; вы, по крайней мере, уж пятый день больны.

— Ничего, я уже поправляюсь. Поздно заметили.

— Я вам говорила еще третьего дня.

— Третьего дня мне было некогда, а теперь я уже все равно поправился. Спасибо, вы свободны.

Вот, в сущности, и все, что было за эти два месяца,— все сказанные слова. А несказанные было невозможно сказать: и некогда и нелепо.

«Я вас люблю», ну и что дальше? «Я вас люблю, давайте поженимся и будем дальше всю жизнь вместе...» Какую жизнь? Где вместе? «Поедемте со мной в Смоленск, я там преподаю в Индустриальном институте, у меня там мать, брат, квартира на улице Ленина...» И ничего он не преподает. И институт эвакуирован на Урал. И в Смоленске немцы. И о матери ничего не известно уже третий год. И брат где-то воюет, если еще жив. И квартира, где они жили, наверно, взорвана или сожжена.

Нет, все это были только пустые мысли, невольно и нестройно лезшие в голову. А может, даже и просто никчемные мысли. Ведь она могла ответить: «А я вас не люблю»; или: «Не будем сейчас говорить об этом, сейчас война»; или еще что-нибудь в таком роде.

— Послушайте,— сказал он как-то, когда она, заглянув на минуту в штаб дивизиона, чтобы доложить ему о количестве больных, собиралась уходить.

— Слушаю, Петр Семенович,— сказала она, как всегда с удивительным чутьем уловив в его голосе ту особую интонацию, при которой это слово «послушайте» было словом, сказанным уже в состоянии «вне службы».

Ему казалось, что сейчас он непременно скажет: «Я вас люблю», он был даже почти уверен, что и говорит именно эти слова, но на самом деле он сказал:

— Послушайте, вы сильно похудели. Вы, наверно, плохо себя чувствуете. Мужчины и то с ног валятся.

И сам с удивлением прислушался к звукам своего голоса, которым помимо воли сказал совсем не те слова, какие хотел. И фраза вышла бессмысленная, ни к чему.

— Ничего, мы, женщины, выносливее,— сказала она и сухо добавила: — А если заболею, не беспокойтесь,— сама уйду в медсанбат. Обременять собой ваш дивизион не буду.

«Ваш» прозвучало отчужденно, почти враждебно, не по отношению к дивизиону, а к нему лично.

— Да, да, конечно,— сказал он смущенно, не зная, чем закончить разговор.— Но что значит «обременять»? При чем тут это. Я просто сказал, что вы плохо выглядите.

У него было такое грустное и обиженное лицо, что у Кати чуть не выпрыгнуло сердце, и ей захотелось обнять и прижать к своему бешено колотившемуся сердцу эту усталую голову с усталыми и насмешливыми глазами и коротко подстриженным упрямым ежиком пшеничных волос.

Но именно в эту минуту Басаргин, наконец справившись с волнением, сказал со своей обычной суховатостью:

— А вообще говоря, состояние здоровья моих подчиненных меня интересует по долгу службы.— И, уже совершенно некстати добавив: — Все должны быть здоровы,— с подчеркнутой поспешностью схватился за трубку затрещавшего телефона.

Она выбежала из землянки, с отчаянием в душе подумав: «Просто проявляет заботу о людях, как положено. Как я могла подумать? Спокойный, как дерево... нет, как камень. И храбрость у него спокойная, застегнутая на все пуговицы. И сам такой, каким кажется, такой и есть. И отношение к людям такое же честное и жесткое. И ничего другого за этим нет. Все выдумки. «Вы, наверное, себя плохо чувствуете?» — счел нужным спросить. А сейчас уже, наверное, и забыл, спрашивал или не спрашивал».

А он и в самом деле уже забыл и, побледнев от гнева, ровным колючим голосом говорил в эту минуту неприятности командиру первой батареи, утопившему пушку при переправе.

Стояли последние, самые мучительные дни наступления, перед передышкой. Вот-вот не хватит дыхания. Еще день, еще день, еще полдня...

Наконец остановились на реке Сожь, переправившись через нее и заняв на том берегу узкий километровый плацдарм, где хватило места зарыться только нескольким батальонам пехоты и противотанковым пушкам Басаргина.

Там в первый же день затишья после недели немецких контратак Басаргин свалился с воспалением легких.

— Как по часам,— через силу рассмеявшись, сказал он начальнику штаба и взял слово, что его ни в коем случае не отправят в тыл.

— Отлежусь тут. А то будут через Сожь переправлять — еще искупают.

К ночи в землянку добрался врач из полка и определил, что Басаргин болен уже, наверное, больше недели.

— Сегодня или завтра кризис,— пусть, если хочет, лежит тут, хуже все равно не будет,— сказал врач с равнодушием видавшего и не такие виды человека и ушел, оставив несколько граммов сульфидина.

Двое суток Басаргин метался на нарах, ему служили тюфяком накрытые плащ-палаткой лапы хвои, и он то и дело в жару сбрасывал их наземь.

Начальник штаба перебрался в другую землянку, а медсестра Копенкова — в эту.

Когда Басаргин очнулся ночью на третьи сутки, она спала, сидя на полу и положив голову ему на грудь. От слабости он не мог пошевелиться и долго, как показалось ему — целый час или два, лежал, глядя на ее повернутое к нему покоившееся у него на груди лицо, потом, потянувшись, поцеловал ее в лоб холодными от озноба губами.

Она одну или две секунды, не поднимая головы, молча смотрела на него — глаза в глаза. Потом поднялась, приложилась губами к его лбу и тревожно взяла за руку.

Рука и лоб у него были холодные как лед. Она начала возиться со шприцем и камфарой. Он безучастно, не двигаясь, наблюдал за тем, как она кипятила на спиртовке шприц, разбивала ампулу и, засучив ему рукав рубашки, колола руку.

Кризис прошел, но у него началась страшная слабость, и она боялась за сердце. Сделав укол, она приподняла его с подушки и сменила рубашку — сняла мокрую и холодную и надела сухую и, как ему показалось, очень теплую. А потом, уложив его снова на подушку и склонясь над ним, долго целовала его лицо нежными короткими поцелуями.

Когда она целовала его в глаза, он покорно закрывал их, а на поцелуи в губы отвечал слабым движением губ. Но сейчас все это уже не казалось ему странным. Самое главное в их жизни решил тот час, в течение которого он, очнувшись, глядел на доверчиво лежавшее у него на груди ее неподвижное спящее лицо.

С этого дня началась их общая жизнь, хотя ни им, ни ею не было ничего сказано ни о свадьбе, ни о родных, ни о том, как будет после войны; не было даже сказано и таких, казалось бы, необходимых слов, как «на всю жизнь» или «навсегда». В условиях их семейной жизни здесь, на войне, произносить эти слова вслух казалось странным и даже неуместным. А в том, что это будет навсегда, если ни с одним из них не случится ни одного из тех «если», из которых, по самой ее природе, состоит каждый день войны,— в этом у Басаргина росло молчаливое убеждение, рожденное силой его собственного чувства к Кате, которое поначалу было бы вернее назвать необыкновенно сильным предчувствием любви, чем самой любовью. Еще мало зная Катю, он угадывал, что, узнав до конца, увидит ее такой, какую сможет любить всю жизнь, то есть предчувствовал в ней то, что в ней было на самом деле.

И, как знать, быть может, это мгновенное и точное предчувствие большой любви и есть одно из самых счастливых человеческих свойств, которое так часто, так напрасно, а иногда — так завистливо вышучивают люди, иронически называя его «любовью с первого взгляда».

Их любовь не была ни простой, ни легкой. Да и как она могла быть простой и легкой среди всего, что окружало их и что в целом называлось войной, а для каждого человека в отдельности было ежедневным, постоянным испытанием всех душевных и физических сил, всего мужества, всего терпения, всей выдержки, всей привязанности к родине и к людям, часто входившим в эту жизнь сегодня, чтоб уйти из нее завтра, но уже требовавшим по отношению к себе проявления всей силы самопожертвования, и проявления этого не в качестве подвига, ценимого и награждаемого, а в качестве незаметной ежедневной нормы человеческого поведения по отношению ко всем окружавшим тебя на войне людям.

Эта любовь к родине, к людям, ко всему тому, что образовывало на войне понятие «мы», была такой огромной затратой душевных сил, которая оставляла на долю личного чувства двух находившихся среди всего этого людей гораздо меньше времени и сил, чем обычно. И, однако, это не только не лишало любовь двух людей ее собственной красоты, но, наоборот, освещало нечастые, целиком отданные ей минуты таким светом добра и чистоты, что трудно было сказать — не дороже ли эти минуты многих часов и дней в чьей-нибудь другой или даже в их собственной жизни и не

будет ли когда-нибудь память о коротком пожатии руки на перекрестке двух ходов сообщения сильнейшим и незабвеннейшим за всю эту жизнь воспоминанием?

Тем не менее им обоим было очень трудно. Трудно было все: безмолвные разлуки без слов: «Будь осторожней»; и слишком частая невозможность быть вместе; и необходимость всегда и всюду помнить о своем обоюдном служебном положении; и соблюдать в отношениях тот жестокий такт, за пределами которого мгновенно начинается молчаливое и страшное неуважение окружающих; да, наконец, и просто-напросто то дождливые, то холодные дни и ночи без крыши над головой, в то затекавших водой, то заваленных снегом окопах; просто невозможность снять шинель, погреть руки, сесть у огня...

А потом тщательно скрываемая беременность Кати, беспощадно туго затянутая ремнем шинель, на которую он не мог смотреть без содрогания. И жестокие ссоры из-за нежелания Кати уехать с фронта.

И, наконец, все-таки ее отъезд, аэродром в Бельцах, и похудевшее, потемневшее от пыли лицо с большими неподвижными глазами, которых он не видел с тех пор почти три года.

«Почти три года! С ума сойти!»

Басаргин повернулся на бок и, приблизив к глазам руку с часами, посмотрел на фосфорные стрелки — было двадцать минут четвертого.

Тихо, чтобы не разбудить Шурку, он ногой нащупал в темноте ботинки, надел их, потом надел пиджак, висевший на спинке кровати, и, достав из кармана электрический фонарь, пробежал лучом по комнате.

Стулья разъехались, но Шурка не чувствовал этого и крепко спал.

Надев пальто, подняв воротник и поверх него обмотав шею шарфом, Басаргин открыл дверь и вышел в холодные сени, разделявшие дом на две половины: меньшую, засыпную, где жили мать и Катя с детьми, и большую, рубленую, где помещались кухня и комнаты Григория Фаддеича. Он отодвинул на наружных дверях засов, но не мог открыть внутреннего замка: замок был с хитростью.

— Кто там? — раздался голос.

В кухне зажегся свет и приоткрылась дверь.

— Это я,— сказал Басаргин.

В дверях стояла Елена в шубе, накинутой поверх ночной сорочки.

— Я, Леночка,— повторил Басаргин.

Елена, притворив за собой дверь, вышла в сени.

— Простудишься, Леночка. Я сам открою. Иди спи.

— Уже собрался? — спросила Елена.

— Четвертый час,— сказал Басаргин,— я пойду потихоньку на вокзал.

— Туда всего полчаса ходу,— сказала она.— Посидим на кухне, я тебя чаем напою.

— Нет, спасибо, пойду сейчас.

— Неймется? — с легким оттенком зависти сказала сестра и, подойдя к наружной двери, открыла замок.— Ну, иди.

— До свиданья, Леночка.

— До свиданья.

Она обняла его и теплыми, мягкими губами поцеловала в щеку.

— Иди, Петенька, иди, дай тебе бог счастья.

Она сказала — иди, но сама все еще стояла, обнимая брата.

— Слушай,— спросила она шепотом,— любишь ее?

— Да.

— Сильно?

— Сильно.

— Ну что ж, иди,— все так же шепотом сказала Елена.— Только не забывай меня, Петя, ладно?

— Да что ты, в самом деле, что мы, прощаемся, что ли, с тобой,— с удивлением сказал Басаргин.

— Прощаемся не прощаемся, а не забывай,— все так же шепотом горячо сказала Елена.— Забыть недолго. Вон Шура уже забыл, что я ему сестра. Теперь я для него только Григория Фаддеича жена. А я ему ведь сестра.

— Ну что ты, Леночка!

— «Ну что ты, ну что ты»,— сердито передразнила Елена.— Я тебе правду говорю, а ты — «ну что ты». Не разойдусь я с ним,— казалось, без всякой связи с предыдущим вдруг сказала она.— Нет, не разойдусь. Силы еще есть, а молодости уже нет. Скоро сорок лет мне, Петя. Хотя ты уже, наверное, забыл, сколько мне и лет-то. Много... Да и, наверно, люблю я его. Не любила б — не жила бы,— добавила она неуверенно.

Потом поежилась от холода и, отпустив руки, сказала:

— Ну, ступай. Мимо церкви не иди; там окопы еще не засыпаны. Возьми прямо через пустырь.

Она потянула дверь за ручку, открыла ее перед Басаргиным и вышла вслед за ним на крыльцо.

— До свиданья, Леночка.

Он поцеловал ее.

— До свиданья,— печально сказала она.

На улице было тихо и морозно. Когда Басаргин оглянулся, Елена все еще стояла на крыльце, прихватив у горла воротник накинутой на плечи шубы. Заметив, что он обернулся, она выпростала из-под шубы руку и, легонько помахав ею, повернулась и ушла в сени.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Басаргин все-таки пошел мимо церкви. Спешить было некуда, и он не хотел сокращать расстояния.

Ночь была светлой. Длинные тени развалин то и дело ложились на дорогу.

Вид разорения наводил на невеселые мысли о том, что почти все здесь придется сызнова строить, и даже добрая половина вновь отстроенных домов и домишек в конце концов тоже не более чем времянки: их рано или поздно будут сносить, заодно с развалинами, когда начнут всерьез восстанавливать город.

В этом было мало хорошего, но мысли, рожденные видом развалин, тем не менее до странности не нарушали того душевного состояния счастья и уверенности, которое испытывал Басаргин.

Одной причиной было простое эгоистическое чувство, что вот, несмотря на войну,— именно он, а не кто-нибудь другой, живой и здоровый, идет сейчас по улицам именно этого города, где он провел детство и юность. Другой причиной была предстоящая встреча с Катей.

«А через это разорение, конечно, нужно, необходимо перейти»,— думал он. Неизбежно перейти, подобно тому как он сейчас, идя по улице, переступает через тени разрушенных зданий. «Но ведь были дни, когда я думал об этом времени «после войны» совсем иначе, чем я думаю сейчас».

Да, конечно, были такие дни: и в сорок втором, и в сорок третьем, и в сорок четвертом году.

Когда-то ему бездумно казалось, что после победы все сразу станет необыкновенно хорошо. Но неужели же это чувство было просто глупостью или легкомыслием?

Нет, совсем нет. Оно было только естественной и неизбежной потребностью его души в то время. Сейчас, идя по улице, он с удивительной ясностью вспомнил во всех подробностях одну из таких минут восторженного состояния души ранней весной сорок четвертого года, после легко удавшейся переправы через верховья Прута.

Слова, которые так или иначе повторялись все эти годы:

— Как далеко от границы!

— Еще шестьсот верст до границы!

— В этом году дойдем до границы!

Эти слова были позади, как и сама граница. И в ту ночь в маленьком румынском городке, на том берегу Прута, всех их, собравшихся в штабе дивизиона, не покидало ощущение только что совершившегося чуда. Уже не было деления на «до» и «после» границы. Было только «после», а за ним открывалось еще одно «после», совсем недавно казавшееся каждому из них бесконечно далеким,— «после войны».

Впереди были еще и Будапешт, и Вена, и Берлин, но в мыслях своих они как бы продирались сквозь этот лес препятствий, раздвигая руками заслонявшие дорогу ветки, и в далеком просвете видели только будущее. И оно в ту ночь казалось сказочно хорошим, не омраченным ни единой тенью, как приказ без слов: «Слава павшим героям».

Они пили шумно ударявшее в голову, вырытое из земли крестьянское вино и быстро и радостно соглашались друг с другом в самых торопливых и счастливых предположениях, а если спорили, то лишь потому, что каждому в ту ночь хотелось размашистей всех других нарисовать картину будущего счастья.

Капитан Михеев — начальник штаба, убитый несколько месяцев спустя в случайной перестрелке, говорил, что он согласен на легкое ранение за три дня до окончания войны, с тем условием, что в день окончания лежать в московском госпитале и самому видеть салюты.

Белинович — молоденький лейтенант, офицер связи, служивший до войны актером в театре Вахтангова, рассказывал, что он получил письмо из Москвы — их разрушенный бомбой театр будет к концу войны выстроен заново.

— Совсем заново! Будет прекрасное здание! В сто раз лучше, чем было!

Сам Басаргин говорил о Смоленске — его волновало только одно: остались ли точные снимки и чертежи смоленского кремля и собора.

— Если только остались,— говорил он убежденно,— все заново выстроим в каких-нибудь два-три года, даже просто в два года.

И никто не возражал ему, потому что никому не хотелось возражать.

И уж конечно, больше всего говорили о встречах. После войны все непременно должны были встретиться. Все приглашали друг друга в гости, и никто не задавал себе вопроса: состоятся ли эти встречи? Будут ли живы люди, назначающие эти встречи? И вспомнят ли они друг о друге, если будут живы? И сведет ли их судь-

ба? Все казалось решенным: будут живы — вспомнят, свидятся — как же иначе! Жизнь после войны казалась праздником, для начала которого нужно только одно — последний выстрел.

Сейчас Басаргин не знал судьбы ни одного из этих людей, кроме печальной судьбы Михеева, не знал, ни где они, ни что с ними. Но хотя их тогдашние надежды во многом не оправдались, он относился к этому почти без горечи и не чувствовал себя обманутым.

Тогдашние предчувствия не обманули его хотя бы потому, что самое главное из них — предчувствие победы — осуществилось. Он мог бы и тогда, в ту ночь, вспомнить, что завтра еще бой, и послезавтра тоже бой, и это все равно не нарушило бы ощущения счастья точно так же, как сейчас, при виде окружавших его развалин родного города, ощущение грядущего счастья не нарушалось в нем сознанием того, что завтра и послезавтра ему и другим предстоит труд тяжелый и даже тягчайший и все-таки при всей своей тяжести несравнимый, однако, с кровавым трудом только пережитой войны.

Погруженный в воспоминания, Басаргин по колено провалился в тот самый окоп, о котором его предупреждала сестра. Часть окопа, под прямым углом пересекавшего улицу, была засыпана, и от него остался только неровный ледяной бугор; но другую часть засыпать не успели, и окоп темным зигзагом уходил в переулок, напоминая собой о фронте, который год неподвижно простоял в этих местах.

Выбравшись из окопа и потерев ушибленную ногу, Басаргин не спеша зашагал дальше к вокзалу, до которого оставалось теперь совсем немного.

«На второй год после конца войны на улице посреди города все еще не засыпанные окопы — да, как видно, тут приходится тяжелей, куда тяжелей, чем хотелось думать издали, тяжелей, чем можно было вычитать там, за океаном, в своих и даже в чужих газетах. И все-таки, все-таки...» Басаргин вспомнил, как год назад его обстоятельно допрашивал один американский инженер-энергетик:

— Как вы считаете? Вы сумеете своими силами восстановить все разрушенное энергетическое хозяйство, все электростанции, скажем, Днепрогэс?

— Думаем, что сумеем,— отвечал Басаргин.

— Нет, а как лично вы думаете? — допытывался инженер.

— Я тоже думаю, что сумеем.

Американцу непременно хотелось, чтобы у мистера Басаргина было на этот счет свое особое мнение, отдельное от общего: чтобы русское правительство считало, что можно восстановить Днепрогэс

без иностранной помощи, чтобы так считал их большевистский Госплан и все сорок тысяч строителей Днепрогэса, а чтобы он, мистер Басаргин, наоборот, считал, что все это неправда и что нужно пригласить на помощь мистера Кука или Смита.

Для этого инженера в слове «мы» отсутствовала индивидуальность. А для Басаргина слово «мы» было самым личным из всех слов, и в понятие, связанное с этим словом, входил и он сам со своей собственной судьбой, и Госплан, и Днепрогэс, и его строители.

Басаргин вспомнил свою шутку в конце разговора, что лично он ни при каких обстоятельствах не собирается никому продавать ни одной из своих индивидуальных акций такого великолепного предприятия, как социализм.

— А у вас существуют индивидуальные акции? — оживившись, спросил американец.

Басаргин внимательно посмотрел на него и, махнув рукой, перевел разговор на другие темы.

Из дверей вокзала, как спичкой, чиркнув по снегу узкой полосой света, вышел железнодорожник в форменной шинели и ушанке.

— Смоленский приходит без опозданий? — спросил Басаргин, берясь за ручку двери и нетерпеливо притопывая замерзшими ногами.

— На час опаздывает,— равнодушно сказал железнодорожник и пошел вдоль перрона.

Басаргин смахнул перчаткой снег с ботинок и, сердито рванув на себя дверь, вошел в клубившийся табачным дымом зал ожидания.

В зале было тесно и накурено. Ждали сразу двух поездов — смоленского, с которым приезжала Катя, и московского скорого.

Басаргин, поискав места, присел на краю скамейки рядом с двумя дремавшими не то молодыми рабочими, не то студентами в одинаковых демисезонных пальто и кепках.

Он наблюдал за людьми, наполнявшими зал ожидания. Не будь у него такой долгой разлуки с родиной, он бы, наверное, просто отдался своим мыслям и не обращал внимания на окружающих, так же как и они сами в большинстве случаев не обращали внимания друг на друга. Но сейчас его живо интересовало все, что происходило в этом дорожном многолюдстве, в пестром смешении едущих в разные стороны и по разным необходимостям людей. Он приглядывался к ним и с нескрываемым невежливым вниманием прислушивался ко всему, о чем они говорили между собой.

Все, что он застал здесь на вокзале, больше всего напоминало ему тридцатые годы, конец первой пятилетки и хорошо знакомые

узловые перевалочные станции где-нибудь на скрещении путей к Магнитострою, Челябстрою и Караганде. Было точно такое же, как тогда, ощущение чего-то мощно движущегося, еще не осевшего на свои места и спешащего поскорее добраться до них.

Ждала поезда большая плотницкая бригада с топорами и свернутыми в трубки пилами. Ехал инженер или, может быть, архитектор с круглым дерматиновым футляром, в котором, наверное, были скатаны кальки. Ехал инженер-путеец с семьей, судя по количеству узлов и чемоданов, всем домом перебиравшийся на новое место строительства. Ехала и женщина с ребенком, которая, еще не успев сесть в поезд, уже спрашивала, как найти в Минске управление Спецстроя, где работает ее муж.

Среди житейского дорожного разговора, шумевшего по всему залу ожидания,— о кипятке, о том, будут ли плацкартные места, и почему не открывают кассу, и что минские поезда опаздывают, а из Москвы идут точно, и что на станции Борисов можно сравнительно дешево, за сто рублей, купить цыпленка, а в Смоленске ночью почему-то всегда закрыт буфет,— то и дело мелькали слова: «стройка», «строить», «строительство». К этим старым словам теперь прибавилось новое: «восстанавливать», и оно повторялось так же часто и обыденно.

Главное же сходство с тридцатыми годами состояло в том, что и в Ленинградском порту, и по дороге из Ленинграда в Москву, и в Москве, и здесь, на станции,— нельзя было не почувствовать, что в стране, как в тридцатые годы, снова заваривается каша громадного строительства. Это было похоже на фронт, когда по ночам, перед новым наступлением, по всем дорогам грозно перемещаются массы людей и оружия.

Двое соседей Басаргина проснулись, заворочались на скамейке и чуть не свалили его на пол.

— Извините, пожалуйста,— сказал один из них,— я и не заметил, что вы рядом сели. Заснул, знаете.

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказал Басаргин.

Соседи заговорили между собой, и Басаргин из их разговора с удивлением понял, что эти два совсем молодых человека, показавшихся ему спачала студентами, на самом деле оба инженеры, а один из них даже начальник цеха. Они ехали домой в Челябинск из командировки с какого-то завода-поставщика.

— А и рассвирепели же они, когда я у них свечи не принял,— сказал один из них, усмехнувшись.— Я даже их пожалел, особенно этого старого, Парамонова.

— Жалеть нельзя,— сказал второй.— Если у твоих тракторов начнет в поле зажигание отказывать, тебя никто не пожалеет.

А Парамонов, что же — хотел по старинке, как в прошлом году. А это — дудки! В прошлом году — было спасибо за свечи вообще, а в этом — конь не дареный — надо и в зубы посмотреть!

Басаргин, слушая этот разговор, подумал, что для него, уехавшего за границу в сорок четвертом году, война была все еще вчерашним днем, он думал и говорил с ней: «Вчера». А для этих людей война была позавчера и даже совсем давно: ему издалека казалось, что новая, послевоенная жизнь только начинается, а она уже двигалась полным ходом, как давно отошедший от станции поезд...

— У Парамонова дочка красивая,— вдруг сказал первый из говоривших.— Верно?

— Верно,— сказал второй.— То-то ты и собрался его жалеть.

— Брось глупости говорить! — совершенно по-мальчишески задорно сказал первый.— Я никогда не путаю работу и...

— Что «и»? — насмешливо спросил второй.

— И свои личные чувства! — еще задорней воскликнул первый.

И Басаргин, искоса поглядев на него, подумал про себя: «Совсем молодой, просто совсем молодой, ему, наверное, еще меньше, чем Шурке, максимум двадцать три».

Громкоговоритель закричал, что московский скорый вышел с ближайшей станции. Большинство сидевших в зале ожидания сорвались с мест, открыв обе половинки узких входных дверей, высыпали на перрон, и зал в минуту наполнился морозным паром.

После шума хлопавших дверей и оживленного говора вдруг стало тихо. Басаргин пересел поудобнее на свободной теперь скамейке, закрыл глаза и задумался. Он думал о том, что наконец он дома и что только что сидевшие с ним рядом молодые люди какой-то неуловимой чертой, должно быть присущей поколению, похожие на Шурку, уже несут в себе что-то новое, чего недостает ему, Басаргину, а ведь он-то еще так недавно казался себе представителем самого молодого поколения. Когда он уходил на войну, они были еще школьниками, учились в десятом классе, а сейчас они инженеры и, кажется, успели привыкнуть и к этому и к тому, что на их юношеские плечи уже легла тяжесть послевоенной пятилетки, наверное, самой трудной из всех, что были.

Он открыл глаза, почувствовав на себе внимательный взгляд.

Напротив него, на скамейке, сидел могучий человек, одетый в стеганые брюки и солдатский ватник, не сходившийся на его широких плечах и поэтому полурасстегнутый на груди. Темно-каштановые курчавые волосы выбивались из-под сидевшей набекрень ушанки, а в красивом смуглом цыгановатом лице было сразу и что-

то очень знакомое, и что-то совсем незнакомое, мешавшее вспомнить его.

Человек смотрел на Басаргина и молча улыбался, не разжимая двух рядов ровных металлических зубов, в которых была стиснута папироска.

— Уже десять минут смотрю на вас,— наконец сказал он, продолжая улыбаться.— Смотрю и думаю: вы это или не вы? Вас я тогда видел или не вас? По-моему, вас.

— Где вы меня видели?

— Я видел вас, по-моему, в тысяча девятьсот сорок пятом году, в марте месяце, в лагере военнопленных в Зигбурге под Кельном,— сказал человек и перестал улыбаться.

И когда человек сдвинул губы и исчезли два ряда металлических зубов, которые, как сейчас сообразил Басаргин, и помешали ему узнать это лицо,— он вспомнил сразу все: пасмурный, мокрый мартовский день сорок пятого года и лагерь для русских военнопленных в Зигбурге около Кельна, куда он, офицер комиссии по репатриации, приехал вместе с не отходившим от него ни на шаг американским полковником.

В лагере было междуцарствие: немцы ночью бежали, американцы еще не появились. У первого же барака их встретил очень высокий и страшно худой человек с курчавой шевелюрой, с натуго обтянутым темной кожей лицом, в рваном черном матросском бушлате, расстегнутом на голой груди.

Увидев Басаргина, он несколько секунд молча смотрел на его погоны и, вытянувшись в положении «смирно», сказал тихим голосом:

— Товарищ майор, старшина первой статьи Егоров, временный комендант лагеря. В лагере две тысячи человек. Все больные, но выздоровеем. Немецкий караул — кто не успел убежать — убили утром. Больше происшествий нет. Ждали вас.

Он сказал это, с трудом выговаривая слова, как вначале показалось Басаргину, от волнения. Но потом, взглянув внимательно в лицо Егорову, он увидел страшный черный пустой рот с выбитыми до одного зубами.

Они пошли по лагерю вдоль бараков, и с каждым шагом, выходя из дверей, отделяясь от стен, поднимаясь с земли, к ним безмолвно примыкали все новые и новые десятки и сотни истерзанных, исхудалых людей. И когда Басаргин наконец взобрался на подставленную ему пустую бочку и, сняв фуражку, волнуясь и задыхаясь, сказал двухтысячной толпе немногие простые слова о том, что они свободны и что родина через него передает им привет, в толпе заплакали и запели «Интернационал», при первых же звуках которого он заплакал сам. Не стыдясь и не сдерживаясь,

он, стоя на бочке, плакал и вместе со всеми пел: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем», пел, от волнения и счастья не слыша собственного голоса.

А потом ему нужно было ехать дальше, в другие лагеря. Он шел обратно мимо бараков, окруженный двухтысячной толпой. Рядом с ним шел старшина Егоров, улыбаясь своим изуродованным лицом и широко растягивая мехи висевшего на голой груди аккордеона. Он играл, а люди кругом пели кем-то сочиненную здесь, в лагере, песню, без рифм, каждый куплет которой кончался словами:

Не потерпим мы вашей неволи,
Все равно мы не будем здесь жить.

И хотя толпа провожала его только до ворот, Басаргину казалось, что именно так вот и он, и все эти люди, сейчас же, все вместе, пойдут прямо в Россию.

— Ну как, теперь вспомнили меня? — спросил человек, сидевший на скамейке напротив Басаргина.

— Вспомнил, товарищ Егоров,— сказал Басаргин.

— Я так и думал, что не ошибаюсь,— сказал Егоров,— хотя вы и в гражданском. Но я памятливый. И на хорошее и на худое, на все,— с расстановкой добавил он.— Что делаете теперь?

— Был за границей,— сказал Басаргин.

— А я тут под Пуховом бригадиром в колхозе работаю, имени Ленина. Не слышали?

— До войны слышал,— сказал Басаргин.— Кажется, даже был лучший в области.

— И будет,— коротко сказал Егоров.— Теперь времени терять некогда. В плену и так потерял три года, не считая зубов и костей.

Он мрачно усмехнулся.

— В партии? — спросил Басаргин.

— Подал на восстановление. Только тянут чего-то второй год, хотя я им доказал, что в лагере секретарем подпольной организации был. А вы думаете, что если я был в плену, так я там ушами хлопал?

— Почему? — сказал Басаргин.— Я этого не думаю.

— Помните, как «Интернационал» там пели? — спросил Егоров.

— Помню.

— И я помню. Я думаю, эта война все-таки классовая была. Определенно классовая,— уверенно повторил Егоров.— Рядом с нами лагерь англичан и американцев был, так их фашисты по-другому держали, как людей. А нас — на смертельном режиме, как

рабов. Потому что неизвестно для фашистов было, кто из них куда после войны кинется, кто во враги, а кто в друзья. А мы, советские, все, за исключением легавых, все для фашистов были враги. Навсегда. Вот и гнули нас до смерти. Как вы думаете, так?

— Пожалуй, что так.

— Вы — человек образованный, вам видней,— сказал Егоров.

Басаргин хотел возразить.

— Я тоже свое образование имею,— с достоинством остановил его Егоров,— не жалуюсь, но все-таки, наверное, меньше вашего. Они гнули, а мы согнули,— добавил он, вставая.— Вы смоленского ждете?

— Да, встречаю жену.

— Сейчас подойдет. Пошли.

Они вышли на перрон, и он протянул Басаргину руку.

— Ну, до другого разу! Я вперед побегу, чтобы к паровозу подгадать. Мне всего один перегон. Машинист — друг, тоже бывший морячок, подвезет.

Басаргин с удовольствием проводил взглядом его громадную, размашисто двигавшуюся фигуру. «Они гнули, а мы согнули»,— вспомнил он.

— Все-таки согнули,— повторил он вслух.

— Что? — спросила женщина, стоявшая рядом, которой показалось, что он обратился к ней.

— Нет, ничего,— сказал он.

Из-за поворота выскочил желтый фонарь паровоза; поезд надвинулся, ударил в уши сразу всем своим грохотом и, пролетев головой далеко вперед, остановился, затихая и поскрипывая. Толпа ожидавших бросилась к дверям вагонов.

Басаргин стоял в отдалении, прислонившись к стене вокзала, под станционным колоколом. Он оказался на перроне единственным встречающим, и у него упало сердце от мысли, что Кати может и не оказаться в этом поезде; вдруг она задержалась еще на день в Смоленске, и ему придется одному идти домой, тем более что поезд, которым он мог бы выехать ей навстречу, ушел полчаса назад.

Он одиноко и опасливо поглядел в полутьму на людей, выходивших из вагонов. Было совершенно очевидно, что ни один из них не был Катей, но он не удержался и, оторвавшись от стены, все-таки пробежал несколько шагов за женщиной, одетой в толстый ватник, накрест обвязанный концами большого деревенского платка. Он еще издали прекрасно видел, что она совсем не похожа на Катю, но все-таки догнал ее и заглянул ей в лицо.

Потом он вернулся на свое место под колоколом, рядом с дверью, на которой было написано: «Выход в город».

«А может быть, есть еще какой-нибудь выход в город? — подумал он.— Где-нибудь на том конце перрона?»

Его обогнали еще несколько сошедших с поезда, как ему показалось, последних пассажиров. Потом вдалеке мелькнула женщина в пальто и платке, показавшаяся ему похожей на Катю. Она прошла мимо. Это опять была не Катя.

— Товарищ, отойдите,— сердито сказала дежурная по станции, женщина в больших валенках и красной фуражке.

Он отодвинулся. Она два раза небрежно дернула за веревку колокола. Бам... Бам...

Басаргин как-то уж и вовсе растерялся оттого, что его заставили переменить позицию, и с глупым любопытством смотрел на колокол и на дергавшую веревку дежурную по станции. И если б дежурная, позвонив в колокол, не двинулась к двери с надписью: «Выход в город», а Басаргин не проводил бы ее взглядом, то он и в самом деле не встретил бы Катю, которая как раз в эту минуту подходила к той же двери.

В десяти шагах от Басаргина по платформе шла живая, настоящая Катя, точно такая, какой он мог почти каждый день видеть ее в их последнюю военную зиму. В таком же полушубке и в такой же, и даже не в такой же, а в той же самой, чуть сбитой набок ушанке. Только чесанки были другие, незнакомые, подбитые кожей, серые с черной союзкой, и поверх полушубка не было еще чего-то, что всегда бывало,— он не сразу сообразил, что на полушубке не хватало пояса с портупеей и кобурой.

— Катя! — сказал Басаргин и не понял, почему Катя не оборачивается на его голос. А она не оборачивалась потому, что он сказал это шепотом.

— Катя! — громко крикнул он.

Но Катя не догадалась, откуда голос, сначала посмотрела в другую сторону, показав ему кончик маленького уха и тяжелый, выбившийся из-под ушанки пучок волос; и только потом четко, по-военному, повернулась и увидела его.

Он в два шага добежал до нее и, ни на кого не обращая внимания, обнял, приподнял с земли, поставил, несколько раз подряд поцеловал в губы, потом, освободив на секунду руку, сбил с себя шляпу, которая ему почему-то помешала, но этого ему показалось мало, и он смахнул ушанку и с Кати и стал целовать ее в лицо, в волосы и опять в лицо.

Наконец, повернув ее и почти даже грубо нагнув ей голову, он поцеловал теплый кусочек шеи между щекотавшим его лицо пучком волос и воротником полушубка.

Только тогда она оторвалась от него, сама схватила его за руки, наступив носками своих чесанок на носки его ботинок и вся

откинувшись назад, словно он сейчас будет ее крутить вокруг себя, задохнувшаяся, порозовевшая, растрепанная, без шапки, долгим взглядом посмотрела ему в глаза.

«Господи, как он переменился,— подумала она,— какое у него усталое и незнакомо-строгое выражение лица и какие все те же самые, совершенно те же самые глаза!»

Пригнув к себе его голову, она ворошила обеими руками его начавшие седеть волосы и целовала их.

— Подними мою ушанку,— строго сказала Катя, отпустив наконец мужа.

Басаргин послушно поднял ушанку.

— Подними свою шляпу.

Он нагнулся и поднял свою шляпу.

— Пойдем.

Они прошли через вокзал, не разнимая рук и каждый держа в свободной руке — она ушанку, он — шляпу, и только через двадцать шагов оба вспомнили об этом, надели их, глядя друг на друга, рассмеялись.

— Пойдем домой,— сказал он.

— Нет, подожди,— сказала она.— Пойдем сюда.

И она решительно повернула налево.

— Почему сюда?

— Это совсем близко,— сказала Катя,— ну совсем близко. Три минуты.

— Что такое?

— Мы зайдем в мою поликлинику и сразу же скажем, что я сегодня совсем не приду на работу. Только скажем и пойдем. Только на одну минуту. Одно слово. Хорошо?

— Хорошо,— сказал Басаргин.

До поликлиники они добежали, почти не разговаривая, а только от времени до времени пожимая друг другу руки, каждый раз по согласному душевному движению одновременно,— и каждый раз это радовало их обоих.

Поликлиника помещалась в таком же длинном бревенчатом бараке, как вокзал и все другие учреждения города. В последний раз пожав руку Басаргину и повторив: «Одну минуту», Катя вбежала на крыльцо и скрылась за дверью, а Басаргин, глядя себе под ноги и поскрипывая по снегу ботинками, стал ходить взад и вперед перед крыльцом.

Только сейчас он почувствовал, что наконец был вполне дома. К тому большому «мы», которым встретила его родина в Шербуре веселым голосом вахтенного на танкере «Донбасс», прибавилось еще простое и радостное «мы вдвоем», без которого у него никогда не было и никогда не могло быть полного счастья.

И это пришедшее к нему прекрасное недостающее было Катей, просто Катей, с ее огромными и чуть печальными глазами, от необыкновенного взгляда которых он и сейчас по-прежнему вздрагивал, как от толчка в сердце, с ее чесанками, полушубком и сбитой набок ушанкой, с ее маленькими теплыми руками и старым простым колечком на пальце, с ее тяжелыми темными волосами, в которых когда-нибудь еще поселятся серебряные нити,— дай бог, дай бог прожить вместе всю жизнь!

Это было Катей, просто Катей, которую он ждал три года и еще две, нет, уже целых три минуты, проведенные им у этих дверей.

Но сначала вышла молодая круглая няня в косынке и белом халате, с вылезавшими из широких сапог пухлыми коленками. Она остановилась на крыльце, с озабоченным видом посмотрела во все стороны, увидела Басаргина, оглядела его с ног до головы и, взвизгнув, убежала.

Потом вышла вторая няня, пожилая, в халате и в платке. Она по-деревенски подперла щеку рукой, долго и серьезно разглядывала Басаргина и молча ушла.

Тогда он понял, что это смотрины Катиного мужа, и неудержимо рассмеялся. Катя застала его смеющимся.

— Чему ты смеешься?

— Это ты их послала смотреть на меня? — спросил он.

— Нет, это они сами.

— Отпустили?

— Конечно.

Держась за руки, они вернулись к вокзалу и пошли домой по тому самому, узкому, в нескольких местах перерытому окопами тротуару, по которому он три часа назад шел сюда один.

Они шли и молчали, невольно откладывая все слова до дома, и в то же время зная, что они до такой степени вместе, что им не страшно не только молчать, но и думать о чем угодно своем, только чувствуя в руке другую руку, одно прикосновение к которой возвращало их друг другу из плена самых далеких мыслей.

Басаргин шел и думал о том, что вот начинает светать, и город, по которому он шел ночью, выглядит уже веселее, и маленькие домики на рассвете смотрят приглядней и крепче, и даже в самой их скороспелой дощатой и бревенчатой простоте все равно есть свидетельство веселой и неистребимой способности к возрождению.

«Хотя, реально рассуждая,— подумал он,— строить еще до черта!»

Но разве он не реалист? Разве он этого не знает? И разве у него все-таки не хорошо на душе? Хорошо, потому что нет неосу-

ществимых надежд. В жизни человека — да, есть. Но в жизни людей — нет!

— Мы ведь с тобой романтики, да? — вдруг остановившись, спросил он Катю и посмотрел ей в лицо.

— Да,— сказала она, не понимая хода мыслей, приведших его к этому вопросу, но радуясь тому знакомому и любимому ею выражению его лица, которое безошибочно говорило ей, что он счастлив в эту минуту.

— Да, конечно,— сказал он. Они пошли дальше, и она подумала, что теперь, когда он вернулся, она, как это ни трудно, все-таки будет кончать свой институт. В конце концов ей только двадцать восемь. Ну, положим, в мае будет двадцать девять. Ну двадцать девять, так что же? В эту минуту она не могла представить себе, что, кроме них двоих, где-то в Москве есть еще один давно и совершенно чужой ей человек, который, ссылаясь на какие-то странные законы и права, от времени до времени пишет ей глупые письма, называет ее в них своей женой и то просит, то требует, чтобы она вернулась к нему.

Она отпустила руку Басаргина, взяла его под локоть, прижалась к нему и так же неожиданно, как он, спросила:

— Ничего, что в мае мне будет двадцать девять?

И он тоже не понял хода ее мыслей, приведшего к этому вопросу, но инстинктивно сделал самое лучшее, что мог сделать в ответ. Он молча притянул ее к себе, обнял и очень долгим поцелуем поцеловал в губы. А потом, все еще ничего не говоря, взял за руку, и они пошли дальше.

На пустой до этого улице начали появляться первые спешившие на работу прохожие. Чуть слышно пахло дымом, и над крышами высокие прямые дымки уходили в безветренное небо.

«Дым отечества»,— подумал Басаргин.— «Дым отечества...» — повторил он мысленно.

* * *

Ночь. Я сижу у открытого окна в номере гостиницы и вижу белый купол Капитолия, за которым дома и еще дома, чужие дома Вашингтона. И океан. И Европа, и только там, за всем этим, границы моего отечества — Страны Советов.

— Дым отечества,— шепчу я.

И перед моими глазами проходят весенние хляби Украины, дымы далеких пожаров, артиллеристы, несущие на руках снаряды.

Красная площадь. Дождь. Мокрые фашистские знамена, падающие к подножию Мавзолея.

Юность. Маленький завод. Четырнадцатилетние мальчишки, фрезерующие на старых станках детали для Сталинградского тракторного.

Детство. Курсанты в островерхих шлемах идут в Рязани по Ряжской улице на антоновцев и поют: «Слушай, рабочий, война началася...»

Праздники. Чкалов, осыпанный цветами, едет по кричащей улице Горького.

Тризны. Молчаливая очередь движется по Большой Дмитровке к затянутым крепом дверям Колонного зала.

И мужество, мужество и еще раз мужество.

Плакаты со словами Джамбула: «Ленинградцы, дети мои!» — на растерзанном Невском проспекте.

Разведчики на Рыбачьем полуострове у радиоприемника, плачущие от счастья, потому что седьмого ноября тысяча девятьсот сорок первого года в Москве, на Красной площади, несмотря ни на что, все-таки состоялся парад!

Сталинградская переправа. Девушка, которая переправляет раненых через Волгу каждый день, три раза туда и три раза обратно, виновато говорит мне о том, как ей хочется жить и любить...

Отечество, милое отечество! Я говорю о тебе таком, каким я видел и знаю тебя. Молчаливо любимое, верно хранимое в бедствиях, наше советское отечество! Что же ты такое? Семья Басаргиных? Или семья человека, который будет в типографии набирать эту книгу? Или любая другая во имя твое трудившаяся и воевавшая семья? Или семья народов, семья миллионов людей, впервые за существование человечества разрушивших ужасную ложь о неизбежности миллиона одиночеств? Или ты — все это, вместе взятое и, как океан в каплю воды, помещенное в душу одного человека, а значит — в миллионы душ, из которых каждая есть самое надежное хранилище частицы отечества, частицы общей души миллионов?

Не в этом ли твоя сила, твоя слава и твоя непобедимость, мое израненное войной, но могучее, еще не залечившее всех ран, но уже снова хулимое врагами, мое гордое и неукротимое отечество!

1946—1956

ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Над монгольской степью пылал беспокойный и яркий, полосатый апрельский закат. Верхняя полоса была черно-фиолетовая, под ней синяя, под ней зеленая, еще ниже желтая, переходившая в нижнюю, ярко-багровую полосу, которая лежала на самой земле. Закат обещал ветер, но сейчас было так тихо, что каждая травинка в степи стояла отдельно и неподвижно.

За последним домом городка сразу начиналась степь, она тянулась до горизонта, скрывалась за ним, и, глядя на нее, трудно было представить себе, как далеко она шла и где кончалась.

Последний дом городка был почтой. Капитан Климович зашел туда, как всегда, пятнадцатого числа, чтобы отправить теще в Бобруйск заказное письмо, подтверждавшее перевод денег по аттестату. Он сдал заказное, получил два письма, пришедших на его имя,— одно от тещи и второе из Москвы, тут же, на почте, проглядел их, послал в Москву ответную открытку с поздравлением к Первому мая и, выйдя на воздух из маленького, душного домика почты, несколько минут постоял, глядя в степь, на багровый закат.

Он смотрел на закат и, к собственному удивлению, все никак не мог оторваться от этого зрелища, достаточно обыденного для человека, второй год живущего в Монголии.

— Вот так и начнется,— проговорил Климович.

Слово «начнется» относилось к войне, хотя если бы он спросил себя, почему он подумал так именно сегодня, глядя на этот закат, то едва ли сумел бы дать связный ответ на собственный вопрос.

Монгольский городок, где танковая бригада стояла уже второй год, в одном гарнизоне с бронедивизионом монгольской кавалерийской дивизии, был совсем не похож на город в том понимании, в каком для Климовича были городами Чита, где они стояли до этого, или Бобруйск и Термез, где он служил еще раньше. Го-

родок стоял среди необозримой травянистой пустыни Восточной Монголии. От него уходили три дороги: хорошо накатанный западный тракт на Улан-Батор, тракт на северо-восток, в пятистах километрах отсюда пересекавший, близ станции Борзя, советскую границу, и слабо наезженная дорога на восток, в сторону Маньчжурии.

Городок так мало возвышался над степью, что за пять километров были видны лишь мачты радиостанции. Кроме казарм, в городке было два десятка одноэтажных домиков, где жили командиры с семьями, несколько домов, принадлежавших монгольским гражданским учреждениям, две лавки монгольской кооперации и длинный глинобитный барак — кино.

Вокруг домов по степи были разбросаны большие, круглые, теплые, с железными печками внутри, монгольские юрты. Они-то и составляли город.

Бригаду перебросили сюда из-под Читы в начале сентября 1937 года, за неделю до срока, который японцы наметили для внезапного вторжения в Монголию.

Одной из частей, вступивших тогда в Монголию в соответствии с протоколом о взаимной помощи, была бригада, где служил Климович. Вторжение не состоялось потому, что японцы в тот год планировали операцию против одной монгольской армии, без расчета на столкновение с советскими войсками. В следующем году произошли события у озера Хасан, а что могло принести это третье лето — лето 1939 года,— трудно было заранее сказать. Во всяком случае, бригада уже полтора года стояла здесь в полной боевой готовности.

В прошлом году отпуска командному составу отменили; имелись основания предполагать, что их отменят и в этом. Правда, последние месяцы на границе было сравнительно тихо, если не считать угонов скота и перестрелок кавалерийских разъездов. Но эта тишина ровно ничего не значила.

Стремясь отделаться от мысли, с которой он только что смотрел в степь, на закат, Климович шел по улице и гадал — есть ли шансы на тихое лето и, следовательно, на отпуск осенью?

До квартиры, где стоял Климович, предстояло пройти больше двух километров, и он торопился скорей отшагать их. Начинало стремительно темнеть, батарейка в фонарике была, по его расчетам (а расчеты у него всегда были точные), на исходе, и, пройдя два квартала, он упрекнул себя за потерю времени, ушедшего на бесцельное созерцание заката, что не входило в его привычки.

Стало совсем темно. Юрты слились с темнотой; лишь кое-где смутно белели оштукатуренные дома. Климович зажег фонарь,

и слабое белое пятнышко побежало впереди него, как собака на коротком, туго натянутом поводке.

Батарейка, как и предполагал Климович, кончилась раньше, чем он дошел до дома. Было уже восемь вечера. Он поморщился, подумав, что жена теперь непременно упрекнет его за то, что он пошел прямо на почту, не заходя домой, и скажет, что письмо ее матери насчет денег можно было послать и завтра. А ему не захочется объяснять, что он предпочитает делать эти вещи так же аккуратно, как аккуратно платят жалованье ему самому.

— Здравствуйте, товарищ капитан! — раздался голос за спиной Климовича, и свет чужого фонаря лег ему под ноги.

Климович обернулся. Догнавший его человек был Даваджаб — командир монгольского бронедивизиона.

— Что так поздно? — спросил Климович.

— Не знаю.— Даваджаб пожал плечами.— Только что пришел из штаба к себе в юрту — и опять вызвали в штаб. А вы откуда и куда?

— Домой, с почты.

— Ну как, получили письма или еще пишут? — спросил Даваджаб, как всегда чуть-чуть щеголяя превосходным знанием русского языка и светя под ноги Климовичу своим фонариком.

— Долго письма идут,— вместо ответа сказал Климович.— Из Москвы — на двенадцатый, а из Бобруйска— на двадцать второй.

— Далеко. Скучаете немножко, да?

— Некогда. Сарычев скучать не дает. Сами видели! — Климович имел в виду трехдневные совместные с монголами учения, которые проводил командир бригады Сарычев.

— Товарищ Сарычев очень тяжелый человек,— с восхищением, не соответствовавшим его словам, сказал Даваджаб.— Очень тяжелый человек.

— Вот именно.— Климович вздохнул и вспомнил, как Сарычев вывел сегодня на стрельбах «удовлетворительно» всей отлично стрелявшей роте Климовича за персонально плохую стрельбу командира третьего взвода лейтенанта Овчинникова.

— Значит, не скучаете? — вернулся Даваджаб к тому, с чего начал разговор.

Они уже подошли к домику, где жил Климович.

— Деревьев мало у вас,— неожиданно сказал Климович.— Хоть бы вы их сажать начали, что ли. Ни тебе леса, ни тебе сада, просто тоска берет! — И, спохватясь, что, кажется, сказал грубовато, добавил: — Я белорус, лесной человек, поэтому и тоскую. А вообще-то, конечно, природа у каждого своя, какая кому нравится.

Даваджаб рассмеялся. Его насмешило непривычное сочетание слов: «лесной человек».

— А я степной человек,— сказал он,— люблю, чтобы всегда было небо над головой.

— То-то я заметил, вы верхние люки в бронемашинах закрывать не любите.

— В бою закроем, а пока, на учениях, можно воздухом дышать.

— Между прочим, напрасно,— сказал Климович.— Я, например, почти не хожу с открытым люком — тренирую себя с закрытым, и на плохую видимость, и на духоту — на пары бензина, на пороховые газы. Бой — не стрельбы, весь боекомплект придется расходовать! Ну что ж, до завтра!

Сидя на высоком детском стульчике у накрытого клеенкой обеденного стола, дочь Климовича Майя (ее назвали так по настоянию отца, и потому, что она родилась в мае прошлого года, и потому, что он еще с детского дома любил это родившееся после революции имя) с помощью матери ела жидкую молочную кашку, время от времени выдувая ее обратно большими белыми пузырями.

Климович снял фуражку с наголо бритой головы и улыбнулся. У него была неожиданная для тех, кто его не знал, добрая, широкая улыбка, для которой, казалось, физически нет места на его загорелом, жестком, будто кованном из красной меди лице.

Он расстегнул верхнюю пуговицу гимнастерки, опустился на стул, и его жена Люба сразу поняла по выражению лица, что он сегодня устал, чем-то расстроен, чем-то взволнован и хочет поговорить с ней.

Когда уже не первый год живешь с таким неговорливым человеком, то невольно так хорошо изучишь его молчаливое лицо, что читаешь на нем гораздо больше, чем все остальные люди.

Приподняв дочь под мышки, Люба вытерла с ее губ остатки каши и сказала:

— Ну, пойдем спать. Спокойной ночи, папа!

Держа дочь на руках, она на минуту присела рядом с мужем, и Майя неуклюже ткнулась горячими губами в холодную, твердую, дышавшую степной прохладой щеку отца.

Оставшись один, Климович расстегнул еще пуговицу, искоса, недовольно посмотрел на почерневший за день уголок подворотничка и, пока жена укладывала дочь, взялся за лежавшие на столе газеты.

Центральные газеты шли сюда почти месяц. Последние номера были за конец марта. Гитлер захватил Чехословакию, и стра-

ницы газет пестрели тревожными заголовками. Отшвыривая листки календаря, война там, на западе, приближалась, кажется, еще быстрей, чем здесь, на востоке.

Подумав об этом, Климович невольно вспомнил тамошние приграничные гарнизонные городки: Каменец-Подольск, Волочиск, Проскуров, где он проходил службу до переброски сюда, на Дальний Восток. Для него, военного человека, война была экзаменом, который неизвестно когда состоится, но к которому надо готовиться всю жизнь. И все-таки мысль о близости войны заставила его сейчас нахмуриться. Ощущение, что остается все меньше возможностей хотя бы отодвинуть ее начало, было нерадостным.

Когда Люба, уложив дочь, подошла и села рядом, его лицо удивило ее своим ожесточенным выражением.

— Что с тобой, Костя? Чем ты недоволен?

— Тем недоволен,— сказал он, не тратя времени на предисловия,— что Овчинников получил сегодня в поле за стрельбу по движущейся цели «плохо», а из-за этого рота еле-еле вышла на «удовлетворительно». Вот тебе и твой Овчинников! Бедный, расстроенный! У него жена рожает!

— Она и в самом деле рожает.

— Ну и напрасно! — отрезал Климович и, увидев, что жена улыбается, сердито спросил: — Ну что ты улыбаешься? Не понимаешь, а улыбаешься.

— Чего же я не понимаю, Костя? — продолжала улыбаться жена.

— А того,— не смягчаясь, сказал Климович,—что детей нарожать — это еще не все. Их еще в скором времени защищать придется! А такие, как Овчинников...— Он не договорил и сердито махнул рукой.

— Ну, жене Овчинникова уж поздно передумывать,— полушутя-полусерьезно сказала Люба,— ее рожать увезли.

— Вот именно поздно,— сказал Климович.— А ты не понимаешь.

Он приподнял кипу газет, снова бросил их на стол, встал и заходил по комнате.

— Что ты обедал в штабе, я уже знаю,— терпеливо переждав несколько минут, сказала Люба.— Что не хочешь ужинать, тоже знаю...

— Все ты знаешь,— покосился на нее Климович, подумав, что она действительно всегда и все о нем знает.

— А вот как все-таки, выпьешь или не выпьешь сегодня чаю,— этого я не знаю.

— Выпью,— сказал Климович, и Люба вышла в общий коридор, который одновременно служил им и кухней.

Климович снова сел к столу и вытащил из кармана гимнастерки оба полученных сегодня письма. Он писал немногим, и ему тоже писали немногие: Роза Соломоновна — заведующая детским домом, где он воспитывался, и двое или трое старых сослуживцев. Письмо, пришедшее из Москвы, было как раз от одного из них, капитана Артемьева, заканчивавшего там Академию имени Фрунзе. С этим Артемьевым они когда-то вместе учились еще в семилетке, потом встретились в Проскурове — служили в одном гарнизоне, а теперь Артемьев писал, что надеется после академии попасть сюда, на Дальний Восток.

— Вот, получил письмо от Артемьева,— сказал Климович, когда Люба вернулась с чайником.

— Ах, вот почему так поздно — ты на почте был!

Климович приготовился выслушать выговор, как прошлый раз, но Люба только спросила, что пишет Артемьев.

— Пишет, что заканчивает академию и хочет попасть на Дальний Восток. Может, еще и в третий раз судьба сведет...

Люба налила чаю и подошла к этажерке, где на верхней полочке, без рамок, стояло несколько старых фотографий. На одной из них Климович был снят вместе со своими товарищами по седьмому классу. Они выстроились на школьном дворе в линейку, по росту. Вторым справа стоял Артемьев, здоровый, не по-мальчишески плотный парень с буйной шевелюрой. Климович уже раньше показывал его Любе на этой фотографии. Крайним слева стоял сам Климович, стриженный под машинку, маленький, насупленный, небрежно сунувший руки в карманы.

— Ой, какой ты был смешной! — сказала Люба, глядя на фотографию.— А у меня так и не осталось карточки нашего седьмого класса.

— Почему? — повернулся к ней Климович.

— Нас сняли, а потом оказалось, что все карточки наклеили на паспарту и нужно за них заплатить по три рубля. У меня не было, мама не дала. А потом я все-таки достала деньги, но фотографий уже не было. В общем, глупо вышло,— с досадой сказала она.

Глядя на школьную карточку Климовича, ей вдруг очень захотелось показать ему свою.

Она еще раз взглянула на фотографию. Неужели этот худенький, напыжившийся парнишка — ее Климович, которого она встретила три года назад точно таким же, какой он сейчас: широкоплечим, очень решительным, очень вежливым, очень бритым и, главное, просто немыслимым без военной формы...

— А второе письмо — от Анны Семеновны,— сказал Климович,— на, прочитай.

Люба села напротив за стол и быстро прочла письмо, написанное хорошо знакомым почерком, таким чересчур уж тонким и аккуратным, словно тот, кто писал письмо, пока писал, все время поджимал губы.

Мать Любы, Анна Семеновна, вообще любила поджимать губы и так, с поджатыми губами, едва приоткрывая их, деловито и подробно жаловалась на родных, на знакомых, на соседей, на плохие по отношению к ней поступки разных людей, на дороговизну, на то, что мало денег, на то, что ее никто не любит. Уже после революции и смерти мужа она, если находила благодарную слушательницу, все еще жаловалась на то, что, происходя из «хорошей семьи», вышла замуж по любви и безрассудству и этим испортила себе всю жизнь.

Люба очень любила своего рано умершего отца, телеграфиста станции Бобруйск, и с детства жила в душевной отчужденности от матери. Мать не работала, пока был жив отец Любы, и не начала работать, когда он умер, хотя тогда ей не было сорока. Она стала получать маленькую пенсию за мужа и ежемесячные деньги от брата мужа, служившего в Киеве, как она говорила, «на большом месте». Кроме того, она круглый год писала длинные и жалостные письма то одним, то другим родственникам, своим и мужа, и иногда получала от них деньги или приглашение погостить.

С пятнадцати лет, едва окончив семилетку, Люба служила машинисткой и содержала мать, отдавая ей все до копейки, но в душе все меньше разделяя ее понятия и все меньше любя ее и, может быть, поэтому редко ссорясь с ней.

Письмо матери было, как обычно, приторно ласковое. Она называла Климовича «милым Костичкой», благодарила за полученные в срок деньги и просила прислать,— если он что-нибудь решит прислать к ее именинам,— лучше всего шаль. «Там у вас, говорят, хорошие шали»,— писала она.

Прочтя про шаль, Люба нахмурилась и недоуменно пожала плечами. Никаких шалей, ни хороших, ни плохих, тут и в помине не было.

— Насчет шали? — заметив выражение ее лица, спросил Климович.— Что ты об этом думаешь?

— Думаю, что мы с мамой — совсем чужие люди. И уже давно так думаю. Лет десять.

— Десять? — протянул он с мужской самоуверенностью.

— А ты считаешь, что я начала думать только с тех пор, как вышла за тебя замуж?

Она сказала это мягко, без вызова. И он посмотрел на ее задумчивое, доверчивое лицо. Ведь и в самом деле Люба не родилась в тот день, когда он увидел ее. Она до этого уже семь лет самостоя-

тельно жила и работала и думала о жизни что-то свое собственное, независимое от него, тогда еще вовсе незнакомого ей человека.

— Люба!

— Что?

— А ты сразу решила пойти за меня замуж, когда я попросил тебя? — неожиданно спросил Климович.

— Сразу.

— Ни минуты не колебалась?

— Не колебалась.

Это была правда, она не колебалась.

— А что сказала тогда Анна Семеновна? Ты мне тогда сказала, что пойдешь с ней советоваться.

— Я не хотела с ней советоваться.

— А почему же ты сказала?

— Я уже решила, что выйду за тебя замуж, но пошла к маме, чтобы она не обиделась. Чтобы все было так, как будто я с ней заранее советовалась.

— А что она сказала?

— Ничего.

— Ну, как ничего?

— Ну, все равно что ничего.

— А все-таки?

— Сказала, что сто́ит.

Что-то в интонации ее голоса задело Климовича.

— В каком смысле сто́ит?

Люба посмотрела на мужа. Ей не хотелось отвечать, но она почувствовала, что он все равно повторит свой вопрос еще раз.

— В том смысле сто́ит, что ты был старший лейтенант и получал хорошее жалованье.

— Неужели так?

— Так.

— Почему ты мне не сказала тогда?

— Не хотела.

— Неприятно,— брезгливо сказал Климович.

— Конечно,— согласилась Люба.— Ведь мы и не живем с мамой.

Климович посмотрел на нее вопросительно.

— Не живем не потому, что она не хочет, а потому, что я заставила ее сказать, что она не хочет. Потому что я не хотела и все равно бы не стала.— Люба решила довести до конца этот так неожиданно начавшийся, но давно предвиденный ею разговор.— Я не люблю маму. То есть я ее, конечно, люблю,— из чувства долга поправилась Люба,— люблю, но не уважаю. Когда я решила вый-

ти за тебя замуж, я сразу подумала, что мы не будем жить втроем, что нам всю жизнь испортят ее купеческие понятия. Или с мамой, или с тобой. А ты до сих пор не догадался? Да? Ты еще недавно, когда родилась Маечка, написал ей, чтобы приезжала. Да?

— Да.

— А я написала, чтобы не приезжала, и она на меня обиделась, а тебе все время пишет: «Милый Костичка!» Эх ты! — добавила Люба и, смягчая свои слова, прижалась щекой к щеке мужа.

В дверь постучали.

— Войдите,— отстраняясь от мужа, сказала Люба.

Климович повернулся к двери. В комнату вошел Русаков — политрук саперной роты, сосед Климовичей по дому.

— Что, Коля, может, с нами чаю? — спросил Климович.

— Нет, я уже пил,— сказал Русаков, садясь и кладя на стол несколько газетных подшивок и стопку брошюр.

Его появление было обычным. Он почти каждый вечер приходил играть в шахматы или звал Климовича к себе и, пока тот подолгу думал над ходами, отходил от стола и возился со своими тремя детьми. Русакову было уже под сорок, с женой он жил давно, но дети у них появились поздно и были предметом его неумеренной нежности, даже немножко смешной со стороны.

На этот раз Русаков пришел с чем-то важным и носившим служебный характер — Климович понял это не спрашивая. Поняла и Люба. Выждав для приличия минуту, она поднялась и сказала, что пойдет проведать жену Русакова.

— А что же чай? — спросил Климович.

— А я ненадолго.— Люба вышла.

— Умная у тебя жена,— сказал Русаков.

Климович промолчал.

— Уходит сегодня саперная рота.

— Куда?

— В Тамцак-Булак. А там видно будет. Похоже — к границе. Приказали забрать все хозяйство, включая понтоны.

— Что так вдруг? — спросил Климович.— Еще утром ничего не было слышно. Может, потом и всю бригаду двинут?

— Не знаю. Монгольский бронедивизион тоже трогается.

— А я час назад встретил Даваджаба,— сказал Климович,— он еще ничего не знал.

Оба помолчали.

— Пришел я вот почему,— сказал наконец Русаков так, словно все, о чем они говорили до сих пор, было делом второстепен-

ным, и положил руку на принесенные с собой газетные подшивки и брошюры.— Мне ведь к Маю доклад надо было сделать.

Климович знал это. На прошлом заседании партбюро Русакову поручили подготовить доклад «Социалистическое строительство и укрепление обороноспособности страны».

— Хорошо, если бы ты взялся,— сказал Русаков.— Бюро, я думаю, возражать не будет. Материалы я уже подготовил, заложил и отчеркнул. Брал главным образом по материалам Восемнадцатого съезда,— Русаков снова дотронулся до газетных подшивок,— но кое-что привлек и старое — по первой и второй пятилеткам. Для сравнения. Чтобы видна была дистанция.

«Придется теперь сидеть по ночам»,— мельком подумал Климович и спросил Русакова о том, что с первой минуты их разговора не выходило у него из головы:

— Зачем же все-таки приказано брать понтоны? Если переправу строить, то, значит, через Халхин-Гол,— другой реки там нету.

— Возможно, учения...

Климович недоверчиво пожал плечами.

— Больно уж на носу у японцев...

Прервав их разговор, в дверь вошел посыльный красноармеец и сказал, что Русакова вызывает комиссар бригады.

Русаков встал и надел фуражку. Он молчал, колеблясь, прямо ли проститься с Климовичем или затруднить его одной просьбой личного характера, о которой перед тем, как он пошел к Климовичу, напомнила ему жена.

— Если тут без меня будут переезжать в новые дома,— поколебавшись, сказал он наконец,— ты, я думаю, поможешь моим переехать. И в случае чего напомни начальству насчет двух комнат. Все-таки трое ребят.

— Все будет в порядке, вместе перевеземся,— сказал Климович.— Только едва ли это скоро произойдет. Еще не кончили штукатурить.

Русаков вместо ответа пожал плечами — он не знал, сколько продлится его отсутствие.

— Подожди, я тебя провожу полдороги,— сказал Климович, которому хотелось докончить разговор, прерванный приходом посыльного.

Пошарив на этажерке, Климович нашел запасную батарейку для фонаря, заменил старую и вышел вместе с Русаковым.

Когда Люба вернулась, в комнате никого не было, только за занавеской тихо посапывала Майя.

«Все-таки простудилась вчера вечером, когда гуляла,— подумала Люба.— Надо раньше возвращаться домой».

Она поплотнее задернула занавеску у постели и, подойдя к окну, открыла одну створку, чтобы проветрить комнату.

Город спал. Лишь в той стороне, где размещался штаб, горели маленькие частые огоньки.

«Наверное, пошел провожать»,— подумала Люба о муже. Она знала, что он привязан к Русакову и, должно быть, сейчас огорчен его отъездом, о котором ей сказала жена Русакова, Ольга Владимировна.

Подойдя к столу и увидев на нем подшивки газет, оставленные Русаковым, она рассеянно, думая о другом, раскрыла верхний комплект на первой закладке. На газетном листе красным карандашом была отчеркнута небольшая заметка под заглавием: «На строительстве величайшего сооружения в мире».

Обратив внимание на заголовок, она быстро пробежала глазами всю заметку. Там было сказано, что в третью сталинскую пятилетку уже развертывается строительство величайшего в мире сооружения — двух Куйбышевских гидростанций. Корреспондент «Правды» связался по телефону с городом Куйбышевом и попросил начальника строительства товарища С. Я. Жук рассказать о том, что делается сейчас на строительной площадке...

Люба закрыла подшивку. Совсем недавно еще только говорили про них и вот уже начали строить эти гидростанции. А в четвертой пятилетке должны закончить.

«Если только не будет войны»,— вдруг подумала она.

Чувствуя, как под ноги потянуло холодным воздухом, она подошла к окну, чтобы закрыть его, но вместо этого, став коленками на табуретку, еще долго смотрела в непроглядную монгольскую ночь с маленькими, далекими огоньками, думая о том, что она никогда не говорила мужу: что для полного счастья ей нужно жить с ним не здесь, а пускай в самом захолустном из захолустных, самом обыкновенном из обыкновенных, русском или белорусском городке.

Из-за поворота сверкнули фары, и мимо дома стали одна за другой проходить бронемашины. С силой гудели моторы, и снопы света ложились на откинутые крышки верхних люков. В башнях стояли командиры бронемашин, в шлемах и перекрещенных ремнями кожанках, и, подавая команды водителям, кричали по-монгольски.

Люба сосчитала машины. Последняя была пятнадцатая. Значит, из городка куда-то уходит весь монгольский бронедивизион. Сердце Любы непрошено сжалось, и ей захотелось, чтобы Климович сейчас же, сию минуту, почувствовал это, бросил Русакова, вернулся сюда, стал рядом с ней и успокаивающе обнял ее за плечи своей небольшой сильной рукой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Академии имени Фрунзе царила та особенная атмосфера, которая бывает накануне Первого мая. Заканчивался учебный год. У всех было предчувствие перемен: одним предстоял отпуск, другим — выезд в лагеря. Наконец, назавтра всем предстоял парад — и за ним целых три свободных дня.

Только что вышла многотиражка «Фрунзевец» с заголовком «Высоко держать честь академии!» и с портретами выпускников, окончивших академию с отличием. Среди них был и портрет капитана Артемьева. Артемьев заметил это, мельком глянув в газету через плечо знакомого первокурсника. Они оба стояли в очереди, сдавая книги в академическую библиотеку.

— Подари газету,— сказал Артемьев.

— Бери, что с тобой поделаешь,— улыбнулся первокурсник,— вы сегодня именинники!

Сдав книги, Артемьев решил перед уходом домой подняться в буфет, выпить бутылку пива — день был не по-весеннему жаркий.

На седьмом этаже, в буфете, было почти пусто. Только за столиком у окна, медленно прихлебывая крепкий чай, сидел майор Хабаров, у которого Артемьев когда-то служил в батальоне.

— Как, товарищ комбат,— по старой памяти спросил Артемьев, подсаживаясь к Хабарову,— может, бросишь чаишко да выпьем пивка? А то скоро расстанемся.

— Что, уже получил назначение?

— Пока нет, ожидаю. Так как насчет пива?

— Не могу,— хриплым голосом сказал Хабаров,— видишь, горло полощу — голос потерял. Был сегодня по путевке МК на «Каучуке», делал доклад о международном положении,— прямо закидали вопросами: отчего да почему? И главное — почему в Испании в конце концов все насмарку? А что им сказать? Я бы им, конечно, сказал, что, окажись там в свое время пяток таких дивизий, как, например, наша с тобой Двадцать третья, так мы бы уж как-нибудь помогли этого Франко вместе с его итальянцами и немцами, как Врангеля, в море скинуть. Но этого же не скажешь!

— Не рекомендуется.

— Вот именно,— по-прежнему с хрипотой в голосе продолжал Хабаров.— Зато уж и по Англии, и по Франции, и по всему их невмешательству, и прочему шемякину суду проехался, как мог, без дипломатии, будь спокоен! Зачем, говорю, далеко ходить в Испанию, когда у нас перед глазами Чехословакия, которую

англичане и французы по первому требованию Гитлера продали ему со всеми потрохами? Как Иуды Искариоты!

— Да, уж это действительно без дипломатии! — рассмеялся Артемьев.

— А что мне дипломатия? Я не Литвинов,— проворчал Хабаров и, достав кошелек, стал расплачиваться.— Бывай здоров. Скорей назначение получай, а то истомишься, как девка на выданье!

Оставшись один, Артемьев приподнялся со стула и облокотился на подоконник. За верхушками деревьев Пироговского сквера были видны крыши домов Усачевки, где отец Артемьева получил квартиру еще в тысяча девятьсот двадцать седьмом году в одном из первых домов нового рабочего квартала. Отец умер в эту зиму, а у матери, видно, была уж такая судьба, теперь особенно трудная для нее,— то встречать, то провожать за тридевять земель то сына, то дочь. Когда Артемьев после нескольких лет кочевья по дальним гарнизонам приехал поступать в академию, его младшая сестра Маша уехала в Комсомольск-на-Амуре. Теперь она три дня как вернулась, но зато он на днях получит назначение и уедет.

«Как встречные поезда»,— подумал Артемьев.

— Вас обыщешься! — заглянув в буфет и увидев там Артемьева, сердито сказал помощник дежурного по академии.— К начальнику отдела кадров!

Начальник отдела кадров, перед которым через три минуты стоял Артемьев, был немногословен вообще и, кроме того, собрался обедать.

— Наконец-то,— сказал он, запирая ящики стола и привычно одну за другой дергая ручки.— Вам приказано явиться в наркомат. Комбриг Мельников, комната двести семьдесят один, к восемнадцати часам.

Через полчаса Артемьев шагал по коридорам старого наркоматского здания на улице Фрунзе, разыскивая двести семьдесят первую комнату и думая о том, как много людей до него уже спешило по этим коридорам навстречу своим желанным и нежеланным назначениям.

Вот и номер двести семьдесят один. Артемьев открыл дверь в узкую комнату с двумя адъютантскими столами, с двумя дверями, налево и направо, в кабинеты начальников и с двумя жесткими деревянными креслами для ожидающих. Сейчас в одном из этих кресел сидел майор Санаев, товарищ Артемьева по академии, как и он окончивший ее с отличием.

— Только нас двоих вызывали? — спросил Артемьев, садясь.

— Нет, троих,— сказал Санаев.— Бондарчук уже там.

Он кивнул на дверь. В эту секунду дверь отворилась, из нее осторожно вышел сухопарый майор Бондарчук, еще сохраняя то официальное выражение лица, какое было у него в кабинете.

— Куда?

— В распоряжение штаба Дальневосточного фронта,— сказал Бондарчук. Слово «фронт» звучало непривычно.

— А когда ехать?

Бондарчук пожал плечами. Раздался звонок, и адъютант нырнул в дверь кабинета.

— Капитан Артемьев! — выкрикнул он, снова появляясь в дверях, и, сделав паузу и удостоверившись, что Артемьев здесь, низким баском добавил: — Пройдите!

Артемьев прошел в кабинет. За письменным столом сидел полный комбриг, в очках, с коротким седеющим бобриком волос. Он проглядывал личное дело Артемьева.

— Здравствуйте,— сказал комбриг, когда Артемьев представился.— Садитесь.

Он снял очки, положил их на стол, потер тыльной стороной большого пальца переносицу, молча посмотрел на Артемьева и, снова надев очки, на несколько минут углубился в личное дело.

Оно было уже прочтено им заранее, но за те годы, что комбриг просидел в управлении кадров, у него образовалась привычка — после того, как поглядишь на самого человека, еще раз перелистать его дело, сверяя все, что написано о нем в разные годы разными начальниками, с собственным первым впечатлением.

Сидевший сейчас перед ним рослый рыжеватый капитан был чересчур массивен для своих двадцати семи лет, даже, пожалуй, чуть-чуть толстоват, и это не понравилось комбригу. Однако в личном деле капитана не было ничего, говорившего о лени или неподвижности. Наоборот, в графе «физподготовка» стояло «отлично» и было отмечено, что капитан держит личное первенство академии по тяжелой атлетике.

«Должно быть, просто натура такая»,— продолжая перелистывать личное дело, подумал комбриг, еще раз мельком глянув на распиравшую воротник крепкую шею Артемьева.

В личное дело были занесены все даты и сведения, которые могли интересовать комбрига: после окончания пехотного училища капитан два года командовал учебным взводом, три года — стрелковой ротой и, наконец,— Академия Фрунзе.

Ротой капитан командовал в пограничном с Ираном горном районе, и командовал отлично, без чего бы ему, разумеется, в двадцать четыре года не видать академии как своих ушей. В академии учился хорошо, потом отлично и после защиты дипломной

работы получил предложение остаться адъюнктом при кафедре штабной службы, но отказался и попросился на командную должность.

Сидя у стола, боком к комбригу, Артемьев, не поворачивая головы, искоса видел, как тот время от времени поглядывал на него.

Сегодняшний вызов взволновал его, потому что, по первым приметам, мог окончиться назначением на Дальний Восток.

Еще в адъютантской, узнав, что его вызвали вместе с Санаевым и Бондарчуком, так же, как и он, изучавшими японский язык, Артемьев понял, что вряд ли это простое совпадение. Войдя в кабинет комбрига, он сразу обратил внимание на большую, в полстены, карту дальневосточного театра, где со времени вторжения японцев в Маньчжурию наши войска уже восьмой год находились в постоянной боевой готовности. Назначение именно на Дальний Восток, особенно после прошлогодних хасанских событий, было, по мнению Артемьева, пределом того, чего мог желать для себя человек, избравший военное дело своей профессией.

Уже почти убежденный, что его пошлют на Дальний Восток, но все еще боясь окончательно поверить в исполнение своих желаний, Артемьев следил за комбригом, листавшим его личное дело: неужели там есть что-нибудь, что может помешать его назначению? И, к своей радости, не мог вспомнить. Служба в пограничном районе, казалось, говорила в его пользу. Он еще раз мысленно похвалил себя за выбор дипломной темы — «Японский офицерский корпус в войне 1904—1905 гг.». Тема была военно-историческая, но сейчас она звучала современно, что и было отмечено на кафедре. Наконец, язык. Японским языком в академии занималось не так уж много людей, и Артемьев считался одним из лучших.

— Скажите по совести,— комбриг отложил личное дело и поднял на Артемьева глаза,— что означает оценка «хорошо» по японскому языку? «Хорошо» со словарем или «хорошо» без словаря?

— «Хорошо» со словарем, «удовлетворительно» без словаря,— честно сказал Артемьев.

— А разговорная речь? — прищурившись, спросил комбриг.

— С преподавателем друг друга понимаем,— не удержавшись, усмехнулся Артемьев.

— А дальнейшее — пока загадка, так, что ли?

— Другой практики пока не имел, но хотел бы иметь!

Комбриг улыбнулся и отодвинул от себя личное дело, как что-то, к чему он уже не собирается возвращаться.

— Итак, академию окончили отлично?

— Так точно.

— С чем и поздравляю, как выпускник тысяча девятьсот двадцать девятого года,— сказал комбриг.

Он снял очки, положил их на личное дело Артемьева и так же, как и в первый раз, слегка потер переносицу.

— На здоровье жалоб нет?

— На здоровье не жалуюсь, товарищ комбриг.— Артемьев невольно скосил глаза на свою фигуру и с трудом удержал улыбку.

Комбриг чуть пожал плечами, как бы говоря, что в таком вопросе нельзя доверять ни внешнему виду, ни личному делу.

— Служить на Дальнем Востоке хотите?

— Хочу, товарищ комбриг!

— Командование намерено отправить вас в распоряжение штаба Дальневосточного фронта для использования на оперативной или разведывательной работе. Как? — спросил комбриг, вскидывая глаза на Артемьева и произнося это «как?» больше для того, чтобы закончить фразу, чем для того, чтобы спросить мнение Артемьева.

— Слушаюсь! — радостно и громко отчеканил Артемьев.

— Выезд в ближайшие дни,— сказал комбриг, всем своим видом давая понять, что он и не ожидал иного ответа.— С завтрашнего дня у дежурного по академии, где бы вы ни находились, должны оставаться ваши координаты!

Из наркомата шли втроем по уже начинавшему чуть-чуть зеленеть Гоголевскому бульвару. Говорливый майор Санаев, так же, как и Артемьев с Бондарчуком, получивший назначение в распоряжение штаба Дальневосточного фронта, шел своей приплясывающей, легкой походочкой, то и дело во время разговора забегая вперед и полуоборачиваясь. Он был в прекрасном расположении духа, радовался, что завтра они, как выпускники, окончившие академию с отличием, впервые будут во время парада стоять на трибунах и смотреть оттуда, как проходит их академия. Ему сейчас не хотелось говорить ни о чем серьезном,— на его лице, похудевшем за два последних бессонных месяца, блуждала безотчетно счастливая улыбка...

— Там, говорят, повсюду прекрасная охота. Будем по воскресеньям охотиться.

— Или готовиться к командирской учебе,— насмешливо сказал Артемьев.

— Ну уж, сказал! В таких местах или командир части, или комиссар, или хоть начальник штаба — кто-нибудь да непременно охотник. Авось найдется добрая душа, понимающая наши с тобой охотничьи души...

— Эх, Александр Ревазович! — сказал Артемьев, полуобняв

за плечи Санаева, с которым он ближе всех сошелся в академии и очень хотел бы служить вместе.— Боюсь, что в разных местах и разные командиры и комиссары будут понимать наши с тобой души.

— Санаев думает, что Дальний Восток — как его Осетия: с горы на гору все видно,— сказал Бондарчук.— А Дальний Восток — больше, чем Европа. Ты будешь сидеть где-нибудь в Посьете, а он в Борзе, и будет от тебя до него как от Норвегии до Португалии.

— А ты где расположишься? — спросил Артемьев.

— Где-нибудь посередине. Я человек многосемейный, мне лучше без крайностей.

«В самом деле,— подумал Артемьев,— Дальневосточный фронт: Забайкалье, Хабаровск, Приморье, Камчатка! Целый материк! Можно прожить там пять лет и не только не встретиться с тем же Климовичем, но так и не узнать, что за точка скрыта за его почтовым ящиком 213/7».

— На днях женюсь,— вдруг сказал Санаев.

— До отъезда?

— До отъезда.

— А долго ухаживал? — спросил Артемьев.

— Год! — серьезно ответил Санаев.

— А вдруг не поедет за тобой в такую даль?

— Поедет! — весело воскликнул Санаев, и в глазах его выразился весь восторг, который он испытывал от уверенности, что эта женщина поедет за ним хоть на край света.

Они остановились у входа в метро «Дворец Советов».

— Санай-нару киодай дайсека о нозоми-мас,— улыбнувшись, произнес Артемьев высокоторжественную японскую фразу, означавшую по-русски: «Желаю моему почтенному собрату наилучших успехов во всех делах».

— Аригато! — тоже по-японски поблагодарил Санаев, поспешно пожал руки товарищам и скрылся в вестибюле метро.

Бондарчук и Артемьев пошли по Кропоткинской улице. Бондарчук собирался зайти в академию, Артемьеву было по пути.

— О чем думаешь? — спросил Артемьев.

Бондарчук уже несколько минут шел молча, глядя себе под ноги.

— О другом, чем ты.

— Почему о другом?

— А потому, что того, о чем я думаю, у тебя нет. О жене думаю,— сказал Бондарчук и задумчиво добавил: — Тебе — даешь Дальний Восток! А мне — и хочется и колется. Вот иду и думаю: где буду служить, какие будут жилищные условия, скоро ли

можно будет перевезти семью. И где детей учить? И главное — что будет там делать жена? Работа по ее специальности, гравером, у нее там навряд ли будет. Значит, или опять придется превращаться в командирскую жену, или менять профессию. Видишь, сколько мыслей сразу. Это не то что ты: чемодан в руки — и здравствуй, Камчатка! Ну, что скажешь?

Но Артемьеву нечего было сказать на это, и они несколько шагов прошли молча.

— Если попадем куда-нибудь в город побольше,— сказал Бондарчук,— может быть, устроится ретушером. Все же отдаленно похоже. Хотя радости мало. Ну, а если в тайгу, в сопки?

— А что, если бы ты...— начал было Артемьев.

— ...доложил по начальству,— прервал его Бондарчук,— что в связи со столичной профессией жены майор Бондарчук не может служить на периферии?

— Неужели же ничего нельзя придумать? — неуверенно спросил Артемьев.

— Придумывать не берусь. Полного счастья на все случаи жизни даже для гражданских еще не придумано, а тем более для нашего брата, военного. И все-таки не завидую тебе, что ты холостой. Жена, если хочешь знать,— вторая душа.

Сказав это, Бондарчук потом всю дорогу до академии молчал. По его мнению, он и так слишком разоткровенничался.

Артемьев тоже молчал. Бондарчук был прав, не завидуя ему. Завидовать было нечему, женщина, с которой Артемьев был близок и о которой еще недавно, хотя и с некоторыми колебаниями, думал как о будущей жене, не поехала бы с ним ни в Проскуров, ни в Ахалцих, ни на станцию Борзя, хотя у нее и не было редкой профессии, как у жены Бондарчука. Наоборот, у нее была самая заурядная профессия секретарши, временно избранная ею между вузом, который она окончила от нечего делать, и замужеством, к которому она, кажется, относилась слишком по-деловому для того, чтобы выйти замуж за капитана Артемьева.

Артемьев сначала не понял этого, а потом хотя и понял, но не до конца.

Когда-то, в школьные годы, он был по-мальчишески неравнодушен к своей однокласснице Наде Караваевой, одной из самых красивых и, как говорили мальчишки, «много воооброжавших о себе» девочек из 47-й трудовой школы. Уехав в училище, он совершенно забыл о ней. Но год назад в трамвае его окликнула по имени высокая молодая женщина, в которой он не сразу узнал Надю.

Надя тогда только что окончила вуз и только что разошлась с мужем, своим однокурсником; он оказался человеком с харак-

тером и, собрав чемоданы, уехал один в далекий город, трудное название которого Надя не могла и, главное, не хотела выговаривать. Как впоследствии выяснил Артемьев, это был город Сыктывкар.

Относиться с иронией к этому событию в жизни Нади Артемьев научился много позже, а тогда, год назад, покорно глядел на ее прошлое ее глазами.

Конечно, было смешно вспоминать об их отношениях в школе, но, когда возникли новые отношения, Надя захотела и сумела протянуть тонкую ниточку к старым, и эти отношения неожиданно для Артемьева приобрели давность и силу.

Артемьев нравился ей, и ей хотелось, в свою очередь, нравиться ему, тем более что, несмотря на всю его влюбленность, помыкать им оказалось не так-то просто. Та сила характера, которую он время от времени давал ей почувствовать, и раздражала и притягивала к нему.

Как ни странно, но, может быть, именно эта сила характера и заставляла Артемьева долго обманываться в Наде. Он видел ее суетность и довольно трезво судил о ее меркантильных взглядах на жизнь. Но ему казалось, что у него достаточно воли, чтобы постепенно переменить все это. В длительности этого заблуждения, конечно, не последнюю роль играла и редкая красота Нади.

Надя была красива, молода, неглупа, находчива. Она в высшей степени обладала тем покоряющим озорством, которое люди так часто и так ошибочно принимают за истинную смелость. Она могла, не уступая мужчинам, прыгнуть с вышки, или три раза взад и вперед переплыть Москву-реку, или в ливень, стащив чулки и модные туфли, прошлепать босиком через весь город, или вдруг поцеловать смущенного Артемьева при всех в губы на самой людной улице.

Но без оглядки навсегда связать свою жизнь с человеком, который будет жить неизвестно где и неизвестно как — хорошо или плохо,— на эту простую смелость, которую вовсе даже и не считают смелостью тысячи других женщин, Надя была решительно не способна. Она, в общем, не скрывала своих отношений с Артемьевым и иногда, когда он оставался ночевать у нее, вскочив рано утром и наспех собрав ему завтрак, чтобы он не опоздал в академию, даже шутила:

— Мы с тобой теперь совсем как муж и жена!

Но ни переехать к нему, ни позвать его жить к себе она не решалась. Он считал, что не решалась. А она сама уже знала, что боится и не хочет этого.

Отъезд из Москвы, риск многолетних скитаний, на которые можно оказаться обреченной, выйдя замуж за Артемьева, пугали

ее. Зная, что Артемьев терпеть не может таких разговоров, она все же упорно стремилась узнать, останется ли он после академии в Москве, если она решительно потребует этого. В глубине же души она сначала неопределенно, а потом все настойчивей надеялась встретить еще какого-то другого человека.

Артемьев не знал этого, но чувствовал что-то неладное, и, очевидно, то же самое чувствовали его мать и его отец. Каждый раз, когда к ним в дом приходила Надя, они встречали ее молчаливым внутренним сопротивлением, в котором не было ни гнева, ни укора, а только один постоянный невыговоренный вопрос: «Ты ведь чужая нам. Почему и для чего ты здесь?»

Отец Артемьева так ни разу и не заговорил с ним о Наде и только уже больной, незадолго до смерти, вдруг сказал сыну:

— Поскорей женись. И заведи мне внуков.

И Артемьев понял по его глазам, что эти слова не имели никакого отношения к Наде. Наоборот, они исключали ее.

Однако расстаться с Надей было не так-то легко, даже когда он почувствовал, что она все меньше думает о нем как о человеке, за которого выйдет замуж. Он и сам все с бо́льшим трудом представлял ее своей женой. Но от этого трезвого чувства до решимости порвать с ней было еще очень далеко.

Лишь недавно все это резко изменилось. Сразу по многим признакам, которые трудно точно объяснить даже самому себе, Артемьев почувствовал, что привычная колея их встреч чем-то стесняет Надю, и, пересилив себя, не приходил к ней почти месяц.

Неделю назад она сама неожиданно пришла к нему.

— У меня есть к тебе одна глупая просьба,— сказала она с той робкой лаской, которая бывала у нее предвестницей лжи.— Ты, конечно, вправе отказать, и я не обижусь.

— Не понимаю.

— У меня глупый характер,— сказала она.— Я не люблю воспоминаний, даже хороших. Когда плохо, лучше, чтобы их не было. А если снова будет хорошо, они все равно не нужны.

— Извини за тупость, все еще не понимаю,— угрюмо повторил Артемьев.

— У тебя есть мои письма и записочки.

— Хорошо, я их сожгу...— начал он, но, встретясь с ней глазами, понял, что она хочет не этого.— Хорошо, я их тебе верну,— торопливо сказал он, чтобы не дать ей возможности добавить что-нибудь такое, что его окончательно взбесит. Положив пачку писем на стол, он вышел из комнаты, не желая просить, чтобы Надя ушла, и не в состоянии оставаться с нею.

Он даже и сейчас вспыхнул, вспомнив об этой минуте, когда он понял, что она решила выйти замуж за кого-то другого.

— До завтра.— Бондарчук остановился на углу, напротив академии, и, задержав руку Артемьева, улыбнувшись, спросил: — Может, и ты за оставшиеся дни пойдешь по стопам Санаева?

— Вряд ли,— мрачнея от этой невпопад сказанной шутки, ответил Артемьев.

Дойдя до дома и поднявшись по лестнице к себе на второй этаж, Артемьев сначала увидел лежавший у дверей квартиры разбухший портфель из тех, что берут в дорогу вместо чемодана, и только потом — долговязого человека, который стоял на площадке под лампочкой и читал перегнутую пополам книжку, высоко подняв ее над головой.

Долговязый человек был Синцов, школьный товарищ и ближайший друг Артемьева, работавший сейчас заместителем редактора районной газеты в Вязьме. Он обычно, приезжая в Москву на праздники, останавливался у Артемьева и на этот раз вырвался раньше, чем обычно,— Артемьев ждал его только завтра.

Увидев Артемьева, Синцов сунул книгу в карман и молча протянул руку.

Через пятнадцать минут, кое-как накрыв на стол, они оба сидели и усердно ужинали.

«Сказать ему заранее о приезде сестры или не говорить?» — спрашивал себя Артемьев. Он знал, что с тех пор, как Маша уехала на Дальний Восток, Синцов переписывался с ней и, судя по некоторым признакам, их отношения, начавшиеся до ее отъезда, в разлуке не только не ослабели, а, напротив, повернулись самым серьезным образом.

Синцов никогда не распространялся на эту тему, но в последнем письме Маши была туманная фраза о том, что, приехав в Москву, она вообще должна решить свою судьбу. Артемьеву показалось, что эта фраза относится к Синцову, и он лишь укрепился в своем убеждении, когда, приехав три дня назад, Маша с подозрительной сдержанностью спросила только одно — будет ли Синцов на Первое мая — и больше не спрашивала о нем ни слова.

«Нет, не скажу,— усмехнулся Артемьев, посмотрев на часы,— скоро сама вернется».

У Маши была путевка в Крым, через неделю она уезжала, а пока что, не теряя времени, с первого дня приезда ходила по московским театрам со своей тоже приехавшей в отпуск подругой по Комсомольску-на-Амуре. Маша почему-то задумала выдать ее замуж за брата и очень сердилась на Артемьева за то, что тот не проявлял никакого внимания к этой, очевидно, очень хорошей, но совершенно не нравившейся ему женщине.

— Чего ты улыбаешься? — спросил Синцов, отрываясь от пирога с капустой.

— Так,— сказал Артемьев,— вспомнил об одном плане моей женитьбы.

Глаза у Синцова стали сердитыми. Он не любил Надю и сейчас подумал о ней.

— Не трать зря пороху! — сказал Артемьев.— С тем, о чем ты подумал, кончено. Доедай лучше пирог — доставишь удовольствие матери.

— А где Татьяна Степановна?

— Почти не вижу ее теперь. А тем более под Первое мая. Все рухнет без нее, если она ночь не продежурит: завод на демонстрацию не выйдет, горячие завтраки остынут, детская комната останется без обедов!

Артемьев начал говорить улыбаясь, но вспомнил об отце и помрачнел. Мать пошла заведовать заводской столовой через неделю после смерти отца. Она легко дала уговорить себя на это товарищам покойного мужа, которые в данном случае думали больше о ней, чем о столовой, зная, что вылечить ее, оставшуюся в одиночестве после тридцати пяти лет жизни со своим Трофимом Никитичем, может только забота о людях.

— Словно всю жизнь она заведовала этой своей столовой,— помолчав, сказал Артемьев.— Мне старики на заводе говорили, что даже и не ожидали. Тоскует после смерти отца. Кроме существующих дел, придумывает себе несуществующие.

«И верно,— подумал Синцов, оглядывая комнату,— как ей привыкнуть к тому, что здесь нет больше Трофима Никитича, если это нелегко даже мне, чужому человеку».

Как все знакомо Синцову в этой квартирке! Он помнил ее обстановку еще совсем новенькой, двенадцать лет назад, когда они учились с Артемьевым в седьмом классе и Трофим Никитич только что получил эту квартирку от завода. Люди, жившие здесь, почти не меняли и не обновляли вещей, не имея привычки особенно замечать их. Вещи были почти все те же, что расставлялись на новоселье. Прибавилось только много книг да крошечный токарный станочек и тисочки, пристроенные Трофимом Никитичем к подоконнику, после того как он захворал и вышел на пенсию.

— Так как же, Павел, со службой? — спросил Синцов.— Останешься здесь, с матерью, или уедешь? Когда выпуск?

— Торжественный выпуск через неделю,— сказал Артемьев,— но с назначением уже решилось: на днях уезжаю на Дальний Восток.

Синцов встал из-за обеденного стола и, в два шага перейдя своими длинными ногами комнату, сел за письменный стол Артемьева, с трудом помещаясь за ним. Ему хотелось спросить о Маше, но он сделал над собой усилие и не спросил.

— А какая будет работа — строевая или штабная?

— Скорей всего, штабная.

— Доволен?

— Как тебе сказать...

Артемьев задумался, прежде чем ответить. При всем том вкусе к штабной работе, который привила ему академия, он продолжал любить строй и сам еще не знал, что в конце концов возьмет в нем верх.

— Да, в общем доволен,— сказал он, помолчав.— В штабной работе, если хочешь знать, есть своя романтика. В войсках мало кто знает, что это ты,— оператор, в скромном звании капитана или майора,— сидя в штабе, получив от командования идею решения, планировал проведение и обеспечение операции, в которой будут участвовать дивизии и корпуса, продумывал, разрабатывал и подсчитывал, потом доложил, и вот тысячи людей, повинуясь этому плану, двинулись в бой. И к тебе и к другим, таким же, как ты, в штаб сходятся донесения. Ты видишь, как войска идут, дерутся, останавливаются, спят, готовятся к атаке. Ты берешь карандаш, и вся эта жизнь войск опять ложится на карту, которую вместе с вечерней сводкой изучает командование перед тем, как принять новое решение. На план, над которым ты работал, обрушиваются сотни неожиданностей, он проходит через испытание ими. А ты тем временем уже работаешь над контрмерами, над вариантами, не вылезая, не шумя, в сознании своей силы и знаний, работаешь, как говорится, оставаясь в тени и в то же время чувствуя свою необходимость для армии. Вот что такое штабная работа. А теперь спрашивается: как ее не любить?

Артемьев замолчал и усмехнулся, недовольный собственной горячностью.

— А ты не стесняйся,— сказал Синцов.— Чего замолчал?

— А я не стесняюсь. В этом моя жизнь. Я ведь в армию пошел не из-за хромовых сапог со шпорами. Ну что уставился на меня?

— Здоровенный ты стал! — ответил Синцов первое, что пришло на ум. Он был еще не готов высказать вслух завладевшие им мысли.

— Спортом занимаюсь! А ты у себя в газете каждый год агитируешь за допризывную подготовку, а призовут самого — так, наверно, старшина с ног собьется, пока перестанешь путать левую с правой!

— О войне я много думал,— серьезно сказал Синцов.— Особенно последнее время, после истории с Чехословакией, и думаю, что морально готов к войне. Кем угодно — газетчиком, политработником, бойцом,— все равно.

— Вот именно «морально»! — насмешливо повторил Артемьев.— А попадешь на фронт бойцом, там от тебя потребуется пять в яблочко, а не только моральная готовность к этому. И умение совершить, не стерев ноги, дневной переход с полной выкладкой, а не только...

— Ну, положим, в смысле дневных переходов,— перебил Синцов,— особенно в посевную и уборочную, районные газетчики еще некоторым военным десять очков вперед дадут.

Он встал из-за стола и потянулся.

— По-моему, тебя ко сну клонит.

— Да. Всю ночь готовил праздничный номер, а в поезде ехал на сидячем месте. Колебался даже — ехать ли? Редактор отпустил только до второго.

— По-прежнему не ладите с ним? Ничего нового? — спросил Артемьев, кладя руки на плечи Синцову и, несмотря на свой высокий рост, все-таки глядя ему в лицо снизу вверх.

— А что тут может быть нового? Я не переменился, он тоже. Вот и спорим.

— О чем?

— Обо всем... Убери руки, рассуждать мешаешь. Например, так. Есть проблема в нашем районном масштабе, большая, метровая.— И Синцов широко развел свои длинные руки, показывая, какая большая проблема.— Я за то, чтобы ее поднять. И он за то, чтобы ее поднять. Но я за то, чтобы ее, такую вот, метровую, всю и вдвинуть в газету, а он... У него метр знаешь какой? Складной, как у плотника. Я за то, чтобы проблему ни проглотить, ни обойти нельзя было, а он за то, чтобы ее в карман можно было положить.

— Ну ладно,— сказал Артемьев,— редактор редактором, а как твоя повесть?

— Какая повесть? Что за чепуха?

— Не отпирайся. Все равно мне Маша об этом сказала... написала,— поправился Артемьев.— Написала, что ты ей об этом писал. Писал?

— К сожалению, писал.

— Почему к сожалению?

— Потому что все это бред и чепуха, попытки с негодными средствами, потуги районного газетчика.

Синцов хотел еще как-нибудь обругать себя, но, не найдя слов, сердито замолчал.

— Когда Маша тебе об этом написала? — прервав молчание, спросил он.

— Месяц назад,— с запинкой сказал Артемьев.

— Странно. Я не получал от нее писем уже два месяца.

— Действительно странно.

Синцов внимательно посмотрел на Артемьева. Он не любил, чтоб его дразнили.

— И это после того,— сказал Артемьев с сочувственно-серьезным выражением лица,— как мне, брату, три года посылала только открытки, и то по большим праздникам, а тебе, совершенно постороннему человеку, писала ежемесячные отчеты с изложением фактов своей биографии и своих речей на комсомольских собраниях. Ой, Ваня! Уж не появился ли там какой-нибудь комсомолец на Амуре?

Теперь сомнений не было: Артемьев дразнил его, и, по мнению Синцова, совсем некстати.

— Вот что,— сказал он медленно и сердито,— с моими письмами к Маше и с ее письмами ко мне — длинные они или короткие — я разберусь сам. От тебя требуется только одно: раз ты получил от нее письмо, скажи: здорова ли она? Это все, что меня интересует.

Он дотянулся рукой до ближайшего стула, швырнул его под себя и, сердито усевшись напротив Артемьева, с удивлением увидел, что тот вместо ответа только молча улыбается куда-то мимо него...

Отворив своим ключом парадную и заглянув из передней через приоткрытую дверь, Маша в первую минуту не сообразила, что это рухнул на стул и сидит к ней спиной именно Синцов, а не кто-нибудь другой,— настолько неожиданным для нее было его присутствие в эту минуту и в этой комнате. И, поняв, что это Синцов, она, продолжая стоять в дверях, только через полминуты проговорила не своим, как ей показалось, голосом:

— Здравствуй, Ваня!

Однако этот голос, хотя он показался ей чужим, был именно ее голос, и Синцов узнал бы его даже на другом конце идущего через всю Сибирь провода.

Он встал, на ходу протягивая руки. Он еще не понял, ни почему она здесь, ни что это значит для него, но он понимал, что это Маша, и всю его долговязую фигуру тянуло к ней через комнату неотвратимо, как плот по течению.

Через мгновение ее маленькая рука была погребена в его ладонях, и он тряс ее, заглядывая Маше в глаза и низко наклоняясь к ней с высоты своего роста.

— Хоть руку перехвати, возьми другую — оторвешь! — сказал Артемьев.

Но они даже не услышали, что он сказал: кругом них стояла ничем не нарушаемая, счастливая тишина. И только когда Артемьев, подождав еще минуту, громко сказал им: «Хоть бы

сели!» — они, вернее, Маша услышала и, не отнимая руки, которую Синцов по-прежнему держал в своих ладонях, повела его за собой к столу.

— Сядем,— тихо сказала она.

И они сели, все еще держась за руки. Только тут Маша вспомнила, что она не сняла плаща и берета. С беретом дело было легко поправить, она просто стряхнула его с волос левой, свободной рукой, но плащ невозможно было снять, не заставив Синцова отпустить ее руку, а этого она как раз и не хотела.

Артемьев подошел к ним сзади и, толкнув Синцова в плечо, сказал:

— Отпусти на минуту.

Синцов отпустил Машину руку. Артемьев снял с сестры плащ и, сказав: «Теперь можешь взять обратно»,— с плащом в руках вышел в переднюю.

«Кто их знает, может, это они при мне не хотят целоваться»,— подумал он, но, вернувшись, понял, что они не воспользовались его отсутствием. Синцов по-прежнему держал Машу за руку и смотрел на нее с таким молчаливым изумлением, словно она говорила ему какие-то удивительные вещи.

Но Маша ничего не говорила, и это больше всего удивило Артемьева. Этого не могло быть, но это было так. Сестра сидела неправдоподобно притихшая, даже, как показалось Артемьеву, напуганная. И он был прав в своем ощущении. Если Синцов в эту минуту, не думая ни о прошлом, ни о будущем, был просто счастлив присутствием Маши, то Маша была прежде всего испугана его присутствием, вернее, силою того чувства, которое заговорило в ней, когда она увидела его.

Она вдруг почувствовала, что это не тот, прежний Ваня Синцов, с которым она целовалась три года назад и перед отъездом в Комсомольск не до конца серьезно обещала подумать о том, чтобы выйти за него замуж после возвращения, не тот далекий Ваня Синцов, который писал ей эти три года необыкновенные письма, и не тот воображаемый на расстоянии Ваня Синцов, перечитывая письма которого она в минуты откровенности говорила подруге: «Знаешь, мне иногда кажется, что я все-таки его люблю». Нет, это был большой, сильный и нетерпеливо ждавший ее человек, перед которым нужно было держать ответ: люблю я его или не люблю, выйду за него замуж или не выйду.

И все это нужно было решать ей самой, потому что он сам ничего не решит. Не решит не потому, что он вообще нерешительный, а потому, что ему нечего добавить к тому, что он ей уже давно сказал и что повторяет ей сейчас своим полным любви взглядом.

— Ну, скажите же что-нибудь, а то я уйду,— вставая, взмолился Артемьев.— Может, я вам мешаю?

Маша вскочила, подошла к брату и, удерживая, обняла его. Она была рада, что он здесь и что можно говорить с ним, думая в это время о Синцове, а то, о чем нужно говорить с Синцовым, оставшись вдвоем, можно отложить хотя бы до завтра.

Что до Синцова, то ему было сейчас совершенно все равно: будь здесь Артемьев или еще десять человек, он видел одну Машу, и этим исчерпывались все сношения его души с внешним миром.

— Павел говорил мне, что ты приедешь только завтра,— сказала Маша, снова садясь рядом с Синцовым, и вдруг сердито спросила: — Неужели он тебе так и не сказал, что я уже три дня здесь?

— Каюсь! — Артемьев поднял руки над головой.— Говоря военным языком, обеспечил внезапность с обеих сторон.

Предоставив им возможность молчать, говорить или выйти из комнаты,— словом, делать все, что им вздумается, он встал из-за стола и прилег на диван, положив руки под голову и полузакрыв глаза.

Прислушиваясь краем уха к тихому разговору за столом, он думал о своих собственных отношениях с Надей. Человек по натуре чуждый двусмысленности в отношениях с людьми, он сейчас думал о том, что их отношения с Надей в последнее время носили как раз двусмысленный характер. «Хорошо, что я уеду и больше никогда ее не увижу,— подумал он и тут же против воли спросил себя: — Неужели вот так и не увижу? Очень просто, вот так и не увижу,— сердито объяснил он сам себе.— Не увижу, как не увидят больше человека, которого нет, который умер. Не увижу, как не увижу ее школьную подругу Лену Попову, умершую в шестом классе от скарлатины. Именно так и не увижу. А вот Маша и Синцов увиделись. И ничто им не помешало, даже три года разлуки. Сидит теперь и смотрит на своего Синцова, как счастливая дурочка».

Он спустил ноги на пол и посмотрел в их сторону. Маша и Синцов по-прежнему сидели за столом, и Синцов все еще, как при встрече, держал руку Маши.

— Что ж,— подумав, что это может продолжаться до бесконечности, сказал Артемьев,— пожалуй, спать пора, постели нам с Синцовым, я ему поставлю раскладушку.

Маша встала из-за стола и вышла в соседнюю комнату за постелями.

Синцов, чтобы не путаться под ногами, сел за письменный стол, а Артемьев стал доставать засунутую между столом и шка-

фом раскладушку. Для того чтобы достать ее, ему пришлось сначала снять нагроможденные поверх нее охотничье ружье, патронташ, сумку, велосипедную раму, ботинки с коньками и бильярдный кий в чехле.

— Собственный кий завел,— сказал он, бережно приставив кий к стене.— Зимой на соревнованиях играл. Исключительно хороший и по руке — можешь посмотреть.

— Не интересуюсь,— сказал Синцов,— а вот ружье дай-ка сюда! Я у тебя его не видел.

— Новое, бескурковое,— сказал Артемьев,— сменил с доплатой. Исключительного боя ружье!

— Ноздрев! — усмехнулся Синцов.

— Что Ноздрев?

— Ты Ноздрев. Давай ружье.

Синцов, продолжая сидеть за столом, вынул ружье из чехла и начал внимательно разглядывать его.

— Стели,— сказал Артемьев, поставив раскладушку и оглянувшись на вошедшую с постелями сестру.— Нечего Синцова разглядывать! Ничего в нем особенного нет!

Маша не ответила и начала стелить сначала на диване, а потом на раскладушке, по-прежнему время от времени поглядывая на Синцова, который с преувеличенным вниманием продолжал рассматривать ружье исключительного боя.

«Боже, какой он большой! Он еще вытянулся! — думала Маша.— И все-то у него не так! Вот сидит и горбится, а плечи у него на самом деле широкие, не у́же, чем у Павла. Бреется, наверное, сам: один висок еще ничего, а другой совсем сбрит. А прическа! Он-то, наверное, думает, что у него пробор, но об этом только я могу догадаться! Да и не нужно ему никакого пробора. В сущности, у него даже красивые волосы. И надо их зачесывать назад, и больше ничего... И галстук нужен другой. И завязывать его шире, а не такой веревкой. А воротничок рубашки надо, наоборот, перешить туже. Болтается так, словно у него гусиная шея. А у него самая нормальная: не бычья, как у Павла, но и вовсе не гусиная... А пиджак!»

Маша даже громко вздохнула. Ее деятельной натуре хотелось сейчас же, немедленно, все переделать и переменить в Синцове.

— Ну вот и готово,— сказала она, кончив застилать раскладушку и выпрямляясь.

Артемьев стащил через голову гимнастерку и, закатывая на ходу рукава рубашки, вышел умываться.

Маша прислонилась к стене за спиной Синцова и легонько провела рукой по его волосам. Он замер, продолжая держать в

руках ружье. Маша думала, что он что-нибудь скажет, но он молчал, и она, испугавшись его молчания, отняла руку.

— Ты что делаешь утром? — спросила она.

— Ничего.

— Хочешь, пойдем завтра на демонстрацию со мной, с нашим заводом?

— А меня пустят в вашу колонну? — При этих словах он повернулся к Маше.

— Со мной пустят!

Теперь он любовался ею, глядя на нее вполоборота. Она стояла рядом, маленькая, только немножко выше его, когда он сидел, и ее, быть может, и некрасивое, но прелестное курносое, загорелое лицо сейчас, несмотря на строго сдвинутые брови, было таким растерянным, что он чуть не задохнулся от волнения.

— Я готов,— сказал Артемьев, входя.— Пользуйся левым от умывальника полотенцем — оно чистое.

Синцов с неохотой встал, хотел было снять пиджак и повесить его на спинку стула, но при Маше не решился и пошел умываться в пиджаке.

Когда он вернулся, Маши уже не было в комнате. Артемьев сидел на диване и, покряхтывая, стаскивал тугие сапоги.

— Погаси верхний свет,— сказал он и, в носках подойдя к письменному столу, зажег настольную лампу и раскрыл книжку.

Синцов повернул выключатель и, быстро раздевшись, лег под одеяло.

— А ты чего не ложишься? — спросил он через несколько минут.

— Приобрел привычку полчаса перед сном читать что-нибудь не по специальности, а то от одной военной литературы стали мозги сохнуть.

В дверь тихо постучали. Это была Маша. Она пошла спать во вторую комнату, где стояла старая широкая кровать, на которой умер отец; пошла и вернулась. Вчера и третьего дня она спала там вдвоем с матерью. Она знала, что сейчас возьмет себя в руки, но, перед тем как остаться там в комнате одной, ей захотелось еще раз услышать живые, громкие голоса брата и Синцова, все равно о чем — еще минуту поговорить с ними.

— Вы еще не спите? — спросила она.

— Нет,— сказал Артемьев.— А что?

— Во-первых, спокойной ночи,— сказала Маша через дверь.— Во-вторых, когда тебя будить?

— Не надо. Я завтра буду на трибунах, встану позже тебя, в восемь. Спи, пожалуйста.

— Хорошо,— сказала Маша.— Я, когда буду уходить, поставлю будильник около тебя на стуле, а то проспишь.

— Спасибо.

— А тебя,— все так же через дверь обратилась Маша к Синцову,— я разбужу в семь, когда уже сама соберусь. Ты ведь быстро оденешься.

— Конечно,— сказал Синцов.

— Поспишь лишних полчаса. А то, наверное, вчера выпускал до утра газету.

Она погасила свет в передней, вернулась в комнату матери, сбросила туфли и прилегла на кровать, не раздеваясь, поджав ноги и задумчиво подперев кулаком подбородок.

Настольная лампа была поверх абажура накрыта серым пуховым платком Татьяны Степановны; казалось, что где-то за пеленой тумана горел маленький, далекий костер.

Вот так в первые месяцы, приехав из Москвы в Комсомольск, она сидела вечерами, глядя на огонь костра, и упрямо говорила себе, что все правильно, что она верно сделала, что не стала отказываться и поехала.

Ехать в Комсомольск ей, по мнению отца, было вовсе не обязательно, тем более не окончив своего электротехникума. Но она, когда ее вызвали в комитет комсомола, сразу сказала «да», и уговорить ее пойти на попятную оказалось невозможным.

Синцову она сказала об этом не сразу, а день отъезда все близился, и когда она наконец собралась с духом и сказала ему о своем отъезде, он, побледнев, спросил только одно: «Сколько дней остается?» — повернулся и ушел. Чувствуя себя виноватой, она искала его, приходила к нему в институт и в общежитие, но он неделю не ходил на занятия, ночевал неизвестно где, так и не появился до самого дня ее отъезда.

Ее провожало много народу. Были подруги по техникуму и товарищи с завода. Был Павел, приехавший сдавать испытания в академию. Был отец, молчавший и откровенно недовольный, и мать, старавшаяся казаться веселой.

Шел сильный весенний дождь, Синцов пришел позже всех и стоял под дождем сзади всех, без пальто и кепки, подняв воротник своего кургузого пиджака, сгорбившись и зябко засунув длинные руки в карманы.

Когда поезд вот-вот уже должен был тронуться, он вдруг, раздвинув всех, подошел к подножке, на которой стояла Маша, молча взял ее за руку и отвел на несколько шагов в сторону.

— Маша...— сказал он таким голосом, что она перестала замечать и его сгорбленные плечи, и зябко поднятый воротник, и

слипшиеся волосы, с которых смешно капала на нос вода.— Маша,— повторил он,— я тебя люблю. Обещай, что ты выйдешь за меня замуж.

Маша вздрогнула и, обняв его за шею, несколько раз крепко поцеловала.

— Обещай! — повторил он.

— Молчи, молчи! Слышишь, молчи! — испуганно зашептала она, продолжая целовать его.

У нее сразу выскочили из памяти все приготовленные на этот случай слова, как будто их никогда и не было. Ей хотелось только одного — чтобы он сейчас же замолчал.

— Молчи, пожалуйста... Хорошо... Я не знаю, я подумаю, только молчи, пожалуйста,— повторила она, испуганно глядя на него.

— Ты что, передумала? Остаешься? — со своей вечной ухмылкой спросил Павел, тронув ее за плечо.

Она повернулась и увидела, как окно вагона медленно проезжает мимо ее плеча. Нагнав вагон, она вскочила на подножку. Все гурьбой двинулись по ходу поезда, только Синцов, не двигаясь, по-прежнему стоял там, где она его оставила, и, глядя ей вслед, зажав во рту папиросу, одну за другой зажигал гаснше на дожде спички.

Маша написала Синцову первая. Он задал ей вопрос, на который надо было ответить. Но она не ответила, она просто написала ему длинное письмо, переполненное первыми впечатлениями; в письме все выглядело красивей и интересней, чем было на самом деле.

Через два месяца она получила от него ответное письмо, в котором, однако, не было ни слова о том, о чем он говорил ей на вокзале. Она обещала подумать, а ему нечего было прибавлять к тому, что он сказал. Примерно так поняла она его молчание, и поняла правильно. Ни в одном из своих писем за три года он ни одним словом не напомнил ей об этом.

Когда он два года назад написал ей, что окончил Институт журналистики и уехал работать в Вязьму, она вдруг подумала, что он женился, и два дня ходила сама не своя, пока не догадалась еще раз перечесть письмо. Женившись, нельзя писать другой женщине такие письма. То, о чем он писал Маше, было всей его жизнью,— так что же тогда остается на долю другой женщины, если она действительно существует?

Конечно, он не женат. Какие глупости! Во всяком случае, она сама, если бы вышла замуж, никому другому, кроме мужа, не смогла бы писать такие письма.

Синцов все три года писал ей регулярно, два раза в месяц.

Иногда письма были короткие, как он выражался — «о чем-нибудь одном», иногда очень длинные — обо всем.

Эти письма она особенно любила. Быть может, в них, кроме стремления рассказать ей о себе, он еще подсознательно удовлетворял свою тягу к писательству.

Однако при всей той душевной близости к Синцову, которую рождала в Маше их переписка, трехлетняя разлука делала свое дело: забывались лицо, волосы, глаза. Два раза за это время ей показалось, что она влюбилась. И ее даже брало зло, что на самом деле это не так. Все эти три года она чувствовала душевную скованность, иногда сердившую ее, а иногда делавшую счастливой, но при этом мысль вдруг взять и поехать к Синцову и выйти за него замуж все чаще представлялась ей не то что невозможной, а какой-то неправдоподобной.

Неизвестно, как в конце концов повернулась бы ее жизнь, если бы не внезапная смерть отца и полное тоски и одиночества письмо матери, над которым Маша проплакала целую ночь, а утром ответила на него телеграммой, что еще не знает, насовсем или в отпуск, но скоро приедет. Через полтора месяца она выехала в Москву, взяв отпуск за три года сразу, снявшись с комсомольского учета и честно уговорившись, что, может быть, и не вернется. Она не скрывала от себя, что, кроме письма матери, в ее решении сыграло роль и желание увидеть Синцова. Желание, а может быть, даже и необходимость так или иначе решить их отношения.

Она так хотела и так боялась его увидеть, что, готовясь к отъезду, не ответила на его последнее письмо, чтобы не предупреждать заранее. Еще сегодня утром ей одновременно хотелось и встретиться с ним, и еще хоть немножко отсрочить эту встречу.

«И до чего же все это было глупо!» — подумала она, сквозь сон напоминая себе, что нужно погасить свет, раздеться и лечь под одеяло, но чувствуя, что она этого уже не сделает.

— Маша! — тихо сказал Артемьев, входя в комнату.

— А? — сонно откликнулась Маша.— Что случилось?

— Ничего особенного. Не спится.— Артемьев присел на кровать рядом с сестрой. Ему и правда не спалось: перед близким отъездом в усталую голову вперемешку лезла всякая всячина.

— Ну чего пришел, рыжий? — все так же сонно спросила Маша; в детстве она дразнила его этим, а потом, наоборот, называла так в ласковые минуты.

Артемьев пришел рассказать ей о своем отъезде и о том, что поедет один. Но, увидев, что Маша совсем сонная, только спросил:

— Как ты, довольна?

Маша сквозь сон поняла, что он спрашивает ее о Синцове, но она не хотела и не могла сейчас говорить об этом даже с ним. Делая вид, что она снова заснула, Маша повернула голову и уткнулась носом в лежавшую на краю подушки большую жесткую руку брата. Через несколько минут она и в самом деле заснула.

Высвободив руку, Артемьев поднялся и подошел к окну. Окна его комнаты выходили во двор, а это, единственное в квартире,— на улицу.

Стекла тихонько подрагивали, по улице, в сторону Красной площади, на рысях проходила конная артиллерия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сначала Артемьеву хотелось, чтобы отъезд к месту назначения задержался хотя бы на неделю, до торжественного выпуска военных академий, на котором, как всегда, по традиции, должен был присутствовать Сталин.

Но миновал и этот долгожданный день, и еще пять дней, и еще пять, неопределенность предотъездной жизни стала уже тягостной, когда наконец их вызвали в Наркомат обороны.

Вечером того же дня Артемьев уже получал в воинской кассе Северного вокзала плацкарты на отходивший завтра курьерский поезд Москва — Владивосток.

Позвонив с вокзала Бондарчуку и Санаеву, что плацкарты у него на руках, он вышел через Орликов переулок на Садовую и не спеша пошел по направлению к дому. Он знал, что мать, как всегда, вернется с завода поздно, а Маша, непременно желавшая его проводить и один раз уже упросившая отсрочить ей начало путевки, только вчера наконец уехала в санаторий.

Шагая по Садовому кольцу, Артемьев твердо знал, что ему некуда торопиться и некуда заходить, кроме одного дома. Но и в этот дом ему было заходить незачем. Тем не менее, несмотря на эту здравую мысль, он через полчаса оказался на Сретенке, у дома, где жила Надя.

В колебании постояв у подъезда, он решил, что это даже к лучшему — подняться, сказать, что он едет, и навсегда проститься, не оставляя себе никаких лазеек в прошлое. Но, если быть до конца честным с самим собой, его просто-напросто все еще тянуло к этой женщине.

Уже поднявшись на третий этаж и стоя перед дверью Надиной квартиры, он спросил себя: «Ну, а что будет, если она в ответ на твои слова об отъезде вдруг, против всех ожиданий, решит все бросить и ехать вслед за тобой? Решит с тем мгновенным безрас-

четным порывом, какие у нее бывали и раньше, правда, не по таким важным поводам...»

— Не может быть! — нажимая на звонок, вслух сказал он, так и не ответив себе, что он сделает, если это невозможное все же случится.

Надя была дома и сама открыла дверь. То, что он пришел не только неожиданно, но и не вовремя, Артемьев почувствовал лишь в первую секунду, когда Надя еще не овладела своим лицом. На нем мелькнуло странно ожесточенное и в то же время испуганное выражение, такое, как будто она хотела захлопнуть дверь. Но уже в следующую секунду она улыбнулась и заговорила домашним тоном, очень шедшим к надетому на нее передничку и закатанным рукавам блузки.

— Здравствуй, Павлик! Очень рада тебя видеть,— сказала Надя.— Ты совсем пропал в своей академии. Дай я тебя поцелую в щеку. Сам закрой замок, а то я и так уже измазала его маслом: хозяйничаю, пеку пирожки. Мама отсутствует, а у меня гости. Проходи прямо в столовую, знакомься.

Она поспешно повернулась и исчезла в кухне. Зная Надю, Артемьев заранее был убежден, что после истории с письмами она встретит его как можно ровней и ласковей, чтобы подчеркнуть этим, насколько он был груб с нею в прошлый раз. Но сейчас в ее ласковом тоне была какая-то задевшая его ухо чрезмерность. Он снял фуражку, причесался перед зеркалом и подошел к двери в столовую. Он ожидал услышать там шум голосов и даже на секунду задержался, подумав, что, может быть, лучше прямо пройти в кухню, проститься там с Надей и исчезнуть. Но за дверью было тихо. Он отворил дверь и вошел.

В хорошо знакомой ему столовой с красивым, но слишком громоздким для этой комнаты старым буфетом красного дерева и круглым столом сидели не гости, а всего один гость, летчик, быстро обернувшийся и с нескрываемым любопытством посмотревший на Артемьева.

Артемьев сообразил, что Надя говорила в коридоре достаточно громко для того, чтобы гость слышал каждое ее слово, и тот теперь сидел и с интересом ждал, когда в комнату войдет неизвестный ему Павлик, который долго пропадал и которого хозяйка после разлуки сочла нужным поцеловать в щеку.

Стол был накрыт на двоих. На нем стоял хрусталь, у обоих приборов лежали жестко накрахмаленные салфетки, согнутые гармошкой и засунутые в серебряные кольца. Очевидно, Надя старалась вовсю.

Артемьев неожиданно для себя ужасно озлился разом на все: на крахмальные салфетки, на хрусталь, на гостя, на Надю, а

больше всего на самого себя. Ему захотелось немедленно наозорничать: выпить и съесть все приготовленное, пересидеть гостя, вывести из терпения Надю,— словом, сделать все как раз противоположное тому, что от него, наверное, ждут и Надя, и ее гость, и эта столовая с крахмальными салфетками и хрусталем.

«Хорошо же,— подумал он, со злостью вспомнив Надин звонкий поцелуй в щеку,— я буду, очевидно, представлен здесь как свой человек в доме, друг детских игр, которого хозяйка со школьных лет посвящает в свои сердечные тайны. Будь по-твоему! Но не ищи на моем лице печати страдания — я не доставлю тебе этой радости».

И Артемьев с удовольствием услышал свой собственный спокойный и веселый голос:

— Здравия желаю, товарищ полковник! Хозяйка приказала знакомиться. Артемьев.

— Козырев,— поднимаясь ему навстречу, сказал гость.

Теперь Артемьев мог хорошо разглядеть его. Это был низенький крепыш с густыми курчавыми волосами и тремя орденами на широкой груди.

«Так вот кто, оказывается, ее новый знакомый, побывавший в далеких краях, о котором она как-то раз небрежно мельком упомянула. Пожалуй, он даже чуть-чуть пониже ее»,— подумал Артемьев, с внутренней усмешкой вспомнив, как Надя любила говорить, что мужчины маленького роста для нее вообще не существуют.

Он крепко, как всегда всем людям, пожал Козыреву руку, с удовольствием продолжая чувствовать в себе все растущее спокойствие.

— Курите? — спросил Козырев, чтобы что-нибудь сказать, и протянул Артемьеву папиросы.

— Нет, спасибо, не приучен.

Не зная, о чем говорить с Артемьевым, и от этого не совсем ловко чувствуя себя, полковник прохаживался по комнате, усердно затягиваясь папиросой и хмуря брови. Но как только в дверях появилась Надя, все лицо его самозабвенно просияло и словно потянулось ей навстречу.

«Любит»,— подумал Артемьев, впервые отчужденно, издалека рассматривая Надю, ее высокую, полнеющую, статную фигуру, ее красивое лицо с большими серыми, чуть-чуть навыкате глазами и капризным ртом.

— Познакомились? — спрашивала между тем Надя, присев на корточки у буфета и доставая оттуда тарелки для Артемьева.

— Ага! — сказал Артемьев.

Надя мгновенно повернулась к нему. Интонация голоса чем-то — она сама еще не могла понять, чем? — поразила ее.

— Познакомились,— подтвердил Козырев, продолжая сиять улыбкой навстречу Наде.

А Надя уже стояла за спиной Артемьева и, наклонясь через его плечо, расставляла перед ним тарелки.

— Ну, подвинься же, медведь этакий, видишь, я не дотянусь,— говорила Надя тем же тоном, каким она начала разговаривать с ним еще в дверях.— А рюмки сам возьми, вон они в буфете. Ты же свой человек.

«Ну вот, свой человек уже есть»,— подумал Артемьев и непроизвольно, словно он собирался считать по пальцам все свои осуществившиеся предположения, загнул мизинец левой руки.

«За рюмками я послан для того,— подумал он, доставая рюмки и стоя спиной к Наде и Козыреву,— чтобы она могла тем временем пожать плечами и беспомощно улыбнуться с выражением лица, означающим: «Ну как я могла не пригласить его к столу, раз уж он пришел?»

Он вернулся с набором рюмок в руках.

— Наливай, мы уже налили,— сказала Надя.— Тебе повезло. Петр Сергеевич уже давно здесь и голоден как волк, но я его уговорила подождать, не садиться за стол, пока я не поджарю пирожки к бульону, чтобы потом уже больше не отрываться.

— Ваше здоровье! — сказал Артемьев и чокнулся с Козыревым. Потом он повернулся к Наде и чокнулся с ней.

— Ты знаешь, я не пила ни капли с тех пор, как была у тебя, не в тот, последний раз, а еще в марте,— сказала Надя, отпив полрюмки водки.

«Как она торопится сказать все сама, — подумал Артемьев, — забежать вперед, чтобы не сказал чего-нибудь я».

— Мы большие друзья с Павликом, — повернулась Надя к Козыреву.— С первого класса школы. Страшно сказать! Девятнадцать лет!

Артемьев, на этот раз уже мысленно, загнул второй палец.

— Что ты улыбаешься? — спросила Надя, и в ее голосе проскользнула нотка тревоги.

Он действительно, даже не заметив этого, улыбнулся собственным мыслям.

— Вспоминаю детство, — сказал он.

— Да, ты живой свидетель тому, что мне двадцать семь,— сказала Надя.— Я не убавляю и никогда не буду убавлять себе года.

Это она сказала Козыреву.

— Вам в этом нет нужды, — сказал Козырев, влюбленно глядя на нее.

— А и придет нужда — так все равно не стану,— ответила она.— Я и губ не мажу и не понимаю, зачем это делают. Вообще я ценю в жизни только настоящее, неподдельное: неподдельную дружбу, неподдельную любовь.

«Решила выйти за него замуж», — подумал Артемьев, чокаясь с Козыревым и кожей чувствуя, как в эту секунду Надя взглядом наскоро, тревожно обыскивает его лицо.

Мужчины выпили по нескольку рюмок водки, попробовали и похвалили все закуски, стоявшие на столе. Надя почти не пила: полрюмки водки вначале, а потом только пригубливала все один и тот же продолжавший оставаться полным бокал вина. Это была новость.

«Замуж, замуж!» — снова подумал Артемьев.

— Совсем не пьете, Надежда Алексеевна,— сказал Козырев.— Неужели вы всегда так?

Надя быстро посмотрела на Артемьева и снова бросилась навстречу опасности.

— Ах, Петр Сергеевич, не хочется признаваться, но я ведь грешница — Павлик знает. Иногда и две и даже три рюмки вдруг выпью. Особенно если очень весело или очень грустно. В отца. Он у меня был могучий человек. И любил выпить. Я только последние два месяца стала такой трезвенницей. Просто как-то в голову не приходит...— «Последние два месяца» она проговорила с нажимом. Очевидно, это был срок их знакомства с Козыревым.

Артемьев посмотрел на Козырева. Тот сидел откровенно счастливый, доверчивый, притихший. Встретив взгляд Артемьева, он открыто улыбнулся. Он был рад, что все так хорошо, что Артемьев школьный товарищ Нади и больше ничего. Как ни странно, он, кажется, верил в это.

— Павлик, пойдем на кухню, возьмем пирожки и бульон, а то я сразу не донесу, — сказала Надя.

Она тоже видела лицо Козырева и понимала, что сейчас уже может спокойно потянуть Артемьева за руку из комнаты и на минуту остаться с ним наедине.

Она и в самом деле хотела выйти замуж за Козырева и даже твердо решила это сделать. С трудом взяв себя в руки, когда появился Артемьев, она в душе все время волновалась, чувствуя свою зависимость от того, как он поведет себя в каждую следующую минуту. Сейчас она желала только одного: чтобы скорей кончился этот обед и мужчины сразу и вместе уехали. Для того чтобы вынудить Артемьева сделать это, она и решила заставить его пойти с собой в кухню. Она заранее придумала, что скажет ему: сейчас она просит его только об одном — чтобы он поскорее уехал вместе с Козыревым. А завтра она сама придет к нему, и они,

может быть, последний раз в жизни, поговорят вдвоем о том, что было, и о том, что будет или чего не будет.

То, что мужчины в этом случае уедут вдвоем, ее тоже тревожило, хотя, зная Артемьева, она была почти уверена, что он из гордости не поддержит разговора, даже если Козырев что-нибудь спросит о ней. Но все-таки бог знает, о чем они там будут говорить! Однако сделать так, чтобы Артемьев ушел, а Козырев остался, казалось ей еще более опасным — она боялась окончательно разозлить этим Артемьева.

— Ну, пойдем, помоги мне, — повторила Надя, протягивая Артемьеву руку, но он не двинулся с места.

— Нет уж, хозяйка так хозяйка, — сказал он и, как показалось ей, вызывающе улыбнулся.— Я на кухню не пойду. Не мужское это дело.

Это было так неожиданно и так разрушало весь ее простой и прекрасный план, что Надя опешила и остановилась, удивленно глядя на Артемьева. Артемьев тоже смотрел на нее в упор, примерно представляя себе, зачем его зовут, и не собираясь оставаться с ней наедине.

Надю выручил выскочивший из-за стола Козырев. Он был окончательно счастлив оттого, что Артемьев не захотел выйти вместе с Надей.

— А я хоть и мужчина, но с удовольствием пойду на кухню, — сказал он, — если только вы, Надежда Алексеевна, разрешите вас сопровождать.

— Да уж разрешаю, что с вами сделаешь, — сказала Надя, вновь обретая выдержку.

Оставшись один, Артемьев с облегчением почувствовал, что у него исчезло всякое желание прощаться с Надей, говорить ей те слова, которые еще час назад казались ему необходимыми. В самом деле, какое отношение к ней имеет его отъезд и какое отношение она имеет к его отъезду? И зачем ей вообще знать, что он уезжает?

«Надо доесть обед, подняться и уйти вместе с этим Козыревым, который будет проклинать меня за то, что я поднялся слишком рано, потому что Надя, конечно, заставит его уйти вместе со мной. Заставит, несмотря на то что собирается выйти за него замуж, или, верней, как раз потому, что собирается».

Через минуту Надя и Козырев вернулись. Надя несла блюдо с пирожками, а Козырев — супник с бульоном. За бульоном с пирожками последовали отбивные котлеты и чай.

Теперь, встревоженная непонятным для нее поведением Артемьева, Надя вторую половину обеда на всякий случай стремилась все время говорить сама, не давая вставить слова ни Козы-

реву, ни, в особенности, Артемьеву. Она говорила о чем и о ком угодно. Сначала она долго говорила о своей матери, у которой такая ужасная профессия зубного врача, что когда она принимает у себя в кабинете больных, то так и ждешь, что за стеной кто-нибудь вскрикнет или зашуршит эта адская машина. И Надя очень похоже и смешно показала, как жужжит бормашина.

Потом она заговорила о своей службе. Скучное занятие. У нее не было детей, но, наверное, легче пеленать детей, чем пеленать вечные папки с входящими и исходящими; а если не легче, то, уж конечно, радостней.

Кончила вуз и хотела стать инженером, но не стала. Слишком многое помешало.

— А что? — не выдержав, спросил Артемьев, прекрасно знавший, что ей ничто и никто не мешал стать инженером.

Но Надя и на этот раз нашлась и смело пошла навстречу опасному вопросу.

— Мешало слишком многое во мне самой, — сказала она.— Я, Петр Сергеевич, никогда и ничего не сваливаю на других. Я считаю, что всегда и во всем виновата только я сама.

Это был совершенно новый взгляд на вещи, — насколько Артемьев знал Надю, она как раз всегда считала виноватыми в своих несчастьях всех, кроме себя.

Наконец Надя заговорила о своем первом муже:

— Вы ведь знаете, Петр Сергеевич, я вам как-то рассказывала, что в студенческие годы была замужем. Эта история испортила жизнь только мне, и больше никому. Но даже и в ней считаю виноватой одну себя. Сначала вышла не подумав, а потом разошлась, вместо того чтобы до конца нести с ним свой крест в этом Сыктывкаре, куда он уехал.

Артемьев заметил, что по счастливому лицу Козырева пробежала тень. Уж не подумал ли он о том, что может прийти день, когда и он перестанет работать в Москве и ему через двадцать четыре часа придется ехать? И даже не в Сыктывкар, а куда-нибудь гораздо дальше, в пограничный авиагородок, которого не отыщешь ни на каких картах.

Но тень, пробежавшую по его лицу, заметил не только Артемьев, ее заметила и Надя.

— Не поехала с ним не потому, что далеко, а потому, что не любила. Вы меня понимаете, Петр Сергеевич, или вы меня осуждаете?

И Надя заглянула Козыреву в глаза с выражением такого мучительного вопроса, как будто, если он сейчас скажет, что осуждает ее, она завтра же уедет в этот Сыктывкар.

— Конечно, если не любили...— нерешительно сказал Козырев, смущенный вопросом Нади.

Артемьев допил чашку чаю, аккуратно, как не однажды учила его Надя, сложил салфетку и сунул ее в серебряное кольцо.

— Что же, — сказал он, вставая и неторопливо поправляя гимнастерку, — прощай, Надежда, мне пора.

Надя быстро взглянула на него. Он никогда в жизни не называл ее Надеждой, и что-то в его голосе снова не понравилось ей. Она обрадовалась, что кончился этот обед, но то, как он встал и решительно собрался уходить, испугало ее.

Артемьев оглянулся на Козырева и по его огорченному лицу понял — Надя уже шепнула ему, что неудобно оставаться и нужно уйти вместе с Артемьевым.

— Ну, еще полчаса, — сказала Надя, взглянув на Козырева, — посидим, поговорим.

— Мы с тобой такие старые знакомые, — сказал Артемьев, выходя из-за стола, — что ты мне уже ничего нового не скажешь, да и я тебе не скажу.— И он, улыбаясь, в упор посмотрел на Надю.

Надя встретила его взгляд испуганно остановившимися глазами. Она не понимала, что происходит. Она не понимала того, что он сам только сейчас понял до конца. А он понял одну очень простую, но очень важную вещь: войдя сегодня сначала в эту квартиру, а потом в эту комнату, услышав сначала Надин громкий, рассчитанный на чьи-то уши голос: «Здравствуй, Павлик, дай я тебя поцелую в щеку», а потом, увидев человека, для которого это говорилось, — он, словно у него в душе вдруг с маху что-то перерубили, перестал быть зависим от этой женщины, от ее души и тела.

В его сердце осталось все, что угодно: воспоминания, горечь, досада на нее и на самого себя, — но любви не осталось, и именно оттого, что эта находившаяся при смерти любовь была наконец похоронена, у него родилось то веселившее его спокойствие, которое позволило ему вынести весь этот обед.

Не выдержав его взгляда, Надя отвела глаза.

Козырев не заметил этой молчаливой сцены. Он был слишком расстроен, что ему надо так рано уходить.

— Я тоже пойду, Надежда Алексеевна, — сказал он, поднимаясь и все еще надеясь, что она, вопреки уговору, удержит его.

Но Надя только огорченно развела руками.

Они все втроем вышли в прихожую — расстроенный Козырев, громко скрипевший новыми сапогами Артемьев и примолкшая Надя. В ее душе творилось что-то странное. Ей хотелось, чтобы Артемьев, которого она сейчас боялась, ушел как можно скорей,

но то, что он уходит навсегда, — а это она сейчас поняла, — вызывало у нее непреодолимое желание остановить его и что-то сказать и объяснить, хотя она сама не знала, что она может ему объяснить.

Непривычно тихая, Надя проводила их до дверей.

Козырев крепко пожал ей руку и ласково поглядел на нее. Ему казалось — она расстроена тем, что он должен уйти.

Артемьев молча протянул ей руку и с издевкой над самим собой вспомнил, как он два часа назад стоял перед этой дверью, где-то в глубине души еще допуская мысль, что Надя захочет уехать вслед за ним. Он ждал: неужели она посмеет и сейчас поцеловать его в щеку, как при встрече?

Но она не посмела. Она только быстро вложила свою руку в его, так же быстро выдернула и открыла им дверь.

— До свиданья! Не забывайте меня! — уже на следующей лестничной площадке услышали они ее голос.

Надя захлопнула дверь, опустилась на стоявшую тут же, возле вешалки, табуретку и зарыдала. Она рыдала оттого, что устала, оттого, что с трудом вынесла напряжение этого вечера, оттого, что испугалась Артемьева, наконец, оттого, что с его уходом обрывался целый год ее жизни, связанный с ним.

В ее душе все остальные люди, вместе взятые, значили так мало по сравнению с ней самой, что в этом маленьком кусочке, оставленном для других, Артемьев занимал заметное место. Как все люди с избытком любви к себе и недостатком ее к другим, Надя склонна была очень высоко ценить те чувства, которые она все-таки питала к другим людям, и не лгала перед самой собой, когда считала, что чувство к Артемьеву было одним из самых больших в ее жизни. Теперь Артемьев ушел. В сущности, если трезво подумать о будущем, эта потеря именно сейчас была булавочным уколом. Но этот булавочный укол был нанесен не кому-нибудь другому, а ей, так нежно и преданно любившей самое себя, и поэтому он казался раной. Надя долго сидела на табуретке в прихожей. И слезы текли по ее лицу. Она всхлипывала, размазывала слезы по щекам кулаками, жалела себя и думала о том, каким некрасивым, наверное, стало ее лицо, хотя оно как раз сейчас было красивей и человечней, чем обычно.

Артемьев и Козырев вышли из подъезда дома, где жила Надя, и свернули за угол. Там стояла машина Козырева — новенькая «эмка», которую он водил сам.

— Где живете?

— Недалеко от академии, на Усачевке.

— Ладно, подвезу! — Козырев круто вывернул из переулка и погнал машину к центру.— Через центр веселей,— объяснил он.

Артемьев не возражал — ему было совершенно все равно, как ехать.

— Надя боится со мной ездить. Первый раз даже за руку меня схватила. А вообще я последнее время езжу в пределах возможного — слово держу,— повернулся Козырев к Артемьеву, пока они стояли у светофора.— Ребята с меня слово взяли.

— Какие ребята?

— Мои летчики.

Они миновали площадь Дзержинского и спустились к Охотному ряду, однако, вместо того чтобы ехать дальше прямо, Козырев, мельком оглянувшись на стоявшего спиной милиционера, развернулся посреди улицы и подъехал к гостинице «Москва».

— Приехали,— сказал он, вынимая ключ.

Артемьев вылез. Ему было безразлично, где вылезать, хотя Козырев мог бы и вежливей объяснить, что не довезет его до дому.

— Здравия желаю.— Артемьев приложил пальцы к козырьку, намереваясь уйти.

Козырев, запиравший машину, снизу вверх посмотрел на Артемьева и рассмеялся.

— Да ты что? Ты что обо мне думаешь? Раз сказал, что довезу, значит, довезу.

Он запер дверцу и сунул ключи в карман галифе.

— Это только так, привал. Зайдем в «Москву», посидим часок. А ты уж обиделся? Подумал про меня: «Вот архаровец, обещал довезти — и, пожалуйста, вылезай»? Нет, друг, у нас в авиации так не делается. Пойдем!

Он так же естественно перешел сейчас на «ты» с Артемьевым, как за пять минут до этого, выйдя от Нади, перестал называть ее Надеждой Алексеевной.

Артемьеву не хотелось идти с Козыревым в ресторан, и он неуверенно соврал, что его ждут дома. Но когда Козырев начал настаивать на своем — не стал с ним препираться здесь, на тротуаре, перед входом в гостиницу «Москва», на виду у прохожих, уже начинавших глазеть на ордена Козырева.

Ресторан был битком набит, но лысый, потный официант, перехватив их почти у самого входа, подвел к угловому столику и снял с него карточку «занято».

— Коньячку? — спросил он у Козырева доверительно.

— Коньяку и закусок,— сказал Козырев,— а потом подумаем.

— Зачем же закуски? — сказал Артемьев.— Мы уже сыты.

— Ничего, пусть стоят,— сказал Козырев.— Действуй! — повернулся он к официанту.

— Лимонаду? — снова доверительно спросил официант, стараясь показать, что он не только хорошо знает Козырева, но и помнит его вкусы.

— Правильно. И быстро действуй. А то у меня друг торопится.— Козырев кивнул на Артемьева.

Официант улыбнулся с видом человека, оценившего шутку,— как будто кто-то мог торопиться, сидя за столом, за которым сидит и не торопится Козырев! Все еще улыбаясь, он поправил на столе рюмки и ушел, зажав под мышкой меню и салфетку.

Артемьев сидел и молча оглядывал ресторан, в котором до этого бывал всего два раза в жизни, причем оба эти раза сегодня ему не хотелось вспоминать.

«А впрочем, все равно, можно и вспомнить,— сказал он себе.— Был два раза — и оба раза с Надей. Сидели оба раза вон там, в углу. Ну, и что дальше?»

Потом он подумал, что ресторан ему, в общем, не нравится. Он слишком большой и пышный, с мраморными колоннами, как во дворцах. Сюда можно было ходить на экскурсии, есть здесь не хотелось.

Козыреву, наоборот, ресторан нравился.

— Богатый ресторан,— сказал он.— Верно?

И Артемьев согласился, что верно — богатый.

Когда принесли коньяк, Козырев, не дожидаясь закуски, налил по рюмке себе и Артемьеву, залпом выпил, сказав: «За твое здоровье»,— и почти сразу же налил себе вторую. Раз начав пить, он, как видно, уже с трудом останавливался, и Артемьев начал бояться, как бы все не кончилось пьяным объяснением.

— Мы пьем так,— сказал Козырев, опрокинув вторую рюмку и запив ее бокалом лимонада,— а вот как пехота пьет, интересно!

Артемьев не любил пить без закуски, однако выпил и вторую рюмку.

— Это уже за твое,— сказал он, с трудом выдавив из себя слово «твое».

Ему неудобно было так называть Козырева, старшего по званию, но тот сам вынуждал его на это.

— Вот это по-нашему,— одобрительно сказал Козырев.— А ну, давай еще по одной.

На столе к этому времени появились закуски, и Козырев, прежде чем выпить еще рюмку, лениво ткнул вилкой в салат. Сидевший напротив него капитан нравился ему своим независи-

мым поведением с Надей, перед которой сам Козырев еще робел. А главное — после ухода от Нади Козыреву ни за что не хотелось оставаться одному. Уже подняв третью рюмку, он подумал, за что бы ему выпить. Сначала он хотел выпить за Надю, но удержался. Ему не хотелось, чтобы этот ее друг мог потом сказать ей, что Козырев так запросто пьет за ее здоровье на людях, в ресторане.

«За Надюшу»,— подумал он про себя и выпил третью рюмку молча.

— Расскажи мне, пожалуйста...— Козырев собирался спросить у Артемьева, какое назначение ему предлагают после академии, но Артемьев подумал, что тот хочет спросить его о Наде, и прервал разговор:

— Лучше ты что-нибудь расскажи. Ты уже видал такие вещи, которые мне и приснятся-то неизвестно когда.

— У нас, летчиков, сначала все неизвестно когда,— сказал Козырев,— а потом сразу документы в зубы — и тут уж давай не теряйся. А растеряешься...— Он не закончил фразы, вместо этого коротким жестом показав, что происходит с летчиком, когда он теряется.— Народ уж очень хороший там, где мы были. Мировые ребята! Кто-нибудь, наверно, об этом воспоминания напишет. Только не я. Мне что-нибудь писать — вот! — он провел пальцем по горлу.— Но кто-нибудь напишет. Не я один там был.

Он хлопнул себя ладонью по орденам.

— Два, правда, лично мои, а третий — за групповой бой вместе с ребятами. Фашисты у меня трех ребят сбили, и один сам гробанулся. Уже перед отъездом.

При этих словах Козырев с непрошедшей досадой ударил кулаком об стол и задумался. Его мысли оказались далеко-далеко от этого ресторана, столика, заставленного закусками, от сидящего напротив него малознакомого рыжего капитана, даже от Нади. Он видел перед собой тихое кладбище в тихом испанском городке и у зеленой стены зарослей дикого лимона — себя и своих ребят уже перед отъездом, в пиджаках и шляпах. А у ног — белую мраморную плиту, которая теперь, наверное, на куски разбита фашистами.

А Артемьев, глядя в эту минуту на его опечаленное лицо и на его ордена, вдруг подумал:

«Неужели его никак нельзя предупредить? Но как предупредить и о чем предупредить?» Сказать, что Надя была нехороша с ним, Артемьевым, так и не полюбила его по-настоящему, и поэтому он думает, что Надя вообще не в состоянии никого полюбить? Но, может быть, она не в состоянии была полюбить его,

Артемьева, но в состоянии будет полюбить этого сидящего напротив него человека? Он, Артемьев, не верит в это. Но почему тот, другой, должен не верить ей? Ведь год назад он сам не поверил бы, если бы ему сказали, что Надя не способна его полюбить! Что же можно сделать? Да ровно ничего. Не может же он, в самом деле, рассказывать сейчас о том, что женщина, в которую он был влюблен и которая отвечала ему той взаимностью, на какую была способна, что эта женщина пустая и, несмотря на порывы доброты, равнодушная ко всему на свете, кроме самой себя, и что другому человеку, полюбившему ее теперь, едва ли следут на ней жениться. Какой мужчина скажет это и какой мужчина будет слушать?

Артемьев прекрасно понимал невозможность сказать все это и глядел на Козырева, сознавая, что сама подобная мысль была вздором, вдруг родившимся от симпатии к этому сидящему против него человеку.

— Завидую тем, кто уже воевал с фашистами,— сказал Артемьев.

— Это ты верно,— отозвался Козырев, сидевший задумчиво, подперев рукой подбородок.— Кто воевал — тот военный. А кто не воевал — тот еще не военный. Таких мы видели. Такие еще неизвестно, какие они будут.

Он с хмельным вызовом уставился на Артемьева, с минуту смотрел на него и потом, словно что-то вспомнив, сказал:

— Это я зря. Это я тебя, друг, обидел. Давай запьем это дело.

Артемьеву пришлось выпить. Он не боялся за себя, но Козырев начинал пьянеть.

— Ты не бойся.— Он снова налил Артемьеву и себе.— Пей! Я тебя не оставлю. Сказал: довезу — и довезу! Ты какого года?

— Двенадцатого.

— И я двенадцатого. Давай — за наш год рождения! Чтоб мы не подкачали, чтоб — кровь с носу — все отдали!

Но Артемьев пить не стал. Он не желал увидеть Козырева пьяным и из-за него самого, и из-за его полковничьего звания и орденов и твердо решил не допустить этого. В минуту задумчивости Козырева он жестом подозвал официанта и заранее расплатился.

— Мы сидим уже полтора часа,— сказал Артемьев,— а ты обещал через час отвезти меня домой. Меня ждут.

Козырев обиделся:

— На часы смотришь? Хочешь, мои дам? Не можешь с Козыревым лишние полчаса посидеть? Давай по последней, а то уважать тебя не буду!

Сейчас он уже не так хотел выпить сам, как захотел заставить пить Артемьева.

— Ну что ж, не уважай,— сказал Артемьев.— А доставить меня до дому ты все-таки дал слово.

— Слово! Слово! — проворчал Козырев.—Я вижу, таким, как ты, и слово-то опасно давать.

Но Артемьев пропустил это мимо ушей.

— Ну, будешь пить или нет?

Козырев поднял рюмку, но, видя, что Артемьев не пьет, один тоже не стал пить и потребовал счет.

— Уж заплачено,— сказал официант, показывая глазами на Артемьева.

— Еще чего! — Козырев вытащил пачку денег.

Артемьев подумал, что сейчас может вспыхнуть ненужная ссора, и сказал:

— Половину могу принять.

— Я тебя звал, а не ты меня.

— Я ведь не барышня,— усмехнулся Артемьев.— Есть в кармане деньги — хожу с товарищами, а нет своих — на чужие не пью.

— Ну, давай отсчитывай половину,— вдруг смягчившись, сказал Козырев.

Артемьев его злил, но в то же время сквозь хмель все больше нравился ему.

Когда Артемьев взял у него из пачки тридцатирублевку, Козырев повернулся к официанту и протянул ему другую:

— Держи. От меня.

Потом сгреб деньги в кулак, сунул их в карман галифе и поднялся из-за стола.

Артемьев с тревогой подумал, что Козырев сейчас, наверное, пойдет пошатываясь, и был готов поддержать его. Но, к его удивлению, Козырев мгновенно подобрался и пошел к дверям напряженной, но твердой походкой.

Они спустились с лестницы. Козырев, не оглядываясь на Артемьева, все той же напряженной походкой пересек вестибюль и вышел на улицу.

«Как-то он поведет машину?» — подумал Артемьев, садясь рядом с Козыревым. Но его тревога и на этот раз оказалась напрасной. Козырев вцепился руками в руль, а глазами в дорогу и повел машину так, словно она была продолжением его собравшегося в комок маленького сильного тела. Он ехал всю дорогу молча и только на углу Пироговской, напротив академии, спросил:

— Куда теперь?

— Прямо.

— А теперь? — спросил Козырев, когда они доехали до перекрестка.

— Налево.

— Говори заранее,— сказал Козырев.

Они свернули еще раз и подъехали к дому Артемьева.

— Благодарю,— сказал Артемьев, вылезая из машины.

Козырев протянул ему руку и, уже захлопывая дверцу, сказал:

— А паршивый у тебя характер, капитан!

«Эмка» рванулась с места, блеснула на повороте стопсигналом и скрылась за углом.

Мать была уже дома. Когда Артемьев вошел, она стирала на кухне белье. В последние дни, по вечерам, возвращаясь с работы, она исподволь собирала сына в дорогу и всякий раз, когда он приходил домой, встречала его вопросительным взглядом: «Как, неужто уже завтра?»

— Завтра,— сказал Артемьев, останавливаясь на пороге и встречая взгляд матери.

Татьяна Степановна шумно шлепнула в корыто белье, вздохнула, вытерла полотенцем руки и молча прошла в комнату.

— Что ж ты даже ничего не скажешь? — спросил Артемьев, проходя в комнату вслед за матерью.

— А чего же мне говорить? Надо в дорогу тебя собирать.

Она подошла к письменному столу сына, надела очки, взяла карандаш и газету и стала на полях ее составлять список вещей. При этом у нее был такой сердитый вид, словно сын был в чем-то виноват перед ней. Но Артемьев знал, что и ее немногословие и озабоченность — все это лишь для того, чтобы скрыть огорчение.

— Ну, скажи что-нибудь,— повторил он, думая, что матери будет легче, если она разговорится.— Что тебе, не жалко, что ли, что я еду?

— Нет, не жалко,— ответила Татьяна Степановна и через очки посмотрела ему в глаза сердито и строго, как иногда смотрел отец.

Она сидела напротив сына, такая же рослая и сильная, как он, немолодая, только что потерявшая мужа и все-таки не согнутая жизнью женщина, знавшая себе цену и уверенная, что не только ей будет тяжела разлука с сыном, но и ему будет тяжела разлука с ней. Глядя сейчас на сына, она видела, что он выпил, взволнован и на кого-то зол, но это не могло быть из-за отъезда, которого он хотел и ждал.

— Что случилось-то? — после долгого молчания спросила она наконец.

— Плохие дела, мама,— коротко сказал Артемьев, зная, что матери достаточно этих двух слов, чтобы все понять.— Верней сказать, хорошие дела. Все окончательно окончено.

При этих словах он через силу улыбнулся. Татьяна Степановна ничего не сказала в ответ. Она ждала такой развязки и не хотела другой. Сын ехал далеко, может быть, на долгие годы, у него начиналась новая жизнь, и она была рада, что он уезжает хотя и огорченный, но вполне свободный для этой новой жизни.

— В какую часть пошлют, так еще и не сказали? — спросила Татьяна Степановна, как бы подчеркивая этими словами, что все перемелется и надо сейчас думать о главном — о службе.

— Так еще и не сказали. В Чите скажут.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Летчик вышел из кабины, громко сказал, обращаясь к пассажирам:

— Прошу следить за воздухом.— И снова скрылся в кабине.

Артемьев, как ему казалось, только что задремавший, с удивлением посмотрел на часы и прильнул к окну. Оказывается, он проспал больше часа. Красный шар солнца стоял совсем низко над горизонтом, и слева по земле неслась черная тень самолета. Тень была огромной, потому что самолет шел на бреющем полете, у самой земли,— он находился уже в зоне досягаемости японских истребителей.

Как сначала все долго не происходило и как все разом произошло потом! Еще вчера, то есть, в сущности, сегодня, в час ночи, они сидели с Санаевым в Чите, в общежитии для приезжих, на кроватях с продавленными сетками, и завидовали Бондарчуку, которого они только что проводили на владивостокский поезд. Он получил полк в районе Посьета, а они все еще сидели в Чите и ждали назначения.

Но не успели они посетовать на судьбу, как в коридоре зазвонил телефон и их срочно вызвали в штаб. А через час, еле успев собрать чемоданы, они уже грузились в отправлявшийся на аэродром штабной автобус. Предписания у обоих были в воинскую часть 113, то есть в группу наших войск, расквартированных в Монголии. Полковник, выдававший им предписания, сказал, что на монгольско-маньчжурской границе четырнадцатого произошла стычка наземных войск, а в воздухе бои не прекращаются ни на один день.

Артемьев и Санаев переглянулись, довольные тем, что летят вместе и, кажется, попадут в гущу событий.

Шофер гнал автобус вовсю, боясь не поспеть к самолету, но самолет, который должен был прилететь из Монголии ночью, не прилетел. На летном поле напрасно жгли до утра костры.

Дежурный по аэродрому был хмур и озабочен. Сначала он отмалчивался, а потом угрюмо сказал, что товарищи командиры должны сами понимать — у него нет причин задерживать их, раз у них на руках предписания.

— Придет самолет, заправим, получим сводку погоды — и полетите.

В три часа дня самолет наконец приземлился.

Едва он покатился по полю, как навстречу ему из авиагородка выехал санитарный автобус. Из самолета на носилках вынесли двух раненых. Артемьев заметил, что к ручкам вторых носилок был пристегнут за ремень летный шлем. Раненых быстро погрузили в санитарную машину, и она уехала. Потом из самолета вылезли летчик и штурман и, переговариваясь с дежурным, пошли через аэродром к командному пункту. Артемьев, пока они шли мимо него, услышал обрывок разговора.

— Из-за них и задержались вчера,— сказал летчик.— Связь с городом есть? Надо доложить.

— Есть,— сказал дежурный.— А как в воздухе?

— В воздухе нормально. Только быстрей заправляйте, а то я засветло до Тамцака не дойду. У вас люди только в Тамцак или и в Ундур-Хан?

— Есть и в Ундур-Хан,— сказал дежурный.

— Тем более!

Летчик и штурман ушли вместе с дежурным, а самолет сразу начали заправлять.

Он вылетел в обратный рейс, битком набитый людьми, половина которых через два часа сошла в Ундур-Хане. Самолет стоял, не выключая моторов, летчики торопились, и Артемьев даже не успел как следует проститься с Санаевым.

В предписании вслед за одним и тем же номером воинской части стояли разные дроби, за которыми скрывались разные места назначения: у Санаева — Ундур-Хан, у Артемьева — Тамцак-Булак.

Когда они получили эти предписания и даже когда Санаев слезал в Ундур-Хане, Артемьеву все еще казалось, что они будут служить где-то рядом. Но теперь, когда Ундур-Хан остался позади, а самолет уже второй час все летел и летел на восток, Артемьев подумал, что на этих просторах у него, пожалуй, немногим больше шансов встретиться с Санаевым, чем с Климовичем или с уехавшим в Посьет Бондарчуком.

Начинавшая темнеть степь продолжала лететь за окном.

Артемьев посмотрел на часы и покосился на своего нового соседа, пересевшего после Ундур-Хана на место Санаева.

Сосед — единственный в самолете штатский — был худой, очкастый человек в кепке и плаще, из-под которого виднелся лацкан пестроватого пиджака и небрежно повязанный клетчатый галстук. В руках он держал книжку; время от времени он клал ее на колени, потирал длинные пальцы так, словно они зябли, и снова принимался читать.

«Что может быть нужно этому человеку в Тамцак-Булаке и кому он там нужен сейчас?» — подумал Артемьев.

— Почему не следите за воздухом? — спросил он, полуоборачиваясь к соседу.

Тот положил книжку, не спеша потер свои зябнущие пальцы и тоже повернулся к Артемьеву. За стеклами очков оказались насмешливые и твердые глаза. Он посмотрел на Артемьева так, словно хотел спросить его: «А что ж ты сам, голубчик, тут дрых только что целый час?» И наконец проговорил, показав пальцем на очки:

— Думаю, что это бесполезно.

— А кто вы по профессии, извините за нескромный вопрос?

Штатский снова потер свои зябнущие пальцы.

— Как вам сказать... В настоящее время я, видите ли, интендант, и притом даже второго ранга.— Он искоса глянул на одну шпалу на петлице Артемьева, как бы стесняясь того, что он по званию старше своего соседа.— Но это, впрочем, недавно, и даже еще не имею обмундирования. А вы, очевидно, кадровый? — И он довольно бесцеремонно оглядел Артемьева.

— Да,— подтвердил Артемьев и, чтобы избежать дальнейших вопросов, взглянув в окно, сказал, что степи здесь дикие, но красивые и с воздуха кажутся гладкими, как стол.

— Да,— сказал его сосед,— и притом не только кажутся, но такие и есть.

«Наверное, какой-нибудь ветеринар,— подумал Артемьев.— Нет, тогда он был бы не интендантом, а военврачом. Или какой-нибудь бывший внешто́рговец, специалист по шерсти...»

«Внешто́рговец» вновь, не обращая внимания на Артемьева, углубился в книжку.

Заглянув через его плечо, Артемьев увидел, что это были какие-то стихи.

— Внимание! — сказал штурман, выходя из кабины.— Через пять минут посадка — Тамцак-Булак.

Когда самолет начал разворачиваться, ложась на одно крыло, Артемьев в своем окне увидел совсем близко летящую землю

с круглыми крышами юрт, а в противоположном — почти черное небо.

Солнце уже закатилось; они сели на землю за несколько минут до наступления полной темноты.

Сойдя с самолета, Артемьев еще успел окинуть глазом окружающую картину. Аэродромом служило просто гладкое травянистое поле, на котором сейчас стоял их самолет. Точно такое же ровное поле тянулось и дальше, до горизонта. На восток уходила тоненькая цепочка телеграфных столбов, а к западу от летного поля был расположен, как его называли в Чите, город Тамцак-Булак — поселок из нескольких глинобитных зданий и полусотни юрт.

Стояла тишина. Только над головами поющей тучей висели комары да где-то в Тамцак-Булаке тихо, но отчетливо постукивал движок.

Все остальные пассажиры, кроме «внешто́рговца» и Артемьева, были летчиками — лейтенантами и старшими лейтенантами. Они гурьбой высыпали из самолета и окружили человека с летными петлицами, вылезшего им навстречу из кабины полуторки.

— Значит, прилетели, ребята? — сказал он, с довольным видом оглядывая их.

— Выходит, что прилетели, товарищ военный инженер,— ответил один из них.— Летный состав на месте. А вот как с материальной частью?

— Матчасть есть,— ответил инженер.

— Есть или будет? — спросил летчик.

— Для кого есть, а для кого будет. Перегоняют. Давайте, ребята, помогите мотор сгрузить, да поедем.

Летчики быстро выгрузили два самолетных винта и по доскам спустили с самолета в кузов подъехавшей полуторки авиационный мотор.

— Ну, рассаживайтесь,— сказал инженер.— Задний борт закройте, а то высыплетесь. Мы поехали,— повернулся он к авиационному старшине, принимавшему самолет, и полуторка быстро покатила в степь, к уже совсем черному горизонту.

— А вы куда? — спросил старшина у Артемьева и «внешто́рговца».

— Мне в политотдел,— сказал «внешто́рговец».

— Мне к оперативному дежурному,— сказал Артемьев.

— Тогда вам обоим вон в этот дом, видите? — показал старшина.— Ближний отсюда.

Было уже совсем темно, и Артемьев не видел дома, но примерно помнил, где он его видел, когда смотрел в ту сторону пять минут назад.

— Вижу,— сказал он.

— Оперативный дежурный ближе с этой стороны,— сказал старшина,— а политотдел — с той, надо обойти дом.

— Пойдемте,— сказал «внешторговец»,— у меня есть фонарик.

— Особенно-то не светите,— вдогонку ему крикнул старшина.— Пока по ночам не летают, но все-таки...

Однако им пришлось светить себе под ноги, потому что темнота стала непроглядной. Наконец они добрались до низкого, одноэтажного здания с занавешенными изнутри окнами.

— Вам, кажется, сюда,— сказал «внешторговец» и, продолжая светить себе под ноги, пошел дальше.

Артемьев на ощупь толкнул дверь, сбитую из неструганых досок, и вошел.

— Дверь закрывайте! — раздался голос.— Комары!

Артемьев захлопнул за собой дверь, поставил на пол чемодан и огляделся.

В комнате стояли топчан и три стола со стульями, за одним из них сидел старший лейтенант, приподнявшийся навстречу Артемьеву. Над столом был зацеплен за гвоздик провод с маленькой, тусклой лампочкой.

— Слушаю вас, товарищ капитан.

— Вы оперативный дежурный? — спросил Артемьев.

— Так точно. Попрошу ваши документы.

Артемьев предъявил предписание и командирское удостоверение. Оперативный дежурный стоял долго и внимательно рассматривал их.

— Да вы садитесь,— сказал он, словно спохватившись и, однако, все еще продолжая разглядывать предписание. Потом сел, сделал одну отметку на предписании, вторую — у себя в лежавшей рядом с телефоном книге дежурств и наконец вернул документы Артемьеву.— Значит, вы в 113/4...

Артемьев кивнул.

— Значит, так,— сказал дежурный, растягивая слова, как будто его что-то смущало.

— Куда мне идти? — нетерпеливо спросил Артемьев.

— Да идти вам будет далеко,— сказал дежурный,— теперь вам ехать надо.

Он снова помолчал в раздумье и наконец сказал:

— Вы уж ночуйте тут.

— А что, разве штаб 113/4 не здесь? — спросил Артемьев.

— Да он здесь,— нерешительно сказал дежурный.— Вот я дежурю,— показал он на себя и на телефон.— А вообще-то штаб сейчас как раз на колесах. Едет. А опергруппа уже на Хамардабе.

Начальник штаба был тут сегодня днем, тоже уехал на Хамардабу.

— А где эта Хамардаба? Далеко отсюда? — спросил Артемьев, озадаченный тоном дежурного, очевидно что-то недоговаривавшего.

— Километров сто,— сказал дежурный.— Вы уж тут заночуйте. Утром туда пойдут машины, я вас извещу. Только где вас положить?

— Могу здесь,— сказал Артемьев.

Но дежурному, как видно, не хотелось уступать свой топчан, а класть капитана, хотя бы и вновь прибывшего, на пол было неудобно.

— Нет, надо вас где-нибудь положить,— задумчиво проговорил он, взяв за ручку телефона, но тут же радостно спохватился: — В госпитальную юрту, вот вас куда!

— Я пока не больной.

— Да нет, это для персонала юрта, она сегодня, должно быть, почти пустая. А найти ее так...

Он встал, чтобы открыть дверь и показать с порога, но вспомнил про комаров и остановился.

— Все равно ничего не видно. Я вам просто объясню: как выйдете из двери — прямо. Третья юрта по левой руке. Чемодан, если хотите, оставьте.

— Да нет уж, все равно!

Артемьев поднял было чемодан, но снова опустил его, решив спросить о том, что его больше всего интересовало:

— Как обстановка?

— Да вроде начались события на сегодняшний день,— с заминкой сказал дежурный.

— Ну, события-то, положим, начались еще четырнадцатого,— стремясь показать свою осведомленность, возразил Артемьев.

— Подробности об обстановке на сегодня мне неизвестны,— как улитка в раковину, уполз в себя дежурный,— а завтра на Хамардабе вы будете лучше меня знать.

Артемьев простился с ним, подхватил чемодан и, помня о комарах, быстро закрыл за собой дверь.

На ощупь пройдя мимо двух юрт, в одной из которых постукивала пишущая машинка, Артемьев у третьей юрты больно ушиб ногу о здоровенный кол с прикрученной к нему, уходившей куда-то вверх веревкой, чертыхнулся и услышал басистый голос:

— Товарищ военврач, что ж вы фонарик-то забыли?

— Я не военврач,— сказал Артемьев, подходя к человеку, которого не мог разглядеть,— но меня направили ночевать в госпитальную юрту. Это она?

— К товарищу Апухтину? — спросил голос.

— Не знаю уж, к кому,— сказал Артемьев, с досадой чувствуя, что он здорово расшиб коленку.— Знаю только, что в госпитальную юрту.

— Заходите,— сказал голос,— только товарища Апухтина нету, придется подождать.

Человек откинул угол кошмы, закрывавшей вход в юрту, и пропустил Артемьева вперед. Артемьев влез в юрту, поставил чемодан и устало плюхнулся на него. Посередине юрты стоял стол, а по окружности — пять парусиновых коек, из которых только одна была застлана. Огарок свечи, пристроенный на консервной банке из-под сгущенного молока, слабо освещал все это.

Человек, с которым говорил Артемьев, оказался немолодым старшиной медицинской службы.

— Значит, вы не медик? — сказал он, глядя на петлицы Артемьева.

— Значит, не медик,— сердито потирая ушибленную ногу, ответил Артемьев,— но тем не менее из юрты вашей не уйду.

— Мое дело маленькое, товарищ капитан. Это как товарищ Апухтин скажет. Чаю хотите?

— Еще как!

— Я сейчас товарищу Апухтину за чаем пойду,— сказал старшина,— так возьму и для вас.

Он взял чайник, сунул под мышку термос, а в карман — лежавший на столе сверток с заваркой и, перед тем как выйти, с сомнением оглянулся на Артемьева, словно колеблясь между необходимостью принести чай и нежеланием оставить тут этого неизвестного капитана без разрешения товарища Апухтина.

Артемьев пересел с чемодана на койку и лишь теперь почувствовал, как у него горит все лицо. Пока он в темноте ходил по Тамцак-Булаку, комары, оказывается, совершенно искусали его. Открыв чемодан, он вытащил флакон одеколона и стал растирать лицо и шею.

— Это вы зря одеколоном,— сказал кто-то за его спиной.

Он обернулся. У входа в юрту, еще придерживая только что закрытую за собой кошму, стоял высокий военврач с тремя шпалами на петлицах. У него была по-военному подтянутая фигура, крепко охваченная ремнем с маленькой кобурой. Лицо у военврача было молодое, властное, с зачесанными на пробор светлыми волосами. Фуражку он держал в руке и обмахивался ею.

— Вот видите, даже и здесь зуммерят,— сказал он, прислушавшись к гудению комаров, положил фуражку на стол и протянул руку Артемьеву: — Апухтин.

Артемьев встал и назвал себя.

— Да сидите вы,— сказал военврач.— Только что прилетели?

— Да.

— Ночевать прислали?

— Да.

— Знают, что мы уже почти эвакуировались.

— Эвакуировались?

— Вперед эвакуировались,— улыбнулся Апухтин.— Поближе туда госпиталь передислоцировали,— неопределенно ткнул он рукой в стену юрты.— Всё отправили. Даже не знаю, чем вам укрыться. Тут ночи холодные.

— Ничего, я шинелью,— сказал Артемьев.— Была бы койка.

— Видно, так,— сказал Апухтин.— У меня тут сейчас осталось только четверо тяжелораненых. Из-за них, собственно, и задержался. С этим же самолетом, каким вы прилетели, с рассветом отправлю их в Читу, а сам двинусь на новое место. У нас еще некомплект: я и за начальника, и за главного хирурга. Что, не помогает одеколон?

— Нет,— сказал Артемьев,— в первую минуту было легче, а сейчас опять горит.

— Ничего не помогает,— кивнул Апухтин,— только терпение.

— Я сегодня видел в Чите двух тяжелораненых, ваши?

— Мои, вчерашние,— подтвердил Апухтин.— Правда, один вряд ли выживет, хоть я и очень старался. Летчики. А сегодня с утра уже пехота-матушка пошла.

— А что, бои? — спросил Артемьев.

Апухтин удивленно посмотрел на него, но, вспомнив, что капитан только что прилетел, коротко сказал, что японцы с утра перешли в наступление и к трем часам дня в госпитале было уже девяносто раненых.

— И как раз передислокация! Три хирурга уже на новом месте, а я еще здесь, на старом. Как в книгах пишут — по локти в крови. Когда пришли, никого тут не застали?

— Старшину. Он за чаем пошел.

— Вот это замечательно!

— Вы впервые? — спросил Артемьев. Он хотел спросить, впервые ли Апухтин на войне, но почему-то неуклюже спросил: — Впервые оперируете?

Но Апухтин понял смысл его вопроса.

— Нет, не впервые. Я был на Хасане. Но вообще-то наша хирургия дело всегда кровавое. Так что для нас в этом смысле на войне меньше разницы, чем для всех других. А вы впервые?

— Впервые.

— Останетесь здесь, в Тамцаке, или поедете на Хамардабу?

— Должен ехать завтра утром. Вы не туда?

Апухтин задумался.

— Могу подвезти до госпиталя. Это немного в сторону, но оттуда можно с обратной санитаркой прямо на передовую.

Апухтин взял одну из подушек, лежавших на застеленной койке, и перебросил ее на койку, где сидел Артемьев.

— Ложитесь пока, до чая.

Артемьев положил под голову подушку и натянул до подбородка шинель. Он лежал, закрыв глаза, и вспоминал зал Большого Кремлевского дворца в день торжественного выпуска в ту минуту, когда начальник их Академии имени Фрунзе от лица всех академий рапортовал, стоя в трех шагах от Сталина.

«Академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии окончили две тысячи сто сорок три человека, в том числе четыреста тридцать пять человек с отличием»,— рапортовал начальник.

Артемьев подумал тогда, что в числе четырехсот тридцати пяти человек, окончивших с отличием, есть и он, капитан Артемьев, и посмотрел на Сталина.

Как ему показалось, Сталин, в свою очередь, с интересом смотрел на них, собравшихся в этом зале, смотрел внимательно и задумчиво.

Каждый год две тысячи капитанов, майоров, полковников и комиссаров, окончив академии, проходили в этом зале перед глазами Сталина. Интересно, что думал он на этот раз, глядя на них, выпускников 1939 года? Знал ли он о их будущей судьбе больше, чем они сами? Артемьеву казалось — знал...

— Вставайте, капитан!

Спустив ноги на пол, Артемьев спросонья удивился тому, что огарок свечи на консервной банке стал не меньше, а наоборот, больше. Он потер глаза, встал и только теперь увидел, что рядом с ним стоит разбудивший его Апухтин в шинели и фуражке.

— Надо ехать,— сказал Апухтин,— уже три часа.

— Неужели утро? — сказал Артемьев и стал быстро надевать шинель.

— В Москве еще вечер,— сказал Апухтин,— но мы с вами теперь монголы.— Он показал на стоявший на столе термос: — Выпейте.

Артемьев нахлобучил фуражку и поднял воротник шинели — в юрте было холодно.

— Ничего, поехали, не хочу вас задерживать.

— Пейте чай, вам говорят.

Апухтин сунул ему термос прямо в руки. Артемьев налил чая в крышку и, держа ее обеими руками, стал отхлебывать,

с удовольствием чувствуя, как у него согреваются пальцы. Допив, он завинтил термос и огляделся, куда бы его деть.

— Возьмите под мышку,— сказал Апухтин.

Приоткрыв кошму, он вышел первым. Артемьев с термосом под мышкой и чемоданом в руке вышел вслед за ним.

В степи светало. Темно-синее небо вдали сделалось зеленоватым и на горизонте было отрезано от земли узкой желтой полоской зари.

Около юрты стояла «эмочка». На переднее сиденье, рядом с шофером, усаживался Апухтин. Артемьев кое-как втиснулся на заднее сиденье — оно было загромождено чемоданами, двумя вещевыми мешками, двумя винтовками и касками.

— Устроились? — повернулся к нему Апухтин.

— Так точно.

За юртой сразу же начиналась степь. Автомобильные колеи тянулись во всех направлениях.

Шофер Апухтина тоже решил оставить в степи свой автограф и поехал прямо по траве. Однако постепенно автомобильные колеи начали сходиться все ближе и ближе и наконец слились в дорогу с двумя резкими колеями, накатанными до глянца и уходившими вдаль, как две полосы рельсов. Между колеями вместо шпал была ровная полоса бурой земли, выжженной солнцем и уже потрескавшейся, несмотря на то что лето только начиналось.

Вдоль дороги на восток тянулась цепочка телеграфных столбов с проводами, Артемьев заметил их еще вчера. «Верней,— подумал он,— не столбы тянутся вдоль дороги, а дорога — вдоль столбов». Именно эта прямо протянутая телеграфная линия свела воедино и потянула за собой все накатанные по степи колеи. Столбы были тонкие, иногда надставленные и обкрученные проволокой. Чувствовалось, что здесь на счету каждый кусок дерева.

— Удивительное дело эта степь! — сказал Апухтин, полуоборачиваясь с переднего сиденья к Артемьеву, после того как они молча проехали с десяток километров, не встретив и не обогнав ни одной машины.— Я здесь около двух недель. Сначала было впечатление чего-то до того однообразного и унылого, что, кабы не военная служба,— сегодня приехал, а завтра обратно. Ни одного дерева! Листок сорвать и в пальцах помять — так нет его! Не с чего сорвать! Даже как-то угнетало в первые дни. А потом однажды встал пораньше и увидел рассвет. Рассветы и закаты тут необыкновенной красоты. Суровые места. И красота суровая, и климат. И расстояния. И народ сурового воспитания. Я уже больше двадцати монголов оперировал. И хотя бы один смалодушничал!

Люблю помогать таким людям — молчаливым, без слезы. А вот и они сами,— оборвал себя Апухтин.

Впереди, в стороне от дороги, что-то двинулось навстречу машине. Раздвинув мешавшие ему смотреть вещевые мешки и каски, Артемьев увидел небольшой караван: двух вьючных верблюдов, еще одного, впряженного в длинную, высокую арбу, и рядом — несколько всадников на низкорослых лошадях. Двое из всадников были мальчики, третий — старик в лисьей шапке, с редкой, длинной седой бородой. В арбе сидела женщина с грудным ребенком. Другая женщина шла рядом с арбой, держась рукой за край ее. Еще дальше, в степи, виднелся одинокий всадник и отара овец.

— Откочевывают вглубь, на запад,— сказал Апухтин.— Приказ их правительства. Чтобы не пострадать. Степь большая, всю с воздуха не прикроешь. А японские летчики разбойничают, уже несколько таких семейств расстреляли из пулеметов.

— Ну-ка, выключи,— дотронулся Апухтин до руки шофера.

Шофер выключил зажигание. Машина продолжала по инерции бесшумно катиться вперед. Апухтин открыл дверцу и высунулся наружу. Теперь, когда мотор был выключен, Артемьев ясно услышал гудение самолетов.

— Свои,— сказал Апухтин,— идут к Халхин-Голу.

Артемьев тоже выглянул. Высоко в небе шла шестерка бомбардировщиков и звено истребителей.

— Поехали,— сказал Апухтин.

— Сколько всего у вас было раненых? — спросил Артемьев.

— Вчера к двадцати четырем часам было сто сорок семь. Это и монголов и наших. За ночь, наверное, еще прибавилось.

— Ого! — сказал Артемьев.

— Всех подробностей не знаю,— сказал Апухтин,— но, кажется, вчера было тяжело. Ведь выбрали же место, дьяволы! — со злостью добавил он.— На самом краю света! Пока еще сюда все подвезешь, хотя бы то же госпитальное имущество!

На этот раз, уже не приказывая шоферу выключать мотор, он на ходу снова приоткрыл дверцу машины и проводил взглядом еще одну тройку истребителей, шедшую к Халхин-Голу.

— Спать не хочется? — спросил он после молчания.

— Нет, уже расхотелось.

— А мне захотелось. Почти не спал сегодня. Протяните-ка мне одеяло!

Артемьев подал ему лежавшее сзади сложенное вчетверо одеяло. Апухтин сложил его еще вдвое, пристроил между спинкой сиденья и боковым стеклом, снял фуражку, прислонился и тотчас же заснул.

Шофер вдруг повел машину очень медленно.

— Солончаковая полоса, небольшая, с километр,— тихо, через плечо, сказал он.

Машина заскакала, как заяц, но Апухтин не просыпался. Вскоре они снова выехали на ровную дорогу.

— А вон озера, видите, белеют,— тихо, опять через плечо сказал шофер.— Солончаковые. Пить воду нельзя — тухлая. Я один раз на таком озере уток бил, а достать не мог. Как будто и воды немного, а солончак засасывает. И ноги ест. Тут редко где хорошие колодцы,— продолжал он.— Начинаешь рыть, до воды доходишь, а вода солончаковая. Разрешите закурить?

— Курите.

Весь следующий час они ехали молча. Уже не над дорогой, а в стороне и ниже, чем первый раз, прошли возвращающиеся самолеты. Теперь они шли не двумя группами, а вместе, но бомбардировщиков теперь было только пять и истребителей пять — двух машин не хватало.

Артемьев долго смотрел на небо, ожидая, что сейчас появятся еще два самолета, догоняющие остальных, но они все не появлялись.

«Может быть, прошли обратно где-нибудь стороной». Он еще пробовал обмануть себя, но в душе уже знал: одни вернулись, а другие не вернулись и уже никогда не вернутся. Это и есть самый простой ответ на вопрос, что такое война.

— Подъезжаем,— громко сказал шофер.

Теперь он не боялся разбудить Апухтина,— напротив даже, оторвав руку от руля, слегка потрогал его за плечо:

— Подъезжаем, товарищ военврач первого ранга.

Апухтин забросил на заднее сиденье одеяло и надел фуражку. Впереди возникли очертания нескольких юрт и двух больших палаток.

Прошло еще несколько минут, и они въехали в госпитальный городок. Больших палаток было не две, как издали показалось Артемьеву, а три; для четвертой забивали колья, ее огромное темно-зеленое полотнище лежало на земле. Около юрт разворачивалась задом крытая санитарная машина. Апухтин сложил руки трубой и крикнул кому-то:

— Эй, Соловьев, останови санитарку!

Санитарку остановили. Артемьев вылез из «эмки».

— Товарищ военврач первого ранга,— отрапортовал, подходя к Апухтину, толстенький врач с двумя шпалами на петлицах.— Докладывает...

— Вольно, вольно, Борис Григорьевич, сейчас поговорим,— перебил его Апухтин и повернулся к Артемьеву: — Садитесь вон

в ту санитарку и поезжайте. И от души желаю больше не попадать в расположение вверенного мне госпиталя!

И сразу же, не думая больше об Артемьеве, взял под руку толстенького военврача.

— Теперь рассказывайте мне по порядку...— услышал Артемьев начало фразы.

Захватив чемодан, он пошел к санитарной машине, намереваясь открыть задние дверцы и сесть внутрь.

— Нет, нет, товарищ капитан,— сказал шофер,— вы туда не лезьте, там не прибрано. Садитесь в кабину. Я один. Фельдшер там остался. Там...

Шофер сделал такой жест рукой, словно ему даже не хочется и объяснять, что значит это «там».

Артемьев сел в кабину, успев увидеть на подножке большое кровавое пятно.

— В ногу раненный лейтенант ехал,— сказал шофер, заметив взгляд Артемьева.

— Много сегодня раненых? — спросил Артемьев, когда госпиталь скрылся из виду.

— Видимо-невидимо! — Шофер с нескрываемой горестью поглядел в глаза Артемьеву.— Просто, знаете, хоть плачь — как люди мучаются! Я, товарищ капитан, даже и на действительной не был,— шофер прикоснулся к гимнастерке,— всего две недели надел. Я по вольному найму в монгольской кооперации работал. И эти две недели тоже на водяной цистерне был. Только что и видел одну бомбежку! А со вчерашнего вечера, как на санитарку посадили,— четвертый рейс взад и вперед! Шестнадцать часов за баранкой сижу, глаза слипаются... А кровищи! Я раньше вида крови вытерпеть не мог. Если кто палец разрежет, меня тошнит.

— Ну и что, все-таки привыкли?

— Да ничего я не привык,— сказал шофер.— Но я же с машины в степь не убегу, раненых не брошу. А фельдшер говорит: «Давай помоги». Да я и сам вижу! И втаскиваешь их, стараешься. А им все-таки больно. Просто ужас какой-то, честное слово!

Он снова посмотрел в лицо Артемьеву своими добрыми молодыми глазами и, словно извиняясь за все ранее сказанное, добавил:

— Если бы я, конечно, был, как вы, военный человек... Хотя я, конечно, военный человек,— спохватившись, поправился он,— боец. А в общем, конечно, этот разговор лишний с моей стороны...

Он устало потер рукой лицо, согнулся над баранкой, почти лег на нее и вдруг повернулся к Артемьеву:

— Что, товарищ капитан, вылезем? Или как?

— Почему вылезем?

— А вон идут,— сказал шофер, показывая через переднее стекло на небо и продолжая одной рукой вести машину.

Артемьев тоже поглядел в переднее стекло и увидел в небе три шедших навстречу и быстро увеличивавшихся самолета.

— Японцы! — не поворачивая головы, сказал шофер.— Они по дороге бьют, товарищ капитан. Так как же будем? А?

— Что как же? Ехать надо! — со злостью не столько на шофера, сколько на самого себя за вдруг охватившее его чувство страха крикнул Артемьев.— Раненые вашу машину ждут, а мы ее бросим? Поезжайте!

Шофер и так ехал не останавливаясь. Он только сильней нажал на газ и еще ниже пригнулся к рулю. Самолеты с ревом пронеслись над их головами. Артемьев едва успел со странным чувством удивления увидеть чужие, японские круги на крыльях и сообразить, что все в порядке, что самолеты уже за их спиной, а они продолжают ехать, как впереди появились еще три самолета.

Теперь шофер ничего не спрашивал. Вцепившись в руль, он гнал машину на предельной скорости. Когда самолеты оказались совсем близко, Артемьев дернул за козырек фуражки, крепче надвинув ее, как будто она могла защитить голову от пулеметной очереди, и, делая это движение, не заметил, что у пронесшихся над ними самолетов были красные звезды на плоскостях.

Шофер сбавил газ и вытер о гимнастерку сначала одну, потом другую потную руку.

— Наши! — сказал он, улыбнувшись Артемьеву счастливой, усталой улыбкой.

— Что наши?

— Наши! Ястребки. Со звездами. Японец потому нас и не обстрелял.

— Правда наши?

— А вы разве не видели? Наши. «И-шестнадцатые». Вы не подумайте, товарищ капитан,— помолчав, сказал шофер,— я вам, как боец, обязан сказать, потому что должен беречь командира. Даже летчики на землю ложатся. Я им воду возил аккурат в бомбежку. Видал!

— Ничего,— ответил Артемьев, сердясь на себя за проявленную несдержанность.— Когда нужно будет, и мы ляжем. А сейчас необходимости не было,— добавил он тоном человека, который хорошо разбирается в таких вещах.— Сколько осталось до Хамардабы?

— Километров тридцать. Только я ведь не на Хамардабу, товарищ капитан. Я, километр не доезжая, сверну влево к переправе.

Артемьев хотел было ответить, что ничего, сделаешь крюк в километр, завезешь меня,— но вспомнил о раненых.

— Ладно, слезу на перекрестке.

Они поехали молча. Шофер начал клевать носом.

— Остановите машину,— сказал Артемьев.

Шофер удивленно поглядел на него, но машину остановил.

— Вылезайте. Садитесь на мое место и поспите.

— Не положено, товарищ капитан.

— Я вожу машину, у меня есть права.

Артемьев дотронулся до кармана гимнастерки, где у него действительно лежали любительские права.

— Хуже будет, если на обратном пути заснете и раненых разобьете. Вылезайте! — повторил он уже повелительно.

Шофер вылез. Артемьев подвинулся на его место, а шофер, обойдя машину кругом, сел на место Артемьева и положил себе на колени его чемодан. Несколько минут он недоверчиво следил за тем, как капитан ведет машину, потом успокоился, а успокоившись, мгновенно заснул.

Артемьев не представлял себе, как выглядит место со звучным названием «Хамардаба», к которому они приближались, и даже не знал, что это такое: населенный пункт, развалины, долина, возвышенность?

Когда они, по его расчетам (он не сразу посмотрел на спидометр), проехали около тридцати километров, ему показалось, что влево отходит какая-то дорога. Он уже собирался разбудить шофера, но сообразил, что эти слабо накатанные колеи не могут быть дорогой к переправе.

Потом по степи справа, километрах в двух от дороги, прошли три броневика. Колеи все чаще ответвлялись влево и вправо от дороги, но ни одна из них не была сильно наезженной. Наконец он увидел сворачивавшую влево, хорошо наезженную дорогу и на ней ехавшую навстречу, к развилке, крытую санитарную машину. Он затормозил и тронул шофера за плечо:

— Садитесь за руль. Приехали.

Выскочив из машины, Артемьев принял от шофера чемодан и поставил его рядом с собой на дорогу.

— Можете ехать,— сказал он, захлопывая дверцу кабины.

Шофер приложил руку к пилотке, и машина тронулась. Когда стих шум мотора, Артемьев услышал негромкие далекие разрывы.

Дорога впереди подымалась на пологий холм и скрывалась за ним. Дальше, в километре, виднелись оголенные вершины еще нескольких холмов.

«Наверное, это и есть Хамардаба»,— подумал Артемьев и, подхватив чемодан, зашагал по дороге.

Четырнадцатого мая 1939 года небольшой отряд японской пехоты и кавалерии, действовавший под прикрытием самолетов, перешел монгольскую границу со стороны Маньчжурии и напал на монгольские пограничные заставы у старого, полуразрушенного буддийского монастыря на берегу озера Буир-Нур и у сопки Номун-Хан Бурд Обо, восточней реки Халхин-Гол.

Так начались военные действия в Монголии, которые впоследствии по именам этих географических пунктов — высоты Номун-Хан Бурд Обо, озера Буир-Нур и реки Халхин-Гол — фигурировали в японской печати как номунханские события, а в сообщениях ТАСС — как вооруженный конфликт в районе озера Буир-Нур и реки Халхин-Гол.

Монгольско-маньчжурская граница, трижды круто изогнувшись, образовала здесь как бы полуостров, с трех сторон окруженный маньчжурской территорией.

С точки зрения успешного развертывания военных действий, переброски войск и снабжения их район Халхин-Гола предоставлял японцам большие преимущества. Ближайшая крупная станция КВЖД Хайлар находилась всего в ста двадцати километрах от этого района, а конечная станция второй строившейся японцами стратегической Халун-Аршанской дороги еще ближе — в шестидесяти, в то время как ближайшей станцией, с которой могли бы снабжаться советские и монгольские войска, была станция Борзя, в семистах километрах отсюда.

В ночь на 28 мая сводный отряд 23-й японской дивизии, численностью в три тысячи штыков и сабель, с пулеметными частями, артиллерией и бронемашинами, скрытно сосредоточился в районе высот Номун-Хан Бурд Обо и Безымянной, две недели назад занятых японской разведкой.

Советско-монгольское командование и его выехавшая в район событий оперативная группа пока что располагали здесь втрое меньшими силами.

По восточному берегу Халхин-Гола занимали оборону полк монгольской кавалерии, монгольский бронедивизион и один, только что подброшенный сюда на машинах, батальон советского стрелкового полка. На подходе было еще несколько артиллерийских батарей и срочно снятая со строительных работ рота саперов. Все остальное находилось еще в глубоком тылу, в движении или в ожидании приказа.

Утром 29 мая, когда Артемьев оказался на Хамардабе, у юрты начальника штаба оперативной группы, и предъявил документы

часовому, на восточном берегу Халхин-Гола уже вторые сутки шел кровопролитный бой.

Японцы действовали в соответствии с директивой штаба Квантунской армии и приказом командира 23-й дивизии генерал-лейтенанта Камацубары. В приказе значилось, что дивизия «должна уничтожить монгольско-советские войска в районе Номун-Хана и, переправившись через Халхин-Гол, захватить его западный берег, необходимый как плацдарм для дальнейших действий императорской армии».

Выполняя приказ, японцы после внезапной бомбежки и артиллерийского обстрела на рассвете 28 мая перешли в наступление против советских и монгольских войск, растянутых по фронту на десять километров и имевших в тылу Халхин-Гол — глубокую и быструю реку всего с одной переправой.

План японцев сводился к тому, чтобы, наступая по всему фронту, нанести главный удар на фланге, прорваться к Халхин-Голу, двигаясь вдоль реки, захватить переправу и в конце концов замкнуть кольцо. За сутки они продвинулись почти повсюду, а на севере, прорвавшись к реке, были уже в километре от переправы; казалось, их план близок к осуществлению.

Только теперь, стоя у юрты, слушая звуки разрывов и видя лицо часового, проверявшего документы, Артемьев до конца понял, что означала вчерашняя озабоченность оперативного дежурного.

— Пройдите,— сказал часовой, возвращая Артемьеву документы.

Артемьев вошел в юрту, оставив чемодан снаружи. Верхняя кошма была откинута, и сквозь круглую, как тарелка, дыру было видно синее небо. В юрте находились двое. У входа стоял рослый лейтенант в зеленой тропической панаме и, раскрыв планшет, разглядывал заложенную под целлулоид карту. В глубине юрты, навалившись грудью на большой фанерный ящик, служивший ему столом, сидел и ругался по телефону полковник с хмурым бровастым лицом.

— Я уже час от вас слышу, что саперы вышли к развилке дорог. Но их там нет! Я не «маяка», а командира навстречу пошлю. Но требую честно ответить: когда они будут? Не когда вам хочется, чтобы они были, а когда будут? Еще раз проверьте и доложите. От ваших «приблизительно» кровью пахнет!

Он бросил трубку, мельком взглянул на стоявшего у входа Артемьева и, крутанув ручку телефона, снова взял трубку:

— Четвертый!

Приложив к уху трубку, он, еще раз окинув взглядом Артемьева, хотел что-то сказать, но в это время в трубке ответили.

— Товарищ Бадма,— сказал полковник,— звонил первый и приказал готовить бронедивизион к переброске с правого фланга в район переправы к Панченко. Запрашивает ваше мнение, сумеет ли ваш кавполк удержать позиции, если забрать у него броневики? Хорошо. Жду.

Полковник положил трубку и на этот раз уже окончательно повернулся к Артемьеву, сделав рукой быстрый жест навстречу документам. Жест откровенно говорил, что время дорого. Прочтя документы, полковник встал и прошелся по юрте, искоса поглядывая на Артемьева и как бы еще не зная, что ему делать с этим неожиданно свалившимся в его распоряжение капитаном.

— Итак, явились в наше распоряжение для использования на штабной работе? — В голосе полковника была ирония, относившаяся не столько к Артемьеву, сколько к несоответствию между формулировкой предписания и обстановкой. Он сделал короткий насмешливый жест рукой, как бы показывая, что эта юрта и есть сейчас весь тот штаб, в недрах которого ему предписывается использовать Артемьева.

— Надо бы доложить о вас комбригу,— сказал он,— но комбриг уже второй день там, за переправой.— Он коротко махнул рукой.— И вообще, кажется, уже все, кроме меня, там. Вызывайте Тамцак,— повернулся он к лейтенанту.— Что они молчат? Черт бы драл эту степь! Ни начала ей, ни конца! Пока что-нибудь подтянешь по этой чертовой степи, все жилы из себя и из других вымотаешь. Семьсот километров от железной дороги — шутка сказать! Ничего себе райончик выбрали сволочи самураи! А? — посмотрел он на Артемьева, словно ища у него сочувствия.

— Так точно,— неуверенно ответил Артемьев, но полковник спрашивал вовсе не для того, чтобы ему отвечали: он хотел высказаться сам.

— Ничего,— сам себе ответил он,— нам бы только до завтра дожить, а завтра мы уже богатые будем. Ну, где же Тамцак? — повернулся он к лейтенанту.

Тот пожал плечами и снова стал крутить ручку телефона. Приоткрыв кошму, в юрту вошел монгол с незнакомыми Артемьеву золотыми значками на ярких, синих с красным, петлицах.

У монгола было спокойное лицо, изрытое крупными оспинами на скулах.

— Я еду в кавполк,— сказал он, и голос его оказался таким же спокойным, как его лицо.— Я сам отправлю бронедивизион.

Он выговаривал русские слова, ломая их и делая паузы, чтобы его легче было понять.

— Сколько у вас осталось машин? — спросил полковник.

— Пять.— Монгол чуть заметно вздохнул.

Полковник поморщился — еще недавно в бронедивизионе было семь машин.

— Я провожу броневики до переправы и прикажу командиру бронедивизиона товарищу Даваджабу поступить в распоряжение товарища Панченко,— медленно сказал монгол: ему было трудно выговорить по-русски такую длинную фразу.

— Хорошо, товарищ Бадма,— ответил полковник.— Кто останется за вас здесь?

— Лубсан останется.— Монгол повернулся и вышел из юрты.

— Значит, так...— повернулся к Артемьеву полковник, проводив взглядом монгола.

Но в ту же секунду раздался звонок, и полковник рванулся к телефону.

— Слушаю, товарищ комбриг... Сам жду, товарищ комбриг. Ведь я...— Держа одной рукой трубку, он другой, свободной, с ожесточением хлопнул себя по колену. Видимо, ему говорили неприятности.— Встречу. Не потеряю ни минуты.

Он положил трубку и сразу же снова взялся за ручку телефона, но в это время раздался встречный звонок.

— Второй слушает. Ну что ж вы там? — крикнул полковник.— Вот это иное дело. Ясно! — совсем другим голосом, удовлетворенно сказал он, но тотчас же громко вздохнул и, набрав полную грудь воздуха, снова закричал в трубку: — А с дивизионом что? Где дивизион?.. Хотя погодите... Погодите, я говорю! Не разъединяйтесь, сейчас продолжим разговор.

Он положил трубку и встал.

— Поедете встречать саперную роту,— ткнул он пальцем в Артемьева.— Она сейчас прибудет на развилку дорог, там, где поворот к переправе. Знаете? А, хотя,— он с досадой махнул рукой,— вы же только приехали!

— Я знаю, где развилка дорог,— сказал Артемьев,— я уже был там.

— А дальше?

— Найду,— решительно сказал Артемьев.

Полковник посмотрел на него и повернулся к лейтенанту:

— Дайте ему карту. Чего вы возитесь? Дайте с планшетом.

Лейтенант снял через голову планшет и с неудовольствием протянул Артемьеву. Полковник перехватил планшет и положил его перед собой на ящик.

— Вот мы. Видите? Вот здесь развилка, ее на карте нет. Вот переправа. Встретите саперную роту — вручите командиру приказание.

Он протянул Артемьеву исписанный карандашом листок полевой книжки.

— Будете сопровождать их через переправу и дальше — сюда,— он показал пальцем куда.— Здесь КП майора Панченко. Рота направляется в его распоряжение. Вы — тоже. В бою не бывали?

— Не бывал.

— Ну, так через час будете. Отправляйтесь!

— Может быть, разрешите мне, товарищ полковник...— щелкнув каблуками, обиженно сказал молчавший до этого лейтенант.

— Никак нет! — отрезал полковник.— Пойдете на НП, сориентируйте капитана на местности. И возвращайтесь. Поторопите их! — в последний раз обратился он к Артемьеву.— Положение тяжелое.

И, уже не глядя на него, снова взялся за телефонную трубку:

— Так где же артдивизион? А если в шестнадцать часов будет уже поздно?

Артемьев услышал эти слова, выходя из юрты. Через минуту он вместе с лейтенантом поднялся на гребень горы, и его глазам открылась неожиданно громадная панорама.

Восточный склон горы Хамардаба, обращенный в сторону Маньчжурии, круто спускался вниз; Артемьев видел с НП извилистую темную ленту Халхин-Гола, несколько цепей песчаных барханов и желто-зеленых сопок, начинавшихся почти сразу же за рекой, и синевато-серую гряду отрогов Хинганского хребта вдали, за маньчжурской границей.

На склонах первой цепи сопок и барханов то здесь, то там рвались снаряды. Чаще всего они рвались у самого Халхин-Гола, километрах в семи от места, где стояли Артемьев и лейтенант.

— Вот туда вам и ехать,— сказал лейтенант, следя за взглядом Артемьева.— Переправу видите? Вон она!

И Артемьев увидел правей разрывов подходившую к реке и продолжавшуюся за ней полоску дороги и казавшийся отсюда очень узким мост через реку.

— За переправой километр прямо по дороге,— продолжал лейтенант,— и взять левей, к холмам. Там КП.

Артемьев открыл планшет, сориентировал карту по местности и повернулся. Провод шел от НП назад, к юрте, где они только что были. Прикрытая маскировочной сеткой с густо набросанной вялой травой, юрта сверху была почти незаметна.

— Машина стоит ниже юрты,— сказал лейтенант,— я вас провожу.

Артемьев вместе с лейтенантом бегом побежал вниз по склону. По дороге он увидел еще одну не замеченную им раньше и тоже замаскированную юрту, возле которой стоял часовой в монгольской форме.

На подножке накрытой маскировочной сеткой «эмки» сидел шофер и внимательно, с грустным выражением лица прислушивался к стрельбе.

— Цыплаков! Повезете капитана,— по-хозяйски сказал вскочившему шоферу лейтенант.— Полковник приказал. А вы, товарищ капитан,— повернулся он к Артемьеву,— как встретите саперов — они на грузовиках,— пересядете к ним, а машину сразу верните.

Артемьев вдруг вспомнил о чемодане, так и оставшемся стоять возле юрты, секунду поколебался, махнул рукой, сел в машину, и шофер погнал ее без дороги наискось по склону.

Едва они подъехали к знакомой развилке, где всего час назад Артемьев слез с санитарной машины, как вдали, со стороны Тамцак-Булака, показались клубы пыли. Развернув поперек дороги «эмку» и выскочив, Артемьев остановил первый из приближавшихся грузовиков.

Из кабины вылез старший лейтенант с саперной эмблемой на петлицах, но в серой, танкистской форме.

— Можете ехать,— махнул Артемьев шоферу «эмки» и, вынув из планшета, передал старшему лейтенанту приказание полковника. Там было всего три строчки: командиру саперной роты предписывалось явиться в распоряжение командира 84-го стрелкового полка Панченко.

— А мне предписано сопровождать вас до места назначения,— сказал Артемьев, когда сапер вопросительно поднял на него глаза.

Старший лейтенант влез в кабину. Артемьев слегка потеснил его и устроился на краешке сиденья, держась рукой за приоткрытую дверцу.

— Трогайтесь!

— Куда?

— Налево.

Головная машина с Артемьевым и старшим лейтенантом тронулась, а вслед за ней и остальные.

— Где же место назначения? — спросил сапер больше с интересом, чем с тревогой, прислушиваясь к звукам разрывов.— Чинить старую переправу или наводить новую?

«Скорей всего, ни то, ни другое»,— подумал про себя Артемьев и сказал вслух, что место назначения за переправой, на том берегу.

— Интересно! — сказал сапер.— Между прочим, два часа назад японские самолеты обстреляли нас прямо на дороге. Но абсолютно ничего!

«Может быть, те самые самолеты, что я видел»,— подумал Артемьев.

— Абсолютно ничего! — повторил сапер.— А что тут происходит? Вы в курсе дела?

Артемьев сказал, что сам здесь недавно и еще мало что знает. Знает только, что впереди, за Халхин-Голом, второй день идут ожесточенные бои.

— А вы там уже были? — спросил сапер.

— Нет,— ответил Артемьев.

— А правильно ли мы едем? — тотчас же спросил сапер.

— Правильно,— сказал Артемьев.

Сориентировав карту по местности, он действительно был уверен, что не запутается.

Дорога шла в объезд Хамардабы, постепенно приближаясь к реке.

— Интересно,— сказал сапер Артемьеву,— а может, нас просто бросят в бой, как пехоту? Как вы думаете?

Артемьев так и думал, но вместо ответа лишь пожал плечами. По мере приближения к передовой он делался все молчаливей.

— Интересно,— снова сказал старший лейтенант, становившийся, наоборот, все разговорчивей,— наверное, здесь здорово бомбят,— и он, улыбнувшись, показал на воронку возле дороги.

Артемьеву эта улыбка показалась бессмысленной, но в следующую секунду он подумал, что, вероятно, каждый человек волнуется по-своему.

Перед самым въездом на переправу из узкого окопчика выскочил лейтенант с красной повязкой на рукаве.

— Заворачивайте машины,— крикнул он,— быстро!

— Нам на ту сторону,— сказал Артемьев, выскакивая из машины.

— На ту сторону приказано пропускать только санитарки и боеприпасы,— ответил лейтенант.— Разгружайте машины и отводите их назад, в балку.— Он показал рукой, где находится балка.— Там есть укрытия, а здесь бомбят. Да побыстрей, а то опять прилетят, уже час не были.

Старший лейтенант, выскочивший из машины вместе с Артемьевым, дал команду выгружаться.

— Что будем брать с собой? — спросил, подходя к нему, политрук роты, уже не особенно молодой человек, бывший в эту минуту, как показалось Артемьеву, самым спокойным из них троих.

— Только то, что для боя,— сказал старший лейтенант.— Остальное хозяйство пока оставим на машинах.

— Пулеметы снимем? — спросил политрук.

Артемьев еще по дороге заметил, что на кабинах машин, через одну, были пристроены ручные пулеметы Дегтярева.

— Два оставим для прикрытия машин, а три снимем.

Машины одна за другой стали разворачиваться и отъезжать, а рота начала переходить по узкому временному мосту на тот берег Халхин-Гола. Слева по берегу шла частая перестрелка. Тонкий настил, подаваясь под тяжестью людей, гулко хлопал об воду. Течение было быстрое и сильное. Темная вода угрожающе неслась под мостом, на ней белыми пятнами мелькала глушеная рыба.

Почти сразу же за переправой, в заросшей мелким кустарником лощине, стояла палатка. Увидев палатку и людей возле нее, Артемьев подумал, что это командный пункт, но потом заметил в сидевших возле палатки людях что-то непривычное, несмотря на их военную форму, и понял, что это непривычное — белые повязки, эти люди — раненые, а палатка — перевязочный пункт.

Проходя мимо палатки, почти все саперы поворачивали к ней голову. Они впервые в жизни видели раненых.

Артемьев, уже пройдя мимо перевязочного пункта, тоже не смог удержаться и, обернувшись, увидел то, чего не заметил раньше: на пригорке, у самой дороги, лежали и отдыхали несколько бойцов. Артемьеву показалось странным, что все они какие-то длинные.

«Ах, да это так кажется из-за шинелей,— подумал он. Они все были выше пояса накрыты шинелями.— Должно быть, от солнца»,— решил он и только в следующую секунду сообразил, что это лежат убитые.

— Интересно,— спросил старший лейтенант,— слева стрельба ближе, а справа дальше. Правильно ли мы идем?

— Правильно,— сердито сказал Артемьев.

— Интересно, наверное, нас прямо в бой? — снова спросил сапер.— Я вчера еще и не представлял себе. А наши танковые батальоны вообще за пятьсот километров. Разве они,— радостно улыбнувшись, повернулся он к Артемьеву,— когда-нибудь думали, что мы, саперы, первыми...

Он не докончил фразы и, продолжая улыбаться, вздрогнул. Вместе с ним вздрогнул и Артемьев. Слева от них, совсем рядом, с силой грохнуло. Они повернулись и увидели за дорогой, на скате невысокого холма, дымившееся после выстрела орудие. Артиллеристы быстро заряжали его. Рядом, прикрытые сверху маскировочными сетками, стояли еще два орудия. Четвертое, перевернутое вверх колесами, лежало, зарывшись дулом в песок, на краю большой воронки.

Взглянув вперед, на дорогу, Артемьев уверенно представил себе, что за следующим небольшим подъемом как раз и должен быть поворот к командному пункту полка.

В ту же секунду на гребне холма показался всадник. Подскакав к Артемьеву и старшему лейтенанту, всадник круто остановил коня. У него вовсе не было голоса, и он, надрываясь, кричал шепотом:

— Приказано встретить и доложить. Движение прямо на высотку.

Он указал пальцем, повернул коня, хлестнул его плеткой и поскакал обратно. Через минуту он уже перевалил тот гребень, на который показывал, а еще через несколько секунд там, где он только что был, прямо на дороге, взлетел черный столб разрыва.

— Надо пошире рассредоточиться,— с укоризной за то, что никто из них раньше не спохватился, сказал политрук.

Старший лейтенант скомандовал, и саперы неохотно рассыпались в стороны от дороги. Они все видели разрыв снаряда, но ими владело обычное в первые минуты опасности инстинктивное желание быть поближе друг к другу.

Вскоре они миновали место, где только что разорвался снаряд,— вокруг воронки валялись рыжие комья вырванной земли.

За гребнем дорога раздваивалась.

— Вот здесь нам и сворачивать,— сказал Артемьев старшему лейтенанту и увидел двух подъезжавших к ним всадников.

Один из всадников был тот самый красноармеец, который только что встречал роту. Второй, худой, горбоносый батальонный комиссар, легко соскочил с коня, при этом на его голове подпрыгнула слишком большая каска. Он бросил поводья красноармейцу и, нетерпеливо похлопывая ивовым прутиком по запыленному сапогу, подошел и поздоровался с Артемьевым, командиром и политруком роты. Выслушав Артемьева, который доложил, что ему приказано сопровождать саперную роту до командного пункта, а самому явиться в распоряжение командира полка, батальонный комиссар хриплым голосом с сильным грузинским акцентом сказал, что он комиссар полка Джикия, и швырнул на дорогу прутик.

— Рота, слушай мою команду! — негромко крикнул он и, приказав еще шире рассредоточиться, повел саперов вдоль уходившей влево наезженной колеи.

Местность, по которой они теперь шли, не была похожа ни на что виденное до сих пор Артемьевым. Она не была похожа даже на ту монгольскую степь, по которой он ехал сегодня на рассвете. Под ногами были то песок, то трава, то снова песок; маленькие лощинки сменялись маленькими холмиками, склон незаметно превращался в котловину, котловина поднималась и переходила в склон нового холма, а на его вершине была своя маленькая котловина, выдутая ветрами, круглая и глубокая, как чайная чашка.

Ноги то утопали в песке, то цеплялись за густую траву и мелкий кустарник.

Идя рядом с Артемьевым, комиссар полка изредка вытягивал голову, словно был глуховат, и прислушивался к доносившимся издали разрывам.

Батальонный комиссар Джикия не был глуховат, но сейчас вытягивал голову потому, что плохо слышал со вчерашнего утра: его легко контузило одним из первых же японских снарядов. Полчаса назад кто-то пустил слух о появлении японских танков. Это могло быть и враньем и правдой. И, прикидывая по расстоянию, он стремился определить, какие там, впереди, рвутся снаряды — японских полковых пушек или танковые. Одновременно он слушал то, что сообщали ему старший лейтенант Курочкин и политрук Русаков о своей роте, которую ему предстояло вести в атаку на японцев.

За вчерашний день и сегодняшнее утро комиссар уже водил людей в несколько контратак и один раз сам участвовал в рукопашной — заколол штыком японца. В распоряжении его и командира полка с самого начала был всего один батальон, сейчас уже потерявший половину состава, и положение было такое, что не приходилось думать над тем, что должен и чего не должен делать комиссар полка.

Солнце пекло. Комиссар снял каску и шел, небрежно держа ее за ремешок, словно солдатский котелок.

— Жарко,— сказал он, улыбнувшись неожиданной среди царившей кругом тревоги естественной, неторопливой улыбкой.

Этот человек внушал чувство доверия то и дело поглядывавшим на него саперам тою неуловимой печатью военной опытности, которая лежала на всем его поведении. Он был в бою и встретил их, вернувшись из боя. И это отделяло его, уже воевавшего, от них, еще не воевавших.

Комиссар торопился; через десять минут, все убыстряя шаг, дошли до большой лощины, лежавшей среди холмов; она разветвлялась на несколько узких балочек.

В лощине стояли четыре броневика и накрытая маскировочной сеткой палатка, с тянувшимися взад и вперед от нее шестовками телефона. Кругом в сыпучем песчаном грунте были вырыты узкие противовоздушные щели.

Комиссар приказал саперам рассредоточиться по балочкам, а сам вместе с Артемьевым, старшим лейтенантом и политруком пошел вдоль телефонного провода к наблюдательному пункту командира полка.

У броневиков, мимо которых они проходили, стояли люди в шлемах и кожанках.

— Обещали пять, а привели четыре,— кивнул комиссар на броневики.— Почему?

— Пять было,— сказал стоявший у крайнего броневика монгол, командир машины.— Один по дороге потеряли.

— Авария? — спросил комиссар.

Монгол коротко ткнул пальцем в небо.

— Готовность на девять,— повернувшись, уже на ходу напомнил комиссар.

Монгол вместо ответа только молча сдвинул каблуки.

Артемьев посмотрел на часы, думая, что он ослышался, но увидел, что все верно, не было еще и девяти. Прошло всего пять с половиной часов с тех пор, как Апухтин тряхнул его за плечо в Тамцак-Булаке и сказал: «Вставайте, пора ехать».

Командир 84-го стрелкового полка майор Панченко полулежал на песчаном бугре около наблюдательного пункта и, опершись на локти и негромко покряхтывая от боли, ждал конца перевязки. Он уже был в боях в прошлом году на Хасане и там тоже был ранен на второй день, но так легко, что даже не вышел из строя. А теперь выходить из строя не позволяла обстановка, хотя ранение было гораздо тяжелее. Двадцать минут назад осколком снаряда ему оторвало два пальца на правой ноге; большой оторвало так чисто, как будто его никогда и не было, а второй, тоже оторванный, повис на тонком лоскуте кожи.

Панченко, хотя и потерял много крови, еще не почувствовал слабости. У него только все сильней болела нога.

Полковой врач, усталый после бесчисленных операций и перевязок, против ожидания, не настаивал на том, чтобы отправлять командира полка в тыл. Ему было лень спорить, тем более — он знал, что это бесполезно. Промыв рану спиртом, он остриг кусочек кожи, на котором держался второй палец, и так равнодушно швырнул его в сторону, что Панченко, несмотря на боль, усмехнулся.

— Словно окурок,— сказал он и тут же охнул, потому что врач начал чистить рану от осколков кости.

Рядом с командиром полка, врачом и помогавшим ему санитаром сидел командир монгольского бронедивизиона Даваджаб и смотрел на перевязку с равнодушием человека, который сам переносил бы такую же боль ничуть не хуже. При разрыве снаряда его засыпало, и он сидел, поеживаясь и доставая из-за шиворота комочки сухой земли.

— Сейчас прибудет саперная рота,— говорил Панченко, прерывая свои слова покряхтыванием,— комиссар полка поехал ее

встречать. И как же это он вывел у вас пятый броневик? Неужели прямым попаданием?

Монгол кивнул и выругался:

— Бузар шившигт самураи нар!

— Большие сволочи,— охотно согласился Панченко, в который раз за день смертельно досадуя, что у него здесь всего один батальон, а два остальных еще движутся где-то в степи и прибудут не раньше вечера.

— Готово,— сказал врач, запихивая в сумку свой инструмент и вставая с колен.— Но ходить будет нельзя.

— Как так нельзя? — сказал Панченко, пробуя встать на больную ногу. Пока шла перевязка, он думал, что сможет ходить, ступая на пятку, но как только он ступил на нее, в ней отдалась такая боль, словно оторвана была пятка, а не пальцы.— Да,— сказал он и ухватился рукой за плечо санитара.— Слушайте, неужели вы на весь батальон не приготовили пары костылей?

— Нет костылей,— сказал врач.— Костыли в полевом госпитале.

— Тогда,— отпуская плечо санитара и снова садясь, сказал Панченко,— прикажите израсходовать на меня одни носилки: парусину содрать, у палок обрезать концы и набить эти чурки сверху накрест, чтобы вышло вроде костылей.

— Есть! — сказал врач и торопливо ушел вместе с санитаром, беспокоясь за раненых, уже, наверное, опять скопившихся на перевязочном пункте.

По дороге к наблюдательному пункту комиссар заметил быстро пробежавших соседней балочкой врача и санитара, и у него шевельнулось тревожное чувство. Добравшись до наблюдательного пункта, он увидел командира полка, сидевшего вытянув забинтованную ногу.

— Ну, что, товарищ Джикия, привел людей? — как ему казалось, бодрым, а на самом деле ослабевшим голосом спросил Панченко, глядя на подошедшего вместе с Артемьевым и саперами комиссара.

— Привел. Что с тобой?

— Два пальца оторвало. Сижу, жду костылей.

Панченко поднялся, стал на одну ногу и, держа на весу другую, оперся на плечо комиссара.

— Здравствуйте, товарищи. Командир монгольского бронедивизиона,— он повернул голову в сторону Даваджаба,— будет вас поддерживать.

Артемьев сразу узнал командира полка. Это был Панченко, окончивший академию на два года раньше него.

Панченко тоже почудилось в лице Артемьева что-то знакомое.

— В Академии Фрунзе не учились?

— Так точно, окончил в этом году,— обрадованно сказал Артемьев.

Он ждал, что Панченко что-нибудь скажет, но тот ничего больше не добавил, тяжело оперся на плечо комиссара, с трудом сделал несколько шагов вверх по склону и влез в окоп, откуда можно было все показать на местности. Вслед за ним влезли и остальные.

Перед их глазами открылось однообразное зрелище бесчисленных, похожих друг на друга мелких песчаных барханов. На ближних виднелись наскоро отрытые окопы, в них сидели бойцы, и там изредка похлопывали выстрелы. Левей, ближе к переправе, слышались сильная ружейная стрельба, пулеметные очереди и иногда разрывы снарядов.

Открыв планшет и взглянув на карту, Артемьев понял, что они находятся именно в том районе холмов у реки, где он видел с Хамардабы особенно частые разрывы. Теперь, наоборот, он стоял на одном из этих холмов лицом к западу и видел отсюда вдали, за Халхин-Голом, высокий гребень Хамардабы. А между ним и Хамардабой были японцы, прорывавшиеся вдоль берега к переправе.

Судя по сильному огню, бой теперь шел еще ближе к мосту, чем полчаса назад, когда саперы переходили через него.

Оценив местность, Артемьев подумал, что фланг прорывавшихся японцев открыт для удара.

Через минуту оказалось, что как раз это решение и принял командир полка. Кратко объяснив обстановку, он начал ставить задачу.

Один взвод саперной роты вместе с комендантским взводом, снятым с охраны штаба полка, должен выдвинуться вперед, завязать бой с японцами и привлечь к себе их внимание. Через тридцать минут после этого остальные саперы со взводом станковых пулеметов и монгольскими броневиками должны скрытно продвинуться через цепочку мелких барханов и прорваться к реке, отрезав японцев, подходивших к мосту.

Успех этого удара мог спасти переправу и хотя бы временно облегчить общее положение.

Объясняя на местности обстановку и поглядывая то на Артемьева, то на старшего лейтенанта и сапера, Панченко еще колебался. У сапера было взволнованное лицо, у капитана, наоборот, спокойное и даже недовольное, словно ему некогда и он, предвидя задачу, спешит получить приказ.

«Может, его и поставить на саперную роту наносить главный удар?» — подумал Панченко, но тут же возразил себе, что люди

этой роты привыкли к своему командиру и, кроме того, вместе с ротой пойдет комиссар полка.

«А этот капитан с политруком пусть идет обеспечивать фланг. Меньше людей, но зато придется принимать самостоятельные решения».

— Всё! Выводите людей на исходное положение! — сказал Панченко и приподнялся на носке здоровой ноги, всматриваясь, дотянут ли телефонный провод до следующего бархана, намеченного им под новый наблюдательный пункт.

Артемьев вылез из окопа и пошел назад той же тесной балочкой, которой они шли сюда.

Политрук и старший лейтенант молча шагали позади него, кажется огорченные, что окажутся порознь в первом бою.

Через минуту их догнал Джикия.

Артемьев повернулся к политруку, чтобы узнать у него фамилию того командира взвода, который пойдет с ними, и в это мгновение невдалеке разорвался снаряд. Артемьев упал, несколько секунд пролежал ничком и, приподнявшись, почувствовал, как с его плеч и спины сыплется земля.

Встав, он совсем близко от себя увидел воронку. Воронка была небольшая, и всю ее заволокло дымом; дым плавал в ней, как утренний туман над прудом, и, отрываясь, клочьями уходил вверх.

— Ложись! — услышал Артемьев голос комиссара.— Сейчас еще дадут.

И тотчас же послышался свист снаряда. Артемьев лег, но и этот и три следующих снаряда разорвались далеко.

— По командному пункту бьют,— сказал комиссар, вставая и отряхивая коленки.

Вслед за ним встал старший лейтенант. Политрук продолжал лежать. Небольшой осколок попал ему в темя, и песок вокруг его головы был мокр и темен.

Поднимая вместе с подскочившими бойцами тело политрука, Артемьев, словно привороженный, все не мог оторвать взгляда от дымящейся воронки и потом еще несколько раз оглядывался на нее, чувствуя, что это и есть смерть и что он ее боится.

Командир роты стоял белый как полотно, и его удивленные, скорбно приподнятые брови казались угольно-черными — так побелело его лицо; он стоял и незаметно для себя беспрерывно и однообразно расстегивал и застегивал ремешок у кобуры.

— Ждать не можем,— сухо и отчетливо, должно быть сам себя беря в руки, сказал комиссар полка.— Пять минут на постановку задачи людям, и надо начинать движение. Пошли! — тронул он за локоть онемевшего командира роты.

Артемьев пересек лощину и оказался в балочке, где лежали и

сидели люди того поступившего под его команду саперного взвода, который был теперь его взводом. Он поздоровался с поднявшимися ему навстречу бойцами и с молоденьким, видно, только что из училища, лейтенантом, напомнившим ему самого себя восемь лет назад.

— Вопросы есть? — спросил он, коротко объяснив задачу.

— Товарищ капитан,— после небольшой заминки обратился к нему боец, стоявший с ручным пулеметом,— скажите, политрук наш убитый или только раненый?

«Только раненый»,— хотел сказать Артемьев, но не смог солгать людям, с которыми ему надо было идти в бой.

— Убитый.

— Товарищ капитан!

Артемьев повернулся — перед ним стоял младший командир с туго забинтованной шеей. Бинты накрест уходили вниз, под расстегнутую гимнастерку.

— Командир комендантского взвода, младший командир Ефимов явился в ваше распоряжение! — отрапортовал раненый, бросая руку к каске и морщась от боли.

— А что, средних командиров во взводе нет? — спросил Артемьев.

— Выбыли.

— Что у вас за ранение?

— Терпимое, товарищ капитан.

— Сколько с вами людей?

— Одиннадцать бойцов. Три младших командира.

Артемьев чуть не сказал вслух: «Всего-то!..»

Однако делать было нечего. Через несколько минут он уже выводил из балочки оба взвода — сорок пять человек с тремя пулеметами. Шагая впереди них, он, усмехнувшись, вспомнил свою курсовую работу о прорыве укреплений полосы стрелковым корпусом. Да, в академии их готовили к операциям другого масштаба. Ну и наплевать! Сейчас вопрос не в этом, а в том, как он пойдет под пули и выполнит приказ, командуя своими двумя взводами. Поднявшееся к зениту солнце палило так немилосердно, что он впервые подумал не о предстоящем бое, а о том, что ему нестерпимо хочется напиться холодной воды, но на это нет никакой надежды...

Часом позже Артемьев лежал на вершине песчаного бархана и ждал, когда в тылу у японцев раздастся первый выстрел. Не пройдя и километра, он обнаружил японцев и, оставшись не замеченным ими, послал один из двух своих взводов в обход.

Японцев оказалось не так много, они вели себя беспечно, и их можно было сразу атаковать, но он не поддался первому порыву.

Комендантский взвод, который он послал в обход, скрылся за низкими травянистыми холмами, уходившими направо, к реке. Сам же Артемьев пока расположился с саперами на этом — самом большом из окрестных барханов. Выемка, выдутая ветрами, образовала на его вершине такое точное полушарие, как будто природа пользовалась циркулем. За краем выемки начинался крутой скат, а по самому краю рос мелкий цепкий кустарник.

Артемьев лежал и наблюдал за японцами. По гребням нескольких небольших барханов были вырыты мелкие ячейки окопов, хорошо заметные по свежевыброшенному, желтому песку. Японцы, не скрываясь, стояли и ходили в этих окопах, видные по пояс. Должно быть, их на всякий случай выдвинули сюда для прикрытия фланга.

Трудно сказать, почему японцы окопались на маленьких барханах, а не заняли тот большой, где теперь сидел Артемьев; взобравшись сюда вслед за разведчиками, Артемьев даже присвистнул от удовольствия.

Японцы были на виду, в двухстах метрах, в зоне действительного огня, и он имел основания рассчитывать на успех.

Лежавший в двух шагах от него пулеметчик, тот самый, который спрашивал его о политруке, тихо разрывал песок, поудобнее устанавливая сошки пулемета.

Ветер, дувший со стороны японцев, доносил короткие, еле различимые обрывки чужой речи.

Комендантский взвод мог выйти в тыл японцам минут через десять — пятнадцать. И Артемьев хотел сейчас только одного: чтобы их не обнаружили преждевременно. Еще никогда в жизни он не испытывал более сильного желания и более сильной тревоги, что оно может не исполниться.

Он лежал, теребя витой кожаный шнурок свистка, позаимствованного у командира саперного взвода. После первого выстрела в тылу у японцев он должен был подать этим свистком сигнал к атаке.

Он лежал и ждал, то глядя на японцев, то переводя взгляд вниз, на склон бархана, где всего в двадцати шагах от него лежал труп красноармейца. Наверное, убитый еще вчера, он лежал боком, выброшенной в сторону рукой держась за ремень лежавшей рядом винтовки. На гимнастерке убитого, над нагрудным карманом, был хорошо виден комсомольский значок. Темные волосы, словно желтым снегом, были припорошены песком.

С усилием оторвав глаза от убитого, Артемьев снова стал смотреть в сторону японцев. Все время продолжая помнить о своем обходившем их взводе, он с облегчением почувствовал, как им постепенно овладевает спокойствие — и оттого, что он сейчас ви-

дит японцев, а они его — нет, и оттого, что через несколько минут начнется атака, и это уже бесповоротно.

Когда позади японцев раздался первый выстрел, Артемьев успел еще за какую-то долю секунды заметить, как японский солдат, стоявший в окопе и наклонившийся, чтобы закурить, разогнулся, прислушиваясь. В следующее мгновение, прикусив зубами свисток и вытащив из кобуры пистолет, Артемьев уже перепрыгнул через гребень бархана и побежал по песчаному склону.

Он бежал, не слыша выстрелов и заботясь только о том, чтобы не упасть. Ноги зарывались в песок, и ему все время казалось, что он сейчас упадет и перевернется через голову. Однако он удержался на ногах и, только с разбегу перескочив лощинку и сделав уже первые десять шагов вверх по склону бархана, на гребне которого сидели японцы, почувствовал, как кровь тяжело бросилась в голову.

Он услышал позади громкий крик «ура», свист пули, пролетевшей над самым ухом, вскочил на бруствер японского окопа и в упор выстрелил в спину повернувшегося бежать японца.

Японец упал. Артемьев, зацепившись за бруствер, тоже упал, ударился лицом о брошенный японский карабин и поднялся, вытирая разбитые губы. В окопе и на склонах возле него лежали убитые японцы. Оставшиеся в живых бежали: одни — налево по окопу, на гребень соседней сопочки, другие — назад по открытой лощине, к небольшому бархану, возвышавшемуся позади их позиций. Там были тоже вырыты ячейки окопов, и оттуда стреляли.

Артемьев слышал сзади только один пулемет «максим». Ручного пулемета не было слышно, но едва он успел подумать об этом, как в окоп рядом с ним свалился пулеметчик.

— А где второй номер? — спросил Артемьев.

— Побежал за дисками, почти все расстреляли,— с досадой сказал пулеметчик и дал скупую очередь по бегущим японцам.

Вслед за пулеметчиком в окоп вскочили еще несколько красноармейцев.

— Бегут! — торжествующе крикнул один из них, стоя прицелился и выстрелил из винтовки.

На маленьком бархане, откуда недружно отстреливались японцы, очевидно, был их командный пункт. Туда надо было ворваться, перебежав открытое место, и сделать это теперь же, немедленно, пока они не пришли в себя.

Едва успев подумать об этом, Артемьев еще раз отер разбитые губы, приказал пулеметчику прикрыть атаку огнем и, крикнув «ура», выпрыгнул из окопа.

Красноармейцы подхватили «ура». Лощина была полна сыпучим песком, бежать было неимоверно тяжело.

Артемьев ожидал, что за спиной услышит треск ручного пулемета, но сзади по-прежнему стрелял один станковый. Артемьев повернулся и увидел, что пулеметчик, увлеченный общим порывом, бежит рядом, прижимая к груди своего «дегтярева».

— Что ж ты? — крикнул ему Артемьев, но тот ахнул, уронил пулемет в песок, схватился за грудь и упал навзничь.

Артемьев сунул за пазуху пистолет, поднял пулемет, прижал его к груди, так же как за секунду перед тем прижимал его пулеметчик, и побежал вслед за обогнавшими его бойцами, которые уже с двух сторон огибали бархан.

Прижимая обеими руками к груди пулемет, Артемьев чувствовал только одно — что сейчас от этого бега по песку он задохнется и упадет.

Добежав до вершины бархана, он оказался в маленькой глубокой котловине. На другом краю ее, широко расставив ноги, сидел японец с залитым кровью лицом. Он держал револьвер и, как показалось Артемьеву, целился ему прямо в глаза. Артемьев бросился вперед, но его толкнуло назад, и он свалился на бок, потеряв сознание.

Первое, что он потом почувствовал, был песок: песок во рту, в носу, в глазах. Он глубоко вздохнул, и целая струя песку попала ему в горло.

Приподняв голову, он увидел, что песок был черный. «Кровь»,— подумал он и дотронулся левой рукой до головы. На руке не осталось ничего, кроме песка. Тогда он попробовал приподняться, опершись на правый локоть, но не смог — рука онемела, он ее не чувствовал.

Он перевернулся на левый бок и, опершись на локоть, сел. Вся правая сторона груди, плечо и рука были в крови.

Теперь они сидели друг против друга в чаше, выдутой ветрами, на вершине бархана — он и японский поручик, бессильно привалившийся спиной к песчаному скату. Артемьев отчетливо видел на мундире японца маленький полупогончик с полоской и тремя звездочками. Другое плечо и грудь японца были сплошь покрыты кровью, а вместо головы было что-то закинутое назад, непонятное, багрово-красное. Японец был мертв. В упавшей на песок руке он еще держал револьвер, из которого стрелял в Артемьева.

«Размозжили голову прикладом,— подумал Артемьев и заметил рядом с японцем на песке стреляные пистолетные гильзы.— А где мой пулемет?» — вспомнил он.

Пулемет лежал тут же, у его ног. Впереди раздавались выстрелы. Кто-то невдалеке закричал. Потом послышались разрывы гранат и снова близкие выстрелы.

«Сколько же прошло времени? Жив ли командир взвода, принял ли команду?» — подумал Артемьев.

Свистнуло несколько пуль, с гребешка бархана змейкой посыпался песок, и кто-то, перемахнув через гребень, тяжело рухнул рядом с Артемьевым.

Это был второй номер, бегавший за дисками.

— Ранены, товарищ капитан? — задыхаясь от быстрого бега, спросил он и, не дожидаясь ответа, вытащил из-за голенища индивидуальный пакет.

— Занимай позицию и веди огонь,— приказал Артемьев.

Второй номер поднялся, подхватил пулемет, коробки с дисками и, пригибаясь, перебежал на ту сторону котловины.

Артемьев оперся на левую руку, тяжело приподнялся на колени, потом встал во весь рост и, боясь пригнуться, чтобы не упасть, теряя сознание от слабости, вихляющим шагом пересек котловину и свалился на песок между пулеметчиком и мертвым японцем.

Пулеметчик уже установил пулемет на сошках и, стащив с себя пилотку, очищал от песка затвор. Артемьев подтянулся и выглянул за гребень бархана.

Впереди, в японских окопах, кольцом опоясывавших бархан, лежали и стреляли саперы. Их темно-серое обмундирование выделялось на желтом песке. Где-то близко, левее, короткими очередями бил невидимый «максим».

У реки бухали орудия, и в небо поднимались два столба дыма, высоких и черных,— наверное, горели броневики.

Прямо по лощине к бархану бежали зеленые фигурки японцев.

— Бей по ним. Видишь? — чувствуя все усиливающуюся слабость, сказал Артемьев.

— Вижу! — весело, словно обрадовавшись неожиданной находке, ответил пулеметчик и, немножко передвинув сошку, долго целился, прежде чем дать первую очередь.

Вдали показалась еще одна японская цепь. Японцы залегли, потом снова вскочили и побежали.

Пулеметчик дал новую, как показалось Артемьеву — слишком длинную, очередь. Японцы снова залегли.

— Сколько у вас дисков?

— Три.

Артемьев пальцами нащупал на боку шнурок, дотянулся до свистка, прикусил его зубами, собираясь дать знать лежавшим внизу, в окопах, саперам, что он жив и снова принимает на себя командование, но вдруг почувствовал, как все быстрее и быстрее, все дальше и дальше от пулеметчика вместе с осыпающимся песком сползает на дно котловины...

Когда он очнулся и открыл глаза, ему пришлось снова их закрыть — он лежал навзничь, а солнце стояло над головой. Он пошевелил пальцами левой руки, нащупал что-то круглое, деревянное и понял, что лежит на носилках. Он повернул голову и увидел, что лежит в той самой заросшей мелким кустарником лощинке около переправы, которую он заметил, когда они ехали сюда, где и тогда и теперь, дожидаясь санитарных машин, лежали раненые.

Артемьев не чувствовал боли. В руке, спине и плече было только как бы глухое воспоминание о боли. Казалось, все это сейчас уже не болит, но когда-то болело и может заболеть снова. Главным ощущением была слабость, какой он не испытывал никогда в жизни. Он попробовал приподняться и не смог.

В десяти шагах от Артемьева, у входа в палатку, стоял врач в забрызганном кровью халате и смотрел в небо.

— Товарищ военврач! — позвал Артемьев.

— Ну? — неласково ответил тот, делая несколько шагов к Артемьеву, но продолжая смотреть в небо.— Пришли в себя?

— Как положение?

— Ничего. Много крови потеряли, только и всего.

— Нет, я...— начал Артемьев, и врач его понял.

— Положение, кажется, не такое паршивое, как утром. Километра на два отогнали от переправы.

«Это мы,— подумал Артемьев,— мы отогнали от переправы».

— В общем, ничего, не так уж паршиво,— повторил врач и снова тревожно посмотрел в небо.— Опять летят! Ну что ты будешь делать? Давай, давай! — заорал он.— Кто может двигаться, рассредоточься! Санитары, растащите носилки! Быстрей, говорят!

Несколько санитаров стали растаскивать в разные стороны носилки.

— Клава, иди сюда! — снова закричал врач, вместе с подошедшей медсестрой сам взялся за носилки Артемьева и, кряхтя, оттащил их шагов на двадцать в сторону.

— Вот они, сволочи, опять летят! Слева, видите! — сказал он Артемьеву.

Но Артемьев ничего не видел и ничего не чувствовал, кроме отвратительной слабости и беспомощности.

— А эти дураки возят через час по чайной ложке! — закричал врач. — И что только Апухтин смотрит, черт бы его драл! Не хватает летучек — так на грузовиках бы возили!

Он кричал потому, что, наверное, нет страха нестерпимее, чем страх за людей, которых ты только что оперировал, которым только что при тебе накладывали повязки и шины и которых сейчас снова на твоих глазах пытаются убить.

— Сейчас начнется,— вдруг очень тихо и почти спокойно

сказал он, как человек, который видит опасность, но уже ничего не может сделать.

— Яков Абрамович! Ложитесь! — крикнула медсестра.

Теперь Артемьев уже не только слышал прерывистое гудение самолетов, но и видел, как три бомбардировщика, снижаясь, вкось чертили небо.

Захлебываясь, застрочили счетверенные пулеметы. Они стояли близко, и их выстрелы, как молотки, стучали в уши Артемьева с такой силой, как будто он находился внутри огромного котла. Теперь он не слышал звука самолетов,— казалось, они снижаются совершенно беззвучно.

Позади него с силой дрогнула земля, так, будто кто-то взял и несколько раз подряд тряхнул его за плечи. Потом он услышал гул выходивших из пике самолетов, и снова в уши ударили молотки счетверенной установки.

Только сейчас Артемьев заметил, что врач не ложился на землю; он так и стоял в двух шагах от Артемьева, там, где его застала бомбежка, глядя в небо и засунув, как деревенские женщины, руки под свой клеенчатый фартук.

Японцы второй день бомбили переправу. Она была их главной целью и сейчас. За два дня они сбросили кругом несколько сот бомб, так и не попав в узкий двухметровый мост. Если бы военные действия длились две недели, все бы уже знали, что в мост попасть не так-то просто, но военные действия не длились еще и двух суток, и то, что японцы не могут попасть в мост, казалось чудом. Люди еще не поняли, что самое опасное место не на мосту, а в радиусе пятисот метров вокруг него, то есть именно там, где помещался перевязочный пункт. После двух недель войны никому бы не пришло в голову разместить его здесь, а сейчас еще никому не приходило в голову разместить его в другом месте. Наоборот, всем хотелось, чтобы раненые на всякий случай были как можно ближе к переправе.

Когда бомбардировщики во второй раз пошли на снижение, Артемьев увидел, как там, наверху, оторвались черные капли бомб.

Его толкнуло, приподняло, и, когда он очнулся, ему показалось, что он так и остался в воздухе, не упав обратно на землю.

Сначала он ощутил, что его покачивает, но под ним ничего нет. Потом он почувствовал чье-то прикосновение под коленками, тупую, ломящую боль во всем теле и острую, свирепую — в плече и руке.

— Осторожней! — услышал он и понял, что его несут.— Давай капитана к левой стенке,— сказал чей-то голос,— а к правой этого, с лицевым ранением, он тоже сидеть не может.

— А когда военврача вывезем? — спросил другой голос.— Военврача надо вывезти.

— Военврач уже помер,— сказал первый голос.— Второй машиной вывезем. Давай живых сначала. Перехвати пониже,— продолжал тот же голос.— Плечом за борт не задень!

И Артемьев почувствовал, как чья-то рука перехватила его пониже, и ему стало не так больно. Приподняв веки, он увидел прямо над собой, совсем близко от своего лица, молодые, добрые глаза того шофера санитарной машины, вместе с которым он утром ехал на передовую. Увидел, вздрогнул от боли, успел подумать, что, кажется, умирает, и снова потерял сознание.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Совещание, созванное комбригом Сарычевым, командиром 19-й танковой бригады, подходило к концу. Завтра утром бригаде предстояло вывести свои танки с зимних квартир и начать четырехсоткилометровый марш в район Халхин-Гола.

Все основное было уже сказано — намечен маршрут, определены места малых привалов и ночевок, рассчитаны запасы горючего и воды. Были продуманы и остальные многочисленные подробности, не учтя которых нельзя начинать движения через пустыню нескольких сот боевых и транспортных машин и двух тысяч людей, составляющих танковую бригаду.

Сарычеву оставалось сказать немногое, но зато самое главное,— об особенностях предстоящего марша.

Прежде чем сказать это главное, Сарычев сделал длинную паузу и внимательно оглядел сидевших перед ним людей.

В течение нескольких лет он служил с ними и готовил их к войне, которая неизвестно когда начнется.

Сегодня, с минуты получения приказа на марш, он смотрел на них как на людей, вместе с которыми ему предстоит вступить в бой. Оценки, которые вписывались в их аттестации и которые он помнил наизусть, ибо они были не чем иным, как его собственным кратко сформулированным отношением к этим людям, подлежали через несколько дней той единственной, решающей проверке, которая исчерпывается словом «бой».

Как повернутся в бою его оценки: «инициативен, энергичен, недостаточно выдержан», или «дисциплинирован, исполнителен, мало самостоятелен», или другие, непреклонные в своей правдивости не потому, что строг он, а потому, что строга война.

«Недостаточно выдержан»,— не будет ли это стоить жизни? «Мало самостоятелен»,— как будет действовать этот лейтенант,

если ему придется заменить убитого командира роты? Или, может быть, самостоятельность, не обнаруженная на полевых учениях, родится на поле боя? А выдержка, которой не хватало перед лицом взысканий, появится перед лицом смерти? Бывает и так — Сарычев знал это по себе.

И сейчас, глядя на своих командиров, он вспоминал то, что большинство из них вспомнить не могли: он вспоминал себя на войне, на мировой и гражданской,— в осыпающемся окопе под артиллерийским обстрелом; в снегу, с ножницами, перед колючей проволокой; на распаханном поле, под пулями, рядом с убитым конем; и снова под пулями, на коне, в атаке; и в хате впятером, с другими командирами эскадронов, над картой, ночью перед прорывом, где ляжет половина полка и трое из них пятерых. Это был один из последних боев на врангелевском фронте. Можно сказать, он с тех пор и не воевал. Девятнадцать лет!

Что бригаде предстоит воевать, он был совершенно уверен с той минуты, как прилетевший сегодня утром из штаба группы майор привез ему приказ о марше и сведения о том, что произошло в районе Халхин-Гола.

Хотя в приказе было сказано: «Учебный четырехдневный марш с целью проверки материальной части и боевой подготовки личного состава»,— но это, по мнению Сарычева, не меняло дела.

Все в бригаде знали, что в районе Халхин-Гола неспокойно, что туда ушла их саперная рота и что не зря майор из штаба группы прилетел с пакетом на специальном самолете. Но Сарычев считал, что понимание напряженности обстановки должно выражаться у командиров не в досужих спорах о том, как и когда развернутся бои и кто и как будет в них действовать, а в образцовом проведении марша — без сучка без задоринки.

Это и было то главное, что он хотел сказать, закрывая совещание.

— Прошу товарищей помнить, что марш проводится в условиях максимально близких к условиям военного времени. Отсюда напрашивается вывод: минимум разговоров о войне и максимум готовности к ней. Вопросы есть?

— Разрешите?

— Слушаю,— сказал Сарычев, посмотрев на поднявшегося из-за стола командира батальона майора Кулибина.

— Товарищ комбриг, разрешите узнать: нет ли сведений о нашей саперной роте, ушедшей в район конфликта?

Все переглянулись и загудели, потому что всех волновал вопрос, заданный Кулибиным. Сарычев знал, что такой вопрос может быть задан, заранее решил, что на него ответить, и все же невольно помедлил секунду.

— Точных данных нет,— сказал он.— Когда будут точные данные, личный состав бригады будет поставлен в известность. Есть еще вопросы?

Сарычев заметил по лицам, что все недовольны его ответом. Он и предвидел это. Больше вопросов не было.

— Все свободны,— сказал Сарычев.— Капитану Климовичу остаться.

«К чему бы это? — подумал Климович. Встав с места, он прислонился к стенке и пропустил мимо себя выходивших из комнаты командиров.— В роте, кажется, все в порядке, готовность к походу не хуже, чем у других».

Он проводил взглядом последнего из уходивших и поднял глаза на комбрига.

— Кто из командиров взводов наилучшим образом поведет на марше роту в случае вашего убытия?

Задав этот внезапный вопрос, Сарычев посмотрел в лицо Климовичу и с удовольствием отметил, что ни одна жилка не дрогнула на лице капитана.

«Отличная выдержка,— подумал он,— правильно его аттестовал».

— Старший лейтенант Лахтюков,— без паузы ответил Климович.

— Утром, когда выведете роту за пределы городка, временно сдадите ее Лахтюкову, а сами вернетесь сюда для выполнения задания. Выполните и догоните бригаду на первой ночевке. Машину для этого получите. А теперь садись поближе — объясню тебе, о чем идет речь...

Все совещание Сарычев просидел прямо, как гвоздь, на своем жестком стуле, а сейчас пересел в стоявшее сбоку у письменного стола плетеное соломенное кресло, облокотился и закурил. Это значило, что дальнейший разговор будет неофициальным.

— Хочу поговорить с тобой даже больше как с членом партийного бюро, чем как с командиром роты... Поручение пока еще для нас необычное...

После этого не обещавшего ничего хорошего начала Климович впервые и совершенно неожиданно для себя услышал от Сарычева, что их саперную роту бросили в бой вместо пехоты, что она потеряла половину людей и что уже известно, что командир роты легко ранен, а политрук убит.

Убит! Значит, Русаков, который еще недавно, прощаясь, как всегда, коротко ткнул ему руку и сказал свое обычное «ну, бывай здоров», теперь убит и от него осталась только пустая комната с общей стеной, через которую они с Климовичем перестукивались — можно ли зайти друг к другу. Самое же тяжелое было то,

что комната именно не пустая, как в первую секунду назвал ее в мыслях Климович,— она не пустая потому, что в ней живет жена Русакова, Ольга Владимировна, и трое детей.

Только подумав об этом самом тяжелом, Климович понял очевидный смысл поручения, из-за которого он завтра задержится и должен будет потом догонять бригаду. Сейчас комбриг поручит ему сообщить Ольге Владимировне о смерти Русакова.

— У нас еще нет официального списка убитых, и мы не знаем состояния раненых,— сказал Сарычев.— Точные сведения есть только о двоих. Оповещать о потерях бригаду пока рано, тем более перед маршем. Но мы уйдем, скорей всего, надолго, и жена Русакова может узнать о его смерти без нас. Этого нельзя допустить...

Сарычев продолжал говорить добрые и, наверное, очень правильные слова о том, что вдова Русакова не должна беспокоиться за судьбу своих детей, что теперь поднять их на ноги будет делом чести всей бригады и что именно об этом и надо сказать ей в первую очередь, а Климович, слушая его и даже незаметно для себя утвердительно кивая головой, думал про себя только об одном.

Все это так. Когда начинаются бои — начинаются потери. К этому готовы все, готов он, был готов Русаков,— все верно. Но вот завтра утром, всего через несколько часов, именно ему, а не кому-нибудь другому, нужно будет отворить дверь и сказать: «Слушайте, Ольга Владимировна, случилось несчастье, ваш Николай погиб».

— Само собой разумеется,— словно издалека донесся до него голос Сарычева,— пока не получим всех данных и не объявим официально о наших потерях,— ни с кем никаких разговоров.

— Ясно, товарищ комбриг,— сказал Климович и встал.— Разрешите идти готовить роту к выходу?

— Жаль Русакова! — продолжая сидеть и словно не слыша вопроса Климовича, сказал Сарычев.

Климович уже хотел повторить вопрос, но, оказывается, Сарычев его слышал.

— Можешь идти,— сказал он, вминая в пепельницу недокуренную папироску.— Знаю, что взваливаю на тебя тяжелый крест. Но обстоятельства службы не позволяют разделить его с тобой.

Завтра наступило для Климовича удивительно быстро. Перед началом марша оказалось так много дел, что он не попал домой ужинать и за всю ночь не сомкнул глаз. Выведя в степь танки и вернувшись домой, он повесил кожанку и шлем на крючке в

сенях, куда выходили двери и его и русаковской комнат, достал из маленького, стоявшего у стены шкафчика сапожную щетку, обмахнул сапоги и лишь после этого на цыпочках прошел к себе в комнату.

Люба сидела за столом, накрытым для чая, и спала, положив голову на руки. Подняв голову, она виновато улыбнулась.

— Задремала. Ждала-ждала и задремала.

— Надо было лечь спать,— сказал Климович.— Я же прислал записку, что буду только утром.

— А вдруг ты всего на пять минут? А я бы заспалась — ни чаю, ничего.

Она подняла подушку с чайника и стала разливать чай. Климович сел и отхлебнул несколько глотков.

— Ночь была холодная, в кожанке — только-только.

— А я, когда услышала, как танки уходят, подумала: вдруг ты и вовсе не зайдешь проститься?

Климович ничего не ответил.

— Тебя что, оставили? — тревожно спросила Люба, знавшая, что, если б все ушли в поход, а Климович остался, это было бы для него большим несчастьем.

— Нет, я к ночи догоню бригаду. Просто есть одно поручение...

Люба не стала расспрашивать; ждала, чтобы сказал ей сам. Но он ничего не сказал и продолжал пить чай.

— Долго вы будете в походе? — спросила Люба.

— Не знаю. Пока марш рассчитан на четыре дня.

— А потом?

— Потом — не знаю.

— Может быть, до осени?

— Все может быть.

Климович дотянулся до чайника и налил себе еще стакан. Он подумал, что, если в самом деле разыграется война, хорошо было бы заранее знать, как и куда отсюда эвакуируются семьи, как будет с транспортом, аттестатами, вещами и многим другим, предвиденным и непредвиденным.

— Что с тобой? — спросила Люба, увидев вдруг помрачневшее лицо мужа.

Климович помрачнел оттого, что срок, положенный им себе на свидание с семьей, кончился. За стеной он услышал детский плач и женский голос и понял, что у Русаковых уже проснулись и он должен приступить к тому, ради чего оставлен. Ничего не ответив Любе, он встал, пересек комнату и с минуту постоял над кроватью дочери. Потом вернулся к столу, сел напротив Любы и сказал ей, что саперная рота была в бою и что убит Русаков.

Люба долго сидела, не говоря ни слова. Они оба думали сейчас об одном и том же и к одному и тому же прислушивались — к детскому плачу за стеной.

— Ты мне должна помочь,— после молчания сказал Климович.

— Хорошо,— просто сказала Люба. — А как?

— Меня оставили, чтобы сказать ей об этом. Я должен буду почти сразу уехать, но ты не отходи от нее, хотя бы первые дни.

— Хорошо.

— Пока она не успокоится.

— Она никогда не успокоится. Теперь для нее жизнь кончена,— сказала Люба и подумала, что это так и есть. Ольге Владимировне сорок, у нее трое детей, и она никогда никого не любила, кроме Русакова, старше которого была на пять лет.

Климович сказал слово «успокоится» не в том смысле, в каком поняла его Люба. Он имел в виду слезы, рыдания, может быть, обморок. Он понимал и сам, что Ольга Владимировна не скоро забудет Русакова и успокоится, но сейчас от слов Любы «жизнь кончена» у него похолодело сердце. Известием о том, что убит один человек, ему предстояло убить другого.

— По-моему, лучше будет сказать ей это здесь,— неуверенно сказал Климович.

Люба пожала плечами, как бы говоря: «Разве может иметь значение, где ты ей это скажешь, по сравнению с тем, *что* ты ей скажешь?»

— Я имел в виду детей, чтобы не при них.

— Когда сделать это? — спросила Люба, не замечая, как по щекам ее катятся слезы.

Слово «это» она выговорила так осторожно, как будто несла в руках что-то, что боялась уронить. «Это» значило выйти в сени, дойти до двери, за которой жила Ольга Владимировна, открыть дверь, сказать: «Ольга Владимировна, зайдите к нам»,— и потом вместе с ней прийти обратно к себе в комнату, где Климович скажет, что Русаков убит.

— Сейчас,— сказал Климович. У него был придушенный голос и каменное лицо.

И Люба в точности сделала все, о чем за минуту до этого думала: вышла в сени, приоткрыла дверь, услышала голос Ольги Владимировны и вошла в комнату Русаковых.

Двух старших детей не было, они уже ушли в школу. Младшая, пятилетняя Таня, только что кончила плакать, сидела в углу и занималась куклой. Ольга Владимировна гладила мужское белье. Люба узнала одну из тех желтых байковых рубашек, которые всем командирам выдали в прошлом году на зиму.

Ольга Владимировна повернулась к Любе и поставила утюг на решетку. На ней было домашнее, бумазейное платье. Ее полное, преждевременно постаревшее лицо раскраснелось от работы.

— Что, Любаша? — спросила она, заметив на лице Любы слезы, которые та забыла вытереть.— Случилось какое-нибудь несчастье?

— Несчастье? — повторила за ней Люба, подумав: «Неужели она знает?» — и только потом, сообразив, что слово «несчастье» относится не к Ольге Владимировне, а к ней и что причина вопроса — слезы на ее лице, вытерла их.— Нет, ничего, Ольга Владимировна, только я прошу вас зайти к нам.

— Хорошо.— Русакова отодвинула утюг от края на середину стола, сказала дочери, что сейчас вернется, и, скинув с себя фартук, повязанный поверх бумазейного платья, вышла вслед за Любой.

В дверях своей комнаты Люба приостановилась и пропустила Ольгу Владимировну вперед, подтолкнув ее и сказав: «Идите, идите». Любе казалось, что та должна непременно пройти первая, так, словно она шла за гробом мужа и никто не мог идти раньше ее.

Ольга Владимировна вошла в комнату, и Люба, войдя вслед за ней, через плечо Русаковой увидела все то же каменное лицо своего мужа, какое у него было, когда она выходила из комнаты. У него не кривился рот и не дрожали губы, и в то же время на лице его было написано такое выражение несчастья, что Ольга Владимировна быстро сделала к нему два шага и, схватив за руку, испуганно спросила:

— Что с вами? Что у вас случилось?

— Ольга Владимировна,— сказал Климович, зачем-то крепко перехватывая ее руку своей и бледнея.

Люба по выражению его лица почувствовала, что вот сейчас, сейчас он скажет. Она зажмурилась и так, с зажмуренными глазами, услышала слова мужа.

— Ольга Владимировна,— сказал Климович,— Коля пал смертью храбрых.

Люба открыла глаза и успела увидеть, как Русакова, глядя на Климовича, улыбнулась бессмысленной, непонимающей улыбкой и, потеряв сознание, молча стала падать. Это было так неожиданно, что, если бы Климович не держал ее за руку, она бы рухнула на пол.

Люба и Климович уложили Русакову на короткую кушетку, к которой, когда кто-нибудь у них ночевал, приходилось подставлять стул. Один раз, поссорившись с женой, на этой кушетке у них ночевал Русаков. Климович принес стул, и Люба, подняв с пола ноги Ольги Владимировны, положила их на стул.

— Принеси воды,— сказала она Климовичу.

Климович вышел в сени, зачерпнул из ведра кружку холодной воды и вернулся. Люба взяла кружку и стала смачивать лоб и виски Русаковой.

— Может быть, сходить за врачом? Или еще что-нибудь нужно? — спрашивал Климович, стоя за спиной жены.

— Ничего ей сейчас не нужно,— сказала Люба.

Она сидела на краю кушетки, рядом с неподвижно лежавшей Русаковой, продолжая смачивать ей лоб и виски, и Климович чувствовал, что сейчас, в эту минуту, жена несравненно лучше его знает, что надо и чего не надо делать.

— Ты пока пойди,— повернувшись к нему, сказала Люба,— пойди пройдись. Мы тут сами.

— Хорошо,— покорно сказал он,— я пойду проверю, как с машиной, а то ведь мне скоро надо выезжать...

— Пойди, пойди,— повторила Люба.

Он пошел к двери, но вдруг почувствовал за спиной взгляд Любы. Быстро повернувшись, он увидел ее глаза, которых она не успела от него спрятать. В них была обращенная к нему мольба, чтобы он не был убит, как Русаков, и не оставил ее одну, как тот оставил Ольгу Владимировну.

— Иди, пожалуйста,— быстро проговорила Люба, понимая, что уже невозможно спрятать пойманное им на ее лице выражение, и даже не пытаясь сделать это, а страстно желая сейчас только одного — чтобы он скорей ушел и перестал видеть ее лицо.

Климович вышел из дома. На улице было, как обычно, жарко и пыльно. Монголы гнали через перекресток большой гурт скота, и, пережидая, пофыркивала на малом газу раскаленная полуторка, груженная снарядными ящиками.

«Наверное, и мы скоро будем в бою»,— подумал Климович, вспомнив глаза жены.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Стояли последние дни июня. Артемьев уже месяц находился в том самом госпитале, из которого он с попутной санитарной машиной уехал на передовую. Пожелание Апухтина — не встречаться здесь во второй раз — не сбылось: вечером того же дня Артемьев, стиснув зубы, лежал на операционном столе и Апухтин чистил ему две сквозные пулевые раны: одну — в руке, у самого плеча, другую — в боку, с выходным отверстием у лопатки.

— Готовьте следующего,— сказал хирургической сестре Апухтин и обратился к Артемьеву: — Здорово больно?

— Угу,— прокряхтел Артемьев.

— Говорил вам, чтобы не попадались ко мне в госпиталь. А в общем, вам повезло: два таких сквозных ранения — и не задеты кости. Если б не потеря крови, я бы вас за неделю поставил на ноги. Даже и не знаю — то ли эвакуировать вас в Читу, то ли нет...

Артемьев только отрицательно помотал головой, боясь разжать рот, чтобы не вскрикнуть от боли.

Тем и кончился их разговор.

Первые дни Артемьев с тревогой прислушивался к реву моторов. Приземлившись в степи за километр от госпиталя, самолет обычно подруливал так близко, что раненые могли через приоткрытый полог палатки видеть его колеса. Самолет загружали, потом он медленно, как по улице, проезжал между палатками, выруливал в степь и, оторвавшись, бреющим полетом шел на Читу.

Потому ли, что Апухтин отдал распоряжение, или просто потому, что в первые дни в Читу эвакуировали только тяжелораненых, а потом, с затишьем, госпиталь наполовину опустел и уже не было особых причин разгружать его,— так или иначе, Артемьева оставили долечиваться здесь, на месте.

Жизнь в госпитале была незавидная. Было жарко днем и холодно ночью. И снаружи и внутри палаток тучами вились комары. Воды не хватало даже для того, чтобы как следует помыться раз в день,— ее возили издалека; за сутки госпитальная цистерна успевала сделать всего два рейса. Однако Артемьев предпочитал эту жизнь отправке в Читу; окажись он там, его после ранения могли и не направить обратно в Монголию.

Через две недели, когда Апухтин зашел и присел на койку, Артемьев стал благодарить его.

— Не стоит благодарности,— сказал Апухтин,— из-за меня же вас ранило, мне же вас и лечить.

— А при чем тут вы?

— Как при чем? Я же вам предложил ехать со мной. Если бы я не предложил, вы бы поехали другой попутной машиной, попали бы часа на два позже, получили бы какое-нибудь другое приказание, участвовали бы не в этой, а в другой атаке и, вполне возможно, были бы здоровы.

— Или убит.

— Может, и так,— согласился Апухтин.— Я нисколько не фаталист, напротив, я считаю, что на войне столько счастливых и несчастных случайностей, что их нельзя особенно принимать во внимание ни в дурную, ни в хорошую сторону. И в то же время иногда диву даешься, насколько жизнь человека зависит от того, взял он шагом правее или левее, какое положение заняло его тело в мгновение встречи с кусочком металла, который мы потом из него выковыриваем.

— Александр Федорович, вы конференцию назначили? — влюбленно глядя на Апухтина, спросила, остановившись за его спиной, высокая красивая сестра.

— Вы что думаете,— поднимаясь, сказал Апухтин,— мы и научной работой здесь занимаемся, обмениваемся опытом. Ну! — Он протянул Артемьеву руку.

Артемьев тоже протянул левую, здоровую руку, но Апухтин отдернул свою.

— Нет, вы правой попробуйте, правой!

Артемьев поднял правую, раненую руку, почувствовал боль в плече, мелкие иголочки в пальцах и слабо пожал руку Апухтину.

В конце третьей недели Артемьев начал ходить. Ему выдали тапочки, нитяные носки, суконный, шинельного цвета халат. Артемьев накидывал его поверх бязевого белья, продевая в рукав только левую руку.

Голову Артемьеву постригли под нулевую машинку в первый же день прибытия в госпиталь. Сейчас волосы начали отрастать и стояли на голове короткой густой щеткой. Вместе с ощущением выздоровления усилилось чувство скуки, хотя, казалось бы, в госпитале ничего не переменилось к худшему, а, напротив, появилось развлечение: теперь Артемьев ходил в столовую для выздоравливающих.

За крайней госпитальной палаткой, в степи, стояло несколько длинных столов с фанерным навесом для защиты от солнца и дождя. Дождя, впрочем, за все время ни разу не было, и казалось, что над этой безводной степью ему неоткуда и взяться.

Около навеса стояла большая плита с вмазанным в нее котлом, в котле с утра до вечера варилась баранина.

Четыре стола под навесом обычно занимали выздоравливающие и медицинский персонал, пятый — ходившие сюда за километр работники полевой военной газеты.

Газету издавал политотдел группы расквартированных в Монголии советских войск. Юрты и палатки, где неделю назад разместилось хозяйство газеты, были хорошо видны из госпиталя.

В столовую из редакции являлись все, начиная от полкового комиссара — редактора, который приезжал на машине и обедал так быстро, что было непонятно, зачем он вообще это делает, и кончая наборщиками и шоферами, которые обедали не торопясь, стараясь продлить отдых.

К завтраку журналисты приносили с собой пачку свежих газет и рассказывали о московских вечерних известиях по радио, которые они слушали и записывали в пять часов утра. Кроме того, редакционным работникам были известны и местные воен-

ные новости, главным образом подробности воздушных боев, в последнее время все чаще удачных.

Обычно кто-нибудь из работников редакции подсаживался к столам, где сидели раненые. Разговорам мешали комары. Они облепляли лица и руки, падали в кружки со сладким чаем. Комаров было так много, что все сидевшие непрерывно жестикулировали, и эти застольные беседы издали можно было принять за ожесточенную перепалку глухонемых.

Иногда воздушные бои происходили в пределах видимости. Два раза в степи, совсем близко, падали самолеты.

Несколько раз доносились звуки дальней бомбежки, а однажды, перед закатом солнца, прилетели три японских бомбардировщика и с большой высоты высыпали вокруг редакции полтора десятка бомб, никого не убив и не ранив.

Тогда, у переправы, Артемьев видел только самолеты над головой и черные капли бомб, но не видел, как эти «капли» падают на землю. Теперь он увидел это: позади знакомых очертаний редакционных юрт из земли один за другим выскочили косые черные столбы. Потом у черных столбов, как у старых огромных деревьев, выросли круглые купы, соединились между собой и образовали чернильно-черную рощу, которая, подержавшись в воздухе, начала клониться к земле и медленно расползлась по ней низким дымом.

Зрелище бомбежки разбередило в Артемьеве желание поскорее вернуться в строй, и утром, во время обхода, он заговорил об этом с Апухтиным. Но Апухтин резко ответил, что в госпитале единоначальник он и что капитан Артемьев выпишется из госпиталя тогда, когда это сочтет нужным военврач Апухтин, а не наоборот.

В госпитале поговаривали, что Апухтин вообще не любит просьб о преждевременной выписке, считая их рисовкой, и Артемьеву осталось только смолчать и ждать другого, более удачного случая.

Прошло еще три или четыре дня. Однажды после обеда Артемьев сидел на скамейке под навесом и лениво выбирал между двумя возможностями убить время — залучить кого-нибудь на партию в шахматы или попробовать заснуть до ужина.

Невдалеке остановилась пыльная «эмка». Из нее вышел военный и направился к столовой. Мельком посмотрев в его сторону, Артемьев снова устремил взгляд в степь, словно она могла ему ответить, что же все-таки предпринять до ужина.

Было так жарко и солнце так сильно жгло землю, что казалось, сразу же за черной тенью, падавшей от навеса, начинается совсем другой, желтый, огнедышащий мир, где если пролить воду,

она закипит, как на раскаленной плите. Степь за тот месяц, что Артемьев провел в госпитале, из буро-зеленой стала буро-желтой; в сумерках она казалась совсем бурой, а в полдень — совсем желтой.

На горизонте, за безбрежной желтизной степи, виднелось длинное озеро с синеватым лесом. Это был дрожавший в раскаленном воздухе мираж, уже начинавший потихоньку размываться с краев.

— Любуетесь миражами? — послышался голос за спиной Артемьева.

— Нет,— оборачиваясь, усмехнулся Артемьев,— просто думаю: а вдруг, поскольку я ее каждый день вижу, эта вода и в самом деле существует?

Неожиданный собеседник Артемьева перекинул ногу через лавку и уселся на ней верхом. Это был тот самый «внешто́рговец», с которым они вместе летели в Тамцак-Булак.

— Лопатин,— протягивая Артемьеву руку, сказал «внешто́рговец».

Военная форма нисколько не изменила его. У него был такой неискоренимо штатский вид, что все-таки легче было вообразить его себе военным раньше, когда он был в штатском, чем теперь, когда на нем были фуражка, портупея, сапоги и наган.

— Что, ранены были? Давно? — спросил Лопатин.

— Получил две пули на следующий же день после того, как с вами летел,— сказал Артемьев.— А вы что сюда приехали?

— В данный момент приехал пообедать, но, к сожалению, обед уже съеден, а ужин еще не готов. А в общем-то я пишу.

— Что пишете? — спросил Артемьев, с опозданием соображая, что вопрос глупый, что его собеседник — журналист, работает в армейской редакции и именно оттуда сейчас и приехал на редакционной машине.

— В настоящее время — все, что предложит редактор,— ответил Лопатин.

— Возможно, это я ваши произведения читал,— сказал Артемьев, подумав, что его собеседник, как видно, тот самый Лопатин, две небольшие книжечки которого — одну о басмачах, а другую об Афганистане — он читал еще в военном училище.

Но Лопатин не испытывал никакого желания говорить о своих произведениях.

— Смотрите-ка, наш редактор! — кивнул он.

По степи, от редакции к госпиталю, как стрела, мчался мотоцикл. Не доезжая ста метров до госпиталя, седок круто развернул машину и свалился с мотоцикла. Вскочив с земли и быстро оглянувшись — не заметил ли кто-нибудь его падения? — мотоциклист

(это был действительно редактор, которого Артемьев видел несколько раз в столовой) поднял машину, сел, дал газ и стрелой понесся обратно в редакцию.

— Учится,— сказал Лопатин.— А я уже подумал — за мной. Ни себе покоя, ни людям! Развлечение для себя выбрал, и то — мотоцикл!

— Ваши редакционные тут столуются уже неделю,— сказал Артемьев,— а вас не было видно.

— А я всю неделю был у монголов, в шестой кавдивизии.

— Как там, тихо?

— Слышал, что у японцев на подходе две дивизии, но мне, как невоенному человеку, показалось, что все тихо,— ответил Лопатин.

— Скажите-ка мне, невоенный человек, как, по-вашему, будет война? — спросил Артемьев.

— А те две пули, что в вас влепили японцы,— это что вам, не война? Поистине у нас такие миролюбивые военные, что просто страшно! — Лопатин рассмеялся.

— Не такие уж миролюбивые,— сказал Артемьев.—Я, например, с радостью бы вложил свою скромную долю в то, чтобы расчихвостить эти две японские дивизии, о которых вы сказали.

— Так ведь это разные вещи,— возразил Лопатин.— Всем нам, конечно, хочется наломать японцам шею. Но вот ответьте мне: если вам вместо этого скажут: «Еще один выстрел — и будет война, большая война»,— вы бы сделали этот выстрел?

— В определенных обстоятельствах сделал бы.

— В каких?

Артемьев пожал плечами.

— На этот вопрос мы уже дали ответ, когда сказали, что будем защищать монгольские границы, как свои собственные. Если, чтобы сдержать свое слово, нам придется пойти на большую войну, мне кажется, мы пойдем на нее. Разве не так?

— Боюсь, что так,— сказал Лопатин, надевая фуражку.

«А почему «боюсь»?» — хотел спросить Артемьев, но удержался и вместо этого спросил о «Знаке Почета», криво привинченном к карману лопатинской гимнастерки:

— За что орден?

Оказалось, что орден за участие в одной из недавних полярных экспедиций.

— Говорят, что там, за Полярным кругом, тяжелые условия, а по-моему, здесь хуже — жара.— Лопатин кивнул на свою «эмку».— В движении еще ничего, а как постоишь полчаса — на крыше можно блины печь. Ну ладно, я поеду. Если редактор куда-нибудь не угонит, за ужином встретимся!

Прошло еще несколько дней. Лопатин так больше и не появился. Как-то утром, при обходе, Апухтин приказал Артемьеву снять рубашку, больно мял ему пальцами плечо и руку и, сменив гнев на милость, сказал, что теперь на днях выпишет его.

Вечером этого дня Артемьев в самом хорошем настроении лежал на койке и от нечего делать во второй раз читал газету, в которой не было ничего особенного.

Сосед Артемьева слева (койка справа уже давно пустовала), раненный при бомбежке шофер, разбитной малый, всегда первым узнававший обо всех госпитальных событиях, вернулся с ужина в том взволнованно-радостном состоянии, какое бывает у незлых, но очень соскучившихся людей, когда они первыми узнают какую-нибудь даже печальную новость.

— Истребителя привезли! Майора! Зашивают сейчас! — возбужденно сообщил он, садясь на койку.

— Чего ж вы радуетесь, Мякишев? Что тут веселого? — нахмурился Артемьев.

— Где же я радуюсь, товарищ капитан, что вы! — радостно сказал Мякишев.— Я просто рассказываю вам. Говорят, двух сбил, а потом сам воткнулся в землю, прямо всмятку! Но Апухтин говорит: «Дайте мне его на стол, сейчас я его сошью!»

У Мякишева была несокрушимая вера во всемогущество начальника госпиталя. Он носил в кармане халата кусок железа и показывал всем, говоря, что Апухтин вынул у него этот осколок чуть ли не прямо из сердца. Кусок железа был слишком уж велик, и Артемьев подозревал, что Мякишев подменил осколок из тщеславия.

— Молодой! — между тем продолжал рассказывать Мякишев.— А уже майор. Весь в орденах. А голова вся разбита. И ноги сломанные. Но Апухтин сошьет, этот сошьет!

Мякишев, наверное, еще не скоро бы успокоился, если бы «разбившийся всмятку» майор не явился к ним в палатку на собственных ногах.

На летчике были сапоги, галифе и нательная рубашка. Лоб и одно ухо у него были туго забинтованы. Он вошел в палатку в сопровождении сестры, которая одной рукой поддерживала его, а в другой несла халат и шлепанцы.

— Вот, пожалуйста, товарищ Полынин,— говорила сестра, показывая на пустую койку рядом с Артемьевым,— здесь вы и будете лежать.

Она положила халат у изголовья, а шлепанцы поставила в ногах.

— Пожалуйста, ложитесь.

— А где моя гимнастерка? И документы?

— Это все у нас в канцелярии,— ответила сестра.

— Ну, документы — ладно, а гимнастерка?

— Тоже в канцелярии.

— Разве у вас в канцелярии гардероб?

— Вы, чем волноваться, лучше ложитесь, товарищ Полынин,— улыбаясь терпеливой профессиональной улыбкой, сказала сестра.— Разденьтесь и ложитесь, а то мне от начальника госпиталя из-за вас попадет.

— Это другое дело.

Он взял с койки халат и надел его поверх галифе и сапог.

— Вы бы совсем разделись, товарищ Полынин,— сказала сестра.

— Ну это уж, извините, без вас обойдется,— сказал Полынин и, только когда сестра вышла из палатки, сел на койку и начал стаскивать с себя сапоги.

— Говорят, они тут за лежачими чуть ли не горшки выносят? — спросил он.

— Случается,— ответил Артемьев.

— Я этого не терплю.— Полынин стянул второй сапог, поставил оба сапога рядом возле койки и поверх них аккуратно разложил портянки. Сняв галифе и халат, он в белье залез под одеяло и медленно и сладко потянулся.— Спать хочется!

— Ранение у вас, как видно, не особо тяжелое,— сказал Артемьев и оглянулся на койку Мякишева, но Мякишева и след простыл.

— Да какое это ранение! — сказал Полынин.— Только что крови много, как из зарезанного.

— Из-за потери крови и спать хочется,— сказал Артемьев, знавший это по себе.

— И без этого бы хотелось,— зевнул Полынин.— Шарик по двадцать часов не закатывается. А пока шарик на небе — все время работа. Одна надежда выспаться — если дождь пойдет, но дожди тут только по праздникам. Выходит, без госпиталя не выспишься.

Проспал он действительно четырнадцать часов подряд. Артемьев, с нетерпением ожидавший возможности поговорить с новым человеком, уже успел позавтракать, погулять, сыграть две партии в шахматы, а Полынин все еще спал. Едва он проснулся, его сразу же увели в перевязочную, и он вернулся оттуда в дурном настроении, потому что хирургическая сестра сказала, что Апухтин выпишет его только послезавтра.

Переживая, он долго ходил из угла в угол палатки легким, пружинящим шагом и, как ни странно, казался щеголеватым даже в госпитальном халате. У него были светлые, зачесанные на косой

пробор волосы и такие правильные черты лица, что он казался бы красавчиком, если б не жестковатое выражение глаз, менявшее первое впечатление от его внешности.

— Что, болит? — спросил Артемьев, когда его сосед, морщась и раздраженно двигая мускулами лица, сел на койку.

— Чешется. Бинты мешают. А рана — курам на смех! Просто пол-уха нет. Японец в хвост зашел и отгрыз. Очередью.

— Да, это неприятно.— Артемьев подумал, что Полынин, с его внешностью, наверно, нравится женщинам.

— А, черт с ним, с ухом! — неожиданно для Артемьева равнодушно махнул рукой Полынин.— По мне, пусть бы хоть все отгрыз — только бы не ушел. А он ушел, паразит!

— Значит, испортили ваш портрет, товарищ майор? — вмешиваясь в разговор, развязно сказал Мякишев.

Полынин быстро и недружелюбно посмотрел на него.

— Пойдем пообедаем? — обратился он к Артемьеву, перед этим несколько секунд подчеркнуто помолчав.— Этот, что ли, вчера рассказывал, как меня из кусков сшивали? — кивнул он, проходя с Артемьевым мимо развалившегося на койке Мякишева.

— Этот,— невольно улыбнулся Артемьев.

— Откуда? — повернулся Полынин к Мякишеву.

— Ростовский,— ответил тот, нерешительно спустив ноги с койки.

— Вот не думал, что сюда, в Монголию, из Ростова таких трепачей посылают, думал — их там, на месте, перевоспитывают,— сказал Полынин, выходя из палатки.

— Теперь три дня переживать будет,— сказал Артемьев, которому стало жаль растерявшегося Мякишева.

— Ничего, пусть попереживает: не люблю нахалов,— сказал Полынин.— Особенно в армии. И зря у нас не замечают разницы между простотой и нахальством. Человек бывает действительно простой, но не терпит, чтобы на службе каждый хлопал его по плечу. Так про него говорят: «Забурел!» Про другого говорят: «Простой парень». А он нахал — и больше ничего. Не знаю, как у вас в пехоте, а у нас в авиации бывает. А по-моему, дружба дружбой, служба службой, а середины нет!

Ничтожный случай с Мякишевым, видимо, задел в нем какую-то уже давно и сильно натянутую струну.

После обеда Артемьев и Полынин долго стояли вдвоем в степи. Степь, как море, тянула к себе. Хотелось идти по ней до горизонта и дальше, не веря, что она может быть все время такой одинаковой, и надеясь, что там, за горизонтом, окажется что-то другое, чего не видно отсюда.

— А за Халхин-Голом ничего похожего, все наоборот, сопка на сопке,— сказал Артемьев.

— А еще километров на пятнадцать восточнее — отроги Хинганского хребта, метров по триста, по четыреста,— отозвался Полынин.

— А еще дальше?

— А еще дальше — Маньчжурия, летать не велено, велено заворачивать.

— Заворачиваете? — спросил Артемьев.

— В общем, заворачиваем.— Полынин рассмеялся.— Летчики в воздухе вообще дисциплинированнее, чем на земле.

— И вы тоже?

— И я тоже. А что я, Иисус Христос, что ли? Я только не терплю нахальства. А так, если службы нет, разве плохо погулять по-порядочному, выпить с ребятами, кое-что вспомнить из общего прошлого? Здесь, конечно, почти не приходится, погода все время хорошая. Шесть-семь вылетов в сутки. Даже под Мадридом на что уж было тяжело, а все-таки с аэродрома ехали в гостиницу — душ, мягкая постель. И главное — комаров не было. А здесь комары — просто жуткое дело... Мы их самураями прозвали.

— А как вы японцев расцениваете? — спросил Артемьев.

— По прямой скорость у них немного больше,— сказал Полынин,— но в смысле маневренности в воздушном бою наша «чайка» не только не уступит, а, я бы сказал... Конечно, не последний вопрос и — кто за ручку держится! Летчики у них в большинстве с боевым опытом, после Китая. Они тут в первое время, надо прямо сказать, пощипали наших. Но теперь, наоборот, мы их крепенько прижимаем. Сюда и старые кадры, вроде нас, подлетели. И молодежь уже по нескольку боев имеет, теряться перестала. А ты бы к нам взял да приехал на аэродром! Отсюда всего одиннадцать километров; когда северный ветер, наверное, наши моторы слышны.

— Что-то не слышал.

— Это у тебя слух не авиационный,— окончательно перешел на «ты» Полынин и, приложив к уху ладонь, долго стоял, прислушиваясь.— Можешь мне сказать, что я вру, но я, например, слышу. Приезжай, не пожалеешь! Вам, общевойсковикам, вообще надо почаще у нас на аэродромах бывать, чтобы точно знать, когда и что с нас можно взять. А то вы иногда полторы души с нас тянете, а иногда и половины не просите.

— Пожалеть-то я бы, конечно, не пожалел, если бы поехал,—сказал Артемьев,— но, когда выпишут, надо будет двигать прямо в штаб группы, а до выписки Апухтин, насколько я знаю его характер, ни на один час не пустит.

На лице Полынина появилось упрямое выражение, но он не настаивал и перевел разговор на другую тему.

Обычно в госпиталях люди или быстро надоедают друг другу, или быстро сходятся.

Интересуясь и тем, что Артемьев видел сам, и тем, что он слышал из вторых уст, Полынин расспрашивал его о наземных майских боях с тем искренним удивлением перед чужой храбростью, которое присуще людям, полагающим собственную храбрость в порядке вещей.

Сам Полынин о своих воздушных боях и здесь и в Испании рассказывал, употребляя вперемежку то узаконенные Уставом тактические термины, то летный жаргон — «присели», «пикнули», «гробанули»; товарищей он называл полными именами, но без отчеств: Анатолий, Виктор, Борис, а начальников — только по должностям: командир группы, командир полка, командующий. При всей его свойской натуре ему не чужда была и военная официальность. Когда на вторые сутки после обеда Полынин решил идти к Апухтину просить его о выписке, он потащил с собой Артемьева.

— У меня-то, во всяком случае, ничего не выйдет,— сказал Артемьев.

— Ничего, попробуем, спикируем!

Увидев их в своей юрте, Апухтин сделал молчаливый жест рукой, приглашая сесть на противоположную койку, а сам, сидя на своей, еще несколько минут молча продолжал доедать суп из котелка. Наконец он положил ложку поперек котелка, котелок поставил на стол, не спеша закурил папиросу и только после этого нелюбезно спросил их:

— Ну? Слушаю.

— У вас сердце не болит? — спросил Полынин.

— Не болит,— хладнокровно ответил Апухтин.— А почему оно должно у меня болеть?

— А потому,— сказал Полынин,— что мои ребята сегодня, наверное, делают без меня уже по пятому боевому вылету.

— Слушайте, бросьте вы свои подходы! — сказал Апухтин.— Вам они, может быть, кажутся очень остроумными, но через мои руки тут прошло полтысячи раненых, и примерно каждый третий хотел выписаться раньше срока. Поэтому говорите прямо и коротко. Хотите выписаться?

— Да! — сказал Полынин.

— Когда?

— Сегодня.

— Сколько спали в первую ночь?

— Пятнадцать часов.

— А не врете? Не обижайтесь, я как врач спрашиваю.

— Четырнадцать.

— А вторую?

— Десять.

— Если так — выпишу. С уговором — через десять дней приехать снять с уха шов. Договорились?

— Договорились.

— А вы что? — повернулся Апухтин к Артемьеву.

— Я хочу попросить у вас разрешения, товарищ военврач первого ранга,— сказал Полынин таким откровенно заискивающим тоном, что Артемьев не выдержал и улыбнулся,— чтобы товарищ капитан съездил со мной на сутки в нашу часть.

— Зачем? — строго спросил Апухтин.

— А просто так,— озадаченный вопросом и не найдясь, что сказать, ответил Полынин.

— Ну, если просто так,— неожиданно сказал Апухтин,— пусть съездит. У вас ведь полуторка? Только посадите его в кабину, чтобы не особенно растрясло для начала, и верните завтра. А то мне его через два-три дня выписывать. И спиртом не поите.

— Какой у нас спирт? — неискренне удивился Полынин.

— Читинский,— сказал Апухтин.— Вам его привезли третьего дня, и он у вас подвешен для охлаждения в колодце на веревочках во фляжках вперемежку с фляжками, в которых вода. Для маскировки. На случай появления начальства. Так или не так?

Полынин только развел руками.

— А шофер и воентехник, которые приехали вас увозить на случай, если я вас не выпущу, сейчас обедают в столовой — я их туда отправил, чтобы не маялись. Еще вопросы есть? — Апухтин встал, довольный произведенным впечатлением.

Полынин устроился рядом с воентехником в кузове полуторки, на связках свеженарезанного камыша. Он придерживал накинутую на плечи и голову плащ-палатку и с удивлением смотрел на разбушевавшуюся природу. Грозовые облака, еще недавно толпившиеся у горизонта, с невероятной быстротой выкатились на середину неба, и над степью понесся, подхваченный ветром, крупный косой дождь.

«Вот и не будет сегодня полетов,— с неудовольствием думал Полынин, надеявшийся до темноты слетать хоть разок еще сегодня.— А может, и завтра не будет. И чего я повез с собой этого друга! Мокнуть только».

При знакомстве Артемьев понравился Полынину; он был, по его мнению, толковым человеком. Определение «толковый»

заменяло Полынину множество других. И было в его устах самой краткой и высшей оценкой человека, вернее — мужчины, ибо он еще не встретил на своем пути женщины, которая, по его мнению, заслуживала такой оценки. Встреть он такую женщину, он, наверное, женился бы. Но этого пока не случилось, и Полынин в свои тридцать два года все еще оставался холостым и жил вдвоем с матерью.

Это был, как говорится, человек с недостатками; его любили товарищи и недостаточно ценили начальники. Его до тяжести прямой характер и резкий язык сочетались с прирожденной скромностью и даже застенчивостью. Но людям, мало знавшим его, бросались в глаза только первые два качества.

Свои собственные достоинства он вполне искренне недооценивал, но если речь заходила о его товарищах и особенно подчиненных, он не выносил ни малейшей несправедливости к ним с чьей бы то ни было стороны. В этих случаях он не скупился на положительные аттестации и подавал написанные на грани дерзости рапорты по команде. Если же, по собственному мнению Полынина, его подчиненный был действительно виноват, то Полынин сначала беспощадно разносил его сам, а потом, рапортуя о происшествии, большую часть вины брал на себя.

Несмотря на десять лет службы в авиации, майорское звание и ордена, Полынин только здесь, на Халхин-Голе, в разгар боев, стал заместителем командира особой истребительной группы. При своем боевом опыте и знаниях он вполне мог командовать полком, при своем дерзком характере вполне мог остаться рядовым летчиком, но служебная линия пролегла где-то посередине, и Полынин на это не жаловался. Он сейчас воевал — и это было главное, повышения по службе интересовали его во вторую очередь.

Сделав большой крюк, чтобы обогнуть полосу непроезжих в дождь солончаков, полуторка, разбрызгивая лужи, подъехала к аэродрому. Аэродром был такой же, какой Артемьев уже видел в Тамцак-Булаке: кусок степи, ничем не отгороженный от остальной степи и ничем не отличавшийся от нее. На летном поле вразброс, но недалеко друг от друга стояли истребители, казавшиеся в огромной степи совсем маленькими, да поодаль виднелась почерневшая от дождя палатка.

Дождь шел такой косой, что от него нельзя было спастись и под крылом самолета. Насквозь промокший часовой, к которому они подъехали, сказал, что последний грузовик с летным составом только что ушел к месту ночевки, и Полынин понял, что синоптики не обещают перемены погоды раньше утра. Он постучал в окно кабины и велел подъехать к семерке — это был его

самолет. Поколесив по летному полю между самолетами, они подъехали к семерке. Самолет, как и следовало ожидать, был в полном порядке.

— Никто вашу семерку не трогал,— с обидой в голосе сказал воентехник, сидевший вместе с Полыниным в полуторке.— Неужели вы, товарищ майор, своему Гизатуллину не доверяете?

— Почему не доверяю Гизатуллину? Я доверяю Гизатуллину,— сказал Полынин и тем не менее вылез из полуторки и три раза обошел самолет.

Осмотрев самолет, Полынин снова залез в кузов полуторки и сказал шоферу, чтобы тот ехал дальше. В четырех километрах от аэродрома была маленькая балочка, в ней стояло несколько юрт, две палатки и столовая — четыре столба с камышовым навесом. Летчики так и не подыскали названия для этого места, а просто, имея его в виду, говорили: «Поедем ночевать».

Сейчас, когда сюда приехали Полынин и Артемьев, место это казалось особенно неприютным. Дождь, пробиваясь сквозь камышовый навес, барабанил по столам, а палатки и юрты уже так почернели от него, что казалось, дождь идет не час, а целую неделю. В юрте, куда зашел Полынин вместе с Артемьевым, верхнее отверстие было закрыто от дождя; сумеречный свет проникал снаружи через подоткнутую кошму у входа.

— Ну как, отгостился в госпитале? — поднявшись с койки и радостно тряся руку Полынина, густым басом спрашивал долговязый летчик, мягко, по-украински выговаривая «г».— С твоим ранением мы в курсе дела, так что не беспокоились. На слух не повлияет?

— Хирург говорил — не повлияет. Да вроде и сам чувствую — хотя и повязка, но слышу нормально.

— А мы сегодня тебя уже не ждали,— думали, погода удержит.

— А мы раньше выехали. Нас уже в дороге дождь застал.— Полынин отступил в сторону и подтолкнул вперед Артемьева.— Познакомься с пехотой! Пригласил погостить у нас до завтра. Мы с ним в госпитале вместе лежали.

— Лежал ты! — насмешливо сказал летчик.

Артемьев представился.

— Грицко,— сказал летчик и так тряхнул левую, протянутую ему Артемьевым руку, что рукопожатие отдалось в правом, раненом плече.

— Осторожней,— сказал Полынин.— Человек раненый.

— Тогда извиняюсь,— сказал летчик и, словно исправляя ошибку, еще раз, уже тихонько, пожал руку Артемьеву.

— Где Соколов? — спросил Полынин.

— Михаил у командира, а Вася спит, вот он.— И Грицко кивнул на койку, где лежал кто-то накрытый шинелью.

— Я и не заметил,— сказал Полынин.— Когда же он успел заснуть?

— А сразу, как вернулся. Еле дошел от машины до юрты,— сказал Грицко.

— Летал? — с холодком в голосе спросил Полынин.

— Летал,— почесав в затылке, виновато сказал Грицко.— Три боевых вылета сделал. Разве для первого раза легко? Конечно, спит.

— Я же сказал,— голос Полынина стал окончательно ледяным,— чтобы подождали меня, что я в первый раз сам поведу его.

— А он к командиру группы пошел проситься и получил разрешение.

— Та-ак,— протянул Полынин и, помолчав, добавил другим тоном: — Сходи к Петину, забери у него лишнюю раскладушку. А мы покамест койки сдвинем. Пойдешь мимо столовой — заодно организуй поужинать здесь, в юрте.

Пока Грицко ходил за раскладушкой, Полынин двумя руками, Артемьев одной левой принялись плотнее сдвигать железные койки, стоявшие по окружности юрты с небольшими промежутками.

— Ничего, не проснется! — сказал Полынин, когда очередь дошла до койки, на которой спал летчик, укрытый шинелью.— А проснется — ему же хуже. Его всего пять дней как прямо после училища взяли в нашу группу по рапорту старшего брата. Я приказал не пускать его без меня в первый бой. Но вышло не так, как я сказал, а как он захотел. А первый бой — дело такое: спроси летчика потом, когда сядет, как все было,— не ответит. Глазами еще кой-чего видит, а затылком ничего не чувствует. В первом бою за новичками надо смотреть специально.

— А за вами смотрели?

— Нет,— сказал Полынин.— В тот день мы все до одного в свой первый бой шли. Некому было смотреть. А что ты думаешь? — Он сердито вскинул на Артемьева глаза.— Я и привез шестнадцать пробоин. И все в хвосте. Что тут хорошего?

Грицко вернулся, неся раскладушку. Она как раз поместилась между койкой спавшего летчика и входом в юрту.

— Товарищ майор, разрешите? — раздался голос с улицы.

— Войдите,— сказал Полынин.

— Товарищ майор!— вошедший красноармеец откозырял.— Вас командир группы вызывает.

Не сказав ни слова, Полынин накинул на плечи плащ-палатку, надел поверх бинтов фуражку и вышел вместе с красноармейцем.

— Харчем мы похвастаться не можем,— сказал Грицко, когда вышел Полынин.— Баранину каждый день едите?

— Каждый день.

— Ну и сегодня будете есть, положение без перемен. Но зато спирту под дождь и под ваше присутствие по склянке выпьем.

— А без моего присутствия?

— Как когда,— сказал Грицко.— Вообще-то говоря, если летный день был подходящий, Полынин перед ужином по склянке не запрещает.

— А сам?

— А что сам? — даже удивился Грицко.— Вы, наверно, его еще не поняли. Это он в бою требует, чтобы как он, так и все, а на отдыхе — как все, так и он.

— Скажите, товарищ капитан, Грицко — это ваше имя или фамилия?

— Да и так и эдак,— улыбнувшись, сказал Грицко.— Наверно, скупой поп крестил: имя Грицко и фамилия Грицко.

Говоря все это, Грицко возился с фонарем «летучая мышь», протирал стекло и выравнивал фитиль. Потом он зажег фонарь, поставил посередине юрты на стол, достал из-под подушки две газеты, расстелил их на столе, нагнулся, полез под койку, вынул оттуда термос и две банки осетрины в томате и, отстегнув от пояса цепочку со складным ножом, стал открывать консервы. По всему чувствовалось, что он заведовал в юрте хозяйством.

— А что в термосе?

— Он,— сказал Грицко.

Огонек «летучей мыши» разгорелся, в юрте сразу стало уютно. По обтягивавшему войлок брезенту постукивали капли. Комаров прибило дождем; то, что нет их писка, казалось даже странным.

Грицко все еще продолжал выгребать из-под койки то одно, то другое: стаканы, эмалированную кружку, соль и перец в спичечных коробках. Наконец он вытащил из чемодана целый круг копченой московской колбасы.

— Главная полынинская закуска! — сказал Грицко, увидев, как радостно Артемьев глядит на колбасу.— У Николая ее всегда запас в чемодане. Даже, помню, когда нам в Испанию последние праздничные посылки прислали, так ему — полпосылки этой колбасы.

— А вот и Соколов-старший,— сказал Грицко, оглядываясь на вошедшего в юрту широкоплечего летчика, с коротко, под бокс,

остриженными волосами и ребячески упрямым выражением лица.— Познакомься. Капитан ночует у нас — майор в гости позвал.

Хмуро поздоровавшись, Соколов сел на койку.

— Просто удивляюсь! Как терпит командир группы!

— Что? — спросил Грицко.

— А как Николай с ним разговаривает, когда вожжа под хвост попадет. На «вы». Официально. Как будто отроду знакомы не были. Сижу сейчас у командира группы...

— А чего он вызвал тебя? — перебил Грицко.

— А ничего он меня не вызывал. Просто лежит больной, малярия его трясет. Сидел у него, вспоминали кое-чего. Заходит Николай — руку к козырьку: «По вашему приказанию явился». Командир группы говорит: «Давай, Коля, садись, расскажи, как тебя там заштопали». А Николай вместо этого: «Разрешите узнать, вам капитан Соколов докладывал, что я запретил до моего возвращения выпускать в воздух лейтенанта Соколова?» Я, конечно, не докладывал, но командир группы заминает это дело, отвечает: «Ладно, Коля, слетал — и все в порядке. Что теперь разбираться? Давай садись». А Николай, вместо того чтобы сесть, как даст мне! «Вы, говорит, почему не доложили?» Сам меня гоняет, а смотрит на командира группы, как будто его отчитывает. Гонял, гонял, потом командир группы говорит мне: «Давай иди, Соколов». Я из юрты выхожу и слышу: Николай там уже на другую тему перешел и опять дает жизни. «Вы, говорит, согласились с моим предложением самолеты на случай ночной бомбежки расставлять на дистанции в двести метров друг от друга. Я, говорит, согласно вашему приказанию, с людей требовал, а сегодня, говорит, был на аэродроме — и пятидесяти метров между самолетами нет! Как мне, говорит, это понять?» И пошел! И пошел! Ну, достукается он, честное слово, достукается! Не глядя на то, что они корешки и что командир группы человек добрый.

— А он на горбу у Николая добрый,— резко сказал Грицко.

— Как так?

— А вот так. С тех пор как Николай заместителем стал, Николай требует, а он спускает, Николай злой, а он добрый.

— Ну, это ты загнул! — горячо сказал Соколов.— Я Николая, конечно, уважаю, но полковника я три года знаю.

— Одного ты уважаешь, другого знаешь,— сказал Грицко,— у тебя не поймешь, что к чему...

— А я тебе скажу,— перебил Соколов.

— Что мне? Ты Николаю скажи.

Артемьев так и не узнал, чем кончился этот спор, потому что в юрту вошел тот же красноармеец, который приходил за Полы-

ниным, и сказал, что командир группы просит капитана Артемьева к себе.

Первое, что увидел перед собой Артемьев, приподняв кошму и войдя в юрту командира группы, была приколотая напротив входа к войлочной стене фотография Нади.

Посреди юрты стоял большой стол с прикрепленной к нему кнопками картой. На стуле у стола сидел Полынин, а на койке, накрытый горой одеял и шинелей, лежал Козырев. Ко лбу, покрытому каплями пота, прилипли курчавые мокрые волосы.

— Здорбво! — сказал Козырев, приподнимаясь на локтях и отрывая от подушки пылавшую жаром голову. Рука, которую он протянул Артемьеву, была горячая и слабая.— Услышал, что старый знакомый появился на нашем горизонте,— велел тебя позвать. Сам бы пришел туда, к вам, да малярия одолела. Не в обиде?

— Напротив, рад тебя видеть,— сказал Артемьев, не особенно покривив при этом душой. Их внезапная встреча не удивила его: как раз такие люди, как Козырев, и должны были очутиться здесь, в Монголии.

— Полынин говорит, ты ранен был? Тяжело?

— Не особенно.

— А помнишь, как мы с тобой в ресторане сидели и я сказал, что тот, кто, вроде тебя, еще не воевал, тот еще не военный, ни рыба ни мясо? Помнишь?

— Помню.

— А потом извинился перед тобой. Тоже помнишь?

— Тоже помню.

— Вот видишь! А то было бы теперь неудобно. Значит, умно поступил, что извинился.

— Сильно треплет малярия? — спросил Артемьев.

— Десятые сутки. Через день, как часы. День — человек как человек, а день — как сейчас видишь.

— А как с полетами?

— Через день не летаю.

— Летает,— сказал молчавший до этого Полынин.— Сегодня летал.

— Так это потому, что тебя не было.

— И летал, и японца сбил,— пропуская замечание Козырева мимо ушей, сказал Полынин,— а потом с аэродрома лежмя привезли. Утром градусник стряхнул и врача обманул.

Козырев подмигнул Артемьеву и хотел что-то сказать, но Полынин продолжал все тем же спокойно-недружелюбным тоном:

— Как сбил японца — неизвестно, не помнит: жар был.

Наверное, какой-нибудь новичок ему сам под пулеметы сунулся, в первый раз вылетел, вроде нашего Соколова Василия.

— Тяжелый у тебя характер, Николай,— вздохнул Козырев.

Полынин ничего не ответил, встал и надел фуражку.

— Что, идти собрался?

— Если разрешите.

— А может, сюда ребят позовешь, харч возьмете и прочее? — примирительно сказал Козырев.

— Если разрешите, мы у меня поужинаем,— сказал Полынин,— там уже все приготовлено, а вам при вашей температуре нужен покой и сон. Сейчас я пришлю вам врача. Разрешите идти?

Козырев даже скрипнул зубами, но при Артемьеве сдержался и хрипло выдавил из себя:

— Идите.

— Мы тебя будем ждать, приходи, когда закончите,— сказал Полынин Артемьеву и вышел из юрты.

— Мой заместитель,— сказал Козырев, когда Полынин вышел.— Характер до того принципиальный, прямо собачий! Уж, кажется, все в порядке. Слетал, японца сбил, вернулся. Нет! Ты ему объясни, почему летал!

— А в самом деле, почему?

— Честно говоря, необходимости, конечно, не было, ребята все бы и так обеспечили. Но ты пойми! — Козырев снова приподнялся на локтях.— Ты пойми! — повторил он.— Ребята в воздухе. А я тут, один, как собака. В голове жара. Во рту хина. Кругом комары. А тут еще скучаю.

Он, вытянув шею, долго смотрел на фотографию Нади и, повернувшись к Артемьеву, скрывая растроганность, сказал грубо:

— А тут еще по Надьке скучаю, будь ей неладно! Вот и полетел. С необходимостью или без необходимости, а одного японцато нет. Так, что ли?

— Так, а могло быть иначе.

— Быть все может, даже с температурой тридцать шесть и шесть.

Козырев дотянулся до стола, высыпал на язык два порошка хинина, морщась, запил их водой и, закрыв глаза, повалился на подушки.

— Скучаю,— помолчав, повторил он.— Мы ведь с ней поженились.— Он открыл глаза и посмотрел на Артемьева.— Я тебе, между прочим, звонил, у нее твой телефон взял, хотел на свадьбу позвать, но твоя мамаша сказала, что ты уехал.

Артемьев ничего не ответил.

С минуту полежав с закрытыми глазами, Козырев снова заговорил о Наде. Собственно говоря, он и позвал к себе Артемьева

для того, чтобы поговорить о ней. Он тяжело переживал разлуку и был бы сейчас благодарен за каждое доброе слово о своей жене.

— Как поженились,— говорил он, ища на подушке места похолоднее и перекатывая по ней горевшую голову,— стали спорить, кто к кому переедет. Я хотел, чтобы она ко мне на квартиру, а она — наоборот. Так улетел, и не решили. Очень уж она щепетильная.

— Да, на разных квартирах — это не дело,— сказал Артемьев, не собираясь ни подтверждать, ни отрицать Надиной щепетильности.

В противоположность Козыреву, он меньше всего хотел говорить о Наде и, боясь, что тот будет продолжать свои расспросы, теперь желал лишь одного — поскорее уйти. Как бы под корень ни было все это отрезано, но вынужденные воспоминания отзывались в душе далекой бессмысленной болью.

А Козырев, мучимый с каждой минутой усиливавшимся жаром, переворачивался с боку на бок, перевертывал под головой подушки и все расспрашивал и расспрашивал — о Надиной матери, о Надиных школьных годах, о Надином бескорыстии, о Надиной дружбе и даже о Надиной верности. Он так хотел слышать о ней только одно хорошее, что принимал все угрюмые ответы Артемьева за утвердительные. В других обстоятельствах Артемьев просто встал и оборвал бы тягостный для него разговор; но Козырев был в жару, почти в беспамятстве, и теперь оставалось только терпеливо ждать врача, которого обещал прислать Полынин.

Когда врач наконец пришел, сел на край койки и, взяв горячую руку Козырева, стал считать пульс, Артемьев поднялся.

— Уже идешь? — сказал Козырев.— А то, может, подождешь, пока врач...— Он не договорил, потому что, несмотря на свое лихорадочное состояние, прочел в глазах Артемьева что-то такое, что его остановило.— Ну ладно, тогда пока. Завтра утром заходи ко мне на аэродром. Завтра я на ногах буду.

— Если не ослабеете,— сказал врач.

— А, иди ты, пожалуйста, со своей слабостью! — отмахнулся Козырев от врача.

Артемьев вышел. Козырев зажмурился, еще раз смутно вспомнил глаза Артемьева и, спросив себя, почему же тот не захотел продолжать разговор о Наде, впервые подумал о жене с вспыхнувшим мучительным недоверием.

— А пульс неважный,— сказал врач.

— А мне черт с ним, с пульсом! Это вам пульс нужен, чтобы хлеб себе зарабатывать.

— Насчет хлеба — грубо,— сказал врач.

— А ты обидься.

— Вы серьезно больны, поэтому с обидами подожду.

— А ты не жди, ты обидься и катись отсюда! — крикнул Козырев.

Он привык к тому, что окружающие терпят его выходки, но сейчас все-таки почувствовал, что переборщил. «Приглашу его завтра посидеть, выпить»,— подумал он и виновато посмотрел на врача. Но врач, так ничего и не сказав в ответ на его последнюю грубость, только отвернулся и закурил папиросу.

После разговора с Козыревым Полынин был за ужином невесел и молчалив, хотя и считал себя правым. Настроение, начавшее у него портиться еще с той минуты, как он увидел на аэродроме тесно поставленные самолеты, теперь испортилось окончательно, и, не будь гостя, он не стал бы ужинать и сразу лег.

У Артемьева после встречи с Козыревым тоже имелись свои причины быть неразговорчивым.

Старший Соколов чувствовал себя обиженным на Полынина за выговор, полученный от него при командире группы, и, как только Полынин вернулся от Козырева, сразу же высказал ему свои чувства. Полынин молча выслушал его, но ничего не ответил, потому что как раз в эту минуту вошел Артемьев и они сели за стол. Соколов, в запальчивости наговорив Полынину лишнего, теперь испытывал чувство неловкости и с преувеличенной готовностью пододвигал ему то термос, то колбасу, то миску с бараниной.

Младший Соколов проснулся только в середине ужина и, сидя за столом, тоже угнетенный молчанием Полынина, страстно ждал, что хоть кто-нибудь заговорит о таком великом событии в его жизни, как первый воздушный бой. Несколько раз он уже почти решался заговорить об этом сам, но удерживался.

Ужин не удался, хотя все выпили сперва по одной, а потом и по второй склянке спирта. Много и шумно говорил один Грицко, не из природной разговорчивости, а из естественно возникающего желания заполнить образовавшуюся тишину.

— Ну что ж,— сказал наконец Полынин, после того как они просидели около часа, термос был опорожнен, а колбаса и баранина съедены,— вроде веселья у нас не получилось, а, Павел? Как, откровенно говоря?

— Откровенно говоря, не получилось,— сказал Артемьев.

— Это я сегодня обедню испортил,— сказал Полынин,— то есть, верней, сначала мне испортили, а потом уж и я не удержался, кой из кого душу вынул. Ничего,— добавил он таким тоном, словно приносил за все это извинение Артемьеву,— завтра на аэродроме веселей будет. Погода, по-моему, выравнивается. Сходите к синоптику, узнайте.— Это были первые за весь вечер слова, обра-

щенные им к младшему Соколову. Тот вскочил и, довольный, что Полынин смягчился и заговорил с ним хотя бы для того, чтобы отдать приказание, выбежал из юрты.

— А тебе я отвечу,— сказал Полынин старшему Соколову, как только младший вышел.— Самолюбие у тебя, конечно, большое и единственное в своем роде, но и брат у тебя тоже единственный. И, по-моему, брат должен быть дороже самолюбия, в особенности если оно глупое. А на твои грубости, что ты мне сказал, я наплевал и забыл. За твое здоровье!

И Полынин допил оставшийся на дне стакана глоток спирта. Лицо старшего Соколова просияло. Он хотел что-то сказать, но в это время вошел младший и радостно отрапортовал, что синоптик дает на завтра погоду, да и без него видно, что погода будет: тучи тянет на запад, полнеба уже в звездах.

Положив под голову парашют, Полынин лежал под крылом самолета, дожидаясь, когда машину заправят бензином; он только что вернулся после пятого боевого вылета.

Артемьев сидел рядом. Земля была снова сухой и раскаленной; не верилось, что вчера шел дождь.

День казался нескончаемым. Они встали еще до рассвета и завтракали при свечах. Во время завтрака все были сонными и ели без аппетита, просто потому, что утром положено есть. Приехали на аэродром тоже еще сонные, несмотря на прохватывавший по дороге в грузовике холодный утренний ветер.

После первого вылета многие летчики забрались под плоскости и, накрывшись шинелями и кожанками от комаров, додремывали, пока механики заправляли самолеты.

Полынин после первого вылета тоже лег под плоскость, накрылся шинелью и тотчас же заснул, а через полчаса был снова в воздухе, оставив Артемьева вдвоем со своим механиком Гизатуллиным, сумрачным казанским татарином. Гизатуллин оказался до такой степени неразговорчивым, что Артемьеву удалось с ним обменяться двумя словами только к середине дня.

— Хорошие моторы ставят на «чайках»,— сказал Артемьев, глядя, как «девятка» Полынина набирает высоту.

— Да,— сказал Гизатуллин.

— А потолок у них много выше, чем у «И-шестнадцатых»? — спросил Артемьев.

— Нет,— сказал Гизатуллин и, присев на землю, стал протирать ветошью гаечные ключи.

Побеседовав таким образом с Гизатуллиным, Артемьев пошел к палатке командного пункта. У полевого телефона сидел дежур-

ный командир, а на топчане дремал Козырев. Руки его бессильно свесились с топчана, лоб был в испарине.

Артемьев не рассчитывал застать его здесь, зная от Полынина, что Козырев сегодня летает.

— Решил один вылет пропустить, слабость чувствует,— шепотом объяснил дежурный, как будто присутствие Козырева на земле, а не в воздухе требовало специального оправдания.

Затрещал телефон. Дежурный сначала, не желая будить Козырева, говорил, прикрыв трубку рукой, но потом тронул Козырева за плечо.

— А? — сразу вскочил и сел Козырев.

— Вас четырнадцатый вызывает,— сказал дежурный.

Козырев взял трубку.

— Козырев слушает. Ясно. Ясно. Ясно.

Говоря это, он застегивал пуговицы на гимнастерке.

— Ясно. Спасибо за предупреждение.

Он положил трубку и обратился к дежурному:

— Слушай, Москвин, давай сейчас побыстрей обойди механиков, чтобы христианский вид имели. И смотри за степью. Если появятся легковые машины, чтоб все были готовы, как юные пионеры!

Только теперь он обратил внимание на Артемьева.

— Боюсь, будет сегодня бомбежка,— хмуро сказал он.

— Почему? — недоуменно спросил Артемьев.

— Звонили, что новый командующий с утра начал объезжать авиационные части. Я с ним встречался еще в Белорусском округе. Вот помяни мое слово, приедет и сразу начнет нас бомбить. Принесла его сюда нелегкая! — сказал Козырев и взглянул на Артемьева.— Знаешь что? Я тебе машину дам. Лучше поезжай к себе в госпиталь от греха.

— А что, тебе может быть из-за меня неприятность?

— Я-то неприятностей не боюсь,— заносчиво сказал Козырев.— Я о тебе забочусь.

— А я тоже не боюсь,— сказал Артемьев, который, уж раз попав на аэродром в разгар воздушных боев, теперь хотел пробыть здесь, по крайней мере, до вечернего разбора.

— Значит, не боишься? — спросил Козырев.

— Выходит, что так, не боюсь,— сказал Артемьев.— В случае чего, думаю, сумею объяснить, почему я здесь и откуда.

— Ну-ну, поглядим, как ты ему будешь объяснять! — сказал Козырев, угрожающе подчеркнув слово «ему».

На этом и кончился их разговор, потому что в воздухе послышался рев снижающихся самолетов. Посадив машины, летчики на-

чали подруливать поближе друг к другу, чтобы, не отходя далеко, перекурить и поделиться впечатлениями.

День, по мнению летчиков, был не выдающийся, но удачный. Козырев во время первого же вылета погнался за отбившимся от строя японцем и, как выражались летчики, «ковырнул» его. Над Халхин-Голом коллективно сбили один бомбардировщик, а второй ушел на маньчжурскую территорию, сильно дымя. Соколов-младший, не рассчитав с горючим, сел в степи у самой передовой, и ему послали туда на полуторке бочку с бензином.

Таковы были события дня. Теперь, после пятого вылета, к ним прибавилось известие о том, что Грицко и Полынин коллективно сбили еще одного японца.

— А как ты его сбил? — спросил Артемьев, сидя возле Полынина, лежащего под плоскостью.

— Ты лучше Грицко спроси, он у нас пианист: на десяти пальцах показывает воздушный бой с участием двух эскадрилий.

— А тебе лень?

— А мне лень. Я чего-то устал сегодня. Жду, когда шарик спустится да можно будет спать поехать.

— По-моему, ты сегодня плохо спал, все ворочался,— сказал Артемьев.

— Это верно, проявил такую недисциплинированность. Бывает: руки-ноги слушаются, а душа — нет.

Помолчав несколько минут и видя, что Полынин по-прежнему лежит с открытыми глазами, Артемьев попросил его уточнить по карте передовую. Полынин неохотно потянулся за летным планшетом и стал показывать, водя пальцем по целлулоиду.

Отброшенные в майских боях японцы отошли на маньчжурскую территорию, а наши и монгольские войска, выставив охранение к самой границе, судя по карте, занимали позиции в пяти-шести километрах восточнее Халхин-Гола.

— Что видно с воздуха у японцев? — спросил Артемьев.

— Накопали порядочно, все сопки в норах, но войск я бы не сказал, что много.

— А поглубже?

— Поглубже нам не больно-то летать советуют.

В воздух взлетела красная ракета — сигнал к вылету. Полынин поднялся и полез в самолет; через несколько секунд Артемьев в кабине уже бежавшего по полю самолета увидел его спину в выгоревшей гимнастерке и белые бинты на голове. Шлем не налезал поверх бинтов, и Полынин летал сегодня без шлема.

Рев поднявшейся в воздух «девятки» был так силен, что Артемьев не слышал, как рядом с ним остановились две машины, и вздрогнул, когда его тронули за плечо.

Обернувшись, он увидел все сразу — и ЗИС и «эмку» с открытыми дверцами, стоявшие в десяти шагах от него, и нескольких военных, только что вылезших из машин. За плечо его тронул тот самый лейтенант, который в мае показывал ему с Хамар-дабы далекие разрывы у переправы.

— Подойдите к командующему.

Артемьев рысью пробежал десять шагов, отделявших его от командующего, и, бросив к козырьку руку, почувствовал боль, отдавшуюся в раненом плече.

— Кто вы? Почему здесь? Прикомандированы? — тоже приложив руку к козырьку, строго и быстро спросил командующий.

Глядя ему в глаза и объясняя свое присутствие на аэродроме, Артемьев боялся только одного — что его перебьют и не дадут объяснить,— но командующий слушал не перебивая. Сдвинутые к переносице брови и резкая складка на подбородке делали его красивое лицо строгим. Но на этом строгом лице не было оттенка сухости или неприязни, а лишь выражение природной суровости — печать сильного характера.

— Значит, турист,— недружелюбно сказал командующий, когда Артемьев закончил объяснение.

— Никак нет,— сказал Артемьев.— Разрешите еще раз доложить — пользуюсь свободным временем, пополняю здесь знания, необходимые штабному командиру.

Командующий, отвернувшийся до этого в сторону, опять вскинул на него глаза, они ничуть не смягчились.

— Какой радиус действия у «И-шестнадцатых»?

— Сто пятьдесят.

— А у «чаек»?

— Сто пятьдесят — сто шестьдесят.

— А сколько минут по расчету горючего, действуя отсюда, они могут быть в бою над переправами?

— Двадцать пять минут. Над северной переправой — двадцать.

— Выводы! — быстро сказал командующий.

И Артемьев сказал то, что у него сегодня полдня вертелось на языке: что, по его мнению, следует перенести аэродром на двадцать — тридцать километров к северо-востоку — вперед.

Ничего не ответив на это, командующий, приложив руку к козырьку, сказал: «Вы свободны»,— повернулся и широким шагом пошел через летное поле к палатке, откуда ему навстречу уже выскочил Козырев.

Шоферы, минуту переждав, держась поодаль, поехали сзади.

Артемьев издали следил за тем, как командующий сначала зашел вместе с Козыревым в палатку, потом вышел из нее и,

собрав вокруг себя нескольких летчиков, минут двадцать разговаривал с ними.

Потом от группы, где стоял командующий, отделился человек и быстро побежал в сторону Артемьева.

«Неужели еще что-нибудь?» — с тревогой подумал Артемьев.

— Командующий по дороге будет осматривать госпиталь,— запыхавшись, сказал подбежавший лейтенант,— приказал взять вас на свободное место во второй машине.

Раздумывать не приходилось, и Артемьев вместе с лейтенантом побежал наперерез уже отъехавшим от палатки и двигавшимся по краю летного поля машинам.

— А вы давно у него? — на бегу спросил он лейтенанта.

— Второй день. Прилетел один и потребовал к себе в адъютанты кого-нибудь, кто уже был в боях.

Подбегая к остановившимся машинам, Артемьев увидел над горизонтом далекие точки возвращавшихся самолетов и с недоумением подумал о том, как он теперь свяжется с Полыниным и объяснит ему, почему так неожиданно уехал.

Лейтенант вскочил в первую машину, Артемьев — во вторую, и обе машины с места полным ходом рванулись в степь. Шоферы уже знали, что командующий любит бешеную езду.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Товарищ капитан!

— Ну что? — сквозь сон спросил Климович.

— Тревога, товарищ капитан! Приказано явиться к командиру бригады.

Климович быстро намотал портянки, натянул сапоги и поднялся; постелью ему служило несколько охапок накрытого плащ-палаткой лозняка.

Начальник штаба батальона капитан Синицын, спавший бок о бок с Климовичем, уже вылез из палатки и командовал. В палатку доносился его высокий, громкий голос. Климович выбрался наружу и, на ходу застегивая гимнастерку, пошел к командиру бригады.

В это время Сарычев, уже одетый, стоял посередине своей палатки и наскоро брился, заправив полотенце за расстегнутый ворот гимнастерки.

Только что, среди ночи, он получил приказ из штаба группы о подъеме бригады по боевой тревоге и ускоренном марше в район

горы Баин-Цаган, где бригада уже к десяти часам утра должна была целиком сосредоточиться. Сарычев приказал немедленно вызвать командиров батальонов и рот. Уже надев гимнастерку и портупею, он спохватился, что не брит, и теперь, в ожидании своих командиров, брился и расспрашивал о событиях вчерашнего дня капитана, привезшего приказ из штаба группы. Он видел, что капитан из штаба группы нервничает и торопится ехать дальше, но не отпускал его.

Артемьев действительно нервничал — в степи зги не видно, и вдобавок ему пришлось уже сменить один скат. Сарычев, узнав об этом, велел вызвать своего шофера и дать на «эмку» Артемьева новую запаску.

— Подождете, зато наверняка доедете.

— А как вы считаете, товарищ комбриг,— спросил Артемьев,— где сейчас стрелковый полк?

— По приказу должен был заночевать на десять километров позади меня,— сказал Сарычев,— по прямой. Ночью — кладите пятнадцать.

— Туда послан с приказанием другой командир,— сказал Артемьев,— но нам приказано друг друга сдублировать. Он из полка к вам, а я от вас в полк.

— Ничего, сдублируете,— спокойно отозвался Сарычев, оттягивая двумя пальцами кожу на шее.— Вы мне лучше пока вот что скажите: как, по мнению штаба, эта вчерашняя танковая атака — действительно главный удар японцев?

— Не знаю,— сказал Артемьев.— Знаю, что командующий беспокоился за фланги, послал на месте проверить положение и к Баин-Цагану и к Эрис-Улыйн Обо. Но, когда я уезжал, донесений еще не было.

— А сколько все-таки танков ввели в дело японцы?

— Доносят, что до ста танков, но, возможно, с разных точек засекли одни и те же.

— И двадцать уже сожжено нашей артиллерией?

— Не меньше,— уверенно сказал Артемьев.

— Порядочно,— задумчиво протянул Сарычев. В поединке танков и артиллерии по первым сведениям артиллерия выходила победительницей. Артиллерия была нашей, и это было хорошо, но завтра его танки пойдут на японские пушки...

— Товарищ комбриг, ваше приказание выполнено, запасный скат поставлен,— откинув полог палатки, сказал шофер Сарычева; на лице его было написано все то неудовольствие, которое ему доставил приказ комбрига.

— Разрешите ехать? — спросил Артемьев.

— Поезжайте,— сказал Сарычев.— Увидите командира полка Баталова — скажите, что танкисты просили пехоту поторопиться!

Выходя из палатки, Артемьев столкнулся с несколькими командирами. Фигура одного из них показалась ему в темноте знакомой, но уже через минуту он забыл об этом, тревожно стремясь найти хоть какие-нибудь ориентиры в проносившейся мимо черной, как уголь, степи.

В девятом часу утра головные танки бригады Сарычева подходили к горе Баин-Цаган, в районе которой, по самым последним, уже утренним, сведениям, японцы за ночь переправили на западный берег Халхин-Гола крупные силы. Хотя Баин-Цаган и назывался горою, но с северо-запада, откуда подходили к нему танки, он горою вовсе не казался. Впереди тянулась все та же степь, подъем был длинный и пологий; не верилось, что это и есть гора Баин-Цаган, стометровые юго-восточные склоны которой, судя по картам, круто обрывались над самым Халхин-Голом.

Климович шел на своем танке, головном в батальоне, прислонясь спиной к открытому люку. Сквозь кожаные перчатки чувствовалось, как постепенно накаляется броня. Еще час такого солнца — и броня будет жечь. Вчера в полдень, задремав на ходу, Климович приложился щекой к броне и проснулся от боли: на щеке так и осталось багровое пятно ожога.

Тем, что Климович вел сейчас батальон, он был обязан нестерпимой жаре, продолжавшейся все три дня марша. Позавчера командира батальона Макиенко хватил солнечный удар; замученный жарой, он снял шлем, час пробыл с непокрытой головой и был в беспамятстве отправлен в тыл.

Климовича, которому было приказано заместить Макиенко, беспокоило, что, назначив его, Сарычев обошел при этом начальника штаба батальона капитана Синицына. У Сарычева были на этот счет свои соображения. В мирное время он не пошел бы на такую меру, но в предвидении боев один пункт хранившейся у него в голове аттестации Синицына, где стояло: «точен, исполнителен, недостаточно самостоятелен», удержал его от назначения Синицына на должность командира батальона и заставил предпочесть Климовича.

Климович этого не знал и в душе считал, что Сарычев поступил неверно, обойдя Синицына, но приказ не подлежал обсуждению,— и если бы обойденный Синицын теперь, обидясь, вздумал поставить под сомнение командирский авторитет Климовича, Климович без размышлений призвал бы его к порядку.

Однако обойденный и, наверное, уязвленный в самое сердце Синицын не только скрывал свое недовольство, но с подчеркнутым старанием во всем помогал Климовичу.

Такое его поведение лишь укрепляло Климовича в мысли, что Сарычев напрасно обошел Синицына, и чувство неловкости перед своим начальником штаба не покидало его.

Сейчас танк Синицына двигался позади Климовича, метрах в сорока. Синицын стоял в башне и, сняв шлем, обмахивался им. Климовичу было хорошо видно его длинноносое лицо и коротко, под бобрик, стриженные волосы.

— Василий Васильевич! — крикнул Климович, сложив руки рупором и стараясь перекричать громыханье танков.— Шлем надень! А то — как Макиенко!

Синицын, не расслышав Климовича, но поняв его жест, надел шлем.

Танковая бригада двигалась, растянувшись по степи уступами, имея в центре батальон Климовича. Хотя еще ни одна из расчехленных сегодня с ночи пушек не сделала ни одного выстрела, но за три дня марша в бригаде уже десять человек пострадало от тепловых ударов. Один башенный стрелок умер, так и не придя в себя, и был похоронен в степи.

В конце мая, когда бригада вышла с зимних квартир, ее остановили на третий день марша, в связи с установившимся затишьем. Она быстро обросла палатками летнего лагеря и до конца июня стояла в степи.

Потом пришел приказ немедленно двинуться на восток. Вечером перед выступлением прошел первый за лето короткий сильный дождь, а с утра следующего дня, как назло, установилась жара, редкая даже для монгольского лета. На протяжении трех суток перед глазами водителей травянистая пустыня сменялась то солончаками, то полосами сыпучих барханов. Песок был всюду: хрустел на зубах, забирался в нос, царапал горло. Иногда люди так подолгу и так натужно кашляли, что казалось, песок попал к ним в легкие и при дыхании шуршит и поскрипывает там. Буксовали гусеницы, перегревались моторы, раскаленный воздух струился над башнями. Особенно были измучены жарой механики-водители и командиры ремонтных летучек. По ночам на стоянках они, облепленные комарами, регулировали моторы и устраняли случившиеся за день неисправности.

Днем командиры танков на час-другой сменяли водителей, чтобы дать им возможность вздремнуть на командирском месте, но духота доводила людей до такого состояния, что они не могли спать.

В мирное время последний день такого марша — преддверие отдыха. Но сейчас, в виду горы Баин-Цаган, весь трехсуточный форсированный марш через пустыню был только преддверием боя.

Ветер волнами гнал по степи траву, и рыжее, палящее солнце быстро взбиралось по небу к зениту. Над бригадой с рассвета, сменяясь, барражировали истребители, а к фронту за последние полчаса прошли три девятки бомбардировщиков. За шумом моторов не было слышно грохота бомбежки, но дымы на горизонте были отчетливо видны, и в третий раз — совсем близко.

Судя по этим дымам, Климович считал, что до японцев остается не больше пяти километров.

«Неужели вот так и вступим в бой — без остановки, без новых приказаний? Ведь осталось всего двадцать минут ходу»,— подумал Климович, понимая, что этого не может быть, но все-таки тревожась.

Как раз в эту минуту танк Сарычева с белой единицей на башне выскочил вперед, развернулся боком, и Сарычев, поднявшись в башне, просигналил флажком: «Стоп!»

Командующий группой, который вчера вечером, во время японских танковых атак в центре, на восточном берегу Халхин-Гола, тревожился за свои фланги,— не ошибся.

Хотя японцы в нескольких пунктах потеснили нас, он приказал только придвинуть к Халхин-Голу резервы, пока не переправляя их на восточный берег. Он подозревал, что главный удар японцев последует не здесь, и оказался прав. Те яростные фронтальные атаки, которые весь вечер и всю ночь со 2 на 3 июля производили японцы двумя танковыми полками при поддержке пехоты и нескольких дивизионов артиллерии, имели целью только сковать здесь, в центре, основные силы советских и монгольских войск.

Главная же задача, которую ставил перед собой командующий японскими войсками генерал-лейтенант Камацубара, состояла в том, чтобы под прикрытием этих атак неожиданно за ночь и утро переправить свои главные силы на западный берег, на севере, у Баин-Цагана, и, спускаясь вдоль реки на юг и захватив с тыла переправы, окружить всю советско-монгольскую группировку, оставшуюся на восточном берегу.

Чтобы обеспечить успех операции, японцы к последним числам июня скрытно стянули в район границы, к маленькому прифронтовому городку Джинджин Сумэ, двадцатипятитысячную массу войск.

На ближайших аэродромах было сосредоточено триста самолетов. Успех операции казался настолько несомненным, что в приказе, отданном еще 30 июня, генерал Камацубара заранее сообщил тот пункт на горе Баин-Цаган, где будет находиться его штаб.

Приготовления японцев в тех же последних числах июня, хотя далеко не в полном объеме, стали достоянием нашей агентурной разведки. Ускоренный марш танковой бригады, а вслед за ней и некоторых других стрелковых и броневых частей был вызван именно этими сведениями.

Потеряв в вечерних и ночных атаках в центре половину состава двух танковых полков, Камацубара за эти же вечер и ночь в пятнадцати километрах северней переправил на другой берег Халхин-Гола пехотную дивизию и четыре приданных ей артиллерийских полка.

Всю ночь и все утро под прикрытием авиации японцы переправлялись через Халхин-Гол по понтонному мосту, на лодках, плотах и вплавь. В районе, выбранном японцами, стоял только полк монгольской конницы, и, разумеется, несколько сот всадников не могли задержать начавшую переправляться пехотную дивизию.

Генерал Камацубара с самого начала больше рассчитывал на свою пехоту, чем на приданные ему танковые полки. Глядя на легкие, покрытые желто-зеленым камуфляжем, старого образца танки, продефилировавшие мимо него еще в Джинджин Сумэ, он решил не растягивать из-за них время переправы и направил оба полка в центр, где производилась демонстрация.

Однако сведения, поступившие к утру, когда он со штабом переправлялся через Халхин-Гол, несколько обескуражили его. Огнем русской артиллерии за вечер и ночь было сожжено сорок танков. Правда, в этом известии была и своя успокоительная сторона — многочисленная артиллерия, уже переправленная им через Халхин-Гол, позволяла японскому командующему надеяться, что русские танки в случае атаки тоже будут остановлены. Авиационная разведка с рассветом донесла, что к Баин-Цагану идут русские танковые части. Одновременно разведка сообщила, что ближайшие русские пехотные части с артиллерией находятся еще на марше, в шестидесяти километрах от фронта. Можно было не опасаться их подхода раньше ночи, а танковая атака без поддержки пехоты и артиллерии не рекомендовалась ни одним военным уставом в мире. В том числе — и русским.

Час назад углубившиеся в степь японские броневики были издали обстреляны русскими танками. Камацубара не придал этому эпизоду особого значения, только еще раз подтвердил

отданное с ночи приказание: артиллерии и пехоте организовать противотанковую оборону, большим полукольцом прикрыв переправу.

Затем он распорядился поторопить еще не переправившиеся части. Через час главные силы дивизии, прикрывшись с севера и запада системой противотанковой обороны, должны были, прорвав цепочку русских и монгольских заслонов, двинуться на юг, вдоль Халхин-Гола.

У самого гребня Баин-Цагана были разбиты две большие штабные палатки из двойного шелка цвета хаки. Отсюда назад, на восток, открывался обзор километров на двадцать. Была видна зеленая пойма Халхин-Гола с тростниковыми зарослями и понтонным мостом, по которому беспрерывно двигались войска. А дальше, уходя в сопки, вилась наезженная за ночь дорога. Она вся курилась, сухая жаркая пыль клубами выкатывалась из-под колес беспрерывно двигавшихся машин.

Впереди отлогие склоны Баин-Цагана, незаметно спускавшиеся к западу и северу, были все в мелких травянистых горбах, и это не позволяло видеть дальше чем на два-три километра. За этими горбами сейчас сосредоточивались русские танки. Дозоры донесли, что три танка уже появлялись в поле зрения, но снова исчезли.

Внизу, под обрывом, спускавшимся к Халхин-Голу, ревели грузовики. Они медленно, подталкиваемые сотнями рук, влезали в гору. Это переправлялся еще один артиллерийский полк. Солдаты торопились и то и дело поглядывали вверх.

Хотя небо над Баин-Цаганом было с рассвета наглухо прикрыто японскими истребителями, русские бомбардировщики уже несколько раз атаковали переправу и вывели из строя больше двухсот человек.

Постояв около палатки, генерал Камацубара сел в свой «форд» того же защитного цвета, что и палатка. «Форд» был новенький — они только недавно начали поступать в армию с завода в Осака, где их собирали из американских деталей.

Чуть-чуть приподнявшись на сиденье и с удовольствием глянув в зеркало на свое тщательно выбритое, спокойное лицо, японский командующий приказал шоферу провезти себя вдоль всего полукруга противотанковой обороны.

Уже начало осмотра убедило его, что ночь и утро не пропали даром. Повсюду над плоскогорьем взлетала земля. Часть орудий уже скрылась в глубоких полукруглых окопах, позволявших поворачивать пушки на сто восемьдесят градусов.

Камацубара подумал, что, когда последний переправляющийся полк поднимется на Баин-Цаган и станет на позиции, число

орудий перейдет за сто пятьдесят и ему окончательно не станут страшны никакие танки.

Рядом с артиллерийскими позициями были отрыты глубокие гнезда для крупнокалиберных пулеметов. Пулеметы переправили с опозданием и еще не установили.

Между батареями кончали рыть круглые одиночные окопы для истребителей танков. В первых, готовых, уже сидели солдаты с бутылками бензина и с пятиметровыми бамбуковыми шестами. Мины, привязанные на концах этих шестов, предполагалось подсовывать под гусеницы танков.

Рыли и спаренные окопы, расположенные в двадцати метрах друг от друга. Засевшие в них солдаты во время боя должны были держаться за концы проволоки, посередине которой прикреплялась мина. Когда танк окажется между двумя такими окопами, солдатам останется только быстро потянуть мину в ту или другую сторону.

Все это было испробовано на учениях, проводившихся еще весной возле Хайлара, на таком же рельефе местности. Теперь предстояло все это проверить на деле.

Камацубара заметил, что у многих солдат бледные лица. Серьезность приготовлений говорила им о предстоящей опасности. Все-таки очень многое еще не было готово, и Камацубара с удовлетворением подумал, что русская танковая атака маловероятна, по крайней мере до завтрашнего рассвета.

Уже возвращаясь, он остановился около одной из зенитных батарей. Это были скорострельные зенитки новейшего образца, только недавно присланные из Германии.

Небо кишело самолетами, но Камацубара приказал командиру батареи на всякий случай предусмотреть возможность ведения наземного огня.

Вернувшись в палатку, Камацубара велел соединить себя по телефону с восточным берегом, с генерал-лейтенантом Ясуока.

Ясуока коротко и недовольно доложил, что, неся большие потери от огня русской артиллерии, занял в центре еще две сопки, но решительного успеха по-прежнему не имеет.

Камацубара положил трубку и, усмехнувшись недовольству Ясуока, на долю которого вовсе и не должен был выпасть решительный успех, посмотрел на часы.

Через минуту генерал-майор Кобаяси, возглавлявший ударную группу, должен был доложить о готовности частей к прорыву на юг. Действительно, не успела секундная стрелка обежать круг, как в палатку вошел Кобаяси и приложил два пальца к козырьку каскетки. Но вместе с ним в палатку вошел далекий, отчетливо слышный, прерывистый гул танков, шедших на большой скорости.

Ровно в 10.30 утра танковая бригада Сарычева, поддержанная дивизионом монгольских броневиков, сразу с трех направлений — северо-запада, запада и юга — пошла на прорыв полукольца японской обороны.

Именно в эту минуту не только Камацубара и Кобаяси, но и все японские офицеры и солдаты, переправившиеся через Халхин-Гол, услышали одновременный рев полутораста танковых моторов.

Сам Сарычев, глядя вслед своим уже скрывшимся за складками местности танкам, испытывал чувство, близкое к тоске.

Он понимал, что не должен сейчас сам идти в атаку хотя бы потому, что бою еще только предстоит развернуться и, если обстановка потребует его личного вмешательства, ему как раз отсюда легче броситься на любое из трех направлений.

Наконец, командующий просто-напросто приказал ему находиться здесь, на наблюдательном пункте, и этот приказ не подлежал в данную минуту ни обсуждению, ни отмене.

Однако, проводив взглядом свои двинувшиеся в первый бой танки, он испытал такое небывалое чувство оторванности, что не удержался и, взяв под козырек, хрипло сказал стоявшему рядом с ним командующему:

— Товарищ комкор, разрешите принять участие в атаке!

Он сказал то, что до него и после него в подобные минуты не раз говорили командиры в присутствии своих старших начальников. Прося разрешения лично пойти в атаку, он как бы перекладывал необходимость трезво учесть все обстоятельства дела на плечи командующего, а на свою долю оставлял только мужество.

Командующий сердито посмотрел на него и сказал с холодной, спокойной резкостью:

— Для меня на вашей бригаде свет клином не сошелся. Я не собираюсь оставаться здесь и командовать за вас. Обстановка может потребовать моего присутствия в других местах.

Сказав это и не обращая больше внимания на Сарычева, он сел на складную парусиновую табуретку, которую возил с собой в машине, достал из кармана гимнастерки очки и развернул на коленях карту.

Хотя его лицо для других оставалось спокойным, он знал, что сам волнуется, и был недоволен этим.

— К сожалению, их карта точней нашей,— сказал он, взяв у адъютанта еще одну карту — японскую, захваченную вчера ночью, и сличив на обеих участок Баин-Цагана.— Думаю, что это показанное у них и не показанное у нас болотце на левом фланге существует в действительности.

— Предусмотренная нами полоса наступления все равно проходит в километре,— сказал Сарычев, посмотрев на обе карты.

— Кроме предусмотренной полосы наступления,— поднимаясь с парусиновой табуретки, сказал командующий,— существует бой, да еще первый! Пошлите вдогонку танк. Прикажите, чтобы ни в коем случае не брали левей показанных здесь развалин кумирни.

Сарычев отошел, чтобы отдать приказание, и командующий остался один. К нему подъехал связной броневичок, и вылезший из него, запыленный до бровей Артемьев передал командующему пакет. Начальник штаба писал с восточного берега, что он высвободил из боя дивизион артиллерии и перебросил на левый фланг. В 10.45 орудия откроют с того берега огонь по японской переправе, правда, на предельной дистанции, добавлял начальник штаба, предупреждая тем самым, что огонь будет мало действенным.

— Ничего, пусть все равно будет,— вслух сказал командующий так, словно он не читал донесение, а говорил с начальником штаба по телефону и строго вскинул глаза на неподвижно стоявшего перед ним капитана.— Где связь? Передайте, что, если...

— Разрешите доложить: я сам, проезжая, видел связистов уже в километре,— быстро сказал Артемьев, решившись перебить потому, что говорил дело.

— Тогда оставайтесь при мне,— коротко сказал командующий и отвернулся.

Он стоял и смотрел в ту сторону, где скрылись танки, ожидая первых выстрелов. По расчету расстояния и скорости оставалось самое большее пять минут до того, как японцы начнут стрелять.

Сегодня под утро, получив сведения о начавшейся переправе японцев, он сразу представил себе их вполне очевидный замысел: сначала закрепиться на горе Баин-Цаган, а потом, двигаясь вдоль западного берега, окружить нас на восточном. Судя по всему, японцы считали, что наши танки не пойдут на них в атаку, не дождавшись своей пехоты, и в данных обстоятельствах это значило, что танки должны пойти в атаку, не дожидаясь пехоты; должны пойти и сбросить японцев в реку раньше, чем они успеют зарыться.

Он понимал всю меру своей ответственности, но риск уравновешивался внезапностью.

Прилетев в Монголию всего несколько суток назад и едва успев объехать части, командующий вчера вечером, после девятнадцатилетнего перерыва, услышал свист снарядов над головой,

увидел мертвых и раненых и, слушая донесения, опять спустя девятнадцать лет, увидел глаза людей, только что перед этим глядевших в лицо смерти.

Он хорошо знал, что люди боятся смерти, что бесстрашие — это не то, что делается без страха, а то, что делается вопреки страху, мужество — это умение точно выполнить приказ, невзирая на угрозу смерти, а высшее мужество — это новый шаг навстречу смерти, когда буква приказа уже выполнена.

Он видел вчера вечером и ночью и такое бесстрашие, и такое мужество. Он всегда верил, что так оно и будет. Но убеждение, проверенное боем, приобретало двойную силу.

Он верил в людей, которыми командовал, еще и потому, что сам был одним из этих людей и, одну за другой пройдя все ступени службы, в разное время побывал в шкуре почти каждого из своих нынешних подчиненных.

В последний раз мысленно проверяя свое решение, он вспомнил, как неделю назад Сталин вызвал его в связи с напряженной обстановкой на Дальнем Востоке. И, вспомнив это, представил себе, что стоит сейчас перед Сталиным и впервые в жизни докладывает непосредственно ему. Да, он не побоялся бы доложить свое решение, глядя в глаза Сталину...

— Неважная для наблюдения местность,— сказал командующий вернувшемуся Сарычеву.

Танки, скрывшиеся из виду за цепью маленьких высоток, должны были снова появиться в поле зрения лишь на самом гребне Баин-Цагана.

— Я поэтому и просил...—нерешительно начал Сарычев, вновь клоня к тому, с чего начался разговор.

Впереди, на горизонте, разом выросло несколько десятков разрывов, потом земля прерывисто и многократно дрогнула и воздух наполнился далеким грохотом. И сейчас же между разрывами появились казавшиеся отсюда маленькими танки. Вокруг них выросла вторая стена разрывов, и земля снова многократно и прерывисто содрогнулась.

Через минуту донеслась еще одна серия на этот раз далеких, еле слышных разрывов. Посмотрев на часы, командующий отметил про себя, что начальник штаба уложился в срок — артиллерия восточного берега била по японской переправе.

На лице Сарычева было написано страдание. Ему до такой степени хотелось быть сейчас там, впереди, а не здесь, он так физически страдал за своих людей и за свои танки, что командующий положил ему на плечо свою тяжелую руку:

— Что же делать, Алексей Петрович! Двадцать лет учили их для этой минуты.

Командующий и сам сейчас думал о том, что у японцев много артиллерии и что бригада без поддержки пехоты понесет большие потери. Но на его плечах лежала ответственность за победу. Жертвы, на которые он своим решением обрекал бригаду Сарычева, станут непростительными, только если победы не будет.

Сарычев тоже верил в победу, но у него не было в подчинении группы войск, общее положение которых, переламывая ход операции, спасала сегодня танковая бригада. У него была одна эта бригада, в которой он знал экипаж каждого танка, и на горизонте уже виднелось несколько высоких и прямых черных дымов — это горели его танки.

Ничуть не колеблясь в своем решении, командующий в то же время понимал состояние Сарычева. Продолжая держать руку на его плече, он сказал:

— Я приказал отправить навстречу пехоте все наличные машины. Седьмая бронебригада тоже на подходе. К пятнадцати часам будет здесь.

Сарычев благодарно поднял на него глаза, и они несколько секунд смотрели друг на друга. Они когда-то служили вместе в Первой Конной, не виделись с гражданской войны и встретились только сегодня, опять на поле боя. Комэск Сарычев был бесшабашный, безусый парень. У комбрига Сарычева было озабоченное, изрезанное грубыми морщинами лицо пожилого крестьянина, переделавшего на своем веку много тяжелой работы. Наверное, так оно и было. Командующий не собирался заниматься воспоминаниями, но, помимо его воли, что-то далекое и доброе шевельнулось в его неподатливой душе.

— Прикажи подать танк,— сказал он, вглядываясь в почерневший от разрывов горизонт.— Посмотрим поближе, своими глазами.

Другие батальоны уже ворвались в расположение японцев, охватывая их с севера и юга. Они расстреливали и давили пушки, утюжили окопы и пулеметные гнезда, несколько танков уже горело, а батальон Климовича, брошенный в атаку с интервалом в десять минут, еще только подходил к угрожающе молчавшим в центре японским позициям.

Стоя в башне с открытым люком, Климович первым выскочил на невысокий холм и в то же мгновение увидел впереди, на плоскогорье, целую шахматную доску зеленых бугров — замаскированных тростником и травой японских орудий.

Вытащив из-за голенища сигнальные флажки, он коротко взмахнул ими, подавая сигнал: «Делай, как я»,— и захлопнул над головой крышку люка. Танк с каждой секундой приближался к японцам, но они еще молчали.

Климович навел пушку на ближайший бугор; теперь все его тело было напряжено и занято. Сидя в содрогавшемся на предельной скорости танке, держа ногу на спусковой педали, он глядел в оптический прицел и все время поправлял его, обеими руками сразу регулируя подъемный и поворотный механизмы. Стремясь предельно сократить расстояние и выстрелить наверняка, он считал про себя до десяти; в его голове с удивительной быстротой проносились самые разные мысли, не связанные между собой ничем, кроме чувства смертельной опасности, которое только одно и могло вызвать их все сразу.

Он думал о том, что танк начальника штаба идет рядом, справа и, в случае чего, Синицын примет команду над батальоном; что лейтенант Овчинников плохо стреляет; что Люба, что бы ни случилось, не вернется к матери; что он забыл ее карточку в другой гимнастерке; что в детдоме была картина, на которой матросы бросали гранаты в английский танк типа «Рикардо»; что надо переложить пистолет из кобуры в карман; что жарко.

Успев в последнюю секунду с досадой подумать, что холмы скрадывают расстояние при прицеливании, а он не напомнил об этом перед атакой всему батальону, Климович прошептал: «Десять!» — и, поймав в прицел землю чуть пониже приближавшегося зеленого бугра, нажал на спуск. Зеленый бугор раскололся. Над ним стоял столб дыма, что-то летело в воздух.

Климович испытал прилив счастья, но это продолжалось только одну секунду, а в следующую его ударило грудью об орудийный замок и сразу же головой и спиной о броню. Танк дернулся и стал.

Башенный стрелок с изуродованной до неузнаваемости головой сполз с сиденья и обмякшим телом навалился на Климовича.

Отерев рукавом забрызганное кровью лицо, Климович посмотрел вниз и увидел, что водитель сидит, уронив руки и упав лицом на щиток управления. У него была такая бессильная, мертвая спина, что Климович понял — водитель тоже убит, и полез к нему вниз.

Тело стрелка продолжало наваливаться на Климовича сзади до тех пор, пока он, повернувшись, не опустил его. Мотор не работал, в танке стояла тишина.

Климович горько выругался и, изо всей силы упершись в тело водителя, прижал его к броне, освободив себе кусок сиденья. Потом, нагнувшись, поднял с педалей ноги мертвого и отодвинул их в сторону.

Теперь, примостясь на краю сиденья, он мог дотянуться до педалей. Он нажал на стартер — стартер взял. Он выжал сцепление, включил передачу и дал газ. Танк дрогнул, и гусеницы скрежетнули.

От мгновения счастья, которое испытал Климович, разбив прямым попаданием японскую пушку, и до мгновения, когда он, тесня плечом убитого водителя, снова повел свой танк, оставшись в нем наедине с двумя мертвецами, прошла всего минута.

Водитель Степа Смоляков и башенный стрелок Зыбин, с которыми всего минуту назад Климовича связывало не только общее прошлое, но и общее будущее, больше не существовали, оставив его одного. В башне зияло рваное отверстие, рация вышла из строя, пушка и пулемет молчали, и даже если они целы, он все равно не может одновременно стрелять из них и вести танк.

Дав газ, Климович сделал это, еще не зная, как он поступит дальше. Но почти в ту же секунду он через смотровую щель увидел обогнавшую его, пока он стоял, и сейчас горевшую в ста метрах впереди «четверку» — танк Синицына. Синицын, который должен был заменить его, теперь сам горел. Увидев горящий танк Синицына, Климович понял, что теперь у него нет выбора. Оставалось только одно — идти вперед.

Он подал перед атакой сигнал: «Делай, как я». Его танк не горит. Ни одна живая душа не знает, что он сидит в танке с двумя мертвецами и не может стрелять. Что же сделают люди, если его танк с белой командирской тройкой на башне развернется и выйдет из боя?

Обгоняя другие танки, сбавлявшие ход для стрельбы, Климович с молчавшими пушкой и пулеметом на тридцатикилометровой скорости пронесся через первый ряд японских артиллерийских позиций, с ходу налетел на стоявшее боком орудие, переехал через его лафет, успев увидеть, как падает прямо под танк выскочивший из окопа японец, пролетел еще сто метров, почувствовал удар по броне, наехал на вторую пушку, повернул, минуя высунутый из окопа шест с миной, и вынесся на бугор, где стояла батарея зениток. Зенитчики лихорадочно крутили механизмы, переводя пушки в положение для наземной стрельбы, но Климович оказался здесь раньше, чем они успели это сделать, и орудийные расчеты побежали.

Климович ударил зенитку лбом танка и опрокинул ее вместе с круглой платформой. Разворачиваясь, он услышал, как танк задом своротил что-то, и понял, что это второе орудие. Развернувшись, он наехал на третье и, не заметив оставшегося сбоку четвертого, проскрежетав гусеницами по вдавленному в песок стволу, взял направление на лощину, где, врытые в склон, замаскированные сверху сетками, стояли грузовики и легковая машина.

Давая каждый раз задний ход, он поочередно разбил в щепки все три грузовика. Легковая машина от удара перевернулась и боком поползла перед танком, пока не завалилась двумя колесами

в окоп, и Климович физически ощутил, как танк, взгромоздившись на нее гусеницами, сминает ее в лепешку.

Теперь впереди, у гребня горы, совсем близко, виднелась большая зеленая палатка. Он направил танк прямо на нее, но из окопа выскочили двое японцев с бутылками. Один бросил бутылку сразу, и она упала, не долетев до танка. Другой, держа в руках бутылку, пополз, собираясь бросить ее сзади.

Резко свернув, Климович уже не успел снова переменить направление. Он наехал на палатку не прямо, а только зацепил за вбитые в землю колья, рванул, и гусеницы потащили полотнище за собой по земле...

Он вышел из боя лишь через час, чувствуя, что теряет сознание.

На исходных позициях стояли грузовик со снарядами и четыре танка, экипажи которых пополняли боекомплект.

Климович открыл сделавшуюся неимоверно тяжелой крышку люка, вылез, сел на траву и, ощупав голову, понял, что ранен с самого начала и что кровь, запекшаяся на лице, была не только кровью Зыбина, но и его собственной.

Бой продолжал громыхать вдали. В небе над японскими позициями один за другим заходили на бомбежку самолеты. Слышались разрывы бомб и частые, короткие удары танковых пушек.

Помпотех батальона, без фуражки, в засаленной гимнастерке, подбежал к Климовичу вместе с командиром второй роты Терентьевым, в танк которого грузили снаряды. У Терентьева было черное от копоти лицо, левый рукав комбинезона был у него отрезан по плечо, голая рука выше локтя обмотана грязными бинтами.

— Ты как босяк,— неожиданно усмехнулся Климович и сказал инженеру: — Посмотрите, как там орудие и пулемет, и выньте из танка людей.

Помпотеха передернуло, но он ничего не сказал и пошел к танку.

— А я думал, почему ты не стреляешь? — сказал Терентьев, садясь рядом с Климовичем на землю.

Климович не ответил. Он сидел, опершись о землю руками, думал о том, что бой продолжается и надо скорее возвращаться, и ждал, пока присевший рядом с ним на корточки фельдшер сначала выстригал ему на голове волосы, а потом, пропуская под подбородок и туго натягивая бинт, перевязывал рану. Сидя так, он видел, как инженер и двое подбежавших танкистов вынули и положили на землю тела Стены Смолякова и Зыбина.

Потом инженер залез в башню, несколько минут возился там, повернул ее, задрал вверх пушку и выстрелил.

— Пулемет заклинило, а пушка в порядке,— сказал он, вылезая на броню.

— Есть тут кто-нибудь из экипажей? — спросил Климович у Терентьева.

— Только один водитель с «тридцатки». Она сгорела, а он вышел,— сказал Терентьев.

— А башенных стрелков нет?

— Нет.

— Ладно, пойду без него. Давай водителя.— Климович встал, чувствуя, как его пошатывает.— Воды-то у вас нет, что ли? — вдруг вспомнил он.

Инженер протянул ему теплую флягу. Климович жадно напился.

— Ну куда тебе в бой? — нерешительно сказал Терентьев.

— Давай водителя, сказал тебе! — ответил Климович, и обмотанное бинтами лицо командира батальона показалось Терентьеву таким незнакомым и грозным, что, не пробуя больше возражать, он подозвал сидевшего неподалеку на траве водителя.

— А где твой командир? — спросил у водителя Климович.

— Убитый.

— А башенный стрелок?

— Тоже убитый.

— И мой убитый,— сказал Климович и пошел к своему танку. Уже стоя на броне, он спросил у Терентьева, все ли экипажи пополнили комплекты, и, получив утвердительный ответ, приказал, чтобы остальные четыре танка двигались за ним. Влезая в башню, он вымазал руки в крови и еще раз подумал о Смолякове и Зыбине. Через минуту все пять танков двинулись к полю боя.

В пятом часу пополудни Полынин, ходивший к Баин-Цагану на прикрытие бомбардировщиков, перед уходом из зоны резко пошел на снижение. После семи вылетов у него от усталости молотком стучало в висках, но он не израсходовал запаса патронов, и ему хотелось пониже пройтись над японцами, полив их из пулеметов.

Снижаясь, он наконец вблизи увидел то поле боя, над которым висел сегодня весь день.

Все пространство плоскогорья было иссечено окопами. Повсюду были видны опрокинутые орудия, разбросанные снарядные ящики, разбитые грузовики и раздавленные двуколки, сгоревшие и еще горящие танки, разбросанное оружие и бесчисленные мертвые тела.

Но жизнь еще продолжалась на этом поле смерти. На нем еще крутились бившие из пушек и пулеметов танки, еще стреляли орудия, рвались гранаты, выскакивали из окопов и бросались к танкам люди и метались обезумевшие лошади.

Снизившись до ста метров, Полынин дал длинную очередь вдоль японского окопа и, снова набирая высоту, с тревогой подумал о том, что с наступлением темноты танки должны будут или покинуть поле боя, или остаться на нем, среди успевших засесть в окопы японских солдат.

Он взял курс на аэродром и, выйдя на дорогу, соединявшую Хамардабу с Тамцак-Булаком, увидел, как, сворачивая с нее к Баин-Цагану, по степи движется колонна полуторок, до отказа набитых нашей пехотой.

«Наконец-то!» — с облегчением подумал он и, пройдя над колонной, несколько раз покачал крыльями.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Батальон 117-го стрелкового полка, вечером подброшенный на машинах в район южнее Баин-Цагана, в наступавшей темноте почти на ощупь занял назначенные ему позиции и, порядочно растянувшись, правым флангом вышел на берег Халхин-Гола.

Шел двенадцатый час ночи. Впереди, на Баин-Цагане, потрескивали пулеметные очереди и одиночные винтовочные выстрелы. Иногда там вспыхивал разрыв и раздавался короткий грохот. Иногда же видна была только вспышка, а грохот оставался неслышным за гулом последних танков.

Батальон еще не был в бою, и звуки затихавшего сражения взвинчивали нервы людей.

Сейчас, ночью, после выхода танков из боя, казалась вполне вероятной попытка японцев прорваться на юг. Батальону было приказано как следует окопаться; над позициями стоял негромкий шумок падавшей с лопат земли и покряхтывание молчаливо и поспешно работавших людей.

Только в крайнем правофланговом взводе, окапывавшемся на берегу, у самой воды, царило оживление и слышались громкие голоса.

Час назад командир отделения Кольцов попросился у командира роты сходить с двумя бойцами в разведку. Их долго не было, потом совсем близко раздалось несколько выстрелов, и Кольцов вернулся, неся на плечах одного из ходивших в разведку бойцов — Шутикова. Второй боец, Гаранин, подталкивал перед собой плен-

ного японца. Командир роты, поглядев на его погоны, сказал, что это подпоручик.

Посланный с донесением к командиру батальона связной, запыхавшись, вернулся с полдороги и сказал, что командир батальона с комиссаром полка и еще с каким-то капитаном обходят позиции и вот-вот сами придут сюда посмотреть на пленного. Бойцы, продолжая работать, обсуждали происшествие в присутствии командира роты. В другое время он, наверное, крикнул бы им: «Прекратить разговорчики!» — но все, что сейчас случилось, случилось в роте впервые: первые выстрелы, первый убитый японец, документы которого принес Кольцов, первый пленный, да еще офицер, и первый свой раненый — Шутиков. Поэтому командир роты не только не крикнул: «Прекратить разговорчики!» — но сам, сидя на песке рядом с Кольцовым, уже во второй раз расспрашивал его, как все было.

Раненный в живот Шутиков лежал тут же, рядом, на подложенных под него двух шинелях, его и Кольцова, и, не приходя в сознание, то поскрипывал зубами, то тихонько постанывал. Шутикова оставили здесь, пока не найдутся носилки. Вечером, когда посреди марша стали грузиться на машины, все носилки куда-то запропастились, и санинструктор побежал разыскивать их.

Взявший пленного младший командир Кольцов сидел рядом с командиром роты и во второй раз рассказывал ему о только что происшедшем событии, но не все, а лишь то немногое, что считал заслуживающим внимания командира роты.

Кольцов был разбитной рабочий парень с московского номерного завода, по своей охоте, добровольно ушедший в прошлом году в армию, не пожелав воспользоваться законной бронею. Именно он на месте перевязал Шутикова, когда того ранило, и донес его на плечах, и он же перед этим догнал и поймал стрелявшего в Шутикова японца. Второй боец, Гаранин, только помог связать японца, когда Кольцов уже сидел на нем верхом и крутил ему руки.

— А может, его развязать, товарищ старший лейтенант? — Кольцов кивнул на сидевшего поодаль японца.

— Ничего, пусть так посидит.

Кольцов недовольно провел рукой по гимнастерке — его ремнем были скручены руки японца, и ему было непривычно, что он сидит без ремня рядом с командиром роты.

— Не доходя до этого холмика, товарищ старший лейтенант, они открыли по нас огонь,— стараясь выражаться по-уставному, говорил Кольцов.— Шутиков получил ранение, а я и Гаранин открыли ответный огонь. Японцев было до трех человек. Одного мы уничтожили огнем, а двое начали отступление. Просто говоря, побежали,— усмехнувшись в темноте собственной официальности,

добавил Кольцов.— Ну, я и догнал этого,— кивнул он в сторону японца.— А третий ушел. Я думаю, они, как и мы, в разведку ходили, товарищ старший лейтенант.

Старший лейтенант молча кивнул. Он страстно завидовал Кольцову, взявшему в плен японского офицера, и ругал себя за то, что удержался и сам не пошел в разведку.

— Товарищ старший лейтенант, идут! — крикнул чей-то голос.

Старший лейтенант вскочил и убежал в темноту, а Кольцов остался один, рядом с продолжавшим стонать Шутиковым.

Кольцов знал, что ему уже, в сущности, пора вставать и продолжать вместе со всеми рытье окопов. Но в то же время он после удачной разведки чувствовал за собой неписаное право еще несколько минут, ничего не делая, посидеть возле Шутикова, пока того не унесут на медпункт.

Японец был здоровый, и Кольцову не сразу удалось скрутить его. Прежде чем он завернул японцу руки за спину, тот наотмашь ударил его ребром ладони по шее так, словно хотел перерубить ее. Кольцов пощупал шею. Она до сих пор горела.

«Наверное, это и есть ихнее джиу-джитсу»,— подумал он.

— Сильно болит,— сказал пришедший в сознание Шутиков.

— Ты тише говори, а то, может, тебе вредно,— сказал Кольцов и, пододвинувшись, прилег рядом с Шутиковым, чтобы лучше его слышать.

— Вот те и повоевал,— шепотом сказал Шутиков,— даже выстрела не дал. В спине болит,— добавил он, застонав.— Может, пуля в хребет прошла.

Он помолчал.

— А пули у них разрывные?

— Нет, не разрывные,— сказал Кольцов и стал говорить о том, что теперь не старое время — раны в живот лечат запросто.— Разрежут кишку, где пуля дырку пробила, зашьют — и дело с концом.

Говоря так, он на самом деле боялся за жизнь Шутикова и настойчиво вспоминал, в какой же книжке он читал про войну с горцами на Кавказе и про то, как умирал солдат от пули в живот.

Из темноты выросли две фигуры с носилками.

— Давай помогу,— сказал Кольцов, поднимаясь с земли. Носилки опустили рядом с Шутиковым, потом все втроем осторожно приподняли его и положили на носилки.

Услышав, что Шутиков очнулся и его уносят на медпункт, к нему подошли прощаться несколько бойцов.

— Ничего, Шутиков, не горюй, выпишешься — вернешься, обратно вместе в разведку пойдем,— дрогнувшим посреди фразы голосом сказал из темноты Гаранин.

— Навести,— слабо пожимая руку Кольцова, сказал Шутиков.

— Отомстим, будь спокоен,— ответил Кольцов, которому послышалось, что Шутиков сказал «отомсти».

— Постой-ка, твоя шинель...— перебирая пальцами по краю носилок, прошептал Шутиков.

И в самом деле, его положили на носилки вместе с обеими шинелями — его и кольцовской.

— Дай-ка я приподымусь.

Он схватился за края носилок. Ему казалось, что он приподнимается, но на самом деле его приподнял Кольцов. Он одной рукой приподнял Шутикова, а другой вытянул из-под него шинель.

Шинель упала наземь. Кольцов пожал вялую руку Шутикова, и санитары с носилками двинулись в темноту. Почти тотчас же с другой стороны послышались шаги и голос командира роты:

— Сюда, товарищ комиссар!

Два часа назад Артемьев, находившийся весь день в составе маленькой оперативной группы при командующем, по его приказанию выехал в батальон, окапывавшийся южнее Баин-Цагана. С рассветом предстояло, заслонившись этим батальоном от возможной попытки противника вырваться из кольца на юг, всеми остальными силами танков и пехоты раздавить японцев на Баин-Цагане.

Первые сведения о том, что батальон вышел в район берега и занял оборону, уже поступили к тому времени, когда командующий вызвал Артемьева.

— Поезжайте, посмотрите, как они там окапываются. И заодно уточните на местности обстановку,— сказал командующий, сердито сведя к переносице сильные, густые брови.— Район берега — еще не берег. А японцы на рассвете могут предпринять попытку прорваться именно по самому берегу. Не являйтесь с донесением, пока сами не потрогаете воду рукой,— заключил он, отпуская Артемьева.

Сделав пять километров на связном броневичке, Артемьев наткнулся на песчаные барханы, чуть не завяз и, не желая терять времени, вылез из машины и пошел пешком.

В штабе батальона не оказалось никакого начальства. Командир полка, прибывший сюда вместе с батальоном и пославший первое донесение, вновь отбыл к главным силам полка, чтобы подогнать их на марше, а комиссар полка и командир батальона ушли в роты.

В ближайшей роте Артемьев их не застал — они уже ушли оттуда. Вдвоем с командиром роты он обошел позиции — люди почти всюду уже заканчивали рытье окопов.

Перебравшись во вторую роту, Артемьев нашел там сразу и командира батальона капитана Красюка, и комиссара полка Саенко.

— Больно уж растянули нас по фронту,— тревожно, но негромко, чтоб не услышали бойцы, сказал командир батальона Красюк.

Комиссар полка Саенко ничего не ответил. Там, где работа была закончена, он то и дело спрыгивал в окопы, проверял, полного ли они профиля. Окопы были вырыты на совесть. Только в одном месте, спрыгнув, он сердито крякнул и сделал замечание Красюку.

Они все втроем уже перешли из второй роты в третью, когда прибежал посыльный с донесением, что взят пленный.

Пленный по-прежнему сидел на земле рядом с Кольцовым. Ему было страшно, потому что был страшен весь этот день, до самой ночи: Баин-Цаган утюжили русские танки. Кроме того, он боялся Кольцова. Ему казалось, что именно этому взявшему его в плен и теперь молча глядевшему на него русскому солдату поручат его расстрелять.

Его страх усиливался оттого, что во время майских боев он попросил разрешения у командира батальона и сам расстрелял из маузера двух пленных — одного русского и одного монгола. Русские, конечно, не могли этого знать, но он знал это. Знал и боялся.

Но сидевший напротив него Кольцов не только не собирался расстреливать взятого в плен японского подпоручика, а вообще не думал о нем. Кольцов был человек действия и думал сейчас о том, что, пока не поздно, надо попроситься у командира роты в новую разведку, потому что японцы вполне свободно могут выйти на поиски своего подпоручика, и тут-то их и будет удобней всего взять.

Когда Саенко и остальные подошли к пленному, Кольцов вскочил, а японец остался сидеть на земле. Кольцов бросил руки по швам, впервые за все время забыв, что он без ремня. Красюк вытянул голову, посмотрел: не ошибся ли он в темноте? Нет, не ошибся, на Кольцове действительно нет ремня. Красюк ничего не сказал, он не допускал мысли, что боец его батальона может оказаться без ремня, не имея на то какой-то еще неизвестной, но уважительной причины.

— Встать! — сказал по-японски Артемьев.

Японец, сидевший подогнув под себя ноги, мягко качнулся и без помощи рук вскочил и стал в положение «смирно». Артемьев дотронулся до плеча японца и, даже не разглядывая, на ощупь, понял, что это подпоручик: на полупогончике была одна металлическая звездочка и шершавая полоска.

— Фамилия? Какого полка? — спросил он, опуская руку.

Подпоручик молчал.

— Фамилия? Какого полка? Какой дивизии? — повторил Артемьев.

Японец молчал. Наверно, считал, что его все равно убьют, будет он отвечать или нет.

— Допросить все-таки следует,— сказал Артемьев, обращаясь к Саенко,— но мне надо возвращаться с донесением к командующему. Не взять ли его с собой?

Говоря так, он знал, что предлагает верное решение, а вопросительную форму избрал из чувства такта по отношению к людям, взявшим своего первого пленного.

— Берите,— сказал Саенко.— Сколько вам конвоиров?

— Достаточно одного,— сказал Артемьев.— Да больше в мой броневичок и не влезет.

— Кольцов, собирайтесь! — приказал Красюк.

Кольцов застегнул на крючки шинель, но замялся, прежде чем вскинуть винтовку на плечо.

— Что, у вас в роте веревочного конца, что ли, не найдется? — наконец поняв причину замешательства Кольцова, сказал Красюк.— Берите свой ремень!

Веревочный конец нашли, Кольцов забрал свой ремень, а один из бойцов заново старательно связал руки японцу.

Тем временем Артемьев прошел шагов тридцать вправо, к реке. Хотя ему было уже ясно, что практически, с точки зрения ведения огня, окопы подходят к Халхин-Голу вплотную, он решил буквально выполнить то, о чем сказал командующий. Когда он начал спускаться к воде, луна скрылась за тучами и сразу наступила полная темнота. Он сделал еще шаг, ступил во что-то скользкое и очутился по пояс в воде.

— Что там такое? — крикнул Саенко, услышав всплеск.

— Ничего, искупался.

Чувствуя, как хлюпает набравшаяся в сапоги вода, Артемьев вылез на берег и подошел к Саенко.

— Глубоко, однако, сразу же у берега,— неуверенно начал он и, поняв, что попал в смешное положение, сам же первый расхохотался над собой.

— Спросили бы нас, мы вам и без этого сказали бы, что глубоко,— усмехнулся Красюк.

Простившись с Саенко и Красюком, Артемьев, спотыкаясь в темноте о кочки, пошел вместе с пленным и Кольцовым в ту сторону, где, по его расчетам, остался броневичок.

Кажется, пора было взять немного левее. Пленный оступился позади и ткнулся лбом в спину. Артемьев вздрогнул, абсолютная темнота действовала ему на нервы.

— А как вы его взяли, товарищ Кольцов? — громким голосом спросил он.

Кольцов неохотно в третий раз рассказал, как он забрал пленного. Он жалел, что теперь уже не удастся пойти в новую разведку. Когда капитан Красюк приказал ему идти конвоиром, он не осмелился возражать своему командиру батальона. Но капитан, с которым он шел теперь, хотя и был тоже капитан, но все-таки не из их полка. С ним Кольцов решил пойти на откровенность и с жаром объяснил свой план несостоявшейся новой разведки: как японцы наверняка пришли бы искать этого подпоручика и как все вообще толково бы получилось.

— Да,— сказал Артемьев, слушая и озабоченно стараясь не сбиться с направления,— задумано неплохо. Если бы знал, взял бы вместо вас другого конвоира.

— Хочу в разведке служить,— сказал Кольцов.— Как вы думаете, товарищ капитан, если рапорт подать, чтобы в полковую разведку взяли? Или не положено?

— Почему не положено? — рассеянно сказал Артемьев, нащупывая дорогу. Где-то здесь должен был начинаться мелкий овражек.— Не в кашевары ведь проситесь.

Он остановился. Овражка по-прежнему не было. Кажется, он все-таки сбился с пути. В душе ругая себя, он вытащил из кармана фонарик и несколько раз безнадежно нажал кнопку. Батарейка намокла, когда он попал в воду.

Не успев сунуть фонарь обратно в карман, он споткнулся, уронил фонарь, упал на вытянутые руки и, поднимаясь, увидел совсем близко вспышку выстрела и услышал, как свистнула пуля. Падая на землю и вытаскивая из кобуры пистолет, он увидел новую вспышку. Вторая пуля взвизгнула над его головой, и он раз за разом выстрелил сначала туда, где видел вспышки, потом ниже — на случай, если стрелявший тоже бросился на землю,— и еще по два раза правей и левей.

Отползая на несколько шагов в сторону, он услышал сзади топот бегущих людей и яростные крики Кольцова: «Стой! Стой, говорят!»

Воспользовавшись неожиданной перестрелкой, пленный побежал, и Кольцов гнался за ним. «Догонит»,— почему-то с уверенностью подумал Артемьев.

Кольцов еще раз крикнул: «Стой!» — потом уже издалека донесся выстрел, и все стихло. Было тихо и здесь, так тихо, что казалось, не было и не могло быть ничего — ни выстрелов, ни вспышек, ни человека, который, живой или мертвый, лежит сейчас в двадцати шагах отсюда.

«И, может быть, не один,— подумал Артемьев.— Хотя, наверно, все-таки один. Но как бы там ни было, нельзя до бесконечности лежать тут и ждать».

Достав из кобуры запасную обойму, он вытащил старую и вставил новую, стараясь не щелкнуть ею. После этого он снова пополз, делая по траве полукруг и рассчитывая оказаться позади того места, откуда стреляли. Ему хотелось окликнуть Кольцова, но делать этого было нельзя, потому что тот, за кем Артемьев охотился, мог, если он жив, начать стрелять на голос.

«Убил я его или не убил?» — подползая все ближе, спрашивал себя Артемьев. Сейчас, задним числом, он понимал, что стрелял расчетливо, но все же была ночь, а не день, он мог и не попасть в японца.

«Откуда этот японец? — подумал он, в ту же секунду скорей почувствовав, чем увидев, что-то лежавшее в темноте в двух шагах от него.— А вдруг не японец, а наш? Не может быть! — с облегчением отверг он эту мысль.— Мы же громко говорили по-русски».

Согнув в локте руку с пистолетом и отведя ее назад, он как можно дальше вытянул другую и наткнулся на чье-то плечо. Оно не дрогнуло. На плече был погончик. Артемьев стал ощупывать дальше — воротник и голову с жесткой щетиной коротко остриженных волос. На темени волосы слиплись от крови. Японец, отстреляв, наверно, бросился на землю и был убит тем самым третьим выстрелом, который Артемьев дал на этот случай.

— Товарищ капитан! — донесся голос сзади.

— Ползите сюда,— приказал Артемьев.

Через минуту Кольцов был рядом.

— Как пленный?

— Не догнал, пришлось подранить,— извиняющимся тоном сказал Кольцов.

— А где он?

— Там и оставил. Он без сознания. Я ему ноги связал.

— А куда ранили?

— Я ему в ноги стрелял. Но он как раз упал...— с заминкой сказал Кольцов, и Артемьев понял, что, кажется, дело плохо.

— Снимите шинель,— сказал он Кольцову,— выясним, кого я тут застрелил. Накройте меня с ним шинелью, я зажгу под ней спичку и посмотрю.

Почувствовав над головой шинель, которую со всех сторон плотно обжимал Кольцов, Артемьев сразу ощутил духоту и запах крови. Сунув было руку в карман за спичками, он вспомнил, что они намокли, как и батарейка, и спросил Кольцова, есть ли у него спички.

Кольцов молча просунул их под шинель. Артемьев чиркнул спичкой. Убитый был старший унтер-офицер, артиллерист. Ощупав карманы его мундира и брюк, Артемьев взял бумажник с документами и сбросил с себя шинель.

Они из осторожности проползли назад шагов тридцать, потом встали и пошли к тому месту, где Кольцов оставил пленного. Пленный был без чувств и лежал на краю того самого овражка, который искал Артемьев. Теперь было наконец ясно, где стоит броневичок,— метров за двести отсюда, если взять влево.

— Ну что ж, понесли, раз уложили,— в сердцах сказал Артемьев.

Они подняли пленного — Артемьев под мышки, Кольцов за ноги — и пошли к броневичку.

Кольцов все время сбивался с ноги. Артемьев не удержался и спросил:

— Ну что вы там ковыляете? Время-то ведь не ждет!

— Я, товарищ капитан, когда за ним бежал, ногу свернул, поэтому мне и стрелять пришлось.

Броневичок оказался еще ближе, чем думал Артемьев. Через сто шагов водитель остановил их окриком: «Стой!» — и лязгнул затвором.

— Это я, капитан Артемьев.

— А я уж беспокоился за вас, товарищ капитан, думал — что за выстрелы?

— По дороге расскажу. Помогите посадить к вам пленного.

— А вы?

— А я в башню.

Бесчувственного японца втащили в броневичок и посадили рядом с водителем. Артемьев полез в башню.

— А мне куда прикажете, товарищ капитан? — спросил Кольцов.

— Обратно в батальон. В таком виде я его и один довезу.

— Извините, товарищ капитан,— удрученно сказал Кольцов.— Разрешите ремень взять?

— Какой еще ремень? — не понял Артемьев.

— Я ему ноги связал.

— Берите.

Кольцов постучал в боковую дверцу, уже закрытую водителем, и несколько секунд возился, развязывая ремень.

— Разрешите идти? — громко хлопнув дверцей, спросил он.

Артемьев не видел его, но почувствовал, как он в темноте козырнул и вытянулся.

— Идите.

Водитель завел мотор, и броневичок, переваливаясь на буграх, покатился по степи.

Остановленный часовым перед палаткой командующего, Артемьев дожидался, пока зашедший внутрь адъютант доложит о нем. У него не попадал зуб на зуб; вечером, чтобы добираться налегке, он оставил у адъютанта свою шинель и теперь жалел об этом. Палатка за эти часы передвинулась на два километра вперед, и он боялся, что адъютант забыл его шинель на старом месте.

Совсем рядом с палаткой были развороченные гусеницами окопы, в которых еще утром сидело японское боевое охранение. Палатка была кругом оцеплена часовыми. После сегодняшних танковых атак десятки японских солдат в одиночку и группами бродили кругом по степи.

Мокрый до пояса Артемьев стоял рядом с часовым и, ежась от холода, ждал адъютанта, который что-то долго задерживался.

Из палатки кто-то вышел. Артемьев увидел знакомую полную фигуру начальника штаба. Начальник штаба вперевалку дошел до машины, хлопнул дверцей и уехал.

Наконец адъютант вернулся, и Артемьев, войдя в палатку, увидел, что в ней кроме командующего были еще трое: командир танковой бригады Сарычев, молодой, вихрастый, по виду похожий на лейтенанта, командир бронебригады майор Луговой и незнакомый Артемьеву смуглый, черноусый полковник. Он стоя пил чай из крышки термоса.

Командующий сидел в углу на своей неизменной парусиновой табуретке и показывал нагнувшемуся над картой командиру бронебригады, куда тот должен вывести один из своих батальонов, к рассвету переправив его на восточный берег.

— Огнем и броней ударите с тыла по японцам, когда мы их сбросим с Баин-Цагана и они покатятся к переправе,— сказал командующий, подчеркивая слово «покатятся».— Задача ясна?

— Ясна, товарищ комкор!

— А что у вас лицо такое? Сапоги жмут?

— Потери большие, товарищ комкор.

— Потери как потери,— сказал командующий.— Завтра, когда выполним задачу до конца, сравним с результатами. Отправляйтесь! — Он привстал и пожал руку командиру бронебригады, которую сегодня прямо с марша бросил в самое пекло боя.

— Как там пехота? — обратился командующий к Артемьеву, когда командир бронебригады вышел из палатки.

Артемьев доложил, стараясь унять дрожь. Неудачное купание давало о себе знать.

— Батальон заканчивает рыть окопы полного профиля, правым флангом упирается в самый берег. Как вы приказали, лично проверил.

— Это я вижу.— Командующий без улыбки оглядел его с головы до ног.

— Я вам докладывал, товарищ комкор,— перестав пить чай, сказал черноусый полковник,— что мой Красюк все сделает как положено.

И Артемьев понял, что черноусый полковник был командир стрелкового полка Баталов и что его полк, наверно, уже прибыл целиком.

— Так ведь в такую цепочку пришлось растянуть ваш батальон,— сказал командующий,— что поневоле тревожился.

— Теперь весь полк здесь,— сказал полковник.— Можно не тревожиться.

— А я теперь и не тревожусь, можете меня не успокаивать,— с иронией заметил командующий и снова повернулся к Артемьеву.

— В батальоне взяли в плен японского подпоручика,— сказал Артемьев и на мгновение запнулся.— Но по дороге сюда он при попытке к бегству был ранен и умер.

Командующий поморщился и молча посмотрел в лицо Артемьеву, как бы спрашивая: правда ли — насчет попытки к бегству?

— Документы?

— При мне.

— Отдайте,— кивнул командующий в сторону адъютанта, снова оглядел Артемьева с головы до ног и неожиданно мягко добавил: — Чаю выпейте — вон в термосе — да приткнитесь, поспите. Через два часа вместе с пехотой пойдем громить самураев.

— Можно сказать, что они уже в основном разгромлены,— наливая себе чаю, услышал Артемьев голос командира танковой бригады.

Фраза походила на возражение, даже на вызов, и Артемьев ожидал, что командующий ответит на нее резкостью. В палатке воцарилась тишина. Артемьев слышал, как его зубы стучат о крышку термоса.

— Это верно,— наконец сказал командующий.

— Главное дело сделано. Сегодня, танкистами,— закусив удила, сказал командир танковой бригады.— Осталось только закрепить поле боя.

Командующий нахмурился: слова Сарычева были бестактны по отношению к командиру стрелкового полка Баталову, людям которого предстояло своей кровью закреплять это поле боя. Но

можно было понять и ожесточение Сарычева, у которого, по неполным данным, уже сожжено и подбито шестьдесят танков.

Только поэтому не оборвав его, командующий сказал, подчеркнуто обращаясь сразу и к нему и к Баталову:

— Ваша совместная атака при поддержке артиллерии и авиации должна быть последней и решающей. Бригаду разрешаю повести лично! — Это он добавил, повернувшись к Сарычеву, и на ожесточенном лице танкиста мелькнула короткая усталая улыбка.

Чувствуя себя лишним при этом разговоре, Артемьев, обжигаясь, проглотил несколько глотков чаю, поставил термос и, откозыряв, вышел из палатки.

Адъютант, выйдя вслед за ним, сунул ему в руки шинель и сказал, что в двухстах шагах отсюда стоит палатка танкистов, где можно поспать, а может быть, и поесть.

Артемьев поблагодарил адъютанта больше за шинель, чем за совет, он чувствовал такую усталость, что ему было лень идти сейчас еще двести шагов, да вдобавок неизвестно в каком направлении. Отойдя на пять шагов от палатки, он опустился прямо на землю, положил голову на бруствер японского окопа и накрылся шинелью.

В возбужденном сознании лихорадочно отпечаталось все происшедшее за последние двое суток бессонной работы в оперативном отделе. Сначала спокойное нанесение спокойной обстановки на карту для доклада командующему, потом внезапная канонада, японская танковая атака и, впервые после ранения, снова свист снарядов над головой. Потом сумасшедшая гонка по непроглядной степи в штаб танковой бригады, два рейса в броневичке на поле боя с приказаниями и, наконец, последняя ночная поездка...

Он почувствовал, как онемевшее от усталости тело начало чуть-чуть пригреваться под шинелью.

— Потери в комсоставе невыносимо тяжелые,— донесся до него из палатки хриплый голос командира танковой бригады.— Дудников убит, Пахомов ранен, а Климович все еще не обнаружен ни в живых, ни в мертвых. За один день три комбата из четырех.

В палатке замолчали.

«Климович! Неужели Костя Климович?» — подумал Артемьев, досадуя, что уже невозможно зайти туда к ним, в палатку, и спросить их, о каком Климовиче они говорили.

Он проснулся от голоса командующего, кричавшего в телефон:

— Да что вы мне с вашим седьмым отделом! Вы там занимаетесь разложением войск противника у себя в типографии, а мне

пленного на поле боя допросить некому! Где переводчик? Что-то он долго у вас едет. Наверное, не в ту сторону.

Уже светало. Артемьев быстро вскочил, мельком увидел торчавшие из полузасыпанного окопа ноги мертвеца, обутые в японские ботинки, и пошел к палатке. Полог был приоткрыт. У входа стояли часовой, еще один красноармеец и пленный японец.

— Товарищ командующий, разрешите? — Артемьев остановился у входа рядом с часовым.

— Войдите.— Командующий положил телефонную трубку и сердито поднял глаза.

— Я думаю, что могу перевести ваши вопросы пленному и его ответы,— войдя, сказал Артемьев.

— Думаете или можете?

— Могу,— сознавая, что рискует, но все-таки решаясь, ответил Артемьев.

Японец вошел в палатку в сопровождении конвоира. Теперь, внутри палатки, при свете работавшей от движка лампы, Артемьев разглядел, что конвоир был не красноармеец, как ему показалось сначала, а лейтенант, с упрямым выражением лица, в низко надвинутой на лоб пилотке. Войдя, он подтолкнул японца и стал позади него.

Японец держал руки за спиной. На нем были зеленый бумажный, испачканный в глине френч и вымазанные в грязи высокие сапоги. Он был ранен в шею и перебинтован зеленым японским бинтом с пятнами присохшей грязи. От бледного скуластого лица японца, казалось, вместе с кровью отлила и желтизна. Над губой двумя пучками торчали редкие, как у еще не начинавшего бриться мальчика, черные усы. Ему было трудно стоять. Он шагнул вперед и, чтобы сохранить равновесие, широко расставил ноги.

— По-моему, полковник? — сказал командующий, переведя взгляд с лица японца на видневшиеся на его плечах полупогончики.— Спросите, какого полка.

С запинкой подбирая японские слова, Артемьев спросил японца. Тот ответил быстро и даже, как показалось Артемьеву, охотно:

— Полковник Харада, начальник штаба восемьдесят девятого пехотного полка.

— Какие еще полки седьмой и двадцать третьей дивизий переправились на этот берег? — спросил командующий.

— Двадцать шестой,— ответил японец.

— А еще?

Японец молчал. Артемьев повторил вопрос, думая, что неточно перевел. Японец помолчал еще несколько секунд и сказал, что на этот вопрос отвечать не будет. Артемьев перевел.

— Переведите ему,— сказал командующий,— что он все равно уже нарушил долг: назвал два полка.

Японец ответил, что в группе взятых вместе с ним пленных он видел солдат обоих полков, это уже известно и не составляет тайны.

— Скажите ему,— командующий жестко усмехнулся,— что сегодня к вечеру для нас на этом берегу не будет никаких тайн.

Артемьев справился с этой трудной фразой, как умел. Но, судя по ответу японца, тот понял.

— Мы потерпели неудачу на этом берегу,— хладнокровно сказал он.

— И на том потерпите,— сказал командующий.— Пусть ответит: какие потери понес его полк после переправы?

— Большие,— коротко сказал японец, когда Артемьев перевел ему вопрос.

Потом помолчал и быстро и зло проговорил фразу, которую Артемьев сразу не понял. Он переспросил, и японец так же зло, но уже раздельно и медленно повторил эту фразу.

— Он говорит, что будет отвечать только на вопросы, касающиеся лично его. На остальные вопросы ему запрещает отвечать устав японской императорской армии.

— Вот как! А в плен ему устав разрешает попадать?

Японец ответил, что в плен он попал раненый.

— А что это он руки за спиной держит? — спросил командующий, обращая внимание на неподвижность позы японца.

— Я связал,— с уверенностью в своей правоте ответил лейтенант.

— А ну, развяжите! — строго сказал командующий.

— Товарищ командующий, разрешите доложить...— упрямо начал лейтенант, но командующий прервал его:

— Сначала развяжите, а потом доло́жите.

Лейтенант недовольно вздохнул, вынул из кармана складной перочинный ножик, раскрыл его, для чего-то вытер о полу гимнастерки и, нагнувшись, разрезал веревку, связывавшую руки японца. В момент, когда он сначала натянул веревку, а потом перерезал, плечи японца дрогнули, опустились и снова приподнялись, однако он не вынул рук из-за спины, только заметно было, как он шевелит сзади затекшими пальцами.

— Теперь докладывайте: зачем руки связали? Боитесь, что ли, его? — спросил командующий.

— Никак нет,— угрюмо ответил лейтенант,— не боимся, а он у бойца винтовку вырвал, хотел на штык напороться, свое харакири сделать.

Командующий долго, внимательно смотрел на японца, потом, повернувшись к Артемьеву, сказал:

— Нервишки не в порядке. Не ждал, что первый же большой бой так повернется, а теперь жить не хочет. Спросите его, помнит он Цусиму?

Артемьев перевел вопрос. Японец гордо вздернул голову и сказал, что помнит.

— Скажите ему — пусть забудет,— сказал командующий и повернулся к лейтенанту.— Как остальные пленные?

— Уже погружены в машины.

— Ну и везите их всех в разведотдел,— сказал командующий.

Японец почувствовал, что разговор окончен, и его бледное лицо стало еще бледнее.

— Переведите, что я могу дать ответы, которые касаются моей собственной личности,— быстро сказал он.

Артемьев перевел.

— Переведите ему, что его личность меня не интересует,— равнодушно сказал командующий и отвернулся.

Японец, выслушав перевод последней фразы, хотел что-то сказать, но лейтенант дотронулся до его плеча, и он, четко, на одном каблуке, повернувшись, вышел из палатки впереди лейтенанта.

— Где изучали язык? — спросил командующий, когда японец и лейтенант вышли.

— В академии.

— Перевести из оперативного в разведотдел?

Артемьев молчал.

— Что молчишь? — с грубоватым добродушием, на «ты», спросил командующий.— Пользуйся, пока еще твое мнение спрашивают.

— Если не будет других приказаний, хотел бы остаться в оперативном отделе.

— Что ж, может, и верно,— помолчав, сказал командующий.— Оперативный отдел для начала шире. А у нас начало.— И, снова помолчав, повторил: — Самое еще только начало.

Он поднялся и вышел из палатки. Артемьев вышел вслед за ним. Хотя командующий презрительно сказал: «Нервишки не в порядке»,— но, честно говоря, японский полковник произвел на Артемьева впечатление сильного человека, и, несмотря на наш вчерашний успех, ему казалось, что за этим сильным человеком стоит сильная армия.

Об этом же думал и командующий, глядя на светло-серое небо, сливавшееся на горизонте с гребнем Баин-Цагана. Лучше разбираясь в людях, чем Артемьев, он видел, что японский полковник, несмотря на всю свою выдержку, угнетен и растерян. Однако, что-

бы не удалиться в оценках от истины, следовало сделать поправки и на плен, и на ранение, и на только что пережитый неудачный бой.

Командующий думал о том, что таких вот, воспитанных на высокомерных воспоминаниях о Цусиме, Мукдене и Порт-Артуре, полковников — несколько сот в дивизиях, штабах и тылах стоящей в Маньчжурии Квантунской армии. Минуту назад он допрашивал одного из них, попавшего в плен. Но другие продолжали командовать полками и дивизиями, и заставить их пересмотреть свои взгляды на наше оружие можно только силою этого оружия.

Из быстро подъехавшей «эмки» выскочил Сарычев, он был выбрит, и от него пахло одеколоном.

— Все объехали? — спросил командующий.

— Так точно! — празднично ответил Сарычев.— Пехота завтракает, танки пополняют боекомплект. Полная боевая готовность на четыре часа обеспечена.

— Соедини меня с начальником штаба,— не оборачиваясь, через плечо сказал командующий адъютанту.

Адъютант вошел в палатку; было слышно, как он крутит ручку полевого телефона. Командующий посмотрел на часы. До четырех оставалось сорок две минуты.

— Соединил, товарищ командующий,— послышался голос адъютанта.

Командующий не спеша повернулся, вошел в палатку, и оттуда тотчас же послышался его негромкий отрывистый бас:

— Как, Федор Гаврилович, авиацию всю поднял?.. Через двенадцать минут? Смотри, на месте проверю! Через двенадцать минут жду ее у себя над головой. У меня все.

Он крутанул ручку телефона и вышел из палатки.

— Сейчас посмотрим, как авиация пройдет над головой, и объедем батальоны.

— Первый батальон тут, рядом,— сказал Сарычев и указал пальцем на лощину, от которой медленно отрывалась полоса утреннего тумана.

— Обнаружился командир батальона? — спросил командующий.

— Обнаружился. Только ночью вышел из боя. Но полчаса назад без разрешения отлучился из батальона,— с досадой сказал Сарычев.

Командующий строго поднял брови, но Сарычев не успел объяснить: совсем близко раздался шум мотора, из полосы тумана прямо на палатку выехал танк и остановился, лязгнув гусеницами.

На лобовой броне танка, между гусеницами, лежал танкист с белым, мертвым лицом, в шлеме, застегнутом под подбородком на

ремешок, и в обгорелом комбинезоне. У пояса тело, чтобы не свалилось на ходу, было перехвачено буксирным тросом.

Из башни танка вылез Климович, спрыгнул на землю и, остановившись у передних траков своего танка, приложил руку к шлему, надетому поверх закопченной повязки.

— Разрешите, товарищ командующий,— сказал Сарычев.

— Пожалуйста.

Командующий внимательно смотрел на Климовича, на его танк и на лежавшего на броне мертвого танкиста.

— Где пропадал? — спросил Сарычев, сделав шаг к Климовичу.

— Вывозил с поля боя тело капитана Синицына,— сказал Климович с угрюмостью человека, готового выслушать любой разнос, но убежденного, что все равно он не мог поступить иначе.

Уже готовый распечь Климовича за то, что он, только ночью выйдя из боя, зная о готовящейся атаке и не отдохнув перед ней, на целых полчаса бросил батальон, Сарычев не удержался и взглянул на тело Синицына, а не удержавшись и взглянув, уже забыл о своем намерении делать выговор Климовичу. Подойдя вплотную к танку, Сарычев стал смотреть на мертвого Синицына. Одежда у Синицына обгорела, но лицо было не тронуто,— должно быть, он успел выскочить из танка. На шее была видна запекшаяся, черная пулевая смертельная рана.

«Вот и еще один»,— подумал Сарычев, глядя в открытые мертвые глаза Синицына, того Синицына, о котором еще пять минут назад можно было думать, что он ранен и отлеживается где-нибудь на поле боя и его еще спасут, захватив все пространство Баин-Цагана. Теперь Синицын был тоже мертв, как командир четвертого батальона Дудников, как начальник штаба третьего батальона Чикарьков, командир седьмой роты Гогладзе и девятой роты Фролов.

— Куда его? — целиком отдавшись своим мыслям, услышал Сарычев за спиной голос Климовича.

— Потом решим,— неопределенно ответил он.— За штабом твоего батальона палатка медпункта. Там, около нее, положи. Там пока еще и другие... товарищи лежат.— Сарычев запнулся перед словом «товарищи», которое относилось к мертвым.

— Сейчас я к тебе приеду — проверь готовность. Через тридцать минут атака,— добавил он, с радостью вспомнив, что на этот раз сам поведет бригаду.

Климович молча приложил руку к шлему.

Сарычев повернулся и, увидев, что командующий тем временем прошел шагов пятнадцать вперед и стоит с биноклем на маленьком бугорке, двинулся вслед за ним.

Проводив глазами Сарычева и собираясь лезть обратно в танк, Климович уже схватился за поручни, когда его кто-то окликнул:

— Костя!

Обернувшись, он увидел, что рослый капитан, который раньше стоял поодаль, за командующим и Сарычевым, был Артемьев — только еще больше раздавшийся и покрупневший за те годы, что они не виделись.

— Здравствуй,— обыденно, как показалось Артемьеву, сказал Климович и, не снимая перчатки, подал ему руку.

— А я ночью слышал твою фамилию,— взволнованно сказал Артемьев, тряся руку Климовича,— и все думал: ты или не ты?

— А я увидел тебя издали и даже не подумал, что ты,— ответил Климович.

Артемьев хотел сказать что-то еще, но Климович показал на танк:

— Мне в батальон.

— Когда же увидимся? — горячо спросил Артемьев, все еще не выпуская руки Климовича.

— Теперь до вечера,— просто сказал Климович.

— Хорошо, до вечера.— Артемьев отпустил и снова стиснул руку Климовича и только в эту секунду, повторяя слова «до вечера», заметил, как их руки сошлись в рукопожатии всего в нескольких вершках от закинутого навзничь белого, мертвого лица лежавшего на броне капитана-танкиста.

Но Климович не заметил этого. Схватясь снова за поручни, он полез в башню; изнутри знакомо и тяжело дохнуло запахом пороховых газов.

Мотор заревел, и танк, развернувшись, пошел к лощине, где уже наполовину рассеялся туман и стали видны очертания других танков.

Командующий и Сарычев стояли на пригорке и оба смотрели в сторону японцев, куда через тридцать минут должны двинуться танки и пехота, чтобы стереть с лица земли все, что еще оставалось по ту сторону Халхин-Гола после вчерашнего боя.

Хвосты тумана кое-где цеплялись за лощины, но горизонт был уже ясен, и на нем выделялись черные бугры сгоревших вчера танков.

— Поле боя, поле смерти, поле победы,— все вместе,— торжественно, как стихи, сказал командующий.— Когда все будет кончено, на горе Баин-Цаган вместо памятника поставим танк. Один из них.

И он показал на горизонт.

— Здесь все будет кончено уже сегодня,— сказал Сарычев.

— Здесь — да,— сказал командующий, прислушался и посмотрел вверх. Самолетов еще не было.— Не читал статьи Жданова в «Правде»?

— Читать не читал, а радисты говорили, поймали передачу из Читы. Не хотят англичане и французы с нами договор заключать. Не хотят, да и точка!

— Если бы точка! — с силой и злостью сказал командующий.— Не точка, Алексей Петрович, а мечтают столкнуть нас лоб в лоб с немцами, а тут — с японцами. Смотрю я сейчас на это поле боя,— добавил он, опуская спокойно легший на широкую грудь бинокль,— смотрю и думаю: начинается-то оно здесь, а вот где оно кончается?.. Вот и авиация,— обыденно добавил он, заслышав звук моторов, и быстро повернулся.

С запада, со стороны Тамцак-Булака, шли самолеты.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Пробыв весь июнь на курорте, в Гаграх, Маша вернулась в Москву. Дома она появилась ранним утром, не известив о своем приезде ни письмом, ни телеграммой. Татьяна Степановна неприветливо открыла ей дверь — она не любила неожиданностей — и ушла, сделав вид, что хочет спать.

Зная, что мать не выдержит и все равно через десять минут появится и начнет кормить ее завтраком, Маша поставила чемодан, сбросила жакетку и, подойдя к зеркалу, долго рассматривала себя. За полтора месяца она похудела — много плавала — и загорела так, что была похожа на галчонка. Подолгу лежа на солнце, она щурила глаза, а от этого теперь вокруг них остались тоненькие светлые лучики. А в общем, за исключением этих небольших перемен, она была все такая же, какой ее в последний раз видел Синцов.

Еще до отъезда у них было решено, что как только она вернется с Кавказа, то или сама навестит Синцова в Вязьме, или даст телеграмму, чтобы он приехал в Москву. Тогда они оба говорили об этом просто, как о следующем свидании, но чем ближе подходило это время, тем яснее становилось, что все решать придется именно теперь.

Не то чтобы Маша боялась решить свою судьбу: такая боязнь была не в ее характере,— но ей было безотчетно жаль себя, и она, кажется, за всю жизнь не написала ни одного такого глупо-холодного письма, как то последнее, что отправила с юга Синцову. В этом письме она бунтовала против того, что сама в глубине души почти решила.

Она высчитала по дням, что если бы Синцов, как всегда, сразу ответил на ее последнее письмо, то ответ пришел бы еще в Гагры,— значит, он не ответил вообще. Однако, постояв перед зеркалом и походив по комнате, она на всякий случай подошла к письменному столу: а вдруг Синцов написал ей прямо в Москву! На столе, кроме двух распечатанных и адресованных матери писем от Павла, действительно лежало одно нераспечатанное и адресованное ей письмо Синцова. Наскоро пробежав его, она стала звонить в справочную Белорусского вокзала. Ближайший из проходивших через Вязьму поездов отправлялся в четыре часа дня.

Узнав это, она снова перечла письмо. Теперь оно ей показалось слишком коротким и самоуверенным; Синцов даже ни словом не обмолвился о холодности ее последнего письма, как будто это уже не имело для него никакого значения.

— Ах, мамочка, мамочка! — сказала Маша, обняв вошедшую с чайником в руках Татьяну Степановну, чувствуя себя счастливой оттого, что отвратительно-самоуверенное письмо Синцова было наполнено такой любовью к ней и таким желанием ее видеть, что ей оставалось только ехать.

— Ну, что пишет-то? — спросила Татьяна Степановна, когда Маша оторвалась от ее плеча.

— Вот сейчас почитаем,— сказала Маша, взяв письмо брата, хотя понимала, что мать спрашивает о Синцове.

Первое письмо Павла было из Читы, но без обратного адреса. Он писал, что ждет назначения, ругал Читу за пыль и скуку, по всему было видно, что он томился, и письмо его было длинным от ничегонеделания. Второе письмо было короткое, напечатанное на машинке и только подписанное от руки. Оно было датировано серединой июня, и вместо обратного адреса стоял номер почтового ящика.

В самой краткости этого письма было что-то недоговоренное. Павел писал, что получил назначение, находится на штабной работе и печатает письмо на машинке для практики. О том, где он находится, он не писал ни слова.

— А по-моему, он там, на этом самом Халхин-Голе, что в газетах пишут,— убежденно сказала Татьяна Степановна.

Маша еще на юге, когда прочла в газетах первые сообщения о пограничном конфликте, подумала, что Павел, наверное, там. Однако сейчас она сочла необходимым усомниться в этом и сказать матери то, что говорят в подобных случаях дети родителям, разговаривая с ними как с детьми: нет никаких оснований считать, что Павел в Монголии, Дальний Восток большой — от Читы до Камчатки, и там много таких пунктов, откуда можно сообщать только номер почты...

Татьяна Степановна промолчала, слова Маши ни в чем не убедили ее. Она чувствовала, что Павел в Монголии, а если Маша этого не чувствует — тем лучше, пусть хоть ей будет спокойней.

Через полчаса, когда Татьяна Степановна сказала, что ей пора на работу, Маша, стараясь не покраснеть, сказала:

— Я сегодня на день уезжаю в Вязьму.

Татьяна Степановна насмешливо поджала уголки губ, как будто говоря дочери: «Что ж ты со мной-то крутишь, словно я слепая?» — и, ничего не ответив, села за письменый стол Павла и стала собирать свой недавно купленный портфель, куда она складывала теперь меню, раскладки продуктов и другие документы, с которыми ей приходилось иметь дело в заводской столовой. Занимаясь этим, она искоса поглядывала на дочь. Татьяна Степановна уже давно для себя решила — и кто такой Синцов, и сколько в нем есть хорошего, и сколько плохого. Она помнила его еще мальчиком, стеснительным и диковатым, которого бывало очень трудно уговорить пообедать вместе со всеми, хотя Павел именно для этого затаскивал его к себе после школы. Оставшись круглым сиротой в двадцатом году, он жил на хлебах у какой-то своей московской тетки, и по нему было видно, что жил не сладко. И вот этот тогдашний мальчик станет мужем Маши. Что они поженятся, Татьяна Степановна была уверена еще с мая. Сейчас ее занимал другой важный и нерешенный вопрос: где будут жить Маша и Синцов — в Вязьме или в Москве?

Правда, в последнее время появилось немало таких замужеств, когда муж жил в одном месте, а жена — в другом, но Татьяна Степановна, прожившая со своим Трофимом Никитичем тридцать лет, не расставаясь, таких замужеств не понимала. Если дочь уедет в Вязьму, то уехать с нею и поселиться в чужом, не своем доме, «в тещах», пусть даже у такого порядочного человека, как Синцов,— Татьяне Степановне просто не приходило в голову. Она с тревогой думала: как же у них теперь будет, кто к кому переедет? — зная, что этим решается вопрос не только их, но и ее собственной жизни.

— Значит, кто куда,— сказала Татьяна Степановна, засовывая последнюю накладную в портфель, ставя его ребром на стол и застегивая. — Павел — туда, ты — туда. А я одна куковать буду.

Мысль об этом расстроила ее, и она, чтобы отвлечься и не дать воли слезам, вдруг спросила:

— А как у тебя с работой-то будет?

Маша пожала плечами. Она еще сама не знала, как будет с работой, и ее сердило вдруг возникшее чувство зависимости от Синцова. До отъезда на курорт она заходила на завод, в комитет комсомола и в электромеханический цех, куда отец прочил ее, когда она еще училась в техникуме. Ей предлагали рабсту, но она

так и не сказала ни «да», ни «нет» и страдала от неопределенности, которой на протяжении своей коротенькой самостоятельной жизни не любила больше всего на свете.

— Даже и сама не знаю, как будет. Просто глупо! — Она вздохнула.

— Не вздыхай. Это мне вздыхать надо,— сказала Татьяна Степановна и, пододвинув стул и усадив Машу рядом, своей большой рукой подгребла ее к себе. Голова Маши оказалась у нее под мышкой, и Маша видела сейчас только кусочек уха, щеку и один глаз матери. Из этого глаза выкатилась одна большая слеза и медленно проползла по щеке. Маша рванулась, чтобы обнять мать, но та, поняв причину ее движения, властно удержала ее, встала, забрала свой портфель и ушла.

Поезд в четыре часа был дальний, курьерский, Маньчжурия — Негорелое, и Маша стала собираться на вокзал, чтобы достать билет заранее.

Вдруг раздался телефонный звонок.

— Татьяна Степановна? — спросил низкий женский голос.

— Нет. А кто ее спрашивает?

— Надя. А это кто?

— Это я, Маша. Здравствуй,— неуверенно сказала Маша, не видевшая Надю десять лет, с самого отъезда Павла в военное училище.

Надя помолчала, словно колеблясь, разговаривать ли ей вместо Татьяны Степановны с Машей, которую она помнила двенадцатилетней девочкой, и наконец сказала:

— Ну, все равно. Я хотела встретиться с твоей матерью. У меня есть сведения о Павле.

— Что случилось? — испуганно спросила Маша.

— Нет, ничего, как раз все хорошо. Но я просто кое-что о нем знаю и хотела ей рассказать.

Она сделала паузу, ждала, что ответит Маша.

— Как же тебя повидать? — спросила Маша.

— Сейчас я поеду за покупками, потом буду в парикмахерской. Может быть, так: через два часа в Александровском саду, на скамеечке, прямо у входа. Со стороны Охотного. Хорошо?

— Хорошо.

— У него все в порядке, ты не беспокойся,— сказала Надя, как бы оправдываясь в том, что она сначала поедет за покупками и только потом встретится с Машей, чтобы рассказать ей о Павле.

На Белорусском вокзале старичок носильщик, к которому Маша обратилась, узнав, что в кассах нет ни одного билета, взял деньги, бойко сказал, что все будет «в аккурате», и Маша медленно пошла от Белорусского вокзала по улице Горького.

День был жаркий и обещал стать раскаленным. Асфальт еще не плавился, но на нем остались вчерашние вмятины от каблуков и зубчатые полоски от шин.

С чувством немножко грустной отрешенности от Москвы Маша дошла до Александровского сада, села на скамейку возле серого обелиска и посмотрела на часы: как ни медленно она шла, оставалось еще пятнадцать минут.

Только теперь Маша усомнилась, узнают ли они с Надей друг друга. Десять лет назад семнадцатилетняя Надя с длинной косой, с серыми глазами навыкате — красивая, высокая, чуть-чуть полная для своих лет — казалась ей совсем взрослой девушкой. Она ходила лениво и медленно, гордясь, или, как тогда это называла Маша, «задаваясь» своей красотой.

Маша хорошо помнила ее такой и сразу бы узнала.

Но теперь, через десять лет, Надя, конечно, уже не такая. А какая же? И Маша попробовала представить себе, какая же теперь Надя.

Неприязнь к Наде была старая, детская, подновленная несколькими недоброжелательными упоминаниями о Наде в письмах матери и недавнем разговоре с братом в минуту откровенности перед самым ее отъездом.

Вспоминая об этом разговоре и оглядываясь по сторонам, Маша увидела вдали, около гостиницы «Гранд-отель», фигуру, показавшуюся ей знакомой. Из парикмахерской вышла высокая женщина, подошла к стоявшей у тротуара машине, бросила внутрь какой-то сверток и медленно пошла через площадь к Александровскому саду.

Да, это была Надя. И пока Надя шла через площадь, Маша думала о том, откуда Надя сейчас получила известие о Павле — от кого-нибудь другого или от него самого?

Войдя в сад, Надя, близоруко прищурясь, обвела взглядом скамейки и, увидев Машу, уверенно направилась к ней. За десять лет, что Маша ее не видела, Надя мало переменилась, только еще пополнела, и, однако, ее легкая, с ленцой походка казалась еще легче. Коса, заложенная в тяжелый узел на затылке, словно запрокидывала своей тяжестью ее голову. Она была такая же красивая, даже стала еще красивей, и именно это сказала Маша, поднимаясь ей навстречу:

— Ты стала еще красивей.

Надя по-мужски крепко тряхнула ей руку — это была ее новая, уже при Козыреве заведенная, привычка — и, ничего не ответив на замечание Маши о своей внешности, коротко сказала:

— Сядем.

Они сели рядом на скамейку.

— Мой муж...— деловым тоном начала Надя и, насладившись растерянным выражением Машиного лица, добавила: — не бойся, это не Павел... прислал мне вчера письмо с одним знакомым летчиком.— Она вынула из сумки письмо.— Мой муж в Монголии и там случайно встретился с Павлом. Они и раньше были немного знакомы.

— Ты вышла замуж? — невольно вырвалось у Маши.

— Да. Мой муж командует там авиационной частью. Пять дней назад он видел Павла. Павел почему-то приехал к ним в часть, не знаю уж почему... Он был ранен еще в мае, но уже выздоровел.

— Ранен? — вздрогнула Маша.

— Но уже выздоровел,— повторила Надя.— Я поэтому и решила тебе рассказать. Подумала: может быть, у вас есть от него старые письма, что он ранен, а он уже выздоровел.

— Спасибо. А куда он был ранен? Сильно ранен?

— Вот уж этого не знаю. Только знаю, что пять дней назад он был совершенно здоров. Между прочим, там сейчас серьезные бои. Я не могу всего сказать, но очень серьезные бои,— добавила Надя, придав голосу оттенок значительности.— Вот, собственно, и все, что я хотела тебе сказать.

Надя бросила в полураскрытую сумку письмо, которое зачем-то держала в руках все время, пока говорила, хотела защелкнуть сумку, но снова открыла ее и вынула фотографию.

— Вот какая она, Монголия. Сплошная пустыня.

Она протянула Маше карточку: у самолета стояло несколько летчиков, сзади них не было видно ничего, кроме ровной степи.

— Если тебе интересно, то мой муж вот этот,— показала Надя пальцем на стоявшего в центре группы маленького летчика с курчавыми волосами, петлицами полковника и тремя орденами на гимнастерке.

Она сказала это мимоходом, хотя только для этого и вынула из сумки фотографию.

Маша, несколько секунд подержав фотографию в руках, вернула ее, ничего не ответив. Надя открыла сумку и, небрежно бросив туда снимок, громко защелкнула ее.

— Значит, ты вышла замуж,— задумчиво протянула Маша.

— Значит, я вышла замуж,— сказала Надя.— Опасность миновала.

— Да, я не хотела, чтобы Павел на тебе женился.— Маша поглядела Наде в глаза с той бесстрашной полудетской-полумужской прямотой, из-за которой Надя немножко побаивалась младшей сестры Павла и тогда, когда Маша была еще совсем девочкой.

— А почему? — с вызовом спросила Надя.

— А стоит ли сейчас об этом? — сказала Маша, не опуская глаз.

Сейчас, когда Надя вышла замуж за другого человека, было бессмысленным объяснять, почему она не хотела, чтобы Надя вышла замуж за ее брата.

— Павел сам виноват,— вдруг сказала Надя.— Когда я прочла, что он был ранен, я в первую минуту даже испугалась. Чувство к нему у меня и сейчас до конца не исчезло. Я спокойно могу признаться в этом тебе, потому что ты ему этого не передашь. Побоишься, что узнает и снова прибежит ко мне.

— Не прибежит! — вставая со скамейки, враждебно сказала Маша.— Не надейся!

Растерявшись от неожиданности, Надя тоже поднялась со скамейки и, словно защищаясь, прижала к груди сумочку.

Но Маша вдруг вспомнила, что Надя, какая бы она ни была, все-таки рассказала ей о Павле из добрых побуждений, и это с ее стороны хорошо, а не плохо, и, быстро протянув Наде руку, сказала:

— Не обращай внимания. Я погорячилась. Спасибо тебе за известие о Павле. Не сердись. До свиданья!

Надя, не успев подумать, следует или не следует это делать, машинально пожала Маше руку, повернулась и пошла, с досадой чувствуя, что эта девчонка в конце их разговора неожиданно оказалась хозяйкой положения.

А Маша, провожая Надю взглядом, уже беззлобно, но с облегчением подумала о том, что с этой удаляющейся женщиной отходит от их семьи что-то ненужное и чужое.

Носильщик ждал Машу у камеры хранения багажа с билетом в руках и с выражением лица, намекавшим на тяжесть понесенных трудов.

Место было жесткое. Маша, прикорнув на нижней полке, задремала и проснулась лишь через пять часов, в густых сумерках, перед самой Вязьмой. Ей стало неловко, что она так по-детски спала, вместо того чтобы в дороге считать часы и минуты. Времени осталось только на то, чтобы попытаться хоть немножко привести в порядок смявшийся, пока она спала, жакет, незаметно для соседей пальцами оттягивая его книзу за полы.

Наконец поезд остановился в Вязьме. Маша наизусть знала из писем и рассказов Синцова, где он живет, и, выйдя с чемоданом на привокзальную площадь, сразу пошла вверх по улице, в конце которой чернели луковицы пятиглавого собора.

От собора следовало свернуть налево, по улице Луначарского, потом еще раз налево, в переулочек. Там в соседнем с типографией доме жил Синцов. Дом этот, стоявший в глубине двора, как и описывал его Синцов, был старый, каменный, двухэтажный, с несколькими одинаковыми подъездами, ни на одном из которых не было никаких надписей.

— Кого вам? — окликнула Машу вошедшая во двор женщина с двумя кошелками в руках.— Дома нет. Ну, все равно, пойдемте,— сказала она, когда Маша ответила, что ищет Синцова.

Женщина, а вслед за ней Маша вошли в крайний слева подъезд и, поднявшись на второй этаж, очутились в длинных и узких сенях с тремя одинаковыми дверями.

Поставив в сенях обе кошелки и положив упавший на пол пучок лука на кухонный стол, рядом с примусом, женщина подергала среднюю дверь и сказала:

— Я же говорю — нет его.

Подойдя к правой двери, она достала из-под порога ключ, отворила дверь и скрылась за ней.

— Входите же! — услышала ее голос оставшаяся в сенях Маша.

Комната была маленькая, заставленная вещами. Главной вещью был большой дубовый буфет; второй главной вещью был комод. Остальное — мелочи: маленький круглый стол, еще столик — поменьше и еще — совсем маленький, очень маленькая бамбуковая этажерка и совсем маленькая плетеная подставка для цветов. Даже кровать и та была маленькая, вроде раскладушки, но накрытая белым пикейным одеялом с горкой подушек в изголовье.

Женщина, которую Маша теперь разглядела, была небольшая, худая, нервная. Она с минуту пометалась по комнате, что-то куда-то кладя и перекладывая, потом повернулась к Маше, пригласила ее сесть и сама села на стул против нее.

— Значит, вам Ивана Петровича? — сказала женщина, с интересом рассматривая Машу и как бы сверяясь с уже имевшимся у нее представлением.

— Да,— сказала Маша и ничего не прибавила.

— Иван Петрович говорил мне, что, может случиться, вы приедете,— сказала женщина,— спрашивал даже, могу ли я вас у себя устроить. Конечно, могу. Но Барсуков сейчас в Смоленске, на курсы уехал на неделю, так что можете и у него в комнате ночевать. Если вам надо будет,— добавила женщина без любопытства, с простой житейской рассудительностью.

Женщина говорила о себе и Барсукове так, словно Маша заранее должна о них все знать. И Маша в самом деле заранее все это

знала из писем Синцова. Знала, что Барсуков — литературный сотрудник и живет в соседней с Синцовым комнате. Знала, что женщину зовут Анной Андреевной, что она видела когда-то лучшие времена, была замужем, а сейчас живет одна, работает няней в родильном доме через день, а в свободное время ведет холостяцкое хозяйство Синцова и Барсукова. По мнению Синцова, она была человеком несчастным, но не озлобленным. Маша считала, что Синцов отличается полным незнанием людей, но сейчас ей казалось — он прав.

— Может, чаю выпьете? — спросила женщина.

— Нет, спасибо, Анна Андреевна.

— А вы совсем как на фотографии, что у Ивана Петровича,— сказала женщина.

Она продолжала неподвижно сидеть напротив Маши. У нее было худое и нервное морщинистое лицо с почти добела выцветшими большими голубыми глазами и стянутые пучком на затылке поседевшие и казавшиеся пыльными волосы.

— А я ведь тоже была хорошенькая, вот не поверите!— Анна Андреевна потянулась к бамбуковой этажерочке и положила на стол голубой бархатный, выцветший, как ее глаза, альбом.

Не отдавая Маше в руки, она перелистала альбом и, открыв на одном из первых листов, пододвинула так, чтобы Маше было видно. В овальном вырезе молодая и совсем не худенькая женщина сидела на неудобном, узком диванчике рядом с пышноусым, нагловато глядевшим прямо перед собой офицером.

— Это муж. Он в мировую войну одно время служил по провиантской части,— сказала Анна Андреевна, и Маша, увидев на карточке громадные прекрасные глаза молодой женщины, поняла, что след той былой красоты сохранился именно в нынешних, старых, выцветших голубых глазах, хотя о них, наверное, уже давно нельзя сказать, что они красивы.

— Моего мужа расстреляла Чека,— сказала Анна Андреевна, закрыв альбом и положив его обратно на этажерку.— В двадцать первом году. За спекуляцию. Он уже ушел тогда от меня и уехал в Москву. Он мне и раньше изменял, почти с самой свадьбы. У нас не было детей,— добавила она, не то объясняя, почему он ей изменял, не то давая понять, что в их жизни вообще не было ничего хорошего. О том, что ее мужа расстреляла Чека, она сказала совсем равнодушно, как о чужом.

Потом она вдруг сказала ту фразу, что Маша помнила из письма Синцова: что она видела когда-то лучшие времена,— но сказала это так безрадостно, что Маша поняла: слова относились только к тому, что она была когда-то моложе и богаче, а не к тому, что она была счастливей.

И Маше стало грустно от мысли, что люди стареют и не всегда бывают счастливыми.

— А вы думаете, Иван Петрович поздно вернется? — с запинкой называя так Синцова, спросила Маша.— Ведь сегодня суббота.

— А для них что ж суббота? У них газета в воскресенье выходит. Они в субботу иногда в типографии до ночи сидят. Слышите, машина-то шумит?

Маша прислушалась. Через открытое окно было слышно, как в соседнем доме что-то гудит и двигается.

— Только он сегодня не в типографии. Он вчера в Комарово, в Комаровский колхоз, пошел. Сегодня к вечеру обещал вернуться. Они сейчас все так, на месте не сидят — уборочная скоро.

— А далеко это Комарово? — спросила Маша, с тревогой подумав, что если далеко, то Синцов может и не вернуться сегодня.

— Верст двадцать,— сказала Анна Андреевна и, приподняв на столе клеенку, вынула лежавший под ней ключ.— Вы пойдите у него отдохните, чего же вам тут сидеть-то?

Открыв дверь комнаты Синцова, Маша переступила порог и нащупала рукой выключатель, о котором Анна Андреевна сказала, что он сразу же справа от двери. Машу охватила при этом такая робость, как будто если она отдернет сейчас руку от выключателя и сделает шаг обратно за порог, то в ее судьбе еще что-то можно будет переменить.

Испытав это чувство, Маша подумала, что оно глупое, быстро повернула выключатель и шагнула вперед. Однако глупое чувство не проходило. Закрыв за собой дверь, она торопливо села на кончик стоявшего возле двери стула и только после этого начала рассматривать комнату.

Под потолком висела электрическая лампа без абажура. В комнате стояли платяной шкаф, большой письменный стол, судя по всему, служивший и обеденным, два стула и большая кровать с никелированными шишечками. Маша вспомнила, как Синцов писал ей, что соседка насильно обменяла его раскладушку на кровать, уверяя, что на раскладушке такой большой мужчина не может поместиться.

Для книг была устроена длинная самодельная полка — доска, подвешенная на двух веревках. Кроме того, много книг лежало на столе и на шкафу, а часть выглядывала из-под кровати.

На подоконнике стоял горшок с резедой — любимым Машиным цветком.

Над письменным столом висели две фотографии; на одной, старой, еще дореволюционной, был снят покойный отец Синцова — сельский учитель. Он выглядел на фотографии совсем молодым и был очень похож на сына. Другая фотография была Машина, с на-

ивной, как ей теперь казалось, надписью: «Ване Синцову с обещанием верной дружбы»,— словно она хотела обязательно подчеркнуть, что ничего другого ему не обещает.

«Вот дура-то! А он над столом повесил! И все три года уверен был, что приеду к нему».

Сначала рассердившись за надпись на себя, теперь она рассердилась на Синцова, но долго сердиться не могла, потому что сразу же рассмеялась, увидев на шкафу атлас с торчавшими из него концами двух галстуков, заложенных туда, чтобы их прогладить.

Книги, лежавшие на столе, были оттеснены налево и направо, к краям. Наверное, когда Синцов писал, он занимал локтями сразу три четверти стола.

Книжная полка была подвешена не на веревках, а, как выяснилось, на двух электрических шнурах. На ней стояли книжки стихов, по прескверной синцовской привычке раскрытые и перегнутые на понравившихся стихотворениях. Полка висела низко, над самой кроватью,— наверное, для того, чтобы он, не вставая, мог своей длинной ручищей достать любую книжку.

Заглянув в незапертый платяной шкаф, Маша увидела там две знакомые ей выстиранные и выглаженные синцовские рубашки. Одну он носил еще до того, как Маша уехала в Комсомольск, старенькая ковбойка, воротничок у нее посекся и был заштопан; вторая рубашка была белая, новая,— в ней Синцов в последний раз приезжал в Москву.

В другом отделении висели пальто Синцова и два костюма: один — выходной, черный, в котором он приезжал в Москву, другой— коричневый, покупку которого Синцов юмористически описал ей год назад. Кажется, этот костюм был все-таки немножко лучше выходного черного.

«А в чем же он ушел?» — подумала Маша, которой в эту минуту казалось, что у Синцова не может быть ничего неизвестного ей, а ей были известны только эти два висевших в шкафу костюма.

У самой двери на гвозде, рядом с рукомойником, висело белоснежное, еще пахнувшее утюгом полотенце. На крышке рукомойника лежали зубная щетка, мыльница и зубной порошок, а под рукомойником на табуретке стоял таз.

Маша вспомнила, что ей нужно помыться с дороги, бросила взгляд на чемодан, но не стала открывать его, а, сняв жакет и подобрав выбившиеся волосы, стала умываться, довольно пофыркивая в ладони и ежась от холодных струек, попадавших за расстегнутый воротничок блузки. Потом она взяла в руки хрустящее полотенце и прижала его к мокрым щекам.

В эту минуту вошел Синцов.

— Маша! — крикнул он таким голосом, что она испуганно отступила на шаг, чувствуя, как капелька воды течет по носу.

Зажав в загорелой руке парусиновую фуражку, Синцов стоял на пороге — большой, веселый, в расстегнутой у ворота полотняной косоворотке, в юнгштурмовских зеленых галифе и сапогах.

Вся эта одежда была большая, широкая, по росту ему, и, по сравнению с его нелепыми, кургузыми костюмами, шла ему просто необыкновенно.

Обветренное лицо его дышало здоровьем. Белые зубы весело блестели, и казалось, что пахнет от него свежим сеном, несколько былинок которого торчали у него в волосах.

И хотя Маша с самого утра предчувствовала, что все уже решено, но окончательно решенным все оказалось только сейчас. Синцов все еще стоял не двигаясь, и она первая сделала два легких, быстрых шага навстречу ему и первая обняла его за шею.

Завтракали поздно, около полудня, втроем — Синцов, Маша и Анна Андреевна. Утром Маша вышла и увидела на столе в сенях крынку с топленым молоком и две глиняные миски — одну с редиской, луком и огурцами, другую с клубникой. Тронутая этой заботой, Маша пригласила завтракать отнекивавшуюся Анну Андреевну.

Анна Андреевна сначала сидела молча и как на иголках. Она досадовала на себя, что не отказалась завтракать с ними.

На самом деле она нисколько не мешала Синцову и Маше, потому что они были вдвоем до ее прихода и знали, что снова будут вдвоем сразу же, как только она уйдет. А ненадолго и добровольно принятая на себя в присутствии третьего человека сдержанность, наполненная воспоминаниями и предчувствиями, вносила лишь особую прелесть в их первый завтрак в этой комнате.

За завтраком больше всего говорили об Артемьеве. Синцов так подробно расспрашивал о нем, о его письмах и о том, каким именно тоном сказала Надя про его ранение, что Маша устыдилась: она вчера отдалась своей неприязни к Наде и из-за этого даже не попросила у нее дать прочесть глазами то место письма Надиного мужа, где речь шла о Павле.

— Боже ты мой! — сказала Анна Андреевна, услышав, что брат Маши был ранен.— Опять война!

И две маленькие непритворные слезинки выкатились из ее выцветших голубых глаз.

— Ну, какая же это война! — успокоительно сказала Маша.— Это пограничный конфликт.

— Ах, не говорите вы мне этого! — сказала Анна Андреевна.— Вы еще такая молодая!

— Я три года прожила на Дальнем Востоке,— сказала Маша.— Там всегда пограничные конфликты.

— Ах, не говорите, не говорите, вы еще такая молодая! — настаивала на своем Анна Андреевна, качая головой и тихонько поламывая пальцы так, словно неотвратимое несчастье было уже совсем рядом.

— Главное, что он хотя и был ранен, но теперь уже совершенно здоров,— вмешался в разговор Синцов.— Это она тебе точно сказала? — обратился он к Маше.

— Точно. Два раза повторила. И я думаю, что он ранен в руку, поэтому его второе письмо было на машинке.

— Ты матери не говорила?

— Нет, и не буду. Пускай сам напишет.

— А он не напишет.

Синцов встал из-за стола и прошелся по комнате, поскрипывая сапогами. Маша утром отговорила его от облачения в черный костюм и заставила надеть все то, в чем увидела его вчера вечером.

— А все-таки в интересные места попал Павел, в очень интересные,— сказал Синцов.

Маша, которая считала в порядке вещей, что ее брат уже давно военный и всю жизнь будет им, с удивлением посмотрела на Синцова. В выражении его лица она прочла что-то новое для себя, чего она не знала и о чем они еще никогда не говорили с ним.

— Интересно, что он сейчас там делает? — Синцов снова сел за стол и, взяв заложенную за чернильницу маленькую старую фотографию Артемьева, долго глядел на нее.

— Сейчас там, на Дальнем Востоке, уже шестой час вечера,— сказала Маша.

Синцов продолжал сидеть молча, он думал о том, насколько велик на самом деле этот конфликт в Монголии, о котором в газетах писали так, что ничего толком нельзя было понять.

После завтрака Синцов и Маша стали собираться за город — погулять и выкупаться.

— Хоть покажу тебе, где у нас купаются,— сказал Синцов.— А то, наверно, буду всю неделю приходить только затемно, так вместе и не сходим!

Они уже решили, что Маша останется здесь сразу на всю неделю. А в следующее воскресенье они съездят в Москву вместе.

Напевая: «Чижик-пыжик, где ты был...», Маша гладила на письменном столе Синцова свое синенькое летнее платье. Анна

Андреевна только что ушла, оказав последнюю за утро услугу — дав свой утюг.

— Ну что, чижик, попал в клетку? — спросил Синцов, по требованию Маши одну за другой доставая с полки и разгибая книжки стихов.

— Это ты что, о себе? — Маша рассмеялась.

— Чему ты смеешься?

— Собственным мыслям.

— Каким?

— Старым и глупым. А каким — не скажу!

Она снова рассмеялась и, выставив Синцова из комнаты, надела синенькое платье и довольно долго вертелась перед единственным старелким зеркалом, которое почему-то было вставлено в самый верх створки гардероба. Для того чтобы смотреться в зеркало, пришлось влезть на стул, с которого ее нетерпеливо снял заждавшийся в сенях Синцов.

— Пойдем! Надо еще дать телеграмму маме, что ты завтра не вернешься.

— И послезавтра!

— И после послезавтра.

— И после после после послезавтра! — пропела Маша на мотив собственного сочинения — ей хотелось дурить.

— Когда я был маленьким,— сказал Синцов,— мне казалось, что я знаю тайну телеграфа. Я думал, что телеграммы, скатанные в трубочку, летят из города в город прямо по проводам, но только так быстро, что никто этого не видит. И я все смотрел на провода и старался увидеть. И мне даже иногда казалось, что я вижу, как они очень-очень быстро перескакивают от столба к столбу.

— Ты что-нибудь пишешь сейчас? — спросила Маша.

Слова Синцова о том, как по проволоке летят телеграммы, показались ей поэтичными, и она вспомнила о его неудавшейся, изорванной повести.

— Нет, ничего не пишу,— испуганно отозвался Синцов, подумав, что изорванная повесть была тем единственным, о чем не надо было говорить даже Маше.— Пойдем!

— Нет, теперь подожди,— сказала Маша, освобождаясь из его рук, вдруг становясь серьезной и, вместо того чтобы идти, усаживаясь на стул.— И ты сядь.

Он недоуменно, но послушно сел против нее.

— Знаешь,— сказала Маша, кладя руку на его колено и удерживая Синцова так решительно, словно им никак нельзя было уйти из этой комнаты, прежде чем она не скажет того, что хотела.— Ты мне писал в Комсомольск такие письма, что мне сейчас

кажется, я даже лучше знаю тебя, чем если б жила все время где-нибудь рядом с тобой.

— Ну, это как сказать!

— Нет, именно так,— сосредоточенно сказала Маша, недовольная тем, что он перебил ее.— Но знаешь что?

— Что?

— Все-таки это неверное чувство.

— Почему?

— Потому что это неправда. Мне кажется, что я все знаю о тебе, а на самом деле я даже не знаю, что ты делал вчера. Когда я тебя увидела, ты вошел веселый и чем-то очень довольный.

— Я увидел тебя.

— Нет, нет, ты уже и до этого был чем-то очень доволен. Разве это не правда?

— Правда,—улыбнулся Синцов.— У меня был вчера хороший для газетчика день, хорошие дела...

Он хотел продолжать, но Маша его перебила:

— Вот видишь, а я не знаю, какие дела. Я даже тебя не спросила. А все потому, что вообразила, что я тебя вообще очень хорошо знаю. Вообще...

Она повторила это слово с презрением.

— А я должна знать каждый твой день, каждое твое дело Каждое. Понимаешь?

— Понимаю.

Он улыбнулся своей доброй и действительно понимающей улыбкой и хотел встать.

— Нет, подожди,— она снова придержала его за колено.— Мне стыдно, и я никуда не хочу идти, пока ты мне не расскажешь про свои вчерашние дела.

— Ах, Маша, Маша,— сказал Синцов, вставая, несмотря на ее сопротивление, и приподнимая ее со стула за локти,— что ты спешишь? Ты же ко мне не на свидание приехала.

Маша почувствовала в его голосе силу и твердость и даже грусть, словно предупреждавшую, что вместе им придется знать не только одно то радостное, о чем думала сейчас она сама.

— Ах, Маша, ты моя Маша! — как показалось ей, с укором повторил он, все еще не выпуская ее локтей.— А что, если я тебе расскажу не только про вчера и про завтра, а про то, как вся жизнь задумана лет на двадцать вперед? Как задумана, если с тобой, и как была задумана, если без тебя.

— А разве ты думал об этом «если»?

— Да, конечно,— просто и твердо ответил он.— Это уже давно зависело не от меня, а от тебя.

И Маша, глядя на него, вдруг вспомнила дождь, перрон и его лицо тогда, три года назад, когда она уезжала в Комсомольск-на-Амуре...

— Ну, так как же? — сказал Синцов.— Обо всем сразу сейчас поговорим?

Но Маша только виновато улыбнулась сквозь непрошеные слезы и за руку потянула его из комнаты.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В Монголии стояла обычная для этого времени года жара. Августовское солнце беспощадно палило весь день и вечером, заходя за сопки, прямой наводкой било в глаза. Днем бывало одинаково душно и в юрте и на воздухе. Ночной холодок приносил мало облегчения—над всем живым в степи тучами роились комары.

Артемьев с начала июля служил в оперативном отделе штаба, под начальством того самого полковника Постникова, который в мае отправил его встречать саперов. Оперативный отдел занимал на Хамардабе три юрты, вкопанные в землю и прикрытые маскировочными сетками. В отделе служили шесть командиров, считая Артемьева, и полковник безжалостно выматывал из них жилы, впрочем и сам показывая пример неимоверной трудоспособности. Он не выносил поправок и помарок и, увидев маленькую погрешность в документации, заставлял переписывать весь документ. Малейшее отклонение нанесенной на карту разграничительной линии заставляло Постникова физически страдать. За одно лишнее слово в сводке он называл всю сводку болтливой и с оттенком личной обиды говорил, что его хотят осрамить перед Военным советом.

Артемьев, который сам имел вкус к артистически чистой работе с картой, несколько чаще других удостаивался от Постникова молчаливой похвалы, выражавшейся в отсутствии замечания. В полковнике Постникове было что-то привлекавшее к себе Артемьева. Унтер-офицер в германскую войну и командир взвода в гражданскую, он попал в академию уже на предельном для приема возрасте и после нее несколько лет служил начальником штаба дивизии. Военная наука трудно далась ему самому, и он не терпел легкомысленного отношения к ней у других. При своей бухгалтерской внешности он был поэтом штабной работы, и в решениях, которые он разрабатывал, тщательность соседствовала со смелостью.

Постников был нетерпим ко многому, но одного он не выносил совершенно: когда, манкируя штабной работой, молодые командиры рвались на передовую.

— Ты штабной командир, ты решение дерзкое прими и ответь за него головой,— ворчливо говорил он,— а то, что ты под пулями был, это барышням рассказывай.

Под бессонным оком этого человека Артемьев со своими товарищами работал над предстоящей операцией.

Сброшенные в реку с Баин-Цагана, японцы пока не возобновляли попыток снова переправиться на западный берег, но зато яростно дрались на восточном.

Весь июль шли бои. В этих боях был убит командир 149-го стрелкового полка майор Ремизов. Сопку, на которой он погиб, взяли японцы. В погожие дни она была хорошо видна с Хамардабы и в штабной документации уже давно стала обозначаться как Ремизовская.

При всей, казалось бы, бессмыслице жестоких фронтальных боев за несколько десятков песчаных барханов японцы весь июль с готовностью платили кровью за каждый взятый ими квадратный километр пустыни. Только к началу августа они прекратили наконец атаки и начали деятельно укрепляться: рыли разветвленную сеть ходов сообщения, сооружали блиндажи с покрытием из бревен и бетонных плит, строили подземные гаражи, конюшни и склады.

Район, занятый ими на монгольской территории, имел шестьдесят километров по фронту и десять — пятнадцать в глубину. По сведениям разведки, в нем размещалось больше сорока тысяч японских войск. Было очевидно, что японцы готовят себе плацдарм для будущего наступления, но все еще оставалось неясным, когда оно планируется.

Судя по ряду приготовлений, были основания предполагать, что японцы намерены, просидев зиму в укрепленном районе, начать наступление весной. Однако приходилось считаться и с тем, что эти приготовления к зиме — мнимые и японское наступление возобновится в ближайшее время, по-прежнему, в случае успеха, имея целью захват Восточной Монголии и выход на подступы к Байкалу.

В Токио считали, что Москва в конце концов отступит. Свидетельств этому, на взгляд японского правительства, было более чем достаточно: и продажа КВЖД, и уступки в переговорах по рыболовным участкам, и терпение, проявленное Наркоминделом при обсуждении вопроса об островах на среднем течении Амура. Все это, вместе взятое, трактовалось японцами как явная боязнь русских ввязаться в войну на Дальнем Востоке, имея у себя за спиной Гитлера.

В этой обстановке советское правительство начало сосредоточивать в районе Халхин-Гола крупные силы. По его мнению,

только полное восстановление гарантированных Советским Союзом границ Монгольской Народной Республики и полный разгром всей вторгшейся в Монголию японской группировки могли заставить Токио всерьез призадуматься над перспективами большой войны.

Операция, в детальной разработке которой вместе с десятками других командиров пришлось принимать участие и Артемьеву, замышлялась как удар на обоих флангах с глубоким обходом и быстрым соединением обходящих групп в тылу японцев, на монгольско-маньчжурской границе.

Обеспечить такую операцию было нелегко. Требовалось подвезти через пустыню в район военных действий громадное количество боеприпасов, горючего и продовольствия, юрт и палаток и тысячи кубометров леса. Эшелоны разгружались за семьсот с лишним километров, в Забайкалье, на станции Борзя, и каждый ящик снарядов и каждый кусок дерева, начиная от бревен для блиндажных накатов и телеграфных столбов и кончая шестами для связи, приходилось везти на грузовиках, делавших оборот в тысячу пятьсот километров. По расчету горючего, машины, груженные бочками с бензином, сами съедали за дорогу туда и обратно треть того, что на них можно было погрузить.

При всем этом была поставлена задача сохранения тайны.

Конечно, скрыть до конца такое сосредоточение войск было невозможно, но принимались все меры к тому, чтобы спрятать хотя бы его истинные масштабы.

По радио открытым текстом передавались ложные запросы и напоминания о подвозе зимнего обмундирования, о лесе для строительства зимних блиндажей, о кольях и проволоке для проволочных заграждений. Часть проволоки, которую предполагалось использовать впоследствии для установки заграждений на границе, привезли заранее и начали открыто ставить на самых видных местах.

Сильная звуковещательная станция каждый день имитировала то в одном, то в другом месте шум, который можно услышать при забивке кольев. Танки со снятыми глушителями каждую ночь кочевали вдоль фронта, заранее приучая уши японцев к тому грохоту, без которого не обойтись при сосредоточении танковых бригад на исходных позициях в канун наступления.

В частях, стоявших на переднем крае, распространялись листовки политотдела о задачах обороны. Разведка позаботилась о том, чтобы листовки попали к японцам.

Срок для подготовки операции был дан из Москвы жесткий — меньше месяца, а когда 11 августа стало известно, что японцы сформировали из своих войск, находившихся в Монголии и Запад-

ной Маньчжурии, 6-ю Особую армию, срок был срезан еще на несколько суток.

Всю первую половину августа Артемьев не разгибаясь писал, чертил, сводил поступающие из частей данные, уточнял разграничительные линии, заготовлял приказания и распоряжения, с радостью сознавая размах предстоящей операции.

Если б не войлочные стены юрты, не огонек маленькой лампочки и не комары, днем и ночью облеплявшие опухшее от укусов лицо, Артемьев в этом круговороте штабной работы минутами был готов представить себе, что он сидит в тактическом кабинете академии, готовясь к большой военной игре.

Затишье было, конечно, относительным. Днем слышалась стрельба японских зениток по нашим разведывательным самолетам. По ночам разведчики ходили за «языками», и почти каждую ночь то там, то тут начиналась затяжная перестрелка. Эскадроны стоявших на крайнем левом и крайнем правом флангах монгольских кавалерийских дивизий несколько раз рейдировали по японским тылам.

Товарищам Артемьева по оперативному отделу, несмотря на ворчливое сопротивление Постникова, по разу, по два удалось побывать на передовой, и они потом рассказывали об этом с отличающей новичков нарочитой небрежностью.

Артемьев слушал их рассказы без особой зависти, но однажды, осатанев от постоянного сидения в юрте, придрался к случаю и попросился у Постникова съездить на левый фланг, в 6-ю монгольскую кавалерийскую дивизию.

Случай был как случай — пакет, с которым Артемьеву ехать было не обязательно, но можно было и поехать.

Постников так нахмурил брови, что они вовсе завесили ему глаза, и ворчливо ответил, что сам бы с удовольствием проехал километров десять переменным аллюром, однако не просится у начальника штаба на верховую прогулку.

Это было 13 августа. А начиная с 14-го Постников по два раза на дню стал выезжать на передовую для командирских рекогносцировок — то с командующим и членом Военного совета, то с начальником штаба, каждый раз беря с собой одного из командиров оперативного отдела.

Дошла очередь и до Артемьева. Командующий вызвал Постникова на рекогносцировку на левый фланг, и Постников взял с собой Артемьева, за которым в оперативном отделе числилось это направление.

Машину они оставили у штаба полка, и когда добрались пешком до окопов переднего края, там уже находился пришедший сюда раньше них командующий. Он стоял с командиром танковой

бригады, который должен был вместе с пехотой наступать здесь в первый день операции.

Артемьев сразу узнал Сарычева, хотя тот для маскировки был одет в общевойсковую форму. Красноармейская защитная гимнастерка, надетая поверх серой, танкистской, горбом топорщилась у него на спине.

От передовой до японских позиций было метров триста. На бурых буграх виднелись свеженасыпанные брустверы окопов. Местами под обложенной дерном землей угадывались недавно отрытые блиндажи. Вдали, за несколькими рядами мелких бугров, торчала высота Палец, господствовавшая над всем этим районом.

Постников, любивший держаться подальше от начальства, скучал, ожидая, когда его позовут. Местность ему была известна во всех подробностях, план тоже. Короткая перестрелка, разгоревшаяся было слева от них, но быстро погасшая, его не заинтересовала, он даже не повернул головы.

Командующий стоял всего в десяти шагах от Постникова и Артемьева, и, хотя он разговаривал с Сарычевым негромко, Артемьев слышал почти каждое его слово.

— Направление представляет то удобство,— говорил командующий,— что они его не считают танкоопасным. Исходят из возможностей своей собственной техники. А вы возьмете такие подъемы?

— Возьмем, если будем брать наискось,— сказал Сарычев.

— А кто вас заставляет лезть напрямик? Как только в первый день прорвете оборону и заберете вместе с пехотой высоту Палец — мимо нее вам не проскочить,— вырывайтесь на простор и обходите с севера все остальные узлы сопротивления,— сказал командующий.— Проткните и обходите. Уничтожать живую силу будем потом, когда замкнете кольцо.

Командир танковой бригады возразил что-то, чего Артемьев не расслышал. Командующий ответил громко и с сердитой интонацией в голосе:

— А, не вы первые, не вы последние рветесь отомстить за товарищей! Мы,— при этом он обернулся и кивнул на Постникова,— тоже не собираемся с японцами в бирюльки играть. Но нам с вами поручено товарищем Сталиным слишком большое дело, чтобы позволить себе зарываться! Николай Иванович!

Постников, одернув гимнастерку, подошел к командующему.

— На какую отметку должен выйти Сарычев к исходу первого дня? — спросил командующий.

— Шестьсот сорок два,— без запинки ответил Постников, оставив на долю готовившегося подсказать Артемьева только беззвучно произнести ту же цифру.— А к двадцати часам второго дня

должен, замкнув кольцо, соединиться с хозяйством Махотина у Номун-Хан Бурд Обо.

— Выполним. Хотя у Махотина полный комплект боевых машин, а мы после Баин-Цагана не пополнялись,— сказал Сарычев.

— Вот именно,— подтвердил командующий.— Значит, тем более в лоб не лезь, береги людей и машины! Ты мне в срок на заданную точку выйди, а цифрами нанесенных врагу потерь можешь меня не поражать. Танкистские цифры — дело ненадежное.

— По-моему...— начал было Сарычев.

— По-твоему,— перебил его командующий,— где твой танк прошел, там все умерло. А пехота, если она не дура, пересидела на дне окопа да и снова взялась за винтовки. А у японцев она не дура. Николай Иванович,— снова обратился он к Постникову,— сколько у Сарычева машин?

— Восемьдесят три,— сказал Постников.

— К началу будет девяносто,— поправил Сарычев.— Заканчиваем ремонт.

— А когда начало? — насмешливо спросил командующий и, видя, что Сарычев замялся, добавил: — Когда машины выйдут из ремонта?

— Через двое суток.

— Ну, это еще так-сяк.

Командующий сделал несколько шагов по окопу и вдруг обратился к Артемьеву, который прижался к стенке окопа, готовый пропустить его:

— Как, практикуетесь в японском? Я разведчикам сказал, чтобы они вас брали, если понадобится.

— Практиковаться нет времени, товарищ командующий!

— Да, уж у него не разгуляешься,— с одобрительной полуусмешкой посмотрел командующий на Постникова.

Пройдя мимо Артемьева, он повернулся в окопе лицом к японским позициям и на минуту замер так, облокотясь о бруствер и пристально вглядываясь в лежавшие впереди холмы.

Во всей его позе было такое внимательное ожидание, словно этот военный пейзаж, эти бурые холмы с японскими окопами и блиндажами, которые он мог видеть отсюда простым глазом, были в состоянии ответить на один-единственный волновавший его сейчас вопрос: «Как все это выйдет на деле?»

«Да ведь он волнуется»,— глядя на командующего, вдруг подумал Артемьев и был прав — командующий действительно волновался.

Это было волнение человека, перед глазами которого лежали не просто блиндажи, окопы и артиллерийские позиции, танкодоступные лощины и танкоопасные пески, а лежало будущее поле

боя с войсками того самого проклятого капиталистического окружения, которое на его памяти грозило ультиматумом Керзона, устраивало налеты на АРКОС, убивало дипкурьеров и послов, терзало в застенках железнодорожников КВЖД, вынуждало вводить карточную систему, расходовать текстиль на красноармейские гимнастерки, а сталь — на снаряды и танки, на те самые танки, которые через несколько суток пойдут вперед, через эти песчаные барханы.

— Николай Иванович! — тихо подозвал командующий Постникова и еще тише, так, чтобы не слышал никто, кроме Постникова, спросил: — Как, по-вашему, можем докладывать в Москву о готовности?

— Начальник штаба считает, что можем,— на двадцатое.

— А как думаете вы? — спросил командующий, подчеркивая «вы» и вкладывая в свой вопрос все то молчаливое уважение, которое он питал к скромному и знающему Постникову.

— Я тоже так думаю.

Через пять минут, когда, закончив рекогносцировку, командующий в сопровождении Сарычева и Постникова двинулся в обратный путь, к Артемьеву, шедшему позади них, пристроился командир стрелкового полка, в расположении которого они находились.

— Ну, что у вас в штабе слышно? — тихо спросил он, идя рядом с Артемьевым.

Командующий повернулся в ходе сообщения так круто, что командир полка и Артемьев наскочили на него.

— Почему спрашиваете у капитана? Почему не у меня?

— У вас спрашивать не положено, товарищ командующий!

— А тогда, чем спрашивать то, что не положено, лучше сами скажите: что у вас в полку слышно?

— Полк готов к выполнению любого задания командования.

— Это я и без вас знаю. Разумеется! Еще бы сказал мне, что не готов! А что у вас бойцы говорят?

— В бой хотят!

— И это слышал. Ответ готовый, на все случаи жизни. Тоже не удивили.

— Товарищ командир...— вывернувшись из-за поворота окопа, подлетел к командиру полка молодой красноармеец, очевидно посыльный, но, увидев начальство, застыл с неподвижным выражением лица.

— А ну-ка, скажите: что у вас в полку слышно? Что бойцы о японцах говорят? Что о них думают? — спросил командующий у красноармейца, намеренно не обращая внимания на его напряженную позу и чуть заметной улыбкой помогая ему ответить.

Замороженное волнением лицо красноармейца оттаяло, а крепко сжатые губы, дрогнув, сами сложились в ответную улыбку.

— У нас, товарищ комкор, бойцы говорят, что надо бы поскорей японцу по зубам дать. Пусть не мечтает, что мы его боимся!

— Стоять в обороне — еще не значит бояться врага,— сказал командующий.

— Так точно, товарищ комкор,— разочарованно ответил красноармеец, явно ожидавший чего-то другого, более откровенного.

— А в боях вы были?

— Так точно, был.

— Ну и как, по-вашему, легко будет разбить японца?

На лице красноармейца отразилась душевная борьба. Ему хотелось сказать что-нибудь лихое, победоносное. И не только хотелось. Его учили, что так и нужно отвечать большому начальству. Но в памяти его встали кровопролитные майские бои, когда погибла половина его роты, и он, сделав усилие над собой, но не покривив душою, озабоченно сказал:

— Трудно будет.

— Опять пошли переправу бомбить,— заметил Сарычев, прислушиваясь к далекому гудению самолетов и глядя в небо.

Командующий не спеша вскинул голову. В похолодевшем серовато-голубом вечернем небе высоко, тысячах на четырех и поэтому, казалось, очень медленно, шла по направлению к переправе шестерка японских бомбардировщиков.

— Поехали, Николай Иванович,— сказал он Постникову.— В двадцать один будет провод с Москвой.

Днем наступления было утверждено 20 августа. Атаку назначили на девять утра, начало авиационной и артиллерийской подготовки — на пять сорок пять.

Поздно вечером 19 августа Артемьев получил с полевой почтой письмо от Маши, из Вязьмы. Он взглянул на штемпель — письмо шло около месяца — и отложил его. Работа не давала отвлечься даже на это.

Весь вечер 19-го и ночь на 20-е оперативный отдел, как выражался Постников, был занят доделками по второму дню наступления. Еще только выруливали на тыловых аэродромах бомбардировщики, еще не начиналась артподготовка, а Постников все уточнял и уточнял вопросы, связанные с завтрашним захватом вторых рубежей.

Пехота, еще сидя в окопах, поеживалась от утреннего холода и от предчувствия многих смертей, а Постников уже исходил из того, что задача дня выполнена и люди, сидевшие сейчас в окопах

в ожидании атаки, понеся предусмотренные и непредусмотренные потери, находятся на новых рубежах и готовятся к выполнению задачи второго дня.

В армейской газете, секретно отпечатанной сутки назад без обозначения числа и этой ночью развезенной по частям, было написано, что для всех японцев, перешедших монгольскую границу, пробил последний час.

А в оперативном отделе всю последнюю ночь занимались дополнительным учетом препятствий, осложнений и планами их ликвидации, и это лишало командиров оперативного отдела того непосредственного чувства надвигающегося боя, которое в ожидании первого залпа переживали в частях на передовой.

Ровно в пять тридцать в большую юрту, где Постников работал со своими командирами, вошел начальник штаба. Его оплывшая фигура сейчас казалась моложавей, чем обычно. Ремень с маленькой кобурой был туго затянут на животе, сапоги начищены до сияния, а фуражка, против обыкновения, сдвинута набекрень. Только что выбритое лицо начальника штаба сияло радостным волнением, и розовые, полные щеки чуть-чуть подрагивали. Во всем его облике сейчас было что-то жениховское.

— Баста! Баста, Николай Иванович! — поправив золотую дужку очков, весело сказал он поднявшемуся ему навстречу Постникову.— Пойдем на наблюдательный! Член Военного совета уже пошел, и командующий собирается.

Постников вышел вслед за начальником штаба. За ними, словно была дана молчаливая команда, один за другим потянулись к выходу все находившиеся в юрте командиры.

Через десять минут над Хамардабой должна была пройти первая волна бомбардировщиков.

Посмотрев на часы, Артемьев задержался в юрте: он вспомнил о полученном письме и, подумав, что, пожалуй, потом у него будет еще меньше времени на чтение, вытащил конверт из-под груды штабных документов.

Письмо Маши состояло из шести мелко исписанных страничек блокнота. Все, что Маша сочла нужным сообщить о себе и Синцове, уместилось на одной страничке. Остальные пять были отведены встрече с Надей, подробно записанным репликам обеих сторон и нескольким замечаниям, касавшимся Надиной внешности.

Маша писала, что Надя выглядит хорошо как никогда, так и пышет здоровьем и самодовольством и никак не производит впечатления женщины, хоть сколько-нибудь обеспокоенной тем, что ее муж находится в районе военных действий. «Если бы это было только выдержкой,— писала Маша,— я бы ей позавидовала! О тебе она говорила со мной так, как будто я с луны свалилась и

ничего не знаю. Утешь меня. Напиши мне, пожалуйста, что не она тебе, а ты сам дал ей отставку! (Слово «сам» в письме было жирно подчеркнуто.) Когда я в прошлое воскресенье приезжала к маме, то не утерпела и, хотя мама возражала, что это не моё дело, выкинула из комнаты известную тебе карточку. Твоя дорогая Надя теперь лежит и пылится в передней, на платяном шкафу. Если ошиблась — извини! Можешь, когда вернешься, вытереть с нее пыль и повесить к себе обратно».

Нет, не ошиблась. И, кажется, слава богу, его ничто больше не связывает с той далекой и чужой женщиной, кроме запоздалого желания взять обратно все те слова, что он говорил ей когда-то. Артемьев подумал о Козыреве и ясно представил себе, что хотя Надя теперь и жена Козырева и пишет ему письма с обведенными следами поцелуев, по-прежнему считая это максимальным и отчасти искренним выражением чувств,— она и Козыреву, воюющему здесь, тоже далекая и чужая, потому что для человека, который воюет, такие, как она, не годятся ни в невесты, ни в жены, ни даже во вдовы.

Гул авиационных моторов, сначала далекий, быстро приближался и ширился, кругом охватывая юрту. Артемьев вскочил, затолкал письмо в карман гимнастерки и выбежал из юрты.

Около штабных юрт и палаток повсюду стояли люди и смотрели в небо. Утреннее солнце косо било в глаза и оставляло на земле длинные узкие тени.

Все небо, насколько его можно было охватить глазом, в два яруса кишело самолетами. В нижнем ярусе со все возраставшим нестерпимым ревом, уже над самой Хамардабой, шли симметрично повторявшиеся влево и вправо девятки бомбардировщиков. Над ними, во втором ярусе, тонко подвывая, сходились и расходились истребители сопровождения. А бомбардировщики шли так прямо и неотвратимо, словно перед ними в воздухе в сторону японских позиций были проложены невидимые рельсы.

Прошло еще две минуты. Артемьев, поднеся к глазам руку с часами, увидел, что на них ровно пять сорок пять, и в то же мгновение, раньше чем услышал грохот, почувствовал, как под ногами глубоко и сильно содрогнулась земля.

К середине первого дня командир 117-го полковник Баталов, с малыми потерями прорвав три линии японских позиций, вышел на подступы к высоте Песчаной — узлу сопротивления в самом центре японской обороны. Вышел и застрял до вечера.

Высота Песчаная — высокая желтая двугорбая сопка — была окружена тройной цепью мелких, заросших травой сопочек и пес-

чаных барханов. С утра казалось, что у японцев вся глубина обороны насквозь перепахана нашей авиацией и артиллерией. Но когда 117-й полк вышел сюда, к высоте Песчаной, выяснилось, что каждая сопочка и каждый бархан вокруг нее густо начинены огнем.

Полк нес большие потери, а результаты на фоне первых утренних успехов казались настолько малыми, что Баталов искренне считал, что его полк опозорился и действует хуже всех остальных.

Но в оперативном отделе штаба группы, куда стекались все донесения, уже к середине дня начали отдавать себе отчет в том, что в центре продвижение войск замедлилось не только у Баталова, а почти повсюду.

Это было вызвано и силой японских укреплений, и тем, что при штурме заметно сказывалась неопытность войск, порождавшая ошибки и лишние потери, и, наконец, тем, что японцы в первый же день боя поспешно ввели в дело свои резервы.

Это последнее было как раз то, чего мы хотели, но даже понимавший это Постников все-таки в душе не мог пережить, что войска центральной группы не вышли к намеченным рубежам. С середины дня на его лице застыло обиженное выражение.

Подчиненные Постникова, и в их числе Артемьев, горячились гораздо больше своего внешне хладнокровного начальника. Утром, когда отовсюду сразу поступили донесения, что войска успешно прорвали передний край японцев, молодым командирам оперативного отдела казалось, что дальше пойдет как по маслу. Когда стали поступать первые известия о том, что на разных участках фронта продвижение приостановилось, Артемьеву каждый раз казалось, что, будь он там, на месте Баталова или других командиров полков, он бы наверняка сумел сделать то, чего они не сделали.

Вечером, с негодованием в душе нанеся на карту не изменившуюся за последние два часа обстановку на участке полка Баталова, Артемьев положил карту перед Постниковым и, не удержавшись, горячо сказал что-то насчет нерешительности Баталова.

— Вам до Баталова еще расти и расти! Раз навсегда бросьте эти штабные замашки! — впервые на памяти Артемьева произнося слово «штабные» с осуждением и даже насмешкой, гневно оборвал его Постников.

А еще через два часа, когда Артемьев наносил на карту последнюю за сутки обстановку, приняв донесение от офицера связи, он снова подошел и встал за спиной Артемьева.

— Все-таки взял Баталов эту сопку правей Песчаной. Посмотрите там отметку — шестьсот двадцать девять. Нашли?

Перегнувшись через плечо Артемьева, Постников ногтем большого пальца провел по карте.

— Вот сюда вышел Баталов. Отметьте на карте и зарубите себе на носу!

На столе у Постникова зазвонил телефон. Он отошел, взял трубку и, послушав, снова обратился к Артемьеву.

— Поторопитесь. К двадцати трем приказано дать полную обстановку.

Командующий недавно отпустил начальника штаба и сидел на командном пункте один, поджидая карту с последней за день обстановкой и поглядывая на предыдущую карту.

Южная группа, наносившая главный удар и обходившая японцев справа, уже в двадцать часов вышла к намеченным рубежам; новых сведений еще нет, связь ни к черту, но можно предполагать, что там продвинулись еще дальше. В центре продвижение застопорилось, но зато здесь были теперь надежно скованы главные силы японцев, включая часть резервов, а это равнялось успеху.

Гораздо хуже, как это лишь недавно до конца выяснилось, шли дела в северной группе. Высота Палец, замыкавшая фланг японцев и господствовавшая над окружающей местностью, оказалась куда более мощным узлом обороны, чем предполагали.

Из северной группы с утра беспрерывно доносили об успехах: о занятии трех линий японской обороны; о взятии двух десятков укрепленных барханов; о захвате дивизиона зениток; о том, что у японцев громадные потери — окопы буквально завалены трупами; о больших трофеях, о пленных. Не доносили только об одном: о том, что взята высота Палец. И чем больше они «натягивали» своими излишне частыми донесениями видимость успеха, тем меньше впечатления это производило на командующего.

Начальник штаба, радужно настроенный всю первую половину дня, к вечеру стал нервничать и теперь выехал на ночь в северную группу — помочь организовать там завтрашний бой.

Для удара по высоте Палец на северный фланг уже тянулась вся артиллерия, какую только можно было снять в центре, в том числе тяжелые дивизионы.

На шесть утра был спланирован еще и крупный бомбовый удар, и командующий считал, что завтра высота Палец должна пасть.

Однако он волновался, и было бы глупо скрывать это от себя.

Он знал, что ровно в двадцать четыре часа будет докладывать в Москву, Сталину, о результатах первого дня, и раз высота Палец к исходу дня не взята,— значит, они сделали меньше, чем

от них ждали. Он понимал сейчас, так же как понимал это и два месяца назад, когда ехал сюда, что выбор мог остановиться и не на нем. Но выбор пал на него, и в разгар событий командовать войсками в Монголии стал он. Так что же, спрашивается, в нем ошиблись, что ли? Что, он, там у себя, в Белорусском округе, на маневрах, умел проводить операции армейского масштаба, а здесь, на поле боя, не сумеет?

При этой мысли он стиснул зубы и вспомнил лицо начальника разведотдела полковника Шмелева, которого он только что отправил в северную группу — сидеть там, пока не будет взята высота Палец, в беспощадной форме сказав ему перед этим все, что о нем думает.

Шмелев был виноват в том, что сведения об укреплениях противника в районе высоты Палец, за которые он ручался, оказались опровергнутыми в первые же часы боя.

Командующий поискал глазами на карте с двух сторон обведенную красными полукружиями высоту Палец и, упрямо набычась, не разжимая зубов и на этот раз угрожая самому себе, процедил:

— Попробуй не взять! Возьмешь!

Ровно в 23.00 к нему вошел Артемьев с нанесенной на карту последней обстановкой. Командующий встал, освобождая место, чтобы Артемьев мог разложить карту, забрал в горсть рассыпанные по столу карандаши и хрустнул ими.

— А! Значит, все-таки взял Баталов эту сопку! — почти теми же словами, что и Постников, выразил свое удовлетворение командующий, привычный взгляд которого схватил на карте почти все происшедшие там изменения, пока Артемьев раскладывал ее.— А из южной группы ничего?

— Ничего, товарищ командующий.

— Член Военного совета ничего о себе не сообщал?

— Нет, товарищ командующий.

Командующий нахмурился. Член Военного совета вместе с представителем монгольского командования комдивом Лхамсуруном еще в середине дня выехал в южную группу — и как провалился!

— Разрешите, товарищ командующий? Последнее донесение из северной! — переступив порог, еще в дверях сказал Постников.

— Какое? — спросил командующий.

Подняв голову от карты, он встретился глазами с Постниковым и по его глазам понял, что хорошее.

Постников, по своему обыкновению, ответил самым коротким образом — быстрым движением карандаша по карте. Красная стрела обогнула с третьей стороны высоту Палец и вонзилась в

юго-восточные подступы к ней. Теперь высота Палец оставалась не окруженной лишь с северо-востока.

«84 С. II.» — написал Постников рядом со стрелой, предупредив вопрос командующего: «Кто взял?»

— Потщательней уточните,—сказал командующий.— И свяжитесь с артиллеристами, чтобы утром по своим не ударили. Обстановка-то меняется. Может, они там за ночь еще догадаются продвинуться,— проговорил командующий со страстной надеждой, которую не смогло скрыть насмешливое слово «догадаются».

— Вот и добрались,— сказал, входя, член Военного совета, моложавый на вид дивизионный комиссар с запыленным и грязным лицом, таким же, как у всех офицеров связи, прибывавших сегодня с передовой.

Вслед за ним вошел монгольский комдив — у него была поджарая фигура кавалериста.

— Садитесь, нахор [1] Лхамсурун,— сказал член Военного совета и, сам опустившись на табуретку, снял с головы фуражку и стал отряхивать ее о колено.— Чуть на обратном пути к японцам не попали. Заблудились. Комдив спас: в последнюю минуту повернуть заставил. Глаза как рентген! — Он рассмеялся, и на его темном от пыли лице блеснули зубы.

— Ну, и что веселого? — сердито сказал командующий.

— А то веселого,— сказал член Военного совета, подходя к карте и отмечая на ней пунктиром продолжение большой стрелы, с юга огибавшей японские позиции,— что на обратном пути пришлось сто километров крюку давать, чтобы сюда добраться. Вон как мы их обогнули! Завтра у Номун-Хан Бурд Обо будем!

— Сведения точные? Можно наносить, товарищ дивизионный комиссар? — спросил в наступившей тишине Постников.

— Точные,— сказал член Военного совета.— Неточных не возим. Там у вас, в оперативном, уже сидит офицер связи, вместе с нами ехал. А Восьмая монгольская кавдивизия,— продолжал член Военного совета, ведя карандашом по карте,— еще правей взяла и вон куда вышла! Что молчите, товарищ Лхамсурун? Рассказали бы сами,— член Военного совета поднял глаза на монгольского комдива.

Но Лхамсурун стоял молча. Улыбка сошла с его лица. Он смотрел на верхний обрез карты, где теперь, уже с трех сторон окруженная красными стрелками, торчала невзятая высота Палец.

— Вот именно! — сказал командующий.

— Может быть, завтра наш бронедивизион туда направить? — порывисто сказал Лхамсурун.

---

[1] Товарищ (*монг.*).

Он понимал, что в масштабе развернувшегося сражения его стоявший в резерве бронедивизион не слишком большая сила, но готов был отдать все, что у него есть, ради завтрашнего успеха.

— Думаю, что не стоит, товарищ Лхамсурун,— сказал командующий.— Считаю, что не стоит,— уже твердо повторил он.— Горят броневики при штурме укрепленных узлов! Горят, да и все! — Он, поморщившись, вспомнил сведения о дневных потерях.— На поверку, броня у них слаба. А ваш бронедивизион мы лучше бросим в южную группу. Она уже вышла на простор, будет где развернуться. Как, по собственной оценке, действовала там сегодня ваша Восьмая?

— Неплохо,— со сдержанной гордостью сказал Лхамсурун.

— Преуменьшаете. Хорошо,— сказал член Военного совета.

— А как будете докладывать товарищу Чойбалсану? — спросил командующий.

— Буду докладывать, что неплохо,— сказал Лхамсурун.

— А мы завтра с Петром Васильевичем,— кивнул командующий на члена Военного совета,— сообщим ему, что хорошо. Как отнесется товарищ Чойбалсан к такому расхождению?

— К такому расхождению, думаю, отнесется неплохо,— ответил Лхамсурун, широко и молодо улыбнувшись. Несмотря на высокое звание, ему не было и тридцати.

— В самом деле, хорошо сегодня дралась Восьмая кавалерийская,— сказал член Военного совета, когда монгол ушел на узел связи.

— И Шестая на севере тоже дралась неплохо,— сказал командующий.— Но, пока Палец не возьмем, и кавалерии и танкам показать себя трудно.

— Разрешите идти? — спросил Постников.

— Идите! — Командующий кивнул стоявшему руки по швам Артемьеву, отпуская его вместе с Постниковым.

— Как оцениваешь день в целом? — спросил член Военного совета, когда они с командующим остались вдвоем.

Командующий молча посмотрел на него. Член Военного совета, по создавшемуся за время их короткой совместной службы убеждению командующего, хотя находился в армии на политработе уже десять лет, однако в чисто военных вопросах до сих пор разбирался просто как здравомыслящий, умный человек, не больше того. Но человек он был, по мнению командующего, твердый, храбрый, широкой товарищеской души и в трудную минуту всегда был готов взять на себя половину ответственности,— а это уже немало!

— Оцениваю, в общем, неплохо,— сказал командующий, не вдаваясь в подробности.— К ночи,— он показал на красную стрелу

позади высоты Палец,— немножко подправили. Думаю, завтра возьмем. Поехал бы ты с утра туда, Петр Васильевич!

— Конечно,— просто сказал член Военного совета.— Я и сегодня знал бы, что такое дело, не застрял бы в южной группе.

Командующий открыл тонкую красную коленкоровую папку, которая была приготовлена у него к разговору с Москвой, и, вынув оттуда двумя пальцами небольшой листок бумаги, протянул его члену Военного совета.

— А вообще-то говоря, обстановка напряженная. На, почитай!

На листе был напечатан переведенный в разведотделе на русский язык захваченный сегодня днем датированный 19 августа приказ генерала Камацубары командирам полков в связи с назначенным на 24 августа японским генеральным наступлением.

Командующий взял листок обратно и положил в папку.

— В связи с этим документом,— сказал он, завязывая у папки тесемки,— надо полагать, что у японцев на подходе резервы. Не абсолютные же они авантюристы, в конце концов! А раз так, то если мы не скрутим Камацубару до подхода этих резервов, голову с нас снять мало!

— Ничего, скрутим! Народ настроен хорошо, да и силы нам даны большие,— бодро ответил член Военного совета, на которого продолжали успокоительно действовать воспоминания дня, проведенного им в успешно продвигавшихся войсках южной группы.

— Много дали, много и спросят! — хмуро сказал командующий.

— Двадцать три пятьдесят пять,— вспомнил член Военного совета, посмотрев на часы.

— Да, пора,— вздохнул командующий и по-солдатски, просунув большие пальцы под ремень, оправил на себе гимнастерку.— Пойдем докладывать, как воевали!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

С гребня Ремизовской сопки, которую японцы называли Такай — Высокая, было хорошо видно, как по всему полукольцу, опоясывавшему японские позиции с запада, севера и юга, в ночной темноте вспыхивают и гаснут желтые столбы разрывов.

В тылу, у озера Узур-Нур, в небе все шире расплывалось громадное зарево: находившийся там армейский склад горючего и боеприпасов был подожжен русской танковой разведкой.

Телефонная связь с тылами, находившимися по ту сторону маньчжурской границы, в городке Джинджин Сумэ, была пре-

рвана. Из трех броневиков, которые генерал Камацубара один за другим послал по разным дорогам, два вернулись, наткнувшись на русские танки, а третий исчез.

Только сейчас, на исходе третьих суток сражения, японский командующий впервые был близок к пониманию того, что произошло. Советские и монгольские войска замкнули его части в семидесятикилометровое кольцо.

Это и было их целью с самого начала.

Два первых дня он считал, что главный удар наносится с севера, и бросал резервы к высоте Фуи (которую русские называли высотой Палец), а русские наносили главный удар на юге. Он считал, что русские на второй день боев уже исчерпали свои резервы и что на третий день наступит пауза, а русские только шесть часов назад ввели эти резервы в дело и, сокрушив высоту Фуи, бросили в прорыв вслед за танками свежие бронечасти.

Камацубара стоял на самом гребне высоты Такай, рядом с круглой площадкой наблюдательного пункта, обложенной мешками с песком. Ветер раздувал полы его длинной шинели. Зрелище зарева над Узур-Нуром притягивало и угнетало его. Все происходившее кругом было в слишком большом противоречии с той верой в непобедимость императорской армии, с которой жил Камацубара все тридцать три года своей военной службы, начиная с незабываемой минуты, когда на выпуск их кадетского корпуса приехал маршал Ойяма, победитель при Мукдене и Ляояне, и, обходя строй, скользнул взглядом по лицу воспитанника Камацубары.

Мысль о надвигавшемся разгроме еще не овладела Камацубарой, но он со все возраставшим раздражением испытывал гнетущую власть чужой, навязанной ему и его войскам воли.

С усилием оторвав взгляд от зарева, Камацубара посмотрел на север, где еще три часа тому назад были видны вспышки боя на высоте Фуи и где теперь стало темно и тихо так, словно погас свет в доме, где все умерли.

На высоте Фуи действительно все умерли. Приказ не сдаваться до последнего человека был выполнен. Единственным оставшимся в живых из окруженного гарнизона был раненый солдат, добравшийся десять минут назад сюда с последним донесением и прощальным письмом от командира полка, оборонявшего Фуи. Костенея от ночной прохлады и потери крови, он стоял сейчас на площадке наблюдательного пункта, ждал и не знал, что ему делать.

Спрыгнув с гребня при помощи поддержавшего его под руку денщика, Камацубара сказал адъютанту, чтобы тот занес фамилию солдата в записную книжку для будущего награждения, и,

проходя мимо, взглянул в лицо этого последнего из защитников высоты Фуи. В темноте бледное от потери крови лицо солдата казалось высеченным из белого камня, его мундир и брюки были вымазаны в грязи, от обмундирования шел тухлый запах солончакового болота, через которое солдату пришлось ползти, чтобы добраться к своим.

Преодолев желание отодвинуться, Камацубара еще несколько секунд продолжал смотреть в лицо вытянувшегося перед ним солдата.

«Да, высота Фуи пала, и русские танки оказались в тылу занятых императорскими войсками позиций, но тридцать тысяч таких солдат, как этот, храбрых, преданных, готовых не задумываясь умереть по первому слову своих офицеров, еще занимают позиции, которые неприступны, пока хоть один из них жив»,— с охватившим его внутренним волнением подумал Камацубара. Инстинктивным, заученным еще в кадетском корпусе движением напружинив диафрагму, он прошел мимо солдата в ход сообщения.

Если бы японский командующий мог действительно прочесть то, что было написано на лице солдата, он прочел бы не преданность, а выражение окаменевшего недоумения перед всем уже трое суток происходившим вокруг него. Постояв еще минуту, солдат как подкошенный упал на землю от изнеможения. Двое солдат оттащили его в сторону; один молча раздвинул ему зубы, а другой, отстегнув от пояса фляжку, стал вливать в рот сакэ.

Камацубара спустился по склону сопки и вошел в свой большой, перекрытый броневыми листами блиндаж. Там его ждал начальник штаба полковник Иноуэ; на столе лежала карта с последней обстановкой.

У Иноуэ уже второй день было мрачное, озабоченное лицо, раздражавшее Камацубару. Они с Иноуэ были однокашниками по военному училищу, но Камацубару давно произвели в генерал-лейтенанты, а Иноуэ в свои пятьдесят два года все еще оставался полковником. Еще вчера Камацубара склонен был рассматривать страх своего начальника штаба перед русскими как преувеличенные опасения неудачника, но сейчас можно было подумать, что Иноуэ оказался предусмотрительней его.

Отстегнув привычным движением и, не глядя, швырнув меч подхватившему его в воздухе денщику, Камацубара сел, медленно выпуская воздух сквозь сжатые губы. Ходьба по крутому склону вызвала у него одышку, но он не хотел показать этого своему сверстнику Иноуэ.

В ответ на вопрос, что нового произошло за последний час, начальник штаба с мрачным видом доложил, что севернее Номун-

Хан Бурд Обо на сторону противника перешел с оружием в руках батальон маньчжурской пехотной бригады.

Камацубара встал, гневным жестом бросил левую руку на рукоять меча, не нашел его и сжал руку в кулак:

— Проклятые китайцы!

Иноуэ пожал плечами, показывая, что он никогда и не ожидал от китайцев ничего хорошего.

— Проклятые китайцы! — повторил Камацубара напряженным и звонким голосом, который у него в минуты гнева делался тоньше, чем всегда, и, подойдя к столу, уже другим, обыкновенным голосом стал вместе с Иноуэ уточнять обстановку по карте.

Считая, что советско-монгольские войска исчерпали свои резервы на второй день боев, Камацубара ошибался не только потому, что был готов к самообману, но и потому, что его подчиненные, донося о громадной убыли в людях, считали необходимым ради поддержания престижа императорской армии сообщать совершенно невероятные цифры потерь русских и монголов.

В этой стихии лжи тонули и здравый смысл, и военный опыт, и робкие попытки посмотреть правде в глаза, и это отражалось на карте, лежавшей перед Камацубарой. Все отрезанные сопки и барханы с их по большей части погибшими гарнизонами обозначались как еще занятые японскими войсками. Самые неблагоприятные донесения трактовались в радужном духе. Большая ложь складывалась из множества мелких и мельчайших обманов. Карта выглядела так, словно все старались уверить друг друга, что ничего не произошло, преуменьшая истинные размеры опасности из боязни заслужить упрек в недостатке самурайского духа.

И, однако, при взгляде даже на эту карту Камацубара застыл на целых пять минут, тяжело опершись на стол сжатыми в кулаки руками. Кольцо, пока еще тонкое, но уже кольцо, в действительности образовавшееся вокруг японских войск два часа назад, не было показано на карте. Но подкова, хотя и нанесенная на карту с уже не существовавшими на деле разрывами, обозначалась так явно, что никакая самоуверенность уже не позволяла ее игнорировать.

— А что здесь? — Камацубара ткнул пальцем в тот пункт на карте, где посланные им в тыл броневики встретились с русскими танками.

— Пока неизвестно, господин генерал-лейтенант,— сказал Иноуэ.

— Но были сведения, что там появились русские танки,— проговорил Камацубара.

— Новых сведений пока нет,— уклончиво сказал Иноуэ.

Они оба играли в прятки друг с другом и оба знали это. Стоя друг против друга по обеим сторонам карты, они думали сейчас об одном и том же: пожертвовав частью войск, завязших на переднем крае, можно было, пока не поздно, пробиться с остальными на восток.

Но, думая об этом, они оба знали, что не скажут этого друг другу: Иноуэ — предчувствуя, что Камацубара все равно упрется и лишь ославит его в штабе Квантунской армии трусом, предложившим отступить войскам императорской армии, а Камацубара — потому, что, проиграв баин-цаганское сражение, он с трудом удержался на своем посту и, готовя генеральное наступление, обещал, что с имеющимися у него силами пройдет без подкреплений всю Восточную Монголию. Он считал, что ему теперь скорее простят гибель войск в бою, чем откровенное бегство из Монголии.

Продолжая стоять над картой, они молча встретились взглядами. Камацубара хотел, чтобы Иноуэ на всякий случай все же высказал вслух свое предложение отступить, а Иноуэ понимал это и молчал.

За дверью блиндажа послышался шум. Дверь открылась, и вошел майор Ногато — начальник разведывательного отдела штаба 23-й пехотной дивизии. Его каскетка была сдвинута набок, одно стекло очков было разбито, а дужка сломана. Отдавая правой рукой честь, он левой придерживал очки.

— Что с вами? — резко спросил Камацубара.

Ногато доложил, что в расположение их дивизии заехал русский танк и провалился в ловушку. Русские танкисты, сняв пулемет, пытались выбраться, но их окружили, двоих убили, а офицера взяли живым.

Ногато говорил все это, продолжая придерживать подрагивавшей рукой сломанную дужку очков.

— Что с вами? — повторил Камацубара свой вопрос, заметив, что щека и надбровье у Ногато были багрово-синими.

— Он ударил меня головой,— сказал Ногато.

— Вызовите переводчика!

Ногато вышел, и вскоре двое солдат ввели пленного. Он был связан, Ногато подталкивал его сзади рукояткой меча. Последним вошел унтер-офицер — переводчик.

Камацубара с интересом смотрел на этого первого взятого за три дня боев в плен русского офицера-танкиста. Пленный был высокий блондин в кожаной куртке и разодранной сверху донизу гимнастерке.

Лицо русского было избито, он имел жалкий вид и стоял, ни на кого не глядя, бессильно уронив на грудь голову. Камацубаре

даже показалось, что плечи русского вздрагивают от рыданий, и он подумал, что такой пленный может многое рассказать.

— Допросите его. Я думаю, он скажет, где в действительности находятся сейчас русские танки,— обращаясь к Иноуэ, сказал Камацубара.

Стоявшего сейчас перед японцами лейтенанта Овчинникова, командира взвода из батальона Климовича, перед тем как привести сюда, долго и жестоко били: сначала вязавшие его японские солдаты, потом — рукояткой меча — офицер, которого он в ответ на пощечину ударил головой по очкам. Он чувствовал себя глубоко несчастным не только потому, что попал в плен, но и потому, что сам был кругом виноват во всем и сознавал это. Бросив свой взвод, он ночью на одной машине вырвался вперед, мечтая первым из всей бригады встретиться в японском тылу с танкистами южной группы. Он знал приказ комбата дожидаться рассвета и чувствовал, что башенный стрелок и водитель молча не одобряли его поступка. Никого не встретив и ничего не совершив, он завалился в какую-то яму. Но даже и тут, вместо того чтобы, как ему предлагали, отсидеться до утра в танке, он приказал снять пулемет, вылезти и пробиваться. И стрелок и водитель были убиты на его глазах, а сам он, даже не успев выстрелить, был схвачен набросившимися из темноты японцами.

Его подчиненные были мертвы по его вине. А он, к своему несчастью, был еще жив и стоял перед японцами, требовавшими у него ответа на то, на что он им все равно не ответит, и, значит, умрет, потому что, хотя он очень боится смерти, другого выхода у него нет.

Пока его везли сюда, связанного и переброшенного, как тюк, поперек лошади, он всю дорогу, не сдерживаясь, плакал,— японцы все равно не видели этого. Он и сейчас не переставал ужасаться самому страшному — никто никогда не узнает, что было с ним в последние часы жизни.

— Если вы не будете отвечать мне, вы не остаетесь живы, вы будете ка́знены,— старательно, уже в третий раз, повторил переводчик, делая сильное ударение на первом слоге. Слово «ка́знены», с ударением на первом слоге, Овчинников сначала даже не понял, но потом, поняв, продолжал молчать.

Переводчик по приказанию Иноуэ еще раз повторил вопрос: «Где имеют нахождение русские танки?» Пленный продолжал стоять, уронив голову на грудь. Его удрученная поза все еще вселяла в Камацубару уверенность, что русский вот-вот начнет отвечать.

— Поднимите ему голову,— сказал Камацубара: он хотел посмотреть в глаза танкисту.

Майор Ногато четким шагом вышел вперед, отстегнул меч и коротким ударом рукоятки в подбородок вздернул голову пленного.

Теперь русский, подбородок которого был подперт рукояткой меча, стоял перед Камацубарой с высоко вздернутой головой; один глаз у него был голубой, с подрагивавшим веком, другой — багровый и вытекший.

Иноуэ еще раз приказал перевести пленному, что если он не начнет отвечать, то будет сейчас же казнен. Танкист продолжал молча, одним глазом смотреть на Камацубару, который вдруг с раздражением понял, что вся история с допросом была с самого начала пустой тратой времени.

— Выведите! Отдаю его в ваши руки! — сказал Камацубара, прерывая на полуслове начавшего снова болтать что-то по-русски переводчика и обращаясь к Ногато.

Майор Ногато опустил меч, но Овчинников не уронил снова голову на грудь, а продолжал держать ее поднятой, как держал до этого. Постояв так секунду, он глубоко вздохнул и сам повернулся к выходу.

Майор Ногато вышел вслед за ним, все еще продолжая левой рукой придерживать дужку очков и толкая пленного в спину рукояткой зажатого в правой руке меча.

Когда они вышли, Камацубара с минуту молча прислушивался. Выстрела не было слышно.

— Зарубил мечом,— сказал Иноуэ.— Он хорошо фехтует. Помните казнь в Баодине? — И он усмехнулся, вспомнив багрово-синюю щеку Ногато и его разбитые очки.

Начальник разведотдела полковник Шмелев, долговязый блондин с лохматой головой и длинным, умным, насмешливым лицом, сидел, по-азиатски поджав под себя ноги, в маленькой палатке, на скорую руку разбитой между заночевавшими в степи танками.

Отрывая жесткие, перегоревшие стебли травы, Шмелев перекручивал и ломал их в пальцах. Свеча, укрепленная поверх брошенной на землю набитой захваченными документами полевой сумки Шмелева, освещала внутренность палатки, в которой, кроме Шмелева, находился сейчас всего один человек — унтер-офицер из перешедшего на нашу сторону маньчжурского батальона.

Отправленный командующим в первый день наступления на высоту Палец с приказанием не возвращаться, пока она не будет взята, Шмелев уже третьи сутки находился в танковой бригаде Сарычева. Шмелев обладал достаточной личной храбростью, чтобы

не испугаться неожиданного приказания,— на протяжении всего штурма высоты Палец он был в бою, под пулями и снарядами, и это страшило его гораздо меньше, чем возвращение в штаб и предстоящая встреча с командующим, которая, по мнению Шмелева, не предвещала ничего доброго. С высотой Палец вместо суток провозились трое: она была укреплена сверх всяких ожиданий, и в этом просчете были виноваты Шмелев и его разведка.

Отчасти в азарте боя, а отчасти из желания попозже попасть на глаза командующему, Шмелев после падения высоты Палец двинулся на своем маленьком пулеметном бропевичке дальше вместе с танкистами.

Узнав, что маньчжурский батальон с оружием в руках перешел на нашу сторону и сдался танкистам, Шмелев сразу же приехал на место происшествия, обрадованный не только самим событием, но и тем, что оно задним числом оправдывало его самовольное пребывание у танкистов.

Разговаривая с китайскими солдатами, Шмелев обратил внимание на одного унтер-офицера. Судя по оттенку уважения, с которым к нему относились, он, очевидно, был вожаком. В конце общего разговора этот унтер-офицер подошел к Шмелеву и тихо попросил его поговорить отдельно.

Сейчас он сидел напротив Шмелева и медленно, с удовольствием курил папиросу. На его лице попеременно изображались усталость и наслаждение.

Унтер-офицера звали Лю Чжао; он уже ответил на все вопросы Шмелева, касавшиеся окруженных японских войск, и сейчас Шмелев, засунув свою толстую потрепанную записную книжку в карман, просто сидел и разговаривал с ним о нем самом.

По словам Лю Чжао, он был одним из коммунистов, посланных харбинской партийной организацией в войска Маньчжоу-Го, чтобы вести в них антияпонскую пропаганду.

Распоров подметку своего порыжелого солдатского ботинка, китаец вытащил оттуда узкую полоску рисовой бумаги с несколькими рядами крошечных иероглифов и маленькой красной китайской печатью. С трудом разобрав иероглифы, Шмелев, усмехнувшись, сказал, что лежать на койке, рядом с которой стояли эти ботинки, значило каждую ночь спать рядом со своей смертью.

По лицу Лю Чжао промелькнула тень улыбки, и он ответил, что в их казармах не было ни коек, ни маньчжурских капов — только земляной пол и дырявая крыша.

— Кроме того, я хорошо служил.— Китаец с презрительным жестом коснулся своих унтер-офицерских нашивок.— За весь год, до сегодняшнего дня, не имел ни одного замечания.

— А подозрения?

Лю Чжао ответил, что японцам трудно было подозревать кого-нибудь одного, потому что они подозревали всех китайцев, даже офицеров.

— И это не так глупо с их стороны,— добавил он.— Командир моей роты перешел вместе с нами. Хотя он из феодальной семьи и служил в войсках еще при Юань Ши-кае, а потом был в охране Чжан Цзо-лина и вообще,— китаец сдержанно улыбнулся,— является старым негодяем.

— А почему он перешел?

— Когда иностранцы оккупируют страну, у разных людей оказываются разные поводы быть недовольными. Десять дней назад, в Джинджин Сумэ, японский инструктор избил господина командира роты той же самой бамбуковой палкой, которой господин командир роты бил нас.

И Лю Чжао снова улыбнулся своей сдержанной улыбкой. Пережитое им за последние трое суток с трудом могла выдержать психика даже сильного телом и духом человека. Однако, хотя он уже давно не спал, он не испытывал физической усталости; наоборот, ему хотелось, чтобы этот разговор длился бесконечно.

Сидевший перед ним советский полковник объяснялся по-китайски на северном, родном для Лю Чжао диалекте; вопросы полковника говорили о том, что он жил в Китае и знает его. И это создавало чувство дополнительной близости между ними обоими.

Разговаривая с китайским коммунистом, Шмелев вспоминал время своей службы в Китае помощником военного атташе при правительстве Чан Кай-ши. Как много он видел за эти годы торопливых и наглых воров в генеральских мундирах и как редко ему, в силу своего официального положения, приходилось говорить с такими людьми, как этот сидевший перед ним солдат...

«Эх, товарищ Лю, товарищ Лю! — хотелось сейчас сказать Шмелеву, глядя на сидевшего перед ним китайца.— Сколько еще придется пережить тебе и твоим товарищам, прежде чем вы свернете шею своим китайским колчакам и врангелям! Доживешь ли ты до этого?»

— Не помешаю вам, товарищ полковник? — спросил Климович, приоткрыв полог палатки.

— Нет, пожалуйста,— сказал Шмелев, который, находясь последние сутки при батальоне Климовича, несмотря на свое старшинство в звании, чувствовал себя в косвенном подчинении у комбата.

Климович сел на землю, спросил у Шмелева разрешения закурить, вытащил из пачки последнюю, смятую папиросу, оторванным от мундштука кусочком папиросной бумаги подклеил ее и с наслаждением затянулся.

Пешие разведчики еще не вернулись с донесением, но взвившаяся в двух километрах к югу условная зеленая ракета сигнализировала, что разведка встретилась с танками бригады Махотина. Климович уже отдал приказания и зашел лишь на секунду — сказать, что пора складывать палатку, потому что с первыми лучами рассвета танки начнут дальнейшее движение,— но, увидев, что Шмелев еще не закончил разговора с китайцем, решил посидеть и покурить несколько оставшихся до выступления минут.

Китаец и Шмелев вновь оживленно заговорили по-китайски; Климович с интересом прислушивался к звукам чужого языка. Он знал, что Шмелев, которому на вид нет и сорока, успел навоеваться еще в гражданскую и получить контузию, из-за которой он, разговаривая, то и дело подмигивает левым глазом, словно иронически приглашая собеседника помолчать и послушать, что будет дальше. На щегольской габардиновой гимнастерке полковника поблескивал новенький орден Красного Знамени, полученный им за выполнение особых заданий правительства. В то же время безрассудная храбрость, которую Шмелев несколько раз без всякой нужды проявлял на глазах Климовича, то под огнем вылезая из своего броневичка, то обгоняя на нем танки, вызывала у Климовича чувство осуждения,— в такие минуты Шмелев казался ему человеком слишком легкомысленным для своего звания и должности.

Минувшая ночь была тревожной. Климович чувствовал тяжесть свалившейся на него особенной, из ряда вон выходившей ответственности, от которой люди устают сильнее, чем от самой тяжелой работы. Его растянувшиеся в степи танки всю ночь стояли с орудиями и пулеметами, обращенными и на запад, в сторону окруженной японской группировки, и на восток, в ожидании возможного встречного удара японцев извне, из Маньчжурии.

Ночь стояла непроглядная, а людей, кроме экипажей танков,— кот наплакал: одна неполная рота, которая ехала за танками на грузовиках, а сейчас была рассыпана по степи в охранении. Если бы японцы решили прорываться среди ночи, то, в сущности, Климович мог рассчитывать только на танки, которые ночью слепы. Он поставил в охранение всех, кого мог, и сам всю ночь обходил посты, больше всего боясь, чтобы японцы не подкрались к танкам и не сожгли их.

На западе внутри кольца всю ночь била артиллерия, а на востоке, за маньчжурской границей, стояла мертвая опасная тишина.

Три часа назад командир взвода лейтенант Овчинников, нарушив приказание, ушел на танке в юго-западном направлении и не

вернулся. Климович послал людей на розыски, но разведчики почти сразу же наткнулись на японцев.

Исчезновение Овчинникова подчеркивало опасность положения, в котором до рассвета оказались танки. То, что экипаж Овчинникова даже ни разу не выстрелил, предвещало беду.

Беспокоили Климовича и китайцы. Среди ночи он не решился отправить их кружным путем в тыл. А сейчас, с рассветом, опасался, что в случае японской атаки они окажутся в голой степи между двух огней. Он приказал накормить их из неприкосновенного запаса и на всякий случай велел им рыть окопы.

Все это продолжало заботить Климовича, одновременно и с облегчением и с тревогой думавшего, что вот-вот начнется рассвет. Поглядев на часы, он уже собрался сказать Шмелеву, что сейчас они снимут палатку и начнут движение, когда снаружи раздался знакомый голос Сарычева:

— Где же, наконец, комбат? Ведете-ведете и никак не доведете!

Поспешно выйдя из палатки, Климович увидел около нее Сарычева и своего заместителя Коровина.

— Товарищ комбриг...— начал было рапортовать Климович.

— Коровин уже доложил. А вот тебе могу доложить, что пехоту привел с собой. Рад? — прервал его Сарычев.

— Еще как, товарищ комбриг! — со вздохом облегчения сказал Климович.

— Двадцать пять километров за ночь отшагали! Это после боя! Подумать только! — возбужденным и счастливым голосом сказал Сарычев и вдруг озабоченно спросил: — Полковник Шмелев не у тебя? Куда он делся?

— Здесь я,— сказал Шмелев, выходя из палатки.— Что там такое?

— Командующий вас разыскивает. Велел доставить живого или мертвого.

— Сильно ругался? — спросил Шмелев.

— Да, подходяще! «Что, говорит, он к японцам, что ли, от меня с перепугу удрать решил?»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Шли уже седьмые сутки наступления, а Климович все еще был цел, не ранен и даже не поцарапан, несмотря на двадцать танковых атак, в которых он принимал участие. Он успел забыть о легком ранении, полученном при Баин-Цагане, и казался себе неуязвимым.

Выйдя на маньчжурскую границу, бригада простояла там день, пока не подтянулись пехота и артиллерия. После этого танкистов побатальонно придали стрелковым полкам, штурмовавшим узлы японской обороны внутри кольца. Окруженные японцы все еще занимали район пятнадцать километров в длину и десять в поперечнике и удерживали в своих руках большие сопки — Зеленую, Песчаную, Ремизовскую — и несколько сот мелких.

Японцы дрались с ожесточением и не сдавались в плен. Все происходило так, как и должно было происходить в условиях, когда хорошо обученная пехота, пережив первый ошеломляющий удар, но все еще располагая после этого сотнями орудий, минометов, пулеметов и боеприпасами, осталась в окружении, тщательно и заблаговременно зарывшись в землю и ежедневно получая по радио и через голубиную почту обещания, что ей придут на помощь.

А помощь казалась близкой: 24, 25 и 26 августа в окруженной группировке все время слышали доносившийся с востока гул боя; пытаясь прорвать кольцо окружения извне, японцы наспех бросали в лобовые атаки все, что было у них под руками в Западной Маньчжурии вблизи границы: пехотную бригаду, несколько отдельных батальонов и даже полк железнодорожной охраны.

Только к вечеру 26-го, когда остатки этих частей отступили в глубь Маньчжурии, на границе установилась тишина.

Тем временем внутри кольца мы каждый день отрезали от пространства, занятого японцами, все новые ломти изрытой окопами и блиндажами, изъязвленной воронками и заваленной трупами земли.

Окруженную японскую группировку пробовали, как металл, и на разрыв и на сжатие. Танкистам приходилось мириться с тем, что, прорвавшись в первые три дня на сорок — шестьдесят километров, теперь надо было сутками возиться из-за километра или пятисот метров, из-за одного или двух барханов, так перепаханных артиллерией, что казалось, на них нет живого места, и, однако, продолжавших отплевываться минами и пулеметными очередями.

Те несколько квадратных километров, которые занял 117-й стрелковый полк при поддержке батальона Климовича, были отмечены мрачными вехами сгоревших танков.

Перед началом наступления у Климовича было двадцать семь танков. За дни прорыва он потерял всего пять, а за последние дни, выдавливая японцев из барханов вокруг сопки Песчаной,— девять.

Понимая всю сложность борьбы в этой идеально приспособленной к обороне, холмистой, песчаной, изрытой как кротами местности, он все-таки никак не мог свыкнуться со своими поте-

рями, примириться с тем, что сегодня днем в бою за безымянный песчаный бархан, имевший каких-то несчастных двести метров в поперечнике, у него сгорело два танка и в одном из них — весь экипаж. Сгорели три человека, которых он знал по именам, отчествам и фамилиям, знал с их достоинствами и недостатками, с их дружбой и с их дисциплинарными взысканиями, с их письмами домой и с их вопросами на политзанятиях. Сгорели три человека, которых он учил три года, и сгорели не на улицах фашистского Берлина или самурайского Токио, а здесь, у этого песчаного бархана, похожего на тысячу других точно таких же песчаных барханов и отличающегося от них только тем, что теперь он будет фигурировать в донесениях как бархан с сожженным танком.

Сегодня утром из штаба бригады прибыл на броневичке связной, привез очередное приказание и сообщил, что Сарычев ранен осколком мины в шею,— правда, легко, из строя не вышел.

— Вот и Сарычев ранен,— проговорил Климович, когда броневичок отъехал и скрылся из виду.

В первый раз за все время он подумал о собственной неуязвимости со смешанным чувством удивления и неясной тревоги. Однако долго думать об этом ему было некогда — через полчаса начиналась атака.

Эта атака была второй за день; она закончилась взятием двух маленьких барханов. Потом была третья атака, неудачная, еще на один бархан, та самая, во время которой японские смертники, пользуясь моментом, когда пехота отстала, сожгли два танка бутылками с бензином. Под вечер состоялась четвертая атака. Злополучный бархан был взят, и японцы перебиты,— их оказалось немного, меньше ста, но двадцать из них — офицеры. Теперь впереди оставались невзятыми только два высоких горба сопки Песчаной.

В восьмом часу вечера начинало понемногу смеркаться. Оставив на передовой два танка, Климович отправил остальные в тыл заправляться, а сам пошел на новый наблюдательный пункт, к командиру полка Баталову. До наблюдательного пункта предстояло пройти метров восемьсот; он находился на только что взятом бархане, где сегодня сгорели два танка Климовича: один, задрав к небу пушку, маячил на самой вершине бархана, а другой, зарывшись пушкой в песок, стоял у подъема.

Чтобы добраться до наблюдательного пункта, Климовичу непременно надо было пройти мимо этого своего танка, в котором заживо сгорели башенный стрелок и механик-водитель, а командира танка старшину Михеева увезли в госпиталь с такими ожогами, что Климович, содрогнувшись, подумал: он сам не знает, чего теперь пожелать красавцу Михееву — выжить или умереть...

Впереди, все еще не засыпая, как дятлы, стучали и стучали пулеметы. Закат предвещал на завтра ветер и, значит, тучи песка, пыли и плохую видимость через триплексы.

Однако думать о завтрашнем дне было рано: впереди — ночь, а полковник Баталов вполне способен потребовать, чтобы танки поддержали его полк и в ночных атаках.

Баталов до сих пор еще ни разу не требовал этого, но расстроенный дневными потерями Климович представил себе такую возможность и долго не мог успокоиться: разве танки приданы Баталову для того, чтобы их все пожечь?

Позади Климовича свистнула пуля. Больше не стреляли, но он все же ускорил шаги, стараясь поскорей миновать небольшую открытую лощинку.

Сзади снова свистнула пуля, и почти сразу же вслед за ней другая. Кто-то стрелял по нему,— может, какой-нибудь притворившийся трупом раненый японец, который, подложив под себя карабин, лежит в степи и дожидается ночи, чтобы добраться к своим.

Было бы разумнее проползти оставшиеся двадцать шагов, но стреляли издалека, неизвестно откуда, и Климовичу не хотелось ложиться на живот и ползти под этими одиночными выстрелами. Он только ускорил шаг, чувствуя, как по спине пробегает неприятный холодок. Глупей всего после стольких боев получить случайную пулю в спину.

Миновав простреливавшееся место и с облегчением переведя дух, Климович стал вкось подниматься по склону бархана.

Склон был сплошь изрыт глубокими круглыми японскими окопами: всюду виднелись воронки и следы гусениц. В одном месте Климовичу показалось, что это следы его собственного танка, что два часа назад он именно здесь разворачивался после атаки. Он вспомнил подробности пейзажа, который в дыму и взвихренном песке недавно видел сквозь смотровую щель.

Если так, то немного левей должны быть остатки японской артиллерийской позиции. Там он раздавил одну пушку, а другая так и не стреляла: то ли не было снарядов, то ли ее подбили раньше.

Так и есть. Вон из песка торчит изуродованное колесо, а рядом наши артиллеристы устанавливают на закрытых позициях гаубичную батарею.

Увидев артиллеристов, Климович не стал подходить к ним ближе, но почувствовал в душе облегчение от присутствия людей на этом мертвом поле. Хотя это и было поле выигранного боя, но все равно тоскливо, когда идешь по таким местам один, видя только убитых, да обломки оружия, да разные разбросанные

предметы, которые вовсе ни к чему мертвым. На ногах убитых японцев обмотки и резиновые тапочки, похожие на варежки, — четыре пальца вместе и большой отдельно. Некоторые трупы уже успели вздуться, и ноги в этих странных тапочках напоминали страшно распухшие вторые руки.

На середине подъема Климовичу встретился старшина-артиллерист, без пилотки, обросший недельной бородой, потный и бледный. Рукава гимнастерки у него были засучены до локтей, и обе руки с забинтованными кистями лежали на двух перекинутых через шею лямках. Он нес эти руки перед собой, как двух детей, и шел под гору осторожно и медленно.

— Когда вас ранило? — спросил Климович, всегда говоривший «вы» бойцам и младшим командирам.

— Еще днем,— сказал старшина, останавливаясь.— Миной. Обе сразу.

— Что, поотрывало пальцы?

— Нет, только поковеркало.— Старшина морщился и двигал мускулами лица, пот со лба натекал ему на глаза.

Климович вытащил из кармана черный от пыли платок и вытер старшине лицо.

— Что ж так, ранило днем, а только сейчас идете? — спросил он, пряча платок.

— Батарею не хотел до ночи оставлять, все, кто побольше меня, из строя вышли. Я со вчерашнего дня батареей командовал.

— Справлялись?

— Отчего же не справляться? — с вызовом сказал старшина.— В полковой школе был да здесь семь дней академию проходил. Нет ли у вас закурить, товарищ капитан?

И Климович понял, почему раненый так охотно остановился.

— Закурить есть.— Климович вынул жестяную коробку, заменявшую ему портсигар, и дал папиросу старшине, жадно потянувшемуся к ней губами.— Берите правей,— сказал, зажигая спичку, Климович,— а то лощина простреливается.

— Ничего, как-нибудь перекурим это дело,— сказал старшина, но все-таки свернул вправо, как советовал ему Климович.

«Конечно, и у них тоже потери большие»,— подумал об артиллеристах и пехотинцах Климович, продолжая подниматься на бархан.

Но даже и эта мысль не смягчила его все нараставшее раздражение против командира стрелкового полка. Климович делил свои потери на те, что он должен был понести и понес, потому что без этого нельзя было обойтись, и на те, что он понес из-за плохого взаимодействия с пехотой. Оба сегодняшних танка, по убеждению Климовича, могли бы и не сгореть, если б пехота с

самого начала шла за танками вплотную, как она ходила потом, когда взяли этот бархан.

Если бы пехота не отстала, японцы не смогли бы ни подсунуть на бамбуковых шестах мины под гусеницы, ни закидать потом танки бутылками с бензином. В том, что взаимодействие не было организовано в бою с самого начала, Климович винил полковника Баталова и весь день кипел желанием высказать ему это.

На гребне бархана, куда взобрался Климович, еще недавно был узел японской обороны. Вниз во все стороны змеились ходы сообщения; там, где тяжелый снаряд прямым попаданием угодил в один из блиндажей, как рассыпанные спички, валялись бревна и зияла большая черная дыра.

Крытый бетонными плитами коридор вел к блиндажу, где теперь помещался наблюдательный пункт,— очевидно, он служил японцам убежищем во время артиллерийских налетов. Сюда они сползались из ближайших окопов. Песок был повсюду в темных пятнах.

— Где командир полка? — спросил Климович у часового, стоявшего при входе в блиндаж.

Красноармеец ответил, что командир полка пошел в батальоны и скоро вернется.

Климович остановился, оглядывая расстилавшуюся панораму.

Почти совсем стемнело. Бой начинал стихать. На фоне черно-фиолетового неба виднелась седловина Песчаной сопки с двумя горбами. Ближний горб был метрах в семистах, дальний — километрах в полутора. На обоих горбах еще сидели японцы.

Климовичу захотелось посмотреть еще и на невидимую отсюда Ремизовскую сопку. Он свернул в ход сообщения; в конце его на земляной скамеечке сидел за перископом наблюдатель. Когда Климович поставил ногу на земляную скамейку и захотел подняться над бруствером, красноармеец схватил его за руку:

— Снайперы бьют, товарищ капитан...

— Темно, не разглядят,— сказал Климович, высовываясь.

И действительно, уже настолько стемнело, что ничего нельзя было разглядеть, кроме еле заметно выделявшегося на горизонте гребня Ремизовской сопки. Постояв с минуту, Климович снова спрыгнул в окоп.

Красноармеец был молодой стройный парень с комсомольским значком на чистой и аккуратно заправленной гимнастерке.

— Что, жарко было у вас сегодня? — спросил Климович, встретясь с ним глазами.

— Если бы не ваши танкисты, товарищ капитан, не взять бы нам этой высоты! — убежденно сказал красноармеец.

Вспомнив при этих словах полуживого Михеева, Климович чуть не сказал в ответ то, что было у него на душе: что Михеев со своим экипажем напрасно сгорел из-за плохих действий пехоты.

— Ладно, после победы сочтемся,— удержавшись, сказал он вместо этого.

— Конечно,— с достоинством ответил красноармеец.

Он был чем-то похож на Михеева, такой же рослый, сильный, спокойный, знающий себе цену.

— Скажите, товарищ капитан,— спросил красноармеец,— неужели правда, что мы с Гитлером пакт подписали?

— Кто это вам сказал?

— Говорят, сегодня по радио передавали.

— Что за пакт?

— О ненападении.

— Не знаю. Врут, наверное,— сказал Климович и прошел в блиндаж.

У входа, на полу, пристроился телефонист, а в дальнем углу сидел незнакомый майор и, сгорбившись, что-то писал. Перед ним стояла наполовину оплывшая свечка, а с двух сторон возле локтей — две тонкие жестяные подставки с вдетыми в них тлевшими с одного конца зелеными спиральками — трофейным японским средством от комаров.

— Здравия желаю! — сказал Климович, входя.

— Здравствуйте.

Незнакомый майор повернул голову, близоруко сощурился, попытался разглядеть Климовича, но, так и не разглядев, отвернулся и продолжал писать.

Климович прошелся несколько раз по блиндажу и сел у стены, напротив майора.

Пилотка на голове у майора сидела нескладно, вкось, и лицо у него было некрасивое, худое, с длинным носом. Писал он быстро и мелко, большим черным автоматическим пером, крепко зажатым в худых пальцах, и при этом так низко нагибался, что казалось, водил своим длинным носом по бумаге. Петлицы, как теперь разглядел Климович, у него были темно-зеленые, не то докторские, не то интендантские.

— Курить хотите? У меня «Борцы» есть,— сказал майор, не отрываясь от писания.

— Давайте, если есть,— охотно отозвался Климович. «Борцы» были самые хорошие из всех папирос, попадавших на фронт.

Майор, продолжая писать, молча вытащил из кармана коробку папирос и положил рядом со свечкой. Так, не разгибаясь, он

писал еще минут пять, потом завинтил перо, надел лежавшие перед ним на столе очки и стал бесцеремонно разглядывать Климовича.

Интендант второго ранга Лопатин уже седьмые сутки, с первого дня наступления, почти безотлучно находился в 117-м стрелковом полку, отсылая свои статейки в газету с приезжавшей каждый вечер редакционной «эмкой».

Лопатин в некоторых вопросах был человеком неумолимой аккуратности. Отправив очередную корреспонденцию, он ежедневно, уже после этого, записывал в свой блокнот десять или двадцать строчек под заголовком: «Главное за день»,— то, что произошло за день на участке полка, с прибавлением некоторых собственных, казавшихся ему существенными мыслей.

За 20-е число — первый день наступления — рядом с изложением хода дела в блокноте у Лопатина было записано:

«Никого из красноармейцев не поражает наше преимущество в авиации, артиллерии и танках. Все считают, что так оно и должно быть.

Вечером, после боя, красноармеец, работавший до призыва на Сталинградском тракторном, хваля танкистов, стал говорить о пятидесяти тысячах тракторов в год в одном Сталинграде. А еще ХТЗ, а еще ЧТЗ!»

21-го вместо записей в блокноте была грубо начерчена схема полосы наступления полка, а 22-го было написано:

«Баталову позвонили из штаба дивизии; наши как будто уже соединяются позади японцев. Я обрадовался, а Баталов сказал, что теперь-то и начнется самая молотня: японцам и убежать некуда и сдаваться не приказано, значит, будут драться. Я спросил, чего он хмурится,— таков ведь и был план. «План планом,— сказал он, — а людей жалко. Понесу большие потери». Потом помолчал и сказал: «Вы здесь один как перст, а у меня, кроме семьи в Чите, всё здесь, в полку, все мои друзья, товарищи и знакомые. Вот прикиньте-ка это на себя, что часть из них вы завтра или послезавтра неизбежно должны потерять. Не вообще людей, а именно из ваших друзей и товарищей».

Я стал спорить с ним, что в его словах есть противоречие. Баталов долго слушал, а потом сказал: «Вы мне про советских людей *вообще* не рассказывайте. Я потому, может быть, в армии служу, что *вообще* всех советских людей люблю, но уж оставьте мне право, пока меня в другой полк не перевели, любить свой полк более всякого другого. И никакого тут противоречия нет, имейте в виду!»

Он так рассердился, что ушел в батальон один, хотя до этого обещал взять меня с собой».

23-го, после описания боевых действий полка, следовала всего одна фраза: «Потери сегодня не такие большие. Баталов веселый».

24-го в блокноте стояло: «Был в штабе дивизии. Говорят, что из главных укрепленных высот остались невзятыми три: Песчаная, Зеленая и Ремизовская, но зато на них на каждый метр по японцу. Ночью лежал в окопах с бойцами, и был такой разговор. (Над головой прошли в сторону границы наши ночные бомбардировщики.)

— ТБ-3 пошли! Бомбить Джинджин Сумэ.

— Почему Джинджин Сумэ?

— У них там тылы стоят.

— А может, прямо на Харбин или на Чаньчунь пошли? Там у них главнейший штаб, говорят.

— Едва ли туда пойдут.

— А почему? Все равно воевать!

— Воевать, да не все равно. Еще прицепятся — общую войну начнут!

— Уже прицепились!

— Это еще не прицепились, это еще думают. Мы им тут пить даем! А они думают — воевать дальше или нет?

Потом после молчания тот же задумчивый голос сказал рассудительно:

— Гитлер меня беспокоит...

Я ожидал, что кто-нибудь пошутит, но никто не пошутил. Все долго молчали».

25-го Лопатин записал:

«Мы привыкли каждый день к вечеру заново устраивать и командный и наблюдательный пункты полка в захваченных японских блиндажах. Это уже традиция. Едва устроились сегодня, как пришел секретарь дивизионной партийной комиссии, и тут же, около командного пункта, заседали и приняли в партию трех красноармейцев и заместителя Баталова по строевой части майора Худякова. Я не думал раньше, что он беспартийный. Он волновался и долго объяснял, почему раньше не вступал в партию, хотя его об этом не спрашивали. Оказывается, он из студентов. В мировую войну — прапорщик. В гражданскую — командир роты. У всех на лице было одно и то же выражение: «Мы же тебя знаем, чего ты так долго рассказываешь?» Но никто его не перебил, несмотря на то что японцы изредка побрасывали мины».

Запись, которую Лопатин сделал сегодня, по стечению обстоятельств касалась как раз Климовича, верней — потерь, понесенных его танкистами. Запись начиналась словами: «Баталов весь день рвал и метал...»

На Лопатина, который почти весь этот день не отходил от Баталова, произвело глубокое впечатление то, как Баталов переживал, когда два вырвавшихся вперед танка на глазах у всех были забросаны бутылками с бензином, как он потом сам поднимал и поднял людей в атаку и как после взятия сопки вдвоем со своим комиссаром Саенко стыдил командира батальона Красюка, непосредственного виновника дневной неудачной атаки.

Красюк стоял перед Баталовым мрачный и очень усталый. Разноса он не боялся, потому что весь день после неудачной атаки был под пулями, сделал все, что мог, знал это и знал, что Баталов это знает.

Днем, придя в батальон сразу после атаки, Баталов для пользы дела обуздал свой гнев и только, скрипнув зубами, молча провел по лицу Красюка таким взглядом, что того ожгло, как крапивой. Теперь, когда Красюк за день не ухудшил, а, наоборот, выправил положение, он, в сущности, мог уже не бояться гнева командира полка. Но Баталов умел стыдить, и Красюку было мучительно стыдно, несмотря на усталость и до дна испитую им чашу всех, какие только можно вообразить, смертельных опасностей.

— Ты на меня не смотри,— говорил Баталов,— мы еще с Саенко свое от командира дивизии получим. Нам еще с Саенко придется в глаза танкистам смотреть. Ты мне скажи: кто днем танки сжег?

— Кто сжег? Японцы сожгли,— зная, что последует, но принужденный отвечать, угрюмо сказал Красюк.

— Нет, ты сжег,— сказал Баталов то самое, чего и ждал Красюк. — Ты батальон в атаку не поднял?

— Я не поднял,— как эхо, повторил Красюк.

— Вот и сжег. Где твой стыд? Где твоя совесть?

— Я сам сегодня одними убитыми девятнадцать человек потерял,— с сердцем сказал Красюк.

— И своих столько не потерял бы, если бы днем тех танков не сжег,— безжалостно сказал молчавший до сих пор Саенко.

Эти слова доконали Красюка. По его щекам покатились две слезы. Он тут же вытер их раненной в первый день боев, забинтованной рукой и снова продолжал неподвижно стоять, руки по швам. Только видно было, как у него тихонько подрагивают кончики пальцев.

Наблюдавший эту сцену Лопатин уже готов был в душе осудить Баталова и Саенко. Ему казалось, что нельзя так жестоко говорить с человеком, который пусть ошибся, но потом весь день воевал, не щадя жизни, и будет рисковать все одной и той же своей жизнью и завтра и послезавтра.

— Хорошо сегодня дрались твои люди,— сказал Баталов, и

эта фраза была как отпущение грехов, вслед за которой они все трое — Баталов, Саенко и Красюк — пошли в батальон к Красюку.

Накоротке, уже при Климовиче, записав этот происходивший час назад памятный разговор, Лопатин стал рассматривать сидевшего напротив него капитана, которого он, кажется, где-то уже видел.

Капитан был невысокий, широкогрудый, в серой танкистской гимнастерке; из-за пыльного голенища у него торчали рукоятки сигнальных флажков, а на бритой голове была чистенькая, наверное севшая после стирки, слишком маленькая, похожая на детскую, тропическая панама. Их носили здесь многие, и Лопатин привык к их виду, но на голове капитана эта детская панамка выглядела удивительно некстати и никак не вязалась с его усталым лицом и злыми желваками на скулах.

«Ну конечно же, он командир приданного полку танкового батальона,— вдруг сообразил Лопатин,— и я его уже видел, но только в шлеме и кожанке».

Климович, в свою очередь, как только Лопатин надел очки, вспомнил, что видел его у Баталова в первый день их совместных действий, и ему тогда сказали, что это Лопатин, писатель, корреспондент армейской газеты.

— Что смотрите на меня, товарищ корреспондент? — спросил Климович, поколебавшись — как обратиться к Лопатину? Если назвать интендантом — может обидеться; назвать же Лопатина товарищем писателем Климович не стал, потому что к слову этому относился с уважением, а произведений Лопатина не читал.

— Вы командир танкового батальона? — спросил Лопатин. — Да?

У него была привычка забегать с этим быстрым вопросительным «да?».

— Так точно,— коротко и неприветливо ответил Климович, вспомнив о своих сожженных танках и предстоящем разговоре с Баталовым. Он подумал, что Лопатин начнет сейчас задавать ему вопросы о действиях танкистов.

Но Лопатин ничего не спросил. Он зажег взамен догоревших две новые зеленые противокомариные спиральки и, зябко поеживаясь, прислонился к стене блиндажа.

— Холодноватые тут вечера.

— Довольно-таки холодные,— все так же неприветливо согласился Климович, принимая слова Лопатина за подход к расспросам.

Но Лопатин хорошо понимал причину молчаливости капитана и не собирался вызывать его на разговор о сожженных сегодня танках.

— Вы откуда родом? Не из Белоруссии? — спросил он вместо этого.

— Из Белоруссии. Только жил там мало. В двадцатом году родители разом померли от тифа. И пошел беспризорничать. До Ташкента доехал, как у Неверова. А вы почему спросили?

— Немного по говору чувствуется.

— Значит, с детства въелось.

— А с тех пор не были в Белоруссии?

— Нет. То есть был, стоял по гарнизонам, но это уж другой говор — армейский.

— Вот, кажется, и Баталов,— сказал Лопатин, услышав голоса у входа в блиндаж и подымаясь.

Климович тоже поднялся и, оправляя гимнастерку, еще раз подумал, что выскажет в лицо Баталову все, до конца.

Но вместо Баталова в блиндаж вошел его заместитель, майор Худяков, в каске, в накинутой на плечи и завязанной у горла плащ-палатке. Он быстро пересек блиндаж и, словно не замечая Лопатина, даже толкнув его, сел рядом, устало бросив на стол обе руки, потом рассеянно посмотрел на свечу, на Климовича, на Лопатина и сказал: «Баталова убили»,— голосом, в котором само отсутствие всякого выражения обозначало высшее отчаяние. «Убили»,— еще раз сказал он, встал и пошел по блиндажу обратно, но у выхода повернул и быстро заходил взад и вперед.

Лопатин посмотрел на капитана-танкиста, словно приглашая его узнать то, о чем сам спросить был не в силах: как убили Баталова?

Но Климович молчал и ничего не спрашивал.

— Пуля в сердце,— наконец остановившись, сказал Худяков, сам отвечая на никем не заданный, но живший в блиндаже вопрос.

Что-то грохнуло. Это телефонист уронил телефонную трубку.

— Пошел вместе с Саенко смотреть местность,— продолжал Худяков,— сам, перед завтрашним боем. Для вас!

Он повернулся к Климовичу и сердито ткнул в него пальцем, как будто тот был в чем-то виноват.

— Искал, где танки смогут пройти. И пуля в сердце. Неизвестно откуда. Дурацкая. Как всегда, когда человек дорогой, так пуля дурацкая,— с ожесточением повторил Худяков, раскашлялся и сел в угол.

— А где Саенко? — тихо спросил Климович.

Худяков, у которого перехватило горло, молча показал рукой на дверь блиндажа.

Климович и Лопатин вышли наружу, в темноту. У входа в блиндаж стояло несколько человек. Лопатин узнал по голосам Саенко и полкового врача.

Саенко и врач стояли на дне траншеи, а наверху, на краю ее, на уровне их плеч, лежало что-то длинное. Лопатин понял, что это тело Баталова.

— Двуколка не может въехать, все перекопано,— сказал в темноте чей-то голос.

— На сколько не доехала? — спросил врач.

— Шагов двести.

— Сейчас снесем,— сказал Саенко и, повернувшись и увидев фигуры Лопатина и Климовича, спросил: — Климович?

— Да.

— И я, Лопатин,— сказал Лопатин.

— Вот какое дело,— просто и печально сказал Саенко.

Он вылез из траншеи, присел на корточки рядом с телом Баталова и посветил на него фонарем.

Мертвое тело Баталова, до горла завернутое в две шинели, так, словно боялись, что ему будет холодно, лежало, вытянувшись, на санитарных носилках. На голове была фуражка. Усы казались особенно большими и черными на побледневшем лице, а на глазах лежало что-то, значения чего Лопатин в первую секунду не понял. Это были положенные вместо медных пятаков два винтовочных патрона.

Саенко снял патроны и поцеловал Баталова в закрытые глаза. Потом, отстранив санитара, сам схватился за ручки носилок у изголовья. Санитары стали вдвоем в ногах.

— Пошли,— сказал Саенко, не обращаясь ни к кому в отдельности.

Врач засветил фонарик и пошел впереди. Лопатин и Климович пошли сзади. Позади них, в темноте, шел еще кто-то, и Лопатин подумал, что это, наверное, ординарец Баталова.

— Вот как, Леша,— полуобернувшись, но не останавливаясь, сказал Саенко. — Все мы смертные. — И тут же сурово прикрикнул на санитаров, которые, перелезая через окоп, чуть не выпустили из рук носилок: — Не спотыкайтесь! Не лошади. Не дрова везем...

Двуколка стояла даже ближе, чем в двухстах шагах. Тело Баталова положили на двуколку, головой вперед. Ординарец сел в ногах.

Саенко больше ничего не говорил. Только, когда двуколка уже отъехала, он крикнул в темноту ординарцу:

— Перегрузишь на машину — сопровождай до медсанбата и возвращайся с той же машиной сюда, ты Худякову нужен!

Сказав это, он повернулся и, сопровождаемый всеми остальными, пошел обратно к блиндажу. У самого входа в блиндаж он отрывисто спросил Лопатина:

— Как там Худяков, очень убивается?

— По-моему, да,— сказал Лопатин.— Да и как же...

Саенко перебил его:

— Это вы мне не объясняйте, это мне тоже понятно. А Худякову командовать надо, полк на себя брать.

Когда они вошли в блиндаж, Худяков сидел за столом и, пригнувшись к стоявшему на табурете телефону, говорил с начальником штаба полка.

— Это, Сергей Сергеевич, мы потом с вами обсудим,— говорил он в трубку,— а пока перебирайтесь на наш НП, а мы на новый уйдем... Ничего не рано. Баталов приказал туда перейти. И я его приказ отменять не собираюсь.— И, хотя он говорил о том, что не собирается отменять приказ, в голосе его прозвучала властная нота.— У меня всё.

Он положил трубку и по старой привычке подчиненного поднялся навстречу Саенко.

— Вот,— словно извиняясь за то, что уже занялся делами, показал он на карту, лежавшую перед ним на столе,— смотрю еще раз обстановку.

— Разрешите сесть? — спросил Саенко, подчеркивая этим, что Худяков теперь командир полка.

— Посмотрел еще раз,— Худяков сел и жестом пригласил сесть остальных,— и кажется мне, что мы Красюку на завтра недодали артиллерии. Надо внести небольшой корректив.

— Где посоветуемся? — спросил Саенко.— Здесь или когда перейдем на новый НП?

— Можно и там.

— Сматывайте связь,— сказал Саенко связисту и встал.

Горевшая на столе свеча бросала снизу неровные желтые блики на его некрасивое, сильное лицо.

— Не пришлось тебе увидеть Баталова. А он из-за твоих танков весь день переживал. Наша с ним вина, извини,— словно выполняя последнюю волю Баталова, сказал Саенко Климовичу и сунул в карманы задрожавшие руки.

Климович встал. Слова и голос Саенко заставили его вспомнить свои мысли, с которыми он шел сюда. Сейчас ему было стыдно за них.

— Завтра отплатим за Баталова, даю слово от всех танкистов! — гневно сказал Климович.

— Отплатим, да не оживим,— сказал Саенко с равнодушием непоправимости. Он сел на скамейку, вытянул из-за голенища пачку экземпляров армейской газеты и, взяв себе одну, бросил остальные на стол.— Почитаем, пока связь тянут.

Он сделал это потому, что все время испытывал потребность говорить о Баталове, а говорить не хотел. Раскрыв газету больше

для того, чтобы заслониться ею, чем чтобы читать, он на первой странице увидел под сводкой боевых действий заметку Лопатина «У сопки Песчаной».

Заметка начиналась словами: «Вчера весь день бойцы Баталова штурмовали подступы к Песчаной сопке».

«И сегодня бойцы Баталова штурмовали подступы к Песчаной сопке,— подумал Саенко, пробежав заметку Лопатина и механически отметив, что в заметке почти все было точно.— И завтра будут штурмовать Песчаную сопку, только без Баталова».

Он подумал о том, как теперь будут писать в армейской газете: по-прежнему «бойцы Баталова», или напишут «бойцы Худякова», или «бойцы Худякова и Саенко»? — и решил позвонить в политотдел, чтобы в редакции этого не делали. «Пусть до конца боев продолжают писать: «бойцы Баталова», тем более что сами они уже привыкли, что их так зовут. А Худяков нисколько не обидится, он не такой человек. И Песчаную сопку пусть, когда она будет взята, назовут Баталовской, как назвали Ремизовскую в июле, когда был убит Ремизов».

Саенко перевернул газету и стал просматривать четвертую страницу, где обычно помещались, как он называл их, «тылы» — небольшие заметки, касавшиеся разных сторон армейского быта. Саенко любил такие заметки потому, что был убежден — не единой войной жив человек и нельзя ему на войне все время долбить только про войну.

Несколько таких заметок было и в этом номере: «Повар спешит на позиции», «Походный магазин на линии огня», «Зубной кабинет на фронте».

Саенко проглядел заметки и вдруг в углу страницы увидел заголовок, который заставил его впервые за последний час забыть, что убит Баталов.

«Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом»,— Саенко еще раз оглушенно прочел заголовок и, опустив руку с зажатой в ней газетой, обвел взглядом всех находившихся в блиндаже.

Лопатин, Худяков и Климович — все трое молча курили. Пачка газет лежала на столе нетронутая.

«Товарищи!» — хотел крикнуть Саенко, но вместо этого, словно не доверяя прочитанному, еще раз медленно, одну за другой, перечел все семь статей договора, начиная с первой, где говорилось, что «обе договаривающиеся стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами», и кончая последней, седьмой, где

было написано, что «договор вступает в силу немедленно после его подписания».

— Товарищ Лопатин,— сказал Саенко, вставая и протягивая Лопатину сложенную пополам газету,— возьмите-ка, прочитайте вслух.

Лопатин рассеянно взял газеты, поискал, куда положить недокуренную папиросу, и, поднеся газету к глазам, замер и долго не начинал читать, так же как Саенко, сначала молча пробежав обе колонки сверху вниз и еще раз — снизу вверх.

— Да! — присвистнул он и начал читать вслух.

Саенко сидел, слушал и все еще не мог заставить себя поверить, что все это, что он сейчас слышит,— в самом деле произошло. Уже шесть лет, с тридцать третьего года, в его сознании армейского политработника жила мысль о том, что существует Германия, а в Германии существует Гитлер, и все это, вместе взятое, есть война, которая безотлучно стоит у наших дверей.

Уже шесть лет Саенко жил с этим сознанием. Он не бывал в отпусках, потому что отпуска отменяли из-за угрозы войны; у него в военном городке была не квартира, а комната, потому что из-за угрозы войны было недосуг строить квартиру для Саенко. Родители Саенко жаловались в прошлом году, что у них на Полтавщине, несмотря на засуху, не снизили хлебопоставки, и Саенко знал: это потому, что существует Гитлер и нужны мобзапасы зерна.

Даже воюя здесь с японцами, Саенко несколько раз за время боев вспоминал о существовании Гитлера с тревогой, которую испытывает человек, знающий, что ему могут выстрелить в спину.

«Да что же это такое? — не в силах представить себе до конца масштабы происшедшего, ошеломленно думал Саенко.— Неужели правда, теперь не будет войны с Германией ни в этом, ни в будущем году, ни все десять лет, о которых сказано в договоре? Весь конец этой и всю следующую пятилетку? А потом...» И он в волнении подумал о том, что у нас будет после двух пятилеток.

— А все-таки дурак,— вслух сказал он о Гитлере.

Лопатин положил на стол дочитанную газету и, внимательно посмотрев на Саенко, сказал, что если Гитлер решил отложить нападение на Советский Союз еще на несколько лет, думая, что он на этом выгадает и станет сильней нас, то он действительно дурак. Но если он вообще решил не нападать на нас, то это не так уж глупо!

— А вы верите в это? — спросил Саенко, разом с ненавистью вспомнив все, что было связано в его представлениях и чувствах с фашизмом.— Лично у меня не укладывается.

Лопатин пожал плечами. Действительно, Гитлер и ненападение — все это как-то плохо укладывалось одно с другим.

— Значит, там, на Западе, войны пока не будет,— сказал Климович, одной короткой фразой выражая то главное, что испытывало, читая в этот вечер газету, большинство людей, уже с мая сражавшихся здесь, на Востоке.

В дверях блиндажа появился ординарец Баталова. У него было бледное, без кровинки, лицо, чувствовалось, что он еле держится на ногах.

— Товарищ майор,— обратился он к Худякову,— можно идти на новый НП: докладывают, что связь протянута.

— Отвез? — спросил Саенко.

— Так точно.

— Ну что ж, пойдем,— сказал Худяков, складывая карту и засовывая ее в планшет.— Вы пойдете с нами или здесь останетесь? — обернулся он к Лопатину.

— Если разрешите, пойду с вами.

Худяков поднялся и, уже сделав несколько шагов к выходу, вдруг остановился, так, словно он что-то забыл, и сказал:

— Вспоминая минувшую германскую войну, хотел бы снова встретиться с немцами только во всеоружии, в абсолютном всеоружии...

Ему показалось, что он и так уже сказал лишнее, и он оборвал фразу, оставив при себе ее вторую, слишком рискованную половину: что хотя мы и бьем сейчас японцев, но, строго говоря, к большой войне, видимо, готовы еще далеко не абсолютно...

Высказав таким косвенным образом свое мнение о пакте, Худяков обвел всех взглядом, коротко махнул рукой и первым вышел из блиндажа, как бы вступая в командование полком. Саенко пропустил его вперед (как он пропустил бы Баталова) и вместе с остальными вышел вслед за Худяковым в изредка пощелкивавшую выстрелами темноту.

К концу дня 27 августа Песчаная сопка была наконец взята со всеми ее отрогами и скатами. Последние часы боя окруженные японцы защищались на таком «пятачке», что и баталовскому полку, взбиравшемуся на сопку с запада, и полку соседней дивизии, наступавшему с востока, пришлось отказаться от помощи артиллерии.

Теперь командные пункты обоих полков размещались на вершине сопки, в семистах метрах друг от друга. В обоих полках считали, что они первыми поставили свой флаг на сопку. Флагов на сопке оказалось два; ее вершина представляла собой не пик, а двурогий длинный гребень, и, очевидно, командиры обоих полков были одинаково правы, утверждая, что их бойцы взобрались на

сопку первыми. Во всяком случае, споры на этот счет не помешали командиру соседнего полка, плотному, рыжему полковнику, прийти обедать к Худякову и Саенко. У запасливого Саенко оказалось полфляги коньяку, а у полковника не было ничего, кроме трофейного сакэ, которое он брезговал пить.

Еще не начинало темнеть, но было уже прохладно,— небо затянуло тучами, и сдуваемый с лысых бугров песок с быстрым шорохом несся по склонам сопки.

Худяков, Саенко, Лопатин и рыжий полковник сидели вчетвером на гребне сопки, в круглой яме, обложенной мешками с песком. Из этой ямы в последние часы стреляла последняя японская пушка. Взорванная японцами, она, развалив мешки с песком, опрокинулась за бруствер, и оттуда торчало ее разодранное, похожее на железную лилию, дуло.

На дно ямы было брошено несколько новеньких японских зимних шинелей с волчьими воротниками. В одном из котлованов был только что найден целый подземный склад — несколько тысяч этих шинелей и зимних шапок. Обедавшие сидели, примостясь на японских шинелях, и вели тот возбужденный, беспорядочный разговор, какой обычно ведут люди после только что окончившейся смертельной опасности.

— Неужели всем по второму глотку не будет? — спросил рыжий полковник, отлично знавший, что по второму глотку не будет, и именно поэтому на правах гостя сделавший основательный первый глоток.

— Можно сакэ,— сказал Лопатин.— Я в свое время не раз его пил. Отличный напиток — рисовое вино.

— Разве ж это вино? — спросил полковник.

— Ну, водка.

— Какая ж это водка?

— А что же это тогда, по-вашему?

— Так, говорят, керосин какой-то.— Полковника передернуло.— Даже неудобно за победу пить. Если бы они нас победили, в порядке наказания,— еще так-сяк!

Он дотронулся до волчьего воротника японской шинели и подергал его.

— Лезет!

Ненависть к врагу соединилась у полковника с неприязнью ко всему, что было связано с врагом: к шинелям с волчьими воротниками, к ядовито-желтым этикеткам на бутылках с японским сакэ, запасы которого он еще вчера приказал перебить в своем присутствии, к баночкам с сухим денатуратом для подогревания риса (этим спиртом у него вчера отравился ездовой), к офицерским мечам с широкими лезвиями и длинными ручками — эти мечи, по

его мнению, годились только для палачей,— к валявшимся в окопах веерам, наконец, к какому-то особому, резкому запаху, стоявшему в японских окопах. Вспомнив об этом запахе, он сказал:

— Хорошо, что на гребне сидим, ветер выдувает. А то этот японский запах — спасу нет! И чем это от них так пахнет?

— Ничем от них не пахнет. Это креозот, дезинфекция, они им все дезинфицируют, мне наш полковой врач объяснял,— сказал Саенко.

Полковник недовольно пожал плечами:

— Дезинфекция! Вчера и сегодня и от убитых и от пленных этим сакэ разит.

— По-моему, мы их вчера от воды отрезали, и они только спиртное пили,— сказал Саенко.— Видали, там левей, пониже, две скважины? Это они пробовали до воды докопаться.

— Видать видал,— сказал ни с чем не желавший соглашаться полковник,— но они и раньше пьяные воевали.

— Это бывало,— подтвердил молчавший до этого Худяков, отрываясь от котелка, из которого он ел разогретые мясные консервы.— В июле, когда они в контратаки ходили, я трех пленных допрашивал — были немножко выпивши.

— В общем, выдающаяся нация,— сказал полковник,— всю Азию завоевать хотят, до Урала, а как в атаку, так выпивши.

— Нация как нация,— возразил справедливый Саенко,— не хуже всякой другой.

— Вы меня, батальонный комиссар, не пропагандируйте,— полковник даже покраснел.— Сам марксист! А нация, при всем том, я вам все-таки скажу, паршивая.

— Неверно,— снова оторвавшись от котелка, возразил Худяков,— солдаты они храбрые, а это показатель.

— Тем хуже, что храбрые! — сердито проворчал полковник, у которого за эти дни в полку было триста одних только убитых.

Худяков с удивлением посмотрел па чистое дно котелка. Только сейчас, перебрав в памяти час за часом события последних двух дней, он сообразил, что ничего не ел со вчерашнего утра. Вот, оказывается, почему он съел целый котелок консервов. Он с сомнением погладил небритые щеки.

— Да, побриться вам надо! — сказал рыжий полковник, который сам был отлично выбрит.

— Интересно, как теперь: выведут нас из боя или Ремизовскую брать пошлют? — вместо ответа сказал Худяков и встал.

Все поднялись вслед за ним. Похожая на кратер вулкана вершина Ремизовской сопки, несмотря на шестикилометровую дистанцию, была хорошо видна отсюда, с Песчаной. По Ремизовской вели огонь несколько дивизионов артиллерии, и когда на вершине ра-

лось много снарядов сразу, сопка дымилась так, словно внутри нее был разложен большой костер.

— Хорошо, если бы нас завернули на Ремизовскую, чтобы уж все, от начала до конца,— приставив к глазам бинокль, молодцевато сказал рыжий полковник.

Худяков промолчал. Ему, напротив, хотелось, чтобы их полк вывели из боя, потому что Ремизовскую, по всей видимости, успешно брали и так, а в полку были тяжелые потери. Но он промолчал, не желая вступать в спор, тем более ненужный, что полковник, по его мнению, только трепал языком, а в душе думал так же, как он.

— Товарищ командир полка! — сказал ординарец, подходя к Худякову и называя его по должности, а не по званию, чтобы не обращаться к старшему по званию чужому командиру полка за разрешением обратиться к своему.

И Худяков и рыжий полковник обернулись одновременно.

— Здравствуйте, товарищ полковник,— козырнул ординарец и снова обратился к Худякову: — Тут Кольцов со своим взводом еще один офицерский блиндаж обнаружил. Метров двести отсюда. Просил доложить вам. Не посмотрите?

— Что я, блиндажей не видал, что ли? — лениво сказал Худяков, которого после еды клонило в сон.

— А в нем японцы,— сказал ординарец.— Он засыпан был. Мы с вами мимо ходили. А потом они изнутри прокопали амбразуру и очередь дали.

— Ах, вот чего! — Худяков вспомнил, что полчаса назад отметил про себя близкую пулеметную очередь, на которую, впрочем, как и все остальные, не обратил особенного внимания.

— Не посмóтрите, как он их брать будет? — снова спросил ординарец.

— Ох мне этот Кольцов! — со смесью восхищения и раздражения сказал Саенко.— Опять с наганом в руке первым в дырку прыгать будет. И как его до сих пор не убило — просто не понимаю, честное слово! Пойдем, что ли, Валерий Александрович. Надо ему запретить, а?

— Надо запретить,— сказал Худяков и пошел, сопровождаемый Саенко, Лопатиным и рыжим полковником, которому идти было, собственно, незачем, но, раз здесь предстояла какая-то стрельба, он посчитал неудобным спешить на собственный командный пункт.

Спускаясь по склону сопки, Лопатин подумал, что еще никогда не видал такого зрелища смерти, какое открылось глазам с вершины Песчаной.

Земля была сплошь ископана воронками; в окопах, которые

шли во много рядов, один за другим, изуродованные тела лежали местами так густо, что под ними не было видно дна окопа. А кругом валялось все то же, что и повсюду: карабины, винтовки, противогазы, ранцы из телячьей кожи, веера, котелки, записные книжки с вывалившимися из них фотографиями, вдавленные в землю бумажки с иероглифами, солдатские шапки, связки нанизанной, как грибы, мелкой сушеной рыбы, мешочки с галетами, рассыпанный рис.

Оставшийся раньше незамеченным блиндаж, к которому они подошли, находился в конце змеевидного, полузасыпанного землей окопа. В земле виднелась низкая дверь.

— Осторожней, товарищ маойр! Левей не ходите! — крикнул Кольцов, стоявший на холме, насыпанном поверх блиндажа. — Там у них щель. Они оттуда очередь дали. Двоих бойцов положили!

Несколько красноармейцев из разведроты работали лопатами, срезая угол окопа и расчищая дорогу для броневика с сорокапятимиллиметровой пушкой. Он уже въехал в окоп и, ворча на малом газу, ожидал, когда впереди спрямят еще метр пространства. Тогда дверь блиндажа окажется прямо перед пушкой.

Сбоку на бруствере сидели два бойца с пулеметом, направленным на дверь блиндажа.

— Пулемет не берет! — возбужденно сказал Кольцов.— Наверное, у них с той стороны или плита, или котельное железо.

— Раскидали бы насыпь! — сказал Саенко.

— Долгая история, товарищ комиссар,— ответил Кольцов.— Сейчас из пушки дадим — будь здоров!

— Вон ты какой рассудительный стал,— сказал Саенко.— А мы с командиром полка боялись — ты с ножом в зубах туда полезешь.

— Бой на сегодняшний день закончился, товарищ батальонный комиссар, к вечеру помирать неохота. Не знаю, зачем эти японцы помирать хотят.

— А ты спроси их,— сказал Саенко.

— А я уже спрашивал.

— Еще раз предложите выйти и сдаться,— приказал Худяков.

Кольцов лег на покрытие блиндажа, сполз вниз так, что лицо его оказалось на уровне верхней части двери, и громко крикнул несколько слов по-японски.

— Что он им говорит? — спросил рыжий полковник у Худякова.

— Сдаваться предлагает.

Броневик с коротким ревом рванулся вперед, проехал метр, остановился и навел пушку на дверь блиндажа. Кольцов снова сполз вниз и крикнул по-японски те же слова, что кричал раньше.

— Молчат!

Он перемахнул с блиндажа на бруствер окопа, пробежал по нему несколько шагов, остановился рядом с броневиком и, постучав по броне, сказал:

— Давай!

Броневик коротко ударил из пушки и дернулся от отдачи.

Когда рассеялся дым и опал столб земли и песка, за развалившейся дверью стала видна черная дыра блиндажа. Пулеметчики сидели наготове у пулемета.

Кольцов пробежал по брустверу и, вытаскивая наган, крикнул по-русски:

— Выходи!

Послышался шорох, короткий стон, и, переступив порог, из блиндажа в окоп, навстречу броневику, вылез японец с поднятыми руками и окровавленной головой. Как завороженный глядя прямо в пушечное дуло, он прошел несколько шагов на подгибающихся ногах и остановился.

— Ах ты сволочь! — прошептал один из стоявших возле броневика красноармейцев и, воткнув в землю лопату, которую он до сих пор еще держал в руках, с искаженным лицом схватил лежавшую на бруствере винтовку.

— Ты что делаешь? — с неожиданной быстротой спрыгнув в окоп, вырвал у него винтовку рыжий полковник.— Ты что, на пленных намахиваешься, вояка? — повторил полковник, уже пренебрежительно отпихнув красноармейца и заслонив своим плотным телом японца.

— Он двух бойцов убил, сволочь! — сказал красноармеец, отстраняясь, но все еще не сводя с японца ненавидящих глаз.

— Мало ли что сволочь. Все они сволочи,— сказал полковник и недоверчиво оглянулся: не бросится ли еще кто-нибудь на спасенного им японца?

Но первые секунды ожесточения уже миновали.

— Вытащите его отсюда! — крикнул красноармейцам Кольцов.— Видите, он идти не может!

Японец действительно не мог идти. Прислонясь к стенке окопа, он медленно оседал на землю и мелко подрагивал окровавленной головой. Двое красноармейцев взяли его под мышки и, держа на отлете, чтобы не замараться в крови, стали выводить из окопа.

Кольцов спрыгнул в окоп и с наганом в руках скрылся в блиндаже. Вслед за ним протиснулось несколько красноармейцев. Через минуту Кольцов вышел.

— Один,— сказал он и, словно его могли не понять, поднял палец.— Мертвый. Офицер. А этот — денщик, наверное,— кивнул

он вслед пленному.— Поглядите, товарищ майор,— и, подойдя к Худякову, Кольцов разжал кулак.

В руке у него был содранный с мундира офицерский полупогончик.

— Две полосы, три звездочки,— сказал Худяков, разглядывая полупогончик.— Полковник.

— Скажите пожалуйста! — протянул Кольцов, не то удивляясь, что в блиндаже оказалась такая важная птица, не то жалея, что не удалось взять японца живым.

— Вот сволочи! Какие же сволочи! — повторял рыжий полковник, словно оправдываясь перед окружающими за то, что после всех своих разговоров о японцах вдруг прыгнул в окоп и спас пленного.— Ну, я пойду к себе,— наконец сказал он, протягивая руку Худякову,— как бы мои тоже какой-нибудь блиндаж не проморгали!

Он вылез из окопа и пошел по склону сопки, несгибаемый, плотный, внушительный, полная противоположность Худякову с его собравшейся горбом грязной шинелью и налезавшей на лоб слишком большой каской. Худяков еще в начале боев потерял фуражку и все время ходил в этой каске, не снимая ее.

— Товарищ командир полка,— сказал ординарец, подходя к Худякову.

— Да,— не выходя из задумчивости, отозвался Худяков.

— Фуражка,— сказал ординарец.— Я вам заказывал. Привезли из военторга.

Худяков посмотрел на фуражку, расстегнул брезентовый ремешок каски, снял ее, бросил у ног, все еще не беря из рук ординарца фуражку, устало потер затекшую от тяжелой каски шею и таким же усталым движением поерошил взад и вперед свалявшиеся волосы.

Ординарец продолжал держать фуражку в руках. Худяков наконец взял ее и, пощелкав пальцем по донышку, надел на голову, чуть заломив набок, отчего его невидная фигура в горбатой шинели приобрела неожиданную складность.

— Командира полка на провод! — подбегая, крикнул запыхавшийся связной.

Худяков вылез из окопа и пошел вслед за ним.

— Может, все-таки повернут на Ремизовскую? — глядя вслед Худякову, тихо сказал Саенко Лопатину.

Оба прислушались. Сквозь шум ветра и шорох бешено летевшего по склонам песка со стороны Ремизовской сопки доносился тяжелый гул артиллерии.

— Товарищ комиссар,— сказал стоявший поодаль Кольцов,— какое-то начальство едет.

Саенко обернулся и увидел черную «эмочку». Держа направление на них, она упорно взбиралась по крутому склону сопки. Наконец шагах в пятидесяти она забуксовала, из нее вылезли Климович и Сарычев. Саенко пошел им навстречу.

У Сарычева был расстегнут воротник, а шея туго, под самый подбородок, обмотана бинтами. Он не мог нагибать голову, отчего его лицо приняло несвойственное ему надменное выражение.

— Приехал к вам забирать своих танкистов.— Сарычев повел негнущейся шеей в сторону Климовича: — Как он у вас тут работал? Не подводил?

— В донесениях указывали,— сказал Саенко.

— По донесениям знаю. А по душам?

Не щедрый на похвалы Саенко посмотрел на Климовича, подумал и сказал:

— Неплохо. Помогал.

— Это первый пункт,— сказал Сарычев.— А второй — насчет Баталова. Где будете хоронить?

— Еще не знаем точно. Наверное, возле медсанбата.

— Неправильно! — сказал Сарычев.— Надо его похоронить на Баин-Цагане. Рядом с танкистами, где вместе боевое крещение получали. Кончатся бои — поставим там, на горе, выбывший из строя танк. Пушкой в сторону Токио. Правильно? А, Климович?

— Жалко Баталова,— вместо ответа сказал Климович.

— Так как насчет похорон? — снова спросил Сарычев.— Если решаете, я завтра на Баин-Цаган делегацию своих танкистов пришлю.

— Хорошо,— сказал Саенко,— я сегодня согласую с политотделом дивизии.

— А что согласовывать? — недовольно сказал Сарычев.— Когда умираем, ни с кем не согласовываем.— Он помолчал и повернулся к Климовичу: — Поехали!

Саенко проводил их до машины. Машина попятилась назад, развернулась и понеслась вниз по склону. Провожая ее глазами, Саенко вспомнил слова Сарычева: «Умираем — не согласовываем»,— и подумал о том, что когда он у себя на Полтавщине, в Потоках, еще только вступал в сельскую комсомольскую ячейку, командир эскадрона Сарычев уже ходил с Первой Конной на Львов, а красноармеец Баталов воевал против эмира бухарского. Деревянная пирамидка, которую он повезет завтра на могилу Баталова, уже, наверное, изготовлена в хозчасти полка. Осталось только составить надпись...

«Вот и вся недолга! Жалко, что мы в тот свет не верим»,— горько усмехнулся Саенко.

Артемьева вдруг вызвал к себе полковник Постников и сообщил ему, что с сего числа, 28 августа, он отчислен из оперативного отдела и переведен в разведывательный. Этого можно было ожидать: уже с третьего дня наступления Артемьев фактически работал в разведотделе, занимаясь разборкой и переводом захваченных документов.

Документов было так много, что разведывательный отдел задыхался, и за переводы постепенно засадили не только Артемьева и двух политотдельцев, но даже одного военврача, владевшего японским.

Вопрос о переводе Артемьева был предрешен, но, отпуская его, Постников все-таки выразил свое неудовольствие.

— За два месяца я пришел к убеждению, что из вас мог бы выйти толк,— сказал он ворчливым, поскрипывавшим, как сапоги, голосом.

В похвале звучало сомнение: выйдет ли из Артемьева толк под руководством другого, менее требовательного начальника, чем Постников?

— К сожалению, я был принужден отпустить вас, потому что, к сожалению (второе «к сожалению» Постников произнес с язвительным нажимом), у нас в армии со знанием иностранных языков дело обстоит так плохо, что, оказывается, держать в оперативном отделе человека, сносно знающего японский язык,— непозволительная роскошь. Оказывается, таких людей у нас не хватает даже для разведотделов. Когда придет время подвести итоги операции, я буду докладывать, в частности, и об этом. Мы уже сейчас испытываем неудобство, и если не возьмемся за ум, то еще хватим горя в большой войне.

По необычному многословию Постникова Артемьев понял, что тот раздражен; должно быть, имел неприятное объяснение с начальником штаба и, подчинившись, остался при своей точке зрения.

— Желаю всего наилучшего. Служите! — сказал в заключение Постников.— У Шмелева характер полегче моего, но вы этим не пользуйтесь, продолжайте служить так, словно у вас по-прежнему стоит над душой такой старый унтер, как я.

Артемьев покраснел. Молодые командиры оперативного отдела именно так и величали между собой Постникова. Но Постников оказался выше этого и тиснул ему на прощанье руку с доброжелательством человека, равнодушного к тому, что о нем говорит между собой молодежь,— лишь бы служила так, как того требует служба.

Простившись с Постниковым, Артемьев пошел в разведотдел. Длинная палатка разведотдела походила снаружи на госпитальную. Внутри стояли пять больших столов и столик машинистки, которая дежурила по целым дням и в перерывах между диктовками дремала, склонясь на машинку и подложив под щеку специально припасенную для этого подушку.

Вчера все, в том числе и Артемьев, работали до пяти утра; однако Постников, не привыкший считаться с такими вещами, велел поднять Артемьева в семь. Поэтому, когда Артемьев вошел в палатку, там еще никого не было.

В палатке стояла тишина. Только изредка долетали далекие звуки боя с Ремизовской сопки да слышались негромкие шаги ходившего взад и вперед у палатки часового-пограничника.

Артемьев сел за стол и придвинул к себе одну из двух оставшихся неразобранными японских офицерских сумок. Но то ли на него подействовала тишина и одиночество, то ли он просто вдруг взглянул другими глазами на успевшую стать привычной обстановку — вид палатки, когда он обвел ее взглядом, поразил его.

Разбирая сундуки и портфели со штабными документами, полковые и батальонные денежные ящики, офицерские сумки, унтер-офицерские и солдатские ранцы, разведчики отделяли главное от второстепенного. Главными были карты, штабные бумаги, личные документы, дневники и неотправленные письма с места боев в Японию; второстепенным считались журналы и газеты, письма, пришедшие из Японии, и фотографии. Главное раскладывалось на столах и поспешно разбиралось, а второстепенное день за днем сбрасывалось на пол. Среди этого второстепенного особенно много было фотографий. За восемь дней боев они покрыли в палатке весь земляной пол, оставались только узкие дорожки от входа к столам.

Артемьев встал из-за стола, нагнулся и стал рассматривать то, что лежало у его ног.

Из-под приоткрытого полога палатки слегка задувал ветер, и фотографии уныло и жестко шуршали, как жестяные цветы на кладбище.

Здесь были фотографии мужские и женские, фотографии стариков и старух, чьих-то детей и чьих-то родителей, снятых на фоне вековых сосен и карликовых деревьев, на фоне улиц с бегущими рикшами и бумажными фонарями, на фоне деревянных храмов с большими пузатыми буддами, на фоне маленьких домашних алтарей, украшенных узкими свитками с изображением цапель и черепах — символов счастья и долголетия.

Здесь были открытки с видами горы Фудзияма, с ветками цветущей вишни, с чайными домиками. Здесь была сфотографирована

далекая, чужая жизнь, принадлежавшая мертвым и лежавшая под ногами живых людей, которые тоже могли завтра погибнуть, но сегодня побеждали, были живы и выполняли свой служебный долг, роясь в этом безбрежном архиве смерти.

Что-то тоскливое и сильное, относившееся не к другим, а к себе самому, томило Артемьева сейчас, когда он глядел на эти фотографии. Что-то беспощадно равнодушное к чужим судьбам было в этом зрелище, что-то рождавшее ощущение большого и безжалостного хода событий, когда вдруг чувствуешь, как обрывается сердце, и на минуту становится жалко самого себя — своего тела, глаз, рук, которые могут быть вот так же просто и беспощадно уничтожены, когда вдруг становится нестерпимо жаль своих родных и близких, для которых ты — что-то очень большое, занимающее огромное место в мире... А случись иначе — и от тебя мог остаться, вот так же как здесь, просто растоптанный чужими ногами бумажник с фотографиями.

Артемьев ощупал карман гимнастерки, где вместе с партийным билетом и командирским удостоверением лежали фотографии сестры и матери, и подумал, что в безнадежном бою он, если б успел, непременно зарыл бы или сжег эти фотографии вместе с документами.

Вернувшись к столу, Артемьев снова принялся за просмотр офицерской сумки. Она принадлежала командиру роты 26-го полка 7-й пехотной дивизии поручику Окамото. В черной клеенчатой записной книжке поручика были заполнены всего две страницы. Первая не представляла интереса. Это был нацарапанный нервной скорописью дневник за 20 августа. На второй странице, помеченной позавчерашним днем, 26 августа, была на скорую руку набросана схема высоты с показанными на ней окопами и блиндажами. Судя по всему, это был один из отрогов Песчаной сопки. Между обозначениями двух блиндажей Артемьев увидел маленькие кружочки с надписями: «Майор Сато», «Капитан Отани», «Поручик Хаяси» — и понял, что несколько не разгаданных им сначала пометок на вынутой из сумки карте тоже обозначали места, где были зарыты трупы убитых офицеров. Очевидно, поручику Окамото выпало на долю умереть последним.

В личных документах поручика значилось, что он окончил офицерскую школу в Саппоро и получил медаль за участие в боях у Лугоуцяо.

Артемьев кратко занес в свою тетрадь и то и другое. Сведения о том, что в Саппоро есть офицерская школа, попались Артемьеву впервые. О медали, полученной за Лугоуцяо, он сделал пометку не для себя, а для корреспондентов из армейской редакции, заезжавших в разведотдел в поисках чего-нибудь интересного. Ин-

цидент у станции Лугоуцяо два года назад послужил японцам предлогом к вторжению из Маньчжурии в Северный Китай, и корреспондентов могла заинтересовать судьба поручика, начавшего с медали за Лугоуцяо и кончившего свою карьеру здесь, на Халхин-Голе.

Теперь в сумке остались лишь фотографии. Артемьев задержался на двух. На одной был сфотографирован сам поручик. Он позировал, опершись на офицерский меч и гордо подняв красивое, тонкое лицо; одна нога его стояла на деревянной приступке,— старый, лысый чистильщик, должно быть китаец, двумя щетками полировал ему сапог. На заднем плане была видна часть двухэтажного домика, похожего на деревянные купеческие дома в старых губернских русских городах. На доме висела вывеска, уходившая за пределы фотографии: «Русская кухня. Завьялов и С-я. Фирма сущ...». Вероятно, дело происходило в Харбине.

На второй фотографии была снята большая грязная площадь; в конце площади виднелись развалины китайских фанз, а на первом плане стояли четыре высоких бамбуковых шеста с насаженными на них головами; рядом с шестами, в грязи, лежали обезглавленные тела, а на прикрепленных к шестам длинных узких полосках бумаги было написано иероглифами, что такая же участь ждет каждого пойманного «красного дьявола».

Артемьев перевернул фотографию. На обороте ничего не было написано. Где происходило это? В каком из бесчисленных китайских городов и городков, занятых сейчас японскими гарнизонами, сложили свои головы эти четыре пленных партизана? О чем они думали перед смертью? Что вспоминали? Своих обреченных на сиротство детей? Или оставшихся в живых товарищей? Или штаб 8-й Красной армии, где у Мао Цзэ-дуна и Джу Дэ на большой карте Китая маленькой точкой отмечено место их последнего боя? Через час, когда, разобрав вторую офицерскую сумку, Артемьев углубился в чтение вынутых из нее документов, палатка постепенно начала наполняться людьми. Последним вошел майор Беленков, старший по званию среди всех работавших в палатке.

— Во-первых, к общему сведению,— весело сказал он,— ночные данные подтвердились: район Песчаной сопки полностью очищен, на повестке дня осталась одна Ремизовская. Во-вторых, тебя,— кивнул он Артемьеву,— вызывает начальство.

Артемьев отложил в сторону документы и пошел к выходу, но Беленков, задержав его, спросил с некоторой тревогой в голосе:

— Слушай, я не напутал? Мы с тобой как-то говорили — ты, кажется, неплохо ездишь верхом?

— Нет, не напутал. А что?

— У Шмелева задание такого рода,— сказал Беленков,— что я отбоярился, благо сижу на лошади, как собака на заборе. А тебя, наверное, запрягут.

Когда Артемьев вошел в юрту начальника разведотдела полковника Шмелева, то там рядом с полковником, на краешке аккуратно заправленной шмелевской койки, сидел капитан-пограничник,— Артемьев мельком видел его раньше и знал, что он командует ротой пограничников, охраняющих штаб.

Шмелев сидел на табуретке в обычной своей небрежной позе, положив ногу на ногу, обхватив колено длинными, заросшими золотистым волосом руками и легонько раскачиваясь.

— Значит, окончательно отдали вас мне. Уже знаете об этом? — спросил он вошедшего Артемьева.

— Так точно, знаю!

Шмелев оглядел массивную фигуру Артемьева.

— Как, Данилов? — повернулся он к капитану-пограничнику.— Выдержат его монгольские лошадки?

— Ничего, они выносливые,— без улыбки сказал Данилов.

— Вкратце задание такое,— сказал Шмелев, сняв ногу с ноги и перестав покачиваться.— Сейчас возьмете мою «эмку» и поедете с Даниловым на левый фланг к монголам, в Шестую кавдивизию. Там — я договорился — выделят вам кавзвод под командой капитана Шагдара, начальника их дивизионной разведки. Боевой командир и неплохо знает русский, стажировался у нас в Союзе. Машину вернете и верхами поедете в поиск на юго-запад от озера Буир-Нур — вдоль границы. Мы ожидаем там переход японской диверсионной группы. Скорей всего, они перейдут границу под видом аратов — тогда с ними будет табун, может быть даже арба, в общем все, что полагается. Группа будет человек в пять — семь. Задание — взять живьем. Обратите внимание на слово «живьем». И ты обрати внимание, Данилов.

— Я уже обратил,— сказал Данилов.

— Одну такую группу,— продолжал Шмелев,— которая успела отравить восемь колодцев и убить одного нашего летчика, мы на днях окружили, троих застрелили, а четвертого схватили живым, но он по дороге чего-то проглотил. Наверное, слышали об этом от товарищей?

— Краем уха, товарищ полковник,— сказал Артемьев.

— Правда, кое-что на них взяли, но командующий так ругался,— Шмелев хотел было объяснить, как ругался командующий, но раздумал,— в общем, я вам эту ошибку повторять не советую. Данилов по его личному приказанию едет,— кивнул Шмелев на пограничника,— как командир группы. А ваша задача — не только помочь взять, но и, когда возьмете, снять первый допрос.

Целые, раненые, полумертвые — какие будут — допросить сразу же, пока не опомнились! — В словах Шмелева прозвучала жесткая профессиональная требовательность.— Карта и дополнительные данные у Данилова, он познакомит вас.

— Есть! — Данилов встал.

— Между прочим, знаете, как они с летчиком расправились? — спросил Шмелев, когда Артемьев встал вслед за Даниловым.— Хороший летчик-истребитель из козыревской группы. Сто раз видел смерть в глаза, а тут опоздал на грузовик — в темноте, один, пешком пошел к месту ночевки. Нашли его только утром в километре от летного поля. Голый, обмотан телефонной проволокой, кляп во рту, и белый как бумага. Они его не убили, а просто рассчитали, что за ночь из него комары всю кровь выпьют.

— А как фамилия? — порывисто спросил Артемьев, сразу вспомнив дорогу от летного поля к юртам, Полынина, Грицко, Соколовых и всех других летчиков, с которыми он успел познакомиться.

Но Шмелев назвал незнакомую Артемьеву фамилию.

— Вот что они делают с нашим братом! — добавил он, помолчав.— А ваша задача — доставить их живыми. Живыми! Слышишь, Данилов?

— Ясно, товарищ полковник,— отчеканил Данилов, вытянувшись, но, как показалось Артемьеву, с некоторой досадой.

— А вам ясно?

— Так точно, все ясно! — охотно и весело отозвался Артемьев, обрадованный возможностью оторваться от бумаг и поехать в степь.— Только бы встретить, а живьем возьмем!

На насмешливом лице Шмелева изобразилась недоверчивая гримаса. Ничего не ответив, он отпустил их обоих.

Около полудня «эмочка» с сидевшими в ней Артемьевым, молчаливым Даниловым и двумя еще более молчаливыми, чем их начальник, бойцами-пограничниками обогнула Баин-Цаганское плоскогорье.

Помеченная на карте пунктиром, хорошо накатанная степная дорога, по которой они ехали, шла на север и километров через пятнадцать обрывалась у озера Буир-Нур, того самого, чье название фигурировало в первых сообщениях ТАСС о конфликте. Там, где пунктир упирался в берег озера, на карте стоял маленький значок и надпись: «Монголрыба».

— По нашим штабным документам знаю, что там есть три глинобитные постройки, можно роту разместить, а что это за «Монголрыба», не знаю,— глядя на карту через плечо Данилова, сказал Артемьев.

— До начала конфликта тут были наши, на паритетных началах с монголами, рыбные промыслы, а теперь — только монгольская погранзастава,— ответил Данилов.— Нам как раз туда, но надо сначала заехать в штаб дивизии. Смотри,— обратился он к шоферу,— поворота не пропусти.

Но пропустить поворот оказалось невозможным. Еще через километр поперек дороги стоял связной броневичок; двое людей, лежавших рядом на траве, вскочили и замахали руками. Потом один из них, в кавалерийской монгольской фуражке, подошел к «эмке».

— От полковника Шмелева? — спросил монгол, с трудом выговаривая русские слова.— Штаб дивизии?

— Да,— сказал Данилов.

— Штаб не надо,— отрывисто сказал монгол.— Нахор Шагдар. Цирики [1]. Твои лошади. «Монголрыба»!

Он показал пальцем на север:

— Там ждет! Ваш штаб — наш штаб телефон был.

Монгол для ясности сделал легкое вращательное движение рукой, потом приложил руку к козырьку, влез в свой броневичок, и тот запылил по дороге на север, приглашая «эмку» следовать за собой.

— Четкий народ,— сказал Данилов.— Нам «маяка» выслали, а люди и кони уже на «Монголрыбе».

Он замолчал и вернулся к этой теме только через десять километров, которые они сделали по пятам за немилосердно пылившим броневичком.

— И там долго не задержимся, увидите. Лошади уже покормлены, и баран в казане.

Наконец впереди показалось озеро Буир-Нур. Броневичок затормозил и стал разворачиваться.

Монгол открыл железную дверцу, приложил руку к козырьку фуражки, снова захлопнул дверцу, и броневичок, пыля, покатил в обратном направлении. «Эмка» проехала еще двести метров и остановилась у низких, беленых, как украинские хаты, бараков «Монголрыбы».

Рядом с бараками было вкопано в землю несколько длинных столов, наверное служивших раньше для разделки рыбы, а поодаль стоял турник, на котором крутил «солнце» какой-то человек, соскочивший на землю при виде машины. На берегу озера был разложен костер; над ним на сошках висел казан. Возле костра сидели двое военных, они обернулись и встали.

— Вот вам и казан,— сказал Данилов, вылезая из машины.

[1] Солдаты *(монг.)*.

— Здравствуйте, товарищ Данилов! Рад вас снова увидеть,— идя навстречу Данилову и Артемьеву, говорил по-русски молодой монгол с капитанскими значками на петлицах.

— Шагдар,— протянул он руку Артемьеву.— Мы с вами незнакомы, но вы встретите здесь знакомого.

Не поняв, кого имел в виду Шагдар, Артемьев с недоумением пожал руку второму монголу, начальнику погранзаставы, и вдруг узнал человека, который до этого крутил «солнце» на турнике, а сейчас быстрыми шагами приближался к ним. Это был Санаев, отпустивший короткую, черную как смоль бородку.

— Узнал, что к нам едет Артемьев, и думаю, неужели тот самый? Сел на коня...

Не договорив, он привстал на носки и обнялся с Артемьевым.

— Здравствуй, бородач,— сказал Артемьев,— рад тебя видеть. Ты это что, для солидности? — показал он па бороду.

— Сначала с тоски.— Санаев оглянулся, но монголы вместе с Даниловым уже отошли к костру.— Затосковал у монголов, пока бои не начались. Все-таки один русский человек на всю дивизию, да и то осетин,— улыбнулся Санаев.— Тоска прошла, а борода осталась.

— Я, между прочим, краем уха слышал, что ты здесь, у монголов.

— Так что ж ты, штабная крыса, знал и не приехал к товарищу? Катаетесь там на своей Хамардабе как сыр в масле!

— Да уж, действительно, катаемся!

Они присели рядом на подножку машины, и Артемьев стал в юмористическом тоне рассказывать Санаеву о многотрудной службе под началом у скрипучего Постникова.

— А вообще-то у нас внизу, в войсках, сложилось мнение, что он сильный начальник оперативного отдела,— сказал Санаев.

— Ну, а ты-то, ты-то как? — спросил Артемьев.— Прежде всего, как монголы воюют? По нашим сводкам — не худо. А как по твоим наблюдениям?

— Немножко больше, чем нужно, отчаянности. Немножко меньше, чем нужно, выдержки...

— Национальный характер?

— Нет. Молодость. Молодая еще армия.

— Было донесение, что у вас тут один эскадрон ходил в атаку в конном строю. Как, исполнилась твоя мечта, ходил?

— Ходил,— поморщился Санаев.— Сначала порубили шашками японскую полуроту на марше, а потом один,— он сердито подчеркнул это слово, подняв палец,— один японский пулеметчик срубил у нас двадцать всадников. К огорчению кавалеристов,— Санаев хлопнул себя по шашке,— увы, отживающая форма боя.

В особенности на плотном фронте и против серьезной пехоты. Отслужу здесь — и попрошусь в мехкорпус. Пересяду с коня на броню.

— Серьезно? — Артемьев знал Санаева как заядлого кавалериста.

— Как нельзя более. С японцами еще повоюю на коне, а с немцами — уже на броне.

— Это что? Высказывание в связи с договором о ненападении?

— Да,— сказал Санаев.— Но прошу учесть, что я тут по долгу службы мыслитель-одиночка, среди меня разъяснительной работы еще не проводили. Пойдем, нас ждут.

Они подошли к костру. Казан был уже снят, и вокруг него на траве сидели Шагдар, начальник погранзаставы, Данилов и двое пограничников.

— Садитесь,— сказал Шагдар, отодвигаясь и освобождая около себя место для Артемьева,— будем баранину кушать.

Артемьев и Санаев сели. Начальник погранзаставы стал черпаком вытаскивать из казана большие куски баранины и раскладывать их по алюминиевым мискам.

— Супу налей,— сказал Шагдар,— хороший бараний суп.

Начальник погранзаставы добавил в каждую миску полчерпака супу.

Рядом с казаном на траве стояли: миска с крупной солью, другая — с толченым красным перцем и большая, запотевшая на солнце бутыль воды.

Артемьев положил в суп пол-ложки перцу, нарезал баранину, посыпал все это щепотью соли и с жадностью сильно проголодавшегося человека принялся хлебать переперченный, дравший горло суп.

— Замечательная буир-нурская вода,— берясь за бутыль, сказал Шагдар,— как нарзан. Кому налить?

Вода оказалась действительно вкусной, а главное — ледяной.

— Неужели озеро всегда такое холодное? — спросил Артемьев.

— Всегда,— сказал Шагдар.— Я здесь родился, в этом аймаке. Всегда холодное. Красивое озеро,— как чаша! Да?

И он сделал округлый жест хозяина.

У самого берега на воде покачивался выводок уток.

— Наверное, тут охота хорошая,— сказал Артемьев.

— А, что это за охота! — махнул рукой Данилов.— Можно гуся колесами переехать. Вы своих цириков покормили? — спросил он, вставая.

— Раньше покормили,— ответил Шагдар.

— Тогда — подъем! Где наши кони?

— Сейчас.— Шагдар поднял руку и отрывисто крикнул что-то по-монгольски двум поднявшимся из-за кустов цирикам.

— А я своего коня с коноводом в развалинах оставил,— сказал Санаев, обращаясь к Артемьеву.— Пойдем проводи, мне ехать надо. Пока коней приведут — успеешь.

Козырнув на прощанье Данилову и Шагдару, Санаев пошел своей небрежной кавалерийской походочкой к белым баракам «Монголрыбы».

— Японцев будете ловить? — спросил он Артемьева.

— Да. А ты откуда знаешь?

— Командир дивизии при мне по телефону Шагдара вызывал. Не завидую! Тут человека найти — все равно что иголку в сене.

— Степь да степь кругом! Кроме коня, не к чему и прислониться.

Они обошли «Монголрыбу» и оказались около того, что Санаев называл развалинами. Это был большой, огороженный толстой каменной стеной, квадратный двор. В глубине виднелись остатки пологой каменной лестницы. По сторонам ее возвышались два изъеденных временем постамента с обломанными по пояс, грузными каменными фигурами. Места изломов были так гладко зализаны ветром, что казалось — фигуры никогда не были целыми.

Возле ограды лениво жевали колючки две лошади и, прислонясь к стене, дремал коновод-монгол.

— Нахор! — окликнул его Санаев.

Коновод встрепенулся, взлетел на лошадь и подъехал к Санаеву, ведя его лошадь под уздцы.

— Какая-то старая кумирня, времен Чингисхана, если не раньше,— объяснил Санаев и нехотя поставил ногу в стремя.— Ну что ж, Павел, тебя ждут.

Пожав руку Артемьеву, он вскочил на коня и крупной рысью поехал впереди коновода.

Артемьев вернулся к Данилову и Шагдару. Лошади были уже оседланы. Цирики — их было меньше, чем думал Артемьев, всего пятнадцать человек,— держали под уздцы лошадей, своих и сменных.

— Выбирайте! — сказал Шагдар, приняв от цириков и взяв за поводья двух коней. Его собственный конь как вкопанный, не шевелясь, стоял рядом.

Артемьев окинул взглядом обеих лошадей и, решив, что пегий широкогрудый конек будет посильней, легонько потянул его к себе. Шагдар отпустил повод, и Артемьев, положив руку на холку коня, при общем внимании легко бросил в седло свое тяжелое тело.

— Однако у вас губа не дура, с конем не ошиблись,— сказал Данилов, неторопливо садясь на другого коня.

— У вас тоже неплохой,— заметил Шагдар и по-монгольски дал общую команду садиться на коней.

Растянувшись цепочкой, отряд выехал из поселка «Монголрыба» и двинулся в объезд озера.

Уже пятый день Данилов, Шагдар и Артемьев со своим маленьким отрядом кочевали взад и вперед вдоль маньчжурской границы. Ни горных хребтов, ни рек, ничего, что могло бы служить зримой границей, здесь не было. Была лишь мысленно перенесенная с карт невидимая линия, вдоль которой в необозримой степи передвигались редкие пограничные патрули.

Еще в первый вечер на привале Данилов, расстелив на земле карту и аккуратно, без нажима водя по ней пальцем, чтобы колкие стебли сухой травы не прокололи ее снизу, поделился с Артемьевым и Шагдаром подробностями, полученными от Шмелева.

Первая японская диверсионная группа пересекла противоположную — южную — границу тумцак-булакского выступа и, очевидно, предполагала после нескольких диверсий на юге перебраться сюда, поближе к северной границе, в район солончаковых озер. На одном из убитых была взята карта с обозначением этого маршрута; в районе солончаковых озер стоял кружок с иероглифом «бу», который входит составной частью и в слово «укрытие» и в слово «база».

Остальные сведения ограничивались вещественными доказательствами — четырьмя трупами, оружием и санитарной сумкой с обернутыми ватой неиспользованными пробирками холерного бульона.

Агентурные сведения о новой, второй группе, полученные из Хайлара, говорили, что она пересечет северную границу выступа в ближайшие дни и намерена переправиться надолго.

За солончаковыми озерами располагалось несколько полевых аэродромов. Шмелев считал, что выход диверсионной группы в район солончаковых озер связан именно с этим. То, что группа переправлялась на длительный срок, наводило на мысль, что она будет иметь радиопередатчик, а пункт, указанный на карте, выбран как место встречи обеих групп.

На второй день рано утром Шагдар привел отряд в этому обозначенному на карте пункту — перешейку между двумя солончаковыми озерами.

Это место с кочками, заросшими густым кустарником, вполне подходило для укрытия небольшой группы, даже с лошадьми, ес-

ли для них вырыть окопы. То, что здесь днем и ночью стоял удушливый запах солончакового болота, вода была страшна на вкус, а комары висели в воздухе такой тучей, что казалось, ее можно потрогать руками, разумеется, не могло служить препятствием для диверсантов, которые решили бы здесь прятаться.

Однако целиком довериться отметке на карте и дожидаться японцев в этой точке было рискованно, и Данилов решил взять под наблюдение широкий район в тридцать — сорок километров и ловить японцев на полпути между границей и солончаковыми озерами.

Несколько раз за эти дни Артемьеву казалось, что они поставили перед собой неразрешимую задачу,— так бесконечно и одинаково тянулась на восток, запад, север и юг степь и такой песчинкой казался в ней их небольшой отряд.

Маленький Данилов плохо переносил жару, хотя и не жаловался. Он ехал похудевший, словно усохший, с обгоревшими до волдырей лицом и руками, ехал и ехал, вцепясь в поводья, и казалось, никакая сила не может отклонить его от той дуги, которую они, как маятник, описывали каждые сутки между границей и районом солончаковых озер.

По ночам над их головами на небольшой высоте проходили к Халхин-Голу ночные бомбардировщики. Иногда над районом солончаковых озер можно было заметить в небе далекие крохотные точки. Это дневные бомбардировщики, поднявшись с полевых аэродромов, шли к фронту и возвращались назад.

— Хорошо бы узнать, как сейчас на фронте. Взяли уже Ремизовскую? Как вы думаете? — Артемьев спрашивал у Данилова, но тот вместо ответа только неопределенно мычал, не разжимая запекшихся от жары губ.

Зато Шагдар охотно вступал в разговор и высказывал свои предположения. По его мнению, японцы, потеряв несколько десятков тысяч человек, не могли так просто успокоиться. Он говорил об этом скорей с надеждой, чем с тревогой, в душе явно желая, чтобы бои продолжались,— ему казалось, что японцы еще недостаточно наказаны.

Однажды совсем низко над степью, должно быть сбившись с курса, в сторону аэродромов прошел истребитель. Он шел так низко, что мгновение даже была видна голова летчика. Артемьев заметил на хвосте семерку — номер полынинской машины.

Все дни были так похожи друг на друга, словно отряд не скитался по степи, а по заведенному раз навсегда распорядку нес гарнизонную службу.

Ночной привал делали уже в темноте, наскоро ужинали и, выставив часовых, укладывались, не разбирая палаток, а только

накрывшись от комаров полотнищами. Вставали тоже еще в темноте и в чуть забрезжившем рассвете, оседлав лошадей, делились на две группы и разъезжались в разные стороны.

Дневной привал делали в полдень. Разжигали костер, языки которого на солнце казались прозрачными. Вскипятив воду, бросали в нее сушеное мясо и ели его, приправив собранным в степи диким чесноком. Потом выпивали по котелку заваренного по-монгольски зеленого чаю с солью, хорошо утолявшего жажду, и ехали дальше.

К вечеру съезжались посередине описанной за день дуги. Если утром, когда делились на группы, Артемьев оказывался с Шагдаром, а Данилов один, то вечером у костра сидели молча, потому что Артемьев и Шагдар успевали за день наговориться, а Данилов, казалось, чем больше молчал, тем ему больше это нравилось. Если же, наоборот, вместе ехали Шагдар и Данилов, то намолчавшийся за день монгол заводил разговор с Артемьевым, и они, несмотря на усталость, подолгу просиживали у погасавшего костра.

Так они сидели и в ночь на пятые сутки. В двух шагах от них лежал накрытый палаткой Данилов и время от времени напоминал о себе доносившимися из-под палатки короткими глухими шлепками. Комары не давали ему уснуть.

В степи было тихо и темно. Только в погасавшем костре светилось несколько угольков.

Шагдар пошевелил их ногой и сказал:

— Пора спать.

— Слушайте...— начал Артемьев.

Шагдар насторожился и повернул голову.

Артемьев улыбнулся в темноте этому недоразумению и подумал, что Шагдар хотя и хорошо знает русский язык, но иногда слишком буквально понимает и употребляет слова.

— Когда вы начинали у нас в Союзе стажировку, вы совершенно не знали русского?

— Немножко знал. Я сам из этого аймака, но до армии был шофером в Улан-Баторе. Там у нас был русский главный механик. Сейчас, к сожалению, имею мало практики. Наша дивизия уже пятый год в этом районе.

— Да, район у вас такой, что не соскучишься.

— С тех пор как японцы пришли в Маньчжурию,— сказал Шагдар,— они двести тридцать раз переходили или перелетали нашу границу.

— Примерно раз в две недели,— подсчитал Артемьев.

— В тридцать шестом,— продолжал Шагдар,— как раз в этом районе они перешли границу кавалерийским полком, вырезали аратов и угнали скот. Но скот шел медленно, задерживал их,

и авиация догнала и расстреляла их на обратном пути в открытой степи. Они не боялись этого. Они считали, что у монголов не может быть авиации.

Шагдар встал и сердито затоптал сапогом последние тлевшие угольки.

— Будем спать?

На рассвете следующего дня, едва отряд успел разъехаться в разные стороны — Данилов влево, а Артемьев с Шагдаром вправо,— случилось то, что начинало казаться несбыточным.

Артемьев, приложив к глазам бинокль, точно так же, как сотни раз до этого, посмотрел вдаль, в сторону границы. В стеклах бинокля очень далеко, на самом горизонте, чернело несколько точек.

Солнце еще только пробивалось сквозь затянутую пеленой даль. Артемьев привстал на стременах и снова вгляделся в маленькие точки на горизонте, боясь, что это обман зрения. Но точки на горизонте не исчезали.

Артемьев тихо, словно их могли услышать, окликнул Шагдара.

Шагдар подъехал к нему, тоже привстал на стременах и приложил к глазам бинокль.

— Шесть человек и маленький табун.

— Что вы думаете?

— Японцы. Пять утра. До границы двадцать километров. Переходили в самое темное время. Едут цепью. Так монгольская семья не едет. Табун посередине. Плохая маскировка. Надо сообщить Данилову, чтобы он объезжал их слева.

Артемьев кивнул.

Шагдар подозвал к себе одного из цириков, тот поскакал к Данилову.

— Что будем делать? — спросил Артемьев.— Они нас, наверно, тоже заметили.

— Нет, там солнце,— Шагдар показал в сторону горизонта,— светло, мы их видим. А здесь еще темно, мгла. Минут десять еще нас видеть не будут.

Цирики по команде Шагдара подъехали. Теперь, после того как один из цириков поскакал к Данилову, в отряде, считая Артемьева и Шагдара, осталось восемь человек.

— Я возьму одного цирика, товарищ капитан, и поеду прямо на них — говорить. А вы берите всех остальных и объезжайте справа, степью.

— Прямо к ним подъедете? — спросил Артемьев.

— Да,— сказал Шагдар.— Два человека — обыкновенный патруль. Подъеду, послушаю, как они говорят по-монгольски. Буду с ними разговаривать. Пока не увидят вас сзади себя, не испугаются. А когда вас увидят, я первый начну стрелять — по лошадям.

— Может быть, оставите с собой больше людей?

— Испугаются — к границе повернут. Если хорошие лошади, уйдут.

— Тогда будьте осторожней,— сказал Артемьев.

— Ничего.— Шагдар напряженно улыбнулся.— Начну стрелять — скорей приди, помогай! — От волнения он перешел на «ты» и перестал правильно говорить по-русски.— Скорей поезжай! — И, повернув коня, Шагдар вместе с одним из цириков медленно поехал навстречу маячившим в степи точкам.

Артемьев скомандовал оставшимся цирикам: «За мной!» — и крупной рысью поехал по степи, забирая далеко вправо. Он и цирики сделали всего три километра и еще не успели оказаться в тылу японцев, как оттуда, куда поехал Шагдар, раздались выстрелы.

Даже не подумав, а физически ощутив в эту секунду, что японцев шестеро, а Шагдар — вдвоем, Артемьев махнул рукой цирикам и галопом поскакал на выстрелы.

Только проскакав больше километра, он впервые оглянулся. Цирики скакали за ним, рассыпавшись веером по степи. Впереди были видны метавшиеся по степи лошади. Слышались выстрелы и пулеметные очереди.

Вдруг Артемьев ясно увидел четырех всадников, скакавших на северо-восток, к границе. Японцы разъединились: одни отстреливались, другие тем временем уходили.

Показав рукой троим скакавшим слева от него цирикам, чтобы они держались прежнего направления, Артемьев с двумя остальными повернул к границе.

Расстояние между ними и японцами быстро уменьшалось, но японцы скакали к границе напрямик, а он — по диагонали. Он уже не успевал перереза́ть им дорогу и оказывался позади них.

После нескольких минут скачки японцы разделились. Двое, чуть-чуть замедлив аллюр, продолжали скакать прямо, а двое взяли резко влево. Подумав о Данилове, который должен был появиться с той стороны, и чувствуя, как тяжело дышит запаленная лошадь, Артемьев продолжал скакать прямо. Оба цирика, утомившие лошадей меньше, чем он, догнали его.

Расстояние между ними и японцами сократилось метров до трехсот. Артемьев уже ясно видел обоих всадников: одного в развевающемся халате и малахае с высокими меховыми отворо-

тами и другого, должно быть скинувшего с себя халат, обнаженного до пояса, с плясавшим за голой спиной карабином.

Едва Артемьев успел подумать, что надо будет потом поискать этот халат, как японцы, оба одновременно, обернулись и, убедясь, что Артемьев и цирики преследуют их, а не тех других, которые взяли влево, прибавили ходу. Расстояние между ними и Артемьевым снова перестало сокращаться. Вскоре японцы опять разделились и теперь скакали в сотне метров друг от друга, как бы приглашая и преследователей тоже разделиться.

Оба цирика обогнали Артемьева и скакали впереди него: он был слишком тяжел для такой долгой скачки. Японцы тем временем все продолжали отдаляться друг от друга. Разделились и цирики. Один скакал за японцем в малахае, другой нагонял полуголого, с карабином. Артемьев на тяжело дышавшем коне скакал позади того цирика, который преследовал полуголого.

Казалось, эта скачка будет длиться вечно.

Вдруг полуголый круто завернул, сорвал карабин и, лежа на спине остановившейся лошади, выстрелил несколько раз подряд.

Цирик на полном скаку выпустил поводья, выбросил вверх руки, словно пытаясь схватиться за что-то невидимое в воздухе, и упал с взвившейся на дыбы лошади. Лошадь сделала прыжок в сторону и тоже упала.

Японец выстрелил еще два раза. Вторая пуля свистнула у Артемьева над головой. Видя, что он продолжает скакать, японец повернулся и снова пришпорил коня.

Если бы не эти последние два выстрела, японец имел бы шанс уйти, но Артемьев, за это время подскакавший к нему на двести метров, соскочил с коня, впечатал в землю колено и, коротко, по-уставному, одним движением поймав на мушку плясавшую голую спину, спустил курок.

Лишь когда японец упал с лошади и она медленно пошла, волоча за собой тело, застрявшее одной ногой в стремени, Артемьев понял, что сделал именно то, чего нельзя было делать. Он убил всадника, вместо того чтобы стрелять в лошадь. И мало того что убил, но и стрелял именно с намерением убить, совершенно забыв в ту секунду и приказание Шмелева, и понятную ему самому необходимость взять японца живым.

«Молодец, что не вернулся на выстрелы и продолжает гнаться за тем, в малахае»,— подумал Артемьев, поглядев вслед безнадежно удалявшимся фигурам обоих всадников, и, потянув за повод своего загнанного коня, пошел туда, где в невысокой траве лежал цирик.

Цирик был мертв, ему не мог бы помочь даже Апухтин, окажись здесь, рядом. Пуля попала в голову, над ухом чернело

входное отверстие. Лошадь лежала рядом, словно верная собака у ног мертвого хозяина.

«Почему он больше не стрелял по мне?» — подумал о японце Артемьев, искоса глянув туда, где на одном и том же месте крутилась лошадь японца, таща за собой труп, и, сосчитав выстрелы, понял: японец выпустил последние два патрона из пяти и не успел перезарядить карабин.

Положив цирика лицом вверх, Артемьев распустил подпругу, стащил с убитой лошади заправленное между седлом и потником одеяло и закутал им мертвую голову цирика, чтобы ее не расклевали птицы, пока тело будет лежать здесь, в степи; потом поднял отлетевшую на десять шагов винтовку и воткнул ее дулом в землю рядом с убитым, чтобы издали можно было найти это место.

После этого он пошел к лошади японца, которая то останавливалась, словно надеясь вдруг освободиться от груза, то снова делала несколько шагов, продолжая волочить мертвое тело.

Когда Артемьев подошел совсем близко, лошадь насторожилась, рванулась, тело японца зацепилось за кочку, лошадь заплясала на месте, рванулась еще раз; подпруга лопнула, седло полетело на землю, а лошадь, почувствовав свободу, понеслась по степи.

Японец лежал на спине. На трупе были ватные грязные штаны, подпоясанные узким черным засаленным ремешком, и гутулы — широкие монгольские сапоги с загнутыми носами.

Голое до пояса тело было все в кровь исцарапано. Артемьев вытер лицо убитого — на переносице сохранился слабый след от дужки очков. В карманах японца было только несколько обойм к карабину и плоская жестяная коробка с раскрошившимися зелеными противокомариными спиральками.

Но Артемьев все-таки решил не оставлять труп здесь, недалеко от границы,— предстояло еще как следует обыскать его, вспороть и подметки гутул, и каждый шов на одежде. Да и самый труп мог послужить вещественным доказательством.

Артемьев подвел своего мотавшего головой коня, поднял с земли мертвое тело, перевалил его вниз лицом через седло и прикрутил чембуром ноги. Осмотрев сорвавшееся с японской лошади седло и ничего не найдя, он, однако, решил взять с собой и седло.

Оставался карабин. Артемьев прикинул на глаз, где примерно он свалил своим выстрелом японца, и через несколько минут нашел в траве японский карабин с маркой оружейного завода в Осака.

Прикрепляя карабин в луке седла, Артемьев удивился той тишине, что стояла кругом. Ни с севера, где растворились в степи японец в малахае и цирик, ни с северо-запада, куда ускакали

два других японца и где должен был их встретить Данилов, ни с юга, где остался Шагдар, не было слышно ни одного выстрела. Все кончилось. Как — он не знал, но так или иначе кончилось.

Сверившись с компасом, он бросил взгляд в ту сторону, где рядом с телом погибшего цирика торчала из земли винтовка, и пошел по степи в ту сторону, где, по его расчетам, остался Шагдар. Сзади него, то и дело натягивая повод, нехотя ступала лошадь и, раскачиваясь, постукивала мертвая голова японца.

Пройдя с километр, Артемьев увидел ехавших навстречу всадников — двух цириков и пограничника.

— Капитан Данилов приказал вас искать! — подъезжая к Артемьеву, доложил пограничник.

— Ну что там? — спросил Артемьев.

— Трех японцев убили, одного поймали,— сказал пограничник. Потом помолчал и добавил: — Двое цириков убиты.

И, снова помолчав, словно ему было трудно высказать все разом, опять добавил:

— Капитан Шагдар получил касательное ранение в щеку. А капитан Данилов — тяжело раненный. Сюда.

Он показал рукой на левую ключицу. Кисть руки у него была обмотана пропитавшимся кровью бинтом.

— Вы и сами ранены?

— Японец прокусил, когда вязал его,— нехотя объяснил пограничник.— А у вас убитый? — кивнул он на лежавший поперек седла труп.

— Да.

Указав пограничнику и монголам оба направления — то, в котором ускакал японец в малахае, и то, по которому они выедут к воткнутой в землю винтовке,— он приказал искать цирика, ускакавшего за японцем, а на обратном пути захватить тело погибшего.

Через час Артемьев добрался до того места, где Шагдар первым принял бой с японцами. В степи виднелось несколько убитых лошадей, и на маленьком пригорке, сложенные рядом, лежали три трупа в порванной и запятнанной кровью одежде монгольских аратов.

Артемьев остановился возле них, развязал чембур и стащил на землю труп японца. Потом, по-прежнему ведя в поводу лошадь, подошел к Данилову. Данилов полулежал, прислонясь к двум положенным одно на другое седлам. Позади него сидел пограничник и даниловским планшетом отгонял комаров.

В двух шагах от Данилова сидел пленный. Он сидел на согнутых в коленях ногах, опираясь на пятки. Лоб его был забинтован, на лице не шевелился ни один мускул. Он сидел надменно

и непринужденно, несмотря на связанные за спиной руки. То, что он связан, Артемьев понял, лишь когда Данилов слабым голосом сказал пограничнику:

— Его.

И пограничник, нехотя подчиняясь воле начальства, махнул несколько раз планшетом перед самым носом японца, сгоняя с его лица комаров.

— Вот, ранил меня, паразит,— сказал Данилов, поворачивая голову в сторону японца.— Не хотел сдаваться, пришлось брать руками. И то, как ни старались, башку ему поцарапали.

— А у вас что за рана? — спросил Артемьев, продолжая стоять и держать за повод коня.

— Ничего, не смертельная,— усмехнулся Данилов.— Ключицу перебило, рука не действует.

— А перевязали?

— Перевязали. Но пришлось опять гимнастерку сверху надевать, а то комары. А вы — убили?

— Одного убил,— виновато сказал Артемьев,— а второго потерял из виду.

— Плохо,— сказал Данилов.— Мой, судя по всему, говорить не захочет. Потери есть?

— Один цирик погиб. А как с другим — не знаю. Он за вторым японцем погнался. Я послал искать его.

— Ну и правильно,— сказал Данилов. Гримаса боли исказила его лицо.— Сейчас Шагдар подъедет — решим, как дальше. И поедим. Черт его знает, раненный, а есть хочется.

— А где Шагдар?

— Мы с ним на японцах ничего не взяли, кроме оружия. Ездит с цириками, смотрит: может, что в степи побросали.

Артемьев сказал о своей догадке насчет сброшенного в степи халата.

— Вот именно,— ответил Данилов.— Если сегодня ничего не найдем, с утра еще будем прочесывать. Да бросьте вы повод, никуда ваш конь не уйдет, они у монголов в этом смысле золото. Труп осмотрели?

— Осмотрел. На первый взгляд как будто ничего нет,— сказал Артемьев и кивнул на японца: — Начнем допрос?

— Скворцов! — вместо ответа обратился Данилов к сидевшему за ним пограничнику.— Отведите его метров на пятьдесят.

Пограничник подошел к японцу и, тронув его за плечо, показал, что надо подняться. Не меняя надменного выражения лица, японец встал и пошел впереди пограничника.

— Вы думаете, он может знать по-русски? — спросил Артемьев.

— Не похоже, но на всякий случай,— сказал Данилов.— Толмачом у них другой был, но его, к сожалению, Скворцов первым же выстрелом снял. По-моему, из бывших русских. Скуловатый, издали можно за монгола принять. Посмотрите сами.

Артемьев снова подошел к лежавшим на пригорке трупам. У крайнего, одетого в гутулы и халат, лицо было действительно скуластое и желтоватое, но при всем том настолько отличное от мертвых лиц двух лежавших рядом японцев, что Артемьев уверенно подумал: да, это русский, бывший русский, как выразился Данилов.

«Кто он? — подумал Артемьев, глядя на заросшее густой седой щетиной и залитое кровью мертвое лицо.— Штабс-капитан колчаковской контрразведки или урядник забайкальского казачьего войска? С кем он уходил двадцать лет назад из России? С Унгерном на Ургу или с Анненковым на Харбин? Где служил потом? В охране у Чжан Цзо-лина, в полиции у Пу И или с самого начала в японской разведке?..»

— Русский? — спросил Данилов, когда Артемьев возвратился.

— Да. Так как же с допросом японца?

— Не знаю,— сказал Данилов.— Все равно уже первый страх у него прошел, пока вас искали. Да и не было у него первого страха, одна злость. Дунину руку до кости прокусил. Видали?

— Видал.

— Верней всего, не теряя времени, тащить его прямо к Шмелеву. А вот и Шагдар что-то везет! — прервал сам себя Данилов.

Артемьев обернулся и увидел подъезжающего к ним Шагдара.

— Нашел! — возбужденно кричал тот, вытягивая вперед руки, в которых виднелось что-то длинное и черное.

Это был кусок плотной материи, вроде пояса с оборванными завязками по концам. Посередине в материю были вшиты узкие карманчики и в каждый из них вставлены маленькие, в полпальца, ампулы с чем-то желтовато-серым внутри.

— Прямо тебе пулеметная лента! — Данилов вынул одну ампулу и осторожно, на отлете, держал ее в пальцах.— Опять, наверное, холера!

— Под халатом вокруг пояса носил, а в последнюю минуту сорвал,— по-прежнему возбужденно, довольный своей находкой, говорил Шагдар.— Думал — степь большая, не найдем.

— Садитесь,— сказал Данилов.— Посоветуемся.

План Данилова сводился к тому, чтобы Артемьев, не дожидаясь результатов новых поисков, взял с собой ампулы, пленного,

одного пограничника, двух цириков и ехал через перешеек между солончаковыми озерами к ближайшему полевому аэродрому. До аэродрома сорок километров, и, если отобрать пять лошадей посвежее, можно добраться туда к ночи, взять у летчиков полуторку и еще до рассвета прибыть в штаб группы.

— Так и было предусмотрено со Шмелевым в случае успеха,— сказал Данилов.— Аэродром у меня отмечен.— Он с трудом дотянулся до положенного пограничником на траву планшета и передал Артемьеву карту.

Сам Данилов решил остаться с Шагдаром до завтра и продолжать, как он выразился, «производить обыск степи», пока за ним не пришлют санитарную машину.

У Шагдара возражений не было. Он коротко ответил, что сам отберет лучших лошадей, сел на коня и поехал туда, где дымился костер и паслись лошади. До костра не было и ста шагов, но Шагдар не делал и десяти шагов пешком, если под рукой была лошадь.

Оставшись вдвоем с Даниловым, Артемьев предложил ему поменяться местами; он с Шагдаром будет обыскивать степь, а Данилов пусть едет с пленным к аэродрому. Если трудно верхом, можно из полотнища сделать люльку между двумя лошадьми...

— И приехать на аэродром завтра к утру,— сердито сказал Данилов.

— Все же раньше, чем врач доберется сюда.

— Вопрос сейчас не во мне, а в пленном, в его быстрейшей доставке,— сказал Данилов.

— Вы правы. Я еду,— сказал Артемьев.

— Супу похлебайте перед дорогой. Монголы суп варят.

— Ничего, в пути пожуем чего-нибудь.

Данилов не стал возражать.

— Скворцов! — позвал он слабым голосом.— Поедете с капитаном, повезете пленного. Ступайте за лошадьми.

— А как же вы, товарищ капитан?

— Ничего. Дупин скоро вернется. Вам все ясно?

— Все ясно, товарищ капитан.

— Подождите, оставьте мне свою фляжку,— сказал Данилов, когда пограничник отошел на несколько шагов.

Тот вернулся и, отстегнув фляжку, положил ее рядом с Даниловым. Данилов открыл пробку, поднес фляжку к губам, выпил несколько маленьких глотков, облизал губы и задрожавшими от усилия пальцами закрыл фляжку.

— Вода теплая,— сказал он.— А мою фляжку он прострелил. Шесть раз стрелял, пока его взял...

Артемьев ожидал, что Данилов расскажет еще что-нибудь о том, как он взял этого японца, но Данилов, видимо, считал сказанное достаточным. Он еще раз облизал губы и сказал:

— Возьмите его пистолет — у меня в планшете.

Артемьев еще раньше, когда Данилов давал ему карту, заметил маленький браунинг, засунутый за целлулоид вместе с полевой книжкой. Прежде чем положить его в карман, Артемьев вынул обойму. Обойма была пуста. Он взвел пистолет, и досланный в ствол патрон выпрыгнул на землю.

Артемьев подумал, что седьмую пулю японец, наверно, собирался пустить себе в лоб, но Данилов помешал ему. Стоя сейчас, здоровый и невредимый, над тяжело раненным Даниловым, Артемьев испытывал чувство, похожее на стыд.

— Знаете что, товарищ капитан...— начал он, но, поглядев на лицо Данилова, замолчал.

На лбу у Данилова выступили крупные капли пота, глаза были плотно закрыты, нижняя губа добела закушена. Его мучила боль. Он слышал слова Артемьева, но не хотел отвечать.

— Поезжайте.— Он наконец открыл глаза; после приступа боли его голос заметно ослабел.

Артемьев наклонился, пожал его влажную, холодную руку и пошел к лошадям. Лошади были заседланы. На одной из них сидел японец.

— На этих лошадях за пять часов доберетесь,— сказал подъехавший Шагдар.

— Почему они сразу же начали в вас стрелять? — спросил Артемьев, садясь на лошадь.

— Горячие люди — пальцы на курках держали,— пренебрежительно сказал Шагдар, довольный, что Артемьев спросил его об этом.— Подумали: нас — два всадника, а их — шесть человек, ручной пулемет. Начали стрелять. Убили лошадь. Я залег за лошадь, стал стрелять, одного убил. Потом они цирика убили. Потом я пулеметчика ранил. Потом они увидели вас, бросили пулеметчика и ускакали. Цирики пулеметчика убили — сзади подошли. Он в меня стрелял, а они сзади подошли. Совсем убили...

Он досадливо поморщился, и от этого движения мускулов там, где у него на щеке пулей был сорван лоскут кожи, поверх черного пятна йода выступило несколько красных капель.

— Еду.— Артемьев протянул Шагдару руку.— Данилову двигаться не давайте.

— Надо скорей врача,— вытерев кровь со щеки, сказал Шагдар.— Пусть ночью на костер едет. Я буду костер жечь. А утром костер далеко не видно — будем давать выстрелы.

Артемьев сориентировал карту и поехал впереди своего маленького отряда. Сзади него ехал пленный японец, за японцем — Скворцов, за Скворцовым — двое монголов.

Вскоре отряд догнал второй пограничник — Дунин.

— Товарищ капитан,— сказал он, подъезжая к Артемьеву,— мне товарищ капитан вас догнать приказал.

Дважды повторенное слово «капитан» имело разные оттенки. Слово «капитан», обращенное к Артемьеву, означало просто капитан, а слово «капитан», под которым подразумевался Данилов, означало — мой капитан, самый главный, настоящий, пограничный.

Через седло у пограничника был перекинут халат, а рукой он поддерживал зеленый жестяной ящик.

— Товарищ капитан приказал вам рацию передать. Я ее вместе с халатом нашел, она лямками прямо с халатом скрепленная, чтобы под ним не заметно было, если халат по крупу раскинуть. Товарищ капитан приказал прямо с халатом, не отцеплять. Вдруг чего-нибудь в халате зашито.

— Ясно,— сказал Артемьев, поворачивая лошадь и глядя на японца.

Японец сидел на лошади, низко опустив голову и, как показалось Артемьеву, намеренно пряча лицо.

— Давай сюда.— Скворцов, подъехав к Дунину, взял у него ящик и халат.

— А быстро вы едете,— сказал Дунин, который, выполнив приказание своего капитана, как бы почувствовал себя в положении «вольно».

— Спешим,— сказал Артемьев,— надо поскорей врача прислать.

— Это верно,— сказал Дунин голосом, который из веселого стал растерянным.— Капитан воды каждый момент требует, а он, когда здоровый, воду ни в какую не пьет. Пришлите вы, товарищ капитан, за-ради бога, скорей врача! — все тем же растерянным голосом попросил Дунин и, подъехав к японцу, замахнулся на него.

— Эх, так бы и дал этому диверсанту по сопатке той же самой своей рукой! И знаете, товарищ капитан,— Дунин опустил руку,— до чего рука болит! Зубы у него, что ли, ядовитые? Не может этого быть, а?

— Думаю, не может быть,— невольно улыбнулся Артемьев.

— Я тоже думаю,— в свою очередь, улыбнулся Дунин,— а рука вроде другое показывает.

— Как с тем цириком, которого я вас посылал искать? И как с японцем?

— Цирик живой, а японец утек. Цирик мне на пальцах показал, что у японца лошадь хорошая и что утек он.

— Значит, один все-таки ушел.

— Я уже поздно приступил его искать,— объяснил Дунин.— Я когда, по вашему приказанию, приступил его искать, цирик уже обратно ехал. Я его вернул, с ним еще проехал вперед километра три, думал — вдруг у японца лошадь пала. Но никого не видать было. Разрешите ехать, товарищ капитан?

— Поезжайте. Скажите Данилову, что врача постараюсь прислать еще ночью. Костер жгите.

— Есть, товарищ капитан, будем жечь. Всю ночь будем жечь,— поворачивая коня, сказал Дунин.

«Да,— подумал Артемьев, поглядывая на японца, ехавшего теперь не позади, а впереди него, рядом с молчаливым Скворцовым,— вот Данилов без долгих слов действительно выполнил свой долг до конца, и японец едет себе и покачивается на лошади. А будь на месте Данилова второй Артемьев, лежал бы этот японец в степи таким же мертвецом, как тот радист и, наверное, заодно шифровальщик, чей халат и рацию везет теперь Скворцов. Конечно, письменного кода у радиста с собой не было — в таких случаях дают что-нибудь попроще, что можно затвердить на память. Но, будь он жив, его можно было бы допросить...»

Артемьев даже зажмурился от досады.

В сущности, на его долю теперь осталась самая простая задача — привезти японца в штаб группы в целости и сохранности, не дав ему разодрать себе рану или найти какой-нибудь другой способ покончить жизнь самоубийством.

Данилов сказал, что японец не струсил, когда его брали, а Данилов открывал рот только для того, чтобы говорить вещи, совершенно точно соответствующие действительности.

Артемьев думал о том, что у него мало надежды на успех, если он вздумает по дороге самостоятельно допрашивать этого японца. Если не считать нескольких минут, когда он на Баин-Цагане оказался переводчиком командующего, до сих пор он допрашивал только японские полевые сумки, а у японца, которого он вез, неподвижное лицо человека, которого трудно чем-нибудь смутить.

Но, может быть, все-таки попробовать допросить его сейчас, еще по дороге, пока он не попал на ночлег, не заснул, не проснулся живым, не прожил сутки и не почувствовал, что проживет еще и еще сутки и его не будут ни бить, ни убивать?

Все еще продолжая раздумывать — допрашивать или не допрашивать японца, Артемьев вплотную подъехал к нему и

неожиданно спросил по-японски громким, повелительным голосом:

— Как ваше имя?

— Сике Курода,— вздрогнув от неожиданности и вздернув голову, сказал японец.

— Военное звание? — крикнул Артемьев, наезжая на японца.

— Капитан.

Выражение растерянности метнулось и погасло в глазах японца. Дернув головой, он словно опять поймал неподвижную маску, на секунду соскочившую с его лица.

— Из какой воинской части? — попробовал еще раз крикнуть Артемьев, чувствуя, что японец уже не ответит.

И японец не ответил. Артемьев продолжал ехать рядом с ним, внимательно всматриваясь в его лицо.

«Лицо как лицо. Однако терпеливый: хоть и на ветерке, но все-таки комары его кусают, а он даже щекой не двинет».

— Я больше не скажу вам ни слова,— не поворачивая головы, резким злым голосом сказал японец.

Артемьев проехал еще несколько шагов рядом с ним и снова отстал на корпус, продолжая думать: как поступать дальше?

Была уже середина дня, солнце нещадно жгло. Сняв фуражку, Артемьев вытер рукой взмокший лоб, вспомнил, что в галифе у него есть платок, полез в карман и вытащил вместе с платком браунинг японца. Разглядывая еще раз оружие, из которого человек, ехавший сейчас перед ним, шесть раз подряд стрелял в Данилова, Артемьев задержал браунинг в руке и вдруг поймал взгляд японца. Японец отвернулся, но Артемьев успел заметить выражение его лица.

«Боится того, что я еду у него за спиной, не довезу и застрелю. В первые минуты не струсил, а сейчас боится».

— Так будете или не будете отвечать? — спросил Артемьев, нарочно выбрав форму японского обращения, которая звучит как «ты» и которую употребляют, желая подчеркнуть свое превосходство над собеседником или его низкое общественное положение.

Для этого ехавшего впереди японского капитана, исходя из его собственных воззрений, такое обращение означало проявление силы.

— Я буду говорить на допросе, когда вы меня привезете в штаб,— сказал японец, не поворачиваясь, но смягчая тон ответа употребляющимися в японском языке почтительными приставками.

«Больше в дороге отвечать действительно не будет,— подумал Артемьев.— Боится, что удовлетворюсь его ответами и, вы-

слушав их, убью его. А в то же время не рискнул ответить мне слишком грубо, чтобы я не убил его».

Повеселев от уверенности, что он понимает психологию японского капитана, Артемьев еще раз поравнялся с японцем и спросил — хочет ли он воды?

— Да,— жадно и быстро сказал японец.

— Товарищ Скворцов! — крикнул Артемьев.— Подъезжайте, возьмите мою фляжку и дайте японцу воды. Он просит пить. Я сам не хочу ему давать,— тихо добавил Артемьев, когда Скворцов подъехал к нему вплотную.— А то много будет думать о себе. Да и вы особенно не старайтесь, влейте ему в рот три-четыре глотка — и всё.

— Ясно.— Скворцов взял фляжку и подъехал к японцу.

Артемьев остановил коня и увидел, как пленный, задрав голову, сделал несколько жадных глотательных движений.

— Клычищи — прямо как у тигры! — сказал Скворцов, возвращая фляжку.— Как бы наш Дунин на инвалидность по укусу не перешел. Я, когда воду давал, флягой ему по зубам задел. Крепкие!

— Это уж лишнее,— сказал Артемьев.

— Да я не нарочно. Что я, не понимаю? — сказал Скворцов.— Разве я связанного человека ударю? Я ему сперва руки развяжу, да пускай он меня первый стукнет, а потом уж я ему нос на затылок заверну.

Скворцов отъехал от Артемьева и снова занял свое место рядом с пленным.

Продолжая ехать сзади, Артемьев заметил, что японец стал время от времени поматывать головой. Очевидно, теперь, когда ему дали воды, он поверил, что его пока не убьют, и, уже не заботясь о выражении лица, вспомнил о комарах.

«Будет отвечать»,— подумал Артемьев.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Первое сентября оказалось для Полынина днем, полным событий.

Утром встревоженного Козырева вызвали на Хамардабу, в штаб. Один раз, в августе, его уже вызывали, и командующий, не посчитавшись с боевыми заслугами, разнес его, как мальчишку, за манкирование командирскими обязанностями.

— Если б не заместитель, который штопает твои прорехи, ты б у меня живым не ушел,— сказал ему тогда на прощание командующий.

Козырев, зная за собой новые грехи, боялся повторения разговора на еще более высоких тонах и, уезжая на Хамардабу, сорвал зло на Полынине.

Полынин молча выслушал его и, приложив руку к козырьку, хладнокровно спросил: «Разрешите выполнять?» — хотя выполнять было нечего: все, что наговорил ему Козырев, не имело отношения к делу.

Не найдясь что ответить, Козырев хлопнул дверцей машины и уехал.

Полынин проводил глазами машину, подумал, что Козырев, кажется, трусит, и пошел в штабную палатку заниматься делами.

Через час ему позвонили, что три десятка японских бомбардировщиков в сопровождении сорока истребителей перелетели Халхин-Гол и легли курсом на полевые аэродромы наших бомбардировщиков.

Полынин дал ракету и поднял в воздух все три девятки. На земле остался только самолет Козырева.

Японцев встретили на подходе, но постепенно бой переместился к западу, и Полынин, дерясь с японскими истребителями, несколько раз видел внизу свое летное поле с квадратом штабной палатки и одиноким козыревским самолетом.

Японцы словно с цепи сорвались — им уже сожгли семь машин, а они все лезли и лезли. Их истребители на встречных курсах отворачивали только в самую последнюю секунду.

Окончательно растрепали японцев, лишь когда на помощь Полынину прилетело еще две девятки. Японские бомбардировщики стали набирать высоту и уходить в облака. Гонясь за ними, Полынин погорячился, промазал и, выходя из виража в хвост японцу, попал в сектор обстрела хвостового пулемета. Очередь с близкого расстояния превратила в лохмотья левую плоскость, он едва-едва довел самолет и вылез, обливаясь пóтом.

Пока Полынин был в бою, на аэродром упало несколько бомб. Козыревский самолет подбросило взрывной волной и ткнуло плоскостью в землю. Надо было ее менять.

Полынин представил себе, как будет ругаться Козырев, и, несмотря на утреннюю стычку, посочувствовал ему. При всех скверных сторонах козыревского характера в бою оставалось лишь любоваться им — бой был его стихия. И, раз его сегодня лишили боя, он, вернувшись с Хамардабы, наверняка будет ко всему придираться.

Отшвырнув носком сапога осколок бомбы, валявшийся перед самым входом в палатку, Полынин стал звонить бомбардировщикам. Во время боя он видел, как его летчик Качура выбросился на парашюте из зажженного японцами истребителя как раз над

аэродромом бомбардировщиков. Дальнейшего Полынин из-за боя проследить не смог и сейчас хотел спросить бомбардировщиков, как дела с Качурой.

Качура был у бомбардировщиков, его даже позвали к телефону.

— Живой? — спросил Полынин.

— Я-то живой,— пристыженно сказал Качура и вздохнул в трубку.

— Он у тебя сразу вспыхнул, я видел, ты пламя не мог сбить. Так что не расстраивайся.

Полынин хотел приободрить Качуру, но из этого ничего не вышло.

— Матчасть жалко,— мрачно сказал Качура и снова громко вздохнул в трубку.

— Ладно, давай мне Иконникова,— сказал Полынин.

Иконников был командир бомбардировочного полка. Полынин попросил его доставить Качуру и стал расспрашивать, какие у него потери от японской бомбежки.

Иконников ответил, что потери сравнительно небольшие: сожжены на земле один СБ, один У-2 да три бомбардировщика повреждены осколками.

Поговорив с Иконниковым, Полынин вышел из палатки. Из боя уже вернулись все, кроме Качуры и командира третьей девятки майора Фисенко, но о нем не особенно тревожились: Соколов-старший видел, как он шел на бреющем полете уже после боя.

— Где-нибудь присел,— сказал Соколов.— Если через полчаса не явится, я слетаю, поищу.

Полынин молча кивнул, давая разрешение.

Самолеты спешно заправляли бензином,— судя по ожесточению японцев, от них можно было ожидать повторного налета.

Полынин обошел все машины и, кроме своей и козыревской, отставил от полетов еще две.

Пилоты злились, пытались доказать Полынину, что все эти пробоины чепуха, но Полынин не обратил внимания на их разговоры, надвинул на лоб фуражку и пошел прочь.

Собравшись по трое, по четверо между самолетами, летчики сидели и обсуждали подробности боя.

Грицко, жестикулируя своими длинными руками, полушутя-полусерьезно объяснил психологические причины сегодняшней ярости японцев.

— Убери свои плоскости,— сказал Полынин, подсаживаясь и придерживая его руку.— Психолог!

— А что? — сказал Грицко.— Тридцатого числа мы их на земле подытожили.— Он сложил пальцы щепотками и завязал в

воздухе невидимый узелок.— Тридцать первого они по пехоте поминки справляли — не летали. А сегодня проспались и хотят в воздухе отыграться.

— Ну, а на земле, как по-твоему, будут отыгрываться? — спросил Полынин.

Грицко поскреб пальцами в затылке.

— Я утром, когда барражировал, полетал немного над границей. Граница как граница: флаги стоят, проволока, все нормально, никаких японцев.

— А за границей? — спросил кто-то.

Грицко снова поскреб в затылке и кивнул на Полынина:

— А про заграницу — начальство спроси. Нам туда летать не приказано.

Грицко имел в виду приказ штаба группы, с которым вчера ознакомили весь летный состав. После ликвидации остатков японских войск на монгольской территории с сегодняшнего дня запрещалось перелетать монгольско-маньчжурскую границу даже на один-два километра в глубину.

Полынин промолчал.

— Ну, а вот, скажем, так,— продолжал Грицко.— Внизу граница.— Он провел рукой по земле.— Он сюда, к нам, летал, а я за ним теперь обратно гонюсь. И он уже там. А я еще здесь, но вполне могу его через границу очередью достать. Так как, сразу в него стрелять или сперва согласовать вопрос с командованием? А?

Полынин рассмеялся и пожал плечами. Шутки шутками, а приказ действительно тяжелый.

Из палатки выбежал дежурный и стал семафорить Полынину — зовут к телефону.

— Кто это? — спросил незнакомый и чем-то все же знакомый голос, когда Полынин вошел в палатку и взял трубку.— Командир группы?

— Нет, Полынин.

— А, тем лучше! — сказал голос.— Здравствуйте! Говорит Апухтин. Помните меня?

— Еще бы! — сказал Полынин.— Как в зеркало посмотрюсь, так сразу вас вспоминаю.

И он, продолжая говорить по телефону, потрогал пальцами свое куцее, без мочки, ухо.

— Только что снял со стола вашего Фисенко,— сказал Апухтин.— Он перед наркозом просил меня позвонить в группу — как сойдет операция. Докладываю: закончилась благополучно. Будет жить.

— А что такое? — спросил Полынин.— Почему операция?

— Японская пуля в кишках, потому и операция,— спокойно сказал Апухтин.— А благополучная только потому, что ваш Фисенко сам себя спас: своевременно сел у госпиталя и даже подрулил к операционной... А мы его, не теряя времени,— на стол.

— А когда можно его навестить? — помимо воли робея перед хирургом, спросил Полынин.— Я, как стемнеет, приеду. Можно?

— Можно, но нет смысла,— сказал Апухтин.— Говорить с ним разрешу через сутки. А самолет ваш заберите сегодня же, а то еще примут меня за аэродром и разбомбят.— Было слышно, как он усмехнулся, прежде чем положить трубку.

Полынин поднялся с деревянного ящика из-под сгущенного молока, на котором сидел, разговаривая по телефону, но в эту минуту позвонил Иконников и спросил, получена ли в группе армейская газета.

— Нет еще.

— А у нас уже есть. Большое награждение. Только Героев — тридцать один,— сказал Иконников.— Один у меня, один у вас. Прочесть по телефону?

— Прочти.

Иконников прочел список. В нем оказался Соколов-старший, у которого после Козырева было самое большое в группе число самолетов.

— Чувствуешь? — сказал Иконников.

— Да, с Соколова причитается,— ответил Полынин.

— И двое дважды Героев Советского Союза,— выдержал паузу Иконников,— Грицевец и Кравченко. Вот будет твой Козырев рвать и метать, что им дали по второму разу, а ему — нет!

Иконников сказал это со злорадством: он в августе приезжал объясняться с Козыревым на принципиальной почве, но вместо этого поругался и написал на Козырева рапорт, что тот неаккуратно сопровождает бомбардировщиков,— когда они ложатся на обратный курс, уводит истребителей на свободный поиск японцев, в результате чего Иконников имел потери.

Полынин из чувства товарищества не согласился с Иконниковым и сказал, что ничего подобного, Козырев воспримет все как должно.

— Поживем — увидим,— сказал Иконников.— Дальше докладывать или нет?

— Продолжай, раз начал.

— Напечатано, что всего по армейской группе — девятьсот три награжденных. Мои ребята звонили в редакцию, знакомой машинистке,— по орденам Ленина уже список есть. Там и мне, и тебе, и Козыреву причитается.

— Насчет меня не шутишь? — спросил Полынин.

— Разве этим шутят? Поздравляю! И Козырева бы поздравил, да ведь ему, наверное, ордена мало.

Полынин вышел из палатки взволнованный. Надо было поделиться с товарищами всем сразу — и тем, что Фисенко чуть не погиб, и тем, что в группе новый Герой — Соколов, и, наконец, своей собственной радостью, но не отошел он от палатки и пяти шагов, как опять затрещал телефон.

— Четырнадцатый звонит! — крикнул дежурный.

Полынин рысью побежал к телефону и получил приказание поднять девятку истребителей — барражировать над Хамардабой. Через три минуты дежурная девятка была уже в воздухе. Ее вел Соколов, так и не успевший узнать перед вылетом, что ему присвоено звание Героя.

Выпустив в воздух девятку, Полынин велел снарядить полуторку с бочкой авиационного бензина и приказал одному из оставшихся без машин летчиков поехать за машиной Фисенко и, если она в порядке, заправить и пригнать ее.

А еще через пять минут вернулся Козырев, такой мрачный и тихий, каким Полынин его отродясь не видел.

Возвращаясь с Хамардабы, Козырев дважды вылезал по дороге из машины и ходил по степи, чтобы успокоиться. Обычно он не заботился о том, чтобы скрывать свои чувства, но сейчас был так уязвлен, что не желал их показывать.

Козыреву пришлось явиться не к самому командующему, как он думал, а к своему непосредственному начальнику — заместителю командующего по авиации. Козырев вышел из его юрты ровно через три минуты после того, как вошел в нее. Он выслушал поздравление с орденом Ленина и приказ сегодня же сдать командование группой Полынину, перелететь на аэродром тяжелых бомбардировщиков, а завтра утром почтовым самолетом отбыть в Москву, куда его отзывали.

И то и другое — награждение орденом Ленина, в то время как Грицевец и Кравченко стали дважды Героями, и отъезд в Москву, когда здесь еще не кончились бои,— Козырев ставил в прямую связь с недавним вызовом к командующему.

Все, конечно, знали, сколько самолетов на личном счету у Козырева,— тут уж ни прибавишь, ни убавишь,— не меньше, чем у Грицевца и Кравченко. Но командующий невзлюбил его как командира группы, и вот результат: сперва не представил к дважды Герою, а теперь, в разгар боев, отпустил в Москву, наверно доложив, что здесь можно обойтись и без него.

Переживал Козырев и то, что сдавать группу приходилось именно Полынину, с которым в последнее время он вконец испортил отношения.

В глубине души Козырев уже стал понимать, что Полынин день ото дня все больше делается фактически командиром группы. Началось это еще в июне, когда Козырев заболел малярией. Потом, выздоровев, он махнул на это рукой,— чем он меньше командовал, тем у него оставалось больше времени летать, а Полынин успевал и то и другое.

Но если б кто-нибудь откровенно, вслух сказал Козыреву, что было бы куда лучше назначить Полынина на группу, а ему, Козыреву, вместо этого командовать девяткой или звеном или просто летать на своем истребителе, не командуя никем, кроме себя, если бы Козыреву сказали, что так будет лучше для них обоих и для дела,— он бы встал на дыбы. По его убеждению, что бы там ни делал Полынин, но группа должна была оставаться козыревской, потому что Козырев, а не Полынин был знаменитым летчиком, потому что Козырев сбил вдвое больше самолетов, чем Полынин, потому что Козырева знала вся страна, а Полынина никто не знал.

За два года став из старшего лейтенанта полковником, он искренне считал, что группой должен командовать именно он. А если ему это плохо дается — пусть другие, оберегая его авторитет, помогают ему в этом.

Если бы он вдруг сам себе задал вопрос: а, собственно, почему нужно оберегать его авторитет и почему хорошо, когда формально командует один, а на деле другой? — едва ли он смог бы честно ответить на этот вопрос. Но он и не задавал себе таких опасных вопросов, и лишь все чаще вспыхивавшее в нем раздражение против неутомимого и властного Полынина говорило, что в глубине души ему все больше не по себе.

Вызов к командующему в августе впервые открыл Козыреву глаза на то, что не только он, наедине с собой, знает, кто фактически командует группой, но и другие начинают понимать это. Его самолюбие было задето, и он сам начал задевать Полынина. Сегодня в штабе наконец были поставлены все точки над «и».

Козырев понимал, что Полынин ни в чем не виноват перед ним, но смирить самолюбивое бешенство уже не мог.

Приехав на аэродром, Козырев походил около воронок, потом вокруг своего истребителя, посмотрел на его изрешеченный в боях и залатанный фюзеляж, на изуродованную плоскость и мрачно подумал: «Одно к одному!»

Не сказав ни слова никому из летчиков, он пошел в палатку, поманил за собой Полынина, нетерпеливо выслушал его доклад и сквозь зубы, строго официально, на «вы», предложил ему принять командование группой, которую он, Козырев, сдает в связи с убытием в Москву.

Сдавать было, собственно, нечего. Все касавшееся и людей и материальной части было известно Полынину не хуже, а лучше, чем Козыреву, и это знали они оба.

— Прикажите перегнать сюда У-2 и подготовить на пятнадцать часов,— сказал в заключение Козырев, сел в машину и поехал к себе в юрту за вещами.

Полынин тут же позвонил насчет У-2 и несколько минут молча просидел один.

Он не боялся вступить в командование группой, знал, что без Козырева будет командовать ею лучше, чем при Козыреве,— со всей полнотой власти. То, что Козырев улетал, заботило Полынина по другой причине: Фисенко был в госпитале, а теперь еще улетит Козырев — лучший летчик группы. Именно так: не как командира, а как лучшего летчика группы уже давно привык он мысленно расценивать Козырева.

И все же Полынин был не столько озабочен, сколько огорчен. Официальный тон, взятый Козыревым по приезде из штаба, по мнению Полынина, можно было бы оправдать лишь в одном случае — если бы он, Полынин, «подсидел» Козырева. Но, далекий от мысли о чем-нибудь похожем, Полынин не допускал, что Козырев может так думать, недоумевал и сердился.

Даже когда Соколов привел свою девятку после барражирования над Хамардабой, Полынин, поздравляя его, не сразу успел стереть с лица сердитое выражение. Козырев вернулся очень быстро с чемоданом и кожанкой.

У-2 еще не прилетел. Поставив чемодан возле палатки, Козырев вошел и сел за стол напротив Полынина.

Оба сидели молча, не зная, что сказать. Наконец Козырев заговорил первым:

— Поздравляю с орденом Ленина. Этого кляузника Иконникова тоже наградили.

Он сказал это без всякой паузы. Полынин чуть не вспылил, но пересилил себя.

— По-моему, тебе личный состав надо собрать,— сказал он.— Проститься и меня представить.

— Ну что ж, собирайте,— ответил Козырев, продолжая говорить на «вы».

Он готов был расплакаться, увидев сразу почти всех летчиков и механиков и среди них — своего механика Бакулина. Но как раз оттого, что ему хотелось заплакать, он, к общему удивлению, сказал на прощание всего несколько сухих, казенных слов, деревянным голосом представил Полынина как нового командира группы и, боясь проявления чувств, торопливо скомандовал:

— Можете быть свободными.

— Насчет Бакулина,— сказал Козырев Полынину, наблюдая, как летчики и механики расходятся к самолетам.— Бакулина мне обещали отдать, послать следом в Москву. Если тебя спросят, не задерживай.— Говоря о Бакулине, он из самолюбия прилгнул. Откомандировать Бакулина ему не обещали, а лишь сказали, что решат вопрос, и Козырев подозревал, что тут главное слово будет за Полыниным.

— Конечно, не задержу,— с готовностью ответил Полынин, хорошо понимавший силу привычки к своему механику.

Козырев взглянул на него.

— Слушай,— сказал Полынин, решаясь идти на откровенность,— на меня ты сердит — черт с тобой! По-твоему, я виноват, что за тебя остаюсь. Но ребята при чем? Они-то в чем виноваты? Пойди простись с каждым по-людски. Слышишь? Обойди все самолеты и простись. Слышишь или не слышишь?

— Слышу,— глухо сказал Козырев и, ни слова не прибавив, пошел к самолетам.

Полынин отправился вслед за ним на летное поле, чтобы осмотреть уже пригнанную машину Фисенко. Она оказалась в порядке, если не считать пулевых пробоин в щитке. Полынин тут же приказал заправить ее, рассчитывая летать на ней, пока не заменят плоскость на его собственном истребителе.

Часом позже Козырев, повеселевший от тех изъявлений дружбы и товарищества, которыми, каждый по-своему, проводили его летчики, стоял возле У-2 и еще раз поочередно пожимал руки всем, чьи истребители были неподалеку и кто имел возможность подойти к нему. Чемодан и кожанку он уже сунул в кабину и, держа в руках шлем, собирался садиться в самолет, как вдруг из палатки, где стоял телефон, выскочил дежурный и побежал к Полынину.

— Товарищ командир группы! Приказано опять лететь на Хамардабу девяткой.

— Давай! — сказал Полынин стоявшему возле него Грицко.

Летчики побежали к машинам, а Полынин встретился взглядом с Козыревым. У Козырева было обиженное лицо человека, у которого только что отняли самое для него дорогое. Вдобавок его резанули по сердцу слова «товарищ командир группы», обращенные к Полынину.

— Может, слетаешь напоследок? — спросил Полынин.— Машина Фисенко заправлена.

— Слетаю,— коротко, сдавленным от волнения голосом сказал Козырев, натягивая шлем.— Свожу девятку.— И побежал к самолету.

Через сорок минут, вернувшись из боя, разгоряченный Козырев снова стоял около У-2, и снова вокруг толпились летчики. Правда, в бою был сбит всего один японец и при этом коллективно — Грицко, Козыревым и еще двумя истребителями,— но у Козырева все равно было счастливое лицо. Он радовался, что улетает в Москву прямо из боя.

— Японца будем считать за тобой,— сказал Грицко, пожимая ему руку.

— А, считайте за кем хотите. За всей полынинской группой.

Козырев не выговорил, а выдавил из себя эти трудно давшиеся ему слова и подошел к Полынину.

— Желаю успеха, Николай.

— И тебе тоже,— ответил Полынин и тихо, но твердо, добавил: — Побольше летай, Петр, поменьше командуй.

Это было сказано с неумолимой полынинской прямотой.

— Как начальство,— криво усмехнулся Козырев,— от нас не зависит.

— А ты объясни,— все так же неумолимо сказал Полынин.

Козырев взглянул в лицо Полынину со смешанным чувством изумления перед дружеской прямотой этого человека и злости на него. Боясь, как бы с языка не сорвалось что-нибудь не то, он торопливо обнял Полынина и полез в самолет, не на пассажирское место, куда уже запихнул свой чемодан, а на место пилота.

— Товарищ полковник! — подбегая, запротестовал пилот.

— Садись в «тещин ящик»,— сказал Козырев.— Видишь, уже сижу. А ну, от винта!

Едва Козырев улетел, как снова позвонили из штаба и потребовали поднять в воздух девятку. На этот раз японские самолеты были замечены на большой высоте над Буир-Нуром. Девятку послали на перехват, и она действительно перехватила японцев над районом солончаковых озер. Бомбардировщики ушли в облака, но один японский истребитель все же был сбит. Об этом, стоя у самолета, доложил Полынину водивший девятку Соколов-старший. Докладывая, он искоса поглядывал на бензовозку, задержавшуюся у соседнего самолета.

— Чего волнуешься? — спросил Полынин.

— Братишку что-то потерял.

— Подожди, придет, еще три машины не вернулись,— спокойно сказал Полынин.

— Да я его что-то с самого начала из виду упустил. Боюсь, не рассчитал бензина — где-нибудь сел.

Прилетели еще два самолета. Соколова-младшего все не было. Полынин посмотрел на часы. По расчету горючего, младший Соколов прилететь уже не мог.

— Облачность,— оправдываясь перед Полыниным, говорил старший Соколов.— Я сразу полез на верхний этаж, за японцами, вынырнул, а его уже нет нигде. Наверное, присел где-нибудь. Разрешите слетать?

— Звеном слетайте,— приказал Полынин.— И пошире район осмотра возьмите.

Соколов слетал звеном, но ничего не нашел. Потом слетал еще раз — один — и тоже не нашел. Он крепился, но Полынин видел, как он удручен, и не пустил его в третий полет, а сел в истребитель Фисенко и полетел сам.

Начинало вечереть. Степь лежала внизу однообразная, угрюмая и в этих местах особенно безлюдная. За все время полета Полынин заметил только небольшую группу кавалеристов, расположившуюся биваком в районе солончаковых озер.

Следов Соколова-младшего нигде не было.

Уже возвращаясь, Полынин увидел под собой разбросанные по степи остатки самолета.

«Не он ли?» Полынин развернулся, прошел над обломками так низко, что успел схватить глазом все подробности: обломки были свежие, сегодняшние, а лежавший подле них труп был трупом японского летчика.

Вернувшись на аэродром, Полынин сказал Соколову, что поиски будут продолжаться завтра с утра одним звеном, и приказал шабашить, потому что «шарик» уже наполовину скрылся за горизонтом.

Наскоро, без аппетита перекусив у себя в юрте вместе с Грицко, Полынин почувствовал тяжелую усталость и, подложив под сапоги газету, лег на койку. Несмотря на предупреждение Апухтина о том, что с Фисенко можно будет говорить лишь через сутки, он решил, полежав часок, съездить в госпиталь и узнать, как дела. Поглядывая на неподвижно лежавшего на соседней койке лицом вниз старшего Соколова, он сначала задумался над тем, как понадежней организовать завтра поиски его брата, потом вспомнил о Козыреве и пожалел, что не догадался послать с ним письмо матери — порадовать ее орденом Ленина. Укорив себя за это, он решил, что все-таки на днях пошлет ей письмо с козыревским механиком Бакулиным. Потом мысли его стали путаться, и он заснул.

— Товарищ майор! А товарищ майор! — расталкивал Полынина оперативный дежурный.

Полынин спустил с койки ноги, протер глаза. На столе стояла «летучая мышь» с прикрученным фитилем. На одной койке

храпел Грицко, на другой, по-прежнему уткнувшись лицом в подушку, лежал Соколов-старший. Третья была пустая. У входа в юрту кто-то стоял.

— Вот тут приехал капитан из разведотдела,— продолжал дежурный.— Говорит, срочное задание командования. Поэтому вас разбудил.

— Ну и хорошо, что разбудил,— сказал Полынин, имея в виду не приезд капитана из разведотдела, а собственную предстоящую поездку к Апухтину.— Садитесь.— Он прибавил фитиль, показал на койку младшего Соколова и лишь после этого поднял глаза.

— Здравствуйте,— удивленно сказал Артемьев.

Он знал, что выехал к аэродрому козыревской группы, и, прося дежурного разбудить командира, ожидал, что увидит Козырева.

— А, здравствуй, Павел,— протягивая руку, сказал Полынин.— Как живешь? Вид у тебя неважный.

— Живу как у бога за пазухой.— Артемьев потер ладонью распухшее от комариных укусов лицо.— Пять дней у черта на куличках был. Как идут дела?

— Смотря где,— сказал Полынин.— В Европе, похоже, война начнется между поляками и немцами, и те и другие мобилизацию объявили. Ночью радисты пробовали настроиться, но не вышло — далеко!

— А как здесь?

— На земле закруглились, на границу вышли, пока все тихо.

— А в воздухе?

— Еще воюем. Сегодня девять самолетов сбили и своих два потеряли.

Артемьев оглянулся на пустую койку, на краешке которой сидел.

— Чего прибыл-то? — поинтересовался Полынин.

Артемьев вкратце рассказал о поимке японца и ранении Данилова, попросил дать полуторку, позвонить в штаб и в госпиталь.

— Готовьте полуторку,— сказал Полынин оперативному дежурному,— и «эмку» тоже пусть подадут. А к телефону придется в козыревскую юрту идти.

Он взял «летучую мышь» и вышел. В колеблющемся пятне света мелькнули неясные очертания стоявших возле юрты людей и лошадей.

— Тебе кого вызвать? Разведотдел? — спросил Полынин, когда Артемьев вошел вслед за ним в знакомую козыревскую

юрту. Хотя группа еще в июле перебазировалась на сорок километров ближе к фронту, юрта была все такая же и, казалось, стоит на том же самом месте.

— Разведотдел и сразу после него — госпиталь.

— Это надо будет через четырнадцатый звонить, потом двойку просить, и чтобы уже двойка дала тебе и разведотдел и госпиталь. У нас прямой связи нет. Сейчас попробуем.

Полынин покрутил ручку телефона, вызвал четырнадцатый и попросил дать двойку.

— Ну, а живешь-то, живешь-то как? — держа трубку около уха, спросил он у Артемьева.

— Ничего, был в оперативном, теперь в разведывательном. Один раз видел над степью твой истребитель, узнал по семерке. Хотел тебе крикнуть, чтобы присел на минуту.

— А мы тебя с ребятами вспоминали. Я тогда прилетел, а ты уже с командующим уехал. Говорят, он тебе тогда дал жизни! Крепко дал?

— Немножко досталось,— улыбнулся Артемьев воспоминанию, казавшемуся теперь далеким.— А где Козырев?

— Ну что там? — спросил Полынин в трубку.— Хорошо, звони... Сейчас соединит,— положив трубку, сказал он Артемьеву.— Козырев улетел сегодня. В Москву отозвали. Ты ведь москвич? — Глядя на Артемьева, он вспомнил о своем намерении послать с Бакулиным письмо матери и подумал, что Бакулин может захватить и письмо Артемьева.— У нас механик козыревский на днях полетит, если хочешь, напиши записку родным — он в два счета доставит. Я тоже с ним домой писать буду.

— А удобно? — спросил Артемьев.

— Ничего, свезет! А то полевая почта, говорят, больше месяца идет.

— Да, примерно так.— Артемьев вспомнил письмо сестры.

Полынин вырвал верхнюю, еще Козыревым исчерченную страницу и протянул блокнот:

— На, пиши!

Артемьев торопливо нацарапал несколько строчек одеревеневшими от поводьев, плохо слушавшимися пальцами.

— Кому пишешь? — спросил Полынин, увидев, что Артемьев уже складывает листок.— Больно коротко.

— Матери.

— Так вот и все мы: как матери, так коротко. А то и вовсе забудешь. Козырев улетел в Москву, а я даже про мать и не вспомнил. Ну что они там?

Он сунул в карман записку Артемьева и взялся за трубку.

— Четырнадцатый! Даешь двойку или не даешь? Жду.

— Полуторка готова, товарищ майор,— входя в юрту, сказал оперативный дежурный.

— Давай езжай, не трать время,— обратился Полынин к Артемьеву и кивнул на дежурного: — Я ему поручу, чтоб дозвонился и сообщил, что ты уже выехал.

— Надо и до госпиталя дозвониться,— попросил Артемьев.

— А в госпиталь звонить — лишнее. У меня там летчик раненый лежит, я сию минуту сам туда еду.

— Ночью?

— А когда же? Утром мне летать надо! Самому Апухтину все скажу.

— Действительно скажешь? Не забудешь?

— Что значит «забудешь», если раненый человек в степи лежит? Я два часа назад, наверное, как раз их и видел. Люди и лошадей десятка два. В районе солончаков. Могут быть они?

— Вполне могут.

— Ну вот,— сказал Полынин так, словно он с этой минуты лично знаком с Даниловым и Артемьев может окончательно не тревожиться за судьбу пограничника.— Все сделаю, будь покоен. Иди грузи на машину свое добро!

Командующий сидел в своем новом блиндаже и с удовольствием в одиночестве пил крепкий чай.

Блиндаж достроили только позавчера, когда на Ремизовской сопке отгремели последние выстрелы. Он был срублен саперами на диво чисто, даже нарядно. Часть блиндажа была отделена занавеской, сшитой из плащ-палатки. За ней стояла койка. Пол был хорошо выструган и вымыт. На стене на новеньких никелированных крючках висели шинель и гимнастерка командующего, его ремень, бинокль, планшетка, полевая сумка и две фуражки — старая и новая.

Командующий был в прекрасном настроении с позавчерашнего дня, когда они с членом Военного совета доложили Москве итоги операции. Японцы потерпели крупное поражение. Именно этими словами оценил происшедшее Ворошилов, разговаривая с командующим по телефону.

— Буду докладывать товарищу Сталину, что задача, поставленная им перед вашей армейской группой, полностью выполнена.

А уже ночью был получен Указ правительства о награждении героев Халхин-Гола. Список в тридцать человек, которых в ходе боев командующий представил к званию Героя Советского Союза, был пополнен в Москве еще одним человеком — им самим.

Несмотря на это радостное известие, командующий, вопреки ожиданиям окружающих, не дал вчера никакой поблажки ни себе, ни им. Он полдня работал с начальником штаба, потом занимался вопросами тыла, настаивал, чтобы интендантство немедля прислало из Читы десять тысяч комплектов обмундирования первого срока, потому что люди на передовой обносились; потом вызывал авиаторов и артиллеристов, а весь вечер подписывал наградные листы.

Зато ночью, впервые за долгое время, он не торопясь попарился в бане и, хотя после этого не проспал и четырех часов, чувствовал себя сегодня помолодевшим и бодрым. Он сидел в заправленной в бриджи нательной рыжей байковой рубашке, расстегнутой на широкой, сильной шее, пил чай и наслаждался окружающей чистотой, запахом свежеобтесанных бревен, отсутствием пыли, песка, комаров, ветра и даже солнца.

Сегодняшний день был спланирован так, чтобы соединить необходимое с приятным; командующий решил с утра не спеша объехать части, расположенные вдоль границы, и думал об этой поездке с удовольствием — войска были в праздничном настроении, а синоптики сулили хорошую погоду. Оставалось лишь допить чай и ровно в семь принять перед отъездом начальника разведотдела.

— Разрешите войти,— сказал Шмелев, притворяя дверь.

— Входите. Садитесь,— командующий взглянул на часы, на них было без пяти семь.— Что-то у вас в разведке часы вперед забегают.

— Такая уж наша служба,— сказал Шмелев.

Командующий насмешливо кашлянул, снял с никелированного крючка гимнастерку и ремень и пошел за занавеску — одеться.

— Чаю хотите? — спросил он, вернувшись.

— Спасибо, товарищ командующий. Пил.

— Тогда докладывайте.

Шмелев, который ночью по телефону только в двух словах сообщил, что взят пленный, подробно рассказал обстоятельства уничтожения диверсионной группы.

Командующий нажал кнопку звонка. Вошел адъютант.

— Соедини меня с Апухтиным,— сказал командующий адъютанту и, жестом задержав его, обратился к Шмелеву: — Данилов в каком госпитале? У Апухтина?

— Очевидно,— запнувшись, ответил Шмелев.— Я не выяснил.

— А куда ранен, знаете?

— Ранение тяжелое,— неуверенно отозвался Шмелев, в спешке перед началом допроса пропустивший мимо ушей лишние, как ему тогда показалось, подробности, рассказанные Артемьевым.

Командующий повернулся к адъютанту и, повторив, чтобы тот соединил его с Апухтиным, приказал вызвать Артемьева.

— Может, хоть от него толком узнаю о Данилове,— сказал командующий Шмелеву, когда адъютант вышел.

Шмелев виновато промолчал.

— А теперь главное — что показывает пленный?

Шмелев изложил ход допроса.

— Пленный просил гарантировать ему жизнь и неоглашение в печати его имени в связи с показаниями, которые он даст: оглашение будет грозить ему военным судом после репатриации.

— Надеется на репатриацию? — спросил командующий.

— Да.

— Ну и прав. В конце концов, наверное, обменяемся. Дали ему гарантию?

— Дал.

— Как он после этого?

Протокол допроса, захваченный с собой Шмелевым, представлял собой целую пачку мелко исписанных листов.

Командующий выслушал запись ответов на основные вопросы. В числе других сведений пленный сообщал, что штабом Квантунской армии отдано приказание в ближайшие недели подтянуть в район Халхин-Гола восемь дивизий.

— По-моему, врет,— сказал командующий.— Набивает себе цену. Чем это вы его так запугали?

— Сам перепугался. Какого-нибудь командира пехотной роты днями допрашиваешь — слова не добьешься, а этот, казалось бы, три года служил в контрразведке, а разговорился, как баба на базаре.

— Вот именно, что служил в контрразведке,— кивнул командующий.— Какой-нибудь садист, наверное. Загонял другим булавки под ногти, а теперь воображение играет: как бы на нем самом не попробовали. Что, не так разве?

— Так точно,— поспешил согласиться Шмелев.

— Может, и не так уж точно,— подтрунивая над поспешностью Шмелева, сказал командующий,— но примерно так... А как ваше собственное мнение насчет этих восьми дивизий?

— Товарищ командующий, капитан Артемьев по вашему приказанию явился,— доложил Артемьев, входя и останавливаясь на пороге.

— Здравствуйте. Заходите,— сказал командующий, глядя на его заспанное лицо.— Выспались?

— Выспался, товарищ командующий!

Командующий ухмыльнулся этой явной лжи и несколько секунд молча смотрел на капитана. Капитан, судя по его лицу, не был испуган внезапным вызовом. Это понравилось командующему: он уважал людей, не боявшихся его.

— Что же,— обратился он к Артемьеву, хмуря брови,— значит, как доложил мне полковник Шмелев, задание выполнили не полностью?

— Так точно, товарищ командующий,— отчеканил Артемьев.— Если бы не капитан Данилов, одни бы трупы привезли.

— Да,— сказал командующий,— поимка диверсантов — это вам не стрельбище. Японского радиста, говорят, с двухсот метров сняли и отправили на тот свет вместе с устным кодом?

— Так точно, товарищ командующий, виноват.— Артемьев не пробовал да и не желал оправдываться.

— Доложите мне о Данилове. Подробно: куда ранен, как самочувствие, когда и куда вывезли?

Рассказ Артемьева прервал вошедший адъютант:

— Товарищ командующий, военврач первого ранга Апухтин у телефона.

Командующий взял трубку.

— Здравствуйте, товарищ Апухтин. Во-первых, поздравляю с присвоением звания бригвоенврача. Во-вторых, говорят, мой Данилов у вас. Когда вы мне его на ноги поставите?

Он долго и внимательно слушал Апухтина, видимо несколько раз желая прервать его, но всякий раз воздерживаясь.

— Если лежать больше двух месяцев, при первой возможности отправляйте в Читу,— наконец сказал он.— А то у вас его комары заедят. Передайте от меня, что желаю скорей выздороветь.

— Вот капитан Данилов тоже хороший стрелок,— положив трубку, сказал командующий Артемьеву,— имеет по винтовке и нагану третье место в пограничных войсках, но, однако, этим не воспользовался: сам пулю получил, а пленного взял. Сумел. А вы?

— Виноват, товарищ командующий.

— Конечно,— командующий растопырил пальцы, как бы взвешивая на руке меру вины Артемьева,— Данилов старый пограничник. Но и вы ведь тоже,— он вскинул глаза на Артемьева,— не новичок, еще в майских боях участвовали. Во всяком случае, я что-то в этом духе читал на днях в наградном листе.

Если бы не была абсолютно исключена даже самая возможность этого, Артемьев мог бы поклясться, что при словах о наградном листе командующий еле заметно подмигнул ему. «Нет, пока-

залось, не может быть!» — подумал он. Лицо командующего было снова привычно строгим.

— Когда в самом деле выспитесь, возьмите У-2 и с разрешения полковника Шмелева слетайте в госпиталь навестить Данилова,— одинаково неожиданно для Артемьева и для Шмелева сказал командующий.— Вечером явитесь и лично доложите мне о его состоянии. Можете идти.

— До Данилова еще не дорос,— сказал командующий, проводив Артемьева оценивающим взглядом,— но докладывает как честный человек, а это в нашем деле уже немало.

Он хотел спросить мнение Шмелева об Артемьеве, но подумал, что после того, как высказался сам, спрашивать Шмелева уже поздно, и возвратился к прерванному разговору:

— Так как вы сами считаете, реальны эти восемь японских дивизий?

— Восемь, может быть, и нет,— сказал Шмелев,— а пять-шесть подтверждаются рядом повторных данных.

И Шмелев стал излагать их. Данных было множество, и в большинстве они казались достоверными, но все вместе взятые не складывались в ту убедительную картину, которую желал нарисовать Шмелев.

По мнению командующего, тут была натяжка. Всякий раз, когда трактовка того или иного факта могла быть двойственной, Шмелев неизменно трактовал его в сторону, подтверждающую сосредоточение крупных японских сил. Например, сведения о наличии войск, полученные из разных пунктов, без обозначения номеров частей, могли относиться к одной и той же передвигавшейся части. Такую возможность следовало учитывать хотя бы на пятьдесят процентов, но Шмелев не учитывал ее: она вредила его концепции. А концепцию Шмелева, что японцы придвигают к границе большие силы, командующий объяснял тем, что, обжегшись в начале операции на недооценке сил японцев у высоты Палец, Шмелев теперь бросился в другую крайность.

Однобоко анализируя данные, Шмелев делал вывод, что у японцев на подходе пять-шесть дивизий и они готовят новое наступление.

Командующий, анализируя те же данные, видел на подходе две-три дивизии и делал вывод, что японцы тянут их, чтобы прикрыть границу, оставшуюся открытой после разгрома 6-й армии.

Выслушав Шмелева, командующий изложил ему свою точку зрения для сведения и руководства.

— В более далеком будущем и я не исключаю возможности крупных событий. Но я не считаю, что они повторятся непременно здесь, на тамцак-булакском выступе. Да и вы в глубине души это-

го не считаете, а просто-напросто перестраховываетесь передо мной. Эх, Шмелев, Шмелев! Так вот и все у вас — и в большом и в малом. Умная голова на плечах, боевой орден на груди, грудь два раза прострелена, военный человек,— а гражданского мужества ни на грош!

И командующий больше огорченно, чем сердито, махнул рукой.

В блиндаж вошел член Военного совета.

— Присаживайся, Петр Васильевич,— сказал командующий.— Сейчас мы тут заканчиваем со Шмелевым. Он, видишь ли, считает, что японцы вновь нападут на нас непременно здесь, на Халхин-Голе.

— Я не считаю, товарищ командующий, я только вопрос об этом поставил,— сказал Шмелев.

— А коли поставил, так отвечу! Боюсь, что они не доставят нам с тобой этого удовольствия. Они ведь со своей колокольни тоже оценивают все, что тут произошло, и спрашивают себя: заранее готовились? Готовились. Место для инцидента выбирали сами? Сами. Хорошее место выбрали? Хорошее, ни один самый придирчивый генерал не придерется. Получили по морде? Получили. И когда? В условиях, когда у них поначалу было тройное превосходство в силах. А сейчас у нас здесь кулак, и они это знают. Это во-первых. Во-вторых, конфликт, в который втянуты десятки тысяч людей, не может без конца иметь локальный характер. Он должен либо исчерпать себя, либо превратиться в войну на всем дальневосточном театре. Поэтому рекомендую при дальнейшем анализе данных не надевать шоры на глаза! Оглядывайся и налево и направо, составляй себе общую картину! А в новое их наступление именно сейчас и здесь я, повторяю, не верю.

— А я, если хочешь знать,— сказал член Военного совета, когда расстроенный Шмелев вышел,— вообще не верю на ближайшее время в большую войну на Дальнем Востоке.

— Почему?

— Потому что, колотя их тут, мы этим самым к их здравому смыслу взывали!

— Думаешь, воззвали? — иронически прервал командующий.

— Думаю, в какой-то мере воззвали. Даже уверен.

— А я — не до конца,— сказал командующий.— По логике у тебя вроде все верно. Но скажу по-солдатски: война — пожар, а лето нынче сухое... Может, раз уж ты зашел, докончим наградные листы? Артиллеристы девятнадцать человек добавили.

— Давай.

Они занялись этой работой, изредка споря, и через пятнадцать минут подписали последний наградной лист.

Командующий встал из-за стола.

— Как, может, вместе проедемся вдоль границы?

Член Военного совета ответил, что ночью из Улан-Батора сообщили о возможном прилете Чойбалсана.

— Должны подтвердить. Если подтвердят, поеду встречать в Тамцак-Булак.

— Если прилетит, позвони мне туда, где я буду,— сказал командующий.— Он, наверное, захочет поехать в войска. Я его встречу.

— Лхамсурун разговаривал с ним вчера по телефону,— сказал член Военного совета.— Говорит — веселый!

— Еще бы не веселый! — сказал командующий, вспомнив свою последнюю встречу с Чойбалсаном в дни боев, его крепкую солдатскую фигуру в гимнастерке, с орденом Красного Знамени и немолодое, властное лицо с глубоко пропаханными жесткими складками.— Конечно, веселый. Радуется за своих цириков!

Надев новый плащ и новую фуражку, командующий вышел из блиндажа и по крутому склону Хамардабы спустился к машине.

Шофер распахнул дверцу. Командующий сел, и машина, поднимая вихри пыли, понеслась по степи. Командующий любил быструю езду вообще, а в особенности когда он сидел в машине вдвоем с шофером и мог без помех молчать и думать.

Армейская радиосвязь сегодня всю ночь принимала доклад Ворошилова на сессии Верховного Совета о всеобщей воинской обязанности, и командующий рано утром прочел его в записи радистов, вместе с первыми сообщениями о начале польско-германской войны.

Конечно же, этот вопрос не случайно был поставлен на внеочередной сессии рядом с вопросом о ратификации Советско-германского пакта, в дни, когда в Европе заговорили пушки.

Через доклад проходила мысль о необходимости быть готовыми к войне. «Мы знаем, что война будет жестокой»,— сказал Ворошилов.

Командующий всей своей военной душой сочувствовал этим словам,— почаще бы так ставить вопрос! А сейчас — особенно. Уже здесь, в Монголии, с самого же начала бои были жестокими, и опыт их говорил не только о положительном,— но — надо честно сознаться — и об отрицательном. И-16 при всей их маневренности в бою на прямой отставали от японских истребителей. На будущее это не годится. Не годится и то, что у нас не было на вооружении такой простой вещи, как минометы, которые в руках японцев показали себя грозным оружием, почти половина потерь — от

них. Накопец, танки. И БТ-5 и БТ-7, конечно, быстроходные, маневренные машины, не такое устарелое барахло, как у японцев,— однако бои показали, что и нашу броню артиллерия запросто пробивает. Кстати, она тоньше, чем бортовая броня основного находящегося на вооружении у немцев среднего танка.

Не обошлось без просчетов и в ходе операций. Спланировали окружение смело, а когда на практике уперлись в высоту Палец, не хватило гибкости — не рискнули прорваться, оставив ее у себя в тылу. Вместо этого провозились на левом фланге три дня, и, будь здесь у японцев поумней генералы и побольше техники, могло бы выйти плохо,— сделав усилие над собой, мысленно признался командующий. Война малой кровью в теории — хорошо, а на практике — не больно-то выходит!

Машина уже подъезжала к границе; впереди была видна линия проволочных заграждений и развевавшиеся над нею монгольские государственные флаги.

— Что, Васильев, как, по-вашему, придется нам воевать? — спросил командующий у шофера, не оборачиваясь и продолжая смотреть в переднее стекло.

— Да уж вроде пришлось,— пожал плечами шофер в ответ на эти показавшиеся ему странными слова.

— Это еще не война,— сказал командующий.— Это еще не война,— задумчиво и тихо, одними губами, повторил он.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Под вечер, после трудового дня, Синцов возвращался пешком из Покровского сельсовета. На рассвете он пошел туда по делам редакции, думая заночевать, но управился раньше и с удовольствием представлял себе, как обрадуется Маша, когда он придет домой еще сегодня.

Дорога была крепкая, с прибитой недавним дождичком пылью, вечер выдался прохладный, как раз подходящий, чтобы мерить версты, и Синцов возвращался в редакцию в самом хорошем настроении, которое не могла испортить даже мысль о встрече с редактором, хотя Синцов только вчера имел с ним очередной крупный разговор.

В редакции, в комнате, где он работал вдвоем с секретарем редакции Толей Казаченко, Синцов застал неожиданную гостью — там сидела Маша.

— Ты чего тут? — спросил он, радуясь, что в комнате нет Казаченко, и шутливо загребая под мышку голову Маши.

— Как хорошо, что ты вернулся...— У Маши был растерянный голос.— Я пришла домой с работы, и вот смотри — повестка. Я хотела показать ее Казаченко.

Она протянула мужу повестку военкомата, в которой было написано, что он завтра, 8 сентября, должен явиться на сборный пункт с вещами.

Синцов прочел повестку и сказал Маше, чтобы она теперь же шла домой — он придет вслед за ней.

Маша заглянула ему в глаза, наклонив к себе его голову, как маленькая, потерлась щекой о его щеку и послушно ушла, не сказав ни слова, даже не обернувшись.

Синцов, прежде чем пойти к редактору, несколько раз прошелся по комнате, сел за свой рабочий стол, бесцельно выдвинул и задвинул ящики и надолго задумался, подперев кулаком подбородок.

Что по их округу частично призывают из запаса несколько возрастов, он знал еще вчера вечером. Но его самого, как вчера сказал редактор, призыв не касался — у него была броня.

Теперь все менялось — завтра он будет уже в армии.

«Надолго ли?» — спрашивал он себя и не мог найти ответа на этот вопрос.

В Монголии, судя по газетам, японцев уже разбили, да и призыв проводится по одним западным округам.

Может быть, этот призыв на все то время, пока в Европе идет война? Но сколько она продолжится? Англия и Франция уже объявили войну Германии, и, значит, даже если немцы займут всю Польшу, война все равно будет продолжаться?

Синцов вдруг чисто по-житейски подумал, насколько все было бы проще для него лично, если бы его призвали не сейчас, а, допустим, через год.

Они по своей беззаботности так еще и не успели до конца устроиться с Машей, даже не отремонтировали комнату. В горкомхозе сказали, что дадут штукатура только после первого ноября, а потом ползимы еще будет сохнуть штукатурка. Маша всего месяц как поступила электриком на ремзавод. И, наконец, самое главное — уже три недели, как Синцов знал, что Маша беременна.

Первое время их совместная жизнь была так безоблачна, что Синцов иногда даже пугался этой безоблачности. Ему временами казалось, что он несет в руках что-то большое, стеклянное, чего нельзя ни уронить, ни поставить.

Беременность Маши сначала только усилила это их обоюдное безоблачное чувство. Маша хотела ребенка и говорила о будущем без волнения — весело и просто. Но вскоре она впервые по-

чувствовала себя плохо, на другой день еще хуже, потом ей стало делаться дурно по нескольку раз в сутки и на работе и дома, и ее охватило предчувствие, что теперь все будет трудным, как оба раза у матери — и с Павлом и с нею,— и беременность, и роды, и кормление. И разубедить в этом Машу нельзя было уже никакими силами. Теперь она жила с несвойственным ей раньше чувством печальной озабоченности. Среди этой озабоченности она иногда начинала, как прежде, дурить, смешно изображать в лицах сначала себя с главным инженером их ремзавода — старичком с гоголевской фамилией Коробочка, а потом Синцова с его редактором, и, наконец, уморившись, тяжело дыша, прижималась к груди Синцова и чуть слышно шептала: «Ах, Ваня, Ваня, если бы ты знал, как я хочу хорошо себя чувствовать...» В эти минуты Синцов любил ее с такой нежностью, жалостью и силой, с какой не любил еще никогда.

Их полная новых забот жизнь, Машино усталое, трудное дыхание по ночам, ее осунувшееся лицо, когда она возвращалась с работы, ее руки, беспомощно сжимавшиеся в кулаки, когда становилось дурно,— все заставляло Синцова чувствовать себя в ее присутствии таким несчастно-счастливым, что, пожалуй, подобное состояние и не определишь другими словами.

И вот завтра ему предстояло расставаться с Машей, и не с прежней — веселой и здоровой, а именно с этой — осунувшейся, озабоченной, расставаться на еще неизвестный им обоим срок, быть может, надолго.

Синцов посмотрел на часы — был уже девятый час вечера,— встал из-за стола и пошел к редактору.

Редактор был не один, у него сидел Казаченко.

— Вот внеочередное заявление.— Синцов протянул редактору повестку.

Редактор нахмурился, заерзал на стуле, посмотрел на Синцова, на повестку и сказал:

— Вот путаники! — Он подождал, что ответит Синцов, но Синцов ничего не ответил.— Путаники! — повторил редактор.— Я же тебя забронировал еще в прошлом году. Это точно, можешь быть уверен!

Синцову стало неприятно, что редактор убеждает его в этом, как будто их неважные отношения могли иметь касательство к бронированию.

— Военкоматское хозяйство большое, Андрей Митрофанович,— сказал Синцов.— Может, и путаница, а могут быть и перемены, без того чтобы извещать нас с тобой.

— Нет, нет,— горячо сказал редактор,— именно путаница. Так что ты не беспокойся.

— А я и не беспокоюсь, пойду служить.

— Служить успеешь,— возразил редактор.— Я сейчас позвоню в Смоленск, облвоенкому. А ты пойди пока в горком, посоветуйся.

— Да нет, Андрей Митрофанович, я в горком не пойду.

— Так надо же выяснить,— прервал его редактор.

— Это уж твое дело, а я выяснять не буду. Мне все ясно.

Он слегка хлопнул рукой по лежавшей на столе повестке и потянул к себе, заставив редактора, придерживавшего повестку пальцами, отпустить ее.

Редактор вызвал междугородную и заказал Смоленск.

— Хорошо, жду,— сказал он в трубку и положил ее.— Обещали в течение часа дать.

— Так я с твоего разрешения пока все же передам Казаченко дела и схожу домой.

— Да подожди ты, присядь на минуту,— растерянно возразил редактор.— Что ты за человек нечеловеческий! Все ему обострять надо!

Не зная, что говорить дальше, редактор молча смотрел на послушно присевшего к столу Синцова и думал о том, что этот неуживчивый человек, с которым он проругался два года, сегодня уйдет из газеты в армию, а может быть, и не просто в армию... С того часа, как редактор узнал о призыве запасных семи военных округов, у него не выходила из головы война. А в памяти вставала все одна и та же картина: жаркий июль четырнадцатого года; мобилизация; засыпанные подсолнечной шелухой запасные пути на станции Гродно; эшелоны теплушек с перекладинами из горбыля поперек дверей, а потом еще неделя — и первый бой на реке Нареве, первая немецкая шрапнель...

Вчера вечером и сегодня он успокаивал себя рассуждениями о договоре с немцами, о том, что призыв только частичный и, должно быть, временный. И в то же время упорно по старинке думал: «Раз мобилизация,— стало быть, война».

— Ты сегодня днем радио не слышал? — наконец спросил он у Синцова.

— Нет, я на полях был. А что?

— Польскую сводку передавали. Уверяют, что у них вроде все в порядке. А немцы, наоборот, говорят, за Нарев вышли и Остроленку взяли.

Редактор пересек кабинет и достал из шкафа том Малой советской энциклопедии, лежавший отдельно от других и заложенный газетой.

— Вот гляди,— сказал он, кладя на стол книгу и раскрывая ее на карте Европы.— Остроленки на карте нету, а Нарев — вот.

Река неширокая, я на этом Нареве в четырнадцатом году был.— Он взял спичку и, обломав головку, приложил к карте.— А от Остроленки до Гродно двухсот верст нет, видишь?

И, зажав пальцами немного больше половины спички, показал ее Синцову.

— Если немцы будут наступать по десять верст в день, даже по девять, то через три недели будут в Гродно.

Он сказал это с таким огорчением, что молчавший в течение всего разговора застенчивый, только два месяца назад окончивший педвуз Казаченко невольно спросил:

— А чего вам в этом Гродно, Андрей Митрофанович? Немцы и не такие города берут. Я сегодня слышал — они уже Краков обстреливают.

— А то мне Гродно, что я сам гродненский,— сказал редактор.— Не из самого Гродно, а из Поречья, Гродненской губернии. От Гродно двадцать восемь верст.

— Выходит, вы за границей родились? — наивно спросил Казаченко.

— Это у тебя выходит, по молодости твоих лет! — отозвался редактор.— А у меня выходит, что если бы мы в двадцатом году панам дали покрепче, полностью всю свою Беларусь вернули, так я бы сейчас, наверное, не здесь, а дома, в Поречье, газету редактировал. А здесь вместо меня Синцов сидел бы редактором, а не страдал в моих заместителях. Ему уже давно пора редактором быть!

Синцов посмотрел на повестку военкомата и усмехнулся этой запоздалой похвале.

— Может быть, и смешно,— обидчиво сказал редактор, по-своему (и, как всегда, неверно) угадывая мысли Синцова.— Конечно, я политик районного масштаба, но ты вот скажи мне...

Собственная мысль так взволновала редактора, что он решил ее высказать, несмотря на обиду.

— Пакт пактом, а факт фактом. В двадцатом году мое Поречье за белополяками осталось, а теперь, того и гляди, к фашистам перейдет. Что ты на это скажешь?

Но Синцов не знал, что сказать на это. Идет новая мировая война, отступают поляки, наступают немцы... И чем все это кончится — неизвестно.

— Ладно, Иван Петрович, сдавай дела и ступай домой. В случае если не отобью тебя, мы тут с Казаченко сами тебе часам к двенадцати все заготовим — и документы и деньги,— сказал редактор с чуть заискивающей интонацией, потому что мысль о войне все сильней овладевала им, а первоначальная надежда, что удастся отбить Синцова, с каждой минутой казалась все несбыточнее.

Когда Синцов вернулся, на одной половине стола было накрыто к ужину, а на другой Маша доглаживала ему рубашки, то и дело тыльной стороной руки откидывая волосы с потного лба.

— Ну что? — спросила она, держа на весу утюг.

— Ничего, завтра пойду в военкомат.

— И что потом? Неужели вас сразу же отправят? — в сильном волнении спросила Маша, продолжая держать утюг и позабыв о нем.

Синцов подошел к ней, отобрал утюг, поцеловал ее освободившуюся руку, ласково провел по ее мокрому лбу и волосам и только после этого сказал, что в городе нет казарм и что если вызывают с вещами, то, наверное, на станции уже будет стоять воинский поезд и их повезут в Смоленск или в какое-нибудь другое место.

— А на станцию можно будет вас провожать?

— Конечно.

Маша облегченно вздохнула.

— Ну, что ты тут гладишь? — Синцов отвел в сторону руку с утюгом, не отдавая его Маше.

— Еще две рубашки осталось, все остальное я уже погладила,— кивнула она на кровать, где лежало выглаженное и сложенное нательное белье.

На столе оставались еще две недоглаженные парадные рубашки.

— А зачем ты их гладишь? — улыбнулся Синцов.— Я ведь в армии в галстуках ходить не буду.

Маша грустно посмотрела на рубашки. Она понимала, что Синцов прав, но ей все-таки было жаль, что он не возьмет с собой этих двух рубашек.

— Может быть, все-таки...— нерешительно сказала она.

Но он, не отвечая, поставил на пол утюг и сгреб со стола рубашки вместе с подстеленным для глажения одеялом.

— Куда положить? — спросил он.

— Все равно, клади на стул,— равнодушно сказала Маша.

Он положил рубашки и одеяло на стул и стал передвигать тарелки и приборы так, чтобы они с Машей могли сесть друг против друга. Только сейчас он заметил, что на столе стоял графин с водкой. Водки в доме не держали, значит, Маша заходила за нею в магазин на обратном пути из редакции.

— Что ж, поужинаем,— сказал Синцов и сел за стол, чувствуя приятную ломоту в ногах после тридцати километров, сделанных за день.

Маша села напротив него и придвинула к себе тарелку с тво-

рогом и стакан сметаны — единственное, что она в последнее время могла есть.

— Может, и ты выпьешь? — спросил Синцов.

— Нет,— покачала головой Маша и даже зажмурилась.— Я теперь ни капли не могу.

— Так зачем же ты купила? Я один не буду.

— Если бы мама была, она составила бы тебе компанию.

И Синцов понял: Маша купила водки потому, что так делала Татьяна Степановна, когда собирала в дорогу мужчин.

— Ты на выходной съезди к маме.

— Хорошо, там посмотрим,— уклончиво сказала Маша, как будто все, что будет после отъезда Синцова, уже не касалось его.— Выпей, а то что же я напрасно ходила...

Он налил две трети граненого стакана, выпил и стал закусывать котлетами с картошкой.

Маша нехотя съела несколько ложек творогу и, положив локти на стол и подперев руками щеки, молча сидела и смотрела на Синцова.

«Неужели уезжает? — думала она.— И на сколько? На месяц? На три? На два года? И когда я его увижу? И что все это значит — неожиданный призыв из запаса? Если на месяц, то для других это немного. Но для нас месяц — это очень много: это половина всего, что мы пока прожили вместе. А если на год или на два...»

Маша попробовала себе представить, что такое разлука с Синцовым на год или на два, и не смогла.

«А если это война?» — вдруг подумала она и, не в силах оставить в себе этот вопрос, так и спросила вслух, как подумала:

— А если это война?

Синцов посмотрел на нее, сначала хотел ответить, что нет, этого не может быть, но передумал, пожал плечами и сказал:

— Не знаю.

И Маше было легче услышать это «не знаю», чем если бы он сказал то первое, что хотел сказать: «Не может быть»,— а она бы видела по его глазам, что он думает другое.

— Ты соедини два выходных и все-таки съезди к маме.

— Не знаю, удастся ли.

— Почему?

— Кончается квартал, и много работы.

— А твое состояние никто не замечает? — спросил Синцов, подумав, что, как ни трудно приходится Маше, она теперь, начав работать на заводе, все же легче перенесет неожиданно свалившееся на нее одиночество.

— По-моему, пока незаметно. Не хочу, чтобы замечали,— вот и не замечают.

— Если ты не сможешь поехать сама, вызови маму сюда. Она еще не была в отпуске.

— Не знаю. По-моему, она вообще не думала идти в отпуск.

— А ты позови ее, попроси,— настаивал Синцов.

— Хорошо, я попрошу,— послушно сказала Маша. Она не была уверена, станет ли вызывать мать, но не хотела спорить с Синцовым, зная, что ему так спокойней думать.

Синцов посмотрел на часы и увидел, что уже без четверти двенадцать.

— Мне еще надо сходить в редакцию, ненадолго, на десять минут,— сказал он, вставая.

— Зачем?

— Проститься и получить документы. Они мне обещали к двенадцати часам приготовить.

Он заколебался, говорить ли ей, что все еще может перемениться, но, привыкнув говорить ей все, сказал и на этот раз:

— Редактор хотел звонить в Смоленск и договориться, чтобы меня оставили. Уверяет, что это ошибка, что все-таки редакция имеет на меня броню.

— Значит, может, ты еще не уедешь? — Маша постаралась выговорить эти слова как можно спокойнее.

Синцов пожал плечами, поцеловал ее и вышел.

Оставшись одна, Маша долго молча смотрела в одну точку на стене напротив себя, пробуя думать о том, как они будут жить дальше, если Синцов все-таки не уедет. Но от этой робкой надежды ей стало только тяжелее, она тихо и горько заплакала и так сидела и плакала, подрагивая плечами и не вытирая слез, до тех пор, пока не вспомнила, что Синцов вот-вот должен вернуться и может застать ее плачущей. Она заторопилась к умывальнику и стала мыть лицо.

— Ты что, спать собралась? — войдя, спросил Синцов, но, увидев Машины глаза, понял, что она плакала. Обняв Машу, он прижал ее мокрое лицо к груди.

— Как? — отодвинувшись от него, чуть слышно спросила Маша.

— Уезжаю,— сказал Синцов и снова крепко прижал Машу к себе, глядя сверху вниз на ее темные, блестящие от воды волосы.

Они еще долго стояли так между умывальником и дверью, не в силах отойти друг от друга, как будто им предстояло расстаться в следующую же секунду.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На позициях вдоль монгольско-маньчжурской границы установилась тишина. За первую половину сентября японцы предприняли только одну вылазку. Батальон прибывшей из Мукдена гвардейской дивизии в ночь на 8 сентября занял большую сопку на южном фланге, а утром, не успев укрепиться, был истреблен на ее голых скатах. Этим коротким боем ограничились все наземные действия.

Зато в воздухе, словно возмещая себя за бездействие на земле, японцы воевали с особенным ожесточением, и наши истребители, как выражался Полынин, «батрачили» с утра до ночи.

Пятнадцатого сентября японцы организовали звездный налет на все полевые аэродромы нашей авиации. Наши поднялись навстречу, и вскоре в воздухе сражалось несколько сот самолетов.

Японские и наши истребители, исчерпав запас горючего, по нескольку раз возвращались на базы. Пока заправлялись одни, на смену им прилетали другие. Воздушная карусель шла над степью весь день. Только в пятом часу в небе стало тихо; лишь там и сям над степью курились далекие тонкие столбы — догорали сбитые самолеты.

Полынин, обессилевший после шести вылетов, лежал ничком под плоскостью; от долгого пребывания на высоте у него в ушах звонило сразу два телефона.

Он лежал и думал, что если ребята в горячке не наврали и земля все подтвердит,— группа сбила шесть самолетов. Неплохой результат, хотя, будь здесь Козырев, он бы в такой карусели непременно сбил сам еще один, а то и два.

«Интересно, где теперь Козырев?» Полынин вспомнил о сегодняшней статье в армейской газете. Статья была перепечатана из «Правды» и называлась «О внутренних причинах военного поражения Польши».

Быть может, Козырев не так уж прогадал, улетев в Москву. Если теперь там, на западе, что-нибудь начнется, можно быть уверенным, что он окажется в бою в первый же день.

— Товарищ командир группы!

По голосу это был Соколов. Полынин перевернулся с живота на спину и сел.

— Садись,— сказал он.

— Разрешите слетать.— Соколов, не садясь, приложил руку к шлему.

— Давай.

Посмотрев на затянутое тучами небо, Полынин подумал, что японцы, потеряв столько машин, едва ли еще раз появятся сегодня.

— Давай,— повторил он и снова лег на живот.

Соколов уже две недели каждый день после боевой работы, заправив полный бак, вылетал на поиски брата, о котором ни воздух, ни земля так и не дали никаких сведений. Полынин для себя уже давно нашел единственное объяснение: самолет упал в солончаковое озеро, развалился на куски, их бесследно затянуло под воду. Но говорить Соколову об этом Полынин не решался — тот все еще жил поисками и даже матери не хотел писать о случившемся. Подумав об этом, Полынин вспомнил о собственной матери.

Бортмеханик Бакулин так и не полетел в Москву к Козыреву, и Полынин уже две недели носил в кармане гимнастерки потершиеся на сгибах свое и артемьевское письма. Только сегодня ему позвонили знакомые бомбардировщики-ночники и сказали, что завтра наконец пойдет машина в Москву.

Надо было написать новое письмо матери и послать его к ночникам с полуторкой. Можно было бы, конечно, послать матери еще коробки две-три китайского печенья, которое продается в ларьке «Монценкоопа», оно неплохое на вкус, но уж больно ядовито раскрашено красным и зеленым. Пожалуй, лучше не надо, а то мать еще, чего доброго, испугается, что он вместо ее пирогов ест здесь такие вещи.

Полынин улыбнулся этой мысли, пересилив усталость, встал и пошел к палатке. Едва он вошел, как позвонило непосредственное авиационное начальство. На восемнадцать часов Полынина вызывал к себе командующий.

— У меня дежурного У-2 нет, костыли меняет,— сказал Полынин. — Разрешите подлететь на боевой машине?

Начальство помолчало, подумало, сказало: «Ладно, летите»,— и положило трубку.

До Хамардабы на истребителе всего четверть часа лету. Взяв с собой, кроме шлема, фуражку, чтобы в ней явиться к командующему, Полынин через пять минут был в воздухе.

Он набрал высоту, прошел, покачав крыльями, над полевым аэродромом, где стоял монгольский бомбардировочной полк Р-5, а через три минуты впереди показались изрытые ходами отроги Хамардабы. На ее вершине, на ровном, как стол, плато, было хорошо видно длинное белое полотнище. Этой стрелой иногда указывали заданное направление проходившим над Хамардабой истребителям. Полынин решил сесть около стрелы. Отсюда до штаба не было и десяти минут ходьбы.

«Интересно, зачем он меня вызывает?» — подумал Полынин и, прежде чем сбавить газ и пойти на снижение, по вошедшей в кровь и плоть привычке обернулся, еще раз оглядывая небо. Это было очень кстати, потому что справа, выше его, на поперечном курсе, шел японский истребитель.

Теперь о посадке не могло быть и речи. Оставалось только одно: принять бой.

После такого на редкость трудного дня, как сегодня, он летел без всякого желания еще раз встретиться с японцами, и то, что этот японец все-таки, как нарочно, вывалился на него перед самой посадкой, обозлило Полынина. Сделав вираж, он пошел на японца. Первая атака произошла на встречных курсах. Потом японец попытался зайти в хвост и один за другим предпринял такие маневры, что Полынин понял — он напоролся на сильного летчика и драться придется серьезно. Выжать из себя все, на что способен!

Только на девятнадцатой минуте боя, чувствуя, как холодный пот заливает ему лицо и шею, Полынин с близкого расстояния дал наконец, как ему показалось, точную очередь. Японский самолет начал падать. Пикируя, Полынин пошел вслед за японцем. Он знал случаи, когда вот так же, изображая падение, японские летчики преспокойно выравнивали машину у самой земли и уходили восвояси.

Японский самолет падал метров пятьсот, потом из него выбросился летчик. Парашют раскрылся. Погода была штилевая, и как летчик ни тянул стропы, стараясь, чтобы его отнесло на восток, к Халхин-Голу, он все равно опускался прямо на командный пункт.

Убедившись в этом, Полынин сделал круг и посадил самолет там, где и собирался с самого начала,— у выложенной на плато стрелы рядом с постом воздушного наблюдения. Сдав самолет под охрану, Полынин снял шлем, засунул его в планшет и надел фуражку. В километре от него японец медленно опускался прямо на руки сбегавшихся отовсюду людей.

Когда Полынин вошел к командующему, тот расхаживал по блиндажу, заложив руки за спину.

— Почему хулиганите над командным пунктом? — проговорил командующий, поворачиваясь к Полынину, и улыбнулся.— Японцы к нам в гости прилетают, а вы их щелкаете?

— Виноват, товарищ командующий,— Полынин, в свою очередь, устало улыбнулся.

— Садитесь,— сказал командующий и сам сел за стол.— Хорошо, что он вас на тысяче метров встретил. А если бы при посадке?

— При посадке — сжег бы,— честно сознался Полынин.

Командующий провел рукой по столу, как будто смахнул с него одну тему разговора, и прихлопнул ладонью, словно положил другую, новую. Вслед за этим он коротко объяснил Полынину цель вызова.

Полынин и все летчики его группы (командующий взял двумя пальцами отпечатанный на папиросной бумаге список) отзываются в Москву, в распоряжение штаба ВВС. Бортмеханики остаются в Монголии, материальная часть тоже. Она пойдет на укомплектование других истребительных полков.

— Ваше непосредственное начальство уже в курсе и для ускорения дела выехало к вам на аэродром,— сказал командующий.— В Москву приказано прибыть послезавтра. Стало быть, вылетать завтра на рассвете.

Полынин недоумевающе молчал. Все, что ему пока сказал командующий, не требовало вызова.

— А вызвал я вас,— сказал командующий, прямо отвечая на молчаливый вопрос Полынина,— во-первых, потому, что отправить вашу группу в Москву мне приказал лично нарком, а во-вторых, потому, что ваша группа хорошо поработала и я хочу от лица командования поблагодарить вас за службу. В вашем лице — всех!

Командующий встал и пожал руку Полынину.

— Обратно засветло на свой аэродром дойдете? По расчету времени выходит?

— По расчету времени выходит, товарищ командующий, но с бензином могу не дотянуть — израсходовал в бою. Придется заправку сюда прислать.

Командующий нажал кнопку звонка.

— Доставьте майора на машине,— сказал он вошедшему адъютанту и вновь повернулся к Полынину: — Доброго пути!

— Товарищ командующий,— поколебавшись, сказал Полынин,— разрешите обратиться по одному вопросу.

— Ну?

— Как считаете,— летим на отдых или на бой?

Командующий выдержал долгую паузу, словно тоже колебался, как ответить.

— Не знаю,— наконец сказал он с прямотой человека, не боящегося показать подчиненному, что он сам не знает того, что даже и ему знать пока не положено.

— Далеко у вас тут разведчики живут? — выйдя от командующего, спросил Полынин у адъютанта.

— Сорок метров.

— Давай проводи, будь другом!

— Своего японца хотите поглядеть? — заинтересованно спросил адъютант, идя впереди Полынина.

— А на черта он мне сдался! К другу хочу зайти, пока ты машину вызовешь.

Еще издали было слышно, как в палатке разведотдела колотится в лихорадке пишущая машинка. Зайдя внутрь, Полынин увидел нескольких человек, работавших под этот стук за столами, заваленными кипами бумаг, и, подойдя к Артемьеву, хлопнул его по плечу.

— Слушай, Павел, давай брось на минуту свою бумажную волокиту.

Артемьев повернулся, радостно протянул Полынину руку, потом снял со спинки стула висевшую на ремне планшетку и, раскрыв, положил ее поверх разложенных на столе бумаг.

— А то иногда из-под полога как ветер рванет!

— Совсем канцеляристом заделался?

— Ходят слухи, что скоро переговоры начнутся,— сидим, готовим на всякий случай выборки из допросов. Ничего не поделаешь, на войне и такие, как мы, бюрократы нужны,— отшутился Артемьев и, сопоставив приход Полынина с воздушным боем, полчаса назад происшедшим над Хамардабой, спросил: — Уж не ты ли сейчас высший пилотаж показывал?

— Вот именно,— не желая распространяться на эту тему, ответил Полынин и заговорил о том, ради чего зашел.— Давай напиши несколько слов. Я завтра в Москву лечу. То, старое письмо у меня залежалось. Свезу оба сразу.

— Очень тебе благодарен.— Артемьев пододвинул Полынину стоявшую под столом табуретку.— Я быстро. Дай ту записку, если у тебя с собой, я просто припишу две строчки, новостей особых нет.

Он сказал неправду. Новости были, и важные для него: он получил за майские бои орден Красного Знамени. Это он и приписал внизу на старой записке и, опять сложив ее пополам, послюнив химический карандаш, обвел полустершийся в кармане у Полынина адрес.

— Вот за это уважаю,— встал Полынин, хотя и не торопивший Артемьева, но довольный, что тот так быстро управился с письмом.— А то мне на рассвете лететь, а до этого еще дел полная коробочка.

— Если заехать времени не будет,— сказал Артемьев,— запечатай в конверт и брось. В Москву или дальше?

Полынин пожал плечами, сунул письмо в карман гимнастерки и вышел из палатки. Артемьев тоже вышел. Тронутый вниманием, он хотел сказать об этом Полынину.

— Будь здоров! — быстро сказал Полынин, заторопившись, как всегда, когда угадывал, что кто-нибудь хочет выразить ему свои чувства.

Фигура Полынина исчезла за поворотом хода сообщения, но Артемьев не торопился в палатку. Глядя на сливавшееся с землей темно-серое, без единой звезды, небо, он особенно остро чувствовал в эту минуту всю непреодолимость для себя того расстояния до Москвы, которое так легко, всего за двое суток, пролетит листок блокнота, взятый с собой Полыниным.

«Неужели,— спрашивал он себя,— если здесь все кончится, а там, на западной границе, наоборот, начнется, я все равно останусь тут, на Хамардабе, на зимних квартирах, буду ездить то на правый фланг, в район Эрис-Улыйн, то на левый, к Буир-Нуру, и каждый день докладывать в двадцать три разведсводку, согласно которой не произошло ничего особенного? Логика подсказывает, что так оно и будет. Там, на западе, спокойно обойдутся без капитана Артемьева, а здесь не захотят обойтись без тебя, потому что ты один из винтиков того штабного механизма, который не любят без необходимости разбирать по частям».

— Эй, Артемьев! — донесся из палатки голос майора Беленкова.

— Да,— нехотя отозвался Артемьев.

— Брось прохлаждаться. Посмотри: нет ли у тебя кого-нибудь из четвертого гаубичного, что стоял раньше в Чаньчуне? А то у меня без этого работа стоит.

— Сейчас.— Артемьев поднял полог и зашел в палатку.

Через двое суток Полынин сидел в Москве, на Усачевке, на квартире у Артемьева.

Кроме него и Татьяны Степановны, за столом сидела еще и Маша, утром приехавшая из Вязьмы, чтобы посоветоваться с матерью, хотя советоваться было уже не о чем. Синцов еще девять дней назад, сразу как его призвали, уехал эшелоном на Смоленск, и сегодня, узнав, что наши войска утром перешли польскую границу, Маша была твердо уверена, что Синцов где-то там, может быть даже — в бою, под пулями и снарядами.

Она помнила, как весной все точно так же неожиданно произошло с братом, с Монголией, откуда теперь прилетел с письмом от него этот летчик. Очевидно, наступало время привыкать к неожиданностям. Маша уже поняла, что приехала к матери вовсе не советоваться, а просто не вытерпела первого приступа одиночества.

Татьяна Степановна, понимая состояние ее души, занялась теми домашними делами, за которыми можно разговаривать.

Перегладив на обеденном столе кое-какую мелочь, она смотала два мотка шерсти, перештопала несколько пар старых, завалявшихся у нее Машиных чулок и заставила Машу прострочить на машине две наволочки, которые предназначались в Вязьму, но были еще только смётаны.

За этими занятиями и застал женщин Полынин.

При том количестве дел, какое было у Полынина, прилетевшего в Москву утром и завтра улетавшего дальше в Минск, другой на его месте просто бросил бы записку Артемьева в почтовый ящик. Но Полынин в делах товарищества был щепетилен и в двенадцатом часу ночи стоял у дверей артемьевской квартиры. Внизу, у подъезда, его ждало такси, на котором ему еще предстояло ехать в Монино, чтобы повидаться с матерью, помыться под душем, переменить белье и взять новое обмундирование. На этом же такси он должен был вернуться в Москву, чтобы к рассвету попасть на Центральный аэродром.

Он стоял и терпеливо жал на неработавший звонок.

Наконец, прежде чем сунуть письмо в почтовый ящик, он для очистки совести постучал. Маша услышала стук и, безо всякой логики решив, что это вернулся Синцов, стремглав побежала открывать дверь.

Перед ней стоял летчик с удивленным лицом человека, уже не рассчитывавшего, что ему откроют.

— Мне Татьяну Степановну,— сказал Полынин, глядя на Машу и подозревая, что попал не в ту квартиру.

— Пожалуйста.— Маша пропустила Полынина и, как ему показалось, окинула его неприязненным взглядом. На самом же деле, открывая дверь, она ждала увидеть Синцова, а это был не Синцов — вот и все.

Через пять минут Полынин уже сидел за столом и пил чай. Напротив него сидела расчувствовавшаяся от записки сына Татьяна Степановна, а рядом — очень строгая Маша.

Узнав, что Маша сестра Артемьева, Полынин разглядывал ее миловидное лицо с мимолетным и чистосердечным восхищением. Он летел с войны на войну и не думал сейчас ни о каком будущем, кроме военного. Но как раз это и позволяло ему откровенно любоваться Машей. Он прикинул по часам, что, если, выехав за Окружную, как следует «газануть» до Монина, то, пожалуй, можно пробыть здесь еще минут двадцать.

— Что вы все молчите, ничего не расскажете? — сказала Татьяна Степановна. Еще раз перечитав записку сына и вытерев глаза, она внимательно разглядывала Полынина и два ордена Красного Знамени у него на груди, точно такие же, какой будет носить теперь Паша.

Полынин сказал, что, откровенно говоря, он по случаю возвращения из Монголии немного выпил на ходу с товарищами и в таких случаях предпочитает помалкивать.

— Так вот и Паша,— без осуждения сказала Татьяна Степановна,— если немного выпьет, а показать не хочет, сразу становится важный, как гусь.

Маша не выдержала своего строгого вида и расхохоталась.

— Когда же вы все-таки видели Павла, когда он писал записку?

— Позавчера.

— Просто не верится.

— А почему не верится? — спросил Полынин.

— Позавчера он так вот сидел с вами, как я?

— Так вот и сидел, как вы.

— А как он сейчас выглядит? — спросила Маша.

— Нормально,— ответил Полынин с искренней уверенностью, что одно это слово исчерпывает все, что можно и должно сказать об Артемьеве.

Маша улыбнулась. Этот глядевший на нее во все глаза летчик с рваным ухом и аккуратно-красивым лицом, кажется, действительно решил помалкивать, хотя и не производил впечатления даже самую малость выпившего человека.

— А скажите, как все-таки его рана? Совсем ли его вылечили? Как ваше-то мнение? — снова отерев платком глаза, уже в третий раз спросила Татьяна Степановна. Она лишь сегодня от Полынина, коротко упомянувшего, что он познакомился с Артемьевым в госпитале, узнала, что Павел был ранен.

— У нас, не вылечив, не выписывают,— назидательно сказал Полынин.

— А не может быть, что слишком рано выписали?

Полынин пожал плечами, не зная, что ответить. Маша с удивлением смотрела на мать, впервые видя ее такой расчувствовавшейся, задававшей чужому человеку нескладные и ненужные вопросы. Татьяна Степановна сама понимала их ненужность, но была не в силах совладать с той радостной растерянностью, которую вызвали в ней несколько строчек сына, написанных его собственной, теперь уже снова здоровой рукой.

Подобно большинству окружающих, Татьяна Степановна в течение всех этих месяцев, не читай она редких и не всегда до конца понятных сообщений ТАСС, ни по каким другим признакам не могла бы догадаться, что там, на Дальнем Востоке, идут военные действия. Так же торговали магазины, так же приходили в Москву и уходили из нее поезда, все о том же, о чем всегда, говорило радио и писали газеты. И, наверно, именно поэтому известие, что

ее сын еще три с половиной месяца назад участвовал в боях и был ранен, произвело на нее особенно сильное впечатление своею внезапностью.

— Мы вчера в газетах прочли — там, в Монголии, как будто все кончилось?— спросила Маша не столько для себя, сколько для матери.— И уже соглашение здесь, в Москве, подписано. Как вы думаете, там теперь действительно все кончилось?

— Позавчера не подумал бы,— Полынин вспомнил свой последний страдный халхин-голский день,— но раз подписали,— значит, всё! Теперь главное дело — на западе.

— Вы завтра летите в Польшу? — спросила Маша.

— В том направлении.

— Вот ответьте, пожалуйста,—доверчиво сказала Маша, рукой касаясь руки Полынина,— я живу в Вязьме, моего мужа восьмого числа призвали из запаса и сразу же отправили в Смоленск. Как вы думаете, он уже может быть в тех войсках, что сегодня перешли границу?

При словах «моего мужа» у Полынина потухло в глазах то счастливое выражение, которое в них было. Маша не заметила этого, но Татьяна Степановна успела заметить и пожалела человека, который привез ей письмо от сына и так восхищенно смотрел на ее дочь. Через десять минут он все равно взялся бы за фуражку и ушел, чтобы лететь на войну, но эти слова про мужа отняли у него Машу еще на десять минут раньше.

— Что ж, вполне возможно,— сказал Полынин, с естественной простотой человека, воевавшего и неспособного считать чем-нибудь особенным, что другой человек тоже попадет на войну.— Но ничего,— сказал он, помолчав и сообразуясь с тем, что все же речь идет не вообще о человеке, а о Машином муже.— Возьмем, как сказано, под свою защиту Западную Белоруссию и Украину — и все. Панская армия подразложилась, население — за нас, так что, возможно, за какой-нибудь месяц все кончится, и вы увидите вашего мужа.

— А немцы? — спросила Маша.

— Что ж немцы? Встретимся — посмотрим! — ответил Полынин, которому сегодня, когда он был в штабе ВВС, достаточно откровенно сказали, что хотя возможность столкновения с немцами сейчас маловероятна, но все-таки ее до конца не исключают, и потому, собственно говоря, так срочно и перебрасывают в западные Особые округа летчиков, имеющих боевой опыт.

— Нет, подождите,— сказала Маша,— я серьезно спрашиваю. Сегодня в немецкой сводке написано, что они подошли к Бресту. А Брест — уже Западная Белоруссия? Как же будет?

— Раз правительство сказало, что возьмем под свою защиту Западную Украину и Белоруссию,— значит, возьмем,— сказал Полынин.

— А если немцы войдут туда раньше? — настаивала Маша. Ей хотелось, чтобы Полынин прямо ответил на ее вопрос.

— Ну что ж, попросим выйти обратно. А не выйдут — вышибем.

— Значит, тогда будем с ними воевать? — дрогнувшим голосом спросила Маша.

— Значит, будем,— сказал Полынин и с удивительной отчетливостью вспомнил тот последний «мессершмитт», которому он за день до отъезда из Испании, над рекой Эбро, вогнал в хвост прощальную пулеметную очередь. Фашист врезался в воду, а Полынин, делая круг, в последний раз увидел свинцовую зимнюю ленту Эбро, красные скалы, белые пятна снега во впадинах и щелях.

— Конечно, мы антифашисты,— вдруг сказал он, и хотя эта неожиданная фраза была итогом его мыслей, не высказанных вслух, но Маша и Татьяна Степановна поняли его.

Полынин поднялся, пожал большую мягкую руку Татьяны Степановны, тряхнул Машину руку и так стремительно вышел в коридор, открыл и захлопнул за собой дверь, что обе женщины окончательно сообразили, что он ушел, только когда он уже был на лестнице.

— Вот возвращаются же люди домой!—сказала Татьяна Степановна, думая о сыне и эгоистически забывая, что о Полынине никак нельзя сказать, что он возвратился домой.

Маша молча присела к столу и, поглядев на мать, впервые подумала о том, что она одинока в силе своего чувства к Синцову: раньше они с матерью сходились на одном человеке, которого обе любили больше всего на свете,— на Павле, теперь они уже никогда не сойдутся в этом. Никто и никогда не будет любить Синцова с такой силой, как она, и ни от кого, даже от матери, она не вправе ждать этого. Она понимала, что это естественно, что так и должно быть, и все же ей сделалось тяжело и от сознания этого и оттого, что ей скоро надо садиться в ночной пустой, гремучий трамвай, ехать на Белорусский вокзал и брать там билет до города, в котором уже девять дней как нет Синцова.

Выехав за Окружную дорогу, Полынин, как и собирался, уговорил шофера «газануть», и тот меньше чем через час был в Монине.

Поднявшись на второй этаж построенного в прошлом году нового дома для семей комсостава, Полынин, едва успев позвонить, услышал за дверью быстрые шаги матери. Она открыла ему, не спрашивая, словно предчувствовала, что за дверью стоит он.

— Здравствуйте, мама.— Несмотря на невысокий рост, Полынину все-таки пришлось нагнуться, чтобы обнять мать.

Мать поцеловала его несколькими мелкими, быстрыми поцелуями в щеку и в искалеченное ухо и, не удивляясь его возвращению, сказала:

— Дай-ка чемодан-то.

— Что вы, мама! — с почтительной нежностью, с какой он всегда говорил с матерью, ответил Полынин и пошел в комнату, держа в одной руке чемодан, а другой крепко прихватив мать за плечи и почти отрывая ее от пола.

— Что ты меня в воздух тащишь? Радуешься, что такой здоровый вырос? — говорила мать, идя рядом с ним.

Полынин поставил чемодан на пол у обеденного стола, посадил мать, сел напротив нее и спросил:

— А что, правда здоровый?

— Устал, что ли? — не отвечая на вопрос и вглядываясь в его лицо, спросила мать.— Так после госпиталя ни разу и не написал. Не совестно?

— Есть маленько.—Полынин поглядел в глаза матери и сразу же, пока она не успела приготовиться к другому, сказал ей, что на рассвете снова улетит.

— Далеко ли?— спросила мать, не меняя выражения лица, хотя слова сына были для нее и тяжелыми и неожиданными.

— В Минск, а там видно будет.

— А на какую должность? — спросила мать.

Она никогда никому не рассказывала о делах и должностях сына, но сама любила знать, на какой он должности и что делает.

— Покамест в распоряжении штаба Белорусского округа.

— Что ж я тебе не говорю-то! — Мать всплеснула руками.— Лидия Григорьевна приходила сегодня ко мне чай пить (Лидия Григорьевна была жена комиссара той авиационной части, из которой Полынина откомандировали в Монголию). Поздравляла меня, рассказывала — тебе вчера полковника присвоили! Или ты уже знаешь?

— Знаю,— сказал Полынин, которого сегодня уже поздравили с этим, когда он прямо с самолета явился в штаб ВВС.

— Как же тебя теперь собирать-то?— встревожилась мать.— Обмундирование у тебя все старое, майорское...

— А какая разница?— сказал Полынин.— Запасные шпалы у вас найдутся?

Он знал, что у матери есть старая жестяная коробка из-под монпансье, где специально хранятся запасные целлулоидные и матерчатые подворотнички, петлицы, привернутые к картонке шпа-

лы и даже кубики, сохранившиеся с того времени, когда он был старшим лейтенантом.

Мать кивнула, помолчала и сказала:

— Как же так? Полковника присвоили, а назначения не дали?

За этим вопросом был другой, не заданный, главный, интересовавший ее: полетит ли сын в Польшу, куда сегодня утром вошли наши войска, или останется при штабе в Минске?

— В Минске навряд ли задержусь,— понял вопрос матери Полынин.— Но, скорей всего, все это ненадолго, временно.

— А по мне, пусть лучше бы ты куда надолго поехал служить,— неожиданно сказала мать,—чтобы там и квартира была, и меня бы взял с собой. А то приезжаешь-уезжаешь, а я тут сиди, как кукушка в чужом гнезде.

— Почему же в чужом?

— Конечно. Только разговор, что дали квартиру, а ты и не жил в ней. Мебель без тебя расставляла.

— Ну и слава богу. Буфет-то новый?

— Купила. С книжки с твоей деньги взяла.

— И хорошо сделали.

— А я словно чувствовала, что ты приедешь. Видишь, одетая. И пироги сегодня утром испекла. Со скуки. Хожу целыми днями по квартире одна.

— Так для кого же вы пироги-то испекли?

— Не знаю. Тебе собирать ужин или ты с товарищами покушал?

Она сказала это без укоризны. Она знала, что сын любит проводить свободное время с товарищами, помнила их всех за все годы службы сына в разных гарнизонах и по некоторым, особенно полюбившимся ей, даже скучала, спрашивая об их судьбе и огорчаясь, если Полынин ничего не мог ей ответить.

— А что же, соберите,— сказал Полынин,— поужинаем с вами, я только чай пил.

— Пироги подогреть или так?

— Можно и подогреть.

«В самом деле, скучно ей тут,— подумал Полынин, когда мать вышла на кухню.— Надо жениться».

И огорченно вспомнил, что у сестры Артемьева оказался муж. Когда он думал о женитьбе, то всегда почему-то представлял себе, что женится именно на сестре какого-нибудь своего товарища. Сегодня на квартире у Артемьевых он сначала даже сел к Маше немного боком, чтобы ей не лезло в глаза его ухо.

Поставив подогревать пироги, мать вернулась и начала собирать на стол.

— За твое здоровье выпили,— сказала она, доставая из нового буфета графин с водкой, в котором оставалось меньше трети.— И я пригубила.

— С кем же это вы без меня тут гуляли?

— Петя Козырев приходил.

— Когда?

— Как от вас, оттуда, прилетел, так и пришел. Они к нам в Монино с женой к кому-то в гости приезжали, а перед гостями он ко мне вместе с нею заявился. Надежда Алексеевна. Красивая женщина. А он малость росточком около нее не вышел. Рассказывал про тебя, как ты живешь.

— Как ругались мы с ним, не рассказывал?

— Нет. Сказал, что ты, наверное, тоже скоро вернешься. Потом говорит: «Давайте, Елена Андреевна, водки. Выпьем за Николая». Сам выпил полную, жене приказал и меня заставил. Потом достал у тебя из стола все твои испанские фотографии и ей показывал. А та, где вы с ним в кожанках, около самолетов, ей так понравилась, что она у меня просить стала.

— Дали ей?

— Он сам забрал. Говорит: «Николай был бы—дал бы. Передайте ему, что я забрал».

— Ну и правильно,— кивнул Полынин.— У меня еще есть.

— Та другая — маленькая.— Мать была недовольна собой, что не устояла и отдала Козыреву фотографию.— Красивая женщина,— снова повторила она, вздохнула, сердясь на сына за то, что он все никак не женится, и вышла на кухню за пирогами.

Оставшись один, Полынин подошел к стоявшему в углу старому письменному столику, который они с матерью издавна возили с собой с места на место. Там в нижних ящиках была кое-какая авиационная литература и его старые конспекты, а в верхнем ящике навалом лежали фото, большею частью снятые им самим,— он любил в свободное время заниматься фотографией.

Фотография, точно такая же, как та, что взял Козырев, но маленькая, лежала на самом верху. Они с Козыревым и с покойным Борисом Овечкиным стояли у своих истребителей «чата» — «курносых», как их называли испанцы. Рядом с ними стояли трое механиков, в том числе его механик Хосе, неделей позже погибший при бомбежке аэродрома.

Позади самолетов виднелся белый домик штаба, за ним — летняя жаркая даль, а за нею — Мадрид. Мадрида на фотографии не было видно, но он был за этой далью,— над ним в тот день они сбили каждый по «юнкерсу», в честь чего и снялись все трое со своими механиками.

Глядя на фотографию и мысленно продолжая начатый на квартире у Артемьевых разговор о немцах, Полынин вспомнил все сразу: и тот последний «мессершмитт», сбитый над Эбро, и первый «мессершмитт», сбитый над Мадридом, и падение Сантандера, где пришлось своими руками сжечь вот этот снятый па фотографии «курносый», потому что фашисты подошли к аэродрому, а бензина оставалось только на то, чтобы облить самолеты. Сантандер остался в его памяти как начало конца, как символ всего того нестерпимо горького, что было связано там, в Испании, с вечной нехваткой горючего, патронов, спарядов, самолетов — всего, что было в избытке у фашистов с первого и до последнего дня.

Да, если уж нужно будет снова драться, он бы из всех врагов выбрал себе именно этих фашистов, летавших там на новеньких самолетах, обжиравшихся бензином и патронами и привыкших, что их всегда двое на одного!

Он подумал о них с такой ненавистью, что невольно сжал кулаки.

— С кем это ты воюешь? — входя с пирогами на подносе, спросила мать.

Он ничего не ответил и, сев к столу, взглянул на часы — до вылета оставалось меньше четырех часов.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Накануне того дня, когда советские войска вступили в Западную Украину и Западную Белоруссию, ТАСС передало коммюнике о закончившихся в Москве переговорах между Молотовым и японским послом Того. Японцы соглашались на прекращение военных действий с оставлением войск обеих сторон на линии, занимаемой ими, то есть практически на линии монгольско-маньчжурской границы, которую японцы до этого яростно оспаривали; отдельный пункт соглашения предусматривал, что после переговоров на месте обе стороны обменяются пленными и трупами.

На рассвете 17 сентября японцы сообщили по радио, что к девяти утра вышлют своих парламентеров в нейтральную зону, южней высоты Номун-Хан Бурд Обо.

В шесть часов утра Худякову позвонили из штаба группы и приказали приготовиться к встрече парламентеров на участке полка: сделать проход в проволоке, быть готовым самому, подготовить двух человек для сопровождения и ждать дальнейших приказаний.

Худяков приказал снять два метра проволочных заграждений, а в образовавшийся проход поставить двухметровую переносную

рогатку. Потом вызвал парикмахера и после бритья надел новую гимнастерку и новую, вынутую из чемодана портупею.

Для сопровождения Худяков и Саенко выбрали Кольцова и старшину — командира комендантского взвода. Старшина был богатырь с виду, а Кольцов ростом не вышел, но Худяков считал, что лихой солдат дороже правофлангового.

Ожидая дальнейших приказаний, Худяков с досадой сказал Саенко, что японцы выбрали их участок, как назло: если бы вышли с белыми флагами к соседу, там их, по крайней мере, встретил бы полковник Сиротин,— есть на кого посмотреть!

— Ничего, пускай на тебя посмотрят,— сказал Саенко.

— А что хорошего? — Худяков с искренним пренебрежением оглядывал свою невзрачную фигуру.— Будут по мне судить, что у нас все такие.

— Эх, Валерий Александрович,— вздохнул Саенко.— Если бы у нас были все такие, как ты, я бы, например...

Разговор прервал Шмелев, вошедший в сопровождении Артемьева, чтобы заранее провести инструктаж, касавшийся порядка переговоров.

Когда инструктаж был закончен, Шмелев сел с Худяковым и Саенко пить чай — до срока, радированного японцами, оставалось еще полчаса. А Артемьев вышел из блиндажа подышать холодным утренним воздухом.

Рано утром Артемьев присутствовал при том, как Шмелев сам просился у командующего пойти на встречу с японскими парламентерами, но тот отказал ему.

— Пусть командир Сто семнадцатого встретит,— сказал командующий.— На его участок японцы с белыми флагами выйдут, пусть сам с ними и разговаривает — его святое право.

Шмелев рискнул возразить, что переговоры требуют его личного участия, но командующий сказал, что это еще успеется, а для начала посылать им навстречу полковника — жирно. Обойдутся и майором.

— Да и его,— кивнул командующий на Артемьева,— можно на время переговоров в звании снизить. Что их баловать!

Так Артемьев оказался временно пониженным в звании до младшего лейтенанта.

И теперь, пока он прогуливался в окопе в этом звании, совершенно забыв, что у него на петлицах не шпалы, а кубики, мимо него сначала раз, потом другой прошел затянутый в рюмочку худощавый капитан. Первый раз он только недоброжелательно посмотрел на Артемьева, недостаточно вытянувшегося при встрече, а во второй раз свирепо сказал, чтобы младший лейтенант подыскал другое место для прогулок — нечего болтаться перед

блиндажом командира полка. Сказав это, капитан повернулся и пошел по окопу с такой строевой грацией, что даже его спина выражала презрение к Артемьеву.

Из блиндажа поспешно вышли Саенко, Худяков и Шмелев.

— Пора! — сказал Артемьеву Шмелев.— Звонят, что появились, машут!

Они прошли двести шагов по ходу сообщения. Он кончался круглой выемкой с земляным пулеметным столом, на котором был установлен «максим».

Впереди, метрах в шестистах, стояло пятеро японцев; двое размахивали большими белыми флагами.

— Ну что ж,— сказал Шмелев, глядя на японцев,— поднимайте белый флаг. Есть он у вас?

— Есть. Готов,— ответил Худяков.

— Втыкайте и идите.

— А с собой не брать? — спросил Худяков.— У нас и маленькие флажки, чтобы с собой взять, приготовлены.

— Здесь воткните один большой флаг — и довольно с них! — сказал Шмелев.

— Еще раз разрешите уточнить,— сказал Худяков.— Если они нас будут приветствовать,— отвечать на приветствие?

— Разумеется.

— А если будут руки протягивать?

— Ну, уж это глядите по обстановке...— развел руками Шмелев, сам не знавший, что на это ответить.

Артемьев еще раз взглянул в японскую сторону. Японцы стояли все на том же месте и размахивали флагами.

Саенко взял белый флаг, прибитый к толстой палке от японских санитарных носилок, и с силой воткнул древко в бруствер окопа.

Худяков вылез первым, за ним Артемьев, Кольцов и старшина. Около проволочных заграждений Кольцов и старшина забежали вперед, подняли с двух сторон рогатку и оттащили ее в сторону, открыв проход.

Впереди, до самых японских окопов, расстилалось ровное пространство, покрытое мелкими кочками, на которых, как чубы, торчали длинные пучки травы. Среди кочек валялись брошенные японские винтовки; справа, поодаль, виднелось несколько тесно лежавших полуистлевших трупов; слева, прямо из земли, торчало крыло самолета в таком положении, словно весь самолет был боком закопан в землю. То здесь, то там, застряв в пучках травы, не в силах оторваться и покинуть это печальное место, трепетали на ветру исписанные иероглифами полинявшие клочки рисовой бумаги.

Артемьев обошел кучку мин, лежавших рядом с разорванным стволом миномета, и, перестав смотреть под ноги, поднял глаза. Их и шедших им навстречу японцев теперь разделяло всего сто метров. Вдали были видны силуэты вылезших из окопов японских солдат; еще дальше, за пологими сопками, курились чужие дымы — то ли кухонь, то ли костров, на которых японцы жгут трупы.

И Артемьев, и Худяков, и шедшие позади них Кольцов и старшина испытывали в эту минуту одно и то же странное чувство возбуждения,— они шли по открытому месту, по не прибранной после боев ничьей земле, навстречу размахивавшим белыми флагами людям в чужой форме, людям, которых они до сих пор на таком расстоянии видели чаще всего или убитыми, или в последнюю секунду перед тем, как убить их.

— Вы перчатки надели? — отрывисто, на ходу, спросил Худяков.

— Да,— сказал Артемьев и посмотрел на тяжелые кожаные шмелевские перчатки, с трудом влезшие ему на руки.

— Особенно близко не подходите, шага на три.

С точки зрения безопасности эта предосторожность была бы нелепой, и Артемьев понял, что Худяков заранее решил избавить себя от размышлений, подавать или не подавать руку японским офицерам.

Японцы были уже совсем близко. Худяков вскинул голову. Его сухонькое, стареющее лицо стало спокойным.

Два японских солдата приближались, однообразным движением помахивая белыми флагами; трое офицеров — один постарше, два помоложе — шли посредине, между солдатами, придерживая длинные офицерские мечи с черными лакированными ножнами и длинными прямыми ручками.

— Стой! — скомандовал Худяков, повертываясь к сопровождающим.

Кольцов и старшина застыли, оба молодые, взволнованные, в надраенных до блеска сапогах и заправленных под ремень без единой морщинки шинелях.

— Ждать здесь! — сказал Худяков и вдвоем с Артемьевым пошел навстречу японцам.

Расстояние сократилось до пяти шагов. Шедший посередине коротенький толстый японец остановился, каким-то специальным движением выкатил грудь и, придерживая левой рукой лакированные ножны, правой с коротким лязгом выхватил меч. Описав мечом дугу, он отсалютовал им у правого плеча и, не глядя, с щегольской точностью бросил меч обратно в ножны. Двое других офицеров сделали то же самое, но у одного меч не сразу вошел в нож-

ны, и он, повернув голову и морщась, начал его засовывать. Солдаты, остановившись позади офицеров, одновременно четко бросили левые руки по швам, продолжая держать в правых белые флаги.

Худяков и Артемьев приложили руки к козырькам фуражек. Толстый, первым отсалютовавший японец был полковник, двое других — поручик и подпоручик.

— Представитель высокого японского командования господин полковник Канэмару имеет честь приветствовать представителей высокого советского командования,— одним дыханием, правильно строя фразу, но сильно коверкая слова, выговорил молоденький подпоручик, задирая голову и поблескивая очками.

— Майор Худяков уполномочен советско-монгольским командованием на предварительное согласование места и часа переговоров,— по-японски ответил Артемьев.

— Какое место и время для переговоров предлагает назначить советская сторона? — спросил по-японски толстый полковник.

Артемьев перевел вопрос Худякову.

— Ответьте,— быстро и тихо, в самое ухо ему, сказал Худяков,— что место мы выбираем это, а время пусть предлагают сами — мы не торопимся.

Фраза эта, точно переданная Артемьевым и по-японски прозвучавшая еще менее вежливо, задела самолюбие японского полковника, и он выдержал очень длинную паузу.

— Высокое японское командование готово вести переговоры здесь,— сказал он наконец.— Высокое японское командование готово начать переговоры сегодня в шесть часов вечера по токийскому времени. Нет ли у советского командования других предложений?

— Нет,— с удовольствием перевел Артемьев ответ Худякова,— у советско-монгольского командования нет других предложений, оно согласно удовлетворить просьбу японского командования. Кто будет возглавлять японскую делегацию? — быстро добавил он уже от себя, выполняя приказ Шмелева постараться узнать это заранее.

— Главным представителем высокого японского командования будет генерал-майор Иошида,— ответил японец.— Но высокое японское командование интересуется, в свою очередь: кто будет возглавлять советскую делегацию?

— Советско-монгольское командование,— перевел Артемьев ответ Худякова,— не уполномочивало нас сообщать об этом.

Толстый полковник, с неудовольствием сознавая, что попался на удочку, помолчал, потом повернулся и тихо сказал что-то подпоручику; что — Артемьев не расслышал.

— Высокое японское командование,— быстро и заученно сказал по-русски подпоручик,— предлагает установить на месте переговоров три палатки: одну — для советских представителей, одну — для японских представителей и третью, главную, палатку посередине — для переговоров. Высокое японское командование берет на себя труд построить эту третью палатку.

— Хорошо,— сказал Худяков,— но не ближе, чем в трехстах метрах от позиций советско-монгольских войск.

Это соответствовало полученной им инструкции, согласно которой переговоры должны были происходить примерно посередине нейтральной зоны.

— Высокое японское командование,— опять быстро и заученно заговорил подпоручик,— через час пошлет в нейтральную зону рабочую команду солдат. Высокое японское командование надеется, что безопасность его солдат будет обеспечена.

— Нахалы все-таки,— проворчал Худяков, когда они с Артемьевым, откозыряв японцам, двинулись в обратный путь.— Обеспечь им безопасность! Мы им эту безопасность уже две недели обеспечиваем. Ни одного выстрела не дали. А они еще вчера вечером «колбасу» над своими позициями поднимали. А у «колбасы» круговой обзор на двадцать километров. Мои артиллеристы уж смотрели-смотрели на нее, как коты на сало!

— Уж не вы ли вчера звонили, просили разрешения расстрелять «колбасу»? — спросил Артемьев.

— Я,— недовольно сказал Худяков.— И жалею, что не разрешили.

Кольцов и старшина из комендантского взвода шли позади Худякова и Артемьева и обменивались впечатлениями.

Стоя во время переговоров в двадцати шагах, они не слышали всего, что говорилось, но прекрасно почувствовали главное — что наши держались гордо, а японцам, видно, было не по себе.

— А сначала, как подошли, как зубы оскалили да сабли выхватили, я уж хотел их на мушку брать — как бы наших не порубали! — сказал старшина.

— Один фасон, и больше ничего,— пренебрежительно сказал Кольцов.

— Больно уж у ихних саблей ручки длинные,— сказал старшина.

— А это головы рубить,— уверенно объяснил Кольцов,— чтобы в две руки брать. Как только узнают, что у них какой солдат коммунист, или не хочет против нас воевать, или вообще что не так, на корточки посадят — и этими саблями голову долой. Мне один пленный, денщик, рассказывал про своего полковника.

— Как же это он тебе рассказывал? — недоверчиво спросил старшина.

— А очень просто! — не вдаваясь в объяснение, отрезал задетый недоверием Кольцов.

— Японский знаешь? — через пятьдесят шагов спросил старшина у обиженно замолчавшего Кольцова.

— Есть немножко! — весело отозвался Кольцов, который не умел обижаться надолго.— А младший лейтенант — слыхал? — так и чешет по-японски, так и бреет! — восхищенно воскликнул он. Ему все время казалось, что он где-то раньше уже встречал этого младшего лейтенанта, но он так и не мог вспомнить где.

— Значит, как саблями ни маши, а пришлось все-таки им просить у нас мировой! — пройдя еще несколько шагов, сказал Кольцов.

— Выходит, так,— согласился старшина.

— Боюсь только, что они теперь со злости еще хуже на китайцев огрызаться начнут,— озабоченно сказал Кольцов.

— Вполне возможное дело,— подтвердил старшина.— Я когда срочную служил на Амуре, они нам напоказ на той стороне, прямо на берегу, чего только над китайцами не делали. Пока в наряде отстоишь — измучаешься! Так бы приложился да влепил пулю в лоб! А нельзя — трибунал!

— Я бы за это и под трибунал пошел,— сказал Кольцов.

— Нельзя — инцидент! — вздохнул старшина.

— Неужели и мы здесь, на границе, останемся стоять? — сказал Кольцов, со злостью отшвыривая сапогом ржавый стабилизатор японской мины.

— Кто это знает,— пожал плечами старшина.

— Говорят, здесь зимы лютые, ветра, а снега нет...

— Проход в проволоке закройте! — обернувшись к старшине и Кольцову, сказал Худяков и, приостановясь, спросил Артемьева:

— Как, по-вашему, не ударили мы в грязь лицом?

— По-моему, нет,— сказал Артемьев, с облегчением видя уже совсем близко, в трех шагах, проход в колючей проволоке и отодвинутую в сторону рогатку.

В тот же день, в восемнадцать часов по токийскому времени, начались переговоры.

За два часа до их начала главой делегации был утвержден Сарычев, а Шмелев — его заместителем. Монголы назначили своим представителем в делегации начальника штаба кавалерийской дивизии полковника Дагуржава.

Очень недовольный выпавшим на его долю дипломатическим поручением, Сарычев всю дорогу от Хамардабы до места переговоров ехал молча, сердито пуша пальцами усы.

На том самом месте, где Артемьев утром впервые встретился с японцами, уже была разбита большая палатка из двойного, снаружи зеленого, а внутри белого, шелка. Палатка была похожа на ту, что Артемьев видел, правда уже содранной с кольев, в июле, на вершине Баин-Цагана. Он напомнил об этом Сарычеву во время первого пятнадцатиминутного перерыва, когда, возвратясь в свою палатку и сделав по телефону первый доклад командующему, Сарычев отдыхал и курил.

— И правда, похожа,— подтвердил Сарычев, гася папиросу и вставая. Мысль, что перед ним сидят те же самые японцы, которых он громил на Баин-Цагане, делала его за столом переговоров привычно, по-солдатски уверенным.

Командующий правильно сделал, остановив свой выбор на Сарычеве. Его солдатская резкость действовала на японцев более угнетающе, чем ядовитые реплики Шмелева. Даже маленькие золотые танки на черных петлицах Сарычева имели свое значение. Сидевший перед японским генералом и офицерами угрюмый и откровенно, не скрывая этого, ненавидевший их комбриг-танкист был для них прямым воплощением той силы, которая раздавила и похоронила здесь, в песках, 6-ю армию. Об этом не писалось в газетах, но среди участвовавших в переговорах японских офицеров одни знали, а другие догадывались о действительных цифрах потерь.

Пока глава советско-монгольской делегации, ожидая перевода своих слов, неподвижно сидел, тяжело положив на стол кулаки и равнодушно глядя мимо японцев, им начинало казаться: еще одна очередная проволочка — и он хватит своим большим костистым кулаком по столу так, что разом подскочат все три стоящие на нем чернильницы, повернется и уйдет, прервав переговоры. И они отступали, хотя у Сарычева не было инструкции стучать кулаком по столу и разрывать переговоры, а, напротив, была инструкция довести переговоры до конца, проявив тот максимум терпения, на который способны желающие мира победители.

Приступая к переговорам, японцы в душе верили только в один аргумент — в силу оружия. Сарычев понял это с первых минут и не упускал случая напомнить им о масштабах халхингольского разгрома.

Однажды в перерыве Шмелев, которому показалось, что Сарычев перебарщивает, заметил, что не стоит излишне частыми напоминаниями о происшедшем раздражать самолюбие японцев — это плохая дипломатия. Полковник Дагуржав отрицательно пока-

чал головой — он был совершенно не согласен с замечанием Шмелева. Сарычев сочувственно посмотрел на монгола и хмуро ответил Шмелеву, что, может быть, это плохая дипломатия, но зато хорошая политика: японскую делегацию привело сюда, на переговоры, именно воспоминание о разгроме. А что касается их самолюбия, то ему дороже свое, и, однако, раз приказано — он третий день сидит и разговаривает с японцами за одним столом, хотя дорого бы дал за то, чтобы вместо всего этого разок стукнуть из танка по всей их делегации.

С нашей стороны в переговорах участвовали только четыре человека — Сарычев, Шмелев, Дагуржав и в качестве переводчика Артемьев, с японской — вдвое больше. Кроме того, вокруг японской делегации все время толклись офицеры, солдаты, денщики и корреспонденты токийских и чаньчуньских газет. С нашей стороны весь журналистский корпус был представлен одним Лопатиным. Он был переодет в форму старшины, с четырьмя треугольниками на петлицах, и прикомандирован к делегации в качестве писаря. Он действительно все время что-то писал в свою тетрадь, хотя настоящий протокол переговоров вел Артемьев.

Было еще много охотников присутствовать при переговорах и из штаба, и из политотдела, и из армейской и центральных газет, но командующий категорически запретил.

— Пускай японцы суетятся,— сказал он в ответ на довод начальника политотдела, что в первый день с японской стороны было пятнадцать корреспондентов,— а для нас это дело малоинтересное — пусть видят!

Переговоры шли по двум пунктам: о взаимном обмене пленными и взаимной передаче трупов. Насчет пленных договорились сравнительно быстро, решив обменять их в первых числах октября, но вопрос о передаче трупов оказался куда более запутанным. Японцы должны были передать, согласно предъявленному нами списку, всего сорок два трупа, к началу переговоров оказавшихся по ту сторону границы. Что касалось японских трупов, то, по нашим подсчетам, их осталось на монгольской территории несколько десятков тысяч.

В силу сложившихся в японской армии традиций трупы всех погибших следовало сжечь, а пепел отправить на родину, семьям убитых. Японцы хотели выкопать как можно больше трупов, но, не желая предавать гласности размеры поражения, уклонились от предъявления документов с цифрами своих потерь.

Были затруднения и с нашей стороны. Командующему не хотелось заставлять наших бойцов выкапывать из земли трупы японских солдат и офицеров и вывозить их на маньчжурскую территорию, в то же время он колебался: пускать ли японцев в

расположение наших войск? Запросив Москву, он на третий день переговоров позвонил Сарычеву — пусть соглашается на допуск японских похоронных команд к местам погребения.

Сарычев, повеселевший впервые за все время переговоров, немедленно передал наше согласие японцам.

После этого начались споры о составе команд. Договорились на десяти командах по сто человек, но сразу же возник новый спор о том, сколько дней будут работать эти команды. Японцы предложили свой срок — пятнадцать дней. Сарычев безучастно постукивал кулаком по столу и смотрел мимо японцев, как будто он этого вообще не слышал. А Шмелев, быстро подсчитав на бумажке, ядовито сказал, что за такой срок можно было бы вырыть из земли всю Квантунскую армию.

В ответ на это японцы целый вечер, косясь на молчавшего Сарычева, говорили о трудности поисков, о тяжелом грунте, о чувствах солдат, которые будут выкапывать тела своих товарищей и должны это делать осторожно, чтобы не задеть их лопатами и кирками.

— Не брезгуют, дьяволы, и сантиментами,— садясь в машину, сказал Сарычев, после того как к полуночи наконец договорились на пяти днях.

Он ехал, несмотря на холодную ночь, открыв стекло, высунув голову и жадно, с шумом, вдыхая воздух.

— Как трупы выкапывать, так сантименты, а как неизвестно для чего сорок тысяч людей делать трупами, так у них душа молчит! А с трупами с этими все обман: одного из тысячи опознают, а тысячу в ямы, и сожгут — в какую урну что попадет. Нет чтобы по-честному — раз не опознали, сказать родителям: «Погиб ваш сын неизвестно за что и похоронен неизвестно где!» А то получат такую солдатскую урну какие-нибудь бедняги старики в деревне и будут до смерти кланяться праху от чужой подметки. Мне, казалось бы, какое дело? А и то за людей обидно! А тебе, Артемьев? — повернулся Сарычев на переднем сиденье.— Ты что, спишь?

— Нет, не сплю,— сказал Артемьев.— Вообще плохо сплю последнее время.

— Вот именно, и я тоже,— сказал Сарычев.— До того эти трупы в ушах навязли, что по ночам мерещатся. Сегодня даже приснилось, что японцы их с оркестрами потребовали вывозить.

Требование об оркестрах только приснилось Сарычеву, но на следующее утро, когда он считал, что остается лишь подписать протокол, японцы начали новые препирательства — что можно и чего нельзя выкапывать вместе с трупами. Сарычев, чувствуя тошноту от одной мысли о продолжении переговоров, с маху сказал:

— Ладно, пусть берут все, что найдут.

Шмелеву пришлось поправлять его промах и в течение многих часов выбираться из трудного положения, чтобы в конце концов согласиться на том, что слова «вместе с трупами» означают одежду и все, что находится в карманах одежды, но не означают карт и штабных документов, которые могут оказаться зарытыми возле трупов. Это был пункт, специально занимавший Шмелева.

Артемьеву надолго запомнилось зрелище, которое представляла собой палатка в эти последние ночные часы переговоров.

От напряжения и усталости все так много курили, что над головами висела сплошная пелена дыма.

На столе, вперемежку с кипами бумаг, лежали разноцветные пачки японских сигарет и стояли маленькие чайные чашки с крышками.

Глава японской делегации генерал Иошида, отвалясь на спинку потертого плюшевого кресла, беспрерывно ковырял в зубах длинной костяной зубочисткой и время от времени, прикрыв рукой рот, сплевывал на земляной пол. На бледном, отечном лице генерала было написано выражение злобной скуки.

Сидевший справа от него худощавый пожилой майор японского генерального штаба, который в первые дни только изредка отвечал одним-двумя словами или коротким жестом на обращение своих соседей, сейчас вышел из принятой на себя роли и откровенно дирижировал всей японской стороной стола. Именно он и придрался к фразе Сарычева и теперь яростно спорил со Шмелевым, даже не оглядываясь при этом на генерала Иошиду.

Шмелев еще в первый день высказал догадку, что этот майор — переодетый генерал из штаба Квантунской армии. Теперь, к концу переговоров, в этом был уверен и Артемьев.

Остальные японцы, как казалось Артемьеву, уже поняли, что переговоры, в сущности, окончены, что русские и монголы все равно не уступят и генерал из штаба Квантунской армии продолжает с таким ожесточением торговаться, только чтобы показать свое превосходство над генералом Иошидой.

Зажигая сигаретку от сигаретки и поглядывая на своих начальников, японские офицеры тихо шептались между собой и, то и дело снимая с чашечек крышки, быстрыми глотками прихлебывали чай.

Бесшумно ступая в своих мягких тапочках, денщики уносили чашки с остывшим чаем, приносили новые, с горячим, и опять в неподвижных позах застывали за спинами офицеров.

Когда Артемьеву уже начало казаться, что всему этому: и осипшему голосу генерала-квантунца, и перешептыванию японских офицеров, и мельканию чашечек с чаем, и облакам дыма

над столом — не будет конца, квантунец вдруг встал и устало сказал:

— Йоросии! Мы согласны!

Истощив терпение, он отступил перед язвительно-вежливым упорством Шмелева, и протокол был подписан.

Генерал Иошида поднялся со своего плюшевого кресла, картинно откинул полог палатки и, взглянув на полосу лунного света, упавшую на земляной пол, улыбаясь, сказал, что хотя сегодняшняя луна сияет, как это дружественное собрание, но и луна уже идет на ущерб, поэтому он, приветствуя через посредство господина генерала Сарычева высокое советское командование, с сожалением должен удалиться, для того чтобы сделать доклад высокому японскому командованию.

И эта напыщенная фраза, и эта улыбка так не шли к мрачному предмету только что закончившихся переговоров, что Сарычев не счел нужным выдавливать из себя ответной улыбки. Он сердито закашлялся, молча откозырял японцам и вышел из палатки.

Через десять минут, когда он в последний раз по телефону доложил командующему о завершении переговоров и уже собирался садиться в машину, Артемьев, тронув его за рукав, сказал:

— Посмотрите-ка назад, товарищ комбриг!

Сарычев повернулся: за колючей проволокой, на залитой лунным светом ничьей земле, как маленькое озерцо воды, лежало уже снятое японскими солдатами с кольев и брошенное на землю, блестевшее под луной шелковое полотнище палатки.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Климович лежал и курил, выпуская изо рта густые клубы дыма, чтобы отогнать комаров,— их все еще было пропасть, хотя кончался сентябрь.

Сегодня у Климовича был страдный, но праздничный день: он принял двенадцать машин — первое после боев пополнение материальной части.

Неожиданно зазуммеривший телефон заставил его вскочить с койки и взять трубку.

— Есть явиться к двадцати часам,— сказал он с помрачневшим от досады лицом.

Сарычев вызывал к себе командиров батальонов, и план Климовича — провести вечер по своему усмотрению — шел прахом.

Артемьев еще днем прислал с водителем броневичка записку, что японцы сегодня заканчивают свои раскопки и что он, сопро-

водив их в последний раз до границы, приедет к Климовичу,— в батальоне была устроена земляная банька, и в ней можно попариться, что в здешнем быту считалось роскошью.

Климович в ответ написал, что все будет в порядке, и велел затопить баню. После приемки материальной части он и сам рад был помыться за компанию.

Последние недели батальон стоял у Баин-Цагана, а японская похоронная команда, за которой наблюдал Артемьев, работала в двух километрах — на самой горе, как раз там, где Климович ходил в свою первую атаку.

За время раскопок Артемьев несколько раз, по вечерам, заезжал к Климовичу, но всегда накоротке, торопясь в штаб, докладывать итоги дня. Заехав, он, прежде чем поздороваться, неизменно вытаскивал из кармана галифе пузырек с денатуратом, наливал на ладонь и протирал им руки, шею и лицо.

Сегодня, по случаю окончания раскопок, Климович был рад по-дружески услужить ему баней, но теперь из-за вызова к Сарычеву все получалось не так, как хотелось.

Сердито надев фуражку, Климович приказал ординарцу проследить, чтоб баня была хорошо вытоплена, и, когда приедет капитан Артемьев, отвести его туда.

— Чай заварите покрепче,— распорядился Климович, уже садясь в машину, чтобы ехать к Сарычеву,— консервы откройте и передайте капитану, что, если располагает временем, прошу меня дождаться.

Приехав и узнав, что Климовича нет, Артемьев хотел ехать обратно, но ординарец доложил, что баня уже истоплена, а майор скоро вернется из штаба,— Климович уже неделя как стал майором.

— Вы взойдите в палатку, товарищ капитан, я сейчас обернусь, проверю, как насчет пару!

— А два человека у вас в баню влезут? У меня водитель тоже мыться будет.

— Свободно, товарищ капитан. Баня у нас хорошая! Только веники не березовые, а из ивняка.

— А по мне хоть из крапивы,— усмехнулся Артемьев: ему хотелось, как змее, снять с себя кожу.

Восемь дней каждое утро он выезжал на броневичке навстречу японской похоронной команде номер десять, производившей раскопки на Баин-Цагане. У широкого прохода в колючей проволоке к его броневичку пристраивались десятки японских грузовиков с белыми флагами, по десять солдат и по одному офицеру в каждом, и он ехал к месту раскопок впереди этой процессии.

Раскопки происходили без происшествий. Только раз Ар-

темьеву пришлось отобрать у японцев выкопанный вместе с трупами оптический прицел к новой немецкой зенитной пушке.

В первый и второй день японские солдаты соблюдали заранее выработанный ритуал: офицер подводил их к месту, кружком обозначенному на его плане; они становились в положение «смирно», отдавали честь умершим, приложив руки к козырькам касКеток, и начинали осторожно копать землю. На третий день, когда обнаружилось, что кружки́ на офицерских планах уже никому не нужны и что весь район раскопок представляет собой сплошное необъятное кладбище, солдаты, забыв про ритуал, с утра до вечера ожесточенно рылись в земле, ковыряли ее кирками и лопатами и, наполнив доверху кузова грузовиков, уезжали, молчаливые и обессиленные.

После первых пяти дней японцы попросили еще пять дополнительных и легко получили их,— по сведениям нашей разведки, раскопки разлагающе действовали на японских солдат. Солдаты рассказывали друг другу об огромном количестве вырытых трупов, и эти слухи все шире ползли по Квантунской армии, пока японское командование вдруг само не прекратило раскопки, отказавшись от двух последних льготных дней.

Сидя сейчас в палатке у Климовича, Артемьев представил себе, что раскопки могли продолжаться еще два дня, и его передернуло.

— Баня готова,— входя, сказал ординарец.— Разрешите проводить?

Банька оказалась тесной и угарной, маловато было и воды, но Артемьев еще никогда в жизни не мылся с таким наслаждением и яростью. Водитель броневика уже не выдержал и выскочил наружу, а он остался и парился еще долго.

Когда он наконец вышел, возле палатки Климовича никого не было, наверное, ординарец с водителем ушли ужинать. Внутри палатки уютно горела лампочка, на столе стоял чайник, открытая банка мясных консервов и тарелка с хлебом.

Хотя вечер был прохладный, Артемьев, стащив гимнастерку, остался в одной нательной рубашке. В сущности, он в первый раз за эту неделю раскопок ел и пил в свое удовольствие, не думая о том, что завтра с утра все начнется сначала.

Вспомнив об этом, он рассердился на себя, но было уже поздно — перед глазами снова непрошено стояла однообразная и тягостная картина: острый, сухой зной вдруг некстати вернувшегося монгольского лета; легкий ветерок шевелит засохшую траву на вывернутых лопатами комьях земли; японские солдаты задыхаются в своих предохранительных смоляных повязках, закрывающих нос и рот. Задыхается и молодой японский поручик, тоже

в смоляной повязке, с правой рукой на перевязи — должно быть сражавшийся здесь в июле. И тут же, рядом, возле пятнистых, желто-зеленых японских грузовиков, сидит партия отдыхающих солдат. Отупев и притерпевшись за эти дни ко всему и ни на что уже не обращая внимания, они, сдвинув вверх смоляные повязки и освободив от них рты, тут же обедают — жуют связки мелкой сушеной рыбы и круглые японские галеты.

«Да, не так-то легко будет изгнать это из памяти»,— подумал Артемьев. Он услышал голос вернувшегося ординарца, посмотрел на часы и стал надевать гимнастерку.

— Передайте майору...— начал было Артемьев, позвав ординарца, но в эту минуту подъехала машина, и в палатку вошел Климович.

— Хорошо помылся?

— Лучше некуда!

— А закусил?

— Спасибо за все. Уже собрался,— думал, вообще тебя не увижу.

— А ты оставайся, заночуй!

— Рад бы, но, к сожалению, Шмелев назначил явиться к двадцати трем.— Артемьев подтянул осевшие гармошкой сапоги.— А тебя чего тягали в штаб?

— Че-пэ,— сказал Климович.— У соседа зачехлили одну грязную пушку, а командование сделало далеко идущие выводы, что народ после боев подразвинтился.

— Да, трудно привыкнуть, что все постепенно входит в мирную колею,— сказал Артемьев.

— А по-моему, мирной колеи вообще уже не будет,— сказал Климович, выходя вместе с ним из палатки.

— Где не будет?

— Да нигде не будет!

— Вообще-то, может, и так. Я имел в виду наши здешние дела.

— Жаль, что не заночуешь, поговорили бы! — огорчился Климович.

— Эх, Костя, Костя! — вздохнул Артемьев.— Сам знаешь, нет войны, да есть служба. Надо ехать.

И он постучал кулаком по броне связного броневичка, в котором, запершись от комаров, заснул водитель.

Ровно в двадцать три часа, стоя перед Шмелевым, Артемьев выслушал приказание: вылететь на рассвете в Читу, забрать семьдесят девять японских пленных, лежавших в читинском госпи-

тале, и послезавтра доставить их на место взаимной передачи — на полевой аэродром, в нейтральной зоне, за высотой Палец.

В Читу Артемьев летел вместе с Лопатиным, которого он неожиданно увидел, когда влез в полупустой самолет. Лопатин, забравшись туда заранее, сидел и спал, надвинув на лоб фуражку, обернув ноги плащ-палаткой и подняв воротник шинели так, что был виден только его посиневший от холода нос.

Он не проснулся ни при взлете, ни потом, когда самолет набрал высоту и стало еще холодней. Только через три часа, когда под крылом зазеленели сопки Забайкалья, он, не открывая глаз, вдруг снял толстые шерстяные перчатки, порылся в карманах, достал коробку «Борцов», закурил и снова надел на руки перчатки.

— Я уж думал, что вы без просыпу до посадки дотянете. Осталось всего ничего! — сказал Артемьев.

— А, рад вас видеть,— поворачиваясь к нему, равнодушно сказал Лопатин. Он отвратительно выглядел: глаза глубоко запали, лицо совершенно зеленое.

— Что это с вами? Заболели?

— Точней говоря, рассыпался на составные части. Рецидив малярии и приступ печени — все сразу.— Лопатин поднес ко рту папиросу задрожавшими пальцами в шерстяной перчатке.— Я не болею, пока категорически не могу себе этого позволить, и сразу заболеваю, едва открывается малейшая возможность. Глупейшая история!

— Ну, а если на западе в дальнейшем развернется что-нибудь такое, что не позволит вам болеть? — спросил Артемьев.

— А что там может еще развернуться? Судя по сегодняшней сводке Генштаба, с освобождением Западной Белоруссии и Украины закончено, почти всюду вышли на демаркационную линию. Столкновения с немцами не произошло. И теперь уже, думаю, не произойдет.

— Вы так сказали, словно жалеете об этом!

Артемьев заметил это полушутя, но Лопатин ответил серьезно и даже сердито:

— Жалею? Нет! Но если я вам скажу, что при мысли о такой возможности мною владеют очень противоречивые чувства,— это будет близко к истине!

Через полчаса самолет сел в Чите. Обменявшись с Лопатиным московскими адресами, Артемьев отправился в госпиталь — принимать раненых японцев.

В два часа дня самолеты с пленными — одна пассажирская машина и три бомбардировщика — взлетели с читинского аэродрома.

Сначала Артемьев предполагал, что они полетят прямо в Тамцак-Булак, но уже в воздухе было получено радио, чтобы самолеты легли западнее по курсу и сели на ночевку в удаленном от границы Ундур-Хане.

Командир пассажирского корабля, передав управление второму пилоту, подсел к Артемьеву и сказал, что маршрут изменили, чтобы вся трасса лежала вне досягаемости японских истребителей.

— А что, вполне возможная вещь! Провокации ради долбанули бы своих же раненых, а потом свалили на нас, что мы их разбили. Завтра «ястребки» с утра встретят нас в зоне и прикроют до самой посадки.

— Сколько просидим в Ундур-Хане? — спросил Артемьев.

— Часов двенадцать как минимум. Японцев разместим в два счета: казармы танковой бригады пустые, дадут любую! Еще и поужинаем и кино прокрутим, если механик на месте.

Летчик вернулся в кабину. Артемьев вспомнил вчерашнюю встречу с Климовичем и решил, что, если при размещении раненых не будет проволочек, он выберет время и зайдет к жене Климовича. Конечно, она получает от мужа письма, но он видел Климовича всего сутки назад.

Проводить Артемьева на квартиру Климовича взялся техник-интендант из АХО штаба бригады.

Маленький, кругленький, в тропической панаме, с черными запятыми усиков на простодушном круглом лице и с наганом на боку, техник-интендант старался держать себя как можно суровей. Размещая японцев на ночлег, он то и дело бдительно посматривал на них, будто они могут сейчас встать и убежать.

— Вы ведь ненадолго идете? — на полпути к квартире Климовича спросил техник-интендант.— А то ужин будет готов к двенадцати ноль-ноль. У меня приказ — значит, все! — На его толстеньком лице изобразилась строгость.

— Ненадолго,— подтвердил Артемьев и сказал, что он, собственно говоря, с женой Климовича даже и незнаком и не имеет к ней никакого поручения от мужа, потому что не предполагал, что окажется на Ундур-Хане, но раз уж попал сюда, хочет зайти.

— Ну и правильно! — одобрил техник-интендант.— Наш комиссар прилетал сюда сразу после боев, три недели назад,— собирал в клубе семьи комсостава, рассказывал им о бригаде. Трудная была задача — потери в личном составе большие, без слез, конечно, не обошлось... Но комиссар ничего, справился, хоть и недавно у нас, некадровый.— Техник-интендант проговорил последнюю фразу чуть-чуть свысока.

— А что там теперь считаться — кадровый, некадровый: бригада вон сколько из боев не выходила! Теперь у вас все — кадровые,— сказал Артемьев.

Технику-интенданту показалось, что Артемьев нарочно сказал про бои, чтобы поставить на место его, просидевшего все это время в Ундур-Хане. Он насупился, целый квартал молчал, но потом не выдержал и стал рассказывать Артемьеву, что знаком с Климовичем давно, с Белоруссии, и даже помнит, как Климович женился на своей Любови Васильевне — она тогда работала вольнонаемной машинисткой в штабе корпуса в Бобруйске.

Люба гуляла с Майей после обеда вдоль маленького чахлого палисадника перед их домом. Несмотря на все старания Любы и Русаковой, в этом году лето почти все выжгло,— только крученый паныч, семена которого еще зимой прислали покойному Русакову, поднимался по веревкам до самых окон да выжившие кусты золотых шаров желтели на фоне беленой стены.

Майя недавно научилась ходить и передвигалась самостоятельно, держась одной рукой за тонкую планку, прибитую к огораживавшим палисадник низким столбикам. Шедшая рядом, готовая подхватить ее, Люба вдруг увидела приближавшегося со стороны штаба техника-интенданта Ялтуховского и рядом с ним незнакомого, рослого, рыжеватого капитана.

При виде этого вдруг появившегося с Ялтуховским человека у Любы упало сердце. Почему незнакомый? Почему с Ялтуховским? И почему к ним? После того как Русакову с детьми недавно переселили в новую, обещанную ее мужу квартиру, здесь, кроме Климовичей, не жила ни одна командирская семья.

— А вот и Любовь Васильевна,— бойко сказал Ялтуховский, останавливаясь в трех шагах от Любы.

Перед Артемьевым, слегка нагнувшись и держа за руку смешную курносую девочку, стояла молодая красивая женщина в тапочках на босу ногу и в коротком, до колен, ситцевом, платье. У нее были встревоженные глаза.

— Знакомьтесь, Любовь Васильевна,— все так же бойко продолжал Ялтуховский.— Товарищ капитан не дальше как вчера видел вашего Константина Антоновича.

— Я надеюсь, ничего не случилось? — сказала Люба спокойным голосом, хотя в глазах ее все еще была тревога.

Говоря это, она протянула Артемьеву левую руку. Правой она держала руку дочки.

— Ровно ничего не случилось,— сказал Артемьев, пожимая руку Любы.— Просто мы с Костей старые товарищи. Я Артемьев.

Я вчера его видел, а сегодня случайно оказался здесь и решил зайти — рассказать вам о нем, как говорится, из первых рук. И сразу же для начала: жив и здоров, все в порядке.

— Я очень вам рада.

Артемьев увидел, что это правда — по ее глазам, в которых наконец исчезло выражение тревоги,— и подумал: он правильно сделал, не отступив от первого побуждения и зайдя к ней.

— Что ж мы стоим? Пройдемте к нам,— предложила Люба, продолжая держать дочь за руку и делая возле нее круг, чтобы повернуть ее в направлении к дому.

Ялтуховский попытался взять девочку за вторую, свободную руку, но Майя вывернулась и ухватилась за ноги матери.

— Вот видите,— сказала Люба, нагибаясь и подхватывая дочь на руки,— месяц не заходили, и она уже не считает вас за своего знакомого. Надо чаще заходить.

— Заботы, Любовь Васильевна, заботы,— значительно отозвался Ялтуховский.

Они прошли через сени в комнату и сели за стол, судя по лежавшей на клеенке стопке книг и тетрадей служивший одновременно и обеденным и письменным.

— Ну, во-первых,— сказала Люба,— я и в самом деле рада вас видеть, потому что Костя вас любит и не только рассказывал о вас, но и давал читать ваши письма, всегда такие умные.

— Положим, бывали и глупые,— улыбнулся Артемьев.

— Может быть,— в свою очередь, улыбалась Люба.— Значит, глупых он мне не показывал. Вот. А во-вторых...

Она несколько секунд молчала, и Артемьев ждал: что она скажет во-вторых? Но Люба ничего не сказала, а только, прижав к себе притихшую девочку, вопросительно и, как ему показалось, строго посмотрела в лицо Артемьеву.

«А во-вторых, рассказывайте мне о нем,— прочел Артемьев в ее глазах,— вы же за этим сюда пришли».

И Артемьев стал рассказывать ей о Климовиче.

— Вы тоже редко пишете своим? — вдруг спросила Люба.

— А что вы называете редко?

— Костя мне пишет раз в месяц.

«Мог бы и чаще»,— подумал про себя Артемьев, глядя на нее.

— Хотя, наверное, это потому, что мы до сих пор всегда были вместе и он еще просто не привык мне писать,— помолчав, добавила Люба.

— Придется привыкать,— встрепенулся измученный молчанием Ялтуховский.— Надо рассматривать этот вопрос философски. Теперь эпоха войн и революций, а мы люди военные.

— Ах, Ялтуховский, Ялтуховский,— укоризненно сказала Люба,— как вы легко бросаетесь словом «война»! Нате-ка вот лучше, подержите!

И она протянула дочь Ялтуховскому.

— Подержите, пока я напишу Косте записку. А вы непременно его увидите? — повернулась она к Артемьеву.

— Конечно,— подтвердил Артемьев.

Люба села за стол, вырвала лист из тетради и несколько минут писала, поглядывая на Ялтуховского, державшего девочку. Майя сначала вывертывалась, а потом, заинтересовавшись пуговицами на гимнастерке, начала поочередно тянуть их, пока наконец не оторвала одну, наверное пришитую по-холостяцки, на скорую руку.

— Вот и все.— Люба согнула вчетверо листок, положила в конверт и отдала Артемьеву.

— Разрешите откланяться.— Артемьев поднялся со стула.

— Подождите, я Ялтуховскому пуговицу пришью, а то еще встретит дежурный по гарнизону и из-за моей Майки на губу посадит.— Люба взяла дочь у Ялтуховского, поставила на пол и обратилась к Артемьеву: — Давайте сюда руку. Можете даже палец, чтобы держалась. И ходите с ней взад и вперед по комнате, больше от вас ничего не требуется.

— А захочет ли она? — с опаской спросил Артемьев.

— Ничего, она готова бегать с кем угодно.

И действительно, Майя, даже не оглянувшись на Артемьева, а лишь почувствовав его руку как надежный предмет, за который можно держаться, засеменила с такой быстротой, что он побежал за ней через комнату и едва успел повернуть, чтобы она с разлету не ткнулась носом в стену.

Пока Артемьев бегал по комнате, Люба пришивала пуговицу стоявшему по стойке «смирно» Ялтуховскому. Пришив пуговицу, она на ходу переняла дочь у Артемьева и посадила себе на плечо. Артемьев невольным жестом потер руку, затекшую от непривычного занятия.

— Такой большой — и уже рука затекла,— сказала Люба.— А хотите посмотреть, каким вы были?

— Хочу,— сказал Артемьев.

Люба подвела его к этажерке. На нижней полке лежали книги, на средней стояла пишущая машинка, а на верхней — две фотографии; на одной был снят только что выпущенный из училища и отчаянно заретушированный Климович с двумя квадратами на петлицах, вторая была знакомая — школьный двор и на нем шеренга выстроившихся по росту семиклассников: крайним слева стоял Климович, а вторым справа, после Синцова,— Артемьев, в

футболке и с одной зашпиленной внизу штаниной, для шику, чтобы все знали, что у него велосипед.

— Да, вот видите, какими мы были...— Артемьев в раздумье подержал в руках фотографию, поставил ее на место, взял лежавшую на столе фуражку, посмотрел на часы и, слегка прищелкнув каблуками, сказал, что им с Ялтуховским пора.

— Жаль.— Ничего не добавив, Люба протянула им обоим руку и вышла вслед за ними за порог.

Когда Артемьев через двадцать шагов обернулся, она еще стояла в дверях и Майя, сидя на ее плече, махала им вслед.

— Посчастливилось Климовичу,— обернулся Ялтуховский и тоже помахал рукой.— Заодно и красивая и симпатичная.

— А что, не бывает? — спросил Артемьев.

Но Ялтуховский вместо ответа только мрачно вздохнул.

Артемьев вспомнил об этом разговоре на следующий день, когда их самолеты, снижаясь, проходили над знакомыми местами: вот дорога с цепочкой телеграфных столбов, по которой он ехал в первый день, и развилка, где он ждал саперов. А вот и знакомое плоскогорье Баин-Цагана и промелькнувшая под крылом пойма Халхин-Гола с центральной переправой и мелкими кустиками возле нее, где он лежал, когда его ранили.

Сколько всего было за эти месяцы! И как ему не хватало сознания, что где-то далеко есть тот единственный человек, которого он напрасно думал найти в Наде,— человек, которому пусть не сейчас, пусть не скоро, но он все это расскажет от начала до конца: от первой дымящейся воронки за переправой до неприбранного ничейного поля и японцев, идущих с белыми флагами. И этот человек, слушая его рассказ, ужаснется, что он мог погибнуть, и обрадуется, что он выжил,— сильней, чем сам он ужасался и радовался, когда все происходило на самом деле.

«Везет же людям!» Артемьев с завистью вспомнил о Климовиче и Любе и о жившей в их доме атмосфере нешумного, уверенного в себе счастья, уверенного не только в себе, но и в том, что так и должно быть у людей.

На ровном травянистом поле, куда сели самолеты, стояли с одной стороны наш санитарный автобус и «эмочка», с другой — пятнистый, закамуфлированный японский «форд» с белым флагом на радиаторе.

— Вот и прибыли. Пятнадцать пятьдесят по читинскому времени, шестнадцать пятьдесят по токийскому,— сказал летчик.— По условию японцы должны сесть через десять минут.

Прилетевшие с Артемьевым врач, фельдшеры и санитары сразу же принялись выгружать носилки с пленными из огромных крыльев бомбардировщиков, а сам Артемьев пошел навстречу вылезавшему из «эмочки» танкисту.

Танкист оказался командиром стоявшей рядом разведроты сарычевской бригады.

— Старший лейтенант Иванов,— отрекомендовался он.— Из штаба группы пришла телефонограмма, что другие представители сюда не прибудут, заняты на основной передаче, а здесь уполномочивают вас. Сообщили, что порядок передачи вам известен,— сказал старший лейтенант.

— Известен-то известен,— сказал Артемьев, заранее знавший, что основную массу пленных будут в эти часы передавать в центре, у Номун-Хан Бурд Обо, но предполагавший, что и сюда пришлют еще кого-нибудь.— Ну да ладно, в случае чего вы поможете!

— Нет, товарищ капитан,— сказал Иванов,— в полученные мной от командования бригады инструкции переговоры с японцами не входят. Мне поручено только обеспечить боевую готовность переднего края на случай провокации и удаление японских самолетов из нейтральной зоны до восемнадцати ровно. А в случаях их неудаления, не вступая в переговоры, приказано арестовать самолеты и выставить охрану.

— Больно уж вы, танкисты, строги,— сказал Артемьев,— сразу же и арестовать! Что вам, трофеев не хватает?

На неприветливом лице Иванова появилась усмешка.

— Трофеев хватает. Но в случае провокации, согласно инструкции, могу еще взять, особенно если самолеты.

— По-моему, провокаций не предвидится,— Артемьев взглянул на небо, где высоко, с тонким однообразным пением барражировала тройка наших истребителей,— японцы для провокаций временно не в настроении.

— А кто их знает,— с полным недоверием ко всему, что делали и могут сделать японцы, сказал Иванов.— Мне на всякий случай приказали вывести роту на передовую.

Артемьев обернулся и увидел вдали, за колючей проволокой четыре танка, стоявших на открытых позициях.

— Остальные тоже тут, за бугром,— поймав его взгляд, сказал Иванов таким тоном, словно Артемьеву было мало четырех танков и следовало его успокоить, что поблизости вся рота.

— Японская машина давно пришла? — спросил Артемьев.

— Минут пятнадцать. Видите, шляются около нее.

Иванов показал пальцем. Действительно, рядом с машиной ходили двое японцев с длинными офицерскими мечами.

— Пойдем навстречу?

— Здесь побуду,— заупрямился Иванов,— комиссар бригады приказал, чтобы лишние люди при переговорах не болтались!

— Да уж пойдем вместе, а то еще, чего доброго, порубают меня одного,— усмехнулся Артемьев.— Видите, какие секиры.

Хотя Артемьев сказал это в шутку, аргумент подействовал на старшего лейтенанта, и они пошли вместе.

Увидев, что русские идут к центру поля, японцы пошли навстречу. Еще за пятьдесят шагов Артемьев увидел, что один из них — тот самый коротенький, толстый полковник, с которым он встречался в первый день переговоров; второй японец был худой поручик в пенсне,— наверное, военный врач.

— Здравствуйте! Полковник Канэмару,— сказал японец по-русски, небрежно прикладывая руку к козырьку.

— Никогда бы не предположил, что вы так хорошо говорите по-русски, господин полковник,— сказал Артемьев.

— Никогда бы не предположил, что у вас в армии так быстро повышают в званиях, господин капитан,— в свою очередь, съязвил японец, намекая на то, что в первый раз видел Артемьева в звании младшего лейтенанта.

— Чего не бывает, господин полковник,— насмешливо сказал Артемьев.

Полковник стоял, продолжая улыбаться и держа руку на лакированной рукоятке меча.

— Что-то ваши самолеты опаздывают, господин полковник,— сказал Артемьев, посмотрев на часы.— Уже семнадцать пять.

— Шестнадцать пять,— глядя на свои часы и продолжая улыбаться, поправил японец.

— Шестнадцать пять по читинскому,— возразил Артемьев,— а самолеты, и ваши и наши, насколько я знаю, должны прибыть по токийскому времени.

— Это ваша ошибка, господин капитан,— все еще продолжая улыбаться, ответил полковник.— Наши самолеты прилетят в семнадцать часов по читинскому времени.

Артемьев прекрасно знал, что никакой ошибки тут нет и что прилет самолетов обеих сторон приурочен к семнадцати часам именно по токийскому времени: наших — на пять минут раньше, японских — на пять минут позже. Просто японцы решили сделать вид, что они спутали время, и пригнать свои самолеты на час позже, заранее удостоверясь, что советские самолеты с японскими пленными уже прибыли в нейтральную зону. Теперь предстояло ждать битый час. Но Артемьеву, раз уж все равно ничего нельзя было изменить, не хотелось показывать японцам, что он раздосадован,— это лишь доставило бы им удовольствие.

— Может быть, вы хотите пока посмотреть на ваших солдат? — как ни в чем не бывало предложил он.— Их уже выгружают из самолетов.

— Благодарю вас,— согласился японец,— я хотел бы это сделать.

Артемьев пошел впереди, за ним, придерживая мечи, шли оба японца. Иванов замыкал шествие.

— Где вы учили русский язык, господин полковник? — спросил Артемьев.— В академии?

— А разве я хорошо говорю по-русски?

— На мой взгляд — превосходно.

— Благодарю вас. Я был помощником военного атташе в Москве.

— Давно?

— Если мне не изменяет память, с тысяча девятьсот тридцать пятого по тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

«Несколько раз ходил мимо него на парадах»,— подумал Артемьев.

— А где вы учили японский язык? — в свою очередь, спросил японец.— Вы так прекрасно пользовались им две недели назад, когда мы впервые встретились и вы были еще младшим лейтенантом.

Артемьев повернулся к японцу и, улыбаясь, посмотрел ему в лицо.

— Начинал в Москве, а здесь укрепил познания, разбирая взятые на поле боя офицерские сумки, карты и документы.

— Наверное, однообразное чтение? — улыбнулся японец.

— А главное — бесконечное. Мне даже временами казалось, что в ваших Седьмой и Двадцать третьей дивизиях двойной комплект офицеров.

Говоря это, Артемьев знал, что не так уж далек от истины: 7-я и 23-я японские дивизии действительно к началу боев имели сверхкомплект офицерского и унтер-офицерского состава.

Пока Артемьев, Иванов и японцы дошли до того конца поля, где сели самолеты, две машины успели подняться в воздух, а третья выруливала. На месте оставался только четвертый самолет — пассажирский, на который предстояло погрузить возвращавшихся из плена наших,— Артемьев заранее знал, что их будет всего двое.

Семьдесят девять японцев были уже выгружены и лежали на поле ровно, как по линейке, в два ряда. Все носилки были новенькие, трофейные, японские, специально доставленные для этой цели в Читу. Раненые были забинтованы белоснежными бинтами и одеты в чистое белье и новенькое, с иголочки, японское обмун-

дирование из числа захваченных на Халхин-Голе пятнадцати тысяч ненадеванных комплектов. У тех, на кого обмундирование нельзя было надеть из-за лубков, оно, сложенное по складкам, лежало сзади, под подушкой. Каждый раненый был закрыт до пояса новеньким японским ярко-зеленым одеялом, а в ногах у каждого лежала ненадеванная шинель.

По концам обеих шеренг стояли четыре больших ящика, битком набитых трофейными продуктами — галетами, консервами, соевым шоколадом и даже бутылками с японским виски.

Во всем этом чувствовалась скрытая ирония, адресованная не самим пленным, а тем, кому предстояло принимать их.

«Забирайте ваших солдат, господа генералы и офицеры! — как бы говорила вся эта картина.— Забирайте вместе с вашими шинелями и вашими одеялами, вашими носилками и вашими продуктами! Забирайте и больше никогда не возвращайтесь сюда, если не хотите еще раз пережить халхин-голский позор!»

Мельком оглядев ряды носилок и на секунду задержав взгляд на ящиках с продуктами и вином, японский полковник высоко поднял голову и, придерживая рукой меч, быстро пошел вдоль носилок на своих коротких, крепких, пружинящих ногах.

— Если ваши летчики забыли взять с собой продукты,— сказал Артемьев, когда они дошли до стоявших в конце шеренги ящиков,— то вы можете взять все это, мы специально приготовили.

— Очень большое спасибо.— Полковник ненавидяще улыбнулся и, круто повернувшись, пошел назад между двумя рядами носилок.

Теперь Артемьев шел позади него. Проход между носилками был узкий. Справа были накрытые одеялами ноги; слева — запрокинутые на подушки лица, с глазами, закатывавшимися вверх, как только на них падала тень от фигуры полковника, шедшего первым.

Все раненые молчали. Только один,— должно быть, с ампутированными ногами, потому что одеяло ниже колен совершенно плоско лежало на носилках,— когда мимо него проходил полковник, хрипло и жалобно спросил по-японски:

— Господин полковник, что с нами будет?

Полковник вместо ответа очень быстрым, почти молниеносным движением отпустил меч, который он до этого придерживал на ходу, и меч, отскочив от коленки полковника и подпрыгнув в воздухе, коротко и сильно ударил раненого концом ножен по голове.

Артемьев, шедший на два шага позади, мог поклясться, что все это было сделано нарочно, но полковник сквозь зубы пробор-

мотал японское извинение и на ходу повернулся к Артемьеву, уже снова придерживая меч рукой.

— Очень неудобная вещь,— сказал он.— Всегда что-нибудь случается. Варварская традиция, не правда ли? — И, улыбнувшись, пошел дальше.

— Ах ты сволочь белогвардейская! — громким шепотом возмутился Иванов.

— У вас же инструкция — не вступать с ними в переговоры,— тоже шепотом, оборачиваясь на ходу, сказал Артемьев.

— А я не с ними вступаю, а с вами.

— А они слушают.

— А черт с ними, пусть слушают,— сказал Иванов.— Все равно ихний рабочий класс когда-нибудь их к стенке поставит!

Наконец все гуськом дошли до конца прохода между носилками и остановились; в небе нарастал прерывистый гул, и Артемьев, повернувшись на восток, увидел четыре низко шедших японских транспортных самолета. Через несколько минут они сели. Три оказались пустыми, из четвертого сначала вышли двое японских военных врачей, потом высыпало полтора десятка солдат, и лишь после этого санитары вынесли на носилках двух наших тяжелораненых, подлежавших передаче. По списку Артемьева, один из них был лейтенант-танкист Дремов, другой старший сапер Колесов.

Первым вынесли лейтенанта. Его наголо обритая голова была беспомощно, как у подстреленной птицы, закинута за край носилок.

— Одна нога ампутирована до таза,— сказал подошедший вместе с Артемьевым к самолету наш военврач, приподнимая оборванную шинель, которой прямо поверх перевязок, без простыни, был накрыт раненый.— И, кажется, начался гнойный процесс,— добавил он, хотя Артемьев уже и сам почувствовал запах гниющего тела.

Лейтенант облизал губы, открыл глаза, увидел наклонившиеся над ним лица Артемьева, врача и танкиста, попробовал приподнять голову, не смог и бессильно заплакал.

— Ну и гады! — сквозь зубы выдохнул Иванов, глядя вверх и как будто ни к кому не обращаясь, но в то же время нарочно тесня плечом стоявшего рядом с ним японского полковника.

— Что? Как вы сказали? — отодвигаясь, спросил японец.

— Ничего он не сказал,— ответил Артемьев, заслоняя собой Иванова и за спиной делая ему рукой жест, чтобы он отошел.— А вот я...— Он уже увидел вторые носилки — со старшиной Колесовым, грязным, небритым, полуголым, лежавшим тоже под рва-

ной шинелью, в гимнастерке с выдранным до плеча рукавом.— Я не приму от вас в таком виде наших раненых.

— Как? Почему? — быстро заговорил полковник.— Мы вам сдаем их так, точно так, как они попали к нам в плен.

— Не приму,— упрямо, с ненавистью повторил Артемьев,— пока врачи не составят с моим врачом акт о состоянии раненых и об антисанитарном виде, в каком доставлены люди.

— Такие акты не входили в соглашение,— холодно возразил японец.

— Начинайте писать акт,— повернулся Артемьев к нашему военврачу.

— Это произвол,— сказал полковник.— Мои военные врачи не будут подписывать такой акт.

— А не будут — так не будет и обмена пленными,— сказал Артемьев и увидел, как лежавший вместе с носилками на земле старшина приподнялся на локтях и потянулся к нему с выражением отчаяния на лице.

— Можете поднимать в воздух свои самолеты,— жестоко добавил Артемьев.— Ваши раненые пока останутся у нас.

— Это произвол,— повысил голос японец.— Наше командование пошлет протест вашему командованию, и вы за это поплатитесь.

— Ничего! Поднимайте в воздух самолеты! — повторил Артемьев, готовый чем угодно поплатиться завтра, лишь бы не уступить сейчас.

— Хорошо,— сказал японец,— мы тоже возьмем обратно ваших раненых и тоже подождем с передачей.

Он сказал это не особенно уверенно, считая, что два человека, которых он заберет обратно, слабый аргумент по сравнению с семьюдесятью девятью пленными, которых ему не возвратит этот русский капитан. Но аргумент, казавшийся японцу слабым из-за разницы в цифрах, был страшен для Артемьева. Он знал, что уже не может отступить от своего требования — составить акт, но он не мог и отдать обратно этих двух: потерявшего сознание лейтенанта, которому сейчас впрыскивали кофеин, и бородатого старшину, судорожно схватившегося за носилки и ждавшего, что же будет.

— Наши раненые останутся здесь,— помолчав и решившись идти до конца, сказал Артемьев.— Я вижу, что вы плохо с ними обращаетесь. Я вам не верну их.

— Грузите их обратно! — закричал полковник по-японски своим врачам, упирая руки в бока и расставив ноги.

— Господин полковник,— очень тихо сказал Артемьев и так же тихо взял японца за локоть и повернул лицом к нашим по-

зициям, где, хорошо видные отсюда, стояли четыре танка,— если вы это сделаете, прикажу открыть огонь по вашим самолетам.

Сам еще не зная, как он это сделает, Артемьев твердо знал одно — что никакая сила не заставит его вернуть японцам двоих наших. Это была одна из тех минут, редких даже в судьбе военного человека, когда все подготовленное его предшествующей жизнью сосредоточивается в одном-единственном поступке.

Наступило гнетущее молчание. Японец, очевидно, колебался, как ему отнестись к угрозе Артемьева.

И в эту минуту Иванов, стоявший рядом с Артемьевым и смотревший на него благодарными глазами, вдруг по какому-то наитию, необыкновенно кстати, выпалил, обращаясь к Артемьеву и показывая пальцем через плечо назад, в сторону танков:

— Разрешите передать приказание?

Эти слова, произнесенные решительным тоном, в сочетании с тем, что произнес их именно танкист, доконали японца. Он сделал своим врачам небрежный жест двумя пальцами, отменявший предыдущий приказ, и сказал, чтобы они посмотрели акт, составленный русским врачом, и доложили его содержание.

— А мы со своей стороны,— примирительным тоном сказал Артемьев,— не возражаем, если ваши врачи тоже составят акт, в каком виде мы доставили ваших раненых.

При том состоянии, в котором Артемьев сдавал японских раненых, его предложение насчет обоюдного акта было насмешкой, но японцу приходилось отвечать.

— У меня нет инструкции, чтобы принимать от вас наших раненых по состоянию их здоровья и обмундирования. У меня есть инструкция, чтобы принимать их по имеющемуся у меня именному списку,— сказал японец, сердито придыхая между слишком длинными для него русскими фразами.— У меня есть приказ и дисциплина японской императорской армии. Я не придумываю, как вы, дополнительных процедур из собственной головы, господин капитан.

Артемьев пожал плечами. Он остался победителем, и теперь японец мог сколько угодно утолять оскорбленное самолюбие.

— Очевидно, у нашей и у вашей армии,— продолжал полковник,— разница в принципах. У нашей армии принцип — возвращать пленных так, как они поступили к нам. А у вашей армии, очевидно, принцип — возвращать больше, чем вы взяли. Может быть, пока они были у вас в плену, вы постарались их снабдить не только новыми одеялами?

«Что ж, все возможно»,— хотелось сказать Артемьеву, но он только во второй раз равнодушно пожал плечами.

Наши санитары, переложив на свои носилки обоих раненых, не теряя времени, уже несли их туда, где виднелся санитарный автобус и куда теперь вплотную подрулил самолет. Военврач, наскоро осмотревший обоих раненых, сидя на земле и положив на колени свою медицинскую сумку, писал на ней акт.

Японский поручик, так же как и полковник, владевший русским языком, сидел на корточках рядом с нашим военврачом, заглядывая ему через плечо, и читал про себя, шевеля губами.

Наш военфельдшер вдвоем с врачом-японцем шли вдоль носилок со списками в руках. Сначала японец выкрикивал японское имя, потом, коверкая его на русский манер, то же имя повторял военфельдшер, потом они оба останавливались и ставили в своих списках по галочке.

Вслед за японским врачом и нашим фельдшером шел японский фельдшер — кривоногий, рослый, с каким-то особенно злым и грубым выражением лица. Под мышкой он держал пачку пакетов. Это были большие прямоугольные пакеты, вроде тех, в которых у нас продают крупу или сахар, но очень толстые, склеенные из нескольких слоев рисовой бумаги.

Как только очередной раненый откликался на свое имя и в обоих списках ставились галочки, японский фельдшер, приподняв голову раненого, быстро и грубо — по самые плечи — нахлобучивал на нее бумажный пакет.

Фельдшер шел не вдоль носилок, а перешагивал через них, и каждый раз, нахлобучивая пакет, становился так, что носилки оказывались у него между расставленными ногами. В этой операции было что-то отвратительное и щемящее душу. С трудом сдерживаясь, чтобы не заорать: «Что вы делаете с людьми, сволочи!» — Артемьев смотрел на то, как следующий раненый, которому еще не надели на голову пакет, сам уже приподнимался на локтях и вытягивал шею навстречу.

— Что он делает с пленными? — не выдержав, спросил Артемьев у все еще стоявшего с ним рядом полковника.

Полковник произвел на своем лице два необыкновенно быстрых движения: сначала он на десятую долю секунды улыбнулся Артемьеву — это был долг вежливости, привычная улыбка, он отвечал ею на обращение к себе; потом его улыбка поползла вниз, и нижняя губа полковника оттянулась в надменную гримасу. Кивнув на пленных и сделав презрительный жест в их сторону, он сказал:

— Это надевают на них для их же собственного спокойствия: они стыдятся после плена смотреть в лицо доблестным представителям командования императорской армии.

— Покажите-ка мне! — повелительно по-японски сказал Артемьев фельдшеру, подумав про себя, что после халхин-голского разгрома гораздо верней было бы надеть бумажные мешки на головы доблестных представителей командования императорской армии, чтобы им не было стыдно смотреть в лицо солдатам.

Фельдшер протянул ему пакет. Пакет был большой, непрозрачный, на редкость добротно склеенный.

Покосившись на полковника и представив себе этот бумажный мешок на его голове, Артемьев надул пакет, зажал в кулаке его верх и по-мальчишески, с треском хлопнул о ладонь. Полковник вздрогнул от неожиданности.

— Все готово, мы начинаем грузить,— сердито сказал он.

— Товарищ Галкин, готов акт? — не отвечая, обратился Артемьев к военврачу.

Военврач вместе с японским подошел к Артемьеву и полковнику. Акт был составлен в двух экземплярах по-русски и подписан Галкиным. Японец еще не подписался. Артемьев бегло просмотрел акт и передал его полковнику. Тот долго и внимательно читал его, остановился в одном месте,— очевидно, хотел поправить, но потом передумал и, дочитав до конца, коротко приказал своему врачу подписать и взять один экземпляр.

Японец подписал. Наш военврач засунул свой экземпляр в карман и попросил у Артемьева разрешения отправиться для оказания помощи раненым.

— Теперь наконец я могу погрузить своих солдат? — обозленный всем предыдущим и уже нисколько не скрывая своей злости, спросил полковник у Артемьева, переходя в разговоре с ним на японский язык.

— Пожалуйста,— тоже по-японски ответил Артемьев.— У советской стороны нет возражений.

Японцы начали грузить своих раненых в самолеты. Санитары спешили, безбожно встряхивали раненых на носилках и то и дело ударяли их о края узких самолетных люков. Все три японских врача торопили с погрузкой, и чувствовалось, что санитары ведут себя так грубо не от природной черствости, а из необходимости на глазах у начальства показать свое пренебрежение к возвращенным из плена солдатам.

Три самолета были уже загружены и один за другим выруливали к центру поля. Оставался четвертый,— его погрузка тоже заканчивалась. Артемьев уже провожал взглядом последние носилки, как вдруг лежавший на них раненый около самого люка резким движением сорвал с головы бумажный мешок и, прежде чем санитары успели удержать его, схватился за края носилок,

приподнялся на них и, перекрывая гудение выруливавших самолетов, закричал сначала по-русски:

— Товарищи! Спасибо!

А потом по-японски:

— Да здравствует международная солидарность пролетариата!

Растерявшиеся санитары продолжали совать носилки в люк, не обращая внимания на то, что раненый уперся спиной в обшивку самолета и в люк вползают одни носилки.

— Да здравствует японский пролетариат! — продолжал кричать раненый, отрывая правую руку от носилок и вскидывая в воздух сжатый кулак.

Один из врачей подскочил к нему, схватил его обеими руками за голову и за плечи, пригнул к носилкам, и санитары одним рывком сунули носилки в глубь самолета.

Через минуту в люк были запиханы все четыре ящика с продуктами, затем влезли санитары и врачи, люк захлопнулся, и мотор заревел, метя траву.

— Передача закончена,— с трудом сохраняя самообладание, обратился побледневший Артемьев к стоявшему на земле полковнику.— С японской стороны вопросов и претензий нет?

— Нет.— Полковник приложил два пальца к козырьку каскетки.

— Тогда предлагаю вам,— сказал Артемьев, в свою очередь прикладывая руку к козырьку,— согласно условию...— он посмотрел на часы,— сейчас семнадцать пятьдесят пять... через пять минут покинуть вместе с вашей машиной нейтральную зону.

Бросив на мгновение руки по швам, Артемьев повернулся через левое плечо и вместе с Ивановым пошел по летному полю туда, где еще стояли наш пассажирский самолет и казавшиеся совсем маленькими рядом с ним санитарный автобус и «эмка».

Они молча прошли шагов сто, когда, разворачиваясь на восток, над их головами низко пронесся японский самолет. Иванов вытащил из кармана платок и долго, яростно махал им вслед самолету.

— Что вы машете? — спросил Артемьев.

— Ему! Может, заметит.

Накоротке — дольше не позволяло их тяжелое состояние — поговорив с возвращавшимися из плена нашими, Артемьев позаимствовал у Иванова «эмочку», чтобы доехать до штаба, и по крутой дороге стал взбираться на Баин-Цаган. Едва въехав на гору, он неожиданно для себя столкнулся с Климовичем, которого не рассчитывал увидеть раньше завтрашнего дня.

Климович возвращался с кладбища, куда он отвозил заказанный саперами в Чите и наконец доставленный оттуда жестяной венок с фарфоровыми цветами на могилу Русакова.

Они встретились с Артемьевым на перекрестке трех дорог, одна из которых вела вниз, на переправу, вторая — к Хамардабе, а третья, малонаезженная, выводила на обрыв, к видному за много верст танкистскому кладбищу. В центре его, среди деревянных пирамидок со звездами, на постаменте из обломков японского оружия стоял обугленный, избитый снарядами танк.

— Тебя-то мне и надо,— сказал Артемьев, когда они с Климовичем оба вылезли навстречу друг другу из машин.— Я был вчера у тебя дома.— И он протянул Климовичу записку Любы.

Прочитав записку, Климович спросил: правда ли, что дочь уже ходит или это пока плод воображения жены? Услышав утвердительный ответ, он улыбнулся и, кажется, собирался спросить что-то еще о дочери, но вместо этого спросил, сильно ли спешит Артемьев.

— По правде говоря, надо поскорей доложить о сегодняшней передаче пленных,— признался Артемьев.— Пять минут постоим — и ехать надо.

— Раз пять минут, давай походим, что ж на месте стоять?

И они пошли рядом вдоль края баин-цаганского обрыва.

— Значит, передали пленных? — спросил Климович.

— Передали.

— Что наши рассказывают?

— Один без сознания, а другой сидел в гиринской каторжной тюрьме. Говорят, выживет, но сейчас похож на умирающего. За два месяца потерял двадцать пять килограммов. А руку срастили так, что теперь придется опять ломать и снова сращивать. Рассказывает, что китайцев в этой гиринской тюрьме мучают еще больше, рубят головы без суда, а коммунистам, когда они молчат на допросах, вливают через нос по два ведра воды.

— Ладно, не рассказывай,— прервал Климович,— а то начинаешь жалеть, что бои кончились!

Они прошли несколько шагов молча.

— Помнишь это место?

Артемьев огляделся: кругом валялись стреляные гильзы, ржавые куски железа, кое-где белели кости.

— Здесь палатка Камацубары стояла,— сказал Климович,— и здесь я тебя после боя второй раз встретил: ты сидел и документы разбирал.

— А ты приехал и сразу же уехал,— сказал Артемьев,—даже не поговорили.

— Я тогда злой был. У меня из всего батальона семнадцать танков оставалось. Пойдем к машинам. Тебе ехать пора! — Климович крепко одной рукой обнял Артемьева за плечи, показывая этим молчаливым движением силу дружеского чувства к нему.

— Подожди, постоим еще минутку,— сказал Артемьев,— посмотри, какое небо кровавое.

В самом деле, вдали за свинцовой полосой Халхин-Гола, за желтым горбом высоты Палец, над далекой грядой отрогов Хингана, небо, черно-фиолетовое вверху, чем ниже, тем делалось все багровей и багровей. Разорванное острыми пиками гор, оно красной полосой горело в неровных промежутках между ними.

— Как будто там, за горами, кто-то идет со знаменами,— сказал Артемьев, вдруг вспоминая рассказ старшины о гиринской тюрьме и молчавших на допросах китайских коммунистах.

— Ветер будет,— сказал Климович.

1950—1965

СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ

Повесть

1

Седьмого ноября сорок первого года полковника Полынина выписали из госпиталя, где он пролежал десять дней с растяжением сухожилия правой ноги. Подняв от ветра воротник кожанки и опираясь на палочку с разноцветным плексигласовым набалдашником, которую ему прислали в госпиталь механики, он вышел на крыльцо и несколько минут стоял, принюхиваясь к погоде. Серое мурманское небо висело над самыми крышами, шел снег, видимости почти не было. Полынин подумал, что при такой погоде немцы не полетят на Мурманск, да и наши навряд ли пойдут на бомбежку. Значит, летчикам его полка не придется сегодня ни прикрывать город, ни летать на сопровождение.

К подъезду госпиталя подошла «эмка»; рядом с водителем, упираясь головой в крышу «эмки», сидел Грицко — начальник штаба полка и ближайший друг Полынина.

— А мы у приемного покоя вас ждали,— сказал Грицко, нагибая голову и вылезая навстречу Полынину.— Садитесь вперед, товарищ полковник, меньше трясти будет.

Полынин пожал руку Грицко, положил на переднее сиденье «эмки» палочку и осторожно сел рядом с водителем.

— Здравствуйте, Горбунов.

— Здравствуйте, товарищ полковник. С выздоровлением вас.

— Выздоровление еще не полное,— сказал Полынин.— Врачи пока вылетать запретили. Как в полку? — повернул он голову к Грицко, когда «эмка» тронулась.

— В полку порядок,— сказал Грицко.— Вчера ганса сбили.

— Сбили или записали?

— Сбили. С подписью и печатью — прямо на улице, около гостиницы «Арктика», на асфальт положили.

— А как соседи? — ревниво спросил Полынин.

Соседями полка по аэродрому были две эскадрильи англичан. Они летали на «харрикейнах». Летчики полынинского полка с по-

мощью англичан первыми осваивали здесь эти начавшие прибывать по ленд-лизу английские истребители.

— Соседи тоже один сбили. Брюс сбил. Не сам Брюс, а его брат, долговязый.

— Не долговязей тебя.

— На сантиметр, мы два раза с ним мерились.

— Вижу, вам делать было нечего,— улыбнулся Полынин.

Теперь, когда он возвращался в полк, его радовало все: и немец, сбитый нашими, и немец, сбитый англичанами, и то, что сзади него сидит Грицко, с которым они воевали еще в Испании, и то, что Грицко мерился ростом с этим Брюсом, который уже сбил здесь, в Мурманске, трех гансов, или, как они называли их по-своему, «джерри».

— Позавчера погоды не было,— сказал Грицко,— ходили в гости к англичанам, вот и померились.

— А еще какие новости? — спросил Полынин.

— У нас больше никаких,— сказал Грицко,— а у вас есть.— И он через плечо Полынина протянул своей длинной рукой номер «Красной звезды» за четвертое ноября.— Посмотрите на второй странице.

Полынин развернул газету и, увидев свою фамилию, стал читать.

— Хотите, товарищ полковник, мимо «Арктики» поедем, сбитого «мессера» посмотрите? — спросил водитель.

— Что, я их не видел, что ли? — сказал Полынин, не отрываясь от газеты.

В статье под названием «Мурманское небо» описывался тот самый воздушный бой Полынина, после которого он, сев на вынужденную, растянул сухожилие и попал в госпиталь. Полынин и сам знал, что этот бой был из ряда вон выходящий, но корреспондент расписал его так, что чтение статьи вогнало Полынина в краску.

В общем-то в статье все было фактически верно. Действительно, тогда, 27 октября, Полынин вылетел в этот бой очень злой. С самого утра гансы прорвались к Мурманску и успели сбросить почти все бомбы, потеряв только один «юнкерс». Полынину был за это «нагар», а после «нагара» ему еще предложили взять обратно рапорт о переводе на Западный фронт в истребительную авиацию, прикрывавшую Москву. Об этом Полынин корреспонденту не рассказал, но вообще корреспондент верно написал, что Полынин был злой и хотел рассчитаться с гансами, когда они в тот же день сделали еще один налет на Мурманск.

Корреспондент описал, как Полынин сбил в этом бою трех гансов. Сначала, прямо под Мурманском, сбил коллективно, вме-

сте с Грицко, «юнкерс», потом во время преследования, над линией фронта, сбил «мессершмитт-109». И, уже возвращаясь домой, таранил еще один «мессершмитт».

С этим третьим гансом вышло так, что Полынин, потеряв своих, неудачно напоролся на него один на один, уже израсходовав до этого весь боезапас. Ганс, судя по первым же его маневрам, был крепкий орешек. Стрелять по нему нечем, а начнешь выходить из боя — зайдет в хвост и свалит!

Но откуда ему знать, что у тебя кончился боезапас? Полынин решил не выходить из боя и маневрировать, пока ганс сам не выдержит и не пойдет первым к себе домой.

Но у этого ганса, видимо, были крепкие нервы, он все не выходил и не выходил из боя и действовал так нахально, что у Полынина даже на секунду мелькнула мысль: не догадался ли ганс, что тебе нечем его сбить?

В конце концов на одном из разворотов ганс все же оплошал, и Полынин зашел ему прямо в хвост почти вплотную. Одна очередь — и все! Если б было чем... Тут-то Полынин и пошел на таран...

Все это корреспондент описал примерно так, как оно и было в жизни и как ему говорил в госпитале сам Полынин.

Но дальше в статье было про чувства и мысли Полынина в те минуты. Полынин ничего не говорил про это корреспонденту, и тот все написал сам из головы — и про неистребимый гнев, который бушевал у Полынина в сердце, и про его мысли о столице нашей Родины Москве, в бой за которую он пошел в мурманском небе на этот свой таран. Хотя как раз в те минуты Полынин ничего такого не думал.

В это утро он действительно несколько раз вспоминал о своем рапорте, о Москве и о том, какие там плохие дела; и ему из-за этого еще сильнее хотелось попасть туда и драться там, а не здесь.

Но все эти мысли были утром, на земле. А в воздухе, уравняв скорости и видя прямо перед собой хвост ганса, идя на таран, он думал только об одном: как бы поаккуратней, сделав секундный рывок вперед, коснуться, всего только коснуться своим винтом хвостового оперения ганса, чтобы он посыпался, а ты остался.

Дальше корреспондент опять описал все близко к истине: и как Полынин почувствовал после удара, что винт все же покорежило и мотор так дробит, что долго на нем не пройдешь — может отвалиться, и как он не стал выбрасываться, потому что ветер дул в сторону немцев, и вместо этого решил тянуть на вынужденную и дотянул, сел на лед небольшого озера около пере-

довой, и как его там отыскали только ночью, и как он чуть не пострелял из пистолета своих, считая, что сел у немцев. Но в самом конце статьи шел целый столбик, который и вогнал в краску Полынина. Чего тут только не было: и про Суворова, и про Кутузова, и про нашу спокойную русскую храбрость, и про то, что с такими, как Полынин, победа над фашизмом не за горами!

Полынин в глубине души считал, что если у нас все на круг будут летать не хуже, чем он сам и его ребята, и если мы вместо «ишачков» поскорей получим побольше новых машин, таких, как МИГи или даже «харрикейны», то в воздухе мы не пропадем, во всяком случае в части истребительной авиации. Но слова корреспондента, что бой 27 октября — это поучительный для всех образец героизма, смутили Полынина.

Когда он сам вспоминал об этом бое или разговаривал о нем с другими понимающими людьми, то честно считал, что как раз в этом бою далеко не все было поучительно, начиная с того, что к концу боя он потерял из виду всех своих ребят. А главное, он, против обыкновения, непростительно погорячился, израсходовал на второго ганса весь свой боезапас и из-за этой собственной ошибки ему, по сути, и пришлось потом, встретив третьего ганса, рисковать всем и идти на таран.

Но с другой стороны, конечно, на таран надо было решиться. И он про себя знал, чего оно стоит, такое решение, когда принимаешь его сознательно.

Это был факт, что он все же решился пойти на таран, и сбил ганса, и не упал сам, а дотянул и сел. Он знал, что за этот бой его представили к Герою Советского Союза, и был очень рад этому. Тем более что представления на него уже два раза зажимали. Один раз — после Испании, потому что он крепенько и не вовремя полаялся с начальством, а второй раз — после Халхин-Гола; тут уж он и сам не знал почему.

Несмотря на свои честные рассуждния, что в этом бою не было ничего особо поучительного, Полынин все же чувствовал себя героем дня. И, дочитав до конца написанную про него статью, не удержался и тут же стал читать ее во второй раз.

— Может, заедешь? — тронув Полынина за плечо, на ухо сказал Грицко.

Полынин посмотрел в стекло, они проезжали мимо здания театра. Водитель вопросительно повернулся к нему, но Полынин буркнул: «Давай на аэродром» — и снова уткнулся в газету.

Однако теперь он уже не читал статью, а думал о той свалившейся на него то ли удаче, то ли беде, на которую намекал Грицко. Как ни называй, а факт остается фактом: он неожидан-

но для себя влюбился, да еще нашел в кого, в актрису из приехавшей сюда московской фронтовой бригады. Все это началось с концерта в их полку, продолжалось в госпитале, а где и какой этому будет конец, не скажут и синоптики.

Эта актриса сразу понравилась ему с первой же сценки, которую она исполняла. Она играла студентку и показалась Полынину совсем еще молодой. Пока он смотрел эту пьеску, ему все время хотелось, чтобы она покрепче дала от ворот поворот окопавшемуся в тылу сукину сыну, который приставал к ней там, на сцене.

Потом, после пьески, она читала стихи и показалась Полынину уже не такой молодой, но очень красивой. А когда после концерта летчики устроили для артистов товарищеский ужин в землянке летного состава, она — ее звали Галина Петровна,— усталая после концерта, одетая в черное платье, с накинутым на плечи полушубком, начала петь низким негромким голосом одну за другой русские и украинские песни, цыганские романсы, «Раскинулось море широко...», а потом все, что попросили. Она не ломалась, не ждала, чтоб ее уговаривали, а пела и пела. Глаза у нее были черные, печальные, пела она, подперев щеку рукой, словно пригорюнясь, и казалось, думала все время о чем-то чужом и далеком.

Здесь и наступило самое опасное: Полынину вдруг стало жаль ее, захотелось спросить, почему она так отзывчива к их просьбам и в то же время так невесела, что с ней такое и как она жила до того дня, когда он, Полынин, увидел ее у себя в полку.

— А это я спою для вас, товарищ полковник,— сказала она, когда ужин кончился и все уже собрались вставать. И, глядя прямо в глаза Полынину своими черными печальными глазами, спела песню о рябине, которой никак не перебраться к дубу. Ее лицо было так близко от лица Полынина, что казалось, она говорит с ним и ему тоже надо что-то сказать в ответ ей: неужели и правда нельзя рябине перебраться к дубу? Неужели правда, так ей век одной и качаться?

Когда она кончила петь и встала, он тоже встал и вдруг через стол поцеловал ей руку, чего за ним не водилось.

Потом артистов провожали до машины. Они в несколько голосов шумно приглашали летчиков приезжать в Мурманск, на спектакль, который они будут играть через неделю в городском театре, а Галина Петровна все молчала и, только уже садясь в машину, протянула Полынину руку и вздохнула, словно хотела что-то сказать, но не решилась.

На следующий день был тот самый бой, а еще через день, поздно вечером, когда в госпиталь уже никого не пускали, в па-

лату к Полынину вошла медсестра и за ней Галина Петровна в белом халате.

— Я не могла к вам раньше,— сказала она так, словно обязана была прийти к нему раньше.— Мы уезжали с концертами к морякам в Ваенгу, и я все узнала там только сегодня днем. Приехала к вам прямо оттуда, видите, даже как следует не разгримировалась... Вот видите.— Она потрогала себе висок и показала ему пальцы, на которых остались пятнышки грима.— Наговорили там про вас всякие ужасы! А здесь сказали, что ничего опасного! Это правда не опасно? Как вы себя чувствуете? — спрашивала она, садясь на табуретку рядом с его кроватью.

Полынин, смущенный тем чувством, которое он испытал от ее прихода, сказал, что не опасно, да и вообще ничего особенного, и неуклюже спросил: как это ее пустили в такой поздний час?

— А я сказала, что мне очень нужно к вам,— просто ответила она.— И, видите, поверили, пустили. А вы верите?

Он ответил, что верит. Да, по правде говоря, не хотелось отвечать ничего другого.

Потом она навестила его утром, когда у него сидел Грицко, хмурый, все еще молча переживавший, что они в том бою потеряли из виду своего командира полка. Но, хотя и стесняясь присутствия Грицко, Полынин все равно не мог отвести глаз от Галины Петровны все время, пока она сидела рядом. Она была очень красивая в белом халате, с гладкими блестящими черными волосами. Полынин заметил в них несколько седых волосков, и ему понравилось, что она не прячет эти седые волоски и что волосы у нее причесаны гладко и просто, с маленьким пучком сзади.

— У меня раньше знаете какие косы были,— сказала она, заметив, что он смотрит на ее волосы,— до колен,— притронулась она к своим коленям.— А потом пришлось срезать, потому что когда надеваешь парик, то нельзя, чтобы под ним были слишком длинные свои волосы. Видите, как приходится мучиться нашему брату, чтобы представлять на сцене.

Сказав «нашему брату», она улыбнулась; улыбка у нее вышла добрая, но печальная, и, глядя на ее узкие плечи, Полынин снова испытал чувство жалости к ней.

Когда она ушла, пересидевший ее Грицко, как только закрылась дверь, сказал:

— А цыганочка-то влюбилась в тебя, Николай! Имеешь надежды.

— Дураков нет,— ответил Полынин, хотя ему было приятно услышать то, что сказал Грицко.

Она приходила в госпиталь каждый день. И если Полынин бывал один, подолгу сидела рядом, взяв его руку в свои, и мол-

ча смотрела на него. Потом вдруг, засуетившись, начинала вынимать из полевой сумки книги и журналы и читать из них стихи.

— Вам непременно нужно знать эти стихи,— говорила она, хотя Полынин не любил стихов и не знал, зачем ему нужно знать их.

— Вы чувствуете стихи,— говорила она.— Вы только мало читали их до сих пор, но вы их чувствуете, а это уже от бога! Нравятся вам эти стихи?

Он не знал, нравятся ему эти стихи или не нравятся. Но ему нравилось, как она их читает, и нравилась она сама, и поэтому он, не вдаваясь в подробности, отвечал: «Да, нравятся».

Два раза, когда она сидела у него, за ней приходили из других палат и просили ее пойти туда почитать стихи раненым. И она уходила и читала там стихи, а потом снова возвращалась к Полынину.

Последние два дня до его выписки из госпиталя она не приходила. А когда лежишь в госпитале — считай день за три. Даже больше. Она не приходила, а он ждал и скучал из-за этого так, что даже зло брало на самого себя. На второй день вечером он не удержался и спросил у сестры, где сейчас артисты. Сестра сказала, что артисты уехали на несколько дней па корабли, в Полярное. Потом ушла в дежурку и вернулась, неся в руках письмо.

— Галина Петровна просила передать вам, только если вы сами спросите, почему ее нет.— Сестра сочувственно посмотрела на Полынина. Она была полная, красивая и не такая уж немолодая женщина, и Полынин нравился ей самой, но еще больше нравился ей этот происходивший на ее глазах роман, о котором она после дежурства каждый вечер подолгу разговаривала с другими женщинами.

Полынин разорвал конверт. Письмо было написано карандашом. «Значит, вы все-таки спросили про меня. Когда после того вечера у вас в полку мне вдруг сказали, что вы в госпитале, я неожиданно для самой себя так испугалась, что все бросила и примчалась к вам. И хотя вы очень удивились, я все равно стала ходить к вам... Когда я вернусь в Мурманск, вы уже выпишетесь из госпиталя. И я не буду знать, что делать с собой. Наверно, я полюбила вас. Струсила сказать. Написать все-таки легче. Если это не так важно для вас, просто-напросто не отвечайте. Фотографию или очень берегите, или сразу порвите».

Прочитав про фотографию, Полынин заглянул в конверт и вынул оттуда любительскую карточку с обтрепанными краями. Галине Петровне было на этой карточке лет семнадцать, она была снята в какой-то роли. На шею у нее был накинут платок, концы которого она сжимала в кулаке. Полынин подумал, что сейчас

она красивее, чем на этой фотографии. Почему она именно эту фотографию вложила в свое письмо?

Полынин долго сидел на койке, глядя на странную, полудетскую фотографию Галины Петровны и думая, что же ему делать теперь, после того как Галина Петровна написала, что любит его. Простодушная вера правдивого человека в правдивость других людей не позволяла ему сомневаться. Он сам никогда бы зазря не написал и не сказал такую вещь. Да и если б не так — зачем это письмо, зачем тогда в полку смотрела в глаза и пела для него, а потом прибежала в госпиталь? Он не сомневался, что это правда, он просто не знал, что делать.

Он думал об этом тогда, держа в руках ее письмо, думал об этом и сейчас, когда решил, не заезжая в театр, двигать прямо на аэродром. Речь шла не о чем-нибудь другом, а именно о любви, то есть, по его понятиям, о том, чтобы он женился на Галине Петровне. А для чего еще такое письмо, если не для этого?

Проваландавшись до войны в холостяках, он с тех пор, как началась война, вообще не думал жениться раньше чем она кончится. И, уж конечно, ему никогда не приходило в голову, что он может жениться на артистке, да еще сейчас, во время войны.

Однако она написала ему свое письмо именно сейчас, а не после войны, и ему сейчас надо было решать, как быть. Он был холост и мог завтра же сказать ей: «Выходите за меня замуж». Правда, мать-старушка, наверное, и слышать не захочет, чтоб он женился на артистке, но на четвертом десятке с такими вещами мало считаются.

Подумав о своих годах, он вспомнил о годах Галины Петровны. На вид ей было лет двадцать семь, но она еще в первый вечер в полку сказала ему, что они ровесники — ей тоже тридцать два. Никто ее не спрашивал, сказала сама, и это понравилось тогда Полынину. Но сейчас он вспомнил, что во время их встреч она говорила о чем угодно, кроме своей личной жизни. Не ждала же она до тридцати двух лет того дня, когда напишет Полынину эту свою записку.

«Что у нее там было? — ревниво думал Полынин.— Наверное, что-нибудь такое, о чем и говорить неохота. А может, она и сейчас замужем? И может, ее муж какой-нибудь из этих артистов, которые ездят вместе с нею и которые все держатся между собою так по-товарищески, что у них не разберешь, кто, кому и кем приходится?

Правда, вроде не похоже на это, но тогда, может, муж у нее не здесь, а где-нибудь в Москве или в эвакуации».

Ему захотелось сейчас же увидеть Галину Петровну и напрямик спросить ее обо всем этом. Но заворачивать машину об-

ратно к театру теперь, с полпути, было бы курам на смех. Неудобно и перед Грицко и перед водителем.

Дорога свернула от залива в горы; из-под снега, как большие черные бородавки, торчали валуны, небо было грязно-белое; снег то и дело волнами переметал дорогу.

— К погодке примериваетесь, товарищ полковник? — спросил Грицко.— Летная была вчера и сказала до побаченья, а когда побачимся, синоптики даже и не обещают. Говорят, из Норвегии циклон идет.

— Синоптики, может, и врут, а вот дорогу, похоже, переметет! — сказал Полынин, подумав, что надо будет поскорей найти причину поехать в Мурманск и увидеть Галину Петровну.

2

Аэродром, на одной половине которого базировался полк Полынина, а на другой — две английские эскадрильи, как и все здешние аэродромы, представлял собою небольшую площадку, освобожденную от валунов и со всех сторон зажатую скалами. Самолеты, кроме стоявшего на взлетной полосе дежурного звена, были загнаны в укрытия по краям аэродрома. Помещения летного состава, штаб, дежурка, столовая и красный уголок ютились в приткнутых к скалам, заметенных снегом землянках.

Проезжая краем летного поля сквозь поземку, которая, ударяясь в скалы, аж закручивалась в белые винты, Полынин снова подумал о своем рапорте о переводе под Москву, поданном три недели назад сгоряча, сразу после сводки о боях на Можайском направлении. Под Москвой даже теперь, в ноябре, погода, наверное, куда лучше, чем здесь, и летать можно по крайней мере вдвое больше. Но рапорт, хоть он и не забрал его обратно, судя по всему, едва ли удовлетворят.

Он приказал, чтобы машина подъехала к красному уголку. Думая, что все ребята по случаю праздника там, он ожидал, что летчики высыплют ему навстречу из землянки, но, когда машина остановилась, навстречу никто не вышел. Полынин, прихрамывая, вылез из «эмки» и толкнул дверь в землянку. Землянка была полна летчиками и техниками, они слушали радио. Полынин не разобрал, что оно говорило, но все слушали так внимательно, что только двое или трое сидевших у самой двери повернулись и вскочили.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал Полынин.

Все поднялись, глядя на командира полка, но продолжая слушать радио.

— Здравствуй, Николай Николаевич,— подходя к нему и пожимая руку, сказал комиссар полка Левыкин.— Радио слушаем. Парад в Москве был, речь товарища Сталина диктор читает. Идем слушать.— И потащил за руку Полынина, у которого разом вылетело из головы все, о чем он думал по дороге.

Ему еще утром, в госпитале, сказали, что вчера в Москве состоялось торжественное заседание с докладом Сталина, но все же это — одно, а парад на Красной площади — другое. Это вызов немцам и их авиации. Полынин не знал, какая сегодня погода над Москвой, но был уверен: чтобы разбомбить парад на Красной площади, фашисты полетели бы в любую погоду. Значит, небо над Москвой так прикрыто, что они не смогли прорваться!

«Не видать вам, сукам, Москвы...» — радостно и длинно обругав про себя наступавших на Москву фашистов, подумал он. Сейчас, в эту минуту, он готов был забыть все, что злило его с самого начала войны: и что «ишаков» так медленно заменяли МИГами, и что МИГи с их хорошей скоростью пока что по-настоящему маневренны только на больших высотах, и что не хватало истребителей и приходилось осваивать эти английские «харрикейны», хотя дареному коню в зубы не смотрят!

Ничего, раз решились на этот парад в Москве, значит, и во всем другом будет порядок! Доживем и до этого. Все же, значит, удалось так прикрыть Москву с воздуха, чтоб ни одна бомба не упала на площадь!

Когда радио щелкнуло и замолчало, в землянке целую минуту стояла тишина. Полынин вытер платком взмокший от волнения лоб и огляделся по сторонам.

— Крепенько утерли нос гансам! — весело сказал он, употребив свое любимое словцо, а комиссар полка Левыкин, вскочив на табуретку, крикнул:

— Товарищи летчики, товарищи техники, прошу встать! Сталину ура! — крикнул Левыкин.— Москве ура! Московским летчикам ура! Смерть немецким оккупантам! Ура!

— Товарищ полковник! — показываясь на пороге, крикнул дежурный.— Англичане приехали. Поздравлять!

Полынин застегнул верхнюю пуговицу на гимнастерке, отставил в сторону палочку и, стараясь не хромать, вышел из землянки навстречу англичанам.

Из открытого «джипа» вывалились пятеро англичан. Командиры английских эскадрилий майор Брюс, и майор Коллер, и еще один Брюс, тот, что сбил вчера немца, капитан, брат старшего Брюса, майора; капитан Кларк — маленький, косолапый летчик, сжегший над Лондоном двенадцать немецких самолетов, а здесь,

в Мурманске, как на грех, еще не сбивший ни одного; и пятый — толстый майор Хеннигер.

Ссыпавшись со своего «джипа» и радостно пожимая руку Полынину, они тыкали большими пальцами в небо и наперебой повторяли: «О, спич! О, Сталин, вери велл!»

— Поздравляю вас, от души поздравляю вас! — обеими руками во всю мощь тряся руку Полынина, говорил майор Хеннигер на своем хорошем, без малейшего акцента русском языке, которому Полынин уже перестал удивляться.— Парад на Красной площади — это прекрасная демонстрация для германцев! Речь Сталина — это прекрасная речь! — говорил Хеннигер, продолжая трясти руку Полынина.

Полынин знал, что Хеннигер и у англичан всего-навсего заведующий хозяйством и что сами английские летчики не больно-то его любят, но ничего не попишешь — он единственный из англичан говорит по-русски и поэтому всегда лезет вперед.

— Мы все так рады, так рады, мы приехали поздравить вас с этим, мы так рады! — повторял Хеннигер, стоя впереди всех остальных англичан и во весь рот улыбаясь прямо в лицо Полынину.

Толстый, краснолицый и уже немолодой майор Хеннигер, когда-то, как он сам говорил, участвовавший в оккупации Архангельска, а потом работавший двадцать лет в разных туристских фирмах, по убеждению Полынина, был просто-напросто шпик. Однако именно через этого неприятного Полынину человека приходилось объясняться сейчас со всеми остальными английскими летчиками, которые, как считал Полынин, были, наоборот, хорошие ребята.

Хеннигер говорил и говорил, а летчики стояли позади него, покачивая головами и по-своему, по-английски поддакивали ему, давая понять, что все, что он говорит, правильно, что они действительно очень рады тому, что на Красной площади был парад и дядя Джо говорил на этом параде речь, и что вообще, судя по всему, дела должны пойти лучше, чем раньше.

Полынин видел по их лицам, что они и в самом деле рады, и ему было досадно, что он не может говорить с ними сам, а должен говорить через майора Хеннигера.

Оба долговязых Брюса — один просто долговязый, а другой долговязый до неправдоподобия, оба еще молодые, оба с тонкими черными усиками над верхней губой, оба румяные и озябшие на морозе в своих зеленых суконных куртках и меховых безрукавках, весело улыбались Полынину через голову низенького Хеннигера.

Улыбался и командир второй эскадрильи майор Коллер, рыжий, с круглым лицом и большой загорелой лысиной; он был без

пилотки, а круглая, похожая на тарелку английская каска висела у него на поясе. Не улыбался только один маленький, косолапый капитан Кларк, со своим унылым, длинным лицом клерка, просидевшего всю жизнь над бумагами. Склонив набок голову и чуть прищуря глаз, он молча искоса смотрел на Полынина, как бы говоря ему: «Они пусть толкуют, а мы с тобой все равно, когда дойдет до дела, собьем больше всех остальных».

Выслушав поздравления Хеннигера и пожав руки летчикам, Полынин, не возвращаясь в красный уголок, пошел с англичанами в столовую летного состава. У него была не только причина, но и желание выпить. Все сходилось: и его личные дела, и парад, и возвращение из госпиталя, и приезд англичан. А тем более кстати выпить с ними как раз сегодня, в день парада на Красной площади,— пусть крепенько прочувствуют, что к чему!

Полынин в душе переживал, что здесь, на севере, оказались эти англичане, как будто мы сами не можем управиться. Он знал, что их присутствие здесь, в Мурманске, в первую очередь вызвано тем, что почти каждый новый транспорт привозит партию «харрикейнов», и считается, что их надо осваивать совместными усилиями. Этим он сам и половина его полка занимались в свободное от боевых полетов время, и тут он ни в чем не мог упрекнуть англичан. Они знакомили наших летчиков со своими «харрикейнами» добросовестно и даже излишне подробно: их «харрикейны» не такие уж тонкие машины, чтобы подолгу осваивать их толковому истребителю, знающему, как держаться за ручку.

В свободное от тренировок время англичане вместе с нами летали на прикрытие Мурманска и на сопровождение наших бомбардировщиков. Летали англичане неплохо и, если быть до конца справедливыми, не хуже наших. Полынин сначала от души радовался их успехам, но потом ему перевели статью из пришедшей в Мурманск английской газеты, и он понял из нее, что там, в Англии, хотят сделать из мухи слона. О тридцати летавших здесь английских истребителях в газете писали так, словно воздушная оборона Мурманска только на них и держится. И это надолго разозлило Полынина.

Сами английские летчики, конечно, тут ни при чем, они летали как положено и похоронили уже четырех своих товарищей; эскадрилья майора Брюса сбила одиннадцать «мессершмиттов», а в том, что эскадрилья майора Коллера сбила только три, тоже не его вина: эскадрилья сидела главным образом на тренировке. То, что они сбили всего трех гансов, было прямо как зубная боль и для самого майора Коллера и для его заместителя, капитана Кларка, и Полынин хорошо понимал их чувства. И поэтому сейчас, когда сели за стол, он нарочно поднял стакан водки прежде

всего за капитана Кларка и за его родной город Лондон, который он защищал в воздухе, наверное, так же хорошо, как наши летчики Москву.

Маленький капитан Кларк сгреб своей короткой ручкой граненый стакан с водкой, чокнулся с Полыниным и, поднатужась, выпил до дна. А после этого сразу откинулся назад и стал молча смотреть в потолок. Кто его знает, о чем он думал,— может, о своей жене и троих детях, может, о своем Лондоне, а может, о чем-то еще, о чем Полынин не имел никакого представления.

Оба Брюса — майор и капитан,— происходившие, как говорил о них Хеннигер, из очень хорошей фамилии, пили водку маленькими, неторопливыми глотками, и улыбались своими румяными лицами с черными усиками, и говорили что-то. Но майор Хеннигер переводил так коротко и односложно, что Полынину все время казалось, что он врет и переводит не то, что они говорят на самом деле.

Рыжий, лысый майор Коллер пил равномерно, по четверть стакана каждый глоток и всякий раз плотно закусывал, потирая свои рыжие усы. Немножко подвыпившему Полынину казалось, что, наверное, у него и у майора Коллера общая судьба, что оба они всегда работали не меньше, а может, и больше других, но это мало кто замечал. Он даже подмигнул майору Коллеру, давая понять, что в курсе его огорчений насчет всего трех немецких самолетов, сбитых его эскадрильей, и считает, что на самом деле майор Коллер все равно ничем не хуже майора Брюса, хотя у того и сбито уже одиннадцать. И рыжий майор Коллер, в свою очередь, подмигнул ему, то ли поняв, то ли не поняв, но, наверно, почувствовав симпатию, которую испытывал к нему Полынин.

Комиссар полка Левыкин, Грицко и другие летчики несколько раз через майора Хеннигера старались объяснить англичанам, что значит для нас парад на Красной площади. Летчики гордились тем, что произошло сегодня в Москве, и хотели, чтобы англичане поняли их чувства. Но хотя англичане кивали головами, Полынин чувствовал, что Хеннигер переводит им как-то не так и они не понимают всего того, что хотят им сказать наши.

Начиная все больше и больше сердиться, Полынин с облегчением увидел вошедшего в столовую капитана Гаврюшина, прикомандированного к англичанам и знавшего английский язык.

— Слушай, Гаврюшин, переведи им, что я тебя попрошу,— не стесняясь присутствия Хеннигера, сказал Полынин, как только Гаврюшин вошел и сел за стол.— Переведи им, они хорошие ребята...

— Ну, а еще что? — спросил Гаврюшин, не успевший выпить и поэтому не способный сразу попасть в тон разговора.

— Ничего, ты сначала переведи им, что они хорошие ребята,— сказал Полынин.

Гаврюшин перевел, ожидая, что Полынин сейчас скажет еще что-нибудь такое, что, находясь в хорошем настроении, любят повторять подвыпившие люди. Но Полынин сам почувствовал, что подвыпил и что это сейчас ни к чему. Он напрягся и стиснул руки, лицо его побледнело.

— Переведи им, капитан,— сказал он, еще не трезвея до конца, но уже имея вид совершенно протрезвевшего человека,— скажи им, что они хорошие ребята. Повтори им это...

«Снова здорово!» — подумал Гаврюшин и перевел.

— ...но пусть они не думают, переведи им, пусть они не думают...

Гаврюшин послушно перевел, что пусть англичане не думают...

— Нет, не они,— сказал Полынин,— а пусть он не думает,— Полынин показал пальцем на майора Хеннигера,— пусть он не думает, что мы тоже не могли бы присесть где-нибудь около их Лондона и делать у них то, что они делают у нас. И не хуже их. Ты переведи, ты не бойся осложнений, они поймут.

Гаврюшин перевел и это.

— Дело не в том, что они тут сбили четырнадцать самолетов, я все равно Коллера не меньше Брюса уважаю, хотя он сбил только три самолета... Ты переведи, переведи это. Брюс не обидится, я знаю. Я уважаю их за то, что они прилетели и вместе с нами воюют, а сколько они сбили, это не так важно; мы тоже по-разному сбиваем — один больше, другой меньше. Не в этом дело, а дело в том, что сегодня был парад на Красной площади... Переведи им, переведи. И ни один фашист к Москве не прорвался! Вот что важно! А ты брось, брось,— вдруг повернулся Полынин к майору Хеннигеру, тоже переводившему что-то одновременно с Гаврюшиным,— ты очень коротко переводишь, я заметил, а мне нужно, чтобы все перевели, что я говорю...

Полынин почувствовал, что все-таки не до конца справился с шумевшим в голове хмелем, но это его не смутило, он верил, что английские летчики должны его понять — на то они и летчики!

— Парад,— сказал он,— переведи им, я за такой парад умер бы и не пожалел! Вот сказали бы мне: живи, но парада не будет. Не хочу! А сказали бы: умри, но будет парад,— и умер бы! Переведи им, они поймут.

И англичане, кажется, поняли и закивали. Оба Брюса — майор и капитан — трезво и весело, майор Коллер — серьезно, а маленький капитан Кларк даже прослезился.

Сидели вместе еще час или полтора, закусывая всем, что нашли,— яичницей с салом, банкой килек, мясными консервами, кто-то хотел поставить на стол даже английскую консервированную ветчину в большой треугольной банке, но Полынин, обернувшись и заметив это, махнул рукой, чтоб несли обратно: угощать англичан их же ветчиной не позволяло самолюбие.

Когда провожали англичан, майор Хеннигер, мало пивший и из веселого и развязного ставший желчным и молчаливым, сел за руль «джипа», двое Брюсов и Коллер залезли назад, а пьяный, затосковавший капитан Кларк сел на переднее сиденье рядом с Хеннигером. Крепко стискивая руку Полынину, он сказал ему какую-то длинную задушевную фразу, которую Хеннигер не захотел перевести, а Гаврюшин не успел. И Полынин так и не понял тогда и не смог узнать потом, что это была за фраза, потому что на следующий день капитан Кларк погиб в бою, упав с самолетом в Мурманский залив.

Хеннигер, обрывая прощание, дал злой гудок, и английский «джип» уехал.

Полынин проводил глазами «джип», поднял голову и поглядел на небо. Северное сияние, холодно поблескивая, неторопливо перебегало через все небо, и Полынину вдруг показалось, что он, набрав высоту, ходит сейчас на пяти тысячах метров над Москвой, где-то на другом конце этого северного сияния.

— Грицко! — постояв на холоде, окликнул он.— Майор Грицко!

— Слушаю вас,— сказал Грицко.

— Пойдем?

— Пойдем,— сказал Грицко.— Только кожанку надо забрать.

Он вернулся в столовую, принес лежавшую у печки горячо нагретую кожанку и накинул ее Полынину на плечи.

— Спасибо,— сказал Полынин и, поскрипывая унтами по снегу, пошел к землянке, где они жили вдвоем с Грицко.

3

Часок поспав, Полынин и Грицко распили термос крепкого чая. Полынин собирался еще обойти землянки летчиков, но нога все же болела, и он решил отложить обход на завтра.

— Да и чего тебе ходить,— сказал Грицко, вне службы державшийся с Полыниным на товарищеской ноге,— одни спят, другие догуливают, кое-кто лишнего принял... У Гуляева барышня из Военторга сидит, я видел, как она к его землянке подрулива-

ла,— а ты пойдешь и всем помешаешь. «Товарищ полковник, разрешите продолжать занятия?..»

— Это ты про кого, про Гуляева, что ли? — рассмеялся Полынин.

— Лучше посмотри наши донесения за десять дней, я схожу в штаб, принесу.

— Завтра с утра приступлю. Не наваливайся! Я пока только условно выписанный; если б не заскучал по вас, мог бы еще лежать, симулировать.

— Лучше уж у нас тут симулируй, раз заскучал.

— А что ж, вся жизнь в полку, другой нет.

— Так-таки и нет? — сказал Грицко.— А цыганочка?

Долговязый Грицко был для Полынина больше чем братом: они вместе учились в липецкой школе, вместе были и в Испании и на Халхин-Голе. Мало того, когда в первые дни войны Полынин, работавший в Москве, в инспекции, попросился на фронт в любое место и на любую должность, Грицко сам вызвался ехать с ним сюда, на север, чтобы опять служить вместе. И Полынин ценил этот поступок Грицко, может, даже выше, чем те случаи, когда Грицко выручал его в воздухе. Там, в воздухе, он успел поквитаться с Грицко, а здесь считал себя в долгу.

И все же он сейчас колебался: говорить ли с Грицко о Галине Петровне? Это могло напомнить их прежние разговоры о женщинах, а как раз этого ему и не хотелось.

— Дело мое, Каланча, хорошо, то есть плохо,— наконец сказал он, называя Грицко кличкой, которая приклеилась к нему еще с липецкой школы.— На, почитай.— И, достав из кармана гимнастерки, протянул Грицко письмо Галины Петровны.

Грицко взял письмо и долго водил по нему своим длинным носом. Поводил, поводил, перевернул, дочитал до конца и опять начал сначала.

— Чего изучаешь? — спросил Полынин, порываясь забрать письмо из рук Грицко.— Это тебе не наставление по полетам.

— Однако достойно изучения. Женить тебя хотят, Николай!

— Откуда это видно?

— Тебе не видно, а мне, например, как женатому человеку, видно!

— А если и так, что плохого? — вдруг спросил Полынин.

— А что хорошего? — в свою очередь, спросил Грицко, возвращая письмо.— На себе женят, а с корешками разведут.

— Тебя же не развели?

— А я себе такую и подбирал, чтобы не развела.

— Ты что, о ней плохого мнения? Из-за чего? Что она артистка? — спросил Полынин, вспоминая жену Грицко, всегда неза-

метную на людях, невидную и неслышную Марусю, и мысленно сравнивая ее с Галиной Петровной.

— Не знаю,— помолчав, сказал Грицко, понимавший важность своего ответа для Полынина.— А хотя мне, наверное, ни одна не покажется; мне Полынин холостой дороже, чем женатый. Поет она, конечно, хорошо. Но для тебя ли эти песни, не знаю.

Затрещал телефон. Грицко дотянулся длинной рукой до трубки и, выслушав то, что ему говорили, приказал: «Пропустите».

— Кого это?

— Дежурный с КПП звонит. Пехота в гости приехала.— Грицко усмехнулся, но значения этой усмешки Полынин еще не понял.— Сколько раз она к тебе в госпиталь приходила?

— Не считал,— огрызнулся Полынин, хотя на самом деле считал: семь раз.

— Давай закурим, раз такое дело,— сказал Грицко и открыл пачку «Казбека».

Было слышно, как у землянки затормозила машина.

— Пойду погляжу, кто подрулил.— Грицко вышел, низко нагнувшись в дверях.

С минуту за дверью слышался разговор, потом она снова открылась, и в землянку вошла Галина Петровна, в валенках, полушубке и с чемоданчиком в руке.

— Вот, гостью привел,— сказал Грицко, входя вслед за ней.

Полынин поднялся навстречу стоявшей посреди землянки Галине Петровне и, ни о чем не спрашивая, взял из ее холодных рук чемодан.

— Какое счастье — парад, верно, какое счастье! — говорила Галина Петровна, пока Полынин снимал с нее полушубок.— Я с утра и не думала к вам приезжать, а потом, после концерта, решила, что должна вас увидеть. Вы не сердитесь?

— Сердится. Сейчас даст мне выговор за то, что на аэродром пропустил,— сказал Грицко, отряхивая от снега ушанку Галины Петровны, и поглядел на Полынина, у которого было такое довольное выражение лица, что смешно было смотреть.

— Я днем была в госпитале, сестра сказала, что вы спрашивали обо мне...— Галина Петровна запнулась. Полынин подумал: сейчас она скажет о письме,— но она не сказала.— А потом оказалось, у нас концерт совсем близко от вас, и политрук согласился завезти меня к вам на минуточку, а потом уже в Мурманск, а товарищ Грицко сказал, что вы позже сами дадите мне машину доехать, и я осталась. Вы дадите мне машину?

Она чувствовала себя не очень-то ловко и, кажется, сама не знала, что говорить.

— Может, немного погреетесь с мороза и закусите? — спросил Грицко.

Галина Петровна ответила, что с удовольствием и погреется и закусит, что она замерзла и голодна, потому что ее товарищи остались ужинать там, где давали концерт, а она сначала упросила сразу отвезти ее в Мурманск, а потом, уже по дороге, уговорила заехать сюда.

— В общем, схитрила. Не очень это умею, но получилось. Вы меня непременно довезете?

— Раз обещано — все! — сказал Грицко.— Не знаю, как в пехоте, а в авиации так.

— А вы не ругайте пехоту,— сказала Галина Петровна,— они же довезли меня до вас.

— Зачем же ругать,— сказал Грицко,— напротив, вынесем завтра благодарность в приказе. Подготовлю и дам полковнику на подпись! — Говоря это, он одновременно выгребал своими длинными руками из-под стола и ставил и клал на стол то одно, то другое: бутылку спирта, пачку галет, банку консервов, полукруг сыра, кольцо копченой колбасы.

Привыкший, что Грицко не только ведет их общее холостое хозяйство, но и не любит, когда ему мешают, Полынин не участвовал в приготовлениях к ужину, а сидел и помалкивал в своем углу, озабоченно поглядывая на Галину Петровну, бойко болтавшую с Грицко и словно бы забывшую о нем.

«Нарочно, что ли?» — думал он, глядя на нее.

Ответ на этот вопрос он получил, только когда они выпили — Галина Петровна полстопки, а они с Грицко по стопке — разведенного спирта и когда, закусив четвертью круга колбасы, Грицко заторопился в штаб.

Едва за ним закрылась дверь, как лицо Галины Петровны сразу переменилось: на нем снова было усталое и печальное выражение, поразившее Полынина при первой встрече, когда она пела песни. Она сидела неподвижно и очень долго, наверное, несколько минут, ничего не говорила и даже не смотрела на Полынина.

— Вот я и приехала к вам,— сказала она.— Умные женщины так не делают, но я, очевидно, дура. Ну, скажите же хоть что-нибудь! Я ведь через силу разговаривала, пока был ваш товарищ, а на самом деле мне и совестно и страшно.

Что было сказать на это? Полынин понял из ее слов, что все написанное в письме — правда, что она любит его и приехала за ответом. Поднявшись с места, он подошел к ней, приподнял ее из-за стола за локти, обнял и поцеловал в губы, продолжая видеть прямо и близко смотревшие на него немигающие глаза. Потом снова посадил ее на табуретку и, уже поцеловав ее, но все еще не

зная, что ей сказать, стал, не глядя на нее, прихрамывая, ходить взад и вперед по землянке.

— Сядьте! Вы слышите?

Он еще раз пересек землянку и сел, подумав, что обидел ее.

Но она протянула через стол обе руки, взяла в них его руку и поцеловала ее так неожиданно для него, что он даже не успел отдернуть и покраснел от неожиданности и стыда.

— Вот так,— сказала она.— А вы меня больше не целуйте сегодня. Согласны?

Он кивнул, все еще не в состоянии заговорить.

— И не ходите больше из угла в угол, вы хромаете.

— Не обижайтесь за вопрос: вы не замужем? — наконец с трудом выговорил Полынин.

— Сейчас нет,— сказала она, помедлив,— раньше была.— И, снова помедлив, добавила: — Два раза. Вас не насмешила моя карточка?

— Почему?

— Ну, удивила? Вы ее не порвали?

Он полез в карман гимнастерки, молча вынул карточку и положил перед нею на стол.

— Мне было бы жаль, если б вы ее порвали,— сказала она.— Это моя самая любимая, поэтому я вам ее и оставила. Эта карточка — начало всего: и того, что потом было, и того, чего так и не было, только думала, что будет... В то время вы бы не спросили, была ли я замужем.

— Сколько вам было тогда лет? — спросил Полынин.

— Столько же, сколько и вам: восемнадцать.

— Вы бы на меня тогда и внимания не обратили,— сказал Полынин.— Я еще и в авиашколу не поступал, работал вагоновожатым и учился на рабфаке.

— Наверное бы, не обратила,— согласилась она.— Я сама тогда...

Она стала рассказывать ему о себе тогдашней, только что приехавшей в Москву из провинции девчонке. Как она сразу и училась в театральной студии и работала, и какие маленькие ухищрения приходилось ей делать, чтобы выглядеть хорошо одетой, имея одно платье и две блузки, и как, выпросив одну контрамарку во МХАТ, они ухитрялись проходить по ней зайцами вдвоем и втроем, и как она сама масляной краской перекрашивала себе в разные цвета одни и те же старые туфли, и как, потеряв продовольственные карточки, полмесяца говорила подругам, что худеет для роли...

Рассказывая все это, она делалась Полынину ближе, чем раньше, потому что ее юность была чем-то похожа на его собст-

венную, тоже бедную и деньгами и родственниками, но зато богатую товарищами, прожитую когда вприкуску, а когда и вприглядку, от получки до получки всухомятку и с недосыпом.

Но была тут и разница, которую он не мог не заметить: сам он, когда вспоминал о своей юности, вспоминал о ней просто и весело, как человек, для которого прошлое было само собой разумевшейся дорогой к настоящему, а настоящее и есть как раз то, о чем он в юности думал как о будущем. А Галина Петровна — он это видел — вспоминала о своей юности с каким-то печальным удивлением, как о ступеньках лестницы, которая в конце концов привела ее не туда, куда она думала. Слушая ее, он пытался проникнуть туда, за эту печаль, понять, что же произошло с ней, почему у нее все вышло не так, как ей хотелось. «Может, она и в самом деле была самая способная и только по чужой злобе́ — или подсидел кто — все вышло не так, как надо? Бывает и у нас в авиации — одному вершки, а другому корешки, тут не повезло, там сорвался, и готово: человек один, а послужной список другой! Может, и у нее так?»

Он подумал о ее двух замужествах, но расспрашивать не стал, почувствовал, что она больше не хочет об этом.

Она встала, нагнулась над своим чемоданчиком и открыла его. Чемоданчик был набит ее театральными вещами: черное платье, в котором она тогда на вечере читала стихи, какое-то ожерелье, похожее на елочные бусы, щипцы для завивки волос... Она порылась в чемодане и достала со дна пачку снимков.

— Садитесь рядом,— сказала она, подходя к столу.— Будем смотреть мои фотографии.

Полынин пододвинул табуретку, сел рядом с ней, и она стала показывать ему одну за другой свои фотографии, снятые в разные годы и в разных ролях. На одних фотографиях она была красивая, на других некрасивая, на одних похожая на себя, на других непохожая — в белокурых париках, совсем менявших ее лицо. Она то говорила ему, как сыграла эти роли — одну хорошо, другую плохо, то просто спрашивала: «Верно, я смешная тут?» — то вдруг переворачивала фотографию («Эту не смотрите, ее вообще давно надо порвать»).

— Вот и все,— наконец сказала она.— Наверное, подумали, я вас обманула, сказала, что приехала неожиданно для себя, а фотографии привезла, да? Но я правда уже давно положила их в чемодан и все вожу с собой. Даже в госпиталь два раза брала.

— Ничего я не подумал,— сказал Полынин и обнял ее за плечи. Но она повела плечом, чтобы он снял руку.

— Не обнимайте меня сейчас. Все это слишком серьезно. Наверно, даже плохо, что так серьезно, но так уж вышло... Надо

ехать, а ехать не хочется. У вас тепло, а на улице холодно. Слышите, какой ветер? Вот возьмет да и заметет меня по дороге, и превращусь в сугроб, такой же, как все остальные. А вы поедете утром мимо и даже не заметите меня... Все это глупости! — прервала она себя.— А теперь скажите правду: если я сейчас останусь, а уеду завтра утром, это будет очень неудобно? Если очень неудобно, тогда не надо.

— Сейчас я распоряжусь,— сказал он охрипшим голосом.

— А это действительно удобно?

— Сейчас я распоряжусь,— вместо ответа повторил он, накинул на плечи кожанку и вышел.

4

Галина Петровна осталась одна. Она не знала, как он распорядится: прикажет ли устроить ее в землянку к женщинам — она во время концерта видела нескольких женщин, они были в полку,— или он вместе со своим товарищем уйдет из землянки, оставив ее ночевать одну, или — об этом она тоже подумала, услышав его охрипший голос,— попросит уйти своего товарища и захочет остаться с нею вдвоем? Она не знала, как распорядится он, но знала, чего хочет она сама. Ей казалось, что он может полюбить ее, и она хотела этого. Ей и правда хотелось рассказывать ему о своей жизни. Но при этом она понимала, что он не должен узнать о ее жизни ничего, что могло бы ему помешать полюбить ее. Она соврала, что все время возит с собой эти фотографии,— она взяла их только сегодня, чтобы показать ему. Она соврала, сказав, что приехала к нему неожиданно для себя,— она еще днем решила приехать и даже заранее подумала, что, может быть, останется здесь на ночь. Но она не хотела, чтобы сегодня у них было с ним что-нибудь еще, кроме того, что уже было. Не потому, что ей самой не хотелось этого, а потому, что ей надо было, чтобы он полюбил ее. Она думала об этом, когда ехала сюда. Думала, что если она сама останется у него и все-таки ровно ничего не будет, эта ночь свяжет его с ней сильней, чем многое другое.

Когда она сегодня на концерте, в перерыве между двумя отделениями, сказала своей подруге Маше Макаровой, что не только поедет к нему, но и, может быть, останется у него ночевать, та только всплеснула руками и сказала: «Смотри».

— Ничего не будет,— уверенно сказала она.

— Смотри,— не веря ей, еще раз сказала Маша и испуганно посмотрела на нее своими круглыми глазами.

— Ничего не будет, вот увидишь,— упрямо повторила Галина Петровна.

Но сейчас, оставшись одна в землянке, вдруг испугалась самой себя.

«Если я позволю ему остаться и сделаю так, как мне самой хочется, все пропало! Этого никак нельзя делать. Такие люди, как он, никогда этого потом не прощают. Нет, так нельзя, никак нельзя делать!»

Галина Петровна редко бывала расчетлива; гораздо чаще в своей жизни она делала не так, как хотела сама, а так, как хотели другие, более сильные, чем она, люди. Она прожила не сказать чтоб несчастную, а скорей нескладную жизнь неудачливой актрисы, у которой при всей ее любви к театру на сцене то не везет, то не получается; ей самой кажется, что не везет, а другим — что не получается.

Здесь, во фронтовой бригаде, со своим умением звучно и трогательно читать стихи, со своей красивой внешностью и небольшим приятным голосом она впервые пожинала такой успех, никогда раньше не выпадавший на ее долю, и, пожалуй, впервые в своей неудавшейся жизни чувствовала, что делает что-то очень важное и нужное для всех людей, а не просто для самой себя.

Выступая по нескольку раз в сутки, то в красных уголках, то на кораблях, то в землянках перед теснившимися в двух шагах от нее мужчинами, она чувствовала, что не только нравится им, но и кажется им счастливой. Хотя все это было далеко не так, как они, наверное, думали.

В первый раз она была замужем за своим ровесником, таким же молодым актером, как она. Они жили с ним хорошо или почти хорошо, но она все не хотела и не хотела иметь ребенка, не желая потерять целый сезон в театре. Кончилось тем, что у ее мужа появился ребенок от совсем некрасивой — Галина Петровна потом мельком видела ее — и не имевшей отношения к театру женщины, но он ушел к этой женщине, а вернее, к ребенку.

Потом она вышла замуж за человека на двадцать лет старше ее. Он был известный режиссер, она занималась у него еще в театральной студии и, вернувшись в Москву из провинции, попала к нему в театр. Она не любила его, но восторгалась им и верила, что он может сделать из нее большую актрису, тем более что он сам говорил ей это. Большой актрисы он из нее не сделал, но от жены к ней действительно ушел на целых три года. Жизнь с ним оказалась совсем невеселой, но Галина Петровна старалась уверить себя, что живет с этим человеком ради того, чтобы найти свой путь в искусстве.

В конце концов он вернулся к жене, уже немолодой, но действительно большой актрисе, а Галина Петровна вновь осталась одна.

А потом, за два года до войны, появился Витенька Балакирев, молодой режиссер, только что кончивший театральный институт и сразу попавший в столичный театр не из-за способностей, а из-за того, что его отец, Василий Васильевич Балакирев, был знаменитый театральный администратор, который всех знал и все мог. Витенька не обещал сделать Галину Петровну большой актрисой, но он был красив, самоуверен и на пять лет моложе ее, и когда он решил, что у него с ней должен быть роман, то спустя некоторое время все вышло, как он хотел.

Сказав Полынину, что она сейчас не замужем, Галина Петровна сказала и правду и неправду. Они жили с Витенькой порознь, потому что он не приглашал ее переезжать к себе, в большую отцовскую квартиру, а она не настаивала, боясь расстаться со своей длинной, похожей на гроб, унылой комнатой на Бронной, недалеко от театра. Но их отношения тянулись уже долго, и вокруг говорили об этом как о чем-то среднем между романом и замужеством.

Сама Галина Петровна последнее время все меньше думала об этом как о замужестве: она больше подчинялась чувствам Витеньки, чем испытывала к нему собственные, живя с ним не потому, что любила его, а потому, что не любила никого другого. А кроме того, хорошо помнила, что он моложе ее на целых пять лет. И с таким, как он, это не обещает ей ничего хорошего.

В начале войны ее оттолкнуло от Витеньки то, как он откровенно обрадовался, когда благодаря отцу в последнюю минуту его забронировали вместо другого человека. Галине Петровне даже называли потом имя этого актера, ушедшего на фронт вместо Витеньки, и ей было противно и стыдно.

Однако у нее и тут не хватило воли порвать с Витенькой, и хотя они простились с холодком, но все же именно он провожал ее в августе на вокзале, когда их бригада уезжала на север.

Полынин понравился ей сразу, в первый же вечер, когда она его увидела. Во время концерта она заметила сидевшего прямо перед ней и показавшегося ей еще совсем молодым полковника с двумя орденами Красного Знамени, орденом Ленина и еще какими-то незнакомыми ей большими орденами, похожими на звезды. У летчика были широкие плечи, синие глаза и худое красивое загорелое лицо с двумя шрамами. Один шрам вкось пересекал лоб и уходил в начинавшие редеть светлые волосы, а другой был на левом ухе — такой, словно кто-то ножницами отстриг мочку. Но эти шрамы не портили внешности летчика, наоборот, без них он был бы, наверное, слишком уж красавчиком. В перерыве Галина Петровна спросила молоденького лейтенанта, прикомандированного к их бригаде по случаю концерта, кто этот полковник в первом ряду.

— Командир части Полынин,— сказал лейтенант, словно удивляясь, как это можно не знать в лицо их командира части.

— У него много орденов,— сказала Галина Петровна,— даже такие, которых я никогда не видела!

Лейтенант объяснил, что ордена у командира части за выполнение особых заданий правительства. Он был в Испании, в Монголии и, говорят, даже в Китае. Полынин не был в Китае, но летчику хотелось, чтобы командир их части был везде. Он говорил о своем полковнике с гордостью, и когда Галина Петровна вышла потом читать стихи о Чкалове, она читала их, глядя на Полынина. Ей было приятно читать эти стихи, глядя прямо в глаза сидевшему перед ней человеку с пятью орденами, о котором лейтенант сказал ей, что он, начиная с Испании, сбил уже девятнадцать самолетов.

Когда сели ужинать, Галину Петровну посадили напротив Полынина, среди его летчиков. Ей казался героем каждый из этих людей, сбивавших над Мурманском немецкие самолеты, но из их слов и поведения она поняла: не только молоденький лейтенант, а почти все они, по-разному выражая это, гордятся своим командиром части.

Атмосфера, окружавшая в полку Полынина, подействовала на нее. Ей понравилось в нем все — и то, как он поздоровался с ней: по-товарищески коротко и твердо пожал руку и сам назвал себя по имени и отчеству — Николай Николаевич; и как не стал ее уговаривать, когда она, выпив две рюмки водки, на третий раз прикрыла рюмку ладонью, и как, когда ее попросили спеть, сначала сказал: «Может, не надо, если вы устали?» — а когда она сказала: «А может, вам просто не хочется слушать?» — ответил без улыбки, что, напротив, хочется, но он подумал, что она устала.

И она стала петь уже не просто для всех них, а именно для него и, глядя на его ордена и на его еще молодое лицо, несколько раз, пока пела, думала о том, что вот она сидит сейчас напротив него и поет ему, а завтра он полетит и вдруг не собьет свой двадцатый самолет, а, наоборот, собьют его, и товарищи будут его хоронить, как хоронили когда-то Чкалова, в закрытом гробу.

А потом, когда уже пора было прощаться, она, глядя на Полынина, с тоской подумала, какой все-таки трусишка провожавший ее из Москвы Витенька. И это в то время, как на свете есть такие хорошие люди! А она, тоже, в сущности, хороший человек, почему-то всю свою жизнь проходила мимо как раз таких вот хороших людей.

Подумала и спела песню о рябине и о дубе. И Полынин, слушая эту песню, как ей показалось, о чем-то загрустил, а потом вдруг взял и поцеловал ей руку, чего еще за минуту до этого она не ждала и не могла ждать от него.

А через день после этого ей сказали, что полковник Полынин сбил над Мурманском в одном бою три самолета, но потом сам разбился при вынужденной посадке и лежит в госпитале. Услышав это, она с содроганием вспомнила, как она пела и думала: «А вдруг его собьют?» Неплаксивая от природы, она даже заплакала и решила — будь что будет — ехать в госпиталь.

Так возникло то чувство к Полынину, которое она поспешила назвать в своем письме любовью.

Она торопилась втащить себя на каждую новую ступеньку этого росшего в ней чувства раньше, чем эта ступенька возникала сама собой. Действительная готовность к любви уживалась в ней с преувеличением всего, что она испытывала. Ее лихорадила какая-то почти неподвластная ей самой душевная спешка.

Почувствуй это Полынин, он мог бы, не вникая, заподозрить неправду и без раздумий оборвать все, что уже возникло между ним и Галиной Петровной. А между тем ее тянуло к нему искренне и сильно; ей нравилось в нем все, что так резко отличало его от людей, с которыми судьба сводила ее раньше. Ей нравилась прямота его взгляда на вещи и доверчивость человека, который доверчив не потому, что глуп, а потому, что не хочет жить иначе, и даже его юношеская стыдливость, с которой он всякий раз, когда она заходила к нему в палату, оглядывал все вокруг себя, нет ли чего такого, на что не след смотреть женщине.

Ей нравилась его внешность, его синие, одновременно и строгие и простодушные глаза, которыми он не моргая серьезно смотрел на нее, даже когда она несла всякую чепуху, просто чтобы развлечь его в госпитале. Ее волновали его слава и то, что он одного за другим сбивал тех самых немцев, которых другие знакомые ей люди откровенно или молчаливо боялись.

Женщина, прожившая не очень путную жизнь, она была при этом дочерью своего народа, и, случись ей попасть на фронт не актрисой фронтовой бригады, а связисткой или санитаркой, она, наверное, сумела бы умереть не хуже других. Сейчас ее народ воевал, и ее радовало, что тот, в кого она влюбилась, не Витенька Балакирев, а летчик, человек, рисковавший жизнью, и ей ни перед кем не будет стыдно ни своего чувства к нему, ни близости с ним, даже если у этой близости не окажется никакого продолжения. Но в глубине души она хотела близости именно с продолжением. И не только хотела, но и сознательно и бессознательно делала все, что умела, чтобы это случилось именно так. Обычно бестолковая в проявлении своих чувств, она сейчас удерживалась от всего, что могло бы помешать Полынину жениться на ней, и, сама удивляясь этой неожиданной для себя расчетливости, почему-то не стыдилась ее.

Она сидела и ждала возвращения Полынина, а он все не шел и не шел, так долго, что она уже не знала, что и думать. Наконец он вернулся.

— Каптерка закрыта,— сказал он,— и каптер пропал. Хотели с Грицко вам постель достать — не нашли! Ложитесь на мою койку, мне перед приездом все свежее застелили, я только днем поверх одеяла прилег...

И, как бы исправляя совершенную ошибку, одернул одеяло на своей и без того аккуратно застланной койке.

«Вот чего он так долго пропадал»,— подумала Галина Петровна, и ей с еще большей силой захотелось сказать ему то, чего нельзя было говорить: чтоб он не уходил.

Полынин не был красной девицей, но не признавал в жизни никакой двусмыслицы. Раз Галина Петровна, сама признавшись ему в любви, после этого попросила, чтобы он больше не целовал ее сегодня, он понял ее желание остаться именно так, как оно было высказано: устала, ехать холодно, боится застрять в дороге, поэтому остается. А поняв так, даже и не подумал воспользоваться этими обстоятельствами и, зайдя в землянку комиссара, с которым Грицко играл в шахматы, сказал, чтобы Грицко добыл пару капотов для обогрева: Галина Петровна остается ночевать, а им обоим придется спать у комиссара на этих капотах.

— Если пить захочется, вода в графине на столе,— сказал Полынин и, не глядя на Галину Петровну, снял со стены два полушубка: свой и Грицко.

— Ничего не надо,— сказала Галина Петровна,— спасибо! Почему вы на меня не смотрите?

— А чего мне на вас смотреть? — с грубостью, на которую она не обиделась, понимая ее причину, ответил он. И, взяв в охапку полушубки, пошел к двери. — Спокойной ночи!

Галина Петровна села на его койку и, задумчиво глядя ему вслед, погладила рукой шершавое солдатское одеяло, которым была застлана койка. Кажется, она действительно любит этого человека!

Она легла, не раздеваясь, накрывшись полушубком, и так долго не могла заснуть, что ей показалось — она уже не заснет никогда. А что она все-таки заснула, она поняла только утром, когда в дверь постучали. Спустив ноги с койки и сунув их в холодные валенки, она поспешно пригладила волосы и сказала: «Войдите».

В землянку вошел Грицко, неся под мышкою термос, а в руках накрытые одна другой глубокие тарелки.

— С добрым утром. Чай пейте и яичницу кушайте, пока горячая.

— Сначала надо помыться,— сказала Галина Петровна.

— Верно,— согласился Грицко.

Он вытащил из-под своей койки чемодан, достал оттуда вафельное полотенце, снял с полочки мыло и из стоявшего у дверей ведра зачерпнул ковш воды. В ведре тонко хрустнула ледяная корочка. Из-под двери дуло, в землянке с утра было холодно.

— Пойдемте на улицу, я вам солью. Простуды не боитесь?

— Не боюсь,— сказала Галина Петровна.

Она закатала рукава и подвернула ворот гимнастерки — в их бригаде все уже давно для удобства переобмундировались в военное — и вышла вслед за Грицко. Небо было пасмурное, серое, над аэродромом кружил снег.

— А где Николай Николаевич? — когда они вернулись в землянку, спросила Галина Петровна, накрепко вытирая ломившие от ледяной воды руки.

— Уехал в Мурманск,— сказал Грицко.— Вызван к командующему.

— Вот и захватил бы меня с собой,— разочарованно сказала Галина Петровна, никак не ожидавшая, что не увидит Полынина.

— Советовал ему. Говорю, забирай, Николай, от нас эту цыганочку, а то еще чего нагадает, я цыган боюсь... А он пожалел будить. Но вы не беспокойтесь, он сам на полуторке уехал, а вам свою «эмку» оставил.

— Зачем же на полуторке, у него же нога...

— И я ему говорил, что нога,— сказал Грицко все тем же насмешливым тоном,— а он не слушает. Кушайте яичницу, пока не остыла.

— А вы?

— А я понаблюдаю. Уже поел. Мы не артисты, живем по расписанию.

Он налил Галине Петровне чаю, открыл тарелку, под которой лежал толстый омлет из яичного порошка с салом, и сел напротив Галины Петровны. Пока она ела, он молчал, а когда стала пить чай, вдруг, насмешливо прищурясь, заговорил:

— Видал сегодня во сне, что хотите женить на себе Николая.

— А вдруг сон в руку? — Галина Петровна рассердилась, но заставила себя улыбнуться.

— А вдруг он женатый? — по-прежнему щуря глаз, спросил Грицко.

— А я знаю, что неженатый! — все еще с усилием над собой продолжая улыбаться, сказала Галина Петровна.

— А если соврал? — спросил Грицко.

— А он никогда не врет,— уверенно, хотя и вздрогнув в душе, сказала Галина Петровна.

— Это, конечно, верно, до сих пор неженатый. Несколько раз надумывал, а потом все же отдумывал...— Грицко открыл прищуренный глаз, отчего лицо его сразу стало серьезным.— Все равно толку не будет: разные вы с ним люди!

Галина Петровна растерялась. Она не знала, как вести себя с этим непрошено откровенным, насмешливым длинным человеком, о котором Полынин говорил ей как о лучшем своем друге.

— Что молчите? — спросил Грицко.— Обругали бы меня, что ли!

— А мне не хочется.— Ей вдруг стало тоскливо, и она сказала то, что подумала: — В самом деле, мы с ним очень разные люди, и вполне возможно, от меня, как вы говорите, не будет толку.

— Ладно, не обижайтесь,— сказал Грицко, наливая ей второй стакан чая. Он был обескуражен таким правдивым ответом.

— А я нас вас не обижаюсь. Вы сами-то женаты? — спросила у него Галина Петровна.

— Женат и даже многодетен.— Грицко усмехнулся и показал три пальца.

— И где они все у вас теперь? — спросила она серьезно.

— Далеко, в Уфе.

— А у меня вот никого на свете нет. Хорошо, да? И пусть всегда так и будет? — спросила Галина Петровна с неожиданной для самой себя горечью.

Грицко ничего не ответил. Вместо ответа спросил, когда ей нужна будет машина.

— Если можно, я поеду прямо сейчас,— сказала Галина Петровна,— у меня через полтора часа репетиция.

Грицко вышел, и Галина Петровна, глядя ему вслед, подумала, что хотя она и сорвалась, не сдержалась, но, кажется, произвела на него хорошее впечатление, и это очень важно.

5

Командующий ВВС армии генерал-майор Турков вызвал к себе Полынина, чтобы сообщить: поданный Полыниным по команде рапорт о переводе в истребительную авиацию под Москву вопреки прежнему решению удовлетворен. Получен приказ: сдать полк и отбыть в Москву.

— Поздравляю, дорапортовался! — были первые, в сердцах сказанные слова, которые услышал Полынин, войдя в кабинет Туркова.

Когда Полынин подал свой рапорт, Турков без разговоров завернул его, не желая расставаться с Полыниным, но тот с прису-

щим ему упрямством настоял, чтобы рапорт отправили дальше, по команде. Турков вынужден был сделать это, и в конце концов все вышло не так, как считал нужным он, а так, как захотел Полынин.

Турков считал, что статья в газете могла оказаться тут последней каплей. В боях под Москвой уже было несколько таранов, и корреспонденты иногда так писали про них, словно это вообще самый лучший маневр в воздушном бою. У тех, кто способен был решиться на таран, никто не отнимал их героизма, но излишняя шумиха с этими таранами, по мнению Туркова, была все же временное явление. А пока суд да дело, у него забирали лучшего командира полка.

— А как, товарищ генерал, с рапортом Грицко? — спросил Полынин.

Турков усмехнулся, не скрывая своего, как он считал, законного злорадства, и ответил, что майор Грицко примет полк вместо Полынина. А если отсюда захотят забрать еще и Грицко, то он, Турков, сам подаст рапорт по команде — он это умеет делать не хуже полковника Полынина.

Полынин ничего не ответил, только вздохнул.

Они с Грицко подавали рапорты одновременно, стремясь попасть под Москву, хотя и не очень-то веря, что это выйдет. А теперь, когда у него вдруг вышло, а у Грицко сорвалось, получалось неудобно перед Грицко. Конечно, приказ есть приказ, но все-таки...

— Когда сдавать полк и когда вылетать?

— Полк сдай сегодня,— сказал Турков.— Все равно ты, по сути, еще не принял его после госпиталя. А вылетать — в зависимости от того, насколько торопишься.

— Что за вопрос!

— А раз торопишься, то я бы на твоем месте послал к бесу эту авиацию: она дело ненадежное. По сведениям синоптиков, циклон дня на три, самое малое.— Турков опять усмехнулся и уже серьезно добавил, что приказал навести справки: верней всего доехать сегодня же ночным поездом до Кандалакши, оттуда завтра идет лесовоз в Архангельск, а там уж в зависимости от погоды на самолете или поездом до Москвы. За шесть суток, но зато наверняка!

Полынин поблагодарил за совет, простился и пошел выправлять документы.

Покончив со всеми своими делами в штабе ВВС, он сел в полуторку и поехал в гостиницу «Арктика», где жили актеры фронтовой бригады. Войдя в построенное в тридцатые годы кубическое здание гостиницы, Полынин, подавив чувство неловкости, спросил у дежурной, сидевшей возле чучела медведя, в каком номере живет артистка Прокофьева. Дежурная улыбнулась не понравившейся

ему улыбкой и ответила, что артистка Прокофьева живет на втором этаже, в шестнадцатой комнате, но, кажется, ее нет дома, а впрочем, пусть он сам проверит.

Он, прихрамывая, поднялся по лестнице и стал стучать в дверь шестнадцатого номера, но никто не ответил.

«Неужели так задержалась там, у нас?» — подумал он, но на стук открылась дверь соседней комнаты, и какой-то старый человек в галифе, валенках и нательной рубашке с заткнутым за ворот полотенцем и намыленной щекою — наверное, тоже артист — сказал, что никого нет: и Прокофьева и Макарова ушли в театр на репетицию.

Полынин тревожно взглянул на часы. Надо было возвращаться на аэродром, сдавать полк; свободного времени почти не оставалось...

6

Галина Петровна и Маша Макарова, одетые поверх обмундирования во взятые из костюмерной длинные, до полу, юбки — фронтовая бригада репетировала старый водевиль «Лев Гурыч Синичкин»,— сидели в углу полутемного фойе в накинутых на плечи полушубках. Галина Петровна сидела, зябко сложив руки на груди, а Маша Макарова, привычно свернув самокрутку, курила махорку, часто затягиваясь и покашливая. Обе ждали, когда по ходу репетиции дойдет очередь до их сцен, и разговаривали о Полынине.

— Хорошо,— морща лоб, рассудительно говорила Маша Макарова, маленькая, стриженная под мальчика женщина, до смешного не умевшая устраивать собственную жизнь, но от доброты души всем и всегда подававшая советы,— предположим, он скажет тебе, чтобы ты выходила за него замуж, и ты скажешь: согласна,— а что дальше? Где он будет? В Мурманске, или во Владивостоке, или еще где-нибудь? А ты будешь ездить за ним?

— При чем тут Владивосток,— сказала Галина Петровна,— и вообще, о чем ты говоришь? Пока идет война, будет там, где ему надо быть.

— А ты?

— И я тоже.

— Подожди! Вот через месяц нас вернут из этой поездки в Москву, и мы снова поедем на фронт, но уже не сюда. Ты поедешь с нами или не поедешь?

— Конечно, поеду,— неуверенно сказала Галина Петровна.

— Хорошо, съездишь с нами еще два или три раза, а потом? Даст бог, на фронте все пойдет хорошо, и твой театр вернется в

Москву. Как будет тогда? Ты в Москве, а он здесь? Или уйдешь из своего театра и сюда, в мурманскую труппу? Здесь, между прочим, неважная труппа.— Маша Макарова вздохнула так, словно Галина Петровна уже вышла замуж и перешла в эту «неважную» мурманскую труппу.

— Ничего я не знаю,— тоже вздохнув, сказала Галина Петровна.

Она и в самом деле ничего не знала. Ей не хотелось расставаться с фронтовой бригадой, в которой они все жили гораздо дружней, чем до войны в театре. Но, думая о будущем, она все-таки думала о своем театре, который был сейчас в эвакуации в Средней Азии. А сегодня утром, когда она заехала с аэродрома в гостиницу, ее совсем запутало письмо от Витеньки Балакирева, присланное с приехавшим из Москвы в их бригаду аккомпаниатором. Витенька писал ей, что стал заместителем директора нового театра, только что организованного в Москве из актеров разных других театров, и обещал, что, когда она вернется в Москву, ее не только возьмут туда, но и сразу дадут хорошую роль. Все, что Витенька писал в этом же письме об их прежних отношениях, было ей сейчас совсем ни к чему, но его обещание взять ее в театр взбудоражило ее. Так не хотелось ехать куда-то в эвакуацию, правдами и неправдами цепляясь за свой старый театр, который она разлюбила, потому что уже давно чувствовала себя в нем ненужной. Так хотелось, чтобы была Москва и этот новый театр и чтобы ее действительно взяли туда и действительно дали ей такую роль, какой у нее еще никогда не было!

Пока она несколько раз читала и перечитывала это место в Витенькином письме, ее мысли о Полынине отошли куда-то в сторону и не сразу вернулись обратно.

— Ничего я не знаю,— повторила Галина Петровна, встала, подошла к дверям зрительного зала, заглянула в них — не пора ли на сцену — и снова села, поправив на плечах полушубок.

— Конечно, ничего не знаешь,— сказала Маша Макарова.— Война, а он летчик: завтра выйдешь замуж, а послезавтра убьют! И даже неизвестно, будет ли полагаться тебе пенсия, если люди только что поженились и у них нет детей.

Маша Макарова была самым бескорыстным существом на свете, но страсть давать житейские советы была сильнее ее.

Услышав Машины слова о пенсии, Галина Петровна так растерялась, что даже не сразу нашлась что ответить.

— О чем ты? Бог с тобой!

Ее позвали, и она, подбирая на ходу юбку, побежала в зрительный зал. Через минуту после этого вошедший в фойе Полынин застал там только Машу Макарову. Она усердно дымила само-

круткой и переживала свои слова. Сейчас, когда уже не с кем было делиться житейской мудростью и она осталась одна, эти слова самой ей казались ужасными. Увидев входившего в фойе Полынина, она сорвалась ему навстречу. После того, что она только что сказала, она чувствовала себя виноватой перед ним.

— Хотите Галю видеть? — спросила она, подбегая к Полынину в своей широкой, до полу юбке, на которую тот смотрел с удивлением, не зная, что значит этот странный наряд.

— Да,— сказал Полынин. Маша тоже была с концертом у них в полку, и Полынин узнал ее.— Хотел бы повидать Галину Петровну, а то мне надо уезжать.

— Ее только что вызвали на сцену, она теперь не скоро освободится.

Полынин посмотрел на часы. Он не знал, как быть.

— А куда вы уезжаете? Далеко?

— Далековато. В Москву.

— Подождите... Сейчас я, может быть... я попробую...— И, не тратя времени на долгие объяснения, Маша Макарова побежала в зрительный зал, оставив Полынина одного посреди пустого фойе.

Через минуту к нему вышла задыхавшаяся Галина Петровна. Она была на высоких каблуках, в такой же длинной юбке, как и ее подруга, и в накинутом на плечи поверх гимнастерки пуховом платке, концы которого она сжимала в кулаке, точно как на фотографии, подаренной Полынину.

— Что случилось? — спросила она, отпуская концы платка и беря Полынина сразу за обе руки своими холодными руками.— Вы уезжаете? Когда, почему, надолго?

Полынин, которого она продолжала держать за руки и которому от этого трудно было говорить, сказал, что уезжает в Москву, видимо, насовсем, будет там служить, уезжает сегодня вечерним поездом.

Галина Петровна молчала. Она была так оглушена неожиданным известием, что еще не успела подумать, хорошо или плохо для нее, что Полынин будет служить не в Мурманске, а в Москве. Пока она знала только одно: сегодня она теряла его, а что будет дальше — неизвестно.

Плечи ее дрогнули, и она, отпустив одну руку Полынина, поспешно вытерла слезы концом платка.

— Ты вот что, Галя,— увидев, что она сейчас расплачется, неожиданно на «ты» сказал Полынин и, освободив вторую руку, обнял ее, ощущая теплоту прикрывавшего ее плечи пухового платка,— ты поезжай в Москву, когда вы тут закончите свою поездку, и выходи за меня замуж... Если, конечно, не возражаешь.

Она ничего не ответила ему, а ткнулась ему в грудь головой и, несколько минут прижимаясь к нему, стояла и плакала над его простыми и добрыми словами. И пока она прижималась мокрым лицом к его груди, у нее все не выходили и не выходили из памяти страшные Машины слова: «Завтра выйдешь замуж, а послезавтра убьют».

Наконец она громко всхлипнула, оторвалась от Полынина, полезла в карман своей длинной театральной юбки, достала оттуда платок, жалобно шмыгая носом, долго вытирала лицо и, подняв глаза на Полынина, сказала так же просто, как он, потому что в ответ на его слова только так и сказалось:

— Хорошо, я приеду. Когда у тебя поезд?

— В двадцать один ровно.

— Я приеду, я успею с концерта,— подумав, сказала она.— Попрошу переставить номера и успею.

— Прокофьева, на сцену! — выходя из дверей зрительного зала и оглядываясь по сторонам, крикнул помощник режиссера.— Вас ждут.

— Надо идти,— сказала Галина Петровна,— они остановили из-за меня репетицию.

Она повернулась и убежала, а Полынин, медленно спускаясь из фойе в первый этаж, думал о том, что вот все это и случилось, он женится, и женится не вовремя, в самый разгар войны, как-то все это будет...

7

До отхода поезда оставалось семь минут, а Галины Петровны все не было. Полынин вместе с Грицко, комиссаром Левыкиным и еще десятком летчиков, приехавших проводить его на грузовике, стояли возле вагона. Все по случаю проводов командира полка выпили, и никогда не пьяневший Грицко, или оттого, что больше других выпил, или оттого, что больше всех огорчался, был по-хмельному мрачен. То, что после отъезда Полынина он оставался командиром полка, нисколько не улучшало его настроения.

— Служили два друга в одном полку — и точка! Был Грицко — и нет Грицко... Выходит, так, да?

Если бы Грицко не выпил так много, он бы никогда не сказал этих слов, это было против его натуры, но он выпил и не хотел скрывать своего огорчения.

Что было ответить на это Полынину? Он один из всех почти не пил за их последним товарищеским ужином — помнил, что его придет провожать Галина Петровна, и не хотел ее обидеть.

А теперь, когда ее не было и, наверное, уже не будет, ему сделалось жаль, что он не выпил как следует с ребятами: и они зря не обижались бы за столом, и он бы залег на полку и спал до самой Кандалакши. Летчики, перебивая друг друга, обращались к нему, а он все поглядывал в темноту вдоль перрона.

— Чего смотришь? — вдруг спросил Грицко.— Не придет. Так на так, ты об нас забудешь, а она об тебе. Так на так! — И, как ни был пьян, все же почувствовал, что слова его — жестокие слова, и положил на плечо Полынину тяжелую руку.— Я сегодня дурак. Ты меня сегодня не слушай!

За две минуты до отхода поезда, когда Полынин, уже стоя на подножке, пожимал руки товарищам, к вагону подбежала Маша Макарова, неразгримированная, с черными, нарисованными бровями и блестевшим лицом.

— Ох, все-таки я вас застала,— задыхаясь, сказала она.— Там сначала было торжественное заседание, нас задержали, она сейчас на сцене, просто измучилась за нее... Нате вам записку!

Она протянула Полынину крошечную, скомканную записочку.

— И потом она велела вас поцеловать. Как хотите, а я поцелую! — Она обняла Полынина и прижалась накрашенными губами к его щеке.— Чего смеетесь, не бойтесь, вас не поцелую,— повернулась она к летчикам и, вытащив из кармана полушубка какое-то письмо, со словами «чуть не забыла» сунула его Полынину.— Это Галя просила вас бросить в Москве. Это одному режиссеру, по делу, надо, чтоб как можно скорей дошло...

— Товарищи командиры...— говорил дежурный, отстраняя уже на ходу поезда тянувшиеся к Полынину руки,— извиняюсь, товарищи командиры...

— Дайте ваш адрес, если задержимся тут, она вам напишет! — через головы летчиков крикнула Полынину Маша Макарова.

Полынин, не придумав ничего другого, крикнул: «Быково, до востребования!» Там в Быково он жил до войны с матерью,— но Маше Макаровой послышалось, что он сказал не Быкóво, а Кусково, и она так и записала это наспех гримировальным карандашом на вытащенной из кармана свернутой в трубочку роли.

И Маша и летчики остались позади, а Грицко все еще ехал на подножке вагона, держась за поручни. Он ничего не хотел добавить к тому, что сказал Полынину, а просто никак не мог расстаться с ним. Так они и ехали, стоя друг против друга на

подножке вагона и улыбаясь друг другу — Грицко широко, во все лицо, а Полынин тревожно: его беспокоил все ускорявшийся ход поезда.

— На, держи! — сказал, наконец, Грицко трезвым голосом и, оторвав от поручней правую руку, крепко пожал руку Полынину. Потом повернулся и, подогнув ноги, ловко соскочил на ходу поезда.

Еще несколько секунд за вихрями крутившегося снега Полынин видел его высокую фигуру с поднятой рукой, потом исчезла и она. Полынин зашел в вагон, снял кожанку, легко подтянувшись на руках, влез на верхнюю полку, снял унты, подложил их под голову и вытянулся, прикрывшись кожанкой. То, что Галина Петровна так и не приехала проститься, его огорчило, но не обидело: не смогла потому, что работала. Хотя в том, что она была артисткой, для него по-прежнему оставалось что-то тревожное, но, с другой стороны, ему нравилось, что у нее есть своя работа, что она не просто так, красивая женщина.

Пролежав несколько минут с закрытыми глазами, он при свете горевшей под потолком желтой угольной лампочки развернул и прочел ее записку.

Прощаясь, она сказала ему «ты», а написала на «вы». «Очень прошу вас только об одном: берегите, берегите, берегите себя! Нам обещают, что мы двадцатого декабря вернемся в Москву. Сразу же, в этот же день звоните мне». Дальше стоял номер телефона. Буква «К» — наверное, где-то в центре...

Полынин сложил записку вчетверо и пристроил в кармане гимнастерки, в самый уголок. Потом вспомнил о письме, которое сунула в последнюю минуту подруга Галины Петровны и которое надо было бросить в Москве. Для верности он решил переложить его из кармана кожанки тоже в гимнастерку. На письме стоял адрес: Москва, Плотников переулок, дом одиннадцать, квартира четыре, Виктору Васильевичу Балакиреву от Г. П. Прокофьевой, Мурманск, гостиница «Арктика».

Марки не было. «Надо будет там, в Москве, наклеить, прежде чем бросить»,— подумал он и, сложив письмо пополам, сунул в тот же карман, где лежала записка Галины Петровны.

Гости только недавно ушли. Василий Васильевич Балакирев и его сын Витенька сидели друг против друга за оставшимся после гостей именинным столом и спорили. Василий Васильевич, прихлебывая крепчайший чай из стакана в тяжелом золоченом

юбилейном подстаканнике, подаренном ему когда-то в складчину артистами, говорил неторопливо и тихо; Витенька, возбужденный выпитой водкой,— быстро и громко.

Спор шел о том, нарочно или случайно три дня назад, под воскресенье, уехал заслуженный артист республики Лихачев на свою дачу по Дмитровскому шоссе в поселке Жаворонки, который на следующий день был занят немцами. Василий Васильевич говорил, что случайно, Витенька кричал, что нарочно. Спор зашел еще при гостях, и они оба уже высказали свои точки зрения, но тогда, при гостях, Василий Васильевич говорил, что этого не может быть, потому что Лихачев все же как-никак советский человек, а Витенька говорил, что вполне может быть, потому что Лихачев всегда был антисоветской личностью.

Сейчас, без гостей, когда они остались вдвоем, спор принял иной оттенок. Василий Васильевич говорил, что Лихачев трус, и если бы он даже и захотел оказаться у немцев, то никогда бы не решился ехать навстречу фронту и пересиживать там в подвале, пока одни уйдут из этих Жаворонков, а другие войдут. Лихачев поехал потому, что боялся, как бы стоявшие там солдаты не сожгли его дачу, а что фронт так близко, он по своей природной глупости, наверное, и не предполагал.

Витенька утверждал, что хотя Лихачев действительно трус, но это не помешало ему поехать к себе на дачу и ждать там немцев.

— Каждый трус раз в жизни готов пойти ва-банк,— говорил он.

— А что в банке-то, банка-то не вижу, что за ставка? — возразил Василий Васильевич, делая своими пухлыми, белыми пальцами привычный жест картежника.

— Банк! — горячился Витенька.— А что такое Лихачев? Завистник среди способностей. Если б немцы пришли в Москву и застали его здесь, ему ничего особенного не светило, а он рискнул, поехал навстречу, доказал свое отношение — и, пожалуйста, приди они в Москву, оказался бы при них главной театральной фигурой!

— А ты думаешь, он считал, придут? — задумавшись, спросил Василий Васильевич.

— А чего ж ему не считать? Жаворонки не Минск и не Смоленск, от них до Москвы шестьдесят два километра...

И разговор перешел на то, есть ли теперь уверенность, что немцы не будут в Москве.

Сидевшие друг против друга отец и сын были одновременно и похожи и не похожи друг на друга. Василий Васильевич был

крупный, хорошо одетый мужчина, с булавкой в галстуке, с золотыми запонками на крахмальных манжетах, вылезавших из рукавов добротного пиджака. У него было большое, красивое, мягкое лицо с розовым старческим румянцем, с гладкой кожей и начинавшими отвисать щеками. Голова его была совершенно седа, отливала той благородной голубоватой сединой, существованию которой содействует мытье с небольшой порцией синьки. Руки у него были большие, белые, с массивным, вросшим в палец обручальным кольцом, плечи широкие и круглые Жилет, с небрежно расстегнутой нижней пуговицей, прикрывал его уже большой, но при его росте и осанке еще не безобразный живот.

У Витеньки были точно такие же черты лица, как у него: наверное, в молодости Василий Васильевич был вылитая копия Витеньки, но сейчас трудно было представить себе, что белокурый, тоже зачесанный на косой пробор, худощавый, статный Витенька когда-нибудь со временем превратится в такого же седого, грузного, уютно-неподвижного человека, со стаканом чая в одной руке и дымящейся трубкой в другой.

Василию Васильевичу сегодня исполнилось шестьдесят пять лет. Сын известного русского антрепренера, он и сам до революции держал антрепризу, потом, в годы нэпа, стал полуантрепренером-полуадминистратором и, наконец, коммерческим директором разных московских театров. В конце прошлого театрального сезона он оставил один из самых больших московских театров, не поладив с новым директором, не захотевшим понять, что Василий Васильевич, несмотря на свои вторые роли, привык чувствовать себя в театре хозяином. Он ушел и решил пожить один сезон на покое, ожидая нового подходящего места, которое рано или поздно ему все равно предложат.

Человек умный, ловкий и широкий, всю свою жизнь, даже в самых рискованных обстоятельствах сумевший сохранять чувство собственного достоинства и вид полной порядочности, он на памяти нескольких театральных поколений был уважаем даже теми, кто в глубине души прекрасно понимал, что Василий Васильевич никогда не жил и при своих привычках не мог жить на свое жалованье.

У Василия Васильевича была большая, пятикомнатная кооперативная, построенная еще в годы нэпа на свои деньги, собственная квартира, в которой он сегодня отпраздновал свое шестидесятипятилетие, и тоже давно уже построенная дача в тех самых Жаворонках, куда не то с заранее обдуманным намерением, не то по недоразумению в субботу уехал артист Лихачев, о котором они спорили с сыном. Дача Василия Василье-

вича была давным-давно заперта и ценные вещи вывезены в Москву на квартиру. А квартира Василия Васильевича, в сущности, представляла собой превращенный в вещи итог трудов всей его жизни.

Были у него ценности такого рода, что не выставляют напоказ. Они лежали в шкатулках жены, в секретерах, шкафах и комодах. Впрочем, сами эти вещи, в которых лежали те, другие вещи, тоже представляли немалую ценность. Квартира Василия Васильевича была собранным за несколько десятилетий антиквариатом павловской и александровской мебели самого первостатейного качества. Немалую ценность представляла собой и библиотека Василия Васильевича, состоявшая из многочисленных редкостных книг и рукописей; были у него и превосходные картины, этюды и эскизы, купленные или подаренные ему в разное время; были письма и рукописи корифеев театрального мира и вообще мира искусств. Даже висевшие на стенах фотографии знаменитейших актеров с их адресованными Василию Васильевичу собственноручными подписями, порой весьма драматическими или трогательными, тоже в конце концов представляли ценность не только для частной квартиры, но и для музея.

Василию Васильевичу оставалось, по его представлениям, еще пять-шесть лет — едва ли больше — здоровой жизни в свое удовольствие, и он не собирался менять ее ни в какую сторону. Когда немцы начали бомбежки Москвы, он не обнаружил особого страха перед ними и, несмотря на уговоры управдома и дежурных по ПВО, во время бомбежек оставался в своей квартире, так ни разу и не ушел в бомбоубежище. Может быть, он изменил бы своей привычке, если бы какая-нибудь бомба упала уж вовсе рядом с его домом, но бомбы не падали так близко, чтобы перепугать его, а думая о возможной смерти, он довольно равнодушно пожимал плечами: ну что ж, здесь он жил, здесь в крайнем случае и умрет!

Мысль о том, чтобы чуть ли не каждую ночь выскакивать из своей квартиры, бежать по нескольким лестницам в бомбоубежище и сидеть там до утра в углу между детьми и женщинами, без сна, без удобств, даже без возможности закурить трубку, казалась ему если не страшнее, то противнее мысли о смерти. Он посмеивался над собственным сыном, который при каждой воздушной тревоге, если оказывался в это время дома, расторопно бежал вниз. Может, потому, что только еще начинал жить и мысль о смерти казалась ему из-за этого особенно ужасной, а может, и просто потому, что был трусливей отца от природы.

Когда немцы стали все ближе подходить к Москве, Василий Васильевич ответил отказом на предложения его старых друзей помочь ему эвакуироваться в относительно лучших, на какие только можно было надеяться, условиях.

— Не поеду,— сказал он.— И стар, чтоб с насиженного места двигаться, и немцы в Москве не будут, не верю!

Первое было правдой, второе не совсем. Как и многие другие люди, одинаково с ним смотревшие на вещи, он в ту первую осень войны, не высказывая этого вслух, в душе допускал и то, что немцы могут взять Москву, и даже то, что они вообще могут выиграть войну. Он не хотел ни того, ни другого. У него не было никаких особых счетов с Советской властью: сначала, в годы военного коммунизма, он немножко поголодал, потом, в годы нэпа, как нельзя лучше применился, потом некоторое время чувствовал себя не в своей тарелке и, наконец, снова переменился в новом, но тоже приемлемом для него качестве. Ему нечего было искать у немцев и нечего ждать от них на старости лет. Вдобавок он просто-напросто никогда не любил их — ни их аккуратный немецкий застольный счет, ни их скучные немецкие курорты, на которых несколько раз бывал до революции, и особенно не любил их за восемнадцатый год, когда ему пришлось держать антрепризу театра в Киеве во время немецкой оккупации и пережить хорошо запомнившиеся ему унижения.

А теперь ко всему этому добавилась нынешняя страшная война с ними. Его собственный сын не попал на фронт, ему была добыта броня. До такой степени, чтобы отказать в этом сыну, патриотизм Василия Васильевича не простирался, однако он с тяжелым чувством читал в газетах о взятии наших городов и в особенности о немецких зверствах. Он верил не всему, что писалось, но считал, что нет дыма без огня и что немцы, убивая на занятой территории подряд всех евреев, с остальными тоже, наверно, не церемонятся и в случае малейших нарушений немецкого порядка, не долго думая, отправляют их на тот свет. В этом он почти не сомневался, помня восемнадцатый год на Украине.

Нет, он никак не хотел ни прихода немцев в Москву, ни их победы. Он хотел бы верить в обратное. Но их приход в Москву все еще казался ему возможным делом, и хотя он не собирался, подобно Лихачеву — если Лихачев действительно сделал это,— бежать навстречу немцам, но и не собирался уезжать из Москвы.

Он отобрал в папку, лежавшую под рукой в верхнем ящике письменного стола, документы, которые могли бы его скомпрометировать в глазах немцев, если они все-таки придут. В пап-

ке лежали две записки от Луначарского, несколько поздравительных юбилейных адресов, в которых он назывался видным деятелем советского театра, пять или шесть грамот от Верховных Советов союзных и автономных республик за образцовую организацию гастролей театра и еще два-три десятка писем, которые при Советской власти было бы жаль не сохранить, а при немцах опасно держать. Все это, если бы понадобилось, можно было за полчаса сжечь.

В остальном, как ему казалось, ему не приходилось так уж особенно бояться немцев. Немецкого порядка, если он, не дай бог, установится, он нарушать не собирался, идти работать в какие-нибудь их управы или городские думы, про которые писали в газетах, он и не подумал бы! Но если бы вдруг понадобилось сделаться директором театра, в котором при немцах будут ставить Шиллера или Гауптмана,— к этой мысли он себя на всякий случай приготовил... Хотя гораздо больше хотел, чтобы всего этого вообще никогда не случилось, чтобы немцы и не взяли Москвы и вообще были разбиты, чем скорей, тем лучше.

Разговаривая сейчас с сыном, он склонялся к тому, что немцы все же навряд ли возьмут Москву, а подвыпивший Витенька говорил, что раз они взяли Жаворонки, то теперь вполне могут оказаться на окраинах Москвы.

— А чего же ты с этим-то, с вашим театром спутался, раз так легко допускаешь, что они вот-вот на окраинах будут? — наконец спросил Василий Васильевич, с недоумением подняв седую бровь.

Витенька сначала, когда немцы стали бомбить Москву, хотя и очень боялся бомбежек, все-таки не уехал, потому что еще больше боялся эвакуации, где, вдали от отца, его могли разбронировать, а потом остался в Москве уже по инерции: дома, рядом с отцом, было как-то нестрашно, привычно, а кстати, и сытно; отец, с его широкой натурой, велел матери, не жалея, продавать вещи и тратить любые деньги, лишь бы не менялся заведенный в доме порядок.

Однажды не уехав из Москвы, Витенька постепенно избрал для себя позу человека, которому все трын-трава, который ничего не боится. Это было тем легче, что ему с его броней в Москве пока действительно нечего было бояться, кроме не особенно сильных немецких бомбежек, которые он пересиживал в бомбоубежище.

Шестнадцатого октября он не уехал, потому что отец сказал ему спокойно: «Поживем — увидим, уедешь без меня — на себя и пеняй».

Потом, когда первая паника улеглась, Витенька вдруг поверил, что немцы теперь уже не будут в Москве. В нем заговорила отцовская административная жилка, и он, бесталанный режиссер, вдруг оказался самым житейски необходимым человеком, когда из актеров, оставшихся в Москве после эвакуации всех других театров, стала создаваться новая драматическая труппа. Эта деятельность захватила Витеньку. В самый разгар ее он и послал с оказией то многообещающее и слегка преувеличивавшее его собственное значение письмо, которое Галина Петровна получила в день отъезда Полынина.

Но в последние пять-шесть дней, когда немцы после паузы вновь начали наступать на Москву и в некоторых местах подошли к ней уже на шестьдесят — семьдесят километров, Витенька снова испугался. Как все будет дальше, если бои начнутся под самой Москвой? А тем более если немцы вдруг ворвутся в Москву неожиданно? Это особенно пугало его, но теперь он уже не мог просто так взять и уехать, уже не мог отступиться от этого нового театра, потому что теперь у него была броня именно по службе в этом театре. Да и вообще, кому еще, кроме отца, мог он объяснить все свои опасения, которые он высказал сейчас Василию Васильевичу в ответ на его вопрос: чего же было путаться с этим театром, раз думал, что немцы дойдут до Москвы?

Выслушав его растерянный ответ, Василий Васильевич помял в белых пальцах салфетку и брезгливо бросил ее на стол.

— Знаешь чего, поменьше суетись.

— Что?

— Суетись, говорю, поменьше. Дойдут — не дойдут! Поживем — увидим! А что, наконец, с этим театром взялся за свое настоящее дело, стал хоть по крайней мере администратором — только хорошо! Уже давно тебе собирался сказать, что режиссер ты жалкий, все равно Станиславского из тебя даже моими трудами не выйдет!

Он сказал все это необычно грубо для себя, не в силах подавить того презрения, которые вызвала в нем чересчур откровенная трусость сына. Он привык к тому, что сын любил заноситься, говорить самоуверенно и даже дерзко, и обычно выслушивал это с насмешливым равнодушием — ладно, пусть перебесится! — но сейчас вместе с презрением к сыну он чувствовал всю силу своего превосходства над ним и не испытывал потребности стесняться в выражениях.

Скосив глаза на дверь кабинета, Василий Васильевич только сейчас заметил, что она закрыта неплотно.

— Поди закрой,— сказал он сыну.— Мальчику все это не к чему слушать.

— Да он спит, как сурок.— Витенька заглянул в приоткрытую дверь кабинета и, притворив ее, снова сел за стол.

9

В кабинете Василия Васильевича, на его большом кожаном диване, положив голову на темно-зеленую кожаную подушку, лежал мальчик, о котором вдруг вспомнил Василий Васильевич, лежал и не спал, до глубины души взбудораженный всем, что он услышал после того, как разошлись гости, а он вдруг проснулся от громкого голоса Виктора Васильевича, кричавшего про какие-то Жаворонки.

Пять недель назад, в памятный для Москвы вечер шестнадцатого октября, в дверь балакиревской квартиры раздался сначала неуверенный, потом все более громкий и, наконец, отчаянный стук. Когда жена Василия Васильевича, Ольга Федоровна, подойдя к двери, открыла один за другим все три замка и, не снимая цепочки, приотворила ее, она увидела в щель худого и дурно одетого мальчика, как ей показалось тогда, лет двенадцати на вид.

— Это квартира Балакиревых? — спросил мальчик в ответ на вопрос: «Что ты стучишь как сумасшедший?»

— Да,— сказала Ольга Федоровна с сожалением. Она была добрая женщина и, глядя на его исхудалое лицо, думала в эту минуту, что бы ему дать поесть — кроме хлеба, можно было дать еще вчерашней гречневой каши, она стояла в кастрюле на кухне.

— Вы тетя Оля? — спросил мальчик.

Назвать ее тетей Олей мог только один мальчик на свете, и она поняла, что перед ней сын ее покойной младшей сестры Екатерины Федоровны — Володя, которого она последний раз видела еще при жизни сестры пять лет назад, а с тех пор не видела и знала о нем только из редких писем его овдовевшего отца, который работал под Калинином врачом в лесной школе.

Она сняла цепочку, за руку втащила мальчика в переднюю, снова закрыла дверь на все замки и, прислонясь к стене, долго горестно смотрела на него.

Потом спросила:

— А где папа?

— Папу немцы убили,— сказал мальчик.

Мальчика вымыли, накормили и оставили жить у себя, то есть сделали то, что сделали бы всякие не скупые и не злые люди. Но каждый из четырех жителей квартиры относился к нему по-своему.

Василий Васильевич сказал, чтобы жена продала что-нибудь, что не нужно, и купила мальчику то, что нужно. Сказал, погладил по голове и забыл о его существовании.

Виктор Васильевич за первым же обедом стал расспрашивать мальчика, видел ли он немцев, как они выглядят и как себя ведут. Он так долго расспрашивал неохотно вспоминавшего, оглушенного горем мальчика, что Василий Васильевич, наконец, сердито хлопнул своей белой, мягкой рукой по столу и спросил:

— Не довольно ли?

Потом Виктор Васильевич, уже один, снова вернулся к своим расспросам. И перестал приставать, лишь когда понял, что мальчик только издали видел немцев, хотя после смерти отца несколько дней шел по занятым немцами местам.

Ольга Федоровна, которой мальчик приходился родным по крови, относилась к нему хорошо и ровно, старалась получше накормить и всегда, когда среди хлопот по дому вдруг вспоминала о нем, звала его, привлекала к своей полной груди и ласково целовала в голову.

Но только четвертый житель квартиры, домработница Анна Акимовна, сама когда-то еще при царе воспитанная в сиротском доме, одна чувствовала то главное, что было на душе мальчика,— он был сирота! Она не расспрашивала его про немцев, но зато несколько раз, каждый раз одинаково сокрушаясь, заставляла повторять рассказ о том, как его отец эвакуировал лесную школу, в которой к этому времени уже был госпиталь, и как, когда вдруг начался обстрел, на глазах у мальчика отца завалило землей от разорвавшегося совсем близко спаряда, а когда его откопали, оказалось: он уже мертвый. Мальчик уже перестал плакать, рассказывая ей об этом, а она каждый раз все вытирала глаза концом передника и каждый раз одинаково начинала утешать его рассказами о собственной судьбе: что она и вовсе никогда не знала ни отца, ни матери, а все же не пропала, и бог не допустил, и люди не дали...

Чувствуя, что главное в нем то, что он сирота, Анна Акимовна на вторую неделю жизни мальчика у Балакиревых воспрепятствовала, чтобы он, когда не бывало гостей, спал на тахте в столовой, а когда бывали гости — на диване в кабинете.

— Разве это дело? Что он, вещь что ли, перекладывать его туда-сюда?..

Она поставила ему раскладушку и приняла на постоянное жительство к себе в маленькую комнатку при кухне.

Когда сердобольная Ольга Федоровна начинала пичкать Володю то одним, то другим, Анна Акимовна говорила:

— Чего вы ему в рот пихаете, и так уже гладкий!

Ольга Федоровна все хотела, чтобы мальчик отдохнул и поспал, Анна Акимовна, наоборот, все давала ему поручения.

«Давай, Вовка, сходи за хлебом, постой в очереди, ноги не отсохнут», или: «На-ка, покрути кофе», или: «На-ка, покрути мясо...»

Она понимала своим здравым смыслом, что мальчик легче отойдет, если будет занят делом, и, как трудовой человек, не видела причин, зачем мальчишке слоняться по квартире без дела. «Раз ест хозяйский хлеб — пусть работает»,— думала она, ставя его в душе на одну доску с собой и тем самым бессознательно противопоставляя хозяевам.

Школы в Москве были почти все закрыты или эвакуированы, учиться было негде, и мальчик бегал по очередям, крутил мясорубку и кофейную мельницу, точил и чистил ножи и делал еще разные мелкие дела, которые для него всегда находила Анна Акимовна. Ему ставили прибор за общим столом, а когда приходили гости, звали и его, чтобы посидел. Но потом все чаще выходило так, что он то успевал раньше хозяев выпить утром чай на кухне с Анной Акимовной и уйти в очередь, то опаздывал к обеду и обедал с нею вдвоем после того, как она, перемыв посуду, со вкусом садилась у себя на кухне отдохнуть. Постепенно к этому привыкли. Привыкли и к тому, что он по вечерам, рано улегшись, читал на раскладушке в комнате Анны Акимовны, иногда прислушиваясь к разговорам, которые вели рядом, на кухне, Анна Акимовна и Ольга Федоровна. Обе они пришли в дом Василия Васильевича одновременно двадцать восемь лет назад и, когда оставались вдвоем, были скорее полуподругами, чем хозяйкой и домработницей.

Внешне мальчик оправился очень быстро и стал опять выглядеть на свои четырнадцать лет. Но в глазах его осталось что-то такое, чего уже нельзя никогда было из них убрать: лежащий на земле отец с черной головой и вылезшими из орбит глазами, немцы и немецкие машины на шоссе, проселочные дороги с трупами по обочинам, с гулкой, пугающей стрельбой по ночам то спереди, то сзади, с отступающими грязными и усталыми солдатами, сначала грубо спрашивавшими, чей и откуда взялся, а потом совавшими сухарь или кусок хлеба. Раза два по пути в Москву военные говорили ему, чтобы он оставался у них, но он шел и шел, помня слова отца, которые тот

сказал в последний день, когда вдали уже была слышна стрельба:

— Если со мной что случится, добирайся в Москву к тетке. И никого не слушай!

За пять недель жизни в доме Балакиревых у мальчика сложилось свое молчаливое мнение о людях, с которыми он жил.

Василий Васильевич почти все время сидел дома и был добрый человек, но детское сердце чувствовало все равнодушие этой доброты; мальчик хотя и был благодарен Василию Васильевичу, но как-то равнодушно благодарен и выражал свою благодарность только тем, что старался меньше мешать ему, пореже попадаться на глаза.

В противоположность отцу Виктор Васильевич мало бывал дома, и это помогало мальчику прятать свою неприязнь к нему, вспыхнувшую сразу же, во время его первых расспросов. Он расспрашивал о немцах так, что мальчик почувствовал: он очень боится немцев, поэтому, наверное, и не на фронте. А потом, когда два раза были гости, Виктор Васильевич, подвыпив, своим громким, слышным во всех комнатах голосом говорил про немцев, что мы не позднее будущего года сделаем из них отбивную котлету и что не так страшен черт, как его малюют! Он говорил это, а мальчику хотелось сказать: «Не врите, пожалуйста, вы же их боитесь!» — но он, конечно, молчал, как и почти все время, пока жил в этом доме.

Отойдя от первого ужаса воспоминаний, мальчик начал один, сам с собою, думать о том, как ему жить дальше. А недавно, стоя в очереди за хлебом, разговорился с одним парнем, тоже двадцать седьмого года рождения, который шепотом рассказал ему, что работает в механической мастерской, делает там стабилизаторы для мин. И к ним туда можно пойти на работу.

Сегодня Василий Васильевич пригласил мальчика к именинному столу. А Виктор Васильевич, который не хотел, чтобы мальчишка долго околачивался за столом и слушал общие разговоры, сидя рядом с ним, несмотря на недовольный взгляд отца, налил ему в большую рюмку портвейна. Портвейн был вкусный, но после него вдруг захотелось спать. Мальчик тихо вышел из-за стола и побрел на кухню, но раскладушка в комнате Анны Акимовны была сложена, а на месте нее стоял еще один стол, на котором Анна Акимовна закручивала хворост. Он нехотя возвратился в столовую, Василий Васильевич пальцем подозвал его к себе, обнял за плечи и спросил на ухо: «Спать, наверное, хочешь?» Мальчик молча кивнул, и Василий Васильевич так же тихо сказал ему, чтобы он шел в кабинет и лег пока там на диване.

Когда мальчик проснулся от громкого голоса Виктора Васильевича, он сначала не понял, где находится, и только потом сообразил, что лежит в кабинете на диване. У него болела голова, и ему не хотелось двигаться. Из-за приоткрытой двери было слышно почти все, что говорилось в столовой. Ему и раньше этот дом казался чужим, а Василий Васильевич и Виктор Васильевич не похожими ни на отца, ни на тех других людей, которых он раньше привык видеть вокруг себя. Но сейчас он вдруг понял не только из их слов, но и из того тона, которым говорились эти слова, что люди, у которых он теперь жил, как-то не так, как все, относятся к тому, возьмут или не возьмут немцы Москву. Они тоже боялись этого, но как-то по-другому, чем все, чем те люди, разговоры которых мальчик иногда слышал в очередях. Они сейчас даже ни разу не назвали немцев фашистами. Они их не ненавидели, а только боялись.

Мальчик лежал с открытыми глазами и не знал, что ему делать: отец воспитал его, что подслушивать нехорошо, но выйти и сказать, что он не спал и все слышал, тоже было нельзя, он понимал это, и, когда Витенька заглянул в дверь, он закрыл глаза и сделал вид, что спит. Но хотя дверь теперь была закрыта, он все равно почти все слышал. Теперь они говорили про какую-то женщину.

— Раз на пять лет старше тебя, значит, не пара для семейной жизни,— сказал Василий Васильевич.— У нас с матерью пятнадцать лет разницы — и только-только, в самый раз!

— Сам знаю.

— А знаешь, зачем предложил устроить ее в театр?..

— А что мне, жалко, что ли?

— Отступное хочешь дать, а потом вильнуть хвостом?

— Предположим, так!

— Да уж что ж тут предполагать,— сказал Василий Васильевич. Мальчик услышал, как он своей грузной походкой подошел к двери кабинета и прислонился к притолоке.— А как на это посмотрит твоя новая пассия, как-никак обе будут в одном театре?

— Ничего, разберусь,— рассмеялся Виктор Васильевич.

Этот разговор почти не задел сознания мальчика. Он все думал о том, другом, раньше поразившем его разговоре, и только слово «пассия» застряло у него в памяти. «Что такое пассия?» — подумал он. Потом они перестали говорить, наверное, потому, что вошла Ольга Федоровна и спросила, не дать ли им еще чаю.

— Непременно, да покрепче,— сказал Василий Васильевич.

— А мне еще водки,— рассмеявшись, сказал Виктор Васильевич.

— Обойдешься,— сказал Василий Васильевич.— Водка вся, а если и не вся, все равно обойдешься.

Ольга Федоровна вышла, и они заговорили о каком-то докторе Каце, который был у них сегодня.

— Храбрый этот Кац,— сказал Василий Васильевич,— сидит в Москве и по-прежнему лечит людей, а пришли бы вдруг немцы, непременно повесили бы!

— Смелого пуля боится, смелого штык не берет! — сказал Виктор Васильевич и сам себе рассмеялся.

— Нет, Каца мне было бы очень жалко,— сказал Василий Васильевич.— Как-никак тридцать пять лет всю актерскую братию лечит.

— Жалко, а если б вопрос ребром — спрятать, не спрятал бы,— перебил Виктор Васильевич.— Ведь не спрятал бы?

— А может, и спрятал бы,— поколебавшись, сказал Василий Васильевич.

— А вот и не спрятал бы,— все тем же дерзким тоном сказал Виктор Васильевич.

— Не знаю,— сказал Василий Васильевич и вдруг крикнул: — А ты чего подъелдыкиваешь? Разбронировать бы тебя, говнюка, да поздно!

До слуха мальчика донесся звонок в передней. Василий Васильевич и Виктор Васильевич замолчали, а еще через минуту в столовую вошла Ольга Федоровна и сказала:

— Витенька, к тебе гость!

10

Выйдя в переднюю, Витенька увидел там незнакомого полковника-летчика, который, отнекиваясь от предложения Ольги Федоровны раздеться и попить чайку, говорил, что он на минуту, только вручить письмо.

— Витенька, хоть ты уговори товарища, из такой дали, из Мурманска, привез письмо и даже не хочет чаю попить,— со своим обычным радушием говорила Ольга Федоровна, придерживая летчика за рукав так, словно он мог вырваться и убежать.

— Здравствуйте! Полынин,— сказал летчик, протягивая руку Витеньке.— Есть, раз приказано, разденусь! — повернулся он к Ольге Федоровне и, вынув из кармана кожанки письмо и отдав Витеньке, стал раздеваться.

Пока летчик раздевался, Витенька взглянул на письмо. Оно было от Галины Петровны, и на нем стоял обратный адрес: «Мур-

манск, гостиница «Арктика». Летчик, раздевшись, оказался начавшим лысеть красивым блондином, на вид лет тридцати пяти. Судя по орденам, он был человек заслуженный, и Витенька, проводив его в столовую и познакомив с отцом, продолжал приглядываться к нему, недоумевая: если у Галины Петровны что-нибудь было с этим летчиком, чего ради она отправила с ним письмо? А если ничего не было, чего ради он так старается, привез письмо на квартиру глядя на ночь, да еще, как он говорит, только сегодня приехав в Москву.

Полынин, поздоровавшись с Василием Васильевичем и присев к столу в ожидании обещанного чая, в свою очередь, искоса бросал взгляды на Витеньку. Витенька, попросив извинения, сидел в это время за другим концом стола и читал письмо.

То, что Галина Петровна именно его попросила бросить это письмо в Москве, не оставляло в душе Полынина места ни для каких подозрений насчет адресата. Письмо было написано по делу, режиссеру. И Полынин вовсе не из любопытства не бросил его в почтовый ящик, а завез сам. Он добирался от Мурманска до Москвы на редкость неудачно — вместо шести суток тринадцать: семь дней сидел на борту лесовоза, застрявшего во льдах у входа в Северную Двину, злился на собственную задержку и несколько раз вспоминал об этом письме, которое отправили с ним, чтоб оно дошло поскорее.

Явившись прямо с поезда в Управление ВВС, Полынин хотя и не застал уехавшего на ночной доклад начальства, однако все сразу узнал от своих старых корешей: и что его уже сосватали на должность командира полка в дивизии ПВО, и что еще вчера вышел Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. После поздравлений и объятий решили сегодня же ночью выпить по такому случаю там же, в управлении, где кореши Полынина жили сейчас на казарменном положении.

Оставив их заниматься мобилизацией внутренних ресурсов и пообещав вернуться через час, Полынин достал дежурную машину с ночным пропуском и поехал от греха, пока не поздно, отдать письмо. Машина домчала его сюда по ночному пустому городу всего за десять минут, и у него еще оставалось время на то, чтобы выпить чаю.

Он сидел и, коротко отвечая на вопросы Василия Васильевича — что в Мурманске все нормально, правда, гансы летают над городом, но мы им крепенько даем,— сам с удивлением поглядывал на Витеньку. Какой он еще молодой, этот самый режиссер!

Далекому от театральной жизни Полынину казалось, что режиссер — это тот, кто распоряжается всеми артистами, и, значит, наверное, старше их всех. В первый момент, увидев представи-

тельного, седого Василия Васильевича, он подумал, что вышла ошибка, что письмо ему. Но оказалось, что нет — письмо было все-таки этому молодому человеку, который так внимательно читал его сейчас.

Витенька и в самом деле читал письмо Галины Петровны со вниманием и некоторым удивлением, которого, впрочем, не хотел показывать.

Галина Петровна писала свое письмо к нему после больших колебаний. Чувство к Полынину не позволило ей написать это письмо так, как она бы написала его еще две недели назад. Ей была тяжела сама необходимость писать Витеньке. Но не написать этого письма тоже было нельзя, потому что театр оставался театром. Витенька писал об оставленном для нее месте и об обещанной ей роли, и нельзя было швыряться надеждой на то, что она будет работать в театре, в Москве, тем более теперь, когда, по счастливому совпадению, туда, в Москву, перевели и Полынина. Раз Витенька обещал помочь, пусть хоть раз в жизни, на прощание, что-то сделает для нее. А если она, зная в душе, что уже никогда не вернется к Витеньке, все-таки покривит душой, обойдя этот вопрос в письме, то в общем-то Витенька ничего лучшего и не заслуживает!

Так думала Галина Петровна, когда после колебаний и советов с Машей Макаровой написала свое письмо, полное бурной благодарности по поводу ее будущего устройства на работу, а во всем остальном неопределенно-ласковое, не ставящее точки на прошлом, но и ни к чему не обязывающее ее в будущем.

Но как ни важно было для нее это письмо, она бы сто раз сама изорвала его в мелкие клочки, если бы могла хоть на минуту представить, что Полынин не бросит его в почтовый ящик, а пойдей отдавать Витеньке.

Поступок Полынина, сделанный им, исходя из правил, выработанных многими годами верного товарищества, теперь запутал все на свете. Сдержанность письма Галины Петровны, которая в другом случае вряд ли бросилась бы в глаза Витеньке, сейчас из-за прихода этого летчика показалась ему странной. Странными показались ему и любопытные взгляды летчика, хотя на самом деле Полынин, каждый раз снова взглядывая на него, думал о нем всего-навсего: «Такой молодой, а уже режиссер, рано это у них!»

Дочитав письмо, Витенька небрежно сунул его в карман висевшего на стуле пиджака. Ольга Федоровна как раз в это время принесла чай и присела рядом с мужем, и начался разговор, который вывел Витеньку и Полынина из состояния взаимного рассматривания.

В первые минуты разговор вертелся вокруг Галины Петровны. Витенька спросил, как она выглядит, как играет и как чувствует себя там, на севере. Полынин со сдержанностью человека, и не желавшего и не имевшего права никого оповещать о своей любви, однообразно отвечал, что Галина Петровна выглядит хорошо, играет хорошо и чувствует себя тоже хорошо. Когда разговор перешел на других артистов, ездивших в одной фронтовой бригаде с Галиной Петровной, Полынин ограничился столь же содержательными и не слишком разнообразными ответами.

Наконец заговорили о Москве.

— Как вы нашли Москву? — спросил Василий Васильевич.— Как она, так сказать, на свежий глаз?

— Пустовата,— ответил Полынин,— но это по военному времени, пожалуй, неплохо.

— Это неплохо,— сказал Витенька,— плохо было другое; вы бы посмотрели, что тут делалось в октябре, как отсюда драпали некоторые уважаемые граждане! — И Витенька стал довольно красочно живописать события шестнадцатого октября с их и драматическими и смешными подробностями, не пожалев при этом некоторых своих знакомых.

— Так ведь страшно, наверное, было,— вдруг совсем не в тон Витеньке сказал Полынин.— Боялись люди, что немцы придут, вот и спешили уехать.— Он сказал это, вспомнив полученное в Мурманске письмо от матери, брошенное где-то под Горьким. «Ты не обижайся, что я уехала,— писала мать,— сказали, что надо собраться, и я побоялась: если не уеду вместе со всеми — как после найду тебя?»

В ответ на слова Полынина Витенька сказал, что все дело именно в том, кто боялся, а кто не боялся немцев; все дело в том, кто верил и кто не верил в то, что они придут в Москву. Вот они, например, с отцом не боялись немцев, поэтому и не верили, что они придут в Москву, поэтому и не драпали, как некоторые их коллеги, и не жалеют сейчас, что остались здесь!

Говоря все это, Витенька старался чувствовать себя искренним. Как только в нем брала верх мысль, что немцы не возьмут Москву и что война в конце концов будет выиграна, так сейчас же то, что он остался в Москве, начинало казаться ему почти подвигом. «Я оставался в Москве в самые тяжелые ее дни» — на случай, если все будет хорошо, эта готовая фраза лежала у него про запас, как выданный самому себе орден. Если же все будет плохо, какое значение имеет все то, что он говорит сейчас этому летчику, которого, если все будет плохо, и на свете-то к тому времени, наверно, не будет!

— Да, Москва, Москва,— прихлебывая чай, с торжественной неопределенностью сказал Василий Васильевич.— Москва — это... И, не сказав, что «это», он отхлебнул еще глоток чаю.

Его тошнило от Витенькиных забеганий: «Все забегает, все суетится туда, сюда, эх, стукнуть бы его сейчас по затылку!»

На неопределенно значительных словах Василия Васильевича о Москве дверь из кабинета тихонько приоткрылась, и Полынин, сидевший прямо напротив двери, увидел внимательно смотревшие на него оттуда глаза, потом дверь отворилась пошире, и через комнату, стараясь не обращать на себя ничьего внимания, тихонько прошел мальчик лет четырнадцати. Василий Васильевич заметил его, только когда он уже подошел к двери в переднюю.

— Володя,— позвал он,— подожди, куда ты?

Голос у Василия Васильевича был густой и ласковый, но мальчик в дверях вздрогнул.

— Подойди сюда,— сказал Василий Васильевич.

Мальчик медленно подошел к нему.

— Вот, познакомьтесь, товарищ полковник, племянник,— сказал Василий Васильевич, кладя свою широкую добрую руку на плечо Володи,— сирота. Мать потерял еще маленьким, отец погиб от фашистского снаряда. В каждой семье маленькая трагедия, все под богом ходим, хотя не мне и не вам об этом, конечно, говорить.

Полынин пожал холодную, потную руку мальчика, который, наклонив голову, смотрел не на него, а на его ордена.

— Чаю попьешь? — спросила Ольга Федоровна.

— Можно, я пойду? — угрюмо сказал мальчик.

Когда он открыл дверь и увидел полковника-летчика, который сидел с Василием Васильевичем и Виктором Васильевичем, пил с ними чай и улыбался им, ему захотелось сделать что-то такое, чтобы этот летчик знал, что они совсем не такие, какими притворяются перед ним. А когда Василий Васильевич, обняв его, стал говорить про то, как погиб отец и что в каждой семье своя трагедия, мальчик похолодел от отвращения и к этому ласковому голосу, и к этой лежавшей на его плече доброй руке.

«Какая трагедия? — вдруг с уверенностью взрослого, много пережившего человека подумал он.— Какая это для вас трагедия, никакая это для вас не трагедия. Убили моего папу, а для вас это никакая не трагедия, чего вы врете!»

Он чуть не выкрикнул вслух эти слова, но удержался и, сказав вместо них: «Можно, я пойду?» — не дожидаясь ответа, вышел.

— Отца на его глазах убило,— сказал Василий Васильевич, проводив мальчика глазами.— Никак не отойдет...

Через десять минут, спускаясь по темной лестнице с пятого этажа, Полынин услышал за собой быстрый топот шагов, кто-то догнал его и даже с размаху ткнулся ему в бок.

— Товарищ полковник, это я, вы меня в квартире видели,— сказал взволнованный мальчишеский голос.— Можно вас спросить?

— Валяй, спрашивай,— сказал Полынин, подумав, что вопрос будет, наверно, о том же, о чем всегда: нельзя ли пойти в летчики?

— Я хотел вас спросить: чего мне делать? Я тут у них жить не хочу, а больше мне негде,— сказал мальчик.

— А почему не хочешь?

— Не хочу,— не ответив на вопрос, повторил мальчик. Что-то удержало его от ответа. Наверное, то, что он все-таки целый месяц ел хлеб этих людей.— Ну их, я хочу работать пойти.

— Ну и правильно! А почему меня об этом спрашиваешь?

— Может, у вас на аэродроме работа есть, снег чистить или еще чего...

— Навряд ли! У нас на это солдаты имеются,— сказал Полынин, подумав про себя, что парень все же умный — прямо в летчики не просится.— А чего тебе снег чистить? Лучше в райком комсомола сходи, посоветуйся. Ты комсомолец?

— Нет. Меня весной не приняли: двойка по геометрии была.

Полынин в темноте усмехнулся: уж больно все это вышло подовоенному — «двойка по геометрии».

— Все равно сходи. В райкоме скажут, чего тебе делать.

— Я спрашивал тут одного в очереди,— сказал мальчик,— говорит, у них на производстве с четырнадцати лет берут, с общежитием, считается — в ученики, но они там сразу на оборону работают, прямо как рабочие.

— Ну что ж,— одобрительно сказал Полынин.— Я тоже в четырнадцать лет на производство пошел. Только у нас в то время весь рабочий день четыре часа был. Не знаю, как теперь, в войну. Навряд ли.

Они спустились до первого этажа и остановились.

Полынин замялся. Хотел было сказать мальчишке то, что, наверно, полагалось сказать: все же посоветуйся обо всем этом еще и со своими родственниками. Но язык почему-то не повернулся, и вместо того, чтобы объяснять, как маленькому, что надо слушаться старших, сказал от души, как взрослому:

— Только если работать пойдешь — потом уже не качайся! Кто бы ни отговаривал. Раз пошел, значит, все! — И протянул руку: — На, держи!

Уже выйдя в тамбур, Полынин задержался и, прежде чем открыть дверь на улицу, прислушался.

Сидя там, наверху, у этих людей, Полынин не только не противился тому впечатлению, которое они хотели создать о себе, но, напротив, заранее готов был ему поддаться, потому что заранее хотел, чтобы люди, которым он привез письмо от Галины Петровны, были именно такими добрыми и симпатичными, какими они выглядели.

Но в том, как мальчишка вдруг выскочил за ним, и в том, как он хотел уйти от этих своих родственников, хотя и не говорил о них ничего плохого, было что-то неясно-тревожное.

Именно поэтому Полынин остановился и стал слушать: вернется ли сейчас мальчишка обратно в эту квартиру?

Стоял и слушал до тех пор, пока там, наверху, не хлопнула дверь. «Вернулся!»

Но чувство неясной тревоги все равно не прошло. Он вдруг подумал о Галине Петровне с каким-то незнакомым ему раньше чувством боязни за нее. Как будто ее надо было от чего-то защитить. А от чего, неизвестно...

Выйдя на улицу, Полынин открыл дверцу «эмки» и через плечо задремавшего водителя нажал на гудок.

Водитель очумело схватился за руль и только потом повернул голову к Полынину.

— В управление?

— Нет, давай сперва на Центральный телеграф,— сказал Полынин, впервые за последний час вспомнив о самом себе и о том, что он со вчерашнего дня — Герой Советского Союза.— Надо мамаше телеграмму отбить!

11

Днем тридцатого декабря, задержавшись на Карельском фронте дольше, чем думала, Галина Петровна вышла на перрон Ярославского вокзала. Остальная бригада, пробыв четыре месяца на Карельском фронте, добралась до Москвы еще десять дней назад, а Галина Петровна, захворав в конце поездки в Беломорске воспалением легких, пролежала там две недели в госпитале. Товарищи по бригаде решили, что кого-то надо оставить в больнице; Маша Макарова самоотверженно вызвалась на это, и теперь они обе еле поспели в Москву к Новому году.

Поездка была долгая: сначала двое суток по новой, только недавно проложенной одноколейной ветке, лесами, огибавшими все Белое море, потом, после пересадки в ста километрах южнее Архангельска, еще четверо суток — через Вологду до Москвы. Политуправление фронта снабдило обеих женщин на дорогу хорошим пайком, но они по своей доброте и безалаберности, с помощью

соседей, истратили этот паек раньше, чем доехали до Москвы, и последние двое суток им пришлось поститься.

Впрочем, они стыдились не только говорить, но и думать об этом после зрелища, которое увидели за двое суток до Москвы на вологодском вокзале, где был промежуточный пункт для эвакуированных из Ленинграда женщин и детей...

Горькая дорога военного времени — забитые людьми станции, обледенелые будки с очередями за кипятком, обледенелые платформы, инвалиды, раненые, плачущие, по много суток ждущие поездов женщины с детьми — все это вместе взятое выглядело такой бедой, которую неизвестно когда расхлебаем.

Единственное, что скрашивало дорогу и про что, стараясь не думать ни о чем другом, говорили Галина Петровна с Машей Макаровой и другие люди вокруг них,— были хорошие военные новости. Начиная с двенадцатого декабря, после первого сообщения о нашем начавшемся под Москвой наступлении, в сводках всякий день появлялись названия отбитых у фашистов городов и сел. После того как сначала появились сообщения об освобождении Тихвина и Ростова, а потом о победе под Москвой, души людей охватило совсем другое, новое настроение. Война уже отучила их от легковерия. Тех безумных надежд, которые вспыхивали в первые дни войны от каждого слуха о каком-нибудь нашем успехе, уже не рождалось. Что война будет короткой, уже никто не думал, хотя почти никто еще не представлял себе, какой она будет долгой. Но наши под Москвой гнали и гнали на запад фашистов; и в душах двух ехавших в Москву женщин это занимало такое большое место, какого в прежние годы их жизни, пожалуй, никогда и ничто еще не занимало. Они были полны этим и чувствовали себя почти счастливыми, хотя в их собственной жизни как раз за последнее время ничего хорошего не было и, кажется, не предвиделось.

Маша Макарова получила в Беломорске известие, что на фронте убит ее брат, артиллерийский капитан. Галина Петровна, которая написала два письма Полынину,— не потому что задерживалась, а потому что ей очень захотелось их написать,— и отправила оба по тому перепутанному адресу, который дала ей Маша Макарова, так ни строчки и не получила в ответ.

Перед отъездом бригады из Мурманска на другие участки фронта — в Кандалакшу и Беломорск — Галина Петровна упросила дежурную гостиницы «Арктика», если ей придет какое-нибудь письмо, переслать его в Беломорск на адрес политуправления фронта. В Кандалакше она прочла в газете фамилию Полынина в списке новых Героев Советского Союза и послала ему в тот же

вечер третье письмо, самое короткое из всех, но такое, на которое, как ей самой казалось, просто нельзя было не ответить.

Однако, добравшись до Беломорска, она, вопреки надеждам, не застала там ни одного ответа. И заболев, и лежа в госпитале, тоже ничего не получила. Только напрасно несколько раз посылала Машу Макарову узнавать в политуправлении. Уже перед самой выпиской из госпиталя она решилась и спросила о Полынине лежавшего там же в госпитале с переломом ноги полковника, начальника штаба авиадивизии.

— Кем, точно не знаю, но слыхал — воюет под Москвой. Жив, ничего с ним не случилось. Уж про кого, про кого, а про своего-то, про Полынина, мы бы здесь знали, если б погиб! — как умел, успокоил Галину Петровну полковник.

Ни пока была здорова, ни когда болела, ни сейчас, когда она подъезжала к Москве, Галина Петровна все не могла отвязаться от поразившей и даже испугавшей ее, не сразу, а уже потом, задним числом, фразы Грицко: «Несколько раз надумывал, а потом все же отдумывал...» Что Полынин надумал, это она знала, это он сам сказал ей перед своим отъездом там, в Мурманске, в холодном фойе театра. А вот не отдумал ли?..

Их быстро возникшие и еще быстрей оборвавшиеся отношения с Полыниным в разные минуты представлялись ей в разном свете: то она верила, что сказала ему святую правду и что любит его, то ей начинало казаться, что все это была просто влюбленность, которая при всей своей силе вдруг, как снежный ком, возьмет и растает,— она хорошо знала, как это у нее бывает.

Но одно ощущение все время не покидало ее — ее стало тяготить то, что раньше тяготило очень редко: ей стали неприятны ухаживания мужчин, любые, чьи бы то ни было! Теперь она с усилием делала то, что раньше выходило само, без всякого усилия: кокетничала, чтобы им с Машей Макаровой дали получше комнату, или строила глазки, когда требовалось, чтобы им пошли навстречу в каких-нибудь житейских мелочах. Это новое для нее чувство было устойчивым, и чем резче она испытывала его, тем уверенней в эти минуты думала, что действительно любит Полынина.

А мысль, что он отдумал, не она, а именно он сам отдумал, казалась ей ужасно обидной и несправедливой. Она хорошо представляла себе, как ее жизнь, если он отдумал, быстро возвратится на круги своя, как будет опять все то же, что было,— будет Витенька и будет многое другое, к чему, как она безрадостно знала, она все равно вернется, если Полынин отдумал...

На перроне было совсем мало встречающих — первый признак того безлюдья зимы сорок первого года, которое с такой силой бро-

салось в глаза всем, кто уехал из Москвы летом или в начале осени, а возвращался сейчас.

Маша Макарова была одна из немногих, кого встречали. Ее встречал отец — высокий пожилой полковник, еще с довоенного времени служивший в московской комендатуре, человек с такой неестественно железной выправкой и рубленным из камня лицом, что, когда он прижал к себе дочь и из глаз его покатились слезы, это показалось Галине Петровне чем-то почти невозможным и даже страшным. Он плакал, обнимая одетую в полушубок и ушанку нелюбимую и даже когда-то выставленную из дому дочь, плакал потому, что у него был убит любимый сын, и эта дочь теперь оставалась у него одна, и она была в военной форме, которую он никогда не думал увидеть на ней.

Потом Машу Макарову обнимала мать — маленькая, курносая, всхлипывающая и как две капли воды похожая на очень постаревшую Машу, а справившийся со слезами полковник, сухо представившись, спрашивал у Галины Петровны, есть ли у нее вещи, кроме этого чемодана и рюкзака, и куда ее надо доставить с вокзала. Потом все сели в машину, сначала доехали до квартиры Машиного отца, в которой Маша Макарова давно уже не жила, но куда теперь приехала жить. Все остальные вылезли, а Галина Петровна вдвоем с водителем поехала дальше, к себе на Бронную.

Выполняя приказание своего полковника, водитель взял рюкзак и чемодан Галины Петровны и поднялся за нею на третий этаж. Круглое окно под самой крышей над полутемной лестничной клеткой было разбито, и на лестнице лежал снег.

На верхнем, третьем этаже комендантский водитель поставил вещи Галины Петровны и спросил у нее, как у начальника:

— Могу быть свободным?

Она поблагодарила и сунула ключ в английский замок. Но дверь не открывалась: была закрыта еще на один замок, которого прежде не было.

Она долго стучала в дверь, уже начиная жалеть, что раньше времени отпустила водителя.

Наконец кто-то загромыхал сапогами, и дверь открыла соседка Галины Петровны — Кузьмичева, жена машиниста с Казанской дороги. Ее и раньше некрасивое и немолодое лицо сейчас совсем похудело и постарело. Она была в сапогах и в мужниной черной форменной шинели. В руках у нее была кошелка.

— Здравствуй, Галя,— сказала она так, словно они только вчера виделись.— Ключ твой от комнаты за счетчик засунутый. Хорошо, ты меня застала, а то бы стояла до ночи. В квартире-то теперь никого нет, а я во вторую смену заступаю. Ну, пошла, опаздываю уже...

Она коротко ткнулась губами в щеку Галины Петровны, прошла мимо нее через все еще открытую настежь дверь и стала спускаться по лестнице, прежде чем Галина Петровна что-нибудь успела спросить у нее.

— Моего-то бомбой убило,— вдруг остановившись на первой площадке, повернулась она к Галине Петровне, всхлипнула и, гремя сапогами, быстро пошла вниз.

И после этих ее слов Галина Петровна не посмела крикнуть ей вдогонку, спросить, не звонил ли без нее сюда человек по фамилии Полынин.

«Наверное, не звонил. Раз не писал, значит, и не звонил,— подумала она, прикрывая изнутри дверь, подумала вдруг почти с уверенностью.— У всех людей плохо, почему же у меня будет хорошо, наверное, и у меня нехорошо».

Она достала ключ из-за счетчика и открыла свою комнату. В комнате все было так, как она оставила. Опустив на пол вещи, Галина Петровна зябко повела плечами и села на краешек стоявшей у дверей тахты. В комнате было почти так же холодно, как на улице, только ниоткуда не дуло. Какая же она была неуютная сейчас, эта комната, в которой Галина Петровна прожила все последние годы: длинная и узкая, как гроб, метр три четверти поперек и целых пять в длину, с маленьким окном, выходящим во двор, прямо в глухую стену,— комната для прислуги в большой дореволюционной барской квартире.

Сейчас, в этой ледяной комнате, Галине Петровне казались жалкими до слез все ее прежние довоенные попытки создать здесь видимость уюта. Коврик над тахтой, несколько ее фотографий в ролях, бедненький трельяж с пустыми флаконами, оборвавшийся и висевший на одной проволоке под потолком абажур из когда-то понравившейся ей, пестро раскрашенной, а сейчас выцветшей вощеной бумаги; шкафчик, в котором лежали рваные туфли и другие ненужные, но невыброшенные вещи, выгнувшаяся от времени, прикрепленная под самым потолком палка с пыльной занавеской — убогая попытка сделать из этой комнаты две. Все это так печально и неуютно, так подчеркивало всю меру ее одиночества, что она на секунду пожалела, что не послушалась Машу Макарову, робко шепнувшую ей на перроне: «А может, поедешь к нам?»

Но нет, об этом жалеть нельзя! Маша сейчас не у себя дома, а у отца, и они, наверное, втроем, с отцом и матерью, говорят о погибшем брате, и она, посторонний человек, именно сейчас совсем ни к чему всем им троим, даже Маше.

За окном было серо, уже начинало смеркаться. Галина Петровна встала и щелкнула выключателем — лампочка не горела. «Может, вообще нет света?» — подумала она и вышла в коридор.

Но свет был! В коридоре под потолком зажглась маленькая лампочка, и Галина Петровна увидела висевший на стене, там, где он висел всегда, телефон. «Может быть, не работает?» — подумала она.

— Станция,— далеким голосом сказала телефонистка, когда Галина Петровна сняла трубку.

Галина Петровна подержала трубку в руке и снова повесила на рычаг. Да, телефон работал, а Полынин не звонил по нему. Сейчас она почему-то была уверена в этом.

Все еще не раздеваясь — да и зачем было раздеваться, когда так холодно,— она прислонилась спиною к стене около телефона и несколько минут стояла так, думая о том, что вот она спешила в Москву, спешила так, что, когда поезд простоял два часа на последней остановке, ей показалось, что она готова пойти пешком. А зачем спешила? Ну вот, приехала, вот она дома, ну и что? Она почувствовала, что просто не может сейчас остаться здесь одна в этот день, в этой квартире, что ей надо что-то делать, сейчас же что-то делать! Она снова взяла трубку и позвонила двум товарищам по фронтовой бригаде, телефоны которых помнила наизусть. Один телефон не ответил, а по другому женский голос сказал, что Валентина Петровича нет: уехал с концертами на фронт.

— А кто это его спрашивает? — В женском голосе послышалась ревнивая нотка.

«Ну и дура»,— не ответив, повесила трубку Галина Петровна, вспомнив, как этот Валентин Петрович говорил о своей жене: «моя тигрица».

Услышав, что Валентин Петрович поехал на фронт с концертами, она вспомнила о своем письме, которое, наверно, все-таки дошло до Витеньки.

Ну, пусть Полынин не отвечает на ее письма и не звонит, но письмо-то он все-таки мог бросить в ящик, раз обещал это Маше Макаровой?

Галине Петровне не хотелось звонить Витеньке домой, но, как позвонить в театр, она не знала. Судя по двум газетным заметкам, которые она прочла еще в госпитале, этот театр уже начал играть, но где он играет, в каком помещении и как и кому туда позвонить и что при этом сказать, она не знала. Все равно без помощи Витеньки тут не обойдешься, да она как раз и думала о его помощи, когда писала ему свое письмо.

Правда, она тогда думала, что, приехав, встретит Полынина и будет вместе с ним и тогда эта опасная в другое время Витенькина помощь станет для нее нестрашной.

Но теперь она приехала и была одна. А звонить все равно надо. И ничего другого не оставалось делать.

Она сняла трубку и назвала номер телефона Витенькиной квартиры.

— Слушаю,— певуче сказала в телефон Ольга Федоровна, Витенькина мать.

— Здравствуйте, это говорит Галина. Витенька дома?

— А... Галина, вернулись... А мы как раз недавно вспоминали о вас,— сказала Ольга Федоровна.— Витеньки нет, он в театре, теперь спектакли из-за бомбежек в два часа начинают, сразу после репетиций, он дома только к восьми часам будет.

— А как туда позвонить, в театр? — спросила Галина Петровна.

— Не знаю, милая, может быть, вы просто туда к нему подъедете, он рад вам будет...— И в ответ на вопрос Галины Петровны Ольга Федоровна объяснила, в каком помещении играет театр.

Этот терпеливо-ласковый тон, с которым Ольга Федоровна говорила с нею, напомнил Галине Петровне о ее былых посещениях дома Балакиревых, в особенности об утренних завтраках, когда она, заночевав у Витеньки, пила утром чай вместе с ним и Ольгой Федоровной. Ольга Федоровна обращалась с нею как с полусвоей-получужой, вполне терпимой в их доме, пока это устраивает Витеньку, и ровно никому не нужной, как только это перестанет его устраивать.

От этих воспоминаний Галине Петровне стало тоскливо почти до тошноты, но она уже закусила удила, решив теперь же идти в театр и во что бы то ни стало именно там, в театре, увидеть Витеньку. Она пыталась уверить себя в том, в чем вовсе не была уверена до конца: что она просто придет в театр и что Витенька просто сделает все, как обещал. А больше ничего из того, что у них было, не будет и не должно быть.

На секунду заколебавшись, как быть с дверью, потому что ключа от нового внутреннего замка соседка ей не оставила, Галина Петровна махнула рукой: да что и кому, в самом деле, нужно в этой пустой квартире? — захлопнула дверь на английский замок и вышла.

12

Она добралась до театра уже в темноте. Еще шагов за сто до театра по обеим сторонам темной улицы у тротуаров стояли военные грузовики. Кончался последний акт. Капельдинерша в пальто и валенках, стоявшая у дверей в зал, когда Галина Петровна сказала ей, что она актриса и пришла к товарищу Балакиреву, ответила, что он сейчас сидит в зале, и, тихонько приоткрыв дверь, пропустила ее, просунув вслед за ней стул.

В зале было холодно, не так, как в фойе, но все-таки холодно. Зрители, почти все военные, сидели без шапок, но в шинелях и полушубках, над рядами поднимался пар от их дыхания. На сцене шла «Бесприданница», и, глядя на Ларису в белом платье, с кисейными рукавами, сквозь которые просвечивали голые плечи, Галина Петровна даже поежилась и обняла себя за плечи руками. На сцене было, наверное, очень холодно, холодно, как на улице. И что такое эти голые руки, и эти красные пальцы, и необходимость играть, забывая о том, как тебе холодно, и заставляя забыть об этом зрителей, сидевших в зале в полушубках и шинелях,— это могла понять только актриса. И Галина Петровна понимала это и с восхищением, смешанным с завистью, думала об этой двигавшейся по сцене Ларисе, которую играла актриса, раньше никогда ей не нравившаяся, а сейчас здесь, в этом зале, на этом спектакле показавшаяся ей до слез хорошей.

Зал слушал молча и напряженно. Далекая, отделенная больше чем полувеком драма женской души, и непоправимость случившегося, и неизбежность гибели — все, абсолютно все с какой-то удивительной силой и прямотой действовало на этих сидевших в холодном зале людей в шинелях и полушубках зимы сорок первого года.

Когда акт кончился и актеры вышли перед занавесом кланяться, держась за руки, зал долго стоял и аплодировал им, не спеша одеваться, потому что одеваться было не нужно. Кажется, только сейчас, когда спектакль был уже сыгран, находившиеся в зале люди до конца поняли, как холодно было играть актерам, и, помимо всего остального, благодарили их еще и за это.

Галина Петровна тоже долго стояла и хлопала, пока не заболели руки. Когда занавес закрылся в последний раз и зрители стали расходиться, она увидела Витеньку. Витенька был в галифе, светло-серой габардиновой гимнастерке без петлиц и надетой поверх нее меховой безрукавке. Он шел, придерживая под руку маленького генерала с густыми черными усами. Они должны были пройти мимо Галины Петровны, она стояла и ждала. Уже почти рядом с нею Витенька повернулся, метнулся к ней от генерала, поцеловал руку, снова метнулся к генералу и, помахав ей рукой, крикнул, чтобы она подождала его здесь же, у выхода из зала, сейчас он вернется.

Витенька вышел с генералом в фойе, а Галина Петровна осталась стоять у дверей и стояла долго, минут десять, пока не разошлись почти все зрители.

— Золотой человек,— наконец вынырнув откуда-то и снова целуя ей руку, веселым голосом сказал Витенька, и Галина Петровна поняла, что эти слова относятся к генералу, которого он

придерживал под руку.— Из Управления тыла, обещал нам хоть немного угольку подкинуть. А то видишь, какой мороз,— зуб на зуб у артистов не попадает. Все о вас забочусь! — Витенька улыбнулся.— Значит, все-таки прибыла...

— Ты получил мое письмо?

— А как же, с доставкой на дом,— усмехнулся Витенька.

Галина Петровна хотела спросить, что значит с доставкой на дом, но не решилась.

— Вот мы с тобой и военные люди...— сказал Витенька, с удовольствием оглядывая ее с ног до головы и продолжая улыбаться.

— А разве ты...— Галина Петровна не успела договорить: «в армии», Витенька перебил ее:

— Пока не забирают. Нужен тут. Но по военному времени в этом удобнее. Уже привык...— сказал он и с таким же удовольствием, с каким до этого оглядывал Галину Петровну, оглядел самого себя.— А что, не идет мне?

— Идет.

— Ну что ж, прежде всего сходим к худруку. Когда ты приехала?

— Сегодня.

— Пойдем, а то он исчезнет. Я уже все устроил, сейчас сможешь убедиться.

Они пересекли фойе и вошли в маленькую комнату около администраторской. Там без шапки, в шубе с поднятым воротником и в видневшейся из-под нее телогрейке, такой же, как у Витеньки, стоял высокий, худой человек с копной седеющих волос и, пагнувшись над электрической плиткой, зябко потирал руки.

— Зрители согреваются, когда хлопают,— сказал он, когда Витенька представил ему Галину Петровну,— а я вот мерзну... Похлопал бы тоже, да не хочется, и Карандышев и Лариса сегодня хуже, чем на прошлых спектаклях.

Галина Петровна возразила: ей, наоборот, показалось, что все актеры до одного прекрасно играют.

— Да ну? — Худрук, продолжая потирать руки над плиткой, вскинул на нее глаза.

— Значит, все превосходно играют?..— Он рассмеялся, и на его живом, насмешливом лице забегали веселые морщинки.— Просто вы их жалеете, понимаете, как им холодно, и жалеете... Как с углем, обещают? — обратился он к Витеньке.

— Обещают.

— Это хорошо,— сказал худрук.— На сцене все забывают! А потом ночью дома болеют. А потом днем все равно опять играют! А как иначе? Для чего мы тогда здесь? Да и как можно иначе,

когда такой зал! Видели сегодня наш зал? — вдруг спросил он Галину Петровну.

— Видела.

— На каждый спектакль иногда треть, а иногда половина зала приезжает прямо из действующей армии. И даже неизвестно, как перед ними надо играть. Наверное, гениально. Во всяком случае, надо, играя, нести в себе чувство этой необходимости. Одна наша актриса после спектакля так и выпалила мне: «По-моему, я сегодня гениально сыграла!» А я даже не рассмеялся. Понял, что, наверно, прочла это со сцены в чьих-то глазах, уходивших после спектакля обратно на фронт. И, значит, для кого-то из них действительно сыграла гениально. Пусть даже для одного человека. Все равно! А вообще-то играем мы пока средне,— словно сам услышав свой высокий дрогнувший голос и застеснявшись его, снова прежним насмешливым тоном добавил худрук.— Единственный среди нас гений — Виктор Васильевич...— Он хлопнул Витеньку по плечу.— Если б не он, пропали бы. Все достает, все делает! Даже пришлось с болью душевной совсем оторвать его от творческой работы...

В глазах у худрука блеснула насмешливая искорка.

— Зато все остальные творят благодаря тому, что он у нас административный гений! Как там, будет машина домой доехать? — поежившись под шубой, повернулся он к Витеньке.

— Есть,— сказал Витенька.— А с первого января вообще закрепляют за нами одну машину.

— Ну вот, я же говорю — гений, обыкновенный гений! — снова весело потирая над плиткой руки, сказал худрук.— Значит, были на Карельском фронте, вернулись в Москву и хотите у нас играть? — спросил он Галину Петровну, собственно, не спросил, а как бы наложил резолюцию на ее прошлом, настоящем и будущем.

Галина Петровна взволнованно ответила, что будет счастлива играть у них в театре, что за этим и приехала.

— Вот и хорошо,— быстро сказал худрук, и его веселое маленькое личико под копною седых волос снова хитро, по-лисьи сморщилось.— Скажите спасибо Виктору Васильевичу, он тут заочно стоял за вас горою! После Нового года сразу начнем репетиции, возобновляем...— Он назвал нашумевшую перед войной пьесу.— Будете репетировать героиню, но во втором составе — тут уж не будьте в претензии.

Галина Петровна искренне ответила, что она ни о чем другом и не смела думать. Ей и так весь этот разговор казался счастливым сном.

— Порепетируете, а спектаклей через восемь — десять сыграете, раньше не выйдет! А то, сами знаете, премьерши — суще-

ства ревнивые, тем более когда молодость не на их стороне.— Он насмешливо поклонился Галине Петровне, давая понять, что хотя разговаривает с нею не вполне всерьез, но при этом отдает должное ее внешности.— Так я поеду,— наконец, отрывая руки от плитки, сказал он Витеньке,— если машина есть вашими молитвами...

— Вы прямо домой? — спросил Витенька.

— Да, а что?

— Если не трудно, пришлите ее нам обратно,— сказал Витенька, кивнув на Галину Петровну.

— Через десять минут верну,— сказал худрук и, взяв своей горячей от плитки рукой руку Галины Петровны, любезно прижал ее к губам.— До будущего года!

Он ушел, а Витенька, попросив Галину Петровну еще подождать его минут десять здесь, побежал доделывать какие-то свои необходимые театральные дела. Галина Петровна стояла одна в маленькой комнатке, грея над плиткой руки так же, как за минуту до этого их грел худрук, и думая о том, как все теперь будет: как она пойдет в первый раз на репетицию, кто еще будет играть и как вообще все получится у нее в этом театре, может быть, наконец, хорошо, не так, как раньше! Два или три раза дверь приоткрывали незнакомые ей люди, оглядывали комнату и, увидев, что здесь нет никого, кроме нее, снова закрывали дверь.

«А куда же я сейчас поеду? — подумала она.— Домой?» Но там у нее в рюкзаке даже ничего не осталось поесть. На той станции, уже перед самой Москвой, где они простояли два часа, они с Машей Макаровой сгрызли пополам последний сухарь. Или, может, все-таки попросить Витеньку отвезти ее к Маше?

Так думала она, в то же время предчувствуя, что Витенька пригласит ее сейчас к себе домой и что она не решится отказаться. Да ей будет и невозможно объяснить ему, почему сейчас, после того, как он сделал для нее все, что обещал, она вдруг откажется заехать к нему. «Заеду, а потом уеду, непременно уеду»,— неуверенно подумала она.

Вернувшись, Витенька поспешно надел висевший на стене полушубок и ушанку и, как она и думала, предложил заехать к нему. И она молча кивнула.

13

Анна Акимовна, открыв им дверь, буркнула Галине Петровне угрюмое «здравствуйте» и ушла к себе. Она недолюбливала Галину Петровну за неопределенность ее положения в доме Балакиревых.

«Не то жена, не то так себе, приходящая»,— говорила она про Галину Петровну и недовольно пожимала плечами. Она не любила неопределенности.

Василия Васильевича и Ольги Федоровны не было дома. На обеденном столе стояли графинчик с водкой, бутылка портвейна «Три семерки» и два прибора. Очевидно, Витенька среди всех своих театральных дел успел предупредить по телефону, что придет не один.

— Мама и папа, увы, не могут тебя приветствовать,— сказал Витенька, снимая с Галины Петровны полушубок и нетерпеливо и с удовольствием оглядывая ее с головы до ног.— Пошли на юбилей к Кацу — знаешь, ухо, горло и нос? И вернутся, наверно, поздно. Пасся у нас тут одно время мой двоюродный братец, но, слава богу, съехал в общежитие. Так что практически мы с тобой одни. Надеюсь, ты не огорчена этим?

Галина Петровна пожала плечами. Она была рада, что в доме почти тепло, не то что там, в ее комнате, и сейчас думала об этом.

— Что задумалась?

— Нет, ничего...

Они сели за стол. Анна Акимовна принесла селедку и кастрюльку с горячей картошкой, ткнула их посреди скатерти, повернулась и вышла.

— Генеральский портвейн,— сказал Витенька.— Почему-то как только генерал хочет угостить даму, так непременно эти «Три семерки». Не замечала?

— Не замечала,— сказала Галина Петровна.— Там, на севере, только спирт и водка.

— Может, водки хочешь?

— Все равно.

— Слушай, кто этот летчик,— спросил Витенька, когда они выпили по рюмке водки,— который принес мне письмо от тебя?

— Какой летчик? — подняв на него глаза, спросила Галина Петровна, все еще бессмысленно надеясь, что вдруг письмо Витеньке принес не сам Полынин, а какой-нибудь его товарищ, которого он об этом попросил.

— Полковник... не запомнил его фамилии, такой среднего роста, довольно красивый и много орденов.

— А-а...— сказала Галина Петровна, с великим трудом овладевая собой.— Их сразу несколько ехало, я их всех вместе просила бросить в Москве в ящик. Я не просила относить, это они сами. Это командир их полка...— Что-то удержало ее от того, чтобы назвать фамилию Полынина.

— Красивый малый,— сказал Витенька,— только рано лысеть начал, единственное, что его портит...

Он внимательно взглянул на Галину Петровну, но Галина Петровна была настороже, ее лицо ничего не выразило.

«Может, и правда у нее ничего не было с этим летчиком,— подумал Витенька,— а может, и было». Несмотря на ничего не выражавшее лицо Галины Петровны, он считал, что и то и другое одинаково возможно.

— Я так и подумал,— сказал он вслух,— что это ничего не представляющее для тебя фронтовое знакомство. Так что не стал перед ним скрываться, сказал, если вдруг возникнет настроение увидеть тебя и меня и выпить рюмку водки, пусть заходит! Хотелось как-то отблагодарить за то, что сам принес письмо, все-таки очень внимательно с его стороны.

Если бы Витенька знал истину об отношении Галины Петровны к Полынину и мог бы представить себе всю тяжесть удара, который он нанес ей своей ложью, он бы обязательно нанес ей этот удар. Не потому, что был ревнив, а потому, что чувствовал себя свободней, когда связывал женщину каким-нибудь трудным для нее воспоминанием. Но сейчас, как это нередко с ним бывало, он солгал в общем-то почти бесцельно, разве чтобы лишний раз напомнить ей, что он рассчитывает на прежнее, на то, чтобы оставить ее у себя до утра. И, мимоходом солгав и наливая в это время по второй рюмке водки, даже не взглянул на Галину Петровну и не заметил, как она вздрогнула и побледнела.

«Вот все и кончено с Полыниным,—думала Галина Петровна, глядя прямо перед собой затуманившимися глазами и видя быстро мелькавшие Витенькины руки, сначала наливавшие водку, а потом клавшие себе и ей на тарелки куски селедки и картофелины.— Вот все и кончено»,— продолжала думать она, понимая, что это именно так и что с таким человеком, как Полынин, никак иначе и не может быть после того, как она так по-дурацки послала с ним это письмо, а он зачем-то пришел сюда сам, а Витенька, что-то заподозрив, а может, и ничего не заподозрив, просто из мужского тщеславия, поспешил дать ему понять, что не только жил, но и будет жить с нею.

Вопрос, который она не успела сегодня задать своей соседке: не звонил ли ей человек по имени Полынин,— теперь уже стал бессмысленным. Конечно, не звонил, как он мог звонить ей после этого! Не звонил и никогда не позвонит. И его слова там, в Мурманске: «Приезжай и выходи за меня замуж» — были последние, которые она от него услышала и услышит. Он уже никогда и ничего больше не скажет ей, даже если б она вдруг встретила его... Она даже вздрогнула при мысли, что может встретить теперь Полынина. Нет, лучше не встречать!

— Что с тобой? — поднимая голову и увидев, как Галина Петровна передернула плечами, спросил Витенька.

— Все-таки холодно, даже здесь холодно,— сказала Галина Петровна.

— Сейчас. — Витенька, вскочив из-за стола, быстро прошел в кабинет отца, принес оттуда пиджак и накинул на плечи Галине Петровне. Это был большой, широкий пиджак Василия Васильевича, из бокового карманчика торчал платочек, а от лацканов пахло духами.

— Хорошо, что не струсил в октябре,— наливая себе третью рюмку водки, говорил Витенька, теперь уже вполне уверенный, что Галина Петровна останется у него, и поэтому занятый сейчас собою больше, чем ею. — Теперь вот помогаю разворачивать театр, пока единственный в Москве. Насчет гения, конечно, смешно, но что они без меня как без рук — верно!

Он был очень доволен собой и в особенности тем, что все устроил, как обещал Галине Петровне,— в прошлом это далеко не всегда у него выходило.

Говоря Галине Петровне о том, как хорошо, что он не струсил и остался, сейчас, в эту минуту, он говорил почти правду. После того как немцев погнали от Москвы и его собственные дела именно из-за того, что он остался в Москве, пошли в гору, он все чаще радостно уверял не только других, но и самого себя в собственном уме и храбрости.

Он говорил, а Галина Петровна отупело слушала его и безучастно ела, от времени до времени чокаясь с ним и каждый раз, когда он наливал ей рюмку, безропотно и равнодушно выпивая водку, как лекарство.

Анна Акимовна принесла им по чашке кофе и снова ушла, на этот раз, наверно, окончательно.

— Ну, что будем делать? — сказал Витенька, отвалясь на кресле. Он-то знал, что они теперь будут делать, но не хотел показаться ей слишком торопливым.

— Могу поехать домой,— безучастно сказала Галина Петровна. Домой ей сейчас не хотелось так же, как не хотелось и оставаться здесь. Ей вообще ничего не хотелось, она чувствовала себя глубоко несчастной, такой несчастной, как никогда в жизни.

— Да ты просто сумасшедшая,— весело сказал Витенька. — Куда домой, зачем домой, и потом — как домой? У тебя даже нет ночного пропуска, ты просто-напросто не попадешь домой!

Она вздохнула и посмотрела на него так же безропотно и равнодушно, как до этого пила водку.

От дома, где жили Балакиревы, до дома, где жила Галина Петровна, было полчаса ходьбы. В восьмом часу утра, когда Галина Петровна шла к себе домой, на улицах по зимнему времени было еще совсем темно. На остановке у Никитских ворот толпы людей ждали трамваев, шедших в сторону Красной Пресни; среди ехавших на работу было особенно много женщин и подростков. Разминаясь на холоду в ожидании трамваев, подростки тут же на тротуаре и мостовой боролись, прыгали на одной ножке и толкали друг друга в неубранные сугробы.

Среди всей этой утренней жизни Галина Петровна шла как мертвая, оглушенно, не слыша ни звонков трамваев, ни разговоров, ни криков и почти не замечая, как ее толкали обгонявшие или бежавшие ей навстречу, спешившие на работу люди. Она не сомкнула глаз ночью и, оставив спящего Витеньку, встала утром так тихо, чтобы ее никто не слышал, и так рано, чтобы еще никто другой не успел встать в квартире Балакиревых и она не оказалась бы перед необходимостью с кем-нибудь здороваться или говорить. Однако как ни рано она встала, Анна Акимовна у себя на кухне поднялась еще раньше ее.

Когда Галина Петровна, даже не став умываться, уже одетая, на цыпочках вышла из Витенькиной комнаты в переднюю, она услышала доносившееся с кухни громкое ворчание.

Анна Акимовна по утрам, пока все спали, любила поговорить сама с собой о том, что ей особенно не понравилось накануне.

— Разве это дело,— говорила она, пока Галина Петровна доставала в передней на вешалке свой полушубок и поспешно, не попадая в рукава, надевала его, предчувствуя, что услышит сейчас что-то, чего ей лучше не слышать,— разве это годится? Приходють, ночують, сегодня та, завтра эта, куда это годится, где это записано, в каком писании...

Не помня себя, Галина Петровна схватила в руки ушанку и, не успев надеть ее, открыла замок и выбежала на лестничную площадку.

Теперь она шла по городу, а в ушах у нее все еще стояло: «приходють, ночують...» — не потому, что она воображала, будто Витенька живет как-то по-другому, чем он жил на самом деле, а просто от этих слов Анны Акимовны она была противна сама себе. То, о чем она вчера вечером думала как о неизбежном и безразличном, то, что потом, ночью, даже неожиданно для нее, оказалось до такой степени бездарным и ненужным, сейчас, утром, представлялось ей стыдным и страшным.

Ну да, та, другая жизнь, которая там, на севере, казалось, мелькнула перед нею, не вышла и не выйдет. Но если та жизнь не вышла и не выйдет, почему же все-таки вместо нее непременно должна быть эта жизнь? Неужели нельзя хотя бы какое-то время быть просто одной? Самой по себе?

Сейчас, утром, когда люди вокруг нее спешили на работу и город был полон суровой действительности, ей казалось, что да, можно! Можно и нужно!

Так думала она сейчас, идя утром домой. Но что она будет думать там, у себя дома, не утром, а вечером, в четырех стенах, одна, без матери и отца, без детей и мужа, без обязательств перед кем бы то ни было хранить себя для чего-то или для кого-то, а просто с ночною тоскою одинокой и в общем мало кому нужной женщины, в одинокой, пустой и холодной комнате?

Поднявшись к себе на третий этаж, Галина Петровна долго и безрезультатно вертела ключ в замке: дверь опять была заперта еще и на второй, внутренний замок, и сколько Галина Петровна ни стучала, никто не открывал. Наверное, Кузьмичева вернулась с работы и ушла куда-нибудь в магазин. А больше открывать некому. Все остальные соседи давно в эвакуации. Не зная, что делать и куда теперь идти, Галина Петровна с полчаса простояла у двери, а потом села на верхнюю ступеньку лестницы и, положив голову на руки, неожиданно для себя устало задремала.

Проснулась она оттого, что ее соседка Кузьмичева, держа кошелку с хлебом в одной руке, другой трясла ее за плечо.

— Чего ты на камень-то села, разве можно бабам на холодном-то камне сидеть? — говорила она.— Я уж по дороге хватилась, что второй ключ тебе не дала, думала, быстро сбегаю да вернусь, а вышло — очередь...

Галина Петровна встала и вслед за Кузьмичевой вошла в квартиру.

— Совсем не топят, ну совсем не топят,— говорила Кузьмичева, стаскивая с головы платок и снимая с себя мужнину шинель.— Я уж как за хлебом хожу, керосинку на одном фитиле гореть оставляю, а то приходишь — раздеваться боязно. А у меня и твоя керосинка стоит, я с кухни взяла, сейчас отдам тебе... Ты себе комнату согрела бы, а то, может, у меня поселишься, с двух керосинок греться будем...

Говоря все это, она беспрерывно что-нибудь делала: открыла дверь в свою комнату, отнесла туда кошелку с хлебом, вынесла в переднюю керосинку, потом табуретку.

— Ты табурет возьми, на табурет ее поставь, а то стол себе испортишь...

— Спасибо,— сказала Галина Петровна. Она вошла в свою комнату, а вслед за ней появилась Кузьмичева с керосинкой и табуреткой.

— Ты, конечно, сперва оглядись. Керосин у меня пока есть, я тебе дам,— продолжала говорить Кузьмичева,— может, и одна захочешь, а нет — иди ко мне, я не возражаю.

Ни о чем не спрашивая, но по виду Галины Петровны безошибочно чувствуя, что с ней произошло что-то плохое, она установила на табуретку керосинку и зажгла оба фитиля: сначала пустила их сильно, так, что пошла копоть, потом убавила, потом погрела над керосинкой озябшие в очереди руки и присела на край тахты, рядом с Галиной Петровной.

— Чего молчишь, не рада, что вернулась?

— Нет, я рада, тетя Дуся,— сказала Галина Петровна, хотя сейчас была рада не тому, что вернулась в Москву, а тому, что пришла сюда и что эта женщина, которая звала ее на «ты» и Галей и которую она уже семь лет — сколько жила здесь — звала на «вы» и тетей Дусей, так просто предложила ей жить и горевать вместе.

Она поцеловала соседку в морщинистую щеку и, отвернувшись, чтобы не заплакать, опустив руки между колен, долго неподвижно сидела, глядя на маленькое пламя за слюдяным окошечком керосинки.

— Убило у меня Василь Петровича,— посидев и помолчав рядом с ней, повторила Кузьмичева то, что уже сказала ей вчера. — Бомбой убило, на Москве-Второй, на товарном дворе, вместе с помощником. Один кочегар целый остался, Васильев Колька, ты его знаешь, он тут на май напился, помнишь, всю посуду на кухне побил. Помнишь? — Она спрашивала «помнишь» с какой-то даже нежностью, хотя Колька Васильев и напился и побил посуду, но все это было тогда, до войны, когда все еще было хорошо и был жив еще ее Василий Петрович.—Один он целый,— после молчания повторила она. — Да какой целый, ногу ему отрезали...

Она коротко всхлипнула, замолчала, положила на колени свои натруженные руки и так же, как Галина Петровна, стала безотрывно глядеть на огонь в керосинке.

Так они сидели обе молча несколько минут, пока не зазвонил телефон. Кузьмичева вышла в коридор, не закрыв двери, и сказала в телефон свое обычное, хорошо памятное Галине Петровне: «Алле, алле, это кто говорит?..»

— Приехала, сейчас позову,— сказала она после паузы и позвала Галину Петровну. — Иди, твой летчик звонит! Уже двенадцатый день каждое утро в это время тебя спрашивает.

Галина Петровна вскочила, беспомощно взмахнула руками, желая сказать, что уже поздно, что ее уже нельзя и не нужно звать к телефону, что надо сказать, что ее нет, что она и не приехала и никогда не приедет, но ноги ее сами вышли из комнаты и довели ее до телефона.

— Да,— взяв трубку, сказала она слабым голосом, чувствуя себя больной и от несчастья, которое с ней случилось, и от счастья, которым, несмотря ни на что, все-таки был для нее этот телефонный звонок.

— Галя, это ты, Галя? — веселым громким голосом сказал в телефон Полынин так, словно он был совсем рядом. — Когда ты приехала?

— Вчера,— нерадостно сказала Галина Петровна.

— Как доехала? Здорова?

— Ничего,— все тем же голосом ответила Галина Петровна, собираясь с силами сказать то, что она должна была ему сказать.

— Да чего я тебя спрашиваю? — не обращая внимания на ее упавший голос, все так же громко и весело сказал Полынин. — Сейчас я с летным составом разбор сделаю, кое-чего отработаем, и в тринадцать буду у тебя. Какой твой адрес?

Она хотела сказать ему: «Нет, нет, не приезжайте, вам нельзя ко мне приезжать!» Хотела сказать, но не могла, так поразил ее веселый голос Полынина и несоответствие этого голоса всему, что так ужасно и нелепо случилось с нею из-за того, что она не услышала этот голос вчера. Всего-навсего вчера!

— Бронная, семь, квартира двенадцать,— сказала она.

— Есть Бронная семь, квартира двенадцать,— все еще не замечая ее странного тона, сказал Полынин и виновато добавил: — Только ты не обижайся, что я ненадолго! Как шарик скроется, надо обратно на месте быть! Новый год — дежурим в оба глаза! Пока!

Он там у себя уже давно положил трубку, а она еще полминуты держала трубку в руке и, даже когда повесила ее на рычаг, все еще продолжала держаться за нее, словно боясь упасть.

— Дозвонился все-таки,— удовлетворенно сказала Кузьмичева. — Двадцатого позвонил: обещала, говорит, двадцатого приехать. Я говорю: не приехала. Не может быть, говорит, письма от нее — что задержится — нет. Значит, должна приехать. Я завтра ей позвоню. Так каждый день и звонил, ну как часы. Я вчера-то торопилась, потом уже на улице вспомнила, что тебе не сказала, хотела было обратно, а потом, думаю, все равно до утра не позвонит, а я к утру вернусь и скажу тебе. А ты и не ночевала! Где ночевала-то?

— У подружки,— сказала Галина Петровна.

— Конечно, с людьми веселее,— сказала Кузьмичева. — Сидишь тут одна, как в гробу, сама с собой думаешь. А чего думать, чего было, того не воротишь! Такой аккуратный, как часы,—помолчав, одобрительно повторила она про летчика. — Приедет к тебе?

— Приедет,— растерянно сказала Галина Петровна и вдруг подумала о том, о чем надо было подумать с самого начала: «Но почему же он звонит мне? Он не должен был мне звонить!»

И, спросив об этом себя, с ужасом и надеждою поняла, что Витенька солгал ей вчера, что он, когда виделся с Полыниным, ничего не сказал ему про нее, ровным счетом ничего! Иначе бы Полынин никогда не позвонил бы ей, этого просто-напросто не могло быть.

«Да, именно так».

И если бы она знала это вчера, если бы могла догадаться об этом, не случилось бы всего того, что наполняло сейчас ее душу отвращением к самой себе.

— Как же вы не сказали мне вчера, что он звонил мне! — повернулась Галина Петровна к стоявшей рядом с ней у телефона и довольно улыбавшейся Кузьмичевой. — Ах, как же вы не сказали... Как же вы не сказали!.. — повторила она с упреком.

— Ну, извини, пожалуйста,— разведя руками, сказала Кузьмичева.

Лицо у нее стало виноватое. Она не понимала, что произошло, но чувствовала, что произошло что-то очень плохое.

— Да нет,— сказала Галина Петровна,— вы не виноваты. Я сама во всем виновата.

И, посмотрев на телефон, словно он мог еще что-то сказать ей, ушла в свою комнату.

Так или иначе, а через три часа он должен был приехать сюда.

15

Она начала лихорадочно убирать свою комнату. Потом, бросив посреди пола веник и тряпку, открыла шкаф, вытащила оттуда вместе с вешалками все три висевших там платья, из которых ни одно нельзя было надеть, села на тахту, держа их на коленях и долго разглядывала так, словно видела впервые.

Потом повесила платья обратно и снова взялась за веник и тряпку, домела и дотерла пол, вытерла пыль с вещей, смахнула по углам паутину там, где дотянулась. Она убирала комнату и думала: что же ей теперь говорить и что делать?

То ей хотелось одеться и уйти, пока Полынин не приехал, уйти и никогда больше не видеть его. То ей казалось, что она дол-

жна, как только он придет, сразу, даже не дав поцеловать себя, рассказать ему все, что с ней случилось.

«А что случилось? Ничего и не случилось»,— попробовала она обмануть себя. Попробовала, но не смогла. Она знала, что нет, случилось, и нельзя будет сказать об этом Полынину. И значит, надо будет солгать ему сегодня и лгать потом всегда.

Она подумала о себе, что если бы она на самом деле любила Полынина, то не дала бы ему с собой этого письма к Витеньке. Пусть даже она никогда не думала, что он сам отдаст это ее письмо, она все равно не должна была посылать с ним письмо человеку, про которого он не знал всей правды. И если бы она любила Полынина, она бы вообще не пошла вчера вечером туда, в ту квартиру. Даже если б твердо знала, что с нею там ничего не будет, все равно не пошла бы! Ей бы это было невыносимо — идти в ту квартиру!

Так она казнила себя, продолжая прибирать комнату и все еще не решив, как же все-таки все будет. Чем она его встретит, если останется, и как найдет в себе силы уйти, решив уйти.

Мысль о том, что придется лгать ему, казалась ей отвратительной, а мысль о том, что она решится сказать ему правду, невозможной. Да и станет ли он слушать до конца эту правду? Скорей всего нет.

Репродуктор громким, потрескивавшим голосом начал передавать последние известия. Сначала утреннее сообщение за 31 декабря, что наши войска вели бои с противником на всех фронтах, потом сообщение «В последний час» — о поражении генерала Гудериана и освобождении Калуги. Она выслушала все до конца, подошла и вытащила штепсель. То, о чем говорил этот голос и что во всякую другую минуту заставило бы ее радоваться, сейчас вносило в ее душу только новое смятение. Ей почему-то было стыдно этого голоса, стыдно всего того, что происходило вокруг нее в жизни, стыдно соседки Кузьмичевой, стыдно ехавших сегодня утром на работу женщин, стыдно Полынина, который где-то там у себя на аэродроме, проводил сейчас совещание со своими летчиками...

«Хоть бы он не приехал сегодня, чтобы я успела что-нибудь решить»,— подумала она так, словно он должен приехать сию минуту.

Убрав комнату, она заперлась на ключ и, дрожа, как в ознобе, не раздеваясь, только скинув валенки, легла на тахту, поджав под себя ноги и с головой накрывшись одеялом и полушубком.

Лежала долго, наверно, целый час, не двигаясь и не отзываясь на стуки Кузьмичевой, которая два раза звала ее к телефону.

Потом раздался стук в наружную дверь, и она услышала голос Витеньки, разговаривавшего с Кузьмичевой, уже в коридоре.

— Так все-таки дома она или нет? — спрашивал Витенька.

— Дома,— недовольным голосом отвечала Кузьмичева,— я ж вам сказала по телефону, что дома, но не откликается.

Витенька подошел к двери и стал сначала тихо, а потом громче постукивать в нее. Галина Петровна лежала, сжавшись в комок, и не отвечала. Потом она услышала, как Витенька чиркнул спичку: он смотрел, есть ли ключ в замочной скважине.

— Галя, ну что за глупости? — громко сказал он, увидев, что дверь заперта на ключ изнутри. — Что за глупости, я за тобой пришел...

Галина Петровна лежала и молчала.

— Что за глупые шутки? — рассердился Витенька.—Вставай, а то я, ей-богу, дверь сломаю!

Дверь он не сломал, но несколько раз снова принимался стучать, говоря, что она по-дурацки ушла сегодня утром, что так не делают! Что он два раза звонил ей по телефону, и надо было встать, и подойти, и ответить ему по-человечески, если она почему-то именно сегодня не хочет его видеть. Он в конце концов не мальчик, чтобы околачиваться вот так под дверью! Он стучал и говорил, что ненавидит истерики и что если у нее ночью одно, а днем другое и она теперь передумала и решила не идти с ним на Новый год, то могла бы подойти и сказать это по телефону, а не вести себя как взбесившаяся овца!

«Ну что ж, он прав,— думала она,— в сущности, он прав... Сейчас встану и открою ему, и будет все как было, и будь что будет...»

Но на самом деле она сейчас уже не могла, чтобы все было как было, и не могла и не хотела открыть ему, и продолжала молча лежать, сжавшись в комок под одеялом и под полушубком.

Наконец Витеньке надоело стучать и уговаривать. Он грубо сказал:

— Ну и черт с тобой! Истеричка! — и, грохнув наружной дверью, ушел.

По той злобе, с которой он сказал «ну и черт с тобой» и грохнул дверью, она поняла, что теперь она должна бежать за ним и просить у него прощения, или он постарается сделать как-нибудь так, чтоб ее не было в театре. Обязательно постарается, если она не попросит у него прощения и не захочет жить с ним.

«Взбесившаяся овца»,— вспомнила она его слова и с ожесточением подумала: «Ну и пусть, пусть взбесившаяся овца, а жить с ним все равно не буду. И все равно пойду завтра в театр и скажу этому худруку, что хочу у них работать и что он сам уже обещал

мне и теперь должен взять меня... И если Витенька станет мешать этому, я все равно буду бороться,— с несвойственной для себя решимостью подумала она. — И кто-нибудь мне в этом поможет. Там же собрались такие хорошие люди! Разве без хороших людей мог бы в такое время быть такой театр?»

— Галя, не случилось ли с тобой чего? — подойдя к дверям, тревожно спросила Кузьмичева.

— Нет, ничего,— сказала Галина Петровна. — Просто не хотела с ним разговаривать.

Она сбросила с себя одеяло и полушубок, села на тахте и пригладила волосы.

Через полчаса должен был прийти Полынин.

«Он придет, а я уйду и больше никогда его не увижу... Никогда»,— вдруг со спокойным отчаянием подумала Галина Петровна. «Сейчас напишу ему записку и уйду... А если он прочтет и останется ждать меня?» — с вдруг вспыхнувшей надеждой подумала она. Но эта попытка обмануть себя продолжалась всего секунду. «Нет, не будет ждать. Я напишу так, что не будет ждать. Я должна написать так, чтобы он не ждал. Если я могла так, как все это было вчера, какая я ему жена?» — подумала она о себе с той нравственной силой самоосуждения, на которую уже давно не считала себя способной.

Она спокойно оделась, причесалась, надела полушубок и валенки, поискала на трельяже и медленным, твердым, необычным для нее почерком на листке, вырванном из старой тетрадки с ролью, написала Полынину:

«Я не рассказала вам всей правды про себя. Может быть, раньше могла бы, но не решилась, а теперь уже стыдно и незачем. Я много думала о вас и поняла, что вы не станете верить тому, кто уже один раз вас обманул. И это правильно. Для вас будет лучше, что вы не женитесь на мне. Прощайте».

Она перечитала записку, задержалась на слове «стыдно», но не стала вычеркивать его, а вместо этого вычеркнула слово «прощайте» и приписала: «Наверное, я еще и сейчас могла бы обмануть вас, но я этого не хочу, и поэтому мне не стыдно перед вами. Прощайте».

Она снова порылась на трельяже и нашла почти не начатую пачку маленьких лиловых конвертов. Их подарил ей Витенька перед войной на Первое мая. Она отшвырнула эти конверты и стала было складывать записку просто так, уголком, но потом передумала.

«А, теперь все равно!»

Взяла конверт, вложила в него записку, запечатала и, ничего не надписав, положила в карман полушубка.

— Галя,— окликнула ее из-за двери Кузьмичева.

— Да, сейчас...

Галина Петровна встала и, застегивая крючки полушубка, вышла из комнаты.

— Ты куда? — удивленно спросила Кузьмичева.

— Ухожу.

— А как же летчик твой придет?

— Ничего, придет и уйдет. Вы будете дома?

— Да. Я завтра в утреннюю.

— Я потом приду,— сказала Галина Петровна. — Посидим с вами, попьем чаю... Все-таки Новый год.

— Да уж какой там Новый год... — вздохнув, сказала Кузьмичева. — А что ж, когда он придет, сказать ему?

— Отдайте вот эту записку.

Галина Петровна вынула из кармана конверт, сунула в руки Кузьмичевой и, почувствовав, что сейчас разревется, быстро вышла из квартиры.

16

Когда через четверть часа после ухода Галины Петровны раздался решительный стук в дверь, Кузьмичева пошла открывать с тоскою в душе. Неожиданный уход Галины Петровны был для нее непонятен. Особенно после того, как приходил Витенька, стучался к ней в дверь, а она так и не открыла ему, даже не ответила ни одного слова. Утром соврала про подружку, ночевала вчера все же у него, но, видно, у них все поломалось...

Кузьмичева обрадовалась за Галину Петровну, что она так и не пустила к себе Витеньку. Витенька ей смерть как не нравился, а летчик своей настойчивостью и своими разговорами по телефону, наоборот, пришелся по душе, и после неудачного прихода Витеньки ей хотелось, чтобы у Галины Петровны с этим летчиком все вышло по-честному.

Но уход Галины Петровны и эта записка, лежавшая у нее в кармане жакета, смущали Кузьмичеву и путали все ее мысли. Кто его знает, что там, в этой записке; судя по лицу Галины Петровны, когда она уходила, вряд ли что-нибудь хорошее.

Открыв дверь, Кузьмичева увидела худощавого, молодого еще летчика в новенькой серой шинели по всей форме. Лицо у летчика было веселое и румяное с мороза, под мышкой он держал небольшой фанерный ящик и, как вошел, сразу поставил его на пол у дверей.

— Мне к Галине Петровне,— сказал он.

Кузьмичева прикрыла за его спиной дверь, чтобы не дуло с лестницы, и виновато сказала, что Галины Петровны нету дома. Летчик растерянно стащил ушанку, недоверчиво посмотрел на нее и, как дитя, почесал затылок. Потом спросил, не ошибся ли он квартирою.

— Нет, не ошиблись,— сказала Кузьмичева.—Правильно нашли. Только нет ее, ушла.

— А когда придет?

— Не знаю.

— А давно ушла?

— С четверть часа.

— А может, она скоро вернется?

У него было такое расстроенное лицо, что Кузьмичева еще и сейчас не решилась отдать ему записку, а только держала руку в кармане жакета и все трогала и трогала бумажку пальцами, словно проверяя, здесь ли она. Хоть бы не было ее, этой записки, хоть бы не надо было отдавать ее!

— А куда она ушла? Может, ее на работу вызвали? — спросил летчик.

Кузьмичева пожала плечами.

— Кто ее знает...

— Может, ее можно подождать? У меня почти два часа времени есть.

Кузьмичева снова пожала плечами. Летчик стоял в нерешительности.

Потом он покосился на стоявший у него в ногах ящик и сказал, что кое-чего привез тут Галине Петровне, может, можно это оставить?

— Ну что ж, раз принес, оставь,— сказала Кузьмичева на «ты» — и оттого, что летчик был молод, и оттого, что она испытывала к нему расположение и жалость. — Дверь у ней открыта, возьми сам занеси.

Полынин, все еще не предчувствовавший ничего плохого и только очень расстроенный тем, что сегодня уж, наверно, не увидит Галину Петровну, нагнулся, поднял ящик и, держа его в руках, вслед за Кузьмичевой вошел в комнату Галины Петровны.

— Куда поставить? — спросил он, оглядывая комнату.

— Куда хочешь, туда и ставь.

Он сначала хотел поставить ящик на тахту, но, увидев, что на ней лежит одеяло, поставил рядом на пол и, разогнувшись, все еще не решив, уходить ему или попробовать все же подождать, стал оглядывать комнату.

Нет, не такой представлял он себе жизнь артисток, когда смотрел на них на сцене — нарядных, одетых то в одно, то в другое

красивое платье, с улыбками выходящих кланяться, когда все стоят и хлопают им. Он никогда особенно не задумывался над этим, но ему казалось, что, наверное, после спектаклей они уезжают к себе домой, где все так же красиво и нарядно, как на сцене, а он стоял в узкой и длинной, как коридор, давно не ремонтированной, полутемной комнате со столом, двумя стульями, поцарапанным старым шкафом и кушеткой, накрытой выцветшим половиком. В комнате было холодно, на табуретке горела керосинка.

Все еще продолжавшее смущать его, несмотря на решение жениться, представление о том, что Галина Петровна живет какой-то своей, особенной, другой, незнакомой ему жизнью, вдруг исчезло. Увидев ее комнату, он понял, что она живет жизнью бедной, трудовой и полной лишений. Жизнью, хорошо знакомой ему с детства и не имевшей никакого отношения к тому черному сказочному платью с серебряными блестками, в котором она выступала на концерте, когда он впервые ее увидел. Правда, она и раньше говорила ему сама о своей юности и о том, как ей трудно приходилось, но одно дело — ее слова про то, что было с ней когда-то десять или пятнадцать лет назад, и другое дело—эта ее комната. Он мог бы сейчас привести в эту комнату свою мать, и познакомить с Галей, и сказать, что женится на ней. И все это сказанное здесь, в этой комнате, не удивило бы и не испугало его мать.

А Кузьмичева все стояла рядом с Полыниным и, щупая пальцами записку, все не решалась отдать ее. Что написано пером, того не вырубишь топором: отдашь, потом не воротишь. «Может, она потом и пожалеет,— подумала она о Галине Петровне,— да будет поздно».

— Давно в одной квартире живете? — спросил Полынин, еще раз окинув взглядом комнату.

— Я-то с девятнадцатого года, как буржуев уплотняли,— сказала Кузьмичева.— А она восьмой год. По ордеру получила, от театра. Жил тут до нее бухгалтер, Кобылин, помер, а она получила.

— Ладно, я пойду,— сказал, наконец, Полынин, твердо решивший для себя, что Галину Петровну срочно вызвали на работу — что ж могло быть еще? — Вы ей передайте, что я утром позвоню. Сразу, как с полетов вернусь.

Кузьмичева еще раз потрогала рукой в кармане записку и, наконец, решилась. Они оба уже вышли в коридор.

— Нате,— протянула он конверт,— она тут вам записку оставила.— Отдала конверт и, скрестив руки на груди, прислонясь к стене, стала смотреть, как летчик, разорвав конверт, читает записку.

Брови у него нахмурились, а губы сжались. Должно быть, записка и вправду была не к добру.

— Так,— сказал он, положив записку в карман. И, посмотрев на Кузьмичеву, вдруг спросил: — Что она, замужем, что ли?

— Одинокая она,— уклончиво сказала Кузьмичева. Она не знала, что пишет Галина Петровна в своей записке к этому летчику, но и лжи брать на душу тоже не хотела. Хотя они прожили с Галиной Петровной в этой квартире семь лет и она любила и жалела ее, правда, жалела больше, чем любила, но этот летчик, которого она впервые видела, был ей чем-то ближе, чем Галина Петровна.

— Что значит одинокая? — настороженно спросил он.

— А то и значит, что одинокая. Хорошая женщина, но неудачная.

— Что значит неудачная? — снова настороженно и сердито спросил летчик.

— А ты ее спроси, что меня спрашиваешь?

— Мне ее поздно спрашивать,— с тоской сказал Полынин и вдруг, повинуясь этой охватившей его тоске и чувству доверия к стоявшей рядом с ним и сочувствовавшей ему женщине, вынул из кармана и протянул ей записку.— Нате прочтите!

Кузьмичева взяла записку и медленно, по складам, стесняясь своей малограмотности, прочла ее. Записка показалась ей путаною, такой же путаною, как вся жизнь Галины Петровны, семь лет проходившая на ее глазах, но было в ней, в этой записке, и просто непонятное: после того, как приходил сегодня Балакирев, и после всего, что он кричал здесь в коридоре перед дверью Галины Петровны, Кузьмичева понимала, что Галина Петровна не хочет обманывать этого летчика, а в своей записке она писала про какой-то обман.

— Нате,— сказала она, вздыхая и протягивая Полынину записку.

Летчик, судя по выражению его лица, ждал, что она что-то скажет ему. Если бы она не видела, что он ждет, то не сказала бы. Но раз ждет — хорошо, она скажет.

— Был у нее тут один. Но теперь нету. Приходил сегодня, к ней в дверь ломился — не пустила, даже слова ему не сказала.

Говоря так, она считала, что делает своими словами добро Галине Петровне, не беря при этом лжи на душу.

— Из театра? — сорвалось у Полынина, прежде чем он успел остановить себя.

Услышав его вопрос, Кузьмичева кивнула и, уже кивнув, увидела его потемневшее лицо.

— А ты-то неженатый? — спросила она.

— Неженатый.
— И не был женатый?
— Не был.

Она вздохнула, даже не задумавшись над всей важностью своего вопроса и его ответа, а просто почувствовав, что нет, ничего у них не получится.

— Жениться на ней хотел,— сказал Полынин, глядя в лицо Кузьмичевой. Сказал так, как сказал бы своей матери. Сказал, надел ушанку и протянул ей руку.— Будьте здоровы!

И она, пожимая его руку, уже не спросила, будет ли какой-нибудь ответ Галине Петровне, потому что знала: не будет никакого ответа. Уйдет — и больше не придет. Вот тебе и весь ответ.

— Ящик-то заберешь? — вдруг вспомнила она, когда Полынин был уже в дверях.

Но он только махнул рукой и вышел.

17

Когда Галина Петровна выбежала из дома, торопясь и боясь, что она задержалась и может встретиться на лестнице с Полыниным, она сначала не думала, куда идти, и просто пошла по улице, глубоко засунув руки в карманы полушубка и поводя под полушубком плечами, чтобы унять колотившую ее дрожь.

Но потом, когда она уже бесцельно прошла три перекрестка, ей захотелось вернуться и увидеть Полынина. Она не обманывала себя и возвращалась, не надеясь на то, что вдруг столкнется с ним и тогда все кончится как-то иначе, чем кончилось. Она просто хотела увидеть его.

Она перешла через улицу, наискосок от своего дома, быстро свернула в переулок и осторожно выглянула из-за угла.

У подъезда ее дома стояла выкрашенная белой краской «эмка». Значит, Полынин уже приехал и сейчас там, наверху, у нее. Она представила себе, как Кузьмичева открывает ему дверь и отдает ему записку и как он читает ее. Ей почему-то казалось, что он будет читать записку не там, у них в квартире, а потом, уже выйдя на лестницу.

Потом она вдруг подумала, что у них в подъезде почти темно и он не сможет прочесть там ее записку, а, наверно, выйдет и будет читать ее, остановясь у подъезда.

Подумав об этом, она испугалась, что не выдержит, если сейчас увидит, как он выйдет и будет читать ее записку. Испугалась, но не ушла, а продолжала смотреть на свой подъезд, около которого стояла машина.

Из машины вылез водитель в полушубке, обошел ее вокруг, постучал валенком по скатам, потом прислонился к машине и, вытащив из кармана папиросы, закурил.

А Полынина все еще не было.

«Что же он там делает? Почему он так долго там? — подумала она.— Неужели остался ждать меня?»

Мужество еще не покинуло ее. Она не знала, что будет с нею потом, но сейчас она не хотела, чтобы он ждал ее.

Ей было холодно стоять, прислонившись к холодной стенке. Трое прохожих прошли мимо нее, и все трое оглянулись.

Водитель докурил папиросу, снова обошел «эмку» кругом, постучал по скатам и залез в машину.

В эту секунду из дома вышел Полынин. Вышел быстрой, бесповоротной походкой, не остановился, не оглянулся на ее дом, подошел к машине, открыл дверцу, сел и уехал.

Он был всего в двадцати шагах от нее, но она не крикнула и не задержала его.

«Вот и все»,— подумала она, проводив глазами машину. И, дойдя до своего подъезда, стала медленно подниматься по лестнице. Все было так же, как вчера, когда она приехала: то же разбитое окно над полутемной лестничной клеткой и тот же снег на ступеньках...

ПРИМЕЧАНИЯ

Третий том Собрания сочинений составили произведения, разные по своему жанру — роман, повести, пьесы. Автор принимал самое активное участие в подготовке его в набор, и произведения в томе располагаются в соответствии с его пожеланиями. Открывается том послевоенными пьесами, которые завершают публикацию драматургии, начатую во втором томе. Затем следует первая по времени написания послевоенная повесть «Дым Отечества», роман «Товарищи по оружию» и повесть «Случай с Полыниным», где читатель встречается со знакомыми по роману героями, но уже в годы Великой Отечественной войны.

ПЬЕСЫ

Русский вопрос.— Впервые в журнале «Звезда», 1946, № 12.

Четвертый.— Впервые в журнале «Театр», 1961. Отрывок печатался в «Правде», 1961, 2 июля.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА. Повесть.— Впервые в журнале «Новый мир», 1947, № 11. Отрывки печатались в газетах и журналах: «Советская авиация», 1947, 31 октября; «Советский воин», 1947, № 20; «Красная звезда», 1947, 1 ноября; «Лит. газета», 1947, 1 ноября; «Вымпел», 1947, № 20.

ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ. Роман.— Впервые в журнале «Новый мир», 1952, № 10—12. Отрывки печатались в журнале «Огонек», 1952, № 44 (под назв. «В кольце»), «Советский воин», 1952, № 21 (под назв. «Погоня»).

СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ. Повесть.— Впервые в журнале «Знамя», 1969, № 8.

А. Александрова

СОДЕРЖАНИЕ

Симонов К. М.

С37 Собрание сочинений. В 10-ти т.— М.: Худож. лит., 1980.

Т. 3. Пьесы 1946—1961; Дым отечества: Повесть; Товарищи по оружию: Роман; Случай с Полыниным: Повесть. 1980, 630 с.

Третий том Собрания сочинений составили произведения разных жанров, написанные в первые послевоенные годы — пьесы «Русский вопрос», «Четвертый», роман «Товарищи по оружию», повести «Дым Отечества» и «Случай с Полыниным».

С $\frac{70302\text{-}227}{028(01)\text{-}80}$ **подписное 4702010200** **Р2**

Константин Михайлович
Симонов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том III

Редактор Т. Аверьянова
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор
Н. Усольцева

ИБ № 1635
Сдано в набор 23.10.79. Подписано к печати 09.07.80. А09381. Формат 60×84$^{1}/_{16}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 36,854 усл. печ. л. 40,574 уч.-изд. л. Изд. № Шб-13. Тираж 300 000 экз. Заказ 1557. Цена 2 р. 80 к.

Издательство
«Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано
в ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16

Отпечатано с матриц в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15